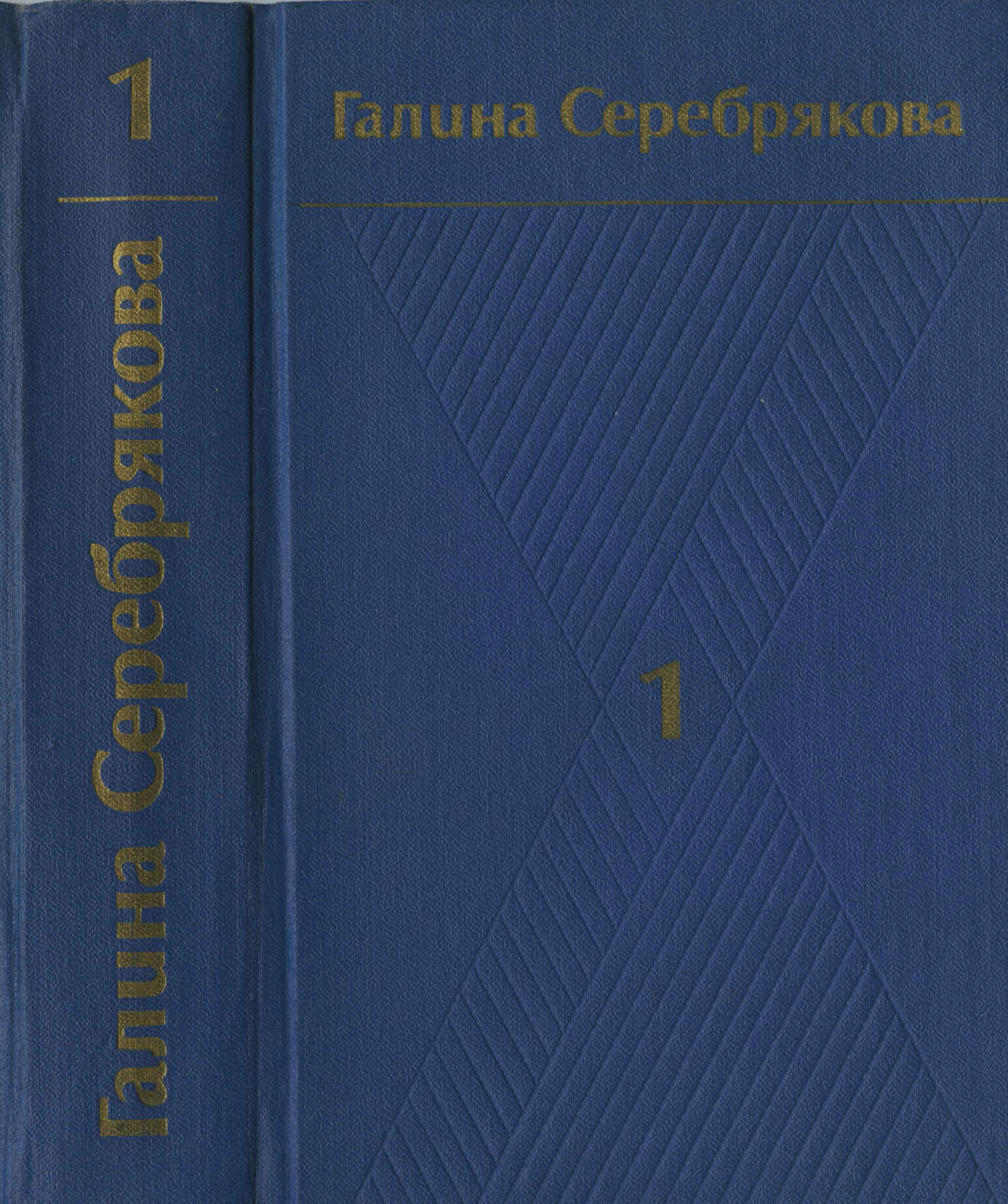


Галина Серебрякова
1
1
Галина Серебрякова



# Галина Серебрякова

## собрание сочинений в шести томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

# Галина Серебрякова

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## ТОМ ПЕРВЫЙ

# ЮНОСТЬ МАРКСА

РОМАН

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

Р2
С 32

*Предисловие*
А. З. МАНФРЕДА

*Оформление художника*
И. САЛЬНИКОВОЙ



**Серебрякова Г. И.**
**С 32** Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. I. Юность Маркса. Роман. Предисл. А. З. Манфреда. М., «Худож. лит.», 1977.

576 с.

«Юность Маркса» — первая часть трилогии о жизни и революционной борьбе великих вождей пролетариата К. Маркса и Ф. Энгельса. Роман повествует о молодых годах К. Маркса, о формировании его философских взглядов, рассказывает о борьбе рабочего класса Европы в 30—40-е годы XIX века.

С $\frac{70302\text{-}039}{028(01)\text{-}77}$ подписное Р2



# О ГАЛИНЕ СЕРЕБРЯКОВОЙ

Наверно, предисловие к шеститомному Собранию сочинений известного советского писателя должно быть совершенно свободно от всего личного. Вероятно, его уместнее всего начинать с непреложных, лишенных всякой эмоциональной окраски констатаций. Можно было бы сказать: Галина Серебрякова вступила в советскую литературу в конце двадцатых годов, сорок с лишним лет тому назад. И это было бы верно. Первая книга Г. И. Серебряковой, принесшая ее автору сразу же широкую известность, «Женщины эпохи французской революции», вышла в свет в 1929 году.

Но такое утверждение, будучи вполне правильным и соответствуя реальной действительности, невольно рождало бы ассоциации или представления, как-то не вяжущиеся ни с обликом, ни с творческой биографией Галины Серебряковой.

Когда говорят, что такой-то писатель вступил в литературу сорок лет тому назад, то в самом сочетании этих слов есть что-то мемориальное; непроизвольно вы оглядываетесь назад, пишете об авторе преимущественно в прошедшем времени.

Но вот именно это — тон итоговой ретроспекции, уважительного и чуть-чуть грустного обзора пройденного пути оказывается внутренне чужд творческой природе и личным чертам Галины Серебряковой как писательницы и человека; он вступает с ним в противоречие.

Стоит обратить лишь внимание на даты, которыми помечены вошедшие в Собрание сочинений произведения: о первом — уже шла речь, но важно, чтобы не прошла незамеченной последняя: повесть «Незатейливый узор», завершающая шестой том, была опубликована в 1975 году. Наконец, тем, кто знает Г. И. Серебря-

кову, известно, что писательница сейчас увлеченно работает над новой большой книгой.

Сказанное подтверждает, что Галина Серебрякова все последние годы остается на высокой волне творческого подъема. К чему же подводить итоги? Когда пишешь о Галине Серебряковой, то невольно, хочешь того или нет, испытываешь воздействие жизнеутверждающей силы писательницы, неустанно вписывающей новые страницы в свою творческую биографию, всегда — в поисках, всегда — в пути.

В предлагаемое читателю Собрание сочинений включены работы Г. И. Серебряковой самых различных жанров — от историко-литературных эссе и новелл до повести, романа и эпопеи. Это многообразие форм само по себе показательно: оно раскрывает широкие возможности, заложенные в даровании автора.

Все произведения Серебряковой, как бы они ни классифицировались писательницей: повесть, «общественно-семейная хроника», роман, или эссе о знаменитых женщинах эпохи Великой французской революции, или литературные портреты политических деятелей и мастеров искусства нашего времени — все они, без исключения, имеют общее — они все историчны.

В этом, пожалуй, главная особенность творчества Галины Серебряковой. Как литератор, как художник она остается всегда верна одной теме — теме истории. У меня было искушение назвать ее писателем монотемы; я счел все же разумнее от этого отказаться, так как конкретные сюжеты произведений Серебряковой весьма различны, и определение могло бы породить недоумения. Но по существу представляется неоспоримым, что все творчество Галины Серебряковой, и в прошлом и в настоящем, посвящено полностью теме или темам истории.

При всем сюжетном разнообразии Г. И. Серебрякова разрабатывает три большие исторические темы, располагая их в хронологической последовательности,— это эпоха Великой французской революции, во-первых, эпоха Маркса и Энгельса и жизнь и деятельность великих основоположников научного коммунизма, во-вторых, и советская эпоха, наше время — в-третьих.

Понятно, что в самом таком делении есть элемент условности. Если не формально, то по внутренней сути эти исторические эпохи в творчестве Серебряковой перекликаются и порою сливаются. Так происходит, например, в романе «Из поколения в поколение» (1971), целиком посвященном нашему времени — шестидесятым годам XX столетия, где главный герой романа — Балаков, молодой ученый, историк по профессии — увлечен проблемами истории якобинской диктатуры. Устами своего героя автор ставит на

обсуждение не только острые проблемы современности, но и некоторые спорные вопросы истории первой французской революции. Не со всем в трактовке этих вопросов в романе можно согласиться. Но в данной связи важно иное: прямое, укрепляемое развитием сюжета переплетение двух далеких, казалось бы, исторических эпох в рамках одного произведения.

Наконец, вряд ли нужно напоминать о том, что во всех случаях, о какой бы исторической эпохе и о каких героях ни шла бы речь — о Теруань де Мерикур, о Марксе как редакторе «Новой Рейнской газеты», об отягощенном мировою славой Бернарде Шоу или безвестных рядовых героях гражданской войны 1918—1920 годов в молодой Республике Советов, — автор подходит к изображаемым событиям и людям с идейных позиций передового советского человека.

Историзм художественного творчества Галины Серебряковой не может быть сведен к тому, что она пишет о том, что было, что она обращается по преимуществу к реальным историческим фактам и событиям, что героями ее литературных произведений являются большей частью общественные и политические деятели крупного исторического масштаба, широко известные во всем мире, рождающие определенные представления и ассоциации у миллионов, вернее, у десятков миллионов людей.

Я имею в виду, прежде всего, цикл работ о Марксе и Энгельсе, получивших широкое признание у советских читателей и далеко за пределами нашей страны.

Историчность творчества Г. И. Серебряковой находит свое выражение в том, что она воссоздает художественными средствами *исторически правдивые* портреты великих творцов научного коммунизма, вождей рабочего класса и их ближайших сподвижников; она воссоздает их образы в реальной исторической обстановке, их окружавшей, в меняющихся условиях бурного времени, на гребне нарастающей революционной волны и в трудную пору отлива и спада,— словом, в контексте всей исторической эпохи.

Для этого необходим в первую очередь огромный предварительный труд, длительное, тщательное изучение архивных документов, писем, мемуаров.

Но и этого всего недостаточно. Художник, чтобы остаться верным исторической правде, не может слепо следовать только за летописью событий. От художника требуется большее. Он должен понять, осмыслить, почувствовать логику исторического процесса, он должен познать и суметь показать присущее только данному времени, данной стране, данной конкретно-исторической ситуации своеобразие.

Цель не легкая и не простая. Может быть, поэтому и в нашей советской и в современной зарубежной литературе писателей, посвятивших себя целиком исторической теме или даже преимущественно работающих в этом жанре, можно пересчитать по пальцам.

Галине Серебряковой такая ответственная задача оказалась по плечу. Более того, трудные пути нравятся писательнице.

Наверно, это произошло потому, что у Г. И. Серебряковой верный исторический глазомер, цепкий, все замечающий взгляд художника, особый дар чувствовать приметы времени, неповторимый колорит эпохи.

Отличительные черты таланта Серебряковой как художника-историка проявились в первой ее книге — «Женщины эпохи французской революции», сразу же определившей особое место писательницы в советской художественной литературе.

С начальных строк повествования и далее на всем его протяжении перед читателем предстают города, улицы, дома, люди, вещи, о которых автор ведет рассказ. Чаще всего картина, изображаемая писателем, рисуется не полностью, как бы не до конца завершенной. Читатель видит лишь некоторые тщательно выписанные детали ее: узкий председательский стол в сумрачном готического стиля зале церкви святого Евстахия, где заседает «Общество революционных республиканок»; ванну, в которой был убит Марат, ванну необычной формы, напоминающую огромный начищенный ботинок; косынку, заколотую с умелой небрежностью поверх светлого платья Манон Ролан; соломенный матрац с жестко царапающими сухими стеблями в одиночной камере тюрьмы Ла Форс.

Способность замечать авторским взором незначительные, иной раз кажущиеся даже второстепенными детали характерна и для другого раннего, первой половины тридцатых годов произведения писательницы — романа «Юность Маркса».

«Каролина фон Вестфален, сидя в беседке, обвитой виноградными лозами, вязала; это сызмальства было ее излюбленным занятием в сумерки. На зеленой скамье, прижав край шуршащей полосатой юбки, лежал томик грустных стихов Китса в коричневом переплете с золотым тиснением и баронским гербом. Из нарядной корзинки пушистыми птенцами вываливались мотки шерсти».

Это умение зрительно рисовать перед читателями запоминающиеся картины давно минувшего времени в полной мере присуще всем историко-литературным произведениям Галины Серебряковой.

У книг, как известно, своя судьба. Их истинная ценность, их общественная роль определяются в конце концов лишь после того, как они выдержали самое строгое и трудное испытание — проверку временем. История литературы — и нашей, отечественной, и мировой — знает великое множество случаев, когда произведения, привлекавшие внимание широкой читательской аудитории, вызывавшие споры, оживленные дискуссии, столкновение мнений, постепенно, с ходом времени, отходили на второй план, затем предавались забвению. Нужны примеры? Конкретные имена? Вряд ли, они у всех свежи в памяти.

Я позволил себе напомнить эти истины лишь для того, чтобы мы могли правильно оценить произведение, о котором идет речь. Первая книга Галины Серебряковой «Женщины эпохи французской революции» неизменно сохраняет особый интерес для читателей и выделяется чем-то среди всех остальных. Она выдержала самую строгую проверку — испытание временем. Опубликованная четыре с половиной десятилетия тому назад, она с тех пор была переиздана восемь раз и переведена на многие иностранные языки.

Факты эти сами по себе красноречивы и являются объективным свидетельством общественной значимости произведения.

Чем это можно объяснить? Самой темой? Интересом, который она пробуждает? Развиваемыми в книге сюжетными линиями?

Надо признать, что в этой книге в наибольшей степени нашли выражение те особенности писательской манеры Серебряковой, о которых выше шла речь,— умение воспроизвести то, что называют «couleur locale», неповторимые черты времени, точность в деталях, дух эпохи.

Но важно также и другое. В истории нового времени Великая французская революция XVIII века принадлежит, несомненно, к числу самых ярких и поучительных страниц. Историческое величие французской революции было прежде всего в том, что, будучи по своему классовому содержанию и конечным результатам революцией буржуазной, она по своему характеру, по своим движущим силам, по формам и методам борьбы была народной революцией, революцией буржуазно-демократической. Именно это — действенное, творческое участие многомиллионных народных масс: крестьянства, плебейства — в революционном процессе наложило на него неизгладимый отпечаток, обеспечило развитие революции по восходящей линии и придало ей такую силу и размах, которых ни раньше, ни позже не достигала ни одна буржуазная революция. Здесь нельзя не повторить еще раз знаменитого выражения Маркса: «Исполинская метла французской революции

XVIII века смела весь этот отживший хлам давно минувших веков и таким образом одновременно очистила общественную почву от последних помех для той надстройки, которой является здание современного государства»[1]. Но для того, чтобы эта «исполинская метла революции» могла бы действительно вымести и превратить в ничто все эти цепко державшиеся институты, учреждения, правовые нормы феодального общества, для того, чтобы очистить почву от всего средневекового хлама и мусора, нужно было преодолеть яростное сопротивление всех сил внутренней контрреволюции, отстаивающей свои привилегии и богатства, и их могущественных союзников — коалиции феодальных контрреволюционных монархий Европы, стремившихся вооруженной интервенцией подавить революцию. Французский народ, французская революция выполнили эту, казавшуюся неосуществимой, задачу. В величайшей битве двух начал, двух миров — старого феодального порядка, пытавшегося преградить путь рождавшемуся новому, более прогрессивному в то время буржуазному обществу,— победило новое. Но это могло быть достигнуто лишь ценою величайшего напряжения всех сил революционной нации, мобилизацией всех материальных и духовных ресурсов народа, без компромиссной, не знавшей ни колебаний, ни слабости, непримиримости к врагам. Крайняя, достигшая предельной остроты ожесточенность классовой борьбы, переросшая в открытую гражданскую войну, сталкивала одну за другой находившиеся у власти партии: конституционалистов, фельянов, жирондистов, отбрасываемых логикой борьбы в стан врагов революции, до тех пор пока революция не поднялась до высшего этапа — якобинской революционно-демократической диктатуры.

Почти не знающий пауз, нарастающий драматизм этой великой социальной войны — войны насмерть, не оставившей никого в стороне, всех вовлекшей в свой кипящий водоворот, накал страстей, душевный максимализм, динамический ход событий, рождавший головокружительное ощущение набираемой высоты и предчувствие близкого падения,— вся эта тревожная обстановка завершающего пятого акта трагедии — трагедии народа, политических руководителей, личных судеб — на протяжении почти двухсот лет неизменно привлекали внимание человечества.

Для нас, для поколений, выросших и сложившихся под знаменами Великой Октябрьской социалистической революции — величайшей из революций, известных истории,— интерес к первой французской буржуазной революции, которую В. И. Ленин с долж-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, с. 339.

ным основанием назвал великой, был вполне естествен и понятен.

Галина Серебрякова не ставила своей задачей рассказать историю Великой французской революции; нужно ли еще раз напоминать, что она выступала не как профессиональный историк, а как художник, как писатель исторической темы?

Но она глубоко поняла и почувствовала трагедийный характер той далекой исторической эпохи и, не намереваясь дать логического и научно-исторического освещения ее в целом, пыталась постичь и показать то бурное время, раскрывая его изнутри. Это значит, что вместо описания или характеристики всемирно известных событий: взятия Бастилии, свержения монархии, казни короля или знаменитых вождей революции, чьи имена запоминают на школьной скамье, она обратилась к участницам того далекого времени, к тем, кто не мог,— прежде всего потому, что женщины политически и юридически были тогда бесправны,— играть хоть какую-либо официальную роль.

В книге десять портретов женщин, связавших как-то свои имена с эпохой революции. Их роль и значение в острых коллизиях той бурной эпохи не одинаковы. Некоторые из них пользовались громкой известностью: их имена на столетия вписаны в летописи истории; о них пишут монографии, специальные сочинения. Кому неизвестны имена Жозефины Богарне — будущей Жозефины Бонапарт, императрицы, или Манон Ролан, или Шарлотты Корде, наконец, Теруань де Мерикур? Но в галерее портретов Серебряковой есть и такие, чьи имена знакомы лишь знатокам эпохи,— Симонны Эврар — подруги Жан-Поля Марата; Клер Лакомб, руководительницы «Общества революционных республиканок», политической единомышленницы Жака Ру и Леклерка; нежной Люсиль Демулен, за которой стоит тень ее мужа — «генерального прокурора фонаря», блистательного журналиста революции, а затем одного из вождей дантонистской оппозиции, сложившего голову на плахе эшафота; скромной Елизаветы Леба — жены одного из сподвижников Робеспьера Филиппа Леба, погибшего вместе с «Неподкупным» 10 термидора.

Собранные под одной обложкой, портреты женщин различаются не только степенью своей известности. Это женщины разных миров, разных социальных кругов, разных партий.

Графиня Дюбарри — в прошлом площадная потаскуха, вознесенная игрою случая до положения всесильной метрессы короля Людовика XV, представлявшая старый, превращенный в щебень революционной энергией народа иерархический феодально-абсолютистский порядок. Манон Ролан, «Жюли жирондизма», как

по имени героини «Новой Элоизы» Руссо называли эту молодую и умную женщину, незримо направлявшую личным влиянием жирондистскую партию. Тереза Кабаррюс (Тереза Тальен), в 1793 году олицетворявшая в красном фригийском колпаке и прозрачной тунике символический образ богини свободы, а затем ставшая «Божьей матерью термидора» — обольстительной вдохновительницей разнузданных оргий и беспощадного террора. Нужно ли перечислять всех остальных?

Эти судьбы ни в чем не схожи так же, как и общественное положение и личные черты героинь новелл. Но в столь непохожих личных судьбах, в разных, а чаще всего противоположных маленьких мирках раскрывается неизмеримо большее: неудержимый поток событий, несущихся стремительной лавиной, повелительные требования часа, высокое время революции.

Так личная судьба ставшей нам знакомой женщины, вплетаемая в не управляемый ею поток революционных событий, в котором она остается не более чем песчинкой в океанской волне девятого вала, позволяет нам лучше постичь то суровое время.

В этом, мне думается, непреходящая ценность первой книги Серебряковой. Вы изучаете один за другим выписанные рукою мастера женские портреты и при всей их несхожести вы видите где-то за ними некий собирательный образ женщины эпохи революции, или, может быть, вернее сказать, благодаря этой галерее женских портретов вы осознаете, что лучше поняли, глубже постигли путь далекой революции XVIII века, оказавшей такое большое и длительное влияние на всю последующую историю общества.

Я остановился на первом произведении писательницы так подробно не только потому, что оно полностью раскрыло своеобразие таланта молодого, дотоле неизвестного автора, но и потому, что эта книга во многом определила последующее его творчество.

Я даже думаю, что без этого первого, потребовавшего высокого профессионального совершенствования художественного опыта, был бы невозможен или, скажем осторожнее, был бы многим труднее последовавший за ней, дерзко задуманный цикл книг о великом творце научного коммунизма.

Попробуем же рассмотреть эти книги подробнее.

В наиболее яркой форме историческое мышление писательницы, о котором раньше шла речь, обнаружилось, несомненно, в ее книгах о Марксе и Энгельсе, и прежде всего, в получивших заслуженный успех романах: «Юность Маркса» (1931—1935), «Похищение огня» (1960), «Вершины жизни» (1962), «Предшествие» (1965).

Любого читателя, знакомого с этой трилогией, в особенности специалиста, поражает творческая смелость писательницы. Я говорю о смелости потому, что автор, взявшийся писать на такую сложную, политически ответственную и общественно важную тему, должен был бы считаться с двумя противоположными обстоятельствами, которые могли бы казаться непреодолимой преградой.

Прежде всего, у писателя, решившегося создать образы Маркса и Энгельса и их соратников, не было предшественников в художественной литературе. Случайно ли это? Нет, конечно.

Как известно, не было недостатка ни в воспоминаниях, ни в документальных свидетельствах, ни даже в стихотворных опытах, связанных с именами авторов «Манифеста Коммунистической партии». Но и после расцвета в двадцатом столетии жанра биографического романа не было автора, который бы решился взяться за создание образа Маркса в художественной литературе.

Но было и иное, нечто прямо противоположное.

В научной литературе, в публицистике всестороннему освещению великой исторической роли Карла Маркса в развитии освободительной борьбы XIX—XX веков были посвящены труды Владимира Ильича Ленина, Г. В. Плеханова, Франца Меринга, а также многочисленные работы советских авторов и ряд ценных авторитетных научных публикаций Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где по существу была создана новая отрасль исторической науки: марксоведение. В результате изысканий и публикаций новых документальных материалов, относящихся к биографиям и общественно-политической деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса, само наше представление о великих революционерах значительно обогатилось, расширилось.

Разве множество научных трудов самых авторитетных авторов и обилие документального материала не служили своего рода психологическим барьером на подступах к этой теме?

Наконец, сам образ великого революционера, творца научной теории, оказавшей самое могущественное влияние на весь ход общественного развития. Девятнадцатый век дал миру много великих, замечательных талантов в самых разных сферах: науке, искусстве, политике. Но ни один из самых выдающихся мыслителей, революционных деятелей, мастеров слова и кисти XIX столетия не оказал столь глубокого, длительного и преобразующего воздействия на судьбы человечества, как Карл Маркс.

С расстояния более ста лет, в свете накопленного исторического опыта претворения созданной Марксом и Энгельсом научной теории в революционное действие, развития его дальше гением В. И. Ленина и созданной им Коммунистической партии,

первой победоносной пролетарской революции 1917 года, создания могущественной социалистической системы, социалистического содружества стран, идущих вперед под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина, в свете этих огромных, неизмеримых с прошлым социальных преобразований, изменивших мир до неузнаваемости, образы Маркса и его соратника Энгельса приобретают воистину титанические очертания.

Воздадим должное художнику, не убоявшемуся всех сложностей и проявившему дерзновение в решении основного для каждого автора вопроса — в выборе главной темы своей творческой жизни.

Первой работой, посвященной К. Марксу и написанной еще в тридцатые годы, был роман «Юность Маркса».

В большой многоплановой биографии вождя международного революционного рабочего движения XIX века самый выбор темы — юношеские годы Карла Маркса — был не случаен. Не выигрышнее или, говоря грубым профессиональным языком, не выгоднее для писателя — биографа Маркса было бы показать его в разгар политической борьбы, скажем, в германской революции 1848 года, или зрелым, многоопытным политическим руководителем в годы расцвета деятельности Первого Интернационала, или в период Парижской Коммуны 1871 года?

Но Галина Серебрякова осталась верна внутренне присущему ее творчеству духу историзма.

Постичь не только внешние обстоятельства, но и внутренний мир человека, оказавшего большее, чем кто-либо иной, влияние на последующий ход мировой истории, можно было лишь скрупулезно изучая историю революционного движения в Европе и генезис формирования Маркса как будущего вождя рабочего класса.

Трудность заключалась в том, что ранний период отроческой и юношеской биографии Маркса, гимназиста, студента, менее всего освещен в научной литературе и обоснован документальными материалами.

Как корреспонденту «Известий» и других советских газет в самом начале тридцатых годов писательнице посчастливилось побывать в Германии, Голландии, Бельгии, Франции и своими глазами увидеть те места, те города, которые были связаны с началом биографии Карла Маркса.

Эти зрительные восприятия, запечатлевшиеся на долгие годы, были, наверно, важнее многих прочитанных книг. Как позднее писала Г. Серебрякова, городок Трир, «быт которого не менялся десятилетиями ⟨...⟩ раскрыл передо мною дни детства и юности

Маркса. На узенькой Брюккенгассе отыскала я серый двухэтажный дом, где родился Маркс».

Из Германии Серебрякова поехала в Голландию и посетила небольшой городок Нимвеген, в котором родилась и жила мать Маркса, и еще менее известный городок Залтбоммел, там сохранился дом, где жил дедушка по материнской линии, купец Филипс, к которому часто ездил юный Маркс.

Вспоминая о своей работе над книгами о Марксе и Энгельсе, писательница признавалась, что она постоянно помнила их слова о том, как следует писать о революционных героях, сколь необходимо, чтобы эти люди «были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде» [1].

Это весьма важное для понимания творческого метода писательницы авторское признание. Вероятно, она могла бы поставить эти слова эпиграфом к любой из книг своей трилогии.

Галина Серебрякова считала, что для художника вполне допустим и даже обязателен домысел. Она полагала, что без домысла не может быть художественного произведения. Я бы предпочел, чтобы термин «домысел» был заменен более профессиональным для историков в собственном смысле слова термином «дивинация». Под этим термином подразумевается умение историка, изучившего большой конкретный исторический материал, угадывать и то, что не обосновывается документами, находившимися в его распоряжении. Иными словами «дивинация» — это дар угадывания неизвестного. В нашей литературе этот термин употреблялся ученым-историком Михаилом Николаевичем Покровским, который помог Галине Серебряковой в ее первых шагах в области исторической художественной прозы. М. Н. Покровский считал дар «дивинации» обязательным для историка. Он считал необходимым умение по немногим деталям, по малозаметным частностям воссоздавать невидимое, но угадываемое целое. Впервые это столь важное умение правильно соотносить точность в деталях с «домыслом» или «даром дивинации», — как угодно, дело не в словах,— было обнаружено в первой книге писательницы, с которой я начал предисловие. В «Юности Маркса» оно было продолжено и совершенствовано.

Этот роман — многоплановый, композиционно сложный, трудный по материалу и, прежде всего, по главной его задаче — раскрыть внутренний мир юного Маркса — я поставил бы чрезвычайно высоко в цикле работ Г. Серебряковой о Марксе.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 280.

Мастерское, очень подробное изображение эпохи, людей, прямо или косвенно причастных к судьбе Маркса, позволяет читателю лучше понять образ юноши, строй его мыслей и чувств.

Это делалось умело, тонко, ненавязчиво.

За «Юностью Маркса» последовало «Похищение огня», книги первая и вторая. То был массивный, большой том, насчитывающий около пятидесяти печатных листов и хронологически охватывающий период от 1844 года, от исторической подготовки создания «Союза коммунистов» и «Манифеста Коммунистической партии» до середины шестидесятых годов, то есть до образования Первого Интернационала.

В конце книги значился: 1960 год.

Потом последовали: заключительный том —«Вершины жизни» о К. Марксе и последний роман «Предшествие», посвященный верному другу и боевому товарищу Маркса — Фридриху Энгельсу, выносившему на своих плечах значительную часть тяжелого груза теоретической, идейной, повседневной политической борьбы, которую вели на протяжении полувека творцы научного коммунизма.

Бросим взгляд теперь на даты. Работа над первой книгой о Марксе была начата в 1930—1931 годах. Последний роман этого цикла — «Предшествие» помечен 1965 годом. Между началом и завершением этой величественной эпопеи лежат тридцать пять лет. Даже этот сухой цифровой подсчет сам говорит за себя.

Галина Иосифовна Серебрякова в этом главном труде своей творческой жизни осталась верна тем художественным принципам, которые так отчетливо выявились уже в ее первой книге. Ее повествование отмечено исторической достоверностью фактов и деталей.

В главе «Праздники истории» она рисует внешний образ несгибаемого французского революционера — Огюста Бланки. Маркс и Женни в марте 1848 года, в Париже, на площади Согласия слушают Бланки, выступающего с сиденья наемного фиакра перед благоговейно внимающей его словам народной толпой. Несколькими строками ниже автор сообщает, что после февральской революции Бланки организовал «Центральное республиканское общество», собиравшееся в зале Прадо. Пятьюдесятью страницами позже писательница рассказывает о так называемом «документе Ташро», появившемся в одном из изданий (оно точно названо — «Историческое обозрение»), в котором Бланки клеветнически обвинялся в предательстве, в выдаче якобы полицейским властям товарищей по тайному «Обществу времен года».

Я остановился так подробно на этом частном примере потому, что он характерен для художественного и исторического письма Г. И. Серебряковой. Ведь писательница пишет роман; казалось бы, она полностью вольна в изображении событий. Но чувство ответственности, сознание огромности обязательств, взятых на себя автором, рискнувшим воссоздать образ Маркса, эпоху Маркса, заставляет его быть предельно точным и достоверным в рассказе. Все, что сказано о Бланки — совершенно верно. Но эти детали (зал Прадо, «документ Ташро») известны лишь специалистам, и автор романа о Марксе был бы вправе не писать о них.

Серебрякова отвергла этот «облегченный» вариант и выбрала самый трудный путь: мастерству художника предшествует кропотливый, тщательный труд историка. Историк выясняет все подробности, все конкретные, требующие специального изучения обстоятельства жизни политических, революционных деятелей, чьи пути иногда даже косвенно (как в данном случае с Бланки) пересекаются с жизненным путем Маркса.

Читая эту монументальную эпопею о жизни Маркса, нельзя не поражаться обилию введенных в романы действующих лиц. Маркс показан не в узком кругу своей семьи, ближайших друзей, замкнутого лондонского мирка; его образ воссоздан на широчайшем фоне всей исторической эпохи. В романе действуют и Клеменс Меттерних, и Адольф Тьер, и Альфонс Ламартин, и Гортензия Богарне, и граф Морни, и Михаил Бакунин, и Дарья Христофоровна Ливен, и Александр Герцен, и Фердинанд Лассаль, и сколько-сколько еще других реально существовавших в истории лиц. Так через образы исторических персонажей, в какой-то мере воплощавших черты эпохи, автор воспроизводит живые приметы времени, вне которых не был бы в должной мере правильно воспринят образ Маркса.

Широко показывая эпоху Маркса, людей, события, идеи того времени, автор в живой, органической связи с окружавшим Карла Маркса внешним миром, шаг за шагом прослеживает его внутренний мир, его поиски, его рост, его научные раздумья и открытия, его неустанный теоретический труд, наконец, не в один день совершенное, постепенное превращение доктора Маркса в гениального мыслителя, создавшего совершенно новую, открывающую неисчерпаемые возможности революционную научную теорию, которая, будучи принятой революционным пролетариатом, призвана изменить и полностью преобразовать мир.

И тут автор, как бы отходя от так тщательно прослеженной истории жизни этого необыкновенного и вместе с тем столь скромного и негромко говорившего человека, суммируя, обобщая все,

о чем было неторопливо рассказано, приходит к осмыслению великого неповторимого подвига, совершенного доктором Марксом для судеб всего человечества, сопоставляя его имя с неумирающим образом легендарного Прометея.

В пятый и шестой, заключительный, тома этого Собрания сочинений писательница поместила, кроме новелл о женщинах эпохи французской революции, повесть «Одна из вас» (1958), книгу литературных портретов «О других и о себе» (1968) и семейно-общественную хронику, а вернее, роман «Из поколения в поколение».

«Одна из вас» — повесть о поколении восемнадцатилетних, мужавших вместе с юной Республикой Советов в сражениях гражданской войны и трудных буднях начала социалистического строительства. Повесть развивается, особенно в первой своей половине, несколько прямолинейно; она не осложнена ни непредвиденными композиционными поворотами сюжетных линий, ни углублением психологического анализа строя чувств и мыслей героини. Может быть, само название — «Одна из вас», обращенное к миллионам женщин рядовой и героической в то же время судьбы, женщинам — созидательницам нового мира, нового высшего социального строя — заставляло писательницу быть сдержанной и намеренно исключить из повествования все, что могло бы отделить и обособить скромную героиню повести от других, таких же, как она, мужественных, неустрашимых женщин трудных двадцатых годов?

Во второй половине повести и ее динамизм, и усложненность внутреннего мира героини возрастают. Но независимо от этого в некоторой однотонности и как бы суровости, скупой, не терпящей никаких словесных излишеств манере письма есть своя привлекательность. Это повесть о героических годах Советской республики — повесть без прикрас, без украшательства, как всегда у Серебряковой, — точная в деталях и правдивая.

Читатель прочтет эту повесть с вниманием и интересом, и он не только проникнется симпатией и сочувствием к нелегкой судьбе умной и внутренне стойкой молодой героини, но вместе с нею пройдет по дорогам гражданской войны, первым стройкам воздвигаемого здания социализма и познает радости и огорчения, победы и неудачи, неисчислимые трудности и лишения и непоколебимую уверенность в торжестве справедливых идей, которые волновали и воодушевляли поколение советских людей незабываемых двадцатых годов.

«О других и о себе» — собрание историко-литературных эссе (или портретов, или новелл,— я не придаю большого значения в данном случае терминологическим обозначениям), объединенных по существу тем, что они раскрывают одну большую историческую тему — историю нашего времени.

«О других и о себе» — книга о становлении советского общества, о его политических и государственных руководителях, о друзьях и защитниках нового мира за пределами нашей страны, больших писателях — Ромене Роллане, Бернарде Шоу, о мастерах культуры, о деятелях науки и искусства, о товарищах по цеху — писателях, с которыми судьба сводила автора.

Словом, это книга о разных и непохожих людях одной и той же эпохи. Г. И. Серебрякова мастерски применяет свой художественный прием: нарисовав с предельной, почти протокольной точностью какую-то характерную подробность или индивидуальную особенность изображаемого лица — например, холеные, пухлые руки и «всегда спокойный, приятный, как бы улыбающийся голос» Е. В. Тарле, она этой незначительной на первый взгляд деталью позволяет читателю воссоздать — «дорисовать» — отгадываемые черты портрета в целом.

Сказанное относится не только к чисто внешним штрихам портретного сходства. За портретной галереей выдающихся деятелей Советского государства и советского общества, мастеров советской культуры вырисовывается нечто большее — портрет эпохи, обобщающее изображение великого времени, в котором мы живем.

«Из поколения в поколение», несмотря на ограничительно скромный подзаголовок, данный автором: «Общественно-семейная хроника» — конечно, роман, полностью отвечающий всем требованиям, предъявляемым к этому жанру художественной литературы, роман многоплановый, со сложным переплетением личных судеб и сюжетных линий. В нем много действующих лиц; они принадлежат к разным поколениям, разным возрастным и социальным категориям, и читателю, даже при внимательном чтении, нелегко установить, какие же из действующих лиц должны быть сочтены главными. Автор, видимо, намеренно этого избегает: все герои и героини так сложно задуманного произведения играют определенную роль и как-то дополняют друг друга. Все же ведущая, основная линия романа связана с судьбами Балаковых — старшего и младшего поколения, но и эта линия не становится осью произведения и не доминирует над остальным.

«Из поколения в поколение» — это роман о нашем времени. В нем поднят ряд вопросов, ряд проблем, занимающих умы и сердца советских людей, точнее, советской интеллигенции, о кото-

рой идет преимущественно речь. Некоторые из этих вопросов только поставлены или намечены, и автор не торопится дать на них ответ, и, может быть, это и правильно, жизнь еще не подсказала окончательных решений.

Но на одном частном вопросе следует остановиться. Еще в начале предисловия отмечалось, что в этот роман о советском времени вплетается столь близкая интересам Г. И. Серебряковой тема французской революции XVIII века. По авторскому замыслу один из героев, играющих в произведении чуть ли не главную роль — Виктор Балаков,— работает над докторской диссертацией, посвященной проблемам якобинской диктатуры, и в конце романа защищает ее на ученом совете. Защита заканчивается провалом.

Что же, на защитах диссертаций, как известно, всякое бывает, и самый факт провала докторской диссертации не представляется чем-то чрезвычайным и не вызывает удивления. Не вызывает удивления потому, что герой занимает ошибочные позиции в своих изысканиях по поводу якобинцев, принижающие великую роль Сен-Жюста и Кутона, высказывает неверные суждения об Анрио. Разумеется, оппоненты опровергают его взгляды, доказывают их несостоятельность. И, видимо, Галина Серебрякова, обрекая своего героя на провал диссертации, тем самым осуждает его доводы. Тем не менее хотелось бы, чтобы автор превосходной книги о французской революции ради истины более четко вскрыл суть заблуждений Виктора Балакова — героя, пользующегося, как думается, расположением писательницы.

Собрание сочинений завершает последняя по времени написания, небольшая повесть «Незатейливый узор», датированная 1975 годом.

Название, выбранное автором, хорошо передает дух, содержание, спокойный, чуть-чуть грустный тон этого повествования, подводящего итоги прожитой жизни. Рассказ ведется от первого лица, рабочего, коммуниста, вступившего в партию еще до 1905 года, прошедшего через три революции, участника и первой мировой, и гражданской, и Отечественной войн, словом, человека, прожившего большую нелегкую жизнь, но так, почти до последних дней не сумевшего найти близкой женской души и простого счастья. Лишь в самом конце повествования давно привлекавшая его и ускользавшая Матрена, когда уже пододвинулась старость, все сильнее стали одолевать хвори, сама предложила разделить с ним судьбу.

Вот собственно и все.

Герой, впрочем, вернее будет сказать иначе,— рассказчик, повествующий о прошедшей жизни, так говорит о себе: «Кто

я такой? Обыкновеннейший человек, родившийся и живший в необыкновенную пору».

Эта скромность и простота рабочего человека, в старости оглядывающегося на пройденный путь, окрашивает в одни и те же неяркие, неброские цвета все повествование.

Это и в самом деле простой, незатейливый узор жизни, в которой было много лишений, испытаний, борьбы, труда, подвигов, о которых мало сказано и можно о них лишь догадываться, жизни, честной, мужественной, достойной, но в чем-то самом близком не очень счастливой.

Повесть и тоном, и манерой письма как-то непохожа на предыдущие книги писательницы. Значит ли это поиски автором новых путей? Так ли это? Будущее покажет.

Наконец, необходимо сказать и о том, что почти в равной мере присуще всем — внутренне близким по жанру и художественным методам — книгам писательницы. Это — меткий, точный, гибкий язык повествования, богатство словарного фонда художника. Г. И. Серебрякова умеет находить простые и верные слова; мы, быть может, не всегда достаточно ценим это высокое искусство. Эта способность находить и сочетать самые нужные — то есть трудно заменимые иными — слова придает ее рассказам об ушедшем особую притягательную силу.

Ко всему сказанному мне надо добавить лишь немногое, но существенное: наверное, все-таки самым главным, основным достоинством произведений Галины Иосифовны Серебряковой является то, что все они согреты талантом писательницы.

*А. З. Манфред*

# Юность Маркса

роман

# КНИГА ПЕРВАЯ

## *Глава первая*

## ЖИТЬ ТРУДЯСЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ В БОЮ

### 1

Прошло несколько дней после решающего четверга, 27 июля. Телеги, запряженные флегматичными першеронами, увозили с улиц Парижа окровавленные исторические останки — изрешеченные пулями мешки, разбитые станки, мебель и вспоротые матрацы, служившие баррикадами.

На искалеченных мостовых еще валялось оружие восставших: ножи, пистолеты, пики, шашки, железные прутья, бревна.

Кое-где на раненых домах висели, морщась от ветерка, полотнища: *«Да здравствует республика!»* Их — под крики: «Да здравствует король!» — срывали нарядные дамы и кавалеры, бегущие к Тюильри — дворцу нового монарха.

Девятого августа, на следующий день после восшествия короля на французский престол, Дюмолар получил приглашение к Луи-Филиппу Первому.

Правительство считало полезным обласкать и перетянуть на свою сторону кое-кого из чиновников Наполеона, попавших в немилость после реставрации.

Возвращение Бурбонов лишило Бувье-Дюмолара почестей и остановило его восхождение по служебной лестнице. Пятнадцать лет прошло для опального сановника вдали от Парижа и двора. Выгодно женившись,

он проводил годы в путешествиях, брюзжа и оплакивая прошлое, заигрывая с оппозиционерами, но не решаясь действовать. Июльскую революцию Дюмолар воспринял как час долгожданного возмездия Карлу.

«Лучше служить реальному королю, чем предаваться нереальным надеждам на победу потомков Наполеона»,— подумал он, облачаясь в парадный фрак.

В полдень опальный чиновник поехал к Луи-Филиппу — в ослепительной карете с заново позолоченным гербом.

Покуда Дюмолар был на высокой аудиенции, его слуга Жером бродил по французской столице. Он угрюмо смотрел на увядающие гирлянды и украшения, вывешенные на домах в честь коронации. На восьмиугольной Вандомской площади Жерома оттеснила в подворотню толпа зевак. С вершины гранитной колонны стаскивали огромную лилию под белым знаменем — герб низверженных теперь Бурбонов,— герб, сменивший некогда статую Наполеона.

Из близлежащего Тюильрийского сада неслись звуки вальса, наигрываемого духовым оркестром.

Прошло несколько месяцев, и Дюмолар приказом короля был назначен префектом влиятельного и богатого департамента Роны. В мае 1831 года он в сопровождении семьи и слуг выехал в Лион.

## 2

— Ты — корсиканец, Жером, и всего на какой-нибудь дюйм выше Наполеона. Кто знает, на каком острове быть тебе погребенным! — Бувье-Дюмолар гулко засмеялся. — Не отрицай, старина, что в июльские дни демагоги выучили тебя требовать республики. Знаю, ты думаешь, что тебе и твоим друзьям я обязан своей должностью префекта. Пусть так! Еще год-другой, и мы наконец в Париже.

— Не думаю, чтоб королевские министры подпустили вас к себе близко,— хмуро отозвался Жером.

Префект Дюмолар, гостивший в имении негоцианта Броше, спешил на охоту, и потому обычный утренний обмен мнениями между ним и слугой значительно сократился. Примерив цилиндр и согнув в руке хрустящий английский хлыст с золотой рукояткой, префект напра-

вился к выходу, но на пороге задержался, отдавая последние приказания:

— Свези письмо мэру и побывай в штабе Роге. Повыспроси у денщиков, как здоровье генерала: впрямь болен или притворяется, чтобы избежать встреч со мной на заседаниях?

Бувье-Дюмолара и его слугу связывали двадцать семь прожитых бок о бок лет.

В 1804 году молодой наполеоновский чиновник Бувье, приехавший на Корсику с ответственным поручением от императора, встретил в трактире близ Аяччо дюжего черноволосого пастуха, едва объяснявшегося по-французски. Земляк Бонапарта упросил приезжего начальника взять его с собой и с тех пор служил ему безукоризненно. Очень скоро Жером стал живой летописью деяний Бувье-Дюмолара, его довереннейшим наперсником. Слуге были известны привычки и вкусы любовниц Дюмолара, причины дуэлей, имена секундантов, города и страны, куда заносила служба наполеоновского администратора.

Во времена империи, как и в годы революции, чиновники неоднократно меняли местожительство и характер работы.

Послужной список Бувье-Дюмолара был длинен. Император ценил расторопность, такт и знание чужеземных языков в обедневшем дворянине и посылал его на ответственные посты в завоеванные земли. Бувье-Дюмолар умел сглаживать шероховатости имперского режима, и аристократия Венеции, Рагузы, Кобурга охотно принимала его как равного.

Род Бувье, разоренный 1789 годом, принадлежал к старой, дореволюционной французской знати.

Жером помнил нынешнего лионского префекта наполеоновским офицером, бравым администратором. Именно он, Жером, передал префекту Тан и Гаронны скрепленный императорской сургучной печатью конверт, в котором дворянину Бувье жаловали титул барона.

## 3

Едва охотники покинули обширный двор «Виллы изобилия» негоцианта Броше, Жером на пегой лошаденке отправился в Лион, расположенный в двадцати трех милях от поместья.

Октябрьский воздух был возбуждающе ясен. Дорога в город шла вдоль Роны, вода которой в это утро была, как и небо, светло-серого цвета. Придорожные клёны и каштаны грустно роняли на землю большие разноцветные листья. Жером украсил ими сбрую лошади.

Старый корсиканец возвращался мыслями к родному острову, которого он не видел почти тридцать лет. Глаза тоскливо искали нетронутых лесов и скал, но кругом были обжитые холмы и тщательно разделанная равнина.

В деревне, возле колодца, стоял распряженный дилижанс, направляющийся в Дижон.

В ожидании смены лошадей пассажиры завтракали в трактире «Маленький савояр».

Жером не нашел знакомых среди степенных комиссионеров и, залпом выпив кружку бордоского вина, поехал дальше. Близость города подчеркивалась все увеличивающимся движением на дороге.

Неуклюжие огромные пикардийские кони волокли крытые брезентом фургоны, до отказа заставленные ящиками с грузом шелка и бархата. Они направлялись на Лейпцигскую ярмарку.

Жером обогнал караван телег, везущих в текстильную столицу итальянский сырец.

Внезапно настойчивый окрик заставил ездока обернуться. На пригорке, под вянущим, осыпающимся кленом, сидел, вытянув длинные ноги, рыжий парень в полотняных измазанных штанах и блузе навыпуск.

— Эй, приятель! — кричал он, размахивая палкой. — Далеко ли до Лиона, приятель?

Жером, никогда не лишавший себя возможности побраниться, остановил коня.

— Бездельник! — заорал он, приподнимаясь на стременах. — Город у тебя под носом, слепой лодырь! Вставай, дурень, и протри глаза. Останавливает занятых людей пустой болтовней.

— Я не здешний,— сказал бродяга с заметным иностранным акцентом и медленно встал на ноги. Он был чрезвычайно худ и казался изнемогающим от усталости.

— Немец? — спросил Жером на языке, которому выучился в Кобурге.

Прохожий утвердительно мотнул лохматой головой.

— Откуда? — бросил Жером небрежно, снова обрадовав рыжего парня звуками родного языка.

— Иду из Женевы, обошел Швейцарию, а сам я из Дармштадта: говорили, в Лионе хватает работы и для иностранцев.

— Работа будет, да не прокормит,— отчеканил Жером.

Натянул поводья и вскоре скрылся за поворотом.

Иоганн Сток, девятнадцатилетний портняжий подмастерье и искусный ткач, второй год странствовал вдоль Рейна. Теперь через Савойские горы он пробирался на Рону.

4

После обильного ужина господин Броше повел гостей осматривать обширное имение. «Вилла изобилия» была куплена негоциантом всего год назад на правительственных торгах. Это был квадратный дом с полукруглыми выступами, витыми колоннами, выстроенный мужем фаворитки Людовика XV в стиле того времени. В годы революции в «Замке королевы», как называлось тогда поместье, была казарма. Мраморные колонны и стенные фрески замазали лозунгами:

«Раздавим гидру тирании!»

«Свобода, равенство и братство!»

Наполеон подарил прекрасный запущенный парк с безносыми нимфами и изуродованными вакханками одному из своих маршалов. Но маршал привел в порядок только пять из шести подаренных ему поместий. Он успел лишь переименовать «Замок королевы» в «Замок императрицы». Поместье медленно разрушалось: лионских буржуа не соблазняла дворянская обитель, построенная для празднеств и удовольствий. Вскоре после Июльской революции господин Броше приобрел поместье за бесценок.

Лионские буржуа, в противоположность своим столичным собратьям, недолюбливали чрезмерную роскошь. Жены многих шелкоткацких магнатов были взяты из Швейцарии, где их воспитывали в строгости и ханжеской простоте. Тем не менее Броше решился, как он сам говорил, «доставить себе удовольствие, равное капиталам».

Броше, родом из Парижа, считался пришлым человеком в Лионе, куда переехал, женившись на дочери крупного торговца бархатом. Своим богатством он был обязан главным образом реставрации, в годы которой получил

огромную прибыль на займах по уплате контрибуции союзникам.

После смерти тестя Броше вложил деньги в лионскую мануфактуру и продолжал богатеть.

Он назвал «Замок императрицы» «Виллой изобилия», затратив на отделку свыше сотни тысяч франков,— к удивлению лионского буржуазного общества.

Глухой сад был вырублен и превращен в цветник, в отремонтированном доме появились сомнительного качества картины, скупленные агентами в провинции и столице. Чучело медведя с протянутым блюдом для визитных карточек стояло у входа; разбитые нимфы уступили место каменным статуям, символизирующим веру, надежду и добродетель. Выписанный из Италии скульптор оформлял и воплощал замыслы негоцианта. Вместо обветшалых беседок — «храмов любви и восторга» — Броше выстроил два круглых, похожих на цистерны, глухих сооружения, внутри которых устроил панорамы. Одна иллюстрировала библейскую притчу о самаритянине и нищем, другая представляла обращение негров в католичество. Оба эти сюжета до слез трогали господина Броше.

В хозяйском кабинете стены были увешаны всевозможным оружием. На самом почетном месте висел кухонный нож с деревянной рукояткой, которым, по заверениям Броше, был убит Марат.

Только в комнатах дочери сохранился стиль старого барского дома. Амур и Психея продолжали целоваться в будуаре Генриетты Броше. Балдахин над кроватью был того же палевого цвета и так же украшен птицами, как и в те дни, когда под ним спала расточительная королевская фаворитка. Единственный божок, украшавший бассейн перед террасой дома, был Меркурий.

Генриетта Броше, пухлая краснощекая девятнадцатилетняя девица, вот уже два года как покинула школу при монастыре урсулинок, где воспитывались наследницы титулов и миллионов. Барышня Броше читала целыми днями романы, а перед сном — молитвы. Жизнь в Лионе казалась ей унизительно-прозаической. Генриетта мечтала о замужестве — главным образом как о перемене места.

«Париж,— писала она подруге,— единственный уголок на земле, где ничто грубое не коснется моего мечтательного, печального сердца».

Жорж Дюваль, адъютант генерала графа Роге, командира войск, расположенных в Лионе, человек с безукоризненно тонкой талией, казался Генриетте Броше приятным спутником в столицу — «в сей оазис в черством мире».

— Могли бы вы из любви к женщине подать в отставку и поехать ради нее на край света, Жорж? — спрашивала Генриетта, покуда отец нахваливал гостям свои конюшни.

— Но, сударыня, как истинный сын Франции, я готов сложить голову на поле брани, однако чести я не отдам никому. Отставка в двадцать четыре года была бы позором и лишила бы меня наследства.

— Барон,— позвала Генриетта Дюмолара, тоскливо разбрасывающего каблуком гравий дорожки. — Любите ли вы луну? — Она жеманно протянула руку по направлению к выползающему из-за холма полумесяцу.

— Признаю ее полезным светилом, значительно, однако, уступающим газовому фонарю, последнему изобретению нашего века,— ответил тот.

Господин Броше, только что назвавший сумму, затраченную на молочную ферму, к которой направлялись гости, обернулся на слова префекта, аплодируя.

— Браво! Ответ, достойный эпохи пара, мой друг,— добавил он, фамильярно хлопнув барона по плечу.

— Ах, какая, однако, проза! — капризно заявила барышня Броше. — Луна — солнце смерти. Взгляните друг на друга: мы прозрачны, мы сини, мы — увядшие цветы.

Господин Броше в негодовании взмахнул черным зонтиком.

— Вот за эти бредни, господа, я платил святым монастырским грешницам десятки тысяч франков! Моя мать, не стоившая моему деду сотой доли моих затрат на Генриетту, не умела читать и не имела времени думать о луне. Зато она заложила основу благоденствия семьи, открыв булочную возле Гревской площади. Отец нашего короля, принц Филипп Эгалите, весьма хвалил матушкины печенья. Не угодно ли посмотреть сантим, который он дал ей в день суда в уплату за сдобный хлебец?

Господин Броше вынул из бисерного кошелька, подаренного ему Генриеттой ко дню рождения, стертую монету времен первой революции и подал ее префекту.

Бувье-Дюмолар ничем не обнаружил того, что видит

реликвию в восьмой раз на протяжении последнего месяца.

С воцарением Луи-Филиппа среди самоуверенных буржуа входило в моду иметь в числе предков умеренных якобинцев.

— Вы похожи на Альфреда де Мюссе, Жорж,— шепнула барышня Броше. — У вас та же гордая шея. Ах, взгляните вверх!..

Ночь темна...
Над пожелтевшим колокольни шпилем
Луна,
Как точка над «i»... —

патетически пришепетывая, декламировала Генриетта «Балладу о луне» входившего в моду поэта.

Не око ли ты
    одноглазого неба?
Какой лицемерный
    херувим
Рассматривает нас
    из-под твоей
    бледной маски?

Адъютант генерала Роге не решился сознаться в том, что доселе не слыхал стихов Мюссе. В свободные часы он отдавал предпочтение картам.

У фонтана разговор коснулся холеры. Напоминание о страшной неведомой болезни, подползающей с востока к Франции, пронеслось ледяным дуновением. Дамы зябко кутались в мягкие шали. Нервно вспыхивали трубки под усами мужчин.

— Лимоны и ромашковый настой предохраняют от болезни, но, впрочем, поскольку она передается по воздуху, уберечься невозможно,— авторитетно заявил почитаемый в Лионе врач, поглаживая завитую по-ассирийски бороду.

Ночной ветер задувал свечи в серебряных канделябрах, которые несли лакеи. В «Вилле изобилия» оркестр доигрывал увертюру из Беллиниевой «Нормы».

Начались танцы. Господин Броше увлек префекта в диванную, где девятнадцать лионских буржуа молча играли в карты. Появление хозяина под руку с префектом прервало игру.

Бувье-Дюмолар поймал вопросительные взгляды, обращенные к нему, попытался ускользнуть от расспросов.

— Парижские газеты,— сказал он, небрежно развалившись в кресле,— толкуют о премьере оперы «Танкред». Не верится, что пучеглазая Паста превзошла в игре божественную Малибран. У нее холодный тембр и надтреснутые верхи.

Фабриканты угрюмо помалкивали. Оперные дивы их не интересовали.

— Жена спросила меня,— сказал, шамкая, старик с позеленевшими от нюхательного табака усами, — сможем ли мы уберечь дом от холеры? Я ответил, что если мы живы, несмотря на вымогательства рабочих, то и холера нас не одолеет.

— Воистину то, что мы переживаем, пострашнее эпидемий, — начал Броше. — Город кишит недовольными. Восьмого октября, всего неделю назад, рабочие, предводительствуемые демагогами, решили требовать повышения заработной платы. Негодяи не понимают, что Лион — не Англия, где паровая машина значительно удешевила кусок шелка. Проклятые англичане довели цену за штуку до пятидесяти франков против наших девяноста... Мы окружены, стиснуты неслыханной конкуренцией: Вена, Эльберфельд, Кёльн, Милан — двадцать тысяч конкурирующих станков, не считая британских.

Броше дрожащим голосом подсчитывал потери на Франкфуртской ярмарке. Фабриканты сочувственно кивали головами.

— Было время,— сказал другой старик в коричневом парике и старинном зеленом камзоле, потомок древней династии лионских фабрикантов,— когда лионский шелк снабжал всю Европу, проникая в Азию и Африку. Русские царицы и богатые скандинавские фермерши не носили иных тканей. Господь бог был милостив к нам. Хвала ему! Теперь не то. — Голос купца стал скрипучим и кулаки сжались.— Мы, как пираты, бросаемся на вновь открытые земли, деремся и торгуем в убыток, гоняясь за Грецией, и боремся за турецкие и алжирские гаремы. Мы заискиваем перед бабьем всего мира, угождаем, захваливаем. И в момент такого кризиса рабочие и ловкие содержатели мастерских пытаются бунтовать. Господин барон, нас — цивилизованных людей — только пятьсот в Лионе. Мы окружены тесным кольцом врагов. Их десятки тысяч,— тридцать тысяч ткачей, около десяти тысяч владельцев станков, которые не менее опасны в часы восста-

ний. Я не знаю числа учеников и подмастерьев — этого сброда, способного на все. Берегитесь, барон, развязывать стихию! Вы забыли, на что способна чернь. Вспомните, господин префект, вас послал король блюсти наши интересы! — Старик наступал на префекта, грозно размахивая рукой у его лица.

— Друзья мои,— ответил префект департамента Роны, немного растерявшись,— заверяю вас, нам не грозит анархия, стихают страсти, проясняются умы, люди возвращаются к порядку. Будем тверды. Монархию беспокоит рабочий вопрос, но она сумеет удержать рабочих в пределах разумного. Мы знаем, как ценит монархия труд промышленника. Обогащайтесь, потому что ваше богатство — богатство нации, благодеяние для рабочих.

## 5

Иоганн Сток очутился в предместье Круа-Русс уже далеко за полночь. Босые ноги ныли, и сведенный голодом желудок причинял непереносимые страдания. Оставив позади шлагбаум, Иоганн свернул в первую попавшуюся улочку и пристроился у низкого дома, подпиравшего сарай, охраняемый болтами и гиреподобным замком. Сток заснул, едва голова его припала к каменной ступени. На рассвете он был разбужен бесцеремонной женской ногой. Широкая холщовая юбка касалась его лица, большая мягкая ступня грозила смять нос. Ему удалось, однако, убедить женщину, что он вовсе не пьян и дожидался утра, чтобы отыскать мастера Буври, которому несет поклон от родственника.

Вскоре Иоганн стучался у двери мастерской Шарля Буври. Владелец семи станков получил от Дандье изрядный заказ, но, несмотря на то что безработица давно покинула стены его дома, был опутан долгами и жил впроголодь вместе с наемными рабочими. Налоги и низкая поштучная оплата выделанного шелка заставляли старика не раз подумывать о ликвидации мастерской.

— По мне, лучше поступить на большую фабрику, к богатому хозяину, чем маяться, как мы, в своих конурах,— говаривал часто Буври в ответ на сетования других содержателей мастерских, пугавшихся наступления машин на ручной ткацкий станок.

За станками Буври работали четверо наемных рабо-

чих, сам Шарль и жена его Катерина. Седьмой станок пустовал, с тех пор как заболел единственный сын стариков. Он умирал от чахотки на чердаке дома. Рабочие жили тут же, в мастерской, ночуя под станками, столами и на печи.

Тщательно расспросив Иоганна и положившись на рекомендацию женевского свояка, Буври предложил ему работу. Он объяснил, что сырье дает заказчик и, согласно вековой традиции, рабочий получает за выделку штуки шелка половину суммы, заплаченной за нее хозяину станка негоциантом.

— Кровопийцей, — пояснил Андрэ, самый молодой из ткачей, темноглазый хилый человечек с пушистой головой.

Проработав весь день до поздней ночи, Сток заснул под столом счастливейшим сном.

Он имел отныне кров и кусок хлеба. За каждый проработанный день Буври обещал платить рабочему восемьдесят сантимов — сумму, едва хватающую на то, чтобы оплатить старой Катерине постой и кормежку.

## 6

Вопреки предсказаниям Бувье-Дюмолара, страсти не стихали, и, по мнению негоцианта Броше, анархия надвигалась на город, опережая холеру.

В середине октября префект принял делегацию от рабочих и хозяев мастерских, которые просили у него защиты.

Первым заговорил седой Буври. Он начал с жалоб на непосильные новые налоги.

— Господин префект, — сказал старик, переминаясь с ноги на ногу и пощипывая седую бороду.— Нет предела произволу фабрикантов. За последние годы они снизили вдвое и более того плату за выделанную штуку шелка. Мы работаем по восемнадцать часов в сутки, но не можем себя прокормить. Мой рабочий Андрэ выработал за этот год четыреста пятьдесят франков, а пропитание, масло для лампы, квартира и налоги потребовали пятьсот пятьдесят. Как быть Андрэ? Спросите меня, господин префект: что ты ел сегодня, Буври? Но вы знаете — мы голодаем... Король хочет счастья своим подданным и, наверно, не знает, что в Лионе рабочие и владельцы мастер-

ских принуждены собирать милостыню. Шесть тысяч станков брошены, потому что труд более не дает хлеба. Нет управы на фабрикантов. Мы просим вас именем бога и короля, нашего отца на земле, установить тариф, чтобы фабриканты не могли самовластничать и обрекать нас на муки и лишения. Тарифа требуют все лионские рабочие.

Буври замолчал и передал префекту заготовленную петицию.

Рабочие заявляли, что хотят и должны положить предел своему жалкому состоянию, но не желают прибегать к насильственным мерам: «Рабочий класс, просвещаемый с каждым днем все более факелом цивилизации, знает, что, только соблюдая порядок и спокойствие, он получит доверие — основной базис торговли». Петиция заканчивалась обращением к Бувье-Дюмолару: «Зная, господин префект, до какой высокой степени вы по справедливости обладаете любовью управляемого вами населения, рабочая комиссия просит вас внести в прения, которые должны открыться, ваше благосклонное посредничество и даровать обеим заинтересованным сторонам одинаковое покровительство, которое обе заслуживают. Веря в вашу любовь ко всему, что касается счастья людей и гармонии, которая должна существовать в отношениях между всеми классами общества, мы возлагаем на вас наши надежды».

«Вполне грамотно и вполне умеренно»,— подумал про себя префект и, дочитав обращение, встал с кресла и пожал руку Буври и его товарищам, обещая принять на себя заботу об их нуждах.

Воспоминания об Июльской революции были еще очень свежи в памяти лионского префекта. Пройдя солидную школу революции, директории, империи, реставрации и вновь революции, он понял огромные возможности и силу «черни». Он не напрасно был свидетелем возвышения маленького корсиканца и многочисленных превращений, творимых революцией.

Его мать — аристократка — принуждена была некогда прирабатывать тяжелым физическим трудом, и детство Бувье прошло в бедности.

Подчеркнутое внимание, вежливость префекта расположили в его пользу делегатов лионских ремесленников и пролетариев, привыкших к наглой грубости и оскорбительному чванству негоциантов и их посредников.

В ответ на обещание помощи Бувье-Дюмолар получил

благодарственное письмо от имени всех рабочих города, которые заверяли, что доброта его запечатлена в сердцах всех трудящихся.

Незадолго до намеченного созыва смешанной комиссии из фабрикантов и рабочих лионский префект послал с нарочным в Париж секретное письмо королевскому министру финансов. Разные чувства — негодование по поводу чрезмерных притеснений рабочих, страх за могущие возникнуть осложнения, желание выдвинуться, разыгрывая роль посредника между враждующими сторонами, и вместе нежелание навлечь недовольство центральной власти — боролись в Бувье-Дюмоларе. Однако ни одно чувство не побеждало.

Префект негодовал, что ввиду невыплаты бургонскими и бордоскими виноделами сорока миллионов франков правительство увеличило прямые налоги, в том числе и квартирный. Увеличение налогов всей своей тяжестью обрушилось на плечи рабочего, «и это,— писал он далее,— на другой день после революции, которая, как должен был думать рабочий класс, сделана в его интересах, и это — при наступлении зимы, увеличивающей нужду. Против безобразий нового обложения вопиют справедливость, разум, конституционная хартия и осторожность». Главное — осторожность!

Впервые за пребывание на посту префекта Бувье-Дюмолар делился с министром своим беспокойством. Он предостерегал от опасного недовольства среди беспокойного населения; беспокойным населением он считал рабочий люд. Но, не желая быть зачисленным в число неблагонадежных, наперекор всему сказанному, заканчивал он уверением в том, что суровый закон все же удастся выполнить, как того хотят в столице.

## 7

Иоганн Сток работал не покладая рук пятнадцать — шестнадцать часов. Несколько су, которые он получал на руки, уходили на покупку масла для лампы. Постепенно «немец», как звали Иоганна товарищи, присмотрелся к окружающему. Старик Буври и его жена были очень почитаемы в рабочем городе, и к мастерской в праздничные дни стекалось множество ткачей со своими нуждами и сомнениями.

Разговоры вращались преимущественно вокруг беды, нагрянувшей весною,— вокруг заработной платы, настолько недостаточной, что она едва покрывала изнуряющие вконец налоги. Иоганн Сток был свидетелем того, как писалась петиция к префекту за тем самым столом, под которым спали он и курчавый Андрэ. Сын Буври Жан, поддерживаемый матерью, кашляя и харкая кровью, сполз с чердака и принял участие в составлении документа. Иоганн знал, что некогда это был здоровенный парень, первый забияка квартала. Жан дважды уходил в Париж, где познакомился с Буонарротти. В Лионе Жан руководил Июльской революцией. Но колючая пыльца шелковичных коконов разъела легкие Жана, как разъедала теперь горло Андрэ. Чахотка была обычнейшей болезнью среди лионских пролетариев.

У хлопотливой, доброй Катерины умерло уже трое сыновей, теперь умирал четвертый. Кашляла и шестнадцатилетняя дочь Буври Женевьева, молчаливая девушка с неразвившимся узеньким тельцем ребенка и беспокойными, чуть покрасневшими глазами.

Женевьева выделывала богатые материи — шелковый бархат — в большой мастерской на набережной Роны. Она уходила работать на восходе солнца. Вечером, вернувшись домой, Женевьева усаживалась на скамье и, не обращая внимания на шутки и заигрывания рабочих, делала букетики из лоскутков шелка и бархата. Искусственные цветы быстро входили в моду и давали кое-какой дополнительный заработок. Единственным сокровищем семьи Буври был кованый сундук, куда складывалось приданое дочери: куски полотна, штука шелка, скатерти, суконный салоп, две-три шали да вязаный капор. Если удавалось продать в дорогой магазин на площади возле биржи букетики шелковых фиалок и бархатных незабудок, Женевьева покупала ленты и тюлевые чепцы, которые немедленно прятала в сундук.

Но не столько ее приданое, сколько сама Женевьева служила постоянной приманкой для холостых рабочих мастерской отца Буври.

Иоганн Сток тоже попробовал приударить за хозяйской дочкой, нежно ущипнув ее за локоть, но его с позором отбросили к стене и обозвали глупым бревном. Несмотря на кажущееся тщедушие, Женевьева была сильна и гибка. Никто лучше ее не танцевал карманьолы и плав-

ных бургундских танцев, которые принесла в город из деревни старая Катерина.

Женщины в семье Буври были религиозны. Накануне каждого праздника мать и дочь, под насмешки старого Шарля и безбожника Жана, отправлялись молиться в церковь Фурвьер на Зеленом Холме. Для неграмотных женщин торжественные молитвы в разукрашенной церкви были главным развлечением.

Однажды, незадолго до появления Стока в семье Буври, Женевьева по дороге из церкви, на большом мосту Сен-Клэр, потеряла подвязку. Густо покраснев, маленькая работница подхватила спустившийся чулок и побежала, придерживая его рукой. Догнав мать, смущенная Женевьева оглянулась, но успокоилась, увидев, что на мосту никого нет. Малорослого человека в кофейного цвета рединготе, в сияющем цилиндре, с желтой тростью в руках, шедшего позади, она не приметила. Невольный свидетель происшедшего сам напомнил ей эту сценку неделю спустя, подкравшись к открытому окну мастерской бархата на набережной Роны.

Этот франт был комиссионером господина Броше. От него зависела раздача заказов фабрикантом тем или иным мастерским, проверка выполнения и расчет. Господин Каннабер мог дать заработок рабочим и хозяевам станков или обречь их на голод. Влияние его было огромно, поступки — бесконтрольны. Рабочие ненавидели полуприказчиков, полупосредников негоциантов. Хозяева мастерских принуждены были заискивать и давать им взятки. Женевьева содрогнулась, почувствовав наглый взгляд Каннабера на своей шее, груди, ногах. Он прищуренным глазом оценивал ее, как штуку шелковистого бархата, причмокивая губами и поглаживая рукой цилиндр. Каннабер одобрил товар.

— Приходи ко мне в контору, девчонка,— шепнул он, приподнимаясь на носках,— да надень праздничные подвязки.

## 8

Отец Буври объявил 25 октября нерабочим днем. Вместе со своими подмастерьями он отправился в полдень к дому префекта, где должна была состояться встреча фабрикантов и рабочих.

Иоганн Сток впервые вышел за пределы темной, грязной улочки, где находилась мастерская.

— В аду живем,— говорил ему Андрэ.

Андрэ задыхался в узких, унылых улицах с переплетающимися домами, образующими тупики. Между зданиями были протянуты веревки, на которых висело серое белье, назойливо пахнущее плохим мылом и острым жавелем.

Андрэ всего три года, как покинул деревню.

Иоганн Сток не замечал угрюмой нищеты вокруг. В каждом городе, попадавшемся на пути от Дармштадта до Лиона, он видел такие же улицы, такие же дома. Прилипчивый запах пота, темных подворотен, тряпья, не проветриваемых перенаселенных жилищ, гниющей пищи был знаком ему и привычен. Иоганн втягивал его раздувающимися ноздрями, с удовольствием восстанавливая в памяти воспоминания детства. Нищета была интернациональна и одинакова по Рейну и по Роне, благодаря чему немец всюду чувствовал себя дома. Он терялся лишь там, где улицы раздвигались, ноги ступали с пыльной земли на мощеный тротуар, где по обе стороны вместо низких конур возвышались большие, украшенные каменными изваяниями дома. Там Сток терял обычную самоуверенность, стремясь поскорей уйти в глухие переулки.

Но 25-го перед ратушей выстроились рабочие, и Иоганн, затерянный среди них, впервые заметил, что дома знати не так уж велики и страшны, что площадь мала, а улицы хоть и чисты, но узки для десяти тысяч рабочих, запрудивших их и весело распевающих «Марсельезу».

Около четырех часов терпеливо ждали рабочие, ничем не нарушая обычного порядка. Стемнело. Зажглись лампы, осветив плоский зал, где за столом, покрытым сукном, сидели в высоких креслах уполномоченные. Фабриканты упрямо торговались, не уступали рабочие, и председательствующий Бувье-Дюмолар время от времени брал слово, чтобы усмирить нарастающее раздражение и упорядочить прения. Его вмешательство с восторгом принималось рабочими, но вызывало откровенное негодование негоциантов...

— Предатель! — шипел Броше.— Трудно поверить, что этот человек имеет доход в сорок тысяч франков и

является членом приличного общества. Он ведет себя как голодный демагог.

Жером стоял у окна господского кабинета и, приоткинув суконную портьеру, смотрел на площадь. Рабочие в белых неподпоясанных блузах, раздуваемых ветром, казались ему — сверху — горбунами. Как они хилы, узкогруды, бледны!..

Поздно вечером сто сорок уполномоченных лионских капиталистов согласились принять предложенный рабочими тариф оплаты труда, исчисляющийся в грошах, но дающий возможность трудящимся вести сколько-нибудь сносное существование.

Бувье-Дюмолар с балкона префектуры сообщил толпе о достигнутом соглашении. Крики радости огласили воздух, полетели шапки, женщины зарыдали, мужчины обнялись.

До рассвета по городу неслось:

«Да здравствует префект! Да здравствует наш отец!»

Дюмолар провел ночь без сна.

«Король,— думал он,— поступил бы так же. Главный враг сейчас — карлисты, стремящиеся поднять Вандею против Луи-Филиппа. Нужно привлечь рабочий класс на нашу сторону для борьбы за установившийся порядок, за нашу власть. Всякое средство годно. Беднякам нужно очень немного хлеба и немного человеческого отношения».

Бувье вспомнил Луи-Филиппа, который вскоре после Июльской революции разгуливал с неизменным зонтиком по Парижу, скромно подавая милостыню нищим и выпивая рюмочку вина за стойкой вместе со случайным мастеровым.

«Я действую, как он; не следует обращаться нерасчетливо со столь страшной силой. Президент палаты Перье не понимает этого, как и старый рубака Роге. Нагайки и плетки должны действовать после слова, а не сначала. Эта возможность остается за нами. Уроки революции забываются многими, едва стихла пальба и погребены жертвы. Наши лионские мануфактуристы увлеклись и будут, пожалуй, ворчать на меня, но я докажу двору, что мы можем не только сэкономить кровь и патроны, но и получить опору против сторонников Бурбонов и парламентских крикунов».

Поутру слуга, принесший поднос с завтраком, нашел Бувье-Дюмолара в кресле у потухшего камина в парадном вчерашнем мундире. Нависшие брови Жерома показались Бувье еще чернее и гуще.

— Дурные вести, старина? — спросил он, принимая поднос.

— Старый петух Роге вызвал в Лион из Вьенна три эскадрона драгун; одновременно гарнизону приказано быть в боевой готовности.

Бувье вскочил.

## 9

В то же утро Катерина Бbabри зажарила баранью ногу и, полив ее жирным соусом, подала мужу и рабочим к обеду.

В мастерской больше месяца не пахло мясом. Баранья нога символизировала вчерашнюю победу, и настроение за столом было праздничным. Бbabри заставил жену достать бутыль наливки, предназначавшуюся к пасхе. Больного Жана снес на руках Иоганн. Пили здоровье префекта, немцев и, по требованию Жана, провозгласили тост за республику, чем старик Бabри, почитавший короля, остался недоволен.

Иоганн затянул немецкую песню; заунывный молитвенный напев понравился слушателям и был подхвачен ими.

Бог создал всех людей равными:
И рабочих и господ,—

пел немец.

Для всех земля и воздух,
Для всех труды и заботы,
Для всех отдых в доме,
Для всех могилы хлад.
Бог создал людей равными:
И рабочих и господ.

— А-ля-ля-ля,— тянули за ним французы.

В час дня все стали на работу.

## 10

Женевьева не знала покоя с той минуты, как господин Каннабер приказал прийти к нему в контору. Она перестала делать фиалки и незабудки в вечерние часы после работы и не открывала сундука, чтобы порыться в своих сокровищах. Ни Андрэ, ни Сток не могли вызвать ее улыбку, несмотря на все ухищрения. Старая Катерина не на шутку всполошилась, но, не добившись от дочери объяснений, решила пойти к знакомой гадалке за советом.

Девятипудовая старуха Деи с помощью кофейной гущи отыскивала женихов девицам и вдовам, давала женам средства против запоя мужей, помогала в поисках украденного и охотно становилась поверенной сердечных тайн. Она неизменно появлялась на похоронах, свадьбах, крестинах, чудовищно толстая, пахнущая мятой, всегда одетая в одно и то же лиловое платье. Только лента на ее крахмальном чепце менялась в зависимости от причины посещения. На выносе она была черной, над купелью новорожденного — голубой, на венчании — розовой. В дни Июльской революции красная лента на чепце толстухи была украшена трехцветной кокардой.

К госпоже Деи, завернув в платок дары — двадцать сантимов, кусок кружев и остаток бараньей ножки,— пошла Катерина, встревоженная молчанием и бледностью дочери.

Ворожея жила за рекой, в дальнем рабочем пригороде Бротто.

## 11

Генриетта Броше приехала в отцовскую контору на площади Белькур, чего она не делала уже много лет.

Несколько клерков почтительно поднялись с мест, чтобы проводить ее в кабинет фабриканта. Броше был занят и не обратил внимания на дочь, проскользнувшую в комнату. Генриетта уселась в свободное бархатное кресло у окна, рядом с бюстом Луи-Филиппа, и молча стала ждать. «Одно это,— подумала она, презрительно окидывая взглядом сводчатый потолок, деревянный пол, посыпанный песком, и громко спорящих людей с лоснящимися лицами, неприглаженными волосами, в небрежно

расстегнутых кафтанах и мятых шейных платках,— одно это способно убить девичьи мечты: проза, грязная проза».

У господина Броше происходило экстренное собрание лионских буржуа, не пожелавших подчиниться и принять тариф, выработанный 25 октября смешанной комиссией под председательством префекта.

— Мы им покажем! — сказал один из присутствующих.— Мы закроем склады и конторы и поморим их голодом. Пусть-ка побунтуют на голодный желудок. Мы их...

— Дорогой Филипп,— прервал его Броше,— вы забываете, что закрытые конторы и склады отразятся и на наших желудках. Прежде чем воевать с чернью, мы должны разделаться со своими изменниками.

— Дюмолар! — вскричало несколько голосов.

Поднялся невероятный шум, в котором Генриетта улавливала лишь отдельные слова: «подлец», «якобинец», «обманул короля», «демагог»...

— Господа, к делу,— раздался скрипучий голос, и рядом с Броше выросла тощая фигура генерала графа Роге.

Мгновенно наступила тишина. Выстроившись гуськом, лионские буржуа двинулись пожимать генеральскую руку.

— Господа, я — бывший наполеоновский солдат и, хвала господу, никогда не был на гражданской службе. Скажу прямо: Бувье-Дюмолар и его меры — не более как мятые панталоны.

Роге дал возможность своим слушателям вдоволь нахохотаться.

— Не ему побороть нас, людей дела, господа. Гарнизон города равен тысяче восьмистам человек. Национальная гвардия насчитывает десять тысяч. Эти молодчики не внушают мне особого доверия, но в худшем случае они докатятся до нейтралитета. Драгуны — дело другое, прошли отличную школу и не рассуждают, а действуют. Предвкушаю удовольствие от зрелища, когда мои солдаты распотрошат сброд окраин. Предлагаю оповестить обо всем Париж и сегодня же выслать надежных представителей сословия в палату депутатов. Надеюсь на вашу отвагу и предприимчивость, господа! — Генерал Роге вышел так же неожиданно, как и появился.

Генриетта высунулась в окно в надежде увидеть Жоржа, и не ошиблась. Он сопровождал верхом карету командующего войсками и в ответ на воздушный поцелуй барышни Броше отдал честь.

Господин Броше огласил заготовленный им документ, резко возражающий против тарифа. Фабриканты заявляли, что после Июльской революции внутренний сбыт сократился во Франции и Европе, что холера ухудшила положение дел:

«Один из самых важных вопросов, которые могут возникать в современном обществе, где материальные интересы занимают столь большое место, только что разрешен в Лионе с невероятным легкомыслием,— это вопрос о заработной плате рабочих. Наши власти показали свою полную неспособность поддержать порядок.

Вместо того чтобы ждать увеличения заработной платы от восстановления промышленности, рабочие вообразили, что добьются этого путем нажима...»

Броше долго читал петицию. Кончив, он вручил документ своему компаньону, который положил его в конверт и скрепил сургучными печатями. Затем избрали делегатов в Париж.

В полном молчании негоцианты покинули кабинет своего предводителя. Едва последний из них скрылся за низкой дубовой дверью, Генриетта бросилась к отцу.

— Как интересно,— почти революция, почти гильотина, и как раз теперь, когда я на пороге жизни, на пути к Парижу, когда Жорж Дюваль согласен подать в отставку, если его не переведут отсюда, и жениться на мне!..

Недоуменно вытаращив глаза, Броше смотрел на дочь, появление которой в кабинете не сразу заметил.

— Жорж Дюваль,— сказал он и выразительно разломал гусиное перо,— глупый фат — зять первого лионского фабриканта? Что сделал Жорж Дюваль для Броше такого, за что Броше должен платить Дювалю?

— Но, отец, он храбр, он повезет меня в Париж.

— Город накануне беспорядков, честные люди, может быть, накануне смерти, а моя единственная наследница занята покупкой себе пустоголовых офицеров! Через два дня ты уедешь в приморское имение. А Жорж Дюваль пусть скажет мне, за что я должен ему платить.

Генриетта поняла, что зашла к отцу не вовремя, и, заплакав на всякий случай, на ходу завязывая под подбородком тесемочки бархатной шляпки, выбежала из конторы. За углом в переулке ее поджидала карета.

Фабрикант Броше был чересчур взволнован, чтоб заниматься делами. Он отослал секретарей и погрузился в чтение только что прибывшей парижской газеты.

Одна из статей тотчас же привлекла его внимание.

— Какое единство мыслей со мной! — произнес он самодовольно, вторично пробежав глазами несколько столбцов.

«Незачем утаивать,— писал безыменный автор,— ибо чему служат притворство и умалчивание? Лионский конфликт может открыть важную тайну — внутреннюю борьбу, происходящую в обществе между классом имущим и классом ничего не имеющим. Наше торговое и промышленное общество имеет свою язву, как и прочие общества: эта язва — рабочие...»

— Именно язва,— подумал вслух Броше и продолжал читать:

«Нет фабрик без рабочих, а с рабочим населением, все возрастающим и всегда нуждающимся, нет покоя для общества».

— Правильно! — подтвердил фабрикант.

«Каждый фабрикант живет на своей фабрике, как колониальный плантатор среди своих рабов, один против ста, и возможность рабочих восстаний — своего рода возможность возмущения туземцев на Сан-Доминго. Варвары, угрожающие обществу, находятся не на Кавказе и не в татарских степях, нет, они — в предместьях наших фабричных городов...»

«Таково тяжелое бремя фабриканта»,— сокрушался Броше, складывая газету.

## 12

Лионским беднякам приходилось нередко селиться вне черты города — не только ввиду крайней дороговизны квартир, но и из-за городских налогов на предметы первой необходимости. По тем же соображениям жила в Бротто гадалка. Хотя среди ее клиенток числились жены

и дочери богатых буржуа, госпожа Деи оставалась небогатой: ее вконец разоряла неодолимая тяга к спиртным напиткам. В дни запоев старуха не вставала с кровати, почти касавшейся закоптелого потолка.

Катерина Буври застала гадалку дремлющей возле печки, на которой дымился чугун с картофелем.

Около часу посетительница сидела, съежившись, не смея нарушить тишину. Наконец госпожа Деи проснулась, быстро выпила рюмку вина и взялась за карты.

— Светлый шатен, глаза неопределенные, не безработный, женатый, а может, и неженатый, этого карты не хотят сегодня сказать,— подмигнув, изрекла она.

— Женатый?! — ужаснулась Катерина и с чувством собственного достоинства разъяснила: — Женевьева — добрая католичка и не может полюбить женатого, я сама прокляла бы ее за это.

Но ворожея не сдавалась.

— Может, король и не женат, но обязательно имеет подружку,— сказала она и сердито собрала колоду.

Катерина заметила по вспухшим губам и свистящей одышке, что госпожа Деи пьяна и находится в дурном настроении. Ворожея забраковала принесенное мясо и презрительно отшвырнула кружево, приняв только сантимы, которые предварительно испробовала на трех зубах, оставшихся еще в коричневом зловонном рту.

— Следи за светловолосыми мужчинами! — добавила она, бесцеремонно выпроваживая посетительницу.

В черной подворотне Катерина повстречала нарядную барышню в длинном голубом салопе, отороченном горностаем. Ткачиха почтительно посторонилась. Выбравшись на улицу, проходя мимо величественного кучера в черной, золотом шитой ливрее, она спросила, благоговейно прикасаясь к лакированному кузову:

— Чья карета?

— Барышни Броше, дочери фабриканта.

## 13

Девятнадцатого ноября, накануне получки, в рабочем Лионе наступило зловещее затишье. Фабриканты собирались опять выплачивать по старым расценкам, несмотря на то что истек почти месяц со времени принятия тарифа. Их предательство и измена соглашению 25 октября стали

очевидными. Они посмели бросить вызов сорока тысячам трудящихся.

От станка к станку перебегал шепот недовольства и возмущения. Оторопевшие вначале пролетарии стали искать выхода из тупика, в который их завели. В подворотнях, трактирах, на улицах собирались ткачи. Их молчание было значительнее крика. Единство оказалось полным.

— Мы не возьмем грошей от негоциантов, покуда негоцианты не подчинятся тому, что сами подписали,— сказали сто двадцать рабочих одной из крупных мастерских Лиона.

Эти слова разнеслись с быстротой ветра. Их подхватили тысячи голосов, но уши негоциантов остались глухи.

Великим стихийным событиям предшествует тишина. Накануне восстания Лион говорил шепотом.

В субботу Женевьева получила расчет.

— Господин Каннабер забраковал работу и потребовал твоего увольнения,— сказал ей хозяин с состраданием.— Но погоди, в эти дни многое решится.— И он погрозил кулаком.

Женевьева не слушала его слов. Слезы залили ей лицо.

На пороге мастерской девушку догнала подруга.

— Дура! — шепнула она злобно и насмешливо.— Вот до чего доводит заносчивость! Я получше тебя, а не погнушалась комиссионером и теперь плюю на всех, а ты несешь домой только невинность и шиш.

Запас слов и образов у Женевьевы был мучительно беден.

— Святая дева, за что? Святой отче, почему? — шептала она, кусая губы.

Дома Женевьева боялась признаться в том, что лишилась работы. Рассказать об истинной причине расчета, о приставаниях Каннабера, она не смела, видеть же укоризну в глазах ласкового отца и слышать плач матери, винящих ее в отсутствии старательности и трудолюбия, казалось девушке жестоким и незаслуженным унижением. Отказавшись от ужина, она вышла на улицу и направилась к заставе.

«Светлый шатен»,— приговаривала про себя Катерина и, опустив деревянную ложку, разглядывала склоненные над общей миской мужские головы.

Все рабочие Буври, за исключением немца, были черноволосы. Глаза старой ткачихи впились в тусклые волосы Стока.

«Если не шатен, то уж, во всяком случае, светлый»,— решила Катерина и, дождавшись, когда рабочие снова стали к станкам, подошла к нему.

— Вот что, парень,— сказала она грубовато,— почему молчит и плачет Женевьева?

По странному совпадению, об этом как раз думал и Сток.

— Почему? — спросил он, широко раскрыв рот и выпучив глаза.

Из-за чего действительно плачет девчонка?

Катерина и Сток изумленно смотрели друг на друга.

— Не шатен,— выговорила жена владельца мастерской разочарованно и отошла к своему станку.

Но Иоганн не успокоился и, улучив минутку, вышел из дому и свернул к заставе — в сторону, где скрылась Женевьева.

Он не спешил и не стал, по обыкновению, заглядывать в маленькие, едва освещенные окна, за которыми была всегда одна и та же картина: несколько голов, склонившихся над веретенами. Однообразное гудение станков — будто вдоль улицы стояли ульи — доносилось из домов.

Мимо взрытых, опустошенных огородов, по размокшей тропинке маленькая работница шла к глубокому бурному притоку Роны. Ноябрьский вечер был сер, холоден. Женевьеве чудились в темноте голоса и тени. Страх обострял ее безысходное отчаяние.

— Святая дева, чем я согрешила? — шептала девушка, простирая руки вверх, в темноту.

В шуме опадающей листвы ей чудилось хихиканье господина Каннабера.

— Я устала, я так устала,— плакала девушка.

Она перебирала прожитые годы, чтобы отыскать в них хоть одно счастливое воспоминание, помогающее жить. Когда Женевьеве было восемь лет, мать начала учить ее ткацкому ремеслу. Одиннадцати поступила девочка к свояку отца, Дандье, на набережной Роны. С тех пор прошло пять лет, как один день. Бывали радости: елка без украшений, посещение с матерью кладбища в осенний день поминовения усопших и сундук с приданым, куда складывались надежды.

— Не хочу замуж! — в ужасе вскричала Женевьева, представив себе распирающее кафтан брюхо Каннабера, приподнявшегося на носки, чтобы достать до подоконника мастерской и согнутыми пальцами пощекотать работницу.

Ей вспомнилась горбунья монахиня, называвшая себя «Христовой невестой».

Женевьева подошла к небольшому откосу. Едва слышно переливалась внизу река.

Сток нашел девушку на берегу изнемогшей от страха и слез. Обессиленная, она лежала без движения. Немец нежно поднял ее, усадил на колени и стал осторожно растирать озябшие ноги огромной ладонью.

Женевьева застенчиво погладила торчащие ежиком жесткие волосы неожиданного утешителя и заботливо сняла несколько нитей пряжи с войлочного жилета, который ткач носил поверх рубахи.

Они сидели на песке, прижавшись друг к другу, забыв о времени и не замечая ни усиливающейся речной сырости, ни холода.

Вдруг ревнивое мучительное подозрение укололо Иоганна, сделало грубым.

— Эй ты, курица! Может, надеешься слезами отмыть грешок, может, спуталась с каким-нибудь павлином, потаскуха?

Сток наклонился к Женевьеве и, тяжело дыша, стал допрашивать, не замечая истерической дрожи и стонов девушки.

— Не смей гулять, ты... ты!

Сток почувствовал вдруг, как ослабевает его спутница. Женевьева была в глубоком обмороке.

На руках немец принес ее к родительскому дому.

Катерина встретила их на пороге и, не говоря ни слова, влепила Стоку отчаянную пощечину.

— Подлец! — закричала она, готовясь вырвать клок его русых волос и залепить новую оплеуху.— Так-то ты, грязный бродяга!.. Хвала богу, в городе неспокойно и отец ушел, а то он показал бы вам обоим, как шататься по ночам.

— Замолчи, мать,— прервала тихо Женевьева,— Сток и я помолвлены.

Катерина растерянно опустила руку.

— Бедные дети,— заплакала она.

Тяжелую сцену прервал Андрэ, вынырнувший из-за угла и мгновенно скрывшийся.

Багровый отблеск новой зари скользил по бодрствующим домам предместья Круа-Русс.

14

— Измена, братья! Нас предали! Три эскадрона драгун подошли к городу. Фабриканты отказываются выполнять условия, выработанные двадцать пятого октября. Более трех недель мы терпеливо ждали, мы получали плату за наш труд, которой не хватает на то, чтобы жить. Но проклятые негоцианты не только насмеялись над ими же подписанным тарифом, они вызвали войска, они готовят Варфоломеевскую ночь для рабочих Лиона. Братья, мы не должны уступать! Предлагаю прекратить работу и пойти в город, требуя выполнения установленного тарифа. Но будем организованны. Призываю вас к спокойствию. Мы должны показать, что рабочие уважают законы и не хотят кровопролития, несмотря на провокацию. Наше требование и наш лозунг: *«Жить трудясь или умереть в бою»*,— говорили рабочие, один за другим взбираясь на телегу, заменившую им трибуну.

На вытоптанном лугу — площади предместья Круа-Русс, запруженной многотысячной толпой,— царил совершенный порядок.

Приняв решение прекратить работу на утро следующего дня и демонстративно двинуться в центр Лиона, рабочие пропели «Марсельезу» и разошлись по домам.

15

Жером до вечера пробыл по поручению префекта в Круа-Русс. Он вернулся домой с ворохом известий и наблюдений, не предвещавших ничего хорошего в ближайшем будущем.

Обостренным нюхом старый корсиканец учуял приближающееся восстание и терпкий запах неизбежного кровопролития.

Бувье выслушал Жерома с нескрываемым волнением.

«Франция бурлит вулканом,— думал барон,— в Вандее легитимисты успешно подымают крестьян, в Лионе всякие Броше и Роге бросают огниво в пороховые погреба. Я не выношу вида этих дикарей в медвежьих берлогах —

наших крестьян — и очень далек от симпатии к полудиким рабочим, которые, несмотря на все ухищрения фабрикантов, все еще мускулисты и могут убивать, прежде чем умереть. Но я презираю также господ генералов Роге».

— Если б штык или пистолет думал,— обратился, прервав свои размышления, Бувье к слуге,— он делал бы это так же, как деревянная генеральская голова... Превосходный наполеоновский рубака, живя среди населения, может быть, немного преувеличивающего идеи свободы, думает, что находится в Булонском лагере. Увы, во всем Лионе только я да, может, ты, Жером, понимаем сложность эпохи, в которую живем. Надеюсь, что мой король понимает это тоже.

Но Жером не склонен был заниматься выяснением противоречий эпохи и постарался заставить своего господина перейти от болтовни к действию.

— Ваше сиятельство... — начал он.

Бувье-Дюмолар поднял голову и насторожился,— так Жером называл его только три раза за двадцать семь прожитых совместно лет: сообщая о коронации Наполеона, о поражении при Ватерлоо и о победе Июльской революции. Все эти три события потрясли корсиканское сердце.

— Ваше сиятельство,— повторил Жером,— если бы я был рабочим, то не откладывал бы выступления до завтрашнего утра и не дал бы врагам организоваться. Известно ли вашему сиятельству, что Роге сам объезжал сегодня войска? Первый легион Национальной гвардии, составленный большей частью из сынков фабрикантов, согласно плану генерала, с ночи займет все пять ворот, через которые идут пути из Круа-Русс в Лион. Завтра утром рабочие, мирно идущие в город, будут встречены картечью. Прольется невинная кровь. Ваше сиятельство говорили, что рабочие правы в своих требованиях и ведут себя как сознательные граждане, как джентльмены. Неужели ваше сиятельство не сделает всего возможного, чтобы предотвратить непоправимое? Умоляю ваше сиятельство быть решительным и сегодня же принять меры именем короля и конституции.

Пафос и нахмуренные брови Жерома не понравились Бувье. Барон окинул глазами уютную, всю завешанную коврами комнату, веселый яркий камин, вольтеровское кресло, на котором сидел он в своем ватном, затканном

цветами, сиреневом халате, сафьяновый томик «Мыслей Паскаля» и произнес, зевая:

— Наивность, друг мой. Ты забываешь, что я и так превысил полномочия, данные мне королем и господином Казимиром Перье, когда взял на себя ответственность за этот злосчастный тариф. Не предлагаешь ли ты мне ночью в роли неистового Дон-Кихота ехать с тобой, мой Санчо Панса, снимать патрули у городских ворот? Это — не дело префекта департамента. Я сделал все, что мог, и умываю руки. Корсиканцы — народ с преувеличенным воображением, что иногда пагубно влияло на дела Франции. Я всегда учил тебя чувствовать, как надлежит лорду, а не сапожнику, но уже в июльские дни понял свое бессилие. Лорды флегматичны, Жером, флегматичны и, главное, равнодушны к судьбам «черни». Иди спать, старина!

Вдали башенные часы пробили двенадцать.

— Мы начинаем двадцать первое ноября,— сказал Бувье, открывая лист календаря на камине.

## 16

В короткие промежутки между работой, преимущественно по ночам, Иоганн выходил в сени с уныло вздрагивающей свечой и принимался читать. Как описать ощущения человека, впервые нашедшего разгадку письменности! Сток читал по складам, но зато потраченное усердие и преодоленные трудности приводили к тому, что он запоминал текст навсегда, вникая в смысл, в оттенок каждого добытого слова. Книга была для рабочего шахтой, куда он впервые спускался трепещущий, с мерцающим фонарем.

Иоганн, осевший в предместье Круа-Русс за ткацким станком, продолжал странствовать по миру новых идей. Он перечел все книги Жана. В одну из ноябрьских ночей Сток принялся за учение Сен-Симона в изложении его учеников.

Первые строки одной из глав сосредоточили на себе внимание немца.

«Эксплуатация человека человеком,— читал Сток,— вот состояние человеческих отношений в прошлом. Эксплуатация природы человеком, вступившим в товарищество с другим человеком,— такова картина, представляемая будущим.

Через семью, касту, город, нацию род человеческий стремился ко всемирной ассоциации. Это не мечта, а строго научное предвидение»...

«Существует,— читал он далее,— большое различие между положением разных классов в настоящее время и тем положением, какое занимали в прошлом господа и рабы, патриции и плебеи, сеньоры и крепостные. На первый взгляд кажется даже, что нельзя делать сопоставлений, но отношение хозяина к наемному рабочему является только новым преобразованием, которому подверглось рабство. Рабочий не составляет прямой собственности хозяина, но разве пролетарий определяет свое положение? Нет, вынужденный всегда рассчитывать только на вчерашний заработок, чтобы прокормиться сегодня, он под страхом смерти должен соглашаться на любые условия.

Рабочий эксплуатируется материально, умственно, морально, как некогда эксплуатировался раб».

Порыв ветра приоткрыл створку окна и потушил свечу. Дрожащими от нетерпения руками ткач добыл искру и с нею свет.

«Его положение еще ухудшается,— продолжал читать Сток,— если он в своем неблагоразумии доходит до мысли, что и ему судьба предназначила такое же счастье, каким пользуется богатый, то есть если он берет себе подругу жизни и основывает семью. Постоянно угнетаемый нуждою, пролетарий не имеет времени и сил для развития своих умственных способностей и нравственных привязанностей. Может ли он возыметь стремление к этому? Но кто даст ему средства удовлетворить их? Кто сделает науку доступною для него? Кто примет излияния его сердца? Никто о нем не думает, жалкая физическая жизнь ведет его к огрубению».

«Кто ты, где твой дом, Иоганн? Нужда погнала тебя по свету»,— сказал он себе.

Он придвинул ближе свечу.

«Мы должны предвидеть, что некоторые лица смешают нашу систему с системой, известной под названием общности имуществ.

Между нами и ими нет ничего общего. В социальной организации будущего,— говорим мы,— каждый должен занимать место согласно своим способностям и получать

вознаграждение сообразно своим делам; это достаточно указывает на неравенство раздела. Напротив, при системе общности все люди равны...»

Сток отложил книгу.

Об общности имущества, о коммунизме ему говорил Жан, излагая мысли Гракха Бабёфа.

Сток решил порасспросить Жана еще раз.

Он перенесся думой на родину. Там ему никогда не попадались такие книги.

Гордая надежда заставила ткача встать.

— В Германии,— шептал он,— пригодятся знания. Нужда погнала меня по миру, но она же многому выучила. Новым человеком вернусь я на берега Рейна.

## 17

Первое столкновение Национальной гвардии с рабочими произошло возле Гранд-Кот на рассвете. Сток шел рядом с Буври и двумя тысячами других жителей Круа-Русс. Все они были безоружны. У ворот города их встретили вооруженные национальные гвардейцы.

— Дайте пройти! — закричали рабочие, останавливаясь.

— Поверни назад! — раздалось в ответ.

Сверкнули обнажившиеся шашки, многозначительно выпучили черные пустые глаза ружья.

— Братцы, вперед! — надрывая слабое горло, скомандовал Андрэ и, выбежав из толпы, первым бросился в узкую дыру ворот.

Раздался залп. Андрэ упал. Кровь расползлась по серой осенней земле.

На одно мгновение ужас обуял толпу наступающих, но только на мгновение.

— Вперед, братцы! — ответили сотни голосов, и люди тесными рядами двинулись на врагов.

Рабочие швыряли камни, тут же выворачивая их из мостовой, дрались кулаками, палками.

Убитые и раненые падали у ног товарищей.

Из груды вражьих тел Сток соорудил баррикаду. Ружья убитых Буври передавал сражающимся рабочим.

На подмогу из предместья сбегались дети и женщины. На площади они разгромили лавку оружейника и несли

отцам, мужьям и братьям пули, пистолеты, ружья, ножи, шашки и шпаги. Наконец перевес оказался на стороне осаждающих город. Легион Национальной гвардии дрогнул и начал отступать.

С криками «Жить трудясь или умереть в бою!» рабочие ворвались в Лион.

Наученные печальным опытом этого утра, они бросились тотчас же строить баррикады, ломая мостовые, выкорчевывая уличные тумбы и фонарные столбы, опрокидывая встречные фургоны, подтаскивая отовсюду бревна, доски, матрацы, шкафы и столы.

В важных стратегических пунктах рабочие очищали жилые дома, готовясь к отчаянной защите, организуя засады на крышах, устанавливая отбитые у гвардейцев пушки в окнах домов.

Городской центр и окраины были оцеплены гвардией и линейными батальонами регулярной армии. Рабочие ждали подкрепления из фабричных пригородов, которым предстояло с боями пробивать себе путь к товарищам. Женевьева и ее подруги спешно шили черные знамена. На знаменах был все тот же, не сходящий с уст в этот день лозунг.

Катерина Буври готовила похлебку и резала хлеб. Все дети предместий — от семи-восьми лет — участвовали в наступлении на город. Они без устали доставляли патроны, держали связь между отдельными группами рабочего войска, проникали для разведки во все концы города, относили старшим еду, помогали раненым.

Разбуженный стрельбой, Бувье вскочил с постели и позвонил. Жером не явился на вызов. Барон вспомнил Июльскую революцию: тогда, как сегодня, слуги тоже не было на месте.

Через полчаса префект вошел в штаб командующего войсками. Его встретил адъютант Дюваль, продолжая чистить серебряной пилкой длинные розовые ногти.

— Сожалею, что барон был разбужен сегодня орудийной серенадой,— сказал адъютант развязно и, забренчав шпорами, вышел на крыльцо.

Генерал Роге появился, молодцевато покручивая ус. Он, предвидя ордена и благодарность правительства, был в отличнейшем настроении.

— Слышите, мой друг, до чего довел вас либеральный образ мышления? — Издали доносился нараставший гул

пушек. — Тем не менее все обстоит вполне благополучно. Из Парижа я затребовал подкрепление. Конечно, это еще не война. Так сказать — суррогат. Но к ночи будет повеселее. Мы наступаем на Круа-Русс с тыла. А, каково придумано?

— Я требую,— прервал Бувье-Дюмолар,— немедленного прекращения бойни и гарантирую вам спокойствие со стороны рабочих. Вы же ответите за войско. Дайте немедленно приказ остановить стрельбу. Я сегодня же поеду к восставшим в Круа-Русс и добьюсь мира.

— Господин префект, город на осадном положении, и власть в нем принадлежит армии.

— Господин командующий, я не отрешен от дел и требую прекращения гражданской войны, затеянной вами.

— Извольте, еще раз я готов передать инициативу в ваши руки. Помните, однако, что спокойствие граждан мне не безразлично. Пусть нас рассудит король. Я приостановлю наступление. Это будет в последний раз. Поезжайте к инсургентам. Генерал Ордонне будет вас сопровождать.

18

Утром в день восстания Жан Буври покинул матрац на чердаке и, дрожа от озноба, спустился в мастерскую. Там он не нашел никого.

Жан вышел на улицу. Мимо него бежали к воротам, где произошло избиение рабочих, встревоженные женщины и возбужденная детвора. Гудел набат. Услышав ружейный залп, Жан выпрямился. Странная перемена произошла внезапно в умирающем: он как бы почувствовал, осознал, каков запас сил в его теле, пожираемом болезнью. Жан мог протянуть еще месяц-два калекой, но мог, исчерпав себя в два-три дня, насладиться последней вспышкой жизни. Могучим напряжением воли преодолев слабость и головокружение, больной пошел в сторону выстрелов.

По дороге он обдумывал план дальнейшей борьбы, вспоминая уроки Июльской революции и долгие беседы с внушавшим благоговейное уважение всем, кто его знал, Буонарротти. Потомок Микеланджело, зарабатывавший пропитание уроками музыки, посвятил всю свою жизнь революционной борьбе. Старый патриарх революции мечтал о международном сообществе, которое утвердит

равенство во всем мире и установит социальный строй, проповедуемый Бабёфом.

Жан считал себя коммунистом.

Подходя к площади, на которой происходила битва, слушая крики борцов, ткач видел перед собой не Круа-Русс, не Лион, а всю Францию, охваченную восстанием.

«Нужно поддержать это маленькое пламя, покуда оно не перебросится дальше, и если не удастся поджечь троны всей Европы, то пусть хоть сгорит дерн, заглушивший свежие ростки июльских дней»,— думал молодой Буври.

Он задержался у разбитой, опустошенной лавки оружейника и вошел внутрь. Обшарив поломанные ящики, шкафы, стойки, он не нашел ничего, кроме ржавой старой пики. С трудом волоча ослабевшей рукой это оружие, Жан присоединился к толпе рабочих, бегущих на подмогу товарищам.

## 19

Ввиду осадного положения в городе магазины с утра не открывались. Книжная лавка дядюшки Дайяра на площади Белькур казалась также безлюдной.

За деревянными ставнями по фасаду не мерцали лампы. Однако посвященные, не смущаясь темнотой и запертой наружной дверью, проходили в ворота и, миновав грязный двор, заставленный телегами и ящиками, проникали в контору букиниста. Там, среди книжных полок, было шумно, накурено и светло. Сам дядюшка Дайяр в черной хламиде и бархатном колпаке восседал за своей конторкой меж двух серебряных канделябров, в которых горели свечи.

Все ждали Франсуа, чтоб начать экстренное собрание сен-симонистской общины Лиона. Предстояло определить свое отношение к происходящим событиям.

— Я предчувствовал, что злосчастный тариф приведет к кровопролитию, и предостерегал кого мог,— говорил сокрушенно, качая колпаком на лысой голове, хозяин книжной лавки.

Так как Франсуа и Пфейфер не появлялись, Корреар предложил приложиться к источнику истины, почерпнуть мудрость в повторении кое-каких основ учения Анри Сен-Симона; община отозвалась на это с восторженной готовностью.

— Вспомним мысли великого учителя нашего, около

семи лет тому назад ушедшего навсегда,— заунывным голосом начал Корреар, сменив Дайяра за конторкой. — Целью его было,— продолжал он,— изменить в людях систему чувств, идей, интересов. Его учение ведет к тому, чтобы исправить и осчастливить мир, однако не перевертывая общества для этого вверх дном. Со словом «переворот» всегда связывается представление о слепой и грубой силе, имеющей своей целью и результатом разрушение, а мы верим в силу уговаривания, убеждения. Идя по стопам великого отца нашего, мы созидаем, а не разрушаем; выдвигается ли нами умозрительная или материальная идея? Сен-Симон стремился к порядку, гармонии, строительству. Он не желал революции, он явился, чтоб предсказать и учить преобразованию, эволюции, он нес миру новое воспитание и тем окончательное возрождение. Мы хотим того, чего хотел наш отец и учитель.

— Мы хотим того, чего хотел наш отец и учитель,— хором повторили члены «церкви».

— Итак, когда Сен-Симон указывал, что нынешняя организация собственности должна уступить место совершенно новой, он хотел сказать, что переход от одной к другой не будет внезапным и насильственным, а постепенным и мирным, задуманный и подготовленный совместным действием воображения и доказательств, энтузиазма и рассуждения. Люди миролюбивые осуществят счастье человечества.

— Люди миролюбивые осуществят счастье человечества,— как псалом, протяжно тянули все присутствующие.

Разгоняя молитвенное настроение, в контору ворвался Пфейфер.

Все бросились к нему с расспросами.

— Вот,— сказал он, усевшись на груде пыльных фолиантов и показывая присутствующим измазанный кровью манжет,— вот что красноречивее слов! До сумерек мы с Франсуа перевязывали раны инсургентов. Мне пришлось немало повозиться с сыном старого Бубри. Бедняга, едва живой от чахотки, ранен в плечо.

— Это неистовый бабувист,— вмешался Корреар.

— Сегодня мне попался один из его единомышленников,— продолжал Пфейфер, оживившись. — Только я начал убеждать его, что восстание — бессмыслица, как оказался под словесным обстрелом. «Буржуи,— кричал он мне, позабыв о сломанном в бою ребре,— воспользовались

нами в июльские дни в своих интересах, но теперь довольно! Теперь мы делаем революцию для народа!»

— Подучен карлистами или якобинцами и гибнет ради них, — заметил букинист Дайяр, скрываясь в клубах темного дыма своей сигары.

— Вы угадали, именно так я и ответил парню,— прибавил Пфейфер. — Но ткач осыпал меня бранью, поясняя: «Плевать на карлистов! Мы сами знаем, чего хотим». Он, впрочем, одиночка, как и Жан Буври. Рабочие хотят хлеба и, главное, тарифа. Они не замечают пропасти, в которую падают.

Сен-симонисты считали, что тариф не может быть осуществлен, и выход из создавшихся затруднений видели во всевозможных временных мерах.

Накануне восстания делегаты общины посетили Броше, убеждая его хлопотать в Париже об установлении кредитных учреждений, которые облегчат положение фабрикантов и позволят им надбавить заработную плату. Одновременно они хотели снижения пошлин на съестные припасы.

Франсуа, в противоположность Пфейферу, был бледен, худ и неулыбчив. Он вошел в лавку Дайяра тихо, никем не замеченный, снял плащ и широкополую шляпу и сложил их на подоконнике, предварительно смахнув пыль платком. У Франсуа было узкое костлявое лицо с большим кривым носом, придававшим ему сходство с учителем, с самим Сен-Симоном.

Франсуа не стал вмешиваться в общий разговор, а когда все смолкли, поклонился одной головой и начал говорить медленно, как бы думая вслух. Постепенно голос его креп, глаза теряли свое неподвижно-вялое выражение, и слова становились четкими, интонации — запоминающимися. Он, как опытный оратор, не сразу завоевывал слушателя, не боялся причинить ему вначале некоторое разочарование. Тем полнее бывала окончательная победа.

Франсуа пользовался большим влиянием в общине, и речи его воспринимались как указ.

— Наше место сегодня не может быть ни в рядах буржуа, ни в рядах рабочих,— начал вождь сен-симонистов почти шепотом, равнодушно, как нечто само собой понятное и установленное. — Оно — между теми и другими. — Голос оратора окреп. — Главное — предотвратить насилие. Богатые классы не смогут долго противиться благородной

и спокойной просьбе. Пожертвование некоторыми нынешними выгодами вскоре покажется им священным долгом, который предписывается им религией, гуманностью и политикой, и, может быть, они найдут щедрую компенсацию в благодеяниях мира и в горячей признательности масс. Но против нажима и угроз богатые будут сопротивляться, а рабочие, даже одержав победу, будут бессильны устроить свою судьбу. Пролетариям необходимо понять, что все зло — в конкуренции. Именно конкуренция заставила снизить заработную плату. С другой стороны, сенсимонисты должны сказать буржуазии, торжество которой в Лионе близко, что суровость — наихудшее из средств ограждения себя от народа. Фабриканты должны содействовать мерам удешевления хлеба.

Прежде чем разойтись, собравшиеся предложили Пфейферу и Франсуа отправиться наутро в штаб восставших и попытаться воздействовать на дальнейшее поведение рабочих. Франсуа вызвался поговорить также и с Роге.

В штабе рабочих было накурено и людно. В углах лежали амуниция, куски холста, оружие. На табуретах, подоконниках, столах сидели люди.

Рядом, в небольшой каморке, над разложенным планом города и пригородов сидел Локомб, неподалеку на ящике из-под патронов Жан Буври писал прокламацию.

— А, миротворцы! — сказал Локомб.

Франсуа снял шляпу и начал размеренно и степенно:

— Мы, выразители интересов самого многочисленного бедного класса, крайне удручены печальным происшествием и хотели бы внушить рабочим чувства порядка, мира и соглашения.

— Ладно,— буркнул Локомб,— приходите, когда кончится восстание.

— Постой, брат, — вмешался Пфейфер, бойкий низкорослый человек с рыжими бачками на розовых щеках, — я сегодня промыл твою рану, и ты назвал меня другом. Поверь, мы понимаем ваши цели! Изволь, прочти в доказательство сообщение, которое я написал в парижскую общину.

Пфейфер вытащил вчетверо сложенную бумагу и протянул Локомбу.

— «Отец, рабочие победили,— прочел вождь восстав-

ших. — Они сражались с невероятной храбростью, ничто не может дать понятие об их ярости в битве. Мы имели очень ложное представление об этих людях, предполагая отсутствие у них энергии; мы тогда еще не знали по опыту, что такое человек, сражающийся из-за хлеба».

Локомб холодно спросил:

— Что знаете вы о рабочих теперь?

— Мы — апостолы мира, мы — посредники между классами, мы — враги всякого насилия, мы...

Бубри и Локомб не слышали продолжения. Разведчики принесли тревожные известия о начавшейся передвижке линейных войск.

Сен-симонисты покинули штаб, ничего не добившись.

20

Генриетта Броше получила записку от Жоржа Дюваля, уже сидя в дорожной карете. Она сумела прочесть ее, покуда кучер и лакей привязывали сундуки и корзинки.

«Мечта моя! — писал адъютант командующего войсками. — Судьба нам благоприятствует. Твой отец отдаст мне тебя как трофей, как добычу военачальника. Не бойся, мой цветок, я, если нужно, отдам всю жизнь за тебя, за твое счастье. Генерал Роге отдал мне командование над прибывшим полком драгун. Жаль, что ты не увидишь своего Жоржа в пылу битвы. Я буду беспощаден во имя тебя. Прощай, мой луч солнца!

*Жорж Дюваль, командир».*

Генриетта поцеловала подпись и спрятала записку на груди. Сняла браслет с руки и передала его, вместе с заранее заготовленным письмом, горничной для Дюваля.

«Будь храбр, будь жесток, как Александр Великий. Я вижу тебя на коне. Кровь презренных врагов на твоем мундире. Ты прекрасен, как греческий бог. Целую твои руки, мой спаситель».

— Не медлите,— кричал между тем Броше, высунувшись из окна,— этак карета не успеет выбраться из города. Езжай на Сен-Жюст, Поль, минуя Круа-Русс. Смо-

трите, замечайте все, госпожа Брюс! В особенности не подпускайте военных. Вы отвечаете за мою дочь передо мною и богом,— обратился он к гувернантке, квадратной старухе в огромном вязаном капоре.

Наконец карета тронулась. Броше захлопнул окно. Лакей в ливрее скрылся за золоченой дверью.

## 21

Смеркалось. Улицы центра были безлюдны. Фонарщики не зажгли в этот день тусклых уличных ламп. Канонада стихла, как того требовал лионский префект. Кое-где попадались воинские части в полном военном снаряжении.

Кучер выбирал улицы поуже и побезлюдней. Мимо медленно едущего возка пронеслись два всадника: лионский префект и генерал Ордонне. На расстоянии их сопровождал небольшой отряд Национальной гвардии. На шесте, прикрепленном к седлу генеральского коня, болтался чистый белый флаг. Бувье скакал молча, недоверчиво поглядывая на темные дома.

На одном из поворотов всадников встретили шум заряжаемых ружей и громкое:

— Кто идет?

— Бувье-Дюмолар, префект департамента Роны,— раздалось в ответ.

В ту же минуту из вооруженной толпы выделился человек с фонарем. Подойдя к лошади, он осветил лицо префекта и признал его.

«Давно ли они приветствовали меня, а теперь сторожат, как врага!» — думал Бувье, выезжая в окружении безмолвной толпы из ворот в предместье Круа-Русс.

В темноте не видно было следов битвы. Площадь, примыкавшая к городской стене, напоминала военный лагерь. Свет фонарей, факелов и костров позволил прибывшим увидеть группы людей, сидящих на земле, на телегах; людей, чистящих ружья и старые пики.

Все прилегающие к площади улицы были забаррикадированы. Кое-где стояли палатки, предназначенные для раненых. У колодца девушки мыли тряпье, годное для перевязок. Слышались негромкие разговоры и пение. Дома на площади выглядели безжизненными и страшными.

— Какой, однако, порядок! — пробурчал удивленно генерал Ордонне.

Прибытие парламентеров вызвало большое возбуждение. Сотни людей окружили лошадь Бувье-Дюмолара. Девушки у колодца вытерли руки о фартуки и повернули головы, стараясь расслышать, что скажут прибывшие. На мгновение площадь зашумела и ожила.

— Тише, друзья! — скомандовал Буври, становясь на куче щебня, вровень с седлами лошадей. — Послушаем господина префекта, но не будем при этом терять бдительности. Все — по местам, призываю к порядку. Мы сообщим потом всем отсутствовавшим предложение властей.

Но Бувье-Дюмолару не дал говорить звонкий детский голос, прозвеневший от края к краю площади:

— Бротто, Ла-Гийотьер, Сен-Жюст идут на подмогу.

Префект был мгновенно забыт.

Юные разведчики принесли благие вести: три рабочих пригорода поднялись и двигались к Круа-Русс. Площадь загрохотала, засмеялась от радости. Лишь спустя четверть часа рабочие вспомнили о Дюмоларе, сидевшем одиноко на своей белой лошади, рядом с генералом Ордонне, который, воспользовавшись счастливой суматохой, быстро чертил план площади и подсчитывал военные запасы неприятеля.

— Ну, а теперь послушаем господина Бувье-Дюмолара,— повторил Буври, опять взбираясь на кучу щебня, заготовленного в целях обороны.

— Я хотел сказать вам, господа,— начал, подчеркнув слово «господа», барон,— что подкрепление, о котором вам только что стало известно, не нужно. Мы все хотим мира. Вы знаете мое отношение ко всему, что касается вашего положения и спора с негоциантами. Вот генерал Ордонне, представитель военного командования, который здесь для того, чтоб обсуждать условия мира также от имени генерала Роге. Уверяю вас, что...

Слова префекта заглушил пушечный залп. Палили где-то рядом с площадью Круа-Русс, со стороны заставы. Неописуемое смятение охватило рабочих.

— Нам заговаривают зубы, чтобы обойти с тыла. К оружию!

— Предатели!

Толпа хлынула к делегатам и стащила их с лошадей. Сжатые кулаки грозили со всех сторон. Не скоро оказавшись вновь на ногах и увидев изрядно помятого, перепуганного генерала Ордонне, Бувье сказал ему, едва сдерживая бешенство:

— Порядочный негодяй ваш Роге.

— Вот это верно,— вмешался слышавший замечание префекта мастер Буври. — Вам следовало быть предусмотрительнее, господин Дюмолар, и разобраться в положении, прежде чем уговаривать нас сдаться.

— К оружию!

Новый залп сотряс площадь и окружающие дома.

Отряды рабочих бросились в прилегающие улицы, где залегли драгуны.

Битва, то затихая, то возобновляясь, продолжалась до поздней ночи.

Сток вел свой отряд на соединение с рабочими Бротто. У заставы Круа-Русс ему предстояло пробиться сквозь строй легиона Национальной гвардии. Приказом Роге линейный батальон регулярной армии был отозван в центр для защиты ратуши и военного управления. Узнав о том, что префект взят в плен, командующий войсками Роге счел себя временным диктатором. Жорж Дюваль по его приказу отправился с эскадроном драгун на Бротто.

Иоганн и пятьдесят вооруженных рабочих без труда расправились с врагом, засевшим в канаве у городской заставы. Сопротивление национальных гвардейцев было кратким: ремесленники и рабочие, наспех собранные Роге, охотно сдались и тут же присоединились к рабочему войску.

Женевьева шла позади отряда Стока — с холщовым мешком маркитантки, переброшенным через плечо.

Прикрываясь темнотой, в полном молчании двигались на подмогу товарищам лионские рабочие. Ноги их вязли в разрыхленной земле огородов, ветер шуршал невидимым в ночи черным знаменем. Из города доносились отдельные залпы, кое-где вдали загорались дома, и в небе вспыхивало дымное зарево.

— Готовься, ребята! — скомандовал Сток, заметив вдали, на горизонте, нечто черное, неуклюжее, похожее на стадо буйволов.

— Засада на дороге.

Щелкнули затворы, тесной стеной, пригнувшись, двинулся, напряженно вглядываясь в темноту, отряд.

— Тпрру, подай, подай влево! — донеслись до рабочих голоса. — Не вытащить колеса,— грязища, сто дьяволов!

Сток и его парни неожиданно окружили карету с визжавшими в ней барынями. После недолгих споров Генриетта под конвоем была отправлена в город. Выпряженных лошадей взял отряд, пообещав вернуть владелице тотчас же после заключения мира.

Всю ночь рабочие восставших пригородов вооружались. К утру в Лион подоспели вызванные властями войска. С рассвета все чаще ружейные залпы заглушали грохот пушек, обстреливающих баррикады. Обывателям предложено было не показываться на улицах, превращенных в поля сражения, и не подходить к окнам: то и дело взвизгивали шальные пули.

Генерал граф Роге объезжал позиции, заложив два пальца за борт шинели, как делал это Наполеон.

Отряд Стока ворвался в Бротто в разгар битвы. Оградившись баррикадами, наспех сооруженными на рыночной площади из рундуков, корзин, табуретов, рабочие отстреливались от прекрасно вооруженных драгун. Особенной меткостью прицела отличался негр-ткач по имени Станислав. Ни один патрон не пропал у него даром.

На белой лошади впереди драгунского полка гарцевал, сияя мундиром, Жорж Дюваль.

В полдень пришли на помощь Бротто рабочие Сен-Жюста. Они решили исход битвы.

Жорж Дюваль с непокрытой головой и развевающимися локонами мчался с драгунами окружным путем в город.

Выпущенный после четырехчасового плена Бувье-Дюмолар вернулся домой в самом подавленном состоянии духа. Он проклинал военное командование и свою близорукость в отношении графа Роге, поняв, что теперь он, Бувье-Дюмолар, должен ожидать не награды, а отставки.

Жером встретил префекта изъявлениями восторга по поводу происходящего. Корсиканец надеялся на всефранцузскую революцию и втайне мечтал о республике.

Приготовляя пунш, необходимый озябшему, усталому

префекту, Жером не переставал рассказывать о виденном. Он не потерял времени даром и, будучи отважным человеком и страстным любителем баталий, умудрился побывать до полуночи в самых опасных местах.

— Какая была резня, господин барон! Сколько офицериков отправилось прямехонько на тот свет! — рассказывал он с энтузиазмом. — Рабочие боролись за каждую пядь земли, за каждый дом и двор. На кладбище Бротто они отвоевывали каждую могилу. Подкрепление из Гийотьера прорвалось через мосты, сквозь картечь и ружейный огонь. Лионские рабочие смелы, как корсиканцы. Они знают, что делать. Магазины ружейных мастеров все до одного взломаны и разграблены. К вечеру наконец сдались и пороховые погреба Серены и арсенал в Сие. Победа далась недешево. Многие полегли. Знамя рабочих продырявлено в десяти местах.

## 22

Вечером 22 ноября генерал Роге, предвидя, что рабочие не отступят и будут продолжать бороться, как боролись уже два дня, объявил на военном совете о необходимости вывести войска из города, чтобы занять более выгодную позицию вне городских стен.

— Мы зажаты в кулак,— сказал Роге,— наши войска изнурены. Инсургенты перехватывают продукты, подвозимые извне. Рационы уменьшены, войска недовольны. Рабочие, завербованные в Национальную гвардию, переходят на сторону неприятеля: из пятнадцати тысяч осталось не более ста человек. В спешке нам прислали подкрепление без обозов и провианта. Уведя войска, мы запрем врагов в городе и предотвратим разгром центра, иначе вандалы в рабочих блузах снесут ратушу и будут штурмовать дома порядочных людей.

На рассвете 23 ноября командующий войсками приказал воинским частям покинуть город, двигаясь через предместье Сен-Клэр, берегом Роны.

В штабе восставших о движении войск стало известно от Катерины Буври, которая под видом молочницы ходила к казармам на разведку. Маневр Роге поставил в тупик осаждающих город. Жан Буври, заседавший дни и ночи в руководящем штабе вместе с вождями рабочих — Лашареллем, Фредериком и Шарпантье, — заподозрил

западню и предложил товарищам остановить войска. Его поддержали.

Катерина Буври с группой женщин была немедленно отправлена строить баррикады на мосту Сен-Клэр, чтобы задержать неприятельскую переправу. Двух фургонов, заранее приготовленных мешков с землей и нескольких разбитых станков оказалось достаточным для этой цели.

Из рваной юбки старуха Буври смастерила черное знамя и прикрепила его к перилам моста.

Отступление происходило под прикрытием непрерывного артиллерийского огня.

На мосту Сен-Клэр отстреливающиеся на ходу гвардейские канониры, драгуны и линейные солдаты бросились в атаку на баррикаду, которую отстаивали дети и женщины. Прежде чем из ворот города в тыл врагу вышел рабочий отряд, все защитники моста были перебиты. Первой пала Катерина Буври. Истекая кровью, старуха упала на разбитый станок.

В сумерки рабочие отряды вступили в город, где принялись тушить возникшие пожары и устанавливать порядок. Первый приказ, выпущенный победителями, гласил о том, что воровство и грабежи будут наказываться смертью. Бувье-Дюмолар остался на посту префекта и выпустил воззвание, призывающее к спокойствию. Госпожа Брюс и Генриетта после двухдневного пребывания в доме рабочего в Круа-Русс вернулись домой, но не отыскали Броше. Фабрикант бежал следом за графом Роге. Генриетта нашла отцовский особняк пустым и нетронутым. Рабочие охраняли улицы и не допускали грабежей.

— Мы добиваемся исполнения обязательств, которые негоцианты приняли на себя двадцать пятого октября. Мы не хотим анархии. Нам нужны работа и хлеб,— сказал Буври над братской могилой, в которую при свете факелов в первую ночь после победы положили несколько сот деревянных ящиков с телами павших в бою.

Двадцать четвертого ноября решившие покинуть погреба и вылезти на свет обыватели толпились у заборов, сплошь заклеенных воззваниями и прокламациями.

«Мы хотим прекратить кровопролитие, и генерал, движимый чувством гуманности, согласился на отступление гарнизона. Бойтесь анархии! Подумайте о ваших семьях и о городе»,— взывал Бувье-Дюмолар.

Серые листы смотрели тысячами зрачков-букв на оробевшие, измятые существа, едва оправившиеся от пережитых страхов.

Иногда у забора останавливался подлинный участник восстания, нередко он дочитывал до конца никем не подписанную прокламацию — плод творчества мелких буржуа и зажиточных ремесленников Лиона.

«Французская кровь была пролита французами, — писали они. — После печальных событий, свидетелями которых мы были, возрадуемся, что ужасная борьба окончилась. Но пусть победители сумеют воспользоваться победою, купленной так дорого, иначе она станет для них более роковой, чем поражение. Мы уже сказали, задолго до того как вопрос был решен оружием, что вся наша симпатия на стороне массы тружеников, тех, кого усидчивая работа не ограждает от голода. При виде трудолюбивых семейств, скученных в нездоровых мастерских, истощающихся в работе без отдыха, измученных постоянной необеспеченностью завтрашнего дня, душа наша часто наполнялась глубокой и скорбной жалостью — мы понимали, сколько потрясающего в этих криках, требующих смерти или справедливой оплаты. Но эта оплата может быть достигнута только порядком и свободою для всех, — без порядка, без свободы нет промышленности, нет работы, есть анархия, разорение, нищета, смерть нации. Несмотря на различие интересов, все мы — добрые французы. Друзья июльского правительства, остережемся, чтобы враги не пожелали воспользоваться нашими несогласиями и не зажгли междоусобной войны, столь счастливо потушенной».

## 23

Жорж Дюваль был послан генералом Роге в Париж с подробным донесением королю.

«Любовь моя, — писал Дюваль невесте в письме, которое ворожея Деи, подрабатывавшая на шпионаже в пользу отступившей армии, бралась передать в город, — жди терпеливо! Еще несколько дней — и мы войдем в город победителями, во главе с наследником и славным маршалом Сультом. Изгони из своей памяти пережитое. Забудь дни слез и ужаса, долгие ночи страха

и агонии. Я вознагражу тебя за это. Пользуйся своим правом и требуй от черни уважения и покорности.

Стоя на коленях, целую край твоего платья, моя мужественная героиня. Господин Броше заискивает передо мной и обещает нам не только благословение, но и все полагающееся тебе приданое».

24

В Париже о Лионском восстании стало известно лишь 24 ноября.

Негласным распоряжением правительства немедленно была усилена ночная охрана города. Шныряющие в толпе соглядатаи доносили, что анархисты всех мастей радуются и настороженно наблюдают за происходящим в шелкоткацкой столице. Начались стачки среди портовых рабочих речных пристаней под Парижем. Комиссар полиции не посмел, однако, вмешаться. На бирже царила паника. Палата депутатов заседала беспрерывно. Но сведения из Лиона поступали отрывочные и противоречивые. Прибытие посланца от командующего войсками графа Роге пришлось весьма кстати. Перепуганный король пожелал немедленно выслушать донесение, и Жорж Дюваль в карете президента палаты был доставлен на высочайшую аудиенцию в Тюильри.

25

Бувье-Дюмолар вот уже три дня не покидал префектуры. Он внимательно следил за развертывающимися событиями и, пользуясь доверием рабочих, делал все возможное, чтобы победившее восстание выдохлось, не дав политических результатов.

— Город несколько дней как занят рабочими, но я у власти, подобно многим из ее законных носителей. Победители исчезают с улиц в последние дни, они отрекаются сами от победы. Чего еще ждать от невежественной массы! — говорил Дюмолар своему помощнику. — Им нужны поводыри.

— Боюсь, что, покуда вы тут рассуждаете, пастухи для баранов нашлись помимо вас и нас,— раздался в это время сиплый бас ворвавшегося к префекту без до-

клада лионского мэра Буассе. — Извольте, взгляните, — прохрипел он и бросил на стол шероховатый серый лист.

Одышка мешала потрясенному мэру говорить. Он негодующе сопел и размахивал руками. Префект департамента Роны, скрыв беспокойство, пробежал глазами печатный текст принесенной прокламации.

«Лионцы! Вероломные магистраты фактически потеряли свое право на общественное доверие, между нами и ими возвышается гора трупов. Никакое соглашение, таким образом, невозможно. Лион, столь славно освобожденный своими детьми, должен иметь магистраты по выбору, магистраты, руки которых не обагрены кровью их братьев. Наши защитники выберут синдиков, которые будут представительствовать во всех соответствующих корпорациях и в представительстве города и Ронского департамента.

Лион должен иметь свои коалиции или предварительные собрания, нужды населения провинции наконец должны быть услышаны, и должна быть организована новая гражданская гвардия. Довольно министерского шарлатанства, которое нам предписывает подчиняться!

Солдаты! Вы заблуждались. Придите к нам, пусть наши раненые скажут, являемся ли мы вашими братьями.

Национальная гвардия! Распоряжения, отданные вероломными и корыстными людьми, осквернили ваш мундир. Но в сердце вы — французы. Соединитесь с нами для поддержания порядка.

Мы убеждены, что при первом призыве каждый из вас будет на своем посту.

Все честные граждане поспешат восстановить доверие, открыв свои магазины.

Заря истинной свободы с этого утра занялась над нашим городом! Пусть ничто не омрачит ее сияния. Да здравствует истинная свобода!

За комиссию рабочих:

Лакомб — синдик,

Фредерик — вице-президент,

Шарпантье, Лашарелль — синдики.

*Лион, 23 ноября 1831 года».*

Дюмолар дважды перечел подписи и спокойно обернулся к лионскому мэру.

— К счастью,— сказал он чванливо,— у меня есть достаточно влияния, чтобы исправить случившееся. Я знаю рабочих. Хотелось бы посмотреть Роге при создавшихся условиях. Он довел бы королевскую Францию до краха. Он, но не я. Этот документ устарел, хотя и помечен вчерашним днем. Они сами не поняли его смысла. К тому же сегодня мы противопоставим демагогии рабочих самого наследника трона, который на пути к Лиону. Поверьте, эта ставка бита.

— Но вы знаете только часть происшедшего! — и мэр замахал руками. — Этажом выше, здесь же, в ратуше, банда в семь человек объявила себя несколько часов тому назад каким-то главным революционным штабом. Они хотят республики, поймите же — рес-пуб-ли-ки! Воззвание — дело их рук. Я подозреваю, что эти господа не остановятся перед тем, чтобы пойти из Лиона войной на короля. Ходят слухи — парижские республиканцы только того и ждут.

Беспечное самодовольство на лице Дюмолара сменилось напряженным раздумьем.

Он вызвал Жерома и долго обсуждал с ним, как лучше пригласить представителей рабочих к себе на конфиденциальную беседу.

В тот же день старик Буври, Локомб, Лашарелль и кое-кто из рабочих собрались в кабинете префекта.

Дюмолар встречал их, многозначительно протягивая прокламацию и патетически поясняя:

— Знаете ли вы, что это значит? Поход на короля, война, небывалые безвинные жертвы.

Префект причислил себя к восставшим и клялся разделить их участь в страшных последствиях, которые повлечет за собой организация главного революционного штаба.

— Что худого сделал нам король, который желал облегчить участь трудящихся, дал Лиону большие заказы и посылает своего сына разобрать, кем и чем обижены ткачи? Вы стали игрушками в руках демагогов и врагов отечества.

Речи Дюмолара произвели впечатление.

— Мы не хотели мятежа, нам только бы обуздать та-

рифом произвол негоциантов,— сказал один из владельцев мастерских, почесав лоб.

Его поддержали остальные.

Обращение «К лионцам» по настоянию Бувье-Дюмолара было признано несуществующим. Вместо него рабочая комиссия выпустила обращение, адресованное префекту.

«Мы всецело преданы Луи-Филиппу, королю французов, и конституционной хартии. Мы воодушевлены чувствами самыми чистыми и самыми горячими и хотим общественной свободы и процветания Франции. Мы ненавидим все партии, которые пытаются на них покушаться».

Бувье-Дюмолар стал хозяином города. Ткачи признавали его власть и не мешали караулам, охраняющим пригороды, получать директивы непосредственно из префектуры. Прежние мэры оставались на своих местах. Как только Дюмолар получил известие о том, что наследный принц во главе двадцатитысячной армии подходит к городу, рабочим предложено было вернуться к станкам. Спешно чинились мостовые, открывались лавки, театры, кафе. Обыватель с восторгом приветствовал восстановление порядка.

Двадцать шестого ноября Жером ввел к префекту гонца из Тилье — ставки генерала Роге.

— Мы встретим наследного принца как послушные сыны,— патетически возвестил Дюмолар, принимая от курьера запечатанный пакет, в котором переусердствовавшему префекту Роны предлагалось, невзирая на все его услуги короне, немедленно покинуть город.

26

В последних числах ноября Буври отослал троих из своих вновь приступивших к работе ткачей и заперся в мастерской с Иоганном и Женевьевой.

— Дети мои,— сказал он, тяжело вздохнув,— нам придется расстаться. В течение недели я потерял жену, Андрэ, который был моим крестником, сына Жана, а сегодня я лишусь вас.

— Ты жалеешь о случившемся, старик,— буркнул Иоганн сердито,— а я скажу, что дни восстания были

лучшими в моей жизни. Теперь я знаю, что делать и куда идти.

— Оставим споры, Сток. Не время. Герцог Орлеанский с армией завтра войдет в город. Начнется расправа, тебе первому не миновать тюрьмы, а то и хуже. Кровь пролилась понапрасну: тариф отменят. Бувье-Дюмолара уже принудили покинуть город. Зато вчера вернулся в город негоциант Броше. Король нас предал, бог покинул...

Старик опустил седую голову и долго сидел молча. За окном мелькали угрюмые, согнувшиеся люди с котомками. Они оставляли город в канун расправы.

Сток вышел на улицу и направился к площади предместья, чтоб еще раз взглянуть на временный штаб восставших. Дом был пуст и темен.

В воротах кто-то положил ему руку на плечо.

— Прощай, друг, может, не сведет судьба больше.

Всмотревшись, Иоганн узнал молодого рабочего Менье, который шесть дней назад вел отряд на арсенал.

— Темно кругом,— продолжал Менье, отвечая на выразительное рукопожатие Стока. — Я больше не знаю, как нам быть. Мы победили. Мы стали хозяевами Лиона, и мы сдали все без сопротивления. Что делать дальше? Бороться за тариф или сдаться на милость господ и довольствоваться подачкой? Когда же появится человек, наш рабочий мессия, который научит нас бороться и объяснит, почему, победив, мы снова всего лишь жалкие рабы!

Сток молчал. Он сам мучился всем тем, чего не понимал Менье.

Они расстались.

На другой день Иоганн и Женевьева покинули предместье Круа-Русс и направились в Германию.

## *Глава вторая*

## ТРИР

### 1

Трир — один из наиболее душных городов Рейнской провинции: скучный зеленый Мозель, густые леса, препятствующие набегу ветров, липкие испарения, туманы и тучи...

Омнибусы, дилижансы, кабриолеты и телеги спускаются в долину к Триру либо взбираются на холмы, направляясь в сторону Кёльна. На почтовых станциях всегда есть ужин и ночлег для путников, овес и конюшни для лошадей.

Вдоль дороги, кое-где мощенной, встречается то распятие, то густо раскрашенная деревянная святая дева с младенцем на руках. В гуще деревьев прячутся католические монастыри.

В мае во всей провинции зацветают каштаны, акации и сирень, но нигде аромат цветущих деревьев не достигает такой пряной остроты, как в неподвижном воздухе затерянного среди холмов Трира.

Город живет строго размеренной жизнью: ровно в десять пустеют улицы, как бы ни пахли цветы и ни светили звезды.

...Два пешехода, вышедшие с Мясной улицы, ночной сторож да квартальный у полосатой будки были единственными живыми существами на площади Главного рынка в майский вечер 1834 года. Башенные часы укоризненно отсчитали четверть десятого и важно смолкли. Один из прохожих вынул золотую луковицу, проверяя время. Он подвинул стрелку длинным крючком.

Безлюдная прямоугольная площадь тускло освещалась керосиновыми фонарями.

На нескольких закрытых рундуках висели, как печати, огромные замки, под растянутым брезентом стояли стулья и корзины торговок. В центре площади возвышался фонтан, украшенный фигурой святого; четыре львиных головы по углам пьедестала равнодушно выплевывали воду.

Кое-где на мостовой валялись увядшие цветы и кожура фруктов. Площадь казалась мрачной, глухой.

Оживленно беседуя, прохожие обогнули площадь Главного рынка.

— Они обвиняют меня в превышении полномочий, — горячился один из них, размахивая черным, тщательно собранным зонтом. — Если вы помните, дело это касалось раздела изгородей общины Ирш. Сто четыре жителя остались мною недовольны и вот уже два года ведут тяжбу.

— Вам следовало бы апеллировать и добиться того, чтобы разбор дела перенесли из Трира в Кёльн, Генрих.

— Вы правы, этого я и хочу.

Приятели вошли в прихожую двухэтажного дома, освещенную керосиновой лампой, и аккуратно положили зонты и цилиндры подле множества других.

В низком, выкрашенном охрой зале, в густом табачном дыму, за газетой, чашкой кофе или кубком вина судачили десятка два мужчин в расстегнутых сюртуках. Эта комната и соседняя с ней, где в полном безмолвии сидели игроки в вист, были убраны с претензией на роскошь. На стенах висели литографии в дорогих рамах и портреты учредителей почтенного трирского «Казино».

Столы, как и стулья с высокими резными спинками, были из отличного дуба. На коричневом пианино покоились в футлярах две скрипки и кларнет: члены «Казино» ценили музыку. На этажерках вдоль стен лежали связки газет и журналов. С верхнего этажа доносились треск бильярдных шаров и споры игроков. Там же был зал, предназначавшийся для торжеств и банкетов по поводу прибытия знатных гостей или юбилеев наиболее почитаемых граждан и торговых фирм.

В большом зале нижнего этажа стояли подмостки и кафедра — на случай импровизированных концертов или деловых выступлений.

Жирная Эммхен — единственная женщина, постоянно прислуживающая в «Казино»,— первая заметила пришедших и, приподняв поднос на уровень рогатого белого чепца, выговорила скороговоркой:

— Добрый вечер, господин доктор Шлейг! Добрый вечер, господин юстиции советник Маркс!

Вслед за Эммхен многие головы повернулись к дверям. Начались фамильярные взаимные приветствия.

Шлейг и Генрих Маркс заняли свои обычные места за столом возле кафельной печи. Оба они сидели на одних и тех же стульях, перед тем же столом едва ли не каждый вечер вот уже более десятилетия. Жители Трира отличались постоянством привычек.

Разговор в главном зале после девяти часов вечера обычно объединял всех присутствующих.

— Сегодня умерла старуха Рутберг и, вопреки надеждам родственников, оставила всего десять тысяч талеров. Из двух виноградников она завещала один своей горничной. Кто мог ожидать этого при ее скупости! — начал трирский нотариус.

Наследство госпожи Рутберг обсуждалось не более пяти минут.

— Положение в Париже остается тревожным: карлисты устраивают заговоры, на бирже сумятица,— сказал Шлейг, открывая газету.

— Мы в Германии, по крайней мере, не принуждены ежегодно ремонтировать города после пожаров и восстаний рабочих. А вот Лион отстраивается второй раз за последние три года. Признаюсь, я не поменялся бы теперь судьбою с самым богатым из тамошних буржуа.

— Вы предпочли бы стать гамбургским золотым мешком, — чуть улыбнулся Маркс.

— Еще менее того я, конечно, хотел бы быть лионским рабочим или владельцем тамошней мастерской,— продолжал Шлейг, не ответив на замечание друга. — Бедные люди просят хлеба, а получают пули. Опасная, однако, политика.

— Я имел удовольствие получить известие от многим здесь знакомого Бувье-Дюмолара, — начал мелодичным голосом судейский чиновник, встряхнув холеной, завитой бородой и приглаживая локон на лысеющем темени.

— Он, кажется, служил у маршала Даву? — заинтересовался сидящий тут же пастор.

— Бувье-Дюмолар служил по соседству с Триром, в Кобурге, более двадцати лет назад и нередко бывал здесь. Я имел честь узнать просвещенного сановника в Кёльне, в превосходнейшем «Рейнском подворье», что на Сенной площади. Увы, он пишет, что даже смерть от холеры господина Перье не помогла ему вернуть утерянное благоволение короля. А ведь в свое время, в дни первого Лионского восстания, он спас престол, предотвратив — уменьем и тактом — всефранцузскую революцию.

— Уход Дюмолара не доставил Ронскому департаменту спокойствия: восстания повторяются и префекты не задерживаются на месте, несмотря на то что угождают правительству как только могут. Не много мудрости надо в наше время, чтобы править государством, но господин Гизо, видно, не имеет даже этой малости,— пробурчал Генрих Маркс, не выпуская изо рта трубки. — Кстати, что скажете, Шлейг, о заигрывании Луи-Филиппа с русским царем?

— К черту французов! — прервал юстиции советника

патетический вопль, и учитель Хамахер вскочил на подмостки.

Доктор Шлейг, скользнув скучающим взглядом по суживающейся кверху фигуре, погрузился в чтение иллюстрированного журнала. Юстиции советник Маркс откинулся на спинку высокого кресла и медленно отпил красного вина. Его подвижные темные глаза, глубоко спрятанные под выпуклым лбом, иронически сощурились. Свободной рукой он механически поглаживал седеющую бороду. Здесь, среди светловолосых и белолицых людей, Генрих Маркс казался еще чернее и смуглее. Он будто сошел с висящей над пианино литографии, изображающей привал бедуинов у колодца в Сахаре.

Двадцатишестилетний учитель немецкого языка, самый молодой член «Казино», Вильгельм Хамахер, был неистовым патриотом немного, однако, устаревшей формации. Он все еще считал Францию главным источником бед и неурядиц на родине и не уставал предавать ее анафеме. В своих речах он неизменно воспевал значительно поблекший с годами «голубой цветок единения и свободы» и звал назад, к тевтонской культуре. Он носил старинное одеяние предков: бархатную блузу с огромным белым откидным воротником. Прическа, на которую учитель затрачивал не менее часа каждое утро, являла собой сложнейший беспорядок, который некогда — по его, Хамахера, предположению — царил на тевтонских головах, расчесываемых главным образом пятерней.

Хамахер, отчаянно жестикулируя, пытался утопить французов в бурных водах красноречия.

— Гнет чужеземцев преодолеете не вы, зараженные язвой века, а великий, ведомый королем, нетронутый народ,— кончил он, простирая руки к Эммхен, появившейся в дверях с неизменным подносом.

Мировоззрением своим многоречивый учитель был обязан Геттингенскому университету, где учился в середине двадцатых годов. С тех пор многое изменилось в Германии,— созрели и дошли до Трира новые идеи. Но Хамахер был непоколебим и упорен, как и надлежало древнему германцу: он никогда не имел обыкновения пересматривать то, что не без труда усвоила его узкая голова, заканчивающаяся тевтонским чубом.

Покуда Хамахер ораторствовал, юстиции советник Маркс, опустошая граненый графин, не переставал посмеиваться в бороду.

После Хамахера заговорил, не поднимаясь с места, заезжий гость — адвокат из Франкфурта. Он пытался возражать учителю, доказывая, что национальные идеи отныне сталкиваются уже не с французским гнетом, а с прусским деспотизмом. Как бы случайно оброненное слово «конституция» прозвучало в притихшем зале выстрелом.

Шахматисты, пробудившись, покинули столы и сгрудились в дверях. Предусмотрительная Эммхен закрыла окна, хотя улица была безнадежно пуста. Генрих Маркс приподнялся, перестал щуриться.

Франкфуртский адвокат напомнил про обещание короля дать конституцию.

— С тех пор прошло почти двадцать лет, но мы ждем, мы верим, что никто не решится нарушить слово короля.

— Это может сделать сам король,— резким, звонким голосом ответил Генрих Маркс и тяжело закашлялся.

Франкфуртский адвокат подозрительно оглядел зал и поспешил перейти к менее рискованным темам. Обсудили виды на урожай винограда и ожидающиеся гастроли кёльнской оперы.

Король Фридрих-Вильгельм III не только не исполнил клятвы, но подверг жесточайшим репрессиям всех, кто не хотел забыть то, что забыл он сам. Тюрьмы были переполнены, гонения усиливались. Отзвуки Июльской французской революции, лионских восстаний, борьбы за Польшу разъярили прусское правительство, старавшееся подмять под себя все тридцать шесть германских государств.

Мрачный, деспотический прусский король безжалостно преследовал малейшее проявление вольнолюбия.

За разговорами члены «Казино» успевали опустошать множество бутылок и графинов, наполняемых Эммхен в погребе.

Стук бильярдных шаров становился все громче, споры наверху усиливались, языки развязывались. Игроки в вист тихонько напевали песенку мозельских виноделов.

С конца двадцатых годов цены на вино стали падать: для мозельских виноградарей пришли времена жестокой нужды.

Мы живем в прекраснейшей из стран на земле, благословленной богом.

Но проклятые таможенные пошлины сделают нас нищими.

Ах, если б знать, кто виновник пошлин на наше вино!

И даже если б то был пруссак, клянемся честью, он очутился бы в Рейне, да, в Рейне.

Доктор Шлейг, сидящий в центре небольшого кружка друзей, потребовал черного кофе, которым обычно запивал майнский рислинг.

— «Он очутился бы в Рейне»...— подхватил он напев виноделов и вдруг, взглянув на большой календарь с портретом усатого, мутноглазого Фридриха-Вильгельма Прусского, хлопнул себя по лбу:— Двадцать седьмое мая! Вторая годовщина празднества в Гамбахе, когда, идя под черными знаменами, мы пели эту же песню! Я провел лучший день жизни вместе со старым ворчуном Бёрне. Друзья мои, это героическая, вечная в истории Германии дата.

Он замолчал, отдавшись воспоминаниям.

Генрих Маркс, старавшийся оживить свою помертвевшую, полную пепла трубку, повернулся ближе к Шлейгу, который ему говорил:

— Должен сказать, торжество было проникнуто подлинным либерализмом, добрым радикализмом и, несмотря на близость Рейнской долины с ее романтическими развалинами, замутившими мозги наших поэтов,— безупречным реализмом.

— Не слишком ли много «измов»,— сухо вставил Маркс.

— Генрих, вы недоверчивы, как греческий философ,— ответил за Шлейга гимназический учитель древних языков.

Шлейг, не обратив внимания на реплики, продолжал:

— Мысль о возрождении отечества преисполняла наши сердца. Зибенфейфер говорил как якобинец. Это смелый человек. После него выступали ремесленники. То было братание всех классов. Каким единством дышали призывы ораторов! Студент Вирт немного перехватил через край, когда поднял бокал за республиканскую Европу, но бедняга поплатился жестоко...

Эммхен принесла полный графин и посеребренные кубки с надписью: «Пей до дна во славу божию».

Никто не стал расспрашивать о Вирте, отбывавшем тюремное заключение.

— Торжество закончилось добрым веселием,— добавил Шлейг.— Я горжусь тем, что пил многолетие не только свободной Германии, но и Польши и Франции. Выпьем, друзья мои, за двадцать седьмое мая!

Несколько человек нерешительно пригубили кубки.

— Выпьем за франков!— предложил внезапно Генрих Маркс.

— За Германию, за Рейнландию!— закричали сразу несколько голосов.

Шлейг, перескакивая через столы, опрокидывая стулья, добрался до пианино. Генрих Маркс затянул «Марсельезу».

Полутрезвый Хамахер, разбуженный пением, пытался заглушить хор отчаянным «Позор!»

Франкфуртский адвокат и пастор вытолкали учителя за дверь. Почтенные трирские обыватели отсчитывали такт песни кубками. Генрих Маркс удачно дирижировал пустой бутылкой.

Все новые и новые голоса присоединялись, подхватывая гимн французов. Но едва хор начал второй куплет, по лестнице со страшным грохотом скатился бильярдный шар, а за ним — некто в расстегнутом мундире.

— Молчать!— заорал прусский офицер с головой голой и круглой, как бильярдный шар.— Кто здесь оскорбляет прусскую армию? Я вызываю всех здесь присутствующих на дуэль завтра же на горе Святого Марка. Моя шпага к вашим услугам! Если угодно — пистолеты,— я готов. Господа, позорное поведение ваше не останется тайной для короля.

В зале началось смятение. Кое-кто попытался спастись бегством. Франкфуртский адвокат многозначительно снял сюртук и засучил рукава.

В ответ офицер застегнул мундир на все восемь золотых пуговиц. Но драку предотвратили Шлейг и пастор.

Юстиции советник Маркс, казалось, не замечал происходящего и, повернувшись спиной к прусскому гвардейцу, продолжал петь «Марсельезу», размахивая бутылкой перед значительно поредевшим хором.

## 2

Каролина фон Вестфален, сидя в беседке, обвитой виноградными лозами, вязала; это сызмальства было ее излюбленным занятием в сумерки. На зеленой скамье, прижав край шуршащей полосатой юбки, лежал томик грустных стихов Китса в коричневом переплете с золотым тиснением и баронским гербом. Из нарядной корзинки пушистыми птенцами вываливались мотки шерсти.

Каролина сидела, откинувшись на бархатную подушку, положив ноги, обутые в сафьяновые башмачки без каблуков, на низкую скамеечку. Если бы не равномерное движение спиц в узких руках, унизанных кольцами, она казалась бы спящей. Из открытого окна в сад лилась музыка.

Пасынок госпожи Вестфален, Вернер, доигрывал насмешливый менуэт Моцарта.

Выведенная из задумчивости треском гравия под тяжелыми шагами прислуги, Каролина спросила о дочери.

— Барышня Женни и господин Эдгар ушли на Брюккенгассе,— последовал ответ, и старая служанка укутала плечи госпожи кружевной шалью.

— Ушли, не спросив разрешения у матери! Таковы нравы нынешнего века,— заметила Каролина с притворной досадой.

До беседки докатился взрыв бодрого смеха.

Госпожа Вестфален встрепенулась, густо покраснела, торопливо расправила чепец в узких оборочках, лентами подхваченный ниже подбородка, и кокетливо спустила вдоль корсажа концы дорогой шали.

Людвиг фон Вестфален, в сопровождении двух сыновей, быстро шел к жене.

Советник прусского правительства в Трире только что вернулся из Берлина, куда ездил с докладом о положении подчиненных ему госпиталей, тюрем и благотворительных учреждений.

Это был рослый, крепкий пятидесятилетний человек с большой мужественной головой. Старший сын Вестфалена, шедший подле отца, казался одновременно его копией и карикатурой на него. Большие ясные глаза, умные и ласковые у советника, смотрели нагло и тупо у его сына; упругий добродушно-насмешливый рот старшего Вестфалена расползся похотливо и жестоко на чрезмерно

жирном лице младшего. Даже в одинаковом рисунке и цвете усов сказывалось совершенное различие: тщательно подстриженные колючие усы Людвига вовсе не имели вызывающего чванства усов Фердинанда.

В 1812 году, в пору французского владычества, овдовевший субпрефект Зальцведельского округа в Эльбском департаменте фон Вестфален женился на Каролине Гейбель. Она попыталась сблизиться с четырьмя детьми мужа от первого брака, но только младший пасынок Вернер ответил ей нежным доверием.

Фердинанд не часто бывал в родительском доме, и отношения его с мачехой оставались всегда только вежливо-безразличными. Сводные сестры и брат были значительно моложе первенца советника Вестфалена.

Каролина слыла в трирском обществе надменной не столько из-за природной нелюдимости, сколько из-за видного в чиновничьем мире положения мужа и знатного происхождения. Людвиг Вестфален своим умением ладить с людьми представлял полную противоположность жене.

Обаянию Вестфалена не легко было противостоять. Всесторонне образованный, легко разбирающийся в людях, он был страстным эпикурейцем, преклоняющимся перед античной культурой. Гомер с детства заменил ему Библию. Советник исчерпывающе знал греческую поэзию и философию.

...В беседке, обвитой виноградными лозами, Людвиг Вестфален с охотой передавал жене и сыновьям свои путевые впечатления. Он был в отсутствии более четырех недель. Каролина не могла удержать слез, вспоминая минувшую разлуку.

— Друг мой, какое счастье, что лошади не понесли! Спуск такой крутой, и дорога не везде мощеная...— прервала она мужа, согревая дыханием вышитый платок и утирая уголки глаз.

— Не беспокойся, дорогая. Я, как видишь, цел и невредим, да и, по правде говоря, не могло быть иначе. Мы проехали весь путь без каких бы то ни было осложнений. На обратном пути остановились в Оснабрюке, ночевали в гостинице «Кривого локтя». Так как положено было дать отдых лошадям, я имел время посмотреть ратушу, где заключен был Вестфальский мир. Комната небольшая,

с выпуклыми изображениями на потолке. По стенам — портреты государей и министров.

— Отец оседлал любимого конька,— резко отчеканил Фердинанд.

Каролина негодующе посмотрела на пасынка.

Стемнело. Гулко ударяясь о беседку, пролетали жуки. На свежих виноградных листьях, на траве проступала роса. Семья Вестфален покинула сад.

— На прусской границе таможенный пристав, отставной унтер-офицер австрийской службы,— рассказывал советник, взяв под руку жену,— был очень учтив со мною, но зато он не пощадил дамы, прибывшей в следующей за мной карете. Ей пришлось открыть двенадцать сундуков и множество корзинок, полных разных безделушек. За три фунта чая, найденных там, пристав потребовал девять с половиной серебряных грошей пошлины. Дама засуетилась и дала целый талер, из чего я заключил, что главного-то у нее не отыскали. Как досаждают все эти таможни, когда пересекаешь границы между Триром и Берлином! Случалось мне проезжать государства величиной с наш виноградник. Острословие господина Гейне не лишено справедливости, когда он отмечает, что некоторые из наших княжеств легко унести на подметке башмака.

Приближение Женни, как и Людвига Вестфалена, сопровождалось сочным переливчатым смехом, невольно заставлявшим улыбнуться всякого, кто его слышал. Так было и в этот раз.

Нарушая, по мнению матери, все положенные приличия, молодая девушка ворвалась в комнату и, широко раскинув руки, побежала к отцу, опрокидывая стулья, уронив перекинутый через плечо шарф, теряя черепаховые булавки. Людвиг едва успел подхватить свою любимицу.

Женни в последние годы удивляла его своей четкой красотой. Эдгар, внезапно нырнувший под арку переплетенных рук, загородил сестру. Отец приветствовал его ласковым широким жестом. Вестфален считал унизительным поцелуи между мужчинами, а Эдгар был уже почти мужчиной, хотя голос его все еще звучал по-девичьи звонко и, разговаривая, он все еще надувал неоформившиеся пухлые щеки, как делал это в раннем детстве. Неуклюжий, с непомерно большими, болтающимися вдоль тонкого тела, как плавники, руками, Эдгар выглядел моложе

своих пятнадцати лет. Все в нем было в процессе формирования — тело и мозг.

Казалось, не будет конца разговорам в старом вестфаленском доме. Но стрелка часов угрожающе подступала к девяти.

Первой жертвой ее был Эдгар.

Мальчик сидел в эту минуту на ручке огромного кожаного кресла, заслушавшись монологом Юлия Цезаря, который вслух читал отец. Короткое, разделенное на два слога «Эдгар», произнесенное Каролиной, мгновенно развеяло образы шекспировской трагедии. Советник, улыбнувшись в усы, отложил книгу.

Женни сочувственно посмотрела вслед брату.

Трир дремал. В открытое окно гостиной видны были спокойные лесистые холмы. Между ними, как нож между ржаными хлебами, лежал стальной Мозель.

### 3

Утром следующего дня Эдгар Вестфален, сопровождаемый отцовским слугой, шел в гимназию Фридриха-Вильгельма. На углу Симеонсштрассе его задержала процессия, направлявшаяся к собору. Впереди шли отроки в белых балахонах, неся пестрые хоругви и знамена. За ними, громко распевая молитвы, тянулся крестный ход. Шествие замыкал парчовый балдахин с раскачивающейся бахромой. Под ним был человек в тяжелой хламиде. Эдгар узнал трирского епископа по очкам, оседлавшим шишковатый бледный нос. Четыре священника окружали его святейшество.

Сотни ног безжалостно растаптывали только что распустившиеся ветки деревьев и кустарников, желтые полевые лютики и мохнатый лиловый сон-траву, которыми монахини, опережая шествие, посыпали мостовую. На перекрестке Мясной улицы духовенство служило молебны подле нарядных алтарей. Время от времени пронзительный колокольчик ставил идущих на колени. Женщины высоко приподнимали тогда широкие, плотные юбки, открывая толстые нитяные белые чулки.

Прохожие-протестанты втихомолку отпускали по адресу фанатичных католиков насмешливые замечания.

— Моления язычников превосходили пышностью католические,— сказал Эдгар слуге, круглому, коричневому,

обструганному, как добрый пивной бочонок.— Вчера учитель нам говорил, что, когда Трир был римской колонией, весною жители славили богов плодородия. Жрецы были тоже весьма представительны, и молящиеся слушались их, не прекословя.— Эдгар нахмурил едва очерченные брови, надул щеки, пытаясь вспомнить что-то.— Придется расспросить отца, позволялось ли жрецам носить очки.

Вдруг шум и сумятица в середине процессии сосредоточили на себе внимание улицы. Гусару в кирасе, верхом на гнедом коне, наскучило ждать, покуда толпа поредеет и можно будет пересечь улицу. Он попытался проложить себе путь между молящимися. Его встретили бранью. Позабыв о крестном ходе, католики сменили псалмы на угрозы божьей карой. Из-за белых занавесок и ставен открытых окон домов высунулись головы в ночных колпаках и чепчиках. Трирские жители радовались всякой неожиданности, нарушавшей унылую изученную ежедневность.

К удовольствию многочисленных школьников, сновавших по тротуарам, протестанты, встав на защиту дерзкого гусара, обозвали римского папу истуканом. Негодование католиков грозило значительными осложнениями городскому порядку. Доктор Шлейг из окна своего дома взывал к веротерпимости, стремясь примирить протестантов, занявших тротуары, с многочисленными католиками, наступавшими с мостовой. Наконец с Главного рынка не спеша прибрел полицейский и, не слушая посыпавшихся со всех сторон разъяснений, взял под уздцы офицерскую лошадь с возмущенным седоком и вывел в прилегающий переулок. Колокольчик зазвенел, толпа грохнулась на колени, обратившись к молитвенникам и четкам. Окна опустели.

Эдгар пришел в гимназию к концу общей молитвы. Он проскользнул во двор, сообщнически подмигнув тучному швейцару, и, прячась за спинами более рослых учеников, добрался до своего места у стены гимназической часовни, оставшись не замеченным чинно выстроившимися по обе стороны от директора Виттенбаха учителями.

Очутившись в своем ряду, Эдгар огляделся, дернул соседа, черноволосого мальчика, за полу мундира.

— Я получил отличную историю Пруссии от отца,— шепнул Эдгар и, устыдившись похвальбы, добавил:— Отец спрашивал о тебе и хочет видеть тебя, Карл.

Карл живо повернул голову.

— Господин Вестфален приехал? Софи ничего не сказала мне. Если ты ничего не имеешь против, пойдем после школы прямо на Римскую улицу.

После невнятного «Отче наш» ученики разбились на пары и продефилировали по-военному мимо школьного начальства. Карл и Эдгар шли вместе. Покружив по двору, гимназисты исчезали за низкими дверями треугольного кирпичного строения с множеством непомерно малых окон. Гимназия Фридриха-Вильгельма, бывшая когда-то иезуитской коллегией, внешним своим видом напоминала прусские казармы.

Квадрат двора замыкался фасадом часовни цвета недозрелых помидоров. Касаясь ветвями зубчатой крыши, короновавшей гимназическую молельню, росли тут одинокие деревья. Плющ, цепляясь за выступы, тянулся по стене вверх, как узник, ищущий света.

Эдгар и Карл наперегонки, перескакивая через две ступени, взобрались по узкой каменной лестнице на верхний этаж и заскользили по начищенному воском полу гулкого, выбеленного голубоватой известкой коридора.

Они умерили бег недалеко от двери, едва заметной в нише. На ней висела дощечка с одним словом, выведенным по-латыни: «Prima». На противоположной двери значилось: «Oberprima». Это были два старших, выпускных класса.

Эдгар прикрыл рукой смеющийся рот и, умело подделываясь, закашлял скрипучим, долго не стихающим старческим кашлем. Карл, подобрав внутрь губы, шамкая и пришепетывая, невнятно произнес латинскую поговорку.

Мгновенно за стеной раздались топот ног, хлопанье пюпитров, сменившиеся глубокой тишиной. Тридцать учеников чинно уселись по местам, сложили руки на коленях и повернули головы, приоткрыв рты.

У каждого на языке вертелось неизбежное почтительное «Доброе утро!», которое следовало произнести хором. Еще раз кашлянув и шаркнув ногой, Эдгар распахнул дверь и предстал перед оторопевшими товарищами, приготовившимися встретить старого Виттенбаха, обычно возвещавшего о своем приближении долгим кашлем и бормотанием.

Предпоследний класс — prima — составляли преимущественно великовозрастные ученики. За исключением четверых — в том числе пятнадцатилетнего Вестфалена

и шестнадцатилетнего Маркса — гимназистам давно перевалило за девятнадцать и двадцать. Самому старшему ученику исполнилось двадцать шесть лет. Это был чисто выбритый кряжистый парень с тусклыми, упрямыми глазами меж красных век без ресниц.

Учение давалось ему очень трудно. Он пробыл в школе более десяти лет, порешив, если надо, провести в ней всю жизнь, но добиться свидетельства об окончании. Сын виноградаря предназначал себя духовной карьере. Покуда же парень открыто возмещал это усиленным потреблением вина. Одноклассников будущий священник держал в повиновении, утвержденном кулаком и руганью, и брал разнообразную дань — от перьев и булочек до ранцев и денег — с несмелых.

Маркс был дружен с немногими гимназистами: не только разница лет, но и различие интересов являлись помехой в его сближении с ними.

В 1830 году, в первый год посещения гимназии, двенадцатилетний сын юстиции советника слыл неутомимейшим проказником. Подвижной, изобретательный в играх, неисчерпаемый в выдумках таинственных историй, он нередко вызывал неудовольствие, даже растерянность у педантичных преподавателей. Они невольно отступали перед бескрайней пытливостью детского ума. С годами этот смуглый, черный мальчик с горящими глазами как будто угомонился.

Школа стала для Карла только тропинкой, ведущей сквозь гнилой валежник к большой дороге.

Непрозорливые учителя поздравляли себя между тем с мнимой победой — укрощением строптивого духа — и зачислили подраставшего Карла в разряд средних, мало обещающих, склонных к лени учеников.

Эдгар Вестфален считался среди педагогов более даровитым и примерным воспитанником. Маленькое ребячливое честолюбие подталкивало его. Не пытаясь заглянуть в глубину, он легко плавал на поверхности знаний, щедро преподнося сокровища своего вычурного книжного ума — ради наград и лестных отметок, которые так мало занимали всегда неудовлетворенного, ропщущего Маркса.

Учителя, встречая советника прусского правительства Вестфалена и его холеную, осанистую жену, неизменно предрекали их сыну будущность, достойную столь славного имени. Юстиции советнику Генриху Марксу не при-

ходилось слушать особенных похвал от пророков гимназии Фридриха-Вильгельма.

Благодаря директору Виттенбаху, видному и заслуженному историку своей родины, в гимназии Фридриха-Вильгельма вместе с неизбежной рутиной уживался своеобразный дух свободолюбия. Среди преподавателей выделялись Витус Лёрс, знаток классических языков, Шнееман, исследователь древности, и математик Штейнингер.

Иоганн-Гуго Виттенбах известил о себе кряхтением и кашлем, заслышав которые ученики невольно повернули головы не в сторону дверей, а к амбразуре окна. Но Эдгар и Карл, занимавшие переднюю парту, сидели, вперив с невиннейшим видом глаза в литографированный портрет хмурого Фридриха-Вильгельма. Прусский король отвечал им сердитым взглядом и запечатленной на губах воинской командой.

На этот раз в класс вошел сам почтенный трирский историк. Замешательство, вызванное проказами Карла и Эдгара, привело, однако, к тому, что «Доброе утро, господин директор!» прозвучало нестройно, отчего Виттенбах, любивший порядок, неодобрительно покачал головой. Несмотря на шестьдесят семь лет, учитель истории был юношески быстр в движениях. Лицо его было упруго, опалено солнцем, и только обвислые, шлепающие губы выдавали старость.

Виттенбаха в Трире считали якобинцем, и молва эта, сделавшая старика героем многих учеников, вредила ему в мнении прусского начальства. Ходили упорные слухи, что почтенный директор организовал как-то революционное празднество и даже изображал аллегорического гения у подножия богини разума, представляемой прекрасной мозельской крестьянкой. Всю эту сцену будто бы видела торговка с Главного рынка. Враги Виттенбаха, к неуемному негодованию городского духовенства, обвиняли его также и в атеизме.

— Кто из нас не грешен! — посмеивался директор в ответ на расспросы, касающиеся его молодости.

Прежде чем приступить к уроку, Виттенбах имел обыкновение приводить в порядок кафедру. Он тщательно вытер доску, очинил все до одного карандаши, подвинул песочницу, проверил перья и банку чернил. Не спеша, старательно опорожнил нос, поправил вставные челюсти и вы-

нул деревянную табакерку, чтоб втянуть нюхательный табак, зеленые хлопья которого неизменно висели на его усах. Потом оценил погоду. Отправной точкой обычно служило воспоминание об одном из дней 1792 года, когда Виттенбах был проводником веймарского вельможи-поэта по Триру. В этот раз Виттенбах не отступил от правил.

— Великолепный весенний день, облака на востоке, возможен дождь на закате,— сказал он, глядя в окно, из которого открывался вид на зубцы часовенной крыши.— Когда советник фон Гете был в Трире и я имел счастье показать ему наш город в дни былого величия, погода благоприятствовала, как и сегодня.

— Господин директор,— попросил Эдгар, зная, чем угодить старику,— ученики были бы весьма счастливы услышать об удивительном событии вашей жизни.

Виттенбах ответил стихами из «Фауста»:

Отдай же годы мне златые,
Когда и сам я был незрел,
Когда я песни молодые,
Не уставая, вечно пел!
В тумане мир передо мною
Скрывался; жадною рукою
Повсюду я цветы срывал
И в каждой почке чуда ждал.

Голос старика вдохновенно вздрагивал. Правую руку, не выпуская из нее круглой коричневой жабообразной табакерки, поклонник Гете изо всех сил прижал к борту тщательно выутюженного сюртука, под которым полагалось биться сердцу. Узловатые, бурые пальцы вытянутой вперед левой руки нервно изгибались.

Эдгар Вестфален, затаив дыхание, слушал стихи. Его плоские уши алели.

— Какой актер!— сказал он, наслаждаясь неистовым старческим пафосом.

Отдай мне прежний жар в крови,
Мои порывы и стремленья,
Блаженство скорби, мощь любви,
И мощной ненависти рвенье,
И годы юные мои.

Голос Виттенбаха взлетал на слове «рвенье» и грохнулся в недра рокочущего шепота.

И мощной ненависти рвенье,
И годы юные мои... —

пробормотал чтец в разноцветные усы и смолк.

Пауза длилась миг.

— Ты! — сказал Виттенбах равнодушнейшим тоном и широким жестом опытного удильщика рыбы вскинул руку. Его указательный палец, пронесшись над головами учеников, вонзился в великовозрастного парня, вяло сосавшего грошовый леденец.

— Кто привел крестоносцев к Константинополю?

Ответа нет. Сын виноградаря беспомощно озирается. Веки просительно мигают. Ему подсказывают, но недостаточно внятно. Виттенбах принимается чинить карандаши и сосать вставную челюсть — плохое предзнаменование.

— Эммерих Грах, расскажите тем, кто позорит великое знамя науки, историю четвертого похода крестоносцев,— говорит учитель сердито.

Красивый русоволосый юноша уверенно подходит к кафедре. Виттенбах щурит глаза от удовольствия, заслышав вкрадчивый голос своего любимца.

Как всегда, Грах знает урок.

— Любовь этого молодого человека к наукам,— заявляет Виттенбах классу,— лишний раз доказана перед вами; вот достойнейший мой воспитанник, я могу лишь пожелать, чтобы он оставался и впредь примером добронравия и прилежания нашей гимназии.

Эммерих, благожелательно улыбаясь товарищам, идет к своему месту.

Маркс дружески ему кивает.

В перерыве между уроками Эдгар, Карл и Эммерих сидят под одним из деревьев во дворе. Они обсуждают предстоящие каникулы и будущее. До окончания гимназии остается только год. С осени все трое перейдут в oberprima, и наконец, после сдачи на аттестат зрелости, им откроется заповедный университет. Выбор специальности изо дня в день обсуждается всем классом. За исключением католиков, твердо решивших посвятить себя богословию и рясе, остальные стремятся к чиновничьей или ученой деятельности. Двое хотят быть врачами.

У Эммериха свои планы.

— Торговля,— говорит он с неизменной предупредительной улыбкой, перенятой у отца, уважаемого в городе купца, проведшего бóльшую часть жизни за прилавком, — торговля — то занятие, которое составляет счастье целых наций. Мои предки — купцы — были счастливы и видывали свет.

— Твои предки предопределили твою профессию,— замечает Маркс, думая о том, что будет юристом, как и его отец.

— Нет, Карл. Если считаться с тем, чего хочет моя семья, то следует пойти на юридический факультет. Такова давнишняя мечта отца. Торговое дело он передает моим братьям. Я же, хоть и почитаю купцов, должен признаться, предпочитаю иное поприще. Поклянитесь молчать, я доверю вам свою тайну.

Мальчики охотно обещают.

Эммерих решил быть солдатом. Карл и Эдгар слушают удивленно.

— Что может более удовлетворить юный темперамент в наш век, как не война,— походы, чужие земли, схватки с врагами, невероятные приключения?.. Знаете ли вы жизнь более замечательную, нежели жизнь Наполеона, Вильгельма Завоевателя или Александра Македонского? Индия, Египет, Турция откроются передо мной.

Женственное лицо будущего полководца приобретает не свойственную ему твердость. Карл любуется проявлением воли и улыбается своей чуть-чуть иронической думе.

— Доля солдата,— вмешивается в беседу юный Вестфален,— меня не прельщает, хотя предки моих родителей не раз обнажали меч. Отдаю должное Эммериху. Он выбрал себе эффектную роль на сцене жизни.

Эдгар двумя пальцами касается места, где в будущем предстоит появиться усам и где сейчас вьется лишь легкий бронзовый пушок. Этот жест мальчик перенял у отца и пользуется им, лишь когда изрекает мысли, по его мнению, особо значительные.

— Что такое жизнь, друзья? Театр, подмостки. Кто мы? Не более чем актеры. Следует избрать роль и исполнять ее искусно. Всякая игра имеет приятности и трудности, всякая приносит славу, если исполняется хорошо. Грах будет солдатом, но каким? Мы видим, как одну и ту же роль исполняют по-разному.

Маркс звонко смеется.

— Предвижу,— говорит он,— как потрясут твои напыщенные реляции сердца наших педагогов. Виттенбах неизбежно прослезится над подобным монологом.

Гонг возвещает конец перемене.

4

Дом, где жил юстиции советник Генрих Маркс с многочисленной семьей, находился на Брюккенгассе под номером 664.

Фасад дома не выделялся ничем особенным. Единственным малоприметным украшением были латинские цифры над входной дверью, служившие как бы метрической справкой: дом был построен в XVIII столетии и принадлежал церкви св. Лаврентия. Монахи сдавали его внаймы среднего достатка чиновникам из княжеского управления. Дом не насчитывал в числе своих обитателей ни одного сколько-нибудь примечательного человека. Сотни подобных домов незаметно возводились в Трире, служили нескольким поколениям и, разрушаясь, уступали место саду, винограднику, мостовой или строению, более соответствующему нуждам времени.

В 1805 году, после введения в действие Кодекса Наполеона во всей Рейнской области, конфискованные церковные земли и недвижимости пошли с молотка. Советник Михаил-Кристьен Дагароо дешево купил дом на Брюккенгассе. Стремясь получить большую прибыль, оборотливый домохозяин сделал надстройку и отгородил помещеньица в нижнем этаже, где вскоре обосновались две лавчонки. Во дворе, за флигелем, Дагароо разбил небольшой сад.

Зимой 1818 года адвокат Маркс и его жена, приискивая новую квартиру, зашли на Брюккенгассе. Домохозяин отпер им дом и, подняв глухие ставни, повел внутрь. Первая дверь вела в комнату, слабо освещенную двумя окнами, но достаточно изолированную и вместительную, чтоб служить кабинетом. Генрих Маркс, учитывающий все увеличивающуюся адвокатскую практику, остался доволен помещением. Однако в домашних делах решающее слово имела его жена.

Прежде чем осматривать второй этаж, флигель и сад, госпожа Маркс пожелала увидеть кухню.

— Для доброй хозяйки, какой я желала бы быть, очаг — основа семейного благополучия,— заметила она.

Дагароо уверенно прошел следом за ней. Он знал, что кухня заслужит одобрение каждой немецкой матери семейства: плита была выложена кафелем и, несмотря на свои размеры, оставляла свободным значительное

пространство. Генриетта Маркс мигом наполнила кухню людьми — поварихой и горничной, исполнявшей также обязанности судомойки и прачки.

Вдоль пустых стен она поставила шкафы с фаянсовой посудой: на полках засинели десятки неподвижных одиноких мельниц, выведенных на тарелках голландского сервиза, полученного в приданое.

Тщательно вычищенные медные кастрюли озарили кухню острым металлическим светом.

Генриетта Маркс замечталась, но внезапно забота свела ее брови.

— А где колодец, господин Дагароо? — спросила она, уверенная, что нащупала слабое место.

Домохозяин в ответ раскланялся и с величайшей предупредительностью не сомневающегося в своей победе человека отворил угловую дверь, которая вела на небольшой мощеный дворик. За дверью находилось нечто вроде круглого чулана. Дагароо поднял фонарь, и госпоже Маркс осталось только одобрительно вскрикнуть: колодец был здесь.

Искусная домохозяйка мгновенно оценила подобное преимущество. Она не поленилась спустить в колодец ведро и дождалась, покуда Дагароо вытащил его полным свежей воды.

Осмотр верхнего этажа, где предполагались спальни и детские, и флигеля, предназначавшегося для слуг и гостей, занял немного времени. Прилегающий к дому сад оказался достаточно большим, чтоб в нем резвились дети, цвели голландские тюльпаны и немецкие настурции. Из сада открывался замечательный вид на гору Святого Марка, под которой протекает Мозель.

Генрих Маркс задержался во внутреннем мощеном дворике, по обе стороны которого шли балконы, соединяющие главный корпус с флигелем. Раскраска и резной узор деревянных перил были навеяны Востоком. Такие балкончики часто встречались в замкнутых дворах Алжира и Туниса. Кто мог занести этот рисунок в Трир? Дагароо не знал этого.

Дом на Брюккенгассе был взят в долгосрочную аренду семьей Маркса. В этом доме 5 мая 1818 года у госпожи Маркс родился третий ребенок, названный Карлом Генрихом.

Карл Генрих родился в угловой комнате второго этажа, выходящей окнами на Брюккенгассе. С большого дивана темной карельской березы, служившего кроватью, Генриетта смотрела, как впервые купали ее второго сына. Отец умиленно рассматривал черноволосое дитя.

Мальчик год жил в комнате матери. Потом его сменил родившийся в 1819 году Герман. Карла перевели к старшим брату и сестре.

Количество детских кроваток неизменно возрастало в доме под номером 664 на Брюккенгассе. Генриетта воспитывала детей строго. Достаточно просвещенная, она знала, что воздух, чистота и правильный распорядок дня помогут укрепить их здоровье. Звание матери и жены, возлагавшее на госпожу Маркс множество обязанностей, казалось ей величественным. Генриетта с детства готовилась к нему. В родном Нимвегене, медлительном голландском городе, ее учили утомительно-сложному искусству охранительницы домашнего очага. Дом голландца — в особенности женская половина — закрыт для посторонних. Только родственники и близкие друзья вхожи туда. Окна нимвегенских домов завешены тяжелыми шторами, и жизнь обитательниц этих домов тиха, строга и уныло-благонравна.

Образы бессловесных библейских супруг были на протяжении многих веков идеалом для каждой женщины в высокочтимой семье Пресборков.

Генриетта умела искусно штопать, стряпать, стирать, пеленать новорожденных. Она изучала религиозные ритуалы и ждала замужества, чтоб посещать женский загон в синагоге и зажигать свечи в канун субботы.

Каждое утро она слышала, как, надев полосатый талес, отец ее Исаак благодарит сурового еврейского бога за то, что тот не создал его женщиной. Генриетта, однако, никогда не жалела, что родилась существом презренным, то есть женщиной. Жребий жены и матери казался ей блаженным. Ее тело было сильно и готово для родов, для любой работы. Она читала всегда с определенной целью,— чтоб знать и тем предотвратить пороки своих будущих детей, чтоб добрым поведением, советом, экономией укрепить благосостояние будущего мужа.

Исаак Пресборк был добрый отец, но не дело дочери — выбирать мужа. Генриетта, по примеру своих бабушек, могла стать женой раввина. Ей пришлось бы тогда обрить

волосы, надеть рыжеватый грубый парик с нитяным пробором и вести жизнь традиционно замкнутую и полную женских унижений. Но случай спас ее от старых вдовцов, деспотических раввинов и купцов. Молодой трирский адвокат, человек широко образованный, женился на ней. Генриетта Пресборк и Генрих-Гиршель Маркс составили дружную пару. Генрих относился к жене с подчеркнутым вниманием.

5

Карл, забежав из школы домой предупредить, что идет к Вестфаленам, узнал от сестры Софи об ожидающемся приезде брата матери, дяди Иоганна. Во флигеле спешно готовили комнату гостю. В столовой Карл столкнулся с матерью. Крайне озабоченно она пересчитывала столовое белье, погрузив руки в белую пену салфеток и скатертей. Дяде Иоганну решено было устроить торжественный семейный обед.

Воспользовавшись сумятицей и треволнениями, Карл легко получил разрешение уйти вместе с Софи к знакомым.

Семьи юстиции советника и советника прусского правительства были издавна дружны. Софи стала закадычной подругой Женни, добрые отношения связывали и одноклассников — Карла и Эдгара.

Младшая дочь Вестфаленов была четырьмя годами старше Карла и почти достигла совершеннолетия ко времени перехода его в последний класс гимназии.

Бывало, в детские лета, Карл дожидался, забившись в угол гостиной, покуда, сопровождаемая матерью, девушка не сойдет к карете, чтоб ехать на бал.

Юношу Маркса в большом, несколько безалаберном вестфаленском доме привлекали изобилие книг и умная беседа хозяина, всегда внимательно и дружелюбно встречавшего школьного товарища Эдгара. Каролина внушала Карлу равнодушное почтение своей холодноватой сдержанностью и барскими повадками, но Людвига он любил и ценил почти так же, как отца.

Жена советника прусского правительства, происходившая из скромной дворянской семьи, чтила и в совершенстве знала генеалогию Вестфаленов. В противовес весьма

демократическому мужу она любила порассказать о предках.

Иногда по вечерам, когда дом спал, Каролина вынимала из ларца, украшавшего выступ ее камина, посеревшее письмо матери Людвига, Женни Питтароо. Шотландская аристократка на склоне лет высокопарно описывала историю своей семьи. Бунтам, восстаниям, плахе и костру отдали дань ее беспокойные предки.

Первым в этом грозном параде мятежных аристократов, поднявших меч на корону, выступал Арчибальд Аргайль. Его имя воскрешало перед Каролиной хмурую феодальную Шотландию XVII века, дворянские усадьбы, глухие пастбища и унылые морские просторы.

Тщетно Карл Первый пытался подкупить шотландского лендлорда, даровав ему титул маркиза и осыпав дарами и льстивыми грамотами.

Страстный, суровый пуританин остался непреклонным: он поддержал английский парламент в борьбе с беспутным, расточительным королем.

В дни кромвелевской диктатуры Аргайль считался опорою пресвитериан в Шотландии.

После реставрации он кончил дни на плахе как государственный изменник и цареубийца...

В начале Римской улицы Карла окликнул рослый пожилой мужчина, одетый весьма нарядно, хотя и по моде прошлых лет. На нем был заметный камзол салатного цвета с золотыми пуговицами и узенькие коричневые брюки. Карл узнал Эдуарда Монтиньи — книготорговца, у которого несколько лет назад брал уроки чистописания, — без особого, однако, успеха. Отстав от сестры, Карл пошел проводить бывшего учителя до его лавки. Монтиньи был издавна известен трирцам своей говорливостью: поймав слушателя, он бесцеремонно забрасывал его вопросами, на которые имел обыкновение отвечать сам.

— Как почерк? Никуда не годен. Проказничаешь? Сознаюсь. Читаешь классиков? Недостаточно. Здоровье госпожи Маркс? Превосходно.

Так как Маркс не пытался перебивать его, господин Монтиньи успокоился и заговорил плавно:

— Удивительное время, фантастические открытия! Уверен, что старые крысы из гимназии Фридриха-Вильгельма не удосужились посвятить в них учеников. Я, старый книжный червь, давно изгрыз фолианты Овидия,

Платона и отлично знаю все государственные мероприятия Сервия Туллия, однако же иду в ногу с веком и предпочитаю всем героям Плутарха господ Гаусса и Вебера, которые в Геттингене применили недавно электромагнитный телеграф, соединив обсерваторию с физическим кабинетом. Длина тысяча метров. К магнитной игле, движимой посредством индуктивного электричества, ученые приспособили алфавит, который дал им возможность понимать друг друга. А, каково? Ты недостаточно интересуешься достижениями техники, мой мальчик. Но — верь Эдуарду Монтиньи — техника, не что другое, даст человечеству равенство, свободу и братство.

Карл чуточку нахмурил брови.

— Техника? — переспросил он недоверчиво.

Но Монтиньи уже думал о другом. Его мысль прыгала, подобно кузнечику.

— Бёрне пишет в прошлогодних парижских письмах, что в Германии не умеют понимать значения общественного мнения и потому народ — ничто. Монарх подменил государство. Я добавлю: Меттерних же подменил и монарха. Если наши монархи, то есть господа Меттернихи, еще не разогнали представителей сословий хлыстом, как это некогда сделал Людовик XIV, то только потому, что те так тихи, что лишают правителей даже этого удовольствия... Эдуард Монтиньи — якобинец и гордится этим,— напыжившись, произнес учитель чистописания.— Я почти готов простить Наполеону его подлую авантюру за то, что он разбудил Рейнландию и, сам того не желая, научил нас чтить революцию и свободу... Да, Карл, если я не научил тебя писать буквы достаточно красиво и четко, я, может быть, поселил в твоей умной голове кое-какие думы. Во мне французская кровь, которая мешает дремать пытливым размышлениям.

Карл с облегчением увидел перед собой вывеску и витрину книжной торговли Эдуарда Монтиньи.

## 6

Дядю Иоганна ждали не ранее сумерек. Во втором этаже дома Марксов собралось за круглым столом небольшое женское общество: госпожа Маркс, две ее приятельницы и Софи. По молодости лет ей не полагалось

принимать участие в беседе замужних дам, и девушка, забившись в уголок дивана, вышивала кошелек.

Генриетта угощала гостей кофе и рассыпчатыми пряниками, пахнущими лимоном, секрет приготовления которых был ее гордостью. Разговор за столом вращался вокруг трудностей воспитания дочерей.

Госпожа Шлейг, мать двенадцати детей, считалась авторитетом. Внешне она была примечательна лишь своеобразием нарядов, в особенности чепцов, которые мастерила сама, что, по ее мнению, приносило значительную экономию в семейном бюджете. Пристрастие госпожи Шлейг к шуршащим материям граничило с пороком и с избытком поглощало суммы, оставшиеся от некупленных головных уборов. Редкая худоба позволяла ей носить не менее трех тафтяных юбок под поплиновыми платьями цвета мозельских маков. Каждый шаг госпожи Шлейг сопровождался шуршанием, которому позавидовал бы шныряющий в прирейнских рощах ветер. Сегодня чепец на лысеющей голове эксцентричной дамы должен был напоминать о неукротимости пенящегося водопада: госпоже Шлейг удалось достичь того, что куски материи в предельном беспорядке, подобно брызгам мутной пены, то и дело падали на щеки, глаза и плечи.

Она непрерывно поправляла чепец и через плечо хозяйки старалась заглядывать в зеркало, висевшее в простенке меж двух окон. На коленях госпожи Шлейг лежало рукоделие, без которого трирские горожанки не ходили в гости.

— Я не сочувствую балам и сожалею, что, во вред нашим дочерям, они были столь часты в эту зиму, — говорила госпожа Шлейг.— Ныне балы — то же, что и маскарад, на котором неизбежно господствует вольность. Танцеванье, может быть, и невинная забава, оно даже полезно для телесного упражнения и ловкости, но для чего, скажите, приглашают на бал всякого, на ком порядочный фрак, для чего этому фраку разрешается обнимать невинные создания и глазеть на них столь сладострастно? В наш век молодые люди редко бывают благонравны. Чего только они не читают, чего только не видят вокруг! Госпожа Вестфален, нахожу я,— желая быть не злоречивой, а только справедливой, — недостаточно строго воспитывает Женни. А девушка уже на выданье. Боюсь, Генриетта, вы избрали дурной пример для своих дочерей.

Женни бывает на всех балах, что при ее красоте и знатности таит страшные опасности. Чем кончится это для барышни, боюсь предрекать, но думаю, она не сделает хорошей партии.— Негодующий чепец госпожи Шлейг заерзал на темени.

Софи не решилась поднять глаз от вышивания и закусила губы, чтоб не засмеяться.

— Вы несправедливы к Вестфаленам,— отвечала Генриетта Маркс. — Женни — олицетворение скромности, учтивости и добродетели. Она резва и начитанна и, пожалуй, склонна к экзальтации. Такое теперь время. Мои дочери читают книги своих братьев, и мой муж считает это разумным. Мы, конечно, были другими в юности... Женни Вестфален — дитя нового поколения, но она тем не менее — нежнейший цветок.

— Ах,— поморщилась госпожа Шлейг,— я должна сказать, что не верю простоте аристократов. Все же она — баронесса. Простота ее — притворство. Увидите, как прелестная Женни, выйдя замуж за какого-нибудь знатного богача, из бутончика превратится в напыщенный пион. Видывали мы таких. Узнает ли она вас и Софи тогда, милая госпожа Маркс? Барышня не заносчива, но это, конечно, ненатурально и происходит от хитрости. Разве то, что она все еще не нашла жениха, не говорит о дальновидности и расчете?

— Ну, в девятнадцать лет можно повременить, не к спеху надевать фату,— ответила госпожа Маркс, косо посматривая на дочь. Разговор за столом начинал казаться ей неподходящим для молодой девушки. — В Кёльне,— продолжала она, стараясь перевести разговор,— в оркестре оперы на арфах играют теперь женщины.

— Сожалею об их несчастных матерях! — Госпожа Шлейг содрогнулась.

— Напротив, мне кажется это хорошим почином,— вмешалась, оживившись, Софи и, невзирая на укоризну в глазах матери, продолжала: — Во Франции, более того, в лавках торгуют приказчицы, нанятые со стороны.

— Даст бог, Трир это минует,— с достоинством возразили ей дамы. — Подобный соблазн недопустим для наших сыновей. Главное, эти девицы считаются в обществе вроде как бы порядочными...

Впервые в беседу вмешалась жена пастора Якова Гроссмана, лицо которой напоминало насмешнице Софи сдоб-

ную булочку с пятью изюминками, вдавленными на место глаз, носа и рта.

— В Кёльне, — объявила она, — опять заживо погребли женщину.

Госпожа Гроссман тщательно подбирала и коллекционировала мрачные истории и приносила их с собой, раскладывая и выхваляя, как коробейник свой товар.

Ее усердными стараниями было возведено на трирском кладбище особое помещение, где покойников держали три дня до погребения, с звоночком на груди, на случай если они не мертвы, а находятся в летаргическом сне.

Генриетта, суеверно избегавшая разговоров о смерти, попыталась оградиться от мрачных россказней, солгав, что знает о кёльнском происшествии, но пасторша не сдавалась.

— Не может быть, дорогая! Вы имеете в виду случай с почтальоном, но это уже прошлое. Я только сегодня узнала на остановке дилижанса то, что хочу вам сообщить. История воистину изумительная. Представьте, какой-то купец второпях схоронил жену. Однако, вор, прельщенный перстнем и платьем усопшей, разрыл могилу — и что бы вы думали? Он так дернул палец мнимоумершей, что привел ее в чувство. Муж, говорят, поседел от ужаса, когда покойница вернулась домой. Он, конечно, принял ее за привидение. Кстати, слыхали вы о таинственном призраке, который ускорил смерть старухи Рутберг?

Генриетта Маркс велела Софи зажечь лампу и убрать со стола остывший кофе: это был знак к расставанию. Гости встали и, прощаясь, облобызали приятельницу. Неистово шурша многочисленными тафтяными юбками и раздуваясь, как воздушный шар, спускалась по лестнице госпожа Шлейг. Впереди нее, непрерывно оборачиваясь и торопясь досказать о страшном случае в городской мертвецкой, бежала коротышка Гроссман.

7

По поручению отца, занятого разбором дела в суде, Карл и Герман поджидали дядю Пресборка у почтовой городской станции, где останавливались дилижансы междугороднего сообщения. Опоздавшая карета, запряженная четверкой, появилась наконец из-за угла Мясной улицы.

Измазанный грязью и пылью кузов, перекосившаяся дощечка «Кобленц — Трир», выбившиеся из сил лошади — все говорило о дальнем, трудном пути.

Дядя Иоганн, издали узнав сыновей сестры, бодро махал им синим платком. Выгрузив вещи, он обнял мальчиков и заговорил с ними на не совсем правильном немецком языке с резким голландским акцентом. Построение фраз и произношение напомнили Карлу мать, так и не одолевшую языка страны, в которой она жила после замужества. Голландский дядюшка весело расспрашивал о родственниках и передавал поклоны из Нимвегена. Господин Пресборк был весьма доволен путешествием, в особенности остановкой в Кёльне.

— Прекраснейший город, — повторял он, передавая впечатления, касавшиеся главным образом бойкой торговли на рынках и в лавках.

В Бонне Иоганн ночевал, а в Кобленце после обеда успел осмотреть достопримечательный дом, где родился сам Меттерних.

Недалеко от Брюккенгассе дядя вдруг остановился и, оглядев Карла с ног до головы, хлопнул его по плечу.

— Шалун,— сказал он довольным басом,— ты действительно становишься мужчиной и, кажется, остепенился с той поры, как я был здесь в последний раз. Помню, шли мы тогда с Генрихом по этой же улице, как вдруг из того переулка, с горы, выскакивает тройка. Ты длинным прутом с ловкостью заправского кучера погоняешь сестренок. Бедняжки выбиваются из сил, но бегут. Признайся, ты был в отношении их маленьким тираном. Чтобы заставить тебя рассказывать нескончаемые фантастические истории, девочки готовы были даже есть пирожки из песка, которые вы лепили.

Карл улыбался, вспоминая вместе с дядей недавнее, но уже минувшее детство. Мысль его была и осталась неугомонной, как ртуть, но поведение изменилось с годами.

— А ты, купец, каков? — вспомнил Иоганн Пресборк о Германе.

Узкогрудый, сутулый, бледнолицый, с синевато-прозрачным у ноздрей тонким носом, чахоточный юноша являлся полной противоположностью брату — широкоплечему крепышу на широких, устойчивых, но несоразмерно с мощным туловищем коротких ногах.

Насколько жаден к жизни, остер, неспокоен, полон трудно обуздываемых сил был Карл, настолько вял, простодушен и кроток — Герман. От наблюдательного дяди не скрылось различие, и он мысленно одобрил шурина Генриха, чутко различавшего свойства детей и направлявшего их по разным дорогам.

На Брюккенгассе прибывшего встретила Генриетта и, не дав ему опомниться, повела двором во флигель, где в заранее приготовленной комнате уже стоял в большом фаянсовом тазу кувшин, полный теплой воды.

Деревянная кровать за ширмой, искусно постланная самой хозяйкой, обещала путнику великолепный отдых. Ни одной вмятины не было на огромных взбитых пуховых подушках в белых крахмальных наволочках голландского полотна. Две атласные перины с простеганными девическими инициалами владелицы «Г. П.» казались невесомыми. Кто-то, по-видимому заботливая Софи, поставил на коврике пару мягких бархатных туфель. С кресла свешивался шлафрок, а на ночном столике, подле подсвечника и томика Руссо,— знак внимания самого Генриха Маркса,— лежал сборчатый ночной колпак. Ни в шлафроке, ни в колпаке господин Пресборк не нуждался, так как всюду возил свои. Томик Руссо он взял с осторожностью и, побоявшись, как бы нечаянно не закапать его воском свечи, спрятал в шкаф.

Господин Пресборк вымылся, облачился в серый сюртук, белый жилет и белые брюки, напомадил голову надушенным медвежьим жиром и, поднявшись на розовозеленый балкончик второго этажа флигеля, прошел к сестре.

Генрих Маркс все еще не возвращался из суда, и все обитатели дома внимательно прислушивались, не стукнет ли наконец входная дверь.

Ужин, к которому пригласили трирскую родню Марксов, назначен был на восемь часов. До этого Иоганну предстояло поздороваться с многочисленными детьми Генриетты. Она сама гордо вела по-праздничному разодетое потомство.

— Вот моя тезка — Генриетта; она была малюткой, когда ты видел ее в последний раз,— начала госпожа Маркс, выталкивая вперед застенчивую, хрупкую девочку в тюлевом платьице, из-под которого спускались к туфлям сборчатые крахмальные панталончики. — Дитя мое,

поцелуй дядю. Не находишь ли ты, Иоганн, что она низкоросла для своих четырнадцати лет? Луиза одного роста с ней, хотя моложе годом.

Луиза разнилась от сестры не менее, чем Карл от Германа. В ней не было и следа робости. Не дожидаясь материнского приказа, она сама звонко поцеловала дядюшкину щеку и, уверенно улыбаясь, уступила место маленькой Эмилии. Это была крошечная красавица, с изумительной фигуркой, с большими нежными глазами под челкой темных волос. Иоганн Пресборк не мог скрыть своего восхищения, чем раздосадовал сестру: госпожа Маркс считала вредным оказывать предпочтение кому-нибудь из своих детей и постоянно упрекала мужа за его неумение скрыть пристрастие к любимцу Карлу.

Эмилия затмила маленькую сестренку Каролину, которую мать с трудом вытащила из-за кресла.

— Сделай реверанс, детка, и будь смелее,— ободряла Генриетта младшую дочурку. — Девочка родилась в год смерти своего брата, бедняжки Морица-Давида, моего первенца,— продолжала она со вздохом. — Бог, однако, вознаградил нас в этой утрате Эдуардом.

Подобно Каролине, застенчивый Эдуард прятался за материнской спиной. Восьмилетний сын четы Марксов был слабым ребенком, с признаками золотухи и рахита.

Обласкав племянников и племянниц, Иоганн Пресборк принялся за дележ голландских кофейных леденцов.

Дети с визгом окружили его. Только маленькая задумчивая Каролина отошла в сторонку, предпочтя общество брата дядюшкиным гостинцам.

Каролина и Карл очень любили друг друга.

Внезапно все смешалось вокруг. Хлопнула входная дверь, и с криком: «Идет!» — детвора, позабыв сласти, бросилась в прихожую. Даже Софи, Карл и Герман не усидели и по привычке, сохранившейся сызмальства, побежали вниз.

— Я, я — первая! — кричала Луиза.

— Нет, я! — со слезами в голосе вторил Эдуард.

Иоганн вопросительно посмотрел на сестру.

— Тот из детей, кто первый встретит отца, получает право сидеть возле него за обедом: так завелось у нас давно,— ответила она с гордостью.

Окруженный со всех сторон детьми, с Каролиной на руках, в комнату вошел Генрих Маркс. Уцепившись за

его пиджак, сбоку плелся заплаканный Эдуард. Лицо Луизы сияло триумфом. Отец улыбался детям, но привычный, наблюдательный взгляд Генриетты мгновенно отгадал встревоженное настроение мужа. Она отослала меньших детей.

— История с «Марсельезой» в «Казино» действительно не обошлась без последствий. Пруссак довел дело до Берлина, и, кажется, весь чиновный муравейник столицы занялся нами. Сегодня с меня потребовали объяснений, подвергнув чуть ли не допросу. Таковы нравы, таково время. Не знаю, в чем можно обвинить меня. Я всегда был расположен к Пруссии более моих рейнских соотечественников, но эпоха благородной королевы Луизы прошла, и в консерватизме нашего монарха я вижу громадную опасность укреплению немецкого единства, которое так нам нужно. — Он устало замолчал и долго вытирал пыльное лицо платком.

Разговор супругов прервали родственники, собравшиеся к ужину.

Пришли тетушки Бабетта и Эстер, сестры Генриха. Обе они жили во Франкфурте, но весною неизменно бывали у братьев. Явился и Яков Маркс. Второй брат Генриха, Самуил, был местным раввином и не посещал семьи, ушедшей от иудейства.

Бабетта и Эстер олицетворяли доброту и суетливую заботливость по отношению к своим близким. Различие было лишь в том, что одной был свойствен пессимизм, в то время как другая всегда верила в наилучший исход всякого дела.

Тетки громко требовали отчета о здоровье семьи.

— Софи, золотце. Я надеюсь, милый Эдуард вполне здоров? — громко вопрошала Бабетта.

— Боюсь, Эми не послушалась меня и вчера не перевязала порезанного пальчика.

И в то время как Эстер находила, что у детей усталый вид и Генриетта похудела, Бабетта оценивала все с противоположной точки зрения.

— Дети превосходно поправились, Генрих,— говорила она, поглаживая и целуя многочисленные щечки и локоны. — Генриетта никогда не была упитаннее и здоровее.

Брат юстиции советника торопился поверить свои заботы относительно еврейской общины в Трире. Иоганн

Пресборк слушал его с большим интересом. Генрих одиноко курил у окна.

— Существование наше становится все более тяжелым,— говорил Яков Маркс, прерывая себя многозначащими вздохами.

— Я нередко думаю, милый Генрих,— сказала веселая Бабетта, вынув рукоделие и усаживаясь подле Софи,— что ты был прав, отказавшись нести тяготы иудейства, не желая обрекать свою семью на мучительное унижение и тяжелую нужду. Бог один, и формы служения ему — безразличны. В просвещенный век надо уметь преодолевать предрассудки. Никто из людей нашего поколения не осуждает тебя.

— Еще бы! — отозвался Яков Маркс, состроив гримасу. — Кто же осудит, когда переход евреев в иную веру принял такие невиданные доныне размеры?

— Тут дело не в иной вере,— раздраженно сказал Генрих Маркс и тихонько подтолкнул заслушавшегося Карла к дверям.

Ужин ждал в столовой.

Прошло около десятилетия со времени крещения детей Генриха Гиршеля Маркса. Сам юстиции советник перешел в лютеранство летом 1817 года.

Обряд совершил священник Мюленгоф, бывший также окружным проповедником.

Для ученика Руссо и Вольтера, каким был Генрих, не могло быть различия между Иеговой и Христом. Просвещенный философ, он внутренне был одинаково чужд и иудейству и христианству. Свидетельство о крещении давало еврею право работать.

Крещение остальных членов адвокатской семьи было, однако, отложено почти на семь лет. Причиной отсрочки являлась семидесятилетняя мать Генриха. Горькими сетованиями и слезами встретила она переход сына в евангелическое вероисповедание. Ради нее медлил Генрих с крещением своих детей. В мае 1823 года мать его умерла: препятствие устранилось. 17 августа 1824 года все дети юстиции советника стали лютеранами. Карлу минуло шесть лет. Несколько друзей и коллег Генриха Маркса были восприемниками новообращенных.

Дольше всех сопротивлялась перемене религии Генриетта. Она боялась кары и преследований со стороны мстительного иудейского бога.

После пятнадцатимесячного колебания, только в конце 1825 года, госпожа Маркс приняла новую веру и, наперекор былым сомнениям, очень скоро, ища заступничества у нового бога против мести старого, стала ревностной лютеранкой. Не умея жить без религии, она решила, что кирха мало чем разнится от синагоги.

## 8

В воскресное утро, после завтрака, Карл повел голландского дядюшку на прогулку по Триру.

— Никто из нас не может сравниться с Карлом в знании истории города,— гордо сказал присоединившийся к ним Генрих Маркс.

Карл просиял. Прогулка с отцом доставляла ему всегда большое удовольствие. Отца и сына связывали глубокая любовь и дружба.

— Не забудьте зонтиков: утро чересчур розовое, — посоветовала Софи, связывая букеты из свежих нарциссов и сирени.

Погода была чрезмерно, настораживающе хороша. Небо, подпираемое со всех сторон холмами, казалось фарфоровым блюдом, на котором сбитыми сливками лежали неподвижные облака. Было душно и тихо.

Уютен, беспечен и весел небольшой, затерянный в дубовых и сосновых лесах город в летнее праздничное утро.

Принаряженные зажиточные горожане, обмениваясь улыбками и поклонами, прогуливаются по главной улице — Симеонштрассе. Генрих Маркс то и дело приветствует кого-нибудь из своих друзей и их жен.

Вот Хамахер: его видно издалека благодаря маскарадной вычурности бархатного костюма и шляпы, то и дело сползающей с взлохмаченной тевтонской головы. Он возвращается из церкви, чинный и красный. Возле старинной кузницы с лепными фигурами и латинскими изречениями юстиции советник натыкается на оживленно беседующую пару: Шлейг, только что вернувшийся из Кёльна, громко рассказывает адвокату Ленсу свои впечатления. За ними, в такт размахивая маленькими пышными зонтиками, идут их жены.

— От театра,— заглушая мужа и проезжающую карету мощным голосом и шуршанием юбок, говорит госпожа Шлейг,— нам остается многого желать. Пока актрисы не

перестанут перемигиваться с молодыми господчиками, в то время как молятся на сцене богу, пока пьесы не будут выбираться рачительнее — и только те, которые не вредны нравственности,— до тех пор они не могут быть полезны нашим дочерям.

Госпожа Ленс меланхолически поддакивает.

Генрих Маркс, Карл и Пресборк, раскланявшись с дамами, проходят мимо и, обогнув «Дом трех королей», построенный в XVII веке, оказываются на Глоккенштрассе. Перед ними арка с воротами, ведущими в еврейский квартал.

— Здесь,— говорит Карл дяде,— жили наши предки, трирские раввины. Бабушка не раз гуляла с нами, детьми, по гетто. Дед, Маркс Леви, когда получил раввинское звание, жил недалеко от Глоккенштрассе. Впрочем, судя по рассказам тетушки Эстер — она живет во Франкфурте-на-Майне,— в трирском гетто давно исчезли нравы еврейских улиц тех городов, где господствует не французское, а прусское уложение.

— Это верно,— подтвердил Генрих,— там все еще живо средневековье. На ночь запираются ворота, и вне гетто евреям запрещено ходить по тротуарам, чтоб не осквернить своим прикосновением христиан. Все это не касается господ Ротшильдов, которые давно предпочли принять приглашение европейских королей... — И Генрих не досказал, взглянув на противоположный тротуар.

Опираясь на суковатую трость, там стоял Виттенбах, закинув голову и прикрывая цилиндром глаза. Трирский историк созерцал небо. Улица была узка, дома высоки,— директору гимназии не легко было вывести заключение относительно погоды.

— Горизонт ясен, но облака ползут с востока, следовательно, надо ждать грозы не позднее полудня,— объявил он, очнувшись и разглядев Марксов.

Ему представили господина Пресборка.

— Карл, мой друг,— сказал юноше старик Виттенбах,— покажи путешественнику Porta Nigra. Эти Черные ворота, как ты знаешь, назывались раньше Марсовыми и защищали с севера римский город Трир.

Директор гимназии собирался повернуть к Главному рынку, где в воскресные утра прогуливалась добрая половина городского населения, но юстиции советник в учти-

вейших выражениях попросил его показать чужеземцу достопримечательности города.

Местный летописец сдался. Трир и его история составляли главный интерес в жизни старика. Виттенбах повел почтительно внимавшую ему компанию в Porta Nigra. Полуразрушенные башни, как две неровные скалы, соединялись массивным переходом, образующим двойные ворота.

Иоганн Пресборк не нашел в памятнике римского господства ничего особо привлекательного. Проводник Гете посмотрел на него с состраданием и не удостоил ответа.

— Трир бесконечно стар,— сказал директор гимназии, демонстративно повернувшись к Марксам. — Существует легенда о том, что он старше Рима на целую тысячу лет. На знаменитом Красном доме, что около Дитрихштрассе, построенном в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году, есть надпись, плод этой легенды. Карл, повтори надпись, ты отвечал ее мне на уроке зимой прошедшего года.

— «Ante Roman Treveris stetit annis mille trecentis. Perstet et aeterna pace fruatur. Amen!» — сказал Карл, морщась. Превращение прогулки в экзамен раздражало его. — «До Рима Трир стоял тысячу триста лет. Да существует он впредь и наслаждается вечным миром. Аминь!» — перевел он дяде, не знавшему латыни.

— Прекрасно сказано: «Да существует он впредь и наслаждается вечным миром»,— повторил Виттенбах. — Два тысячелетия стоит город, созданный до нашей эры и названный Colonia Augusta Treverorum,— продолжал старик. — Ноги потомков касаются следов далеких предков. Два тысячелетия прошло и пройдет, мы умрем, а Трир все будет жить. Я говорил господину Гете более сорока лет тому назад то же, что говорю вам сейчас. И вот нет господина Гете, не будет меня, не станет даже маленького Карла, но века не сокрушат старой развалины Porta Nigra. Знаете ли вы, господин голландец, что в четвертом веке эта тихая обитель стала резиденцией римского императора и по роскоши не уступала Вечному городу? Кёльн был в три раза меньше Трира... Какие силы движут историю? Свидетелем каких событий станет еще наш вольный Рейн?.. Кто прославит старый Трир?.. — Виттенбах погрузился в раздумье.

— Неужели больше Кёльна? — продолжал удивляться Пресборк.

Генрих Маркс уже досадовал на себя, предвидя утомительное старческое многословие.

Трирский историк привел спутников к громоздким развалинам некогда огромных римских терм.

Цепкие травы и нежный шиповник проросли в груде камней.

Дядя Пресборк осторожно присел на плоский камень и решил противопоставить богатым летописям Трира исторические заслуги родного Нимвегена.

— Мы тоже не бедны старым хламом, — сказал он важно. — Родной город твоей матери, Карл, а моей сестры построен, говорят, Юлием Цезарем. Впрочем, я не охотник до старины и всякой ветоши. Деловой человек теперь едва успевает идти вровень со своим веком. Нас, голландских купцов, сейчас больше занимает вопрос о том, как скорее кончить споры с Бельгией. Пусть себе отделяется от нас, но покупает голландские товары.

Внезапно откуда-то на римские термы полил дождь.

Истые трирцы защитились зонтами и поспешили найти убежище под сводами античных бань. Не прошло и двух минут, как солнце скрылось и раздались раскаты грома. Заметались молнии, откуда-то налетел теплый ветер. Стемнело.

— Виттенбах на этот раз угадал замыслы погоды, — рассмеялся Генрих Маркс.

Зонт вырвался из рук юстиции советника и вприпрыжку поскакал по лужам. Карл бросился спасать его. Вода струилась по камням, омывая потрескавшуюся мозаику. Деревья роняли свежие листья на старые плиты.

— Нам остается, подобно древним, совершить омовение: бассейны полны влаги, — продолжал юстиции советник, прилаживая непослушный зонт в углубление между камнями.

Небо продолжало окатывать знойную почву лютым потоком воды.

К словам природы будь не глух,—
И ты узнаешь ход светил,
И дух твой будет полон сил... —

начал Виттенбах, приведя в полное отчаяние Карла.

Притворившись, что не слышит директора гимназии, Карл решился на хитрость.

— В девятом веке, — начал он громко и быстро, —

норманны нагрянули на Трир и жестоко расправились с жителями. После разгрома город превратился в ничтожную горную деревушку. Руины, пепелища, кладбища служили горьким напоминанием о сломленном могуществе.

— Мой друг, — вмешался Виттенбах, мгновенно позабыв «Фауста». — Упадок всегда чередуется с расцветом.

Иоганну Пресборку пришлось выслушать, как могущественные епископы возродили город, превратив его в место религиозного паломничества и торговли.

Город аккуратно отдавал дань сменявшимся векам.

Расположенный между Францией и немецкими княжествами, Трир неоднократно менял властителей. Во время Тридцатилетней войны его жители, по воле своего князя, сражались то на стороне Франции, то Испании, то Германии.

— Остальное, истинно важное с исторической точки зрения, — говорит Виттенбах, высовывая голову из-под свода, чтобы проверить, не стихла ли гроза, — относится к поре, когда в Трир пришли французы.

— Отлично помню августовский день тысяча семьсот девяносто четвертого года, — отвечает ему Генрих Маркс. — Мне было двенадцать лет. Вместе с мальчишками квартала я побежал к реке, чтобы видеть подступающие войска неприятеля. Путь им был открыт. Французы шли, распевая «Марсельезу». Барабанщики отчаянно громыхали в такт песне. Наши горожане ждали демонов либо ангелов, но пришли добродушные крестьяне в солдатских мундирах, весьма похожие на мозельских виноградарей.

— Великие дни! — вздыхает Виттенбах. — Когда господин фон Гете был в Трире, я имел мужество защищать перед ним франков и их революцию. Якобинцы были отважные люди, но Робеспьер завел их слишком далеко... Французские войска вступили в наш город всего через каких-нибудь две недели после Термидора.

Карл вмешивается в разговор:

— Жирондисты умели критиковать Гору, но никогда, насколько я знаю, не противопоставляли ей своего плана.

— Птенцам рано судить орлов. У тебя есть еще время разобраться в этом и уж тогда изрекать свои суждения, — сурово отвечал Виттенбах.

Так же неожиданно, как и начался, дождь прекратился. Усталое, вспухшее небо опоясывает радуга. Быстро сохнут угрюмые лужи. Песок, как губка, впитывает влагу. Весело распевают птицы. Старый Трир, оглушенный грозой, отряхивается и шумит.

Шлепая по мокрой земле, Генрих, Иоганн и Карл направляются домой. Виттенбах размеренно шагает сбоку.

На перекрестке юстиции советник берет под руку директора гимназии и замедляет шаг, чтобы несколько отстать от сына и Пресборка.

— Скажите мне, каковы успехи мальчика в школе? — напряженно спрашивает отец.

— Во-первых, ужасный почерк: учитель древних языков непрестанно жалуется на его каракули. Во-вторых, я заметил у Карла весьма ошибочное и пагубное пристрастие к перегруженности мысли и особой изысканности языка. Не думаю, чтоб средний годовой балл был у него выше тройки.

Виттенбах покидает юстиции советника и скрывается за дверью винной лавки. Пересохшее горло историка жаждет мозельского вина.

На Симеонштрассе, недалеко от собора, Марксы замечают Эдуарда Монтиньи. Он в раздумье ищет способ перейти улицу, не замочив узких туфель с пряжками. Букинист переминается с ноги на ногу. Он больше чем когда бы то ни было похож на аиста. Хвостами его светлого камзола играет ветер. Карл учтиво окликает бывшего учителя. Высоко закидывая обтянутые узкими темными брюками ноги, Монтиньи бросается к друзьям. Он в большом возбуждении и забывает поэтому задавать вопросы и отвечать на них.

— Доброе утро, доброе утро! — кричит он, доставая из кармана небольшую коробочку. — Я уверен, господа, вы еще не знаете о последнем достижении века.

Монтиньи с торжеством вынимает деревянную палочку и чиркает о поверхность коробки. Отсыревшая спичка не зажигается. Он пробует другую, третью. Генрих Маркс машет зонтиком в знак нетерпения. Пресборк готов засмеяться. Букинист бледен, и Карл отводит глаза, чтоб не огорчить бывшего учителя. Но внезапно десятая спичка неуверенно зажигается и горит, как маленький факел.

Карл облегченно вздыхает.

— Каково! — торжествует Монтиньи. — Просто, экономно, удобно. Верьте мне, мы стоим на пороге удивительнейших открытий и происшествий.

*Глава третья*

## ПРОБУЖДАЮЩАЯСЯ ГЕРМАНИЯ

### 1

В конце Церковной улицы, в угловом доме в три окна, надворные строения которого протянулись почти до старой городской стены, находится «Гессенское подворье». Вряд ли найдется в Дармштадте человек, который не выпил бы хоть однажды кружку вина или пива в этом трактире и не обменялся бы несколькими словами с его содержателем.

Задолго до того как Гюркнер получил наследство, он был уже хорошо известен в городе, особенно среди торгующих на рынке крестьян.

Господин Гуго Гюркнер служил тогда сторожем и сидел в караульне возле полосатого шлагбаума. Собирал пошлину с проезжающих в город возов: от него зависело поднять или замкнуть цепь, придерживающую заградительный шест. Сторож, впоследствии владелец трактира, неизменно придерживался дедовских обычаев. Он долго не решался обновить ветхую мебель «Гессенского подворья»; долго не решался убрать неуклюжие, громоздкие кресла с высокими, резными, непоправимо пыльными спинками и похвалялся тем, что был последним из дармштадтских жителей, срезавшим тощую косицу.

Гюркнер охотно говорил о политике, которая, однако, порождала в его гладко остриженной, примазанной голове невероятный хаос. Вследствие крайнего почтения к военщине он преклонялся перед Наполеоном, но не забывал упомянуть, что в тринадцатом году служил в ополчении ради освобождения родины. Тогда-то военный парикмахер и лишил его дорогой дедовской косички.

Путаница в политических воззрениях Гюркнера с годами возрастала. Он резко осуждал греческое восстание и во время русско-турецкой войны демонстративно повесил в трактире пестро размалеванный портрет султана

Махмуда. Вскоре за тем он с неменьшим пылом желал успеха польскому восстанию и завел себе даже трубку с головой Скржинецкого.

Выслушивая упреки в непоследовательности, хозяин подворья заявлял, что греки — глупые лентяи, а поляки — умны и трудолюбивы.

Доказательством последнего должен был служить трактирный слуга Войцек, бежавший после разгрома Варшавы и нашедший гостеприимный приют в «Гессенском подворье».

Будучи строгим приверженцем монархии, Гюркнер всегда находился в оппозиции к городским и сословным корпорациям, то и дело критиковал правительственные распоряжения и глумился над придворною службой и царскими фаворитами. Мотовство великого герцога давало обильную пищу злословию Гюркнера.

Эти особенности хозяина «Гессенского подворья» создали ему славу человека смелых либеральных взглядов и привлекали на Церковную улицу многочисленных недовольных дармштадтских жителей. В трактире по вечерам собирались не только сосредоточенные тяжелодумы-мещане, но и шумливые, беспокойные студенты: Дармштадт все еще оставался обителью студенческого свободомыслия.

Гюркнер был всегда подле тех столов, вокруг которых беседа становилась особенно дерзкой и громкой.

Признавая за студентами ученость, он предпочитал, стоя в стороне, молчать и внимательно слушать их споры.

Бурый дым трубок застилал по вечерам квадратную залу.

Приготовлением еды на кухне подворья ведала сама хозяйка, жена Гюркнера, Маргарита. Дородная малиновощекая женщина получила завидное по своему положению воспитание в пансионе образцовых хозяек. Гюркнер любил похвастать перед друзьями аттестатами жены, свидетельствующими о прилежании и особых достоинствах ее по части рукоделия и кулинарии. Вышедшая замуж не по склонности, а в угоду родителям, Маргарита все свои мысли и могучую энергию посвятила «делу», то есть «Гессенскому подворью». Она вела хозяйство, заведовала кассой, строго проверяя, чтоб муж по доброте своей не поил и не кормил посетителей да-

ром. На этой почве между супругами происходили частые ссоры.

Главным доводом Маргариты в таких случаях были не дети и их будущее, а «черный день», который виделся ей в каждом новогоднем календаре.

Образцом «черного дня» для трактирщицы служил 1817 год, когда общий кризис превратил мощный гульден чуть ли не в малоценный крейцер, когда застой в делах приводил нередко к разорению. Тогда-то потерял все отец Маргариты, владелец извозного предприятия.

Во дворе гюркнеровского дома сохранилась древняя хибарка, отдаваемая внаймы мастеровым.

С конца 1833 года домик снял молодой портной Иоганн Сток, которого Гюркнер знал с малолетства. Приветливый, веселый характер Стока и в особенности скромность миловидной, неутомимой жены его, француженки Женевьевы, расположили в пользу квартирантов чету Гюркнеров.

Иоганн Сток, покинув Лион, по пути в Германию застрял более чем на год в Париже, где работал в портняжной мастерской на улице Мира. Там немец пришивал пуговицы к мундирам, фракам, жилетам и сюртукам богатых французов, одевавшихся на одной из дорогих улиц столицы. Кроме пришивания пуговиц, Стоку не доверяли никакой работы.

Главный интерес жизни его сосредоточивался тогда на «Немецком народном союзе», членами которого состояли преимущественно немецкие рабочие, покинувшие родину. Но в разгар работы и споров умер от холеры отец Иоганна, и подмастерье вернулся в Дармштадт, где и обосновался с женой.

Жизнь их текла вначале тихо, без особых печалей. Сток присматривался к окружающему, заводил и восстанавливал знакомства. Одновременно он знакомил Женевьеву с городом и краем, в котором родился и вырос. В свободные дни Иоганн и Женевьева уходили в еловый лес на Господней горе. Под горой стадом слонов расположились серые и неуклюжие гранитные валуны. Среди низких скал Иоганн сооружал шалаш из хвороста и листьев и мастерил из мха и дерна скамьи. Женевьева вынимала из корзины скудную еду для веселого пира. В теплые летние ночи они оставались на ночь в самодельном жилище. Их будила роса на восходе солнца.

Случалось, Сток в свободные, праздничные дни уводил жену на прогулку за город. Близ Дармштадта, на протяжении шести миль по горной дороге до Геппенгейма, насчитывалось, начиная с Франкенштейна, по одному развалившемуся замку на милю. Сток с детства помнил однообразные, невеселые легенды, витавшие над руинами, и рассказывал их жене.

Хмурое лютое средневековье, как хищный ворон над падалью, распрямляло крылья, и черные тени падали на новый век.

Женевьева с увлечением прислушивалась к словам мужа. Ей нравились странные истории о рыцарских подвигах, о жестоких расправах с провинившимися принцессами, неугодившими шутами и осмелевшими крепостными. В полуразрушенных башнях она искала следы необыкновенных чувств и красивых сердечных страданий.

Иоганн посмеивался над романтической впечатлительностью жены. Старые феодальные замки, изъязвленные временем, казались ему поверженными врагами.

— В каждой из этих развалин, — говорил он Женевьеве, — есть страшная тюрьма. В них гноили твоих и моих предков.

## 2

Первым горем, обрушившимся на домик Стока, было письмо, которое принес ранним майским утром седой почтальон-инвалид. Женевьева, заслышав стук деревянной ноги по мостовой, бросилась к воротам, она давно не получала вестей от отца. Письмоносец долго рылся в брезентовой сумке, прежде чем отыскал большой конверт с тщательно выписанным печатными буквами адресом.

Трепеща от волнения и радости, несла она пакет по двору, долго не решаясь его открыть. Наконец письмо распечатано. Дальний родственник Бuври сообщал об аресте отца Женевьевы тотчас же после неудавшегося восстания в шелкоткацкой столице.

С 9 по 15 апреля был охвачен мятежом Лион. Как и в 1831 году, правительство ответило на требования рабочих картечью. Пролетарии были разбиты.

Шестнадцатого апреля владельца мастерской в Круа-Русс, объявленного одним из зачинщиков восстания,

увезли в тюрьму. Надежды на скорое освобождение не было.

— «Так как мастерская осталась без хозяина, мы распродали станки, — перечитывает вслух Сток письмо из Лиона. — Дом купил на снос Броше. Он строит в Круа-Русс самую большую фабрику, какую видел когда бы то ни было наш город».

Женевьева плачет. Больше ничего нет у нее в Лионе, кроме могил, кроме тюрьмы, в которой заживо схоронен отец.

3

Вечером к Стокам приходит Войцек. Его томит одиночество и потребность говорить о прожитом, о самом главном в жизни. Женевьева устало убирает комнату, расставляет на холодном очаге вымытые тарелки и кружки, складывает на сундуке куски раскроенной материи и рваные, измазанные, пропахшие потом жилеты, брюки, кафтаны, которые латает муж. Она собирает со стола у окна иголки, ножницы, мотки ниток, пуговицы и стелет холщовую скатерку. Ее заплаканные глаза возвращаются к кровати, где под подушкой лежит письмо.

В открытое окно с большого двора доносится запах навоза. Рыжие кареты заезжих постояльцев пахнут дегтем и хвоей. Протяжно ржут вдалеке лошади.

— Дармштадт не похож на Варшаву, а Гессен — на Польшу, — начинает Войцек.

Он любовно и осторожно, как дорогую далекую женщину, вспоминает родину.

Шумят на зеленых холмах тополя и липы. Цветут яблони, черешни, груши. Светит плоский голубой месяц над сосновым бором, над мохнатыми равнинами, над песчаными горами, над белыми крестьянскими хатами и дворянскими нарядными усадьбами. Звенят свирели, шелестят прялки.

Над всей Польшей раздается пронзительное равномерное повизгивание царского кнута.

Черный вылощенный николаевский сапог примял зеленые просторы, и каблук его давит самое сердце страны — Варшаву.

— Восстание в Варшаве началось в ноябре тридцатого года, — говорит Войцек.

«За год до Лионского»,— думает Сток. Ему вспоминается осенняя ночь, вязкая слякоть, ранняя темень и дома — жужжащие ульи: работают ткачи.

— Я был солдатом в полку Высоцкого, — продолжает поляк. — Он мне доверил тайну заговора и условный пароль. «Братья! — говорил я в ночь восстания товарищам по казарме. — Манифест русского царя гонит нас из Польши. Мы предназначены быть палачами свободы в Бельгии и Франции. Мы не пойдем на это страшное преступление. Мы не оставим родины. Да здравствует свободная Польша!» Мне не нужно было долго убеждать солдат; они не хуже меня испытали на своих спинах удары царского хлыста. Когда Высоцкий и школа подпрапорщиков пришли к нам, пехотинцы были вооружены и готовы действовать. Мы атаковали гвардейских улан и, соединившись с единомышленниками, двинулись в Лазенковский лес. Там уже ждали студенты. Я пошел в Бельведер в отряде Высоцкого, чтоб задержать Константина. Светало, когда мы поднялись по мраморным ступеням дворца. В кабинете царского брата было пусто: он и княгиня Лович бежали. Мы прошли в глубь королевских покоев. Всюду — следы поспешного бегства. После короткого боя с охраной дворец был целиком очищен. Спустя сутки революция охватила всю Польшу. Я примыкал к красным, и мы, а не белые шляхтичи, князья вроде богача Чарторыйского, — мы, а не они, совершили переворот и очистили Варшаву от врагов. На следующий после восстания день наша армия насчитывала до тридцати тысяч солдат. К нам на помощь шли поляки из русских, австрийских и прусских земель. Я пошел в партизанский кавалерийский отряд, составленный из косцов-крестьян. Они пришли в город, вооруженные косами. Весной мы были в лесу над Бугом и там, как кроты, вырыли себе землянки. Разве можно забыть ночи у костров, беседы, песни? Разве можно забыть это время?.. К началу лета началось наступление царских войск. Наши храбрецы-герои не изменяли национальному знамени. Фельдмаршал Дибич тщетно пытался действовать подкупом, угрозами. Отвага солдат была неописуемой. Знаешь ли ты, Сток, что такое свобода, что такое борьба за свободу? — Глаза Войцека светятся.

Иоганн печально улыбается. Бротто, Ля-Гийотьер, штаб на площади Круа-Русс промелькнули перед ним,

— Знаешь ли ты, что такое поражение, Иоганн? — спрашивает Войцек, и голос его осекается. Он отводит глаза, полные слез.

Много раз доводилось Войцеку рассказывать свою историю. Целые фразы нашли уже привычную для слуха форму, сгладились, застыли. Но повествование его не потеряло своей патетической приподнятости.

— Шестого сентября тысяча восемьсот тридцать второго года, — продолжает, овладев собой, солдат польской повстанческой армии, — царская артиллерия открыла огонь по передовым редутам. Я помню глухой рев канонады. Мы были ослаблены неосторожными диверсиями и значительно уступали численностью противнику. Паскевич вел на Варшаву собранные воедино корпуса Крейна, Головина и Рюдигера.

Войцек пальцем чертит на столе военную карту восстания. Сток сосредоточенно следит за его движениями.

— Тут — Воля, деревня подле Варшавы, — объясняет поляк. — Она окружена. От столицы нас отделяет Висла.— Он провел черту, и напряженно слушающей Женевьеве чудится плеск воды, заглушающий голос рассказчика. — Я был в деревне, в полку, которым командовал генерал Сованский. Нам на подмогу пришел Высоцкий со своим отрядом. Надежды на победу не было: казаки ворвались в Волю, и я видел, как пал Сованский. Вместе с двумя товарищами я вынес полуживого Высоцкого и перевязал его раны. Но, придя в сознание и поняв безвыходность нашего положения, он в отчаянии сорвал повязки. Герой не хотел видеть порабощения Польши и звал смерть. Когда мы добрались до Варшавы, город был предназначен к сдаче. Струсивший сейм искал способа избежать боя на улицах столицы. Не видя спасения, мы в числе двадцати тысяч солдат польской армии перешли прусскую границу. Нас вел Рыбинский. Польша пала. А я остался жив.

Сток ободряет и шутливо корит Войцека. Но поляк не слышит его.

— Мы разбросаны по свету. Ненависть к деспотизму — единственное, что унесли мы с собой. Она непрестанно крепнет.

— Но что дали вы рабочим? — спрашивает Иоганн.

Войцек задумывается и не скоро находит ответ.

— Надо было сначала освободить родину, а потом мы,

конечно, установили бы равенство, — говорит он неуверенно.

— Пожалуй, ты прав, избавились бы от ига русских царей, а потом уж и от своих деспотов, — соглашается Сток. — Однако вы заслонили своим телом парижскую и бельгийскую революции.

— Именно так, — оживляется Войцек. — Покуда Паскевич переправлялся через Буг и Вислу, французы вступили в Бельгию, прогнали голландцев и обеспечили ей независимость.

4

Дни в Дармштадте не отличались разнообразием, в особенности в небогатой округе рынка. Сток занимался главным образом починкой жалкой одежды ремесленников и мелких купцов. Женевьева помогала ему в шитье и вела несложное домашнее хозяйство. В летние дни она предпочитала душной и темной комнатке двор, где под навесом могла стряпать на жаровне или стирать в деревянном корыте. В больших бочках тут же стояла дождевая вода. Колодец находился не близко, на площадке подле церкви.

Сток кроил и шил, примостившись у окна. Он любил напевать вполголоса медлительные гессенские песни. Женевьева, слушая его, счастливо улыбалась. Любовь ее к Иоганну непрестанно возрастала. Женевьева включила в свое огромное чувство к мужу все оттенки нежности, преданности, преклонения, которые питала некогда к матери, братьям, даже к Лиону.

Иногда, примостившись у ног Иоганна, молодая женщина шептала, прижимая к своим щекам исколотые, шершавые мужнины руки: «Ты — мой отец, мать, братья, родина, муж, друг, ты — все, что есть у меня на свете».

Никогда не представляла себе маленькая работница, что мужчина может относиться к женщине, как относился к ней Сток. Старый Буври не обижал Катерины, но его отношение к жене было проникнуто добродушной насмешкой и снисхождением сильного к слабому. Иоганн держался с женой как с равною. Он всячески старался внушить ей уверенность в своих силах, помогал победить робость.

Женевьева, выросшая под окрики Дандье на набережной Роны, запуганная приставаниями могущественных комиссионеров, болезненно боялась людей.

Страх сжал ей плечи и придал походке торопливую неуверенность. Женевьева всегда как бы искала опоры и поддержки, вовсе не надеясь на собственные силы. После поражения Лионского восстания она ничего не ожидала от завтрашнего дня, кроме горя и неудач. По ночам ей нередко снились рассвирепевшие драгуны, неумолимые полицейские, тюрьмы и пушечные жерла. Она видела свою мать с простреленным черепом. Кровь стекала на черное знамя, чертя буквы: «Жить трудясь или умереть в бою!» Страшные живые сны!

Вся воля Женевьевы уходила на то, чтобы скрывать от мужа свои страхи и не становиться помехой на избранном им пути. Чуткий Иоганн особенно уважал ее за это.

Единственным человеком, кроме Стока, сумевшим приручить к себе недоверчивую, робкую Женевьеву, была Маргарита Гюркнер. Женщины любили часами болтать во дворе. Нередко, согнувшись над корытами с бельем, они делились друг с другом своими мыслями и заботами.

## 5

Великое герцогство Гессен в 1820 году добилось конституции. Кровопролитные восстания, отказ от внесения податей вынудили прославленного кутилу Людвига Первого уступить и подписать закон, учреждающий наряду с феодально-клерикальной первой палатой вторую — народную. Под народом в этом случае подразумевались представители среднего сословия, окладный лист которых подтверждал их достаток и способность охранять государственный порядок. Беднейшие граждане, мелкие ремесленники, крестьяне не имели доступа в новую палату. Герцогская конституция, обезвреженная хитроумными оговорками по указаниям Меттерниха, ничуть не мешала дармштадтским правителям безумствовать и сорить деньгами, собранными с крестьянства, изнемогавшего под бременем налогов и феодальных повинностей.

Нигде в Германии податные тяготы не били больнее деревенскую бедноту, чем в Гессенском герцогстве: на каждую душу падало по шести гульденов и двенадцати

крейцеров — сумма, составлявшая почти весь крестьянский годовой достаток.

Новый герцог Людвиг Второй нравом и повадками превзошел расточительного отца. Расходы, связанные с его восшествием на престол, превысили сто тысяч гульденов, но и это не удовлетворило монаршего аппетита.

Старый, хмурый дармштадтский замок не понравился герцогу, привыкшему к парижской и венской роскоши. Несмотря на большую задолженность великогерцогской фамилии, Людвиг пожелал строить новый дворец. Вторая палата воспротивилась. В это время в Париже произошла революция, сбросившая Карла Десятого. Треск сломавшегося трона пробудил Европу. По сонной заводи германских княжеств прошла рябь.

В сентябре 1830 года разразилось верхнегессенское восстание. С криками: «Свобода и равенство!», заглушавшими неистовство барабанов, шли из села в село крестьяне. Босые, истощенные, в холщовых заплатанных брюках и посеревших рубахах, с вилами и серпами, двигались они. Ветер играл неприглаженными бородами и волосами, пыль облепляла загорелые угрюмые лица.

Ряды повстанцев непрерывно пополнялись. Каждый крестьянский дом присоединял своих добровольцев. Позади жнецов и косцов ехали телеги с необходимым скарбом и едой. Крестьяне шли в Дармштадт к великому герцогу за свободой и равенством. По дороге им встречались бесчисленные феодальные поместья, которых так много в Верхнем Гессене.

Долго нараставшая злоба восставших обрушивалась не только на дома дворян, но и на усадьбы подкупных судей и грубых княжеских администраторов. Хлеборобы предавали огню их имущество.

В Дармштадте весть о крестьянском походе вызвала панику. В герцогском замке готовились к бегству. Конгресс правителей союзных государств не без робости ждал исхода событий. Меттерних напряженно следил за маленькой страной, и гонцы его без устали скакали по Германии с директивными депешами.

Повстанцы беспрепятственно подошли к деревушке Зедель. Там их ждала засада. Три колонны драгун врезались в безоружную толпу. Вилы и косы не выдержали ударов сабель. Крестьяне гибли под копытами кавалерии.

Их расстреливали, рубили, топтали. Страшная расправа ждала уцелевших...

Женевьева не без оснований беспокоилась за судьбу мужа. Иоганн Сток, прошедший не малую школу революционной борьбы в Лионе и в Париже, вскоре по возвращении в Дармштадт принялся искать связей с подпольными организациями.

Он попытался связаться с учащейся молодежью, помня Париж, где членами рабочих обществ часто состояли студенты. Не то было в Германии.

Иоганн Сток — портной, с исколотыми, грубыми руками, с неприглаженными жесткими волосами, с худыми, вогнутыми в коленях ногами, в скромном рабочем платье, пропахшем дегтем, как все люди гюркнеровского подворья, — не мог и помышлять о том, чтоб быть принятым в кружки вольнодумствующих студентов. Демократизм их не шел настолько далеко, чтоб подпустить к себе мастерового, шившего платье их слугам. Ни одна корпорация не приняла в свой круг русоголового парня, знавшего учение Сен-Симона лучше многих надменных купеческих и чиновничьих сынков, грозивших Меттерниху из дармштадтских подвальных кабачков.

Разобравшись в этом, Сток с презрением отвернулся от озорных болтунов, деливших время между дуэлями, попойками, наукой и революционными фразами.

Он сблизился с товарищами по ремеслу. Они значительно уступали ему в развитии и знаниях, но он сумел подойти к ним, заинтересовать их своими рассказами о французских событиях.

Лучшим другом портного стал угрюмый польский изгнанник.

## 6

В конце мая в «Гессенском подворье» появился новый постоялец. Он нанял комнату в мансарде, объявив, что проживет в ней не менее двух-трех недель.

Маргарита немедленно сообщила Женевьеве, что приехавший хорош собой и, по-видимому, обручен. Единственным украшением его стола был портрет хорошенькой смеющейся молодой девушки. Хозяйка подворья добавила также, что судя по произношению и знанию края, молодой человек — уроженец Гессена.

Сток увидел незнакомца во дворе и показал его жене.

— Красоточка! — сказала Женевьева, невольно подчеркнув своим определением необычайную женственность круглого, свежего юношеского лица, окаймленного золотистыми, слишком мягкими и по-детски вьющимися волосами.

— Унылый какой-то поэт, — с легкой насмешкой прибавил портной.

Только Войцек с первого же мгновения заинтересовался постояльцем. Поляка не оттолкнула холеная прелесть незнакомца. В девичьих губах и в скользящем поверх предметов взоре он уловил сосредоточенную силу и поглощенность какой-то своей, особой думой.

В первый же вечер между приезжим и слугой завязался разговор.

Войцек принес в мансарду лампу и чашку кофе. Постоялец лежал на диване. Его большой лоб был повязан белым, смоченным водой полотенцем. Головная боль помешала работе; стол и стулья все еще были завалены неубранными исписанными бумагами и раскрытыми книгами.

— Как вас зовут? — спросил больной, приоткрыв большие усталые глаза.

Войцек назвался.

— Но у вас есть фамилия, конечно, — чуть улыбнулся юноша.

Поляк удивился — никто не спрашивал его об этом: все звали слугу Гюркнера Войцеком.

— Красинский, — ответил он после заминки.

— Георг Бюхнер, — представился, в свою очередь, юноша и приподнялся, сняв предварительно повязку и потерев виски. — Мозги прояснились, к счастью. После тяжелого заболевания зимой я нередко страдаю дьявольскими головными болями, — сказал он, спустив с дивана ноги и откинувшись на спинку. — Садитесь, Красинский. Вы поляк?

Румянец медленно возвращался на щеки Бюхнера. Глаза постепенно теряли отталкивающую неподвижность и вялость. Не прошло пяти минут, как Войцек дружески беседовал со странным молодым человеком, поселившимся в «Гессенском подворье».

Бюхнер знал генерала Раморино, но высмеивал этого «героя», который пожинал лавры прошлых подвигов, нимало не интересуясь настоящим положением Польши.

Войцек едва поспевал за быстрой мыслью своего нового знакомого.

Говоря о Франции и Июльской революции, Бюхнер насмешливо заметил:

— Все это было никчемной комедией. Король и палаты управляют, а народ аплодирует.

Разговор грозил затянуться, но окрики Маргариты вернули собеседников к действительности.

— Есть у вас друзья в городе? — спросил Бюхнер Войцека на прощанье. Он осведомился также, каковы политические симпатии хозяина подворья и можно ли на него положиться.

Поляк похвалил Гюркнера, обозвав, однако, бестолковым, и обещал привести в мансарду своего единомышленника Стока.

— Лучше я сам зайду к портному; кстати, у меня найдется для него работа, — решил Бюхнер.

## 7

Господин Гюркнер был очень доволен новым квартирантом.

— Это, кажется, весьма благонамеренный юноша, пожалуй, слишком уж тихий и скромный: как девица, — говорил он жене. — Вероятно, он готовится быть пастором, поэтом или же, чего доброго, сочинителем книг о нравственности. У него все достоинства квартиранта, но от собственного сына я хотел бы иного характера, а то мир превратится в рай для жуликов и деспотов. Им ничто не будет мешать в злодеяниях.

— Не притворяется ли он? Слишком уж молчалив,— возражала Маргарита.

Иоганн Сток не одобрял Бюхнера, который целыми днями писал, выставив в окно спину.

Тщетно Войцек пробовал разубедить портного.

— Я знаю немецких студентов, — упрямо говорил ему Иоганн. — Они попросту брезгают, гнушаются нами. Рабочему человеку с ними не по пути.

Поляк твердо стоял на своей оценке.

— Рано или поздно, Сток, ты устыдишься своих слов.

Спустя неделю Гюркнер, торжествуя, объявил, что к постояльцу приехали два приятеля.

— В моем доме скоро не останется ни одного свободного угла, — хвалился он соседям.

Один из друзей Бюхнера — студент Август Беккер — был плотный рыжеволосый человек. Лучи солнца, запутавшись в его всклокоченной бороде, длинных кудрях и нависших бровях, окрашивали их в багровый цвет. Синие глаза несмело выглядывали из-под беспорядочно падающих на лоб волос.

Постоянные битвы с нищетой перекосили гримасой горечи его большое крестьянское лицо.

Костюм Беккера был не менее необычен, чем лицо. На голове этого постояльца «Гессенского подворья» лежал маленький берет, вокруг шеи, несмотря на жару, обвилась старая пестрая шаль, спадающая на заплатанную на локтях косоворотку. Узкие, полинявшие брючки уходили в стоптанные, дырявые сапоги. Он никогда не расставался с сучковатой дубиной, на которую неистово лаяли дармштадтские собаки и подозрительно косились горожане.

Совсем иначе выглядел недавно приехавший и поселившийся с ним в каморке в мансарде священник, доктор Фридрих Вейдиг, директор деревенской школы в Оберглеене.

Это был весьма опрятно одетый человек лет сорока, с приветливым, спокойным лицом. Несмотря на значительную разницу в летах, пастор держался со своими юными друзьями как сверстник.

Гюркнер нашел в новом постояльце большого знатока Библии. Маргарита постоянно зазывала его в кухню, чтоб пожаловаться на расточительность мужа. Пастор внушал ей беспримерное уважение своей солидностью, вежливостью и умением слушать.

Вместе с Бюхнером Вейдиг решил навестить Стока.

— Надо раздувать малейшую революционную искорку: когда-нибудь она вспыхнет. Твой недостаток, Георг, в излишнем мудрствовании. Нам нужны люди. Три человека, разделяющие наши взгляды, уже тайное общество, и весьма могучее, — говорил Вейдиг.

Георг не возражал. Он, как и Вейдиг, хотел навербовать достаточное количество единомышленников, чтоб ор-

ганизовать дармштадтское «Общество прав человека», конечной целью которого была бы республика.

Вейдиг и Бюхнер под предлогом срочной починки плаща зашли поутру к портному.

Иоганн впервые видел «поэта», как он окрестил Георга, рядом с собой и невольно ощутил неловкость под его равнодушным и в то же время сверлящим взглядом.

Разговор долго не налаживался. Сток почувствовал себя как на допросе и насторожился. Он поймал довольную улыбку на пухлом лице Бюхнера, когда тот узнал, что видит перед собой участника первого Лионского восстания.

Но Вейдиг, казалось, не удовольствовался рассказами портного о себе и всячески старался проверить их правдивость мимоходом брошенными вопросами.

Сток, задетый странным поведением пришедших, мял в руке пасторский плащ.

Вейдиг и Бюхнер помнили лионские происшествия и были лично знакомы с некоторыми вожаками «Немецкого народного союза». Лишь когда Иоганн, готовый вспылить, назвал несколько имен своих французских единомышленников и передал кое-какие малоизвестные факты своей прошлой борьбы, пришедшие дружески протянули ему руки. Напряженность мгновенно рассеялась.

— Мы рады, что судьба свела нас тобой, Сток. Наши цели общи — сокрушение реакционной силы князей, свобода и справедливость. Не так ли? — сказал Вейдиг.

— Вы пропустили равенство, — заметил портной.

— И республику, — добавил Бюхнер.

— Во имя чьих интересов хотите вы общенародного восстания? — строго спросил Иоганн пастора.

Бюхнер одобрительно кивнул головой.

— Первое — чисто политический переворот, а уж потом остальное, — встрепенулся пастор.

Бюхнер рассмеялся.

— Вы неисправимы, Фридрих. Ничто, даже неудача франкфуртского восстания, не научит вас быть предусмотрительнее. Впрочем, не будем спорить, старина. Покуда наши пути едины.

Женевьева застала Стока оживленно разговаривающим вполголоса с собирающимися уходить посетителями.

Лицо Иоганна пылало. Он бросился к жене и с грубоватой нежностью сжал ее плечо:

— Нашел наконец своих, теперь начнется жизнь.

Женевьеве осталось только улыбнуться и скрыть слезы.

8

От пастора-революционера Сток и Войцек узнали историю Георга Бюхнера.

— Его отец — крестьянин, пробившийся в медицинские советники Гессенского герцогства, — сообщил Вейдиг. — Он обязан этой удаче не природному дарованию и не воле, а нашествию французов; их законы позволили обученному наукам простолюдину занять видное место при княжеском дворе. Впрочем, Бюхнер-отец предал и своих крестьянских предков, и облагодетельствовавшую его французскую революцию, превратившись потом в закоренелого монархиста. Георгу не легко даются крайние радикальные взгляды, о которых он принужден молчать в родительском доме.

— Видишь, Сток, парень скроен из крепкого материала, если борется не только со всем миром, но даже с родными за наше дело, — отозвался Войцек, готовый по всякому случаю превозносить своего друга Бюхнера.

— А какова мать? — поинтересовался Сток.

— Госпожа Бюхнер, сентиментальная, отдающая досуг музыке, стихам, праздным мечтаниям, в противоположность атеисту-мужу, верила в бога. Маленький Георг сопровождал мать по прекрасным окрестностям деревни Годделау, где жили Бюхнеры. Мать пела ему меланхолические песни об увядшей девушке, о Германии, растерзанной злыми врагами. С нею он зачитывался шиллеровскими «Разбойниками». А отец внушал сыну монархические принципы и боролся с религиозным влиянием жены, обучая Георга анатомии и естественным наукам. В большом отцовском кабинете за стеклом шкафа стояли желтые человеческие скелеты. Их страшные костяные лица, с пустыми впадинами вместо глаз и обнаженными челюстями, преследовали мальчика в снах. — Вейдиг замолчал и задумался о противоречивом родительском доме Георга.

— Из книг, что ли, вычитал Бюхнер про беды и муки народа? — иронически спросил пастора Сток.

Вейдиг сощурил умные глаза.

— Думаю, не только из книг,— отвечал он сухо.— Убегая из усадьбы, Георг проводил много часов среди крестьян. Он рассказывал мне неоднократно, что виденное там навсегда запало в его душу. Нищета деревень превосходила самые страшные картины ада, которые Георг видел в молитвенниках матери. Он задыхался в дымных хижинах, пропахших испражнениями тут же живущего скота. Он тщетно пытался сам помогать крестьянам в обработке неподатливой, скупой каменистой почвы. Ржавая первобытная мотыга ранила его руки. Деревенские сверстники Бюхнера были полуголы в стужу, изъедены насекомыми, всегда голодны. Жизнь в усадьбе подчеркивала чудовищные лишения крестьян. Деревня — не плохая школа для барского сына.

Войцек удовлетворенно поддакивал пастору:

— Бюхнер частенько говорит, вспоминая о Годделау: тело крестьянина — мозоль, его пот — соль на столе знатных.

## 9

Спектакль еще не начинался. Театр был полон. Георг прошел в ложу госпожи Шлосс, подруги матери. Две молоденькие девицы жеманно ответили на его поклон и преувеличенно громко заговорили о невоспитанности толпы в райке.

Госпожа Шлосс указала Георгу на кресло подле себя и продолжала осматривать публику соседних лож.

Бюхнер приподнял полы фрака и сел. Ничто не переменилось в театре, где он бывал так часто в отрочестве. Те же серые бюсты Шиллера и Моцарта в нишах по обеим сторонам авансцены, та же закопченная, темная зала. По-прежнему до начала спектакля, значит и в антрактах, подражая французам, зрители сидят в шляпах.

В партере Георг отыскал глазами Вейдига, с которым условился встретиться в театре, и несколько знакомых студентов в пышных мундирах, украшенных золотыми галунами, и при шпагах.

Госпожа Шлосс кончила критический осмотр соседок и положила лорнет. Она попыталась занять беседою себя и заодно молодого гостя.

Это была пожилая дама с непоправимо обрюзгшим, отекшим лицом.

— Ты не застал нашего театра в эпоху расцвета, Георг. Бывало, сколько слез проливали мы здесь с твоей матерью! Покойный герцог самолично подготовлял оркестр и певцов к представлению; его капельмейстер сотнями репетиций доводил до исступления своих скрипачей, но достигал совершенства... Помню божественные постановки драм Лессинга, Шекспира и Кальдерона. Два кумира дармштадтской публики соперничали в игре на этой сцене — Фишер и Грюнер. Мы с твоей матерью предпочитали Грюнера. Его Валленштейн, Брут, дож в драме «Фиеско» исторгали вопли восторга и ужаса в зале. Артисты тоже не те, что ныне. Сомневаюсь, чтобы сегодняшняя Луиза могла сравниться с Терезой Грюнер, исполнявшей эту роль более десяти лет тому назад.

Георг пропускал мимо ушей ворчливые замечания своей дамы. Скрип поднимаемого занавеса прервал наконец ее болтовню.

На сцене пожилой человек в расстегнутом жилете, с виолончелью в руках трагическим шепотом доказывал женщине, преспокойно допивающей чашку кофе, что безупречная репутация их дочери в опасности.

— Нашему дому грозит позор! — восклицал музыкант.

В первом действии медленно назревал любовный конфликт.

— Сжальтесь надо мной... я не могу любить графиню, — умолял майор Фердинанд своего отца, президента фон Вальтера.

Бюхнера захватило представление. Минна Иэгле подменила Луизу — героиню драмы. Он снова увидел свою невесту в скромном доме протестантского пастора. Захотелось тотчас же броситься прочь из театра и с первой же почтовой каретой отправиться в путь, в Страсбург.

— Да, поеду к ней, поеду, выскажу ей все, — дрожащим голосом закончил монолог Фердинанд. Пыльный бархат скрыл сцену.

Бюхнер сорвался с места.

На пороге ложи его ждал Вейдиг. Пастор позевывал, добродушно осмеивая чрезмерно патетическую игру актеров. Он объявлял шиллеровскую драму устаревшей.

Бюхнер совладал с собою. Образ Минны Иэгле исчез.

К Вейдигу и Георгу подходили знакомые студенты.

Так как предполагаемая строго секретная беседа не могла состояться в многолюдном театре, было решено, не дожидаясь конца спектакля, отправиться немедля в трактир Гюркнера.

Там, в углу, за деревянным столом, под яркой литографией, изображающей рейнских сирен, в дыму сигар и трубок начались переговоры между организаторами «Общества прав человека» и представителями студенческого кружка, называвшего себя коммунистическим.

Хозяин подворья не поскупился на вино. Хмель легко развязал языки молодежи.

Вейдиг говорил первым. Он начал с того, что «Общество прав человека» намерено продолжать дело Горы.

— Нынешнее правительство не от бога, а от отца лжи, но царство тьмы близится к концу. Скоро Германия возродится как свободное государство с избранной народом властью.

Пастор говорил красиво, спокойно. Розовое, ласковое лицо его подпирал стоячий ворот черного сюртука.

— Мы не можем сеять свободу на немецкой почве без вас, студенты, без просвещенных людей, даже и не самых крайних, не наших взглядов. Путь к республике лежит через подлинно конституционную, протестантскую монархию. Не будем этого бояться. Все прогрессивное должно быть использовано.

Несмотря на предварительный уговор не спорить в присутствии представителей чужой организации, Бюхнер не стерпел и возразил:

— Неверно, Вейдиг. Нелепо мечтать о том, что конституционалисты помогут нам. — Он ударил рукой по столу, подстегнутый налетевшими мыслями; загремели кубки. — Либеральные дворяне согласятся самое большее на умеренный прогресс. Они не пойдут на радикальный переворот, так как последний лишит их титулов и богатств. Вопрос о революции — вопрос о силе: если мы не сумеем противопоставить штыкам штыки, то, несмотря на всю святость и справедливость наших принципов, потерпим жалкое поражение. Лучшее подтверждение этому — апрельский разгром революционеров во Франкфурте.

Лицо Георга преобразилось. Глаза сощурились, и суровая мужественная линия залегла поперек бровей. Голос окреп, мускулы лица и рук напряглись.

Войцек слушал, притаившись у стены.

«Если б Сток видел и слышал этого юношу сейчас, он понял бы, почему я поверил в него с первой встречи», — радовался поляк.

— Надо поэтому создать армию свободы, а это возможно только путем привлечения народной массы, — продолжал Георг.

— Как?! — прервал его студент Франц. — Он предлагает нам быть в одном обществе с какими-то ремесленниками, понятия не имеющими ни о чем, кроме своей грязной работы! Их надо сперва учить грамоте, не борьбе с деспотизмом. Бедняги, пускай не по своей вине, тормозят прогресс...

— Так, так, полезное времяпрепровождение нам предлагают... — допивая кружку пива, крикнул медик Вильгельм, тучный франт с завитыми бакенбардами, изрядно выпивший.

Бюхнер ответил презрительным движением нервных губ.

— Да, народ мало интересовался политическими вопросами, но причина этого понятна, — сказал он, преодолевая раздражение, очень тихо. — Спрашиваю вас, чем могут заинтересовать рабочих, лишенных избирательных прав, лицемерные воззвания либералов по поводу выборов в ландтаги? Какое значение для крестьян, изнывающих от гнета и налогов и не имеющих ни времени, ни денег, ни образования для того, чтобы читать газеты, — какое значение имеют для них приглашения вступить в Союз печати? Спуститесь к этим бедным людям, заговорите с ними на их языке, об их нуждах — они поймут вас. Не говорите крестьянину о конституции — какую цену для него она имеет? — говорите ему о его нищете — он пойдет за вами.

Пастор Вейдиг неодобрительно свел руки. Студенты разом отставили стаканы.

Франц поднялся первым. Он медленно натянул кожаные перчатки.

— Нам не о чем говорить с тобой и твоими, Бюхнер, — сказал он, высокомерно кланяясь.

— Народ и через сто лет не поймет того, что стало азбукой для нас. Мы готовы принести себя в жертву идеалам свободы, — прибавил медик Вильгельм, покручивая вьющийся ус,— но нянчить невежественных пролетариев не хотим. Чернь пойдет за победителем. Когда Гора пришла к власти, она повела массы; когда мы совершим переворот, бедняки протянут к нам руки. Мы им поможем.

Вслед за Францем и Вильгельмом поднялись остальные.

— Белоручки! Патриции! — проскрипел внезапно Беккер. — Тень Дантона содрогается от негодования, слушая вас. Болтуны, готовые идти в огонь, когда этот огонь вздымается над бокалами с пуншем!

Франц, криво улыбаясь, повернулся к красному Августу.

— В нашем лице, — сказал он, выставив вперед ногу и перебросив плащ через плечо, — вы оскорбили дармштадтских студентов. То, что я простил бы вам, не простят они, сударь. Я вынужден признать, что по виду и по манерам вы — не немецкий студент, а невежественный трубочист.

Опрокинув стол и табуреты, Беккер подскочил к обидчику. Студенты, как по команде, схватились за тонкие шпаги.

Вейдиг успел предотвратить драку.

— Во имя вдохновившего нас на борьбу Занда, пронзившего врага народа, во имя бога и революции остановитесь и подайте друг другу руки! — умолял пастор, молитвенно соединив добрые, крепкие ладони.

Удовольствовавшись бранью, Франц с приятелями покинул трактир.

Досада Вейдига мгновенно обрушилась на Георга.

— Ваша резкость и несдержанность Беккера, — сказал он сурово, подчеркивая переходом с «ты» на «вы» свое крайнее недовольство, — очень скоро оттолкнут от нашего дела всех образованных, порядочных людей.

— Не трудно быть порядочным человеком, когда ежедневно ешь суп, зелень и мясо, — огрызнулся Бюхнер и, не пожелав пастору доброй ночи, направился к лестнице, ведущей на мансарду.

## 10

С юга к Дармштадту примыкает деревня Бессунген. От нее берет начало кратчайшая дорога на вершину Господней горы. Поднимаясь дугой мимо пруда, мимо горбатого валуна, прозванного Когтем дьявола, тропа теряется в ложбине, поросшей густым кустарником. Горный выступ образовал над впадиной глубокий укрытый свод. С гладкой квадратной площадки над пещерой — традиционного места встреч дуэлянтов, — как с корабельного мостика, на все четыре стороны видны бескрайние, переменчивые просторы Рейнской долины.

На вершине Господней горы, в пещере, затерянной в ельнике, назначен был ночной сбор членов «Общества прав человека».

Остерегаясь полиции, Иоганн и Войцек решили идти порознь.

Женевьева проводила мужа до деревни. Обо всем догадываясь, но не расспрашивая, вернулась она домой, полная тревоги. Хотелось быть одной, но Маргарита, обеспокоенная исчезновением Гюркнера, тотчас вызвала подругу во двор.

— Мужчины, — шипела трактирщица, угрожающе размахивая ведром с пенящимися помоями, — рождаются лгунами и притворщиками. Эти деспоты считают жен ночными колпаками, которые можно по прихоти надеть на голову либо засунуть под подушку. Вот ушел муженек, а куда? Точно дома нет пива и бабы.

Женевьева смотрела на огромное, перекатывающееся волнами жира тело, на ведро, судорожно раскачиваемое большой, неженской, переплетенной венами рукой госпожи Гюркнер, и думала о своем. Кислая вонь помоев отравляла воздух. В сарае уныло хрюкали проснувшиеся свиньи.

Иоганн свернул с дороги и лесом медленно подымался в гору. Перекличка деревьев, хруст костлявых сучьев под сапогами, горьковатый аромат хвои тревожили его, нагоняли разрозненные думы и воспоминания. Что, если свернуть в еловую чащу и, зарывшись в сухие, пахучие, ржавые иглы, лежать до рассвета? Он лениво опустился на гниющий светящийся пень. Выросший в перекошенном домишке сапожного подмастерья, в пыли городских

улиц, Сток робел перед безлюдьем природы, как крестьянин перед шумным городом. Лес подавлял его, усыплял.

Иоганн превозмог дурман. Бессвязные мысли оседали в мозгу.

«Гниет, а сияет, — думал, тронув крошащиеся останки дерева. — Оттого ленюсь идти, что не нравится Бюхнер». Представил себе грустное женоподобное лицо студента. Пошел в гору.

Приблизившись к пещере, Сток услыхал знакомый звонкий голос. Прислушался.

— Попытки, которые делались до сих пор, совершить переворот в Германии,— говорил Георг,— покоились на детском расчете. Революция может, должна совершиться лишь посредством широких масс народа. Нужно привлечь не только ремесленников и рабочих, нужно добиться участия крестьянина. Это возможно с помощью все разъясняющих прокламаций, толкующих не о Венском конгрессе, свободе печати, а о материальной нужде и причинах, ее вызывающих. Нужно доказать крестьянам числовыми выкладками, что с их земель взимается несоразмерно большая доля налогов, в то время как капиталисты освобождены от платежей, что законодательная власть, распоряжающаяся их жизнью и собственностью, — в руках дворянства, богачей и чиновников. Каждый из нас должен понять, что умелое соединение материальных интересов народа с общими политическими целями революции обеспечит взрыв нынешнего строя в Германии.

Иоганн подошел ближе и огляделся. Бюхнер говорил, стоя на сером угловатом камне. Мутный чадящий факел освещал пещеру и два-три десятка людей в ней. Тени прыгали по стенам. Стока неприятно поразило присутствие Гюркнера. Несмотря на добрые отношения с владельцем подворья, Иоганн не считал его достойным подобного доверия.

«Выдаст или нет?» — пронеслось в подозрительном мозгу портного.

— Как тебя зовут, брат? — внезапно спросил Стока рядом стоящий юноша.

Иоганн пытливо оглядел его и буркнул:

— Не твое дело.

Спросивший ответил смехом.

— Я не так труслив, как ты: меня зовут Конрад Куль.

— Иди к черту, Конрад Куль! — процедил сквозь большие темные зубы Иоганн.

Он был решительно не в духе. Случай с Кулем, самодовольное лицо Гюркнера, присутствие в пещере неожиданно большого числа незнакомых лиц раздражали портного.

Но причина его досады была в неожиданной правильности слов Бюхнера, в невозможности высмеять, осудить их. Стоку не хотелось признаться самому себе в том, что не разгадал «поэта». Он упрямо боролся с новым чувством к Бюхнеру, не хотел сдаваться. Изнеженный двадцатилетний барич, с лицом девицы, пришедший из другого мира, чужой, начиненный неведомыми Иоганну знаниями, холодный, замкнутый, годен ли он быть его соратником, более того — вождем? Сток плутал в чаще новых, темных, нагроможденных, как стволы деревьев, сырых мыслей.

Он протискался к Войцеку. Поляк сидел на траве. Запахи леса мучили его, как призраки; мечты перенесли далеко, в Лазенковскую еловую чащу по-над Бугом. С двадцатью тысячами таких же солдат, как он сам, ушел Войцек с родины. Как знать, с каким полчищем вернется он назад? Может быть, сейчас в этой пещере рождается та сила, что опрокинет, истопчет, уничтожит деспотизм, даст миру и, значит, Польше свободу, счастье. Как предугадать? Думал ли он тогда, в лесу под Варшавой, о том, что спустя один только день вся Польша восстанет. Может статься, завтра подымется Германия либо Франция. Войцек сжимает губы, чтобы удержать безумный, ликующий вопль.

На камне-трибуне вместо Бюхнера — толстый резчик по дереву, в вязаном колпаке с кисточкой, болтающейся над открытым сизым ухом.

— Добро должно восторжествовать, — говорит он грозно. — Я здесь среди вас, друзья, потому, что нашей религией является убийство тиранов и всеобщее равенство... Я знаю наверное и надеюсь, что и вы, дорогие братья, верите, что скоро совершится нечто необыкновенное; знаю это из верного источника, от поляков и французов. Революция, говорю я вам, революция свершится, а с нею — всеобщее уничтожение...

Войцек, отталкивая Стока, бросается в пещеру.

— Революция свершится! — кричит он, весь во власти мечты.

— Браво! — единодушно подхватывают собравшиеся. — Революция свершится!

— Мы едины, пусть прольется наша кровь во имя революции! — кричит Август Беккер, разматывает шарф и обнажает тонкую нежную шею. — Если нужно, пусть падет за дело свободы моя голова, насытив кровью злодеев!

Бюхнера и Вейдига оттеснили в темноту. На сером камне — Войцек.

Он говорит на родном языке и кончает песней: «Еще Польша не погибла».

Польский гимн довел до восторженного исступления членов «Общества прав человека». Гюркнер плакал.

Сток протолкался к заветному камню.

— Я был во Франции вскоре после июльских дней и видел, как обманули король, банкиры и фабриканты народ, — говорит он, обращаясь более всего к Бюхнеру. — Там, как и в Германии, страх заставил богачей бросить нам объедки. Мы поверили и получили, но что... шиш? Нет, хуже того. Я не умею говорить, а то я рассказал бы вам, братья, как лионские рабочие справедливо требовали работы, а добились смерти, тюрьмы, голода...

Сток не мог продолжать от волнения.

Холодный зеленый рассвет охладил собравшихся. Возбуждение сменилось усталостью. Гюркнер, зевая, спрашивал Войцека, как избежать гнева Маргариты. Кое-кто прикорнул на мокрой траве.

Бюхнер попытался перейти от слов к делу.

— Мы отпечатаем прокламации, и каждый из вас возьмет на себя доставку их в деревню.

Вместе с солнечным светом в пещеру ворвался Конрад Куль. Сток едва узнал его. Вместо учтивости и подобострастия, подмеченных ранее портным, Куль олицетворял чудовищный страх.

— Полиция!.. Шпионы!.. Спасайтесь! — судорожно дергаясь, выл он.

Поминая бога, Гюркнер бросился в кусты. Бывший караульщик шлагбаума не претендовал на мужество. Вейдиг и Бюхнер ни единым движением не выдали тревоги.

Помахивая неразлучной дубинкой, Беккер вышел на разведку. Люди в пещере обнажили оружие, готовые к обороне.

— Дуэль,— разочарованно сообщил вернувшийся Август.

Позвав Войцека, Сток пошел домой. Подле пещеры их окликнул владелец «Гессенского подворья». Его клетчатые брюки были перепачканы землей. Сюртук порван.

— Вояка! — сквозь зевоту буркнул добродушно Войцек, помогая Гюркнеру встать.

— Старый Бuври, — сказал Иоганн, позабыв, что имя это незнакомо в Дармштадте,— седой и дряхлый, а пошел в тюрьму, а ты... — Портной красноречиво оборвал фразу и сплюнул.

На вершине Господней горы, на выступе, образующем пещерный свод, секунданты тщательно отмеривали дистанцию. Дуэлянты, в черных плащах поверх мундиров, отвернувшись друг от друга, с видом беспечнейшего равнодушия прогуливались между елями...

Рейнская долина и Дармштадт спали вдали под плотной периной — предутренним туманом.

11

Вокруг ратуши дармштадтские улицы, стиснутые высокими остроконечными домами из серого шифера, узки и темны, как колодцы. Летом тут пыльно и жарко, в остальные времена года сыро и грязно.

Маленькие лавчонки в переулках центра, пахнущие плесенью, торгуют предметами роскоши, производимыми на городских окраинах в мастерских ремесленников.

Столица Гессенского герцогства славится производством мебели, посуды, музыкальных инструментов, дорогих безделушек.

Сток в тщательно заплатанном сюртуке, оставшемся в наследство от отца, в картузе расхаживает по торговому кварталу, что тянется от герцогского управления вплоть до театра. Портной присматривает подарок Женевьеве ко дню рождения и не пропускает потому без внимания ни одной витрины. Все, что в них выставлено — бисерные кошельки, бархатные молитвенники, фарфоровые, украшенные амурами, цветками, голубками табакерки, коробочки и флакончики, шкатулки с деревянной

или перламутровой мозаикой, чувствительного и поучительного содержания гравюры, пояски и косынки,— вовсе не доступно по цене жителю Церковной улицы. Да многие из продающихся здесь вещей и не для чего ему.

Иоганн улыбается, представляя себе хибарку в гюркнеровском дворе и Женевьеву, которой на подводе привезли бы этажерки с золочеными шишками по бокам, кресла, обитые переливчатой тафтой, диваны, украшенные львиными головами и небывалыми листьями. Но кровать из золотистого ореха портной купил бы, будь деньги.

«Наша жизнь легка, вся укладывается в котомку»,— решает он. В открытую дверь лавки Стоку видны сундуки, окованные железом, мягкие кожаные чемоданы, добротные скрипучие соломенные корзины.

«Женевьеве не пришлось взять заветный сундук с приданым из Лиона,— вспоминает портной,— не до того было в вечер бегства из осажденного города. Не присмотреть ли ей сундучок? Но что ей туда класть?»

Ни фарфоровые маркизы и звери, ни тем более картины, на которых блюда полны фруктов и мертвой дичи, ни драгоценные кружева не нужны немецкому мастеровому. Круглый серебряный медальон с трилистником и колечко с подковой он купил бы, но ювелир не отдает их за два гульдена.

В переулке, где босые мальчишки играют на мостовой, Иоганн забрел к часовщику.

Здесь пусто и прохладно. Маятники движутся ровно, как игла в руках портного.

Создатель круглых, многоглазых неуемных существ, висящих по стенам, расставленных в шкафах и на прилавке, маленький хромоногий человечек появляется из-за шерстяной портьеры, бережно держа в руке тонкие косточки — части разобранного механизма. На нем — передник до самой шеи, рукава рубахи засучены, как у хирурга.

Сток успевает заметить за портьерой женщину, баюкающую ребенка в убогой клетушке. «Часы тоже не кормят, видно»,— удивляется он про себя.

Часовых дел мастер оглядывает покупателя, стараясь определить его достаток и вкусы.

Длиннополый сюртук Стока обманывает.

Продавец достает с полки деревянного Лютера с Библией под мышкой. Вместо пьедестала — часы. Портной насмешливо отказывается от Лютера, от аллегорической Германии — полуодетой толстой дамы — и от фарфоровой розы с венчиком в виде циферблата.

Его выбор падает на небольшие часы в зеркальной оправе, наигрывающие два такта вальса. Поговорив о налогах и трудных для Дармштадта временах, Иоганн прощается с часовщиком и возвращается домой мимо лавок, торгующих музыкальными инструментами. Он замедляет шаг и смотрит жадно в окно. Там — недоступная давнишняя мечта — скрипки. У дверей музыкальной мастерской с зеленой вывеской в виде плоского фортепиано, болтающегося подле фонаря, сидит на раскладном стуле старик Ерке в красном жилете и круглой шапочке. Сток вспоминает, что видел его несколько дней назад в пещере на Господней горе, кланяется единомышленнику и подходит, рассчитывая приторговать подержанный инструмент. Старик словоохотлив. Он выносит две скрипки и перебирает их струны дряблыми голубыми пальцами. Иоганн поднимает одну из них к плечу и неуверенно подбирает мотив «Что для немца родина». Старик испуганно озирается.

— Не бунтуй на улице,— говорит он просительно.

Сток смеется и переходит на «Прощание Бертрана».

За эту мятежную песню вчера арестовали нескольких вольнодумствующих студентов. Старик вырывает скрипку у портного.

— Играл бы что-нибудь церковное, мальчик,— добавляет он наставительно.

На узкой мостовой мальчуганы, играя в войну, разбившись на два войска, теснят друг друга в подворотни. Их оружие — кулаки, их снаряды — зеленые, в шипах, незрелые каштаны.

Разметая пыль, проезжают, грохоча, экипажи и телеги. То и дело между лавок попадаются кабаки, из которых несутся брань и музыка.

На базаре лоточники, предлагая свой товар, зазывают:

— Вишни, вишни!

— Щетки, пуговицы!..

Тут же примостились подмастерья.

— Чиню обувь дешево!..

— Шью, крою, латаю, белю, крашу!..

Сток пересекает рыбный рынок и добирается до широкой деревенской Церковной улицы, заканчивающейся фонтаном и кирхой.

Портной прижимает к жилету коробку с часами. Тесный сюртук мешает движениям. В голове назойливый вопрос — зачем Гюркнеру и Ерке «Общество прав человека»?

12

Маргарита по ночам превращается в пилу. Так говорит Гюркнер. До утра она мешает ему спать руганью, допросами и карканьем.

— Невозможные налоги... герцог — мот,— передразнивает она мужа,— одичание Германии, помещики — коршуны... мужики — рабы... Польша в аду, чиновники — подлецы, рабочий люд дохнет... Пусть так, но при чем тут ты, Гуго? А если нагрянет полиция, если полезет в клеть, что за свинарником, если перероет бумаги тихони в мансарде, схватит пастора и спросит: «Гюркнер, не пора ли тебе в тюрьму, а семье твоей с сумой на дорогу?» — причитает трактирщица, выпучив немигающие, как у совы, глаза. — Сколько лет я жертвовала всем ради нашего дела, любовью, потому что — к чему скрывать после почти двадцатипятилетнего супружества!— не могла ведь я с моим воспитанием полюбить караульщика шлагбаума. Не разорись папенька, офицер или чиновник был бы рад на мне жениться. Ах, тысяча восемьсот семнадцатый год похоронил мои надежды. Я была идеальнейшей женой и хозяйкой, отказывала себе во всем, чтобы теперь потерять все нажитое. Почему? Потому, что «налоги, и герцог — мот, а рабочему человеку преждевременная смерть, и Войцек страдает из-за русского царя». Я всегда знала, что судьба изменчива, однако женой арестанта быть не хочу!

Гюркнер натягивает колпак на уши, но голос просачивается сквозь ткань. Гюркнер зарывается в подушку, но не находит покоя.

Маргарита в топорщащейся ночной рубахе сидит над ним, требуя ответа. Молчание мужа доводит женщину до неистовства. Она сотрясает супружеское ложе. Перины вздымаются валом.

Гюркнер вылезает из-под укрытия.

— Я покажу полиции клеть за свинарником и дом на пустыре, где вы устраиваете по ночам шабаши, спорите о чепухе, орете как безумные,— грозит жена.

— Ведьма! — отвечает владелец «Гессенского подворья», раскидывая подушки. — Подглядывала!.. Утопись в своем жиру, губи нас и себя.

Маргарита всхлипывает, сдается.

— Дьяволы принесли Бюхнера с этим грешником пастором! Сатана тебя тянет в пропасть...

Гюркнер примирительно смеется.

— Вот глупая баба,— шепчет он.

Клеть позади свинарника, преследовавшая во сне и наяву Маргариту, была отдана пастору Вейдигу для дел самых секретных.

Трактирщица, приложив однажды глаза к щели, увидела нечто столь страшное и неблагонадежное, что отпрянула с криком, перепугав свиней.

Ночью она объявила мужу, что пастор — фальшивомонетчик. Но Гюркнер посмотрел на нее с выразительной скукой, уничтожив последнее предположение. С точки зрения Маргариты, фальшивомонетчики были менее опасны, нежели революционеры.

Больше госпожа Гюркнер не пыталась подглядывать. Пугавший ее стук печатного станка, доносившийся из клети, удачно заглушался хрюканьем свиней. Кроме владельца подворья, о том, что делал Вейдиг, знали Сток, Войцек да еще два-три человека, привозившие во двор тюки, которые принимал Август Беккер.

По-прежнему в трактир захаживали студенты, ремесленники, полицейские, заезжали в подворье крестьяне. Гюркнер был весел, деловит, все так же болтлив. Маргарита, хмурая, бранчливая, стряпала на кухне. Сток шил. Женевьева работала по дому.

Реже появлялись в раскаленном июньским солнцем дворе чистенько одетый Вейдиг и Беккер в перепачканной рубахе, с сучковатой дубиной. Завидя их, Сток покидал табуретку у окна. Разговаривали они тихо, торопливо, — долго не задерживались...

Как-то знойным утром Иоганн и Войцек вышли из клети с кипами бумаг. Во дворе под новым навесом стояло несколько распряженных крестьянских телег. Хозяева их закусывали в трактире, покуда лошади отдыхали, жуя овес в привязанных к сбруе холщовых мешках.

Оглядев безлюдный двор, друзья сунули под сено и поклажу принесенные с собой узкие серые листы в черных точках букв и поспешно скрылись.

Они повторяли то же в течение нескольких дней.

На троицу портной предложил жене погулять за городом. Они вышли на рассвете, направляясь в сторону Оппенгейма.

По озабоченности Стока Женевьева догадалась, что прогулка на этот раз будет иная, чем в минувшие времена, когда они строили шалаши на Господней горе. В поле Иоганн снял мешок с плеча и осторожно положил на траву.

Он, нерешительно поглаживая волосы, хмурил широко разметанные брови, не находя слов, которыми хотел бы начать разговор с женой.

— Дай,— сказала Женевьева, поняв его, как всегда, с полуслова, и потянула мешок,— ты, верно, хочешь поручить мне что-то важное.

Сток на мгновение усомнился, насторожился.

«Не женское дело. Риск большой. Вейдиг был бы недоволен, но...» — Он неопределенно махнул рукой: не то с сомнением, не то с уверенностью в собственной правоте.

— Нужно, чтоб воззвание,— Иоганн впервые назвал так то, что было в сумке,— попало к крестьянам поскорее. Сегодня — праздник, люди в церквах, на площадях, окна домов отперты... Поняла?..

— Еще бы...

Они расстались на перекрестке.

Прежде чем зайти в деревню, Женевьева по лугу прошла к узкой зигзагообразной реке. Дно и берега Дарма были красные, глинистые. Ястреб кружил в небе. Кругом было безлюдно и тихо.

Жена Стока развернула сложенный вшестеро землистого цвета лист и попыталась сложить в слова первые попавшиеся ей большие печатные буквы. Вот уже два года она училась грамоте.

«Жизнь знатных — бесконечный праздник. Они живут в роскошных хоромах, носят красивую одежду, у них выхоленные лица и особенный язык. А народ валяется перед ними, как навоз в поле.

В 1789 году народ Франции устал быть волом, с которого дерут три шкуры»...

«Вот что писал Бюхнер, выставив спину в окно»,— удивилась Женевьева.

Она пропустила несколько абзацев.

«В великом герцогстве Гессен жителей 718 373,— по складам читала, водя пальцем под буквами, Женевьева. — Из них 700 000 людей мучаются, стонут и голодают. Они платят шесть миллионов гульденов государству. Эти деньги — кровавая «десятина», высасываемая из тела народного. Их вымогают во имя государства. Вымогатели ссылаются на правительство, последнее заявляет, что это необходимо для сохранения государственного порядка. Что же это за всесильное чудовище — государство?

Что такое конституция в Германии? Не что иное как пустая солома, зерна из которой вымолотили себе князья. Что такое наши сеймы? Не более как тяжелая на ходу, громоздкая телега, которой изредка можно загородить путь разбойничьим нашествиям князей и министров, но с помощью которой невозможно построить неприступной твердыни немецкой свободы. Что представляют собой наши избирательные законы?»...

Голова Женевьевы шла кругом.

— Трудно понять,— сказала она и, развернув лист, заглянула на обратную сторону.

«Но если бы даже гессенский сейм и обладал достаточными правами и если бы великое герцогство имело действительную конституцию, то и в этом случае быстро настал бы конец благополучию.

Хищные коршуны в Вене и Берлине очень скоро протянули бы свои когти и задушили бы свободу маленькой страны. Ведь немецкий народ должен завоевать себе свободу, и это время, дорогие сограждане, недалеко. Скоро исполнится предсказанное пророком,— близок день воскресения Германии.

Раскройте глаза и сосчитайте ваших угнетателей, которые сильны лишь кровью, высасываемой из вас с помощью армии, состоящей из ваших сыновей и братьев»...

Женевьева устала. Нужно скорее идти в деревню. Благоговейно и робко она сложила развернутое воззвание. «Может быть, они и поймут, а не легко»,— мелькнуло в ее усталом мозгу.

Лист был наконец сложен.

Жена портного внезапно увидела начало прокламации и не удержалась, снова прочла:

*«К ГЕССЕНСКИМ КРЕСТЬЯНАМ*

Этот листок должен возвестить правду гессенской стране. Но кто говорит правду, того вешают. И даже кто читает правдивое слово, может быть осужден клятвопреступными судьями. Поэтому те, которые получат этот листок, должны соблюдать следующее:

1. Они должны заботливо хранить этот листок вне дома от полиции.

2. Они могут давать его на прочтение лишь верным друзьям.

3. Тем, кому они не доверяют, как самим себе, они могут лишь тайно подбрасывать его.

4. Если все-таки листок будет найден у кого-либо из читавших его, надо заявить, что как раз хотел отнести его в окружной совет.

5. Кто не читал листка, который у него нашли, тот, конечно, невиновен.

*Мир — хижинам! Война — дворцам!»*

*Глава четвертая*

## АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

### 1

Письменные экзамены должны начаться 10 августа, устные — не позднее середины сентября. Затем — прочь от постылых гимназических корпусов на улице Иезуитов.

В эту осень семнадцатилетний Маркс впервые покинет надолго родительский дом и старый, милый Трир.

Отец предпочел для него Боннский университет. Карл не спорил. Самостоятельная жизнь влекла юношу неизвестностью, обещанием разгадки бесчисленных вопросов, которые он постоянно ставил перед собой. Пять лет равнодушно носил Карл тугой, узкоплечий гимназический мундир, чтобы сменить его, когда придет время, на студенческий, украшенный галунами и фестонами.

До позднего вечера в комнате выпускника горит лампа. Генриетта на цыпочках проходит к сыну с чашкой кофе. Белая кружевная занавеска неподвижна на окне.

Августовская ночь жжет и давит. Пахнет в саду резедой и полуночницей-маттиолой. Лицо Карла — желтое от усталости и духоты. Черная прядь волос лежит вопросительным знаком на огромном лбу. От нее к вискам разбегаются напряженные густые брови.

Утомление подчеркнуло сходство юноши с отцом. Сын, однако, менее красив: чуть тяжеловат подбородок, короток полный нос, чрезмерно выпуклые губы.

Стулья вокруг Карла завалены книгами и тетрадями.

Госпожа Маркс негодует, замечая, что цветной половичок отброшен нетерпеливой ногой к стене, что в тазу, полном мыльной воды, набухает уроненное полотенце, а на кашемировом фамильном постельном покрывале валяются растрепанные, неряшливые учебники.

Укоризненно вздыхая, она бесшумно приводит комнату в порядок, прячет в шкаф томики Фенелона, Горация, Лесажа, Фукидида, Шиллера, Кольрауша.

«Сколько книг одновременно читает мальчик!» — думает мать с неудовольствием, считая это доказательством небрежного ума и неорганизованного характера.

— Позволю себе заметить, милый Карл,— брюзгливо и наставительно говорит она вслух,— что чистота и, главное, порядок — вовсе не побочные обстоятельства в жизни. Тем более что от этого зависит здоровье и хорошее настроение. Поверь, что при помощи будничного постигается высокое и лучшее.

Карл вздыхает.

Вслед за Генриеттой в комнату сына приходит юстиции советник. Стараясь не шуметь, чтоб не разбудить спящих за стеной меньших детей, он садится за стол, перелистывает брошенные тетради. Крючковатые, горбатые уродцы-буквы кривляются на измазанных, покрытых кляксами страницах.

— Итак, твое решение твердо?.. — спрашивает он, но приступ кашля, тщетно заглушаемый большим желтым платком, мешает ему говорить.

— Да, юридический факультет,— отзывается Карл. Он облегченно захлопывает религиозный трактат, который

читал, готовясь к экзамену по богословию, и кладет книгу поверх ободранного Софокла.

Генриетта за спиной сына удовлетворенно кивает головой.

— Лучшее, что Карл может сделать, — это идти по твоему пути, милый Генрих.

— Я хотел бы,— ласково обращается к сыну юстиции советник,— видеть в тебе то, чем, может быть, я сделался бы сам, если бы мир открылся мне при таких же благоприятных обстоятельствах, какие сопутствуют тебе. Ты можешь осуществить и разрушить мои лучшие надежды... Может быть, это и неразумно — я рискую похоронить таким образом свой собственный покой. Но кто, кроме природы, повинен в том, что сильные во всем ином люди бывают слабовольными отцами.

Волнение Генриха передается Карлу. Он прижимает к седеющей голове свою, сине-черную, и растроганно гладит отцовскую руку.

— Мальчику много дано, и мы вправе требовать, чтоб он оправдал наши ожидания,— говорит с обычной категоричностью госпожа Маркс.

2

Фриц Шлейг, сверстник Карла Маркса, единственный из всех учеников выпускного класса ведет дневник. Молодой Шлейг — весьма учтивый, склонный к размышлениям юноша с грязновато-белым узким лицом, полураскрытыми глазами, пухлым телом и липкими ладонями. Товарищи не любят Фрица, подозревают в нем ябеду и ловкого ханжу. Он всегда трется подле учителей, поддакивает им, заискивает. Виттенбах застает Шлейга вытирающим кафедру, латинист Лёрс — склоненным над Платоном с его, Лёрса, комментариями, пастор Гроссман натыкается на руку, угодливо протягивающую ему чистенькое Евангелие. «Юнец востер»,— говорят умиленные педагоги.

«Умом я в деда, он мог бы стать Ротшильдом, если бы не умер преждевременно, простудившись в ставке Даву, которому хотел дать денег под залог», — пишет о себе Фриц в черной клеенчатой тетради, скромно озаглавленной: «Дневник ученика Ф. Ш. за 1835 год».

«Сила человека проверяется на том, умеет ли он преуспевать на неприятном поприще. Смею надеяться, что я развил в себе это умение настолько, что мне удается побороть лень, своеволие и притворство образцовым исполнением обязанностей. В течение пяти лет, отправляясь на улицу Иезуитов, я каждое утро надеялся найти школу сгоревшей. Пусть не подумают, что это было порождено злостью, нет, я пресытился монотонными науками. Тем не менее все эти годы я получал награды, вызывая зависть одноклассников. Например, последний раз получил «Тридцатилетнюю войну» Шиллера и «Семилетнюю» Архенгольца в отличных тисненых переплетах. Я перепродал их с выгодой. Надеюсь удостоиться похвалы на выпускном торжественном акте. Учителя, старые попугаи, меня любят. Приятно подумать, что я буду встречать их отныне только на улицах, особенно Лёрса. Латынь мы зубрили не менее двенадцати часов в неделю, не легче было с математикой. На уроках геометрии наш Евклид передавал нам затверженную им самим наизусть теорему, и мы обязаны были понять ее либо готовиться к порке. Почтенный педагог считал личным оскорблением наши расспросы. Простофиля Гроссман — поп — читает без всякого одушевления лекции о возвышенных, но непонятных предметах, например, о бессмертии нашего духа. Мы обязаны аккуратно готовить трактаты о том, что из пустозвонных пасторских уст запало в наши закупоренные премудростью уши.

В неопытном детстве я хотел быть священником и часто взбирался на стул — проповедовать и благословлять. Последнее особенно нравилось мне. Помню, когда готовился к конфирмации, я еще был полон неомраченной веры. Поучения Гроссмана и гимназия, где мы выслушивали проповеди во время обязательных молебствий, прочистили мне мозги. Поеду в Кёльн и отдамся делам мирским. Кто осудит ревностное честолюбие молодого человека, желающего свернуть с обычной колеи? Воинственный дух времени чужд мне. Я не сварлив, не придирчив, даже не завистлив. Все это — помехи для преуспевания.

Знание меры и самовоздержание присущи моему характеру. Прощайте, унылый храм знаний — гимназия — и жрецы его: Гомер, Фукидид, блаженный Иоанн, Софокл, Кёрнер, Мабли и Монтескьё».

## 3

Виттенбах нес домой письменные работы учеников последнего класса — oberprima. Директор гимназии шел степенно, размерно дыша в такт шагу. Правильному дыханию старик придавал решающее для здоровья значение. В молодости он был отличным гимнастом и тренированным ходоком.

Директор гимназии победно смотрел на свой город. Старик владел всем его прошлым, он знал Трир с колыбели, он чувствовал себя сверстником Porta Nigra.

История казалась старику послушной регистраторшей; ее реестры и ключи принадлежат ему.

Домик Виттенбаха был расположен на тихой улице, ведущей к Мозелю. Липы и акации служили изгородью. Желтое, тщательно вычищенное прямое здание с покатой черепичной крышей напоминало школьную кафедру. Совершенный порядок был снаружи и внутри жилья. Каждую вещь тут навеки пригвоздили к месту хозяйские бессменные привычки. Дни, как и годы, обегали директорский домик часовыми стрелками всегда по одному и тому же кругу-циферблату.

Вымывшись и переодевшись, старик с ножом и лейкой выходил в свой садик. Соседи встречали его появление громкими пожеланиями доброго вечера. Виттенбах отвечал и принимался за дело: срезал отжившие цветы с высоких, прямых розовых кустов, поливал завитые левкои и взъерошенный, отяжелевший, радугой пробивающийся в зелени душистый горошек.

Пожилой надменный пес сопровождал хозяина, одобрительно виляя хвостом, озираясь вокруг. Иногда, шурша, открывалась калитка, и в палисадник приходили знакомые либо сослуживцы. Зазывали в «Казино», на прогулку и рыбную ловлю, которую Виттенбах очень любил. Летом не влекли ни карты, ни шахматы.

К шести часам утра директор гимназии бывал на ногах. В дни экзаменов он перед кофе любил проверять работы учеников, придвинув стул к подоконнику. Одна-две телеги, направляющиеся к Главному рынку, не мешали проверке тщательно сложенных стопкой тетрадей.

По резкому, лишенному каких-либо обязательных завитушек почерку Виттенбах тотчас же узнал сочинение Маркса.

Неистовый шабаш маленьких черных букв, как всегда, удивил, раздосадовал учителя. Выдохнув нечто вроде «пуф!», Виттенбах принялся читать.

«Размышления юноши при выборе профессии» Карла Маркса не слишком заинтересовали старика, хотя заметно разнились от откровенно плоских, но напыщенно поучающих, то лицемерных, то хвастливых, то робких, то грубо рассудительных размышлений остальных тридцати выпускников. Одни мечтали стать преуспевающими купцами, другие неумело излагали вычитанные из книг мысли о преимуществе ученой или о почетности военной карьеры. Большинство отдавало предпочтение профессии священника.

Маркс писал:

«Животному сама природа определила круг действий, в котором оно должно двигаться, и оно спокойно его завершает, не проявив стремления выйти за его пределы, не подозревая даже о существовании какого-либо другого круга. Также и человеку божество указало общую цель — облагородить человечество и самого себя, но оно предоставило ему самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели; оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему наиболее соответствует и которое даст ему наилучшую возможность возвысить себя и общество...

Но не одно только тщеславие может вызвать внезапное воодушевление той или иной профессией. Мы, быть может, разукрасили эту профессию в своей фантазии,— разукрасили ее так, что она превратилась в самое высшее благо, какое только в состоянии дать жизнь. Мы не подвергли эту профессию мысленному расчленению, не взвесили всей ее тяжести, той великой ответственности, которую она возлагает на нас; мы рассматривали ее только издалека, а даль обманчива.

В этом случае наш собственный разум не может служить нам советчиком, ибо он не опирается ни на опыт, ни на глубокое наблюдение, будучи обманут чувствами, ослеплен фантазией. Но куда же нам обратить свои взоры, кто поддержит нас там, где наш разум покидает нас?

Родители, которые уже прошли большой жизненный путь, которые испытали уже суровость судьбы,— подсказывает нам наше сердце.

И если наше воодушевление сохраняет еще свою силу, если мы продолжаем еще любить избранную профессию, чувствовать призвание к ней и после того, как хладнокровно обсудили ее, увидели все ее бремя, все ее трудности,— тогда мы должны избрать ее, тогда не обманет нас воодушевление, не увлечет поспешность.

Но мы не всегда можем избрать ту профессию, к которой чувствуем призвание; наши отношения в обществе до известной степени уже начинают устанавливаться еще до того, как мы в состоянии оказать на них определяющее воздействие».

Виттенбах, поймав губой желтый ус, принялся усиленно жевать его. Он дважды перечел слова:

«Уже наша физическая природа часто противостоит нам угрожающим образом, а ее правами никто не смеет пренебрегать»...

Виттенбах пришлепнул рыхлыми губами.

— Туманно, расплывчато, — неодобрительно высказался он и отчеркнул последнюю фразу. Читая, он неоднократно подчеркивал целые строки в знак порицания.

Заключительная часть «Размышлений» пришлась ему более по вкусу и менее пострадала от придирчивого учительского карандаша.

«Но главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование. Не следует думать, что оба эти интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой; человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага.

Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком.

История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей; сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества,— а кто осмелится отрицать подобные поучения?

Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что оно — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам, наши дела будут жить тогда тихой, но вечно действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей.

*Маркс*».

Виттенбах, дочитав, протер очки. Напряженно думал, стараясь вспомнить, где и когда он читал похожие мысли. Может быть, в те дни, когда пришла в Трир французская революция? Не вспомнил, но подозрительность не рассеялась.

— Природа человека,— повторил Виттенбах,— устроена так, что он может достичь усовершенствования, только работая для блага своих современников. Это смело, но вот великий Иеремия Бентам учит обратному: только работая для самих себя, мы можем принести наибольшую пользу обществу.

Старик посмотрел в круглое оконце на тихие дома зажиточных соседей, на свой нарядный садик.

«Что, если б мир населен был усовершенствовавшими свои дома и свои сады Виттенбахами? Это и было бы общим благом»,— казалось директору гимназии. Впрочем, не в его обычае было долго размышлять над письменными работами учеников. Он бегло перелистал тетрадь Маркса.

«Странный, особенный юноша. Впрочем, сколько особенных и выдающихся юношей кончили рядовыми чиновниками!» — И Виттенбах представил себе Карла, но, встретившись глазами с каракулями, почувствовал раздражение.

«Нужно бы поговорить с ним, присмотреться к нему». Вспомнил: «Да ведь птенец на отлете»,— и, махнув ру-

кой, вывел пониже подписи Маркса гармоничнейшими узорчатыми буквами свое заключение:

«Довольно хорошо. Работа отличается богатством мыслей и хорошим систематическим изложением. Но вообще автор и здесь впадает в свойственную ему ошибку, в постоянные поиски изысканных образных выражений. Поэтому в изложении во многих подчеркнутых местах недостает необходимой ясности и определенности, часто точности, как в отдельных выражениях, так и в целых периодах.

*Виттенбах*».

Стук в дверь напомнил о необходимости приниматься за завтрак, сменить шлафрок на форменный мундир.

### 4

Карл не замечает смены дня и ночи. Он рвется в будущее, нетерпеливо ждет разлуки с товарищами, даже с родными.

Его отдых — мечты о приближающейся осени в Бонне.

Никогда до той поры таинственное «завтра» так не волновало юношу. Оставалось только покончить со школой.

Родителей тревожат его возбуждение и усталость, но Карл продолжает заниматься по ночам, чтобы без заминки получить необходимый пропуск в университет — аттестат зрелости. Одинаково настойчиво, но внутренне безразлично, в порядке исполнения долга, сдает он устные и письменные экзамены. Отметки получает средние — тройки. Эдгар Вестфален, Фриц Шлейг, Эммерих Грах хвалятся высшими школьными баллами. Марксу все равно.

Ему одинаково наскучили решения уравнений первой степени с двумя неизвестными, нахождение угла треугольника, закон Вольта, пятый крестовый поход, переводы из «Илиады» и Ливия.

Генрих Маркс разделяет ощущения сына. Успехи Карла кажутся ему вполне удовлетворительными.

— Не гимназия, а дом родительский, мы, как могли, обогащали ум мальчика. Мы-то знаем, какая у него золотая голова,— говорит Генрих Маркс жене, прежде чем

прочесть ей отзывы учителей на письменных работах Карла.

Глаза юстиции советника беспомощно отступили перед непроницаемой, ровнехонькой изгородью из острых готических букв, выведенных под латинским сочинением сына придирчивым, желчным латинистом Лёрсом.

Увеличительное стекло помогло Генриху преодолеть препятствие.

Оговорив несколько ошибок, Лёрс признавал, что в рассуждении ученика обнаруживается значительное знание истории и латинского языка.

Двадцать четвертого сентября кончается гимназическая страда. Проносятся экзаменационные дни, торжественный акт в белом гимназическом зале, высокопоучительные прощальные речи педагогов, слезы и объятия родных.

Женни фон Вестфален находится в толпе расфранченных дам, мужчин и девиц; она в белом фуляровом платье с низким корсажем. На коротких рукавах и пышной юбке пригвожденными бабочками дрожат розовые банты. Костяной острый кончик зонтика касается чуть видного черного матерчатого башмака. Карл ищет ее глаза под большими коричневыми, соединяющимися на переносице бровями. Но Женни, чуть повернув головку, улыбается не ему, а Эдгару.

Торжество окончено. Виттенбах покидает застланный сукном стол. Начинается сутолока, поздравления, объятия. Растроганная Женни проталкивается к Карлу. За нею — Людвиг Вестфален. Он рад за Карла, называет сыном и громко, многословно хвалит его польщенному юстиции советнику. Генриетта отходит в сторону с Каролиной Вестфален. На мгновение Карл и Женни остаются одни.

— Поздравляю,— говорит она и протягивает руку.

Карл неуклюже прикасается к ее пальцам.

— Послезавтра у нас вечер по случаю окончания гимназии Эдгаром... и вами,— добавляет она, чтоб доставить юноше удовольствие.

Обоим вспоминается, что совсем недавно Женни обращалась к Карлу на «ты». Но теперь он больше не ребенок. Через месяц — университет.

В руках Карла желанный аттестат зрелости. Он перечитывает документ дважды, трижды, четырежды, в последний раз — в постели. Эту бумагу просматривают так-

же болезненный Герман, педантичная Софи, ворчливый дядя Яков.

Генриетта, прежде чем взять в руки плотный торжественный лист бумаги, долго вытирает кончики пальцев.

Юстиции советник старается улыбкой замаскировать волнение, когда в последний раз, прежде чем спрятать в ящик стола, смотрит на «Аттестат зрелости воспитанника Трирской гимназии Карла Маркса».

«...родом из Трира, 17 лет от роду, евангелического исповедания, сына адвоката-стряпчего, господина юстиции советника Маркса из Трира, пробывшего 5 лет в Трирской гимназии и 2 года в первом классе.

I. *Нравственное поведение* по отношению к начальству и товарищам было хорошее.

II. *Способности и прилежание.* Он обладает хорошими способностями; проявил в древних языках, в немецком и в истории весьма удовлетворительное, в математике удовлетворительное и во французском только слабое прилежание.

III. *Знания и успехи.*

1. *Языки:*

a) *В немецком* его грамматические познания, как и его сочинение, очень хороши.

b) *По-латыни* он переводит и объясняет легкие места читаемых в гимназии классиков без подготовки, бегло и уверенно; а при надлежащей подготовке или при некоторой помощи часто и более трудные места, в особенности такие, где трудность заключается не столько в особенностях языка, сколько в сущности и в общей связи идей. Его сочинение обнаруживает, объективно говоря, богатство мыслей и глубокое понимание предмета, но часто оно излишне перегружено; в лингвистическом отношении оно свидетельствует о продолжительных упражнениях и стремлении к настоящему латинизму, хотя в нем попадаются еще грамматические ошибки. В устной речи он приобрел удовлетворительную беглость.

c) *В греческом* его познания и его умение понимать читаемых в гимназии классиков почти такие же, как в латинском.

d) *Во французском* его грамматические познания довольно хороши; он читает с некоторой помощью и трудные вещи и обладает некоторой беглостью в устном изложении.

2. *Науки:*

а) *Религиозные познания.* Его знания христианского вероучения и этики довольно ясны и обоснованны, и он в известной степени знает историю христианской церкви.

b) *Математика.* По математике у него хорошие познания.

c) *В истории и географии* он, в общем, имеет довольно удовлетворительные познания.

d) *Физика.* В физике знания у него средние.

Нижеподписавшаяся экзаменационная комиссия на основании этого, ввиду того, что он оставляет теперь гимназию, чтобы изучать юриспруденцию, постановила выдать ему аттестат зрелости и выпускает его, питая надежды, что он оправдает возлагаемые на него, благодаря его способностям, надежды.

Королевская экзаменационная комиссия:

*Виттенбах, Лёрс, Хамахер,*
*Швендлер, Шнееман, Брюггеман,*
*королевский комиссар.*

*Трир, 24 сентября 1835 г.»*

5

В часы заката мозельское солнце падает в коричневую усатую пасть лесистых холмов.

Жители Трира летом и осенью, когда деревья их садов сутулятся под тяжестью созревших яблок, груш и персиков, сравнивают солнце с фруктами.

— Солнце садится краснее граната. Это предвещает неустойчивую погоду, мешающую уборке винограда, — заметил фон Вестфален Карлу.

Они спускались с выступа горы по тропинке квадратного виноградника, принадлежащего советнику прусского правительства. Сухая земля лущилась, как спаленная кожа, под их ногами.

Людвиг хозяйским оком оглядывал свои земли. Только один из нескольких его виноградников был уже убран. Более поздние сорта винограда еще наливались соком.

Порасспросив о виноградниках семьи Марксов, убор-

кой которых ведала Генриетта, Вестфален вернулся к разговору, начатому ранее по пути за город.

— Я очень советую тебе продумать идеи Сен-Симона. Не потому, впрочем, что сам их исповедую. Они весьма влияют на умы прогрессивных французов,— нам, немцам, это тем более интересно. Священник Ламенне, о котором я уже имел случай говорить тебе,— человек незаурядный и гуманный. С последней почтой прибыли кое-какие книги, которые тебе полезно посмотреть. Вчера в «Казино» я говорил о них с господином Марксом... Надеюсь, твой французский язык улучшился за это время, и ты не нуждаешься более в помощи словаря. Мои дамы,— продолжал далее Вестфален, имея в виду жену и дочь, — зачитываются госпожой Жорж Санд, но мне ее «Лелия» показалась скучным и немужским чтением. Современные писатели должны были бы поучиться не только слову, но и умению мыслить у античных классиков. Признаюсь тебе, всех их я, не размышляя, променял бы на строчку Гомера или Шекспира.

— То же говорит мой отец, отдавая, однако, предпочтение Руссо,— засмеялся Карл.

Вестфален снял шляпу. Волосы его растрепались. Он смотрел на осенние холмы, на сборщиков винограда, спускающихся с корзинами на головах, на падающее в листву солнце.

Карл любовался четким профилем спутника: «Гомер и Шекспир соответствуют его благородному уму. Он хотел бы, подобно им, населить землю богами, гигантами, существами, рожденными стихией».

— Прекрасный урожай, но какой в этом прок? Плохое время выпало для виноградарей,— сказал Вестфален хмуро. — Одни убытки. Крестьяне приходят ко мне с жалобами. Чем могу я помочь?

Старик и юноша сошли на дорогу, где ждал шарабан, запряженный веселой белой лошадкой, и советник прусского правительства подвез своего молодого друга на Брюккенгассе, напомнив ему о предстоящей вечеринке.

— Не опаздывай, Женни рассчитывает на твою помощь в играх, — крикнул Вестфален, отъезжая.

Карл менее всего был склонен опаздывать.

Прошло два дня со времени торжественного гимназического акта, в течение которых он не видел Женни. Ро-

зовые банты и ручка в черной нитяной перчатке не раз вспоминались ему. Он понял, что навсегда исчезла между ним и барышней Вестфален былая непринужденность. Женни перестала быть в его глазах только старшим товарищем раннего детства, перестала казаться матерински снисходительной, как в недавнем отрочестве.

Потеряв терпение, Карл ворвался в комнату сестер. Бесконечно долго наряжалась Софи. С порога комнаты он произнес презрительную сентенцию по поводу праздности и пристрастия молодых девушек к тряпкам. Луиза не дала ему досказать, бесцеремонно вытолкнув за дверь. На лестнице встретилась мать в широком расстегнутом капоте поверх крахмальной нижней юбки; голова — в папильотках. Мать заметила его нечищенные башмаки и негодующе всплеснула короткопалыми руками.

Наконец Софи и госпожа Маркс готовы. Юстиции советник в парадном кирпично-красном сюртуке и в цилиндре вышел из кабинета.

Карл с сестрой шли позади родителей.

— Как тебе нравится мой пояс из шотландских лент? Тетя Бабетта пишет, что это — последнее слово моды,— приставала к брату Софи.

Вестфаленский дом щедро освещен. Марксы не первые гости. В широких залах — толчея, шум. Сослуживцы советника прусского правительства, офицеры, местные адвокаты, представители гимназии Фридриха-Вильгельма, доктора медицины привели своих жен и дочерей. Софи тотчас же отыскала в толпе Женни и побежала к ней. Карл остался один. Он слегка робел в новом, слишком просторном и непривычного покроя костюме.

На Женни — палевое органдиновое платье с пелеринкой, ничем не украшенное. Карл с трудом узнал Женни: обычно пышные, немного растрепанные волосы на этот раз тщательно приглажены, разделены пробором и зачесаны наверх. Карлу пришли на ум греческие богини, царицы древнегерманских сказаний. Он вспомнил историю ее рода: надменную, верную шотландку Женни Питтароо с волосами цвета янтаря, дерзкое мужество мятежных Аргайлей. Черненькую хорошенькую Софи затмила величественная подруга. Карл преодолел досадное смущение, испытываемое перед женщинами, и пересек комнату. Но Женни занята беседою с приезжим берлинским студентом. Она едва отвечает Карлу кивком и небрежной

улыбкой больших близоруких глаз. Отвесив поклон, молодой человек разочарованно отходит в сторону, с удовольствием отмечая свое внезапное безразличие к красавице. Спасаясь от гудящей, как маленький острый комар, Софи, он выбирается из круга женщин. Его берет под руку Эдгар, похожий на пингвина в черном хвостатом фраке поверх белого жилета и узких брюк.

Подобно Марксу, он чувствует себя неловко в новом одеянии и старается скрыть это под развязностью манер. Оба они, разговаривая, поглядывают в зеркала, не сразу узнавая в них себя.

В кабинете хозяина — оживленный разговор.

Директор гимназии Виттенбах, книгопродавец Монтиньи, обер-гофмейстер Хау и адвокат Бриксдус, не дожидаясь танцев, засели за карточный стол и занялись вистом. Впрочем, карты не мешают им говорить. Вестфален и Генрих Маркс прохаживаются, куря и вставляя замечания в общую беседу.

— Сейчас лучше печь пироги, чем издавать книги,— злится Монтиньи, выступая с козырей.

Щуря блестящие глаза, по привычке оглядываясь на учителей, Карл зажигает пахитоску и, надув губы, выпускает дым.

Никто отныне не делает ему замечаний.

Из зала доносится тонкий, трогательный голосок одной из двенадцати барышень Шлейг, поющей грустную песню о любви. Разочарованные, печально-насмешливые слова Гейне поднимает, уносит шумановский аккорд.

Карл становится у открытой двери. Слушатели чинно сидят и стоят вдоль стен.

После барышни Шлейг студент из Берлина декламирует свои стихи, каждая строфа которых заканчивается обязывающим:

Клянусь тебе, моя Германия!

Ему долго аплодируют. Уступив настойчивым приставаниям подруг, Женни со сводным братом Вернером в четыре руки играют Баха.

На этом концертная часть вечера закончена. Гости разбрелись по комнатам. В ожидании ужина и танцев молодежь теснится на террасе вокруг берлинского студента, умелого рассказчика-весельчака. Изогнувшись и отставив назад тонкую ногу, он говорит о своем путешествии по

железной дороге от Нюрнберга до Фюрта. Его слушают, разинув рты, недоумевая, завидуя.

— Очаровательное ощущение, господа; представьте себя в поднебесье на спине орла. Ветер, отчаянно гудя, холодит лицо. Вы мчитесь навстречу солнцу с невероятной быстротой. Грохот, производимый паровозом, подобен рокоту вод в бездне. Божественно, но страшно. Дух захватывает, стучит в висках, а дым вокруг — как в подземной кузнице Вулкана. Дамы трусят, визжат на поворотах, от гула машины не слышно человеческого голоса. Ничего более поразительного я не видывал на свете!

Затем беседа перескакивает на новое «Немецкое обозрение», которым зачитывается столица. Женни Вестфален достает с этажерки книгу Гуцкова «Валли».

— Я за эмансипацию женщины, но против нечистоплотности и порочности чувств,— прибавляет она решительно.

Софи Маркс, краснея, отворачивается, встряхивает локонами.

— Героиня романа Валли неприлична.

— «Тебе, молодая Германия, а не старой Германии я посвящаю свои речи»,— декламирует столичный студент. — Тот истинный младогерманец, кто не признает старонемецкой знати, кто проклял старонемецкую мертвую ученость, пожелав ей скрыться под сводами египетских пирамид, кто объявил войну старонемецкому филистерству и неумолимо преследует его во всех проявлениях, вплоть до знаменитого ночного колпака.

— Я предлагаю игру в жмурки,— прерывает одна из двенадцати барышень Шлейг, одуревшая от непонятных речей.

Ночь прохладная, но это — не помеха.

Прикрывая на бегу оголенные плечи шарфами, косынками, пелеринами, девушки спускаются в сад, чуть освещенный унылым фонарем.

Игра возбуждает. Все продолжительнее, ненатуральнее смех, все бессвязнее болтовня. Приходит очередь Карла выйти из круга. Тюлевым, надушенным розовой эссенцией платком завязывают ему глаза. Он нерасторопен и неумел; по-медвежьи растопырив ноги, шлепая по воздуху руками, неуклюже стоит на месте.

— Двигайся, ищи ее, лови!— кричат ему вокруг.

Сделав несколько кривых шагов, он вдруг, с неожиданной ловкостью, бежит, шаря в темноте руками.

Женни, придерживая край платья, кружится перед ним, дразня смехом, ударяя батистовым платком по напряженным, готовым схватить ее пальцам. Девушку не легко настичь. Она прорывает цепь рук и бежит по саду, Карл за ней. Сердясь от неудачи, он сдвигает повязку с глаз на голову. Шарф, как чалма, лежит на его черных, зачесанных вверх, буйных волосах.

— Сдаюсь, не догнал! — кричит юноша.

Они останавливаются у фонаря.

— Вы действительно уже взрослый, — отвечает своим мыслям Женни, пытливо глядя на колючие усики, на смуглое, худое лицо с необыкновенными, насмешливо-грустными глазами.

Они возвращаются к дому, позабыв об игре, обсуждая предстоящий отъезд в Бонн.

Карл обозревает будущее, университет, книги, как полководец — земли, которые хочет покорить.

— Я никогда не бываю удовлетворен. Чем больше читаешь, тем острее недовольство, тем ощутимее собственное незнание. Наука — бездонна, неисчерпаема. Не власть, не внешний блеск придают смысл жизни, а стремление к совершенству, дающее не только эгоистическое удовлетворение, но обеспечивающее и благо человечества.

Юноша облекает в слова сокровеннейшие свои мысли.

— С вашими способностями вы, конечно, достигнете, добьетесь всего, чего захотите, — говорит Женни.

Дойдя до террасы, они садятся на холодные ступеньки, продолжая говорить. Сад пуст. В доме танцуют, спорят, шумят.

— Я думаю, человек должен выбрать деятельность, основанную на идеях, в истинности которых он абсолютно убежден. Деятельность, которая дает больше всего возможностей работать для человечества, которая приближает к общей цели. Для достижения совершенства всякая деятельность — всего только средство.

Сила, которую Женни угадывает в своем собеседнике, вызывает в ней огромную, почти материнскую нежность.

— Я, — говорит девушка, внезапно положив руку на его плечо, — ваш верный, преданный друг, на которого всегда и во всем вы можете положиться. Я хочу видеть вас большим, необыкновенным человеком.

Карл счастлив.

По дороге домой, на углу Брюккенгассе, юстиции советник спросил сына, в чем секрет его неожиданного веселья.

— Ты даже пел сейчас,— добавил старик хитро.

Карл передал ему разговор на ступеньках террасы,— то, что он нашел себе неожиданно первого настоящего друга.

— Тебе досталось, милый Карл,— сказал отец очень серьезно и раздумчиво,— счастье, которое приходится на долю немногим юношам твоих лет. Ты нашел достойного друга, старше и опытнее тебя. Умей ценить это счастье. Дружба в истинном, классическом смысле является прекраснейшей драгоценностью в жизни. Если ты сохранишь своего друга и останешься достойным его, это будет лучшим испытанием твоего характера, духа, сердца, даже нравственности.

В середине октября Карл уезжал в Бонн.

Проводы были короткими. Женни пришла к Софи в разгар сборов.

Из кухни в эти дни по всему дому разносился приторный запах печеного теста, корицы и лимона. Генриетта, снаряжая сына, самолично пекла коржики. Меньшие дети, спотыкаясь о чемоданы, бегали следом за уезжающим братом.

Карл не успел сказать Женни ни одного из собранных одинокой ночью сотен слов о своей готовности защищать ее и помогать ей, о гордом сознании того, что она считает его достойным своего доверия, о святости дружбы.

Женни за истекшие недели тоже не говорила с ним больше так искренне и просто, как после игры в жмурки. Ей было стыдно своего порыва по отношению к семнадцатилетнему «ребенку», как она мысленно называла Маркса. Она попыталась охранить себя от иного чувства, кроме нежной преданности старшей сестры, старшего друга...

На прощанье, не ограничившись поклоном, она подала Карлу руку, как на выпускном акте в гимназии.

— Будьте счастливы, мой друг,— сказала она спокойно и ласково, уступая место Софи и Генриетте, наперебой забрасывавшими уезжающего бесчисленными хозяйственными советами.

Генрих Маркс долго безмолвно обнимал сына.

Наконец дилижанс тронулся.

Промелькнула вывеска книготорговли Монтиньи-якобинца, где столько часов провел Карл, тщетно выравнивая почерк под неумолчный монолог учителя.

«Какой больной вид у отца»,— подумалось вдруг Карлу. Нахлынула грусть: он почувствовал, что кончилось детство.

## *Глава пятая*

## УНИВЕРСИТЕТЫ

### 1

Бонн — город-университет. Он приютился на берегу Рейна среди покатых холмов, спускающихся к реке. Тесные улицы, узкие дома с маленькими окнами и остроконечными черепичными крышами, палисадники и садики за игольчатыми заборами примыкают к позеленевшему простому зданию университета. На базарной площади бродят скучающие голуби. Тучнеют на козлах экипажей извозчики. Хрипло отсчитывают время магистратские часы.

Студенты правят Бонном. Их прихоть определяет качество вина в погребах, книги на прилавках букиниста, блюда в ресторациях, городскую молву. Студенты Бонна не отстают от геттингенских и гейдельбергских сверстников в лихих дебошах и буйных выпивках.

Дерзкие песни молодежи нередко принуждают разбуженных ночью обывателей натягивать на уши перины.

Довольно грезить, жизнь не ждет,—
Должны ли мы покорно ждать?
Пришла пора царям сказать,
Что жаждет вольности народ.
    Вперед же, юноши, вперед!

Пусть славный цех профессоров
Бумажной мудростью живет.
Нам в путь пора, корабль готов,
Рубите цепи — воля ждет.
    Вперед же, юноши, вперед!

Песня буравит стены, рвется из старых готических домов на улицу, пронизывает осенний, острый воздух.

Студенты молоды, хмельны от впервые испробованной самостоятельности; уверены в будущем.

— Правительство не изгонит духа времени, не превратит университеты в монастыри.

— Клянусь чертом, тот — добрый сеятель, кто не гонится за ранней жатвой.

— Отступник!

— Кандалы правительства — наша победа. Выпьем за храброго Бирмана — поражение не умаляет его подвигов. Бонн чтит своих героев.

— Германия, восстань, пожри деспотов и несмелых!

— Остановитесь, все существующее разумно!

— Пей, друг. Старый Гегель был не дурак.

— Я пьян любовью. Я созерцаю блаженство.

— Созерцания без понятий слепы. Следуй Канту.

— Понятия без созерцания пусты...

— Ах, Амалия, Фредерика...

— Не рассуждай, а действуй!

— Тень Наполеона требует отмщения.

— Выньте нож свободы! Вонзите кинжалы в грудь тиранам!

— К черту политику! Вино, женщины, стихи!

К оружию! Небеса пылают от лучей.
Зажегся день, кровавый день свободы.
Омойте путь ее, народы,
Преступной кровью палачей!
Вам лгут, что лишь цари ниспосланы богами.
Долой царей! Изгоним ложь и в битве с палачами
Мы будем тверды, как гранит!

2

Фриц Шлейг, освободившись от гимназии, был волею отца снова прикован к учебной скамье. Кёльн и железнодорожно-строительное общество, куда рассчитывал поступить молодой предприимчивый трирец, отодвинулись для него на несколько лет.

Подобно Карлу, Фриц поступил на юридический факультет в Бонне. Он приехал ноябрьским утром и тотчас же снял комнату у вдовы пастора, молчаливой старухи с лицом кающейся ведьмы. Так казалось Фрицу. Свирепым недостатком пасторши было пристрастие к чистоте. С рассвета до полуночи она шныряла по дому с развевающейся пыльной тряпкой и длинной метлой. Нередко

Фриц находил ее выползающей из пасти камина, точно старуха спускалась в комнату по трубе. Круглые глаза ее с птичьей настороженностью высматривали добычу под кроватями, в темных углах, на столах и мебельных чехлах. Она сладострастно вздыхала, набрасываясь на горсть табачного пепла, на пятна от пива на полах и скатертях.

Фриц, впрочем, причинял ей мало беспокойства. Он был скуп и потому не зазывал товарищей, чтоб не тратиться на угощение. Он предпочитал кабачок, где пили в складчину, а то и за чей-нибудь счет. Фриц сознательно чуждался людей. Главным девизом его стало: сначала карьера, потом удовольствия. Как и в гимназии, молодой Шлейг был отмечен благосклонностью профессоров и презрением товарищей. Дневник служил ему главной утехой.

«Я понял, что в медленном движении национальной жизни всякая частная личность, предавшись нетерпеливым порывам, без пользы пропадает. Моим сверстникам хочется достичь цели, до которой, однако, не может дотянуться их воля. Обреченные чудаки.

Лучше подвигаться тише, более благонадежными, хотя бы окольными путями, чем истощиться от излишней торопливости. Пусть не думают, что я — плохой сын отчизны. Заодно с Шиллером и меня увлекает честолюбивая идея быть пионером дел великих и тем возвеличить Германию. Но вследствие медленного хода народной истории следует делать руками то, что дважды и трижды продумано умом.

В этом убеждении я хочу прожить всю жизнь и сохранить душевное спокойствие во времена грядущих переворотов и сумятицы. Пусть гибнут другие,— я хладнокровно отойду в сторонку от политических страстей на путь дела и там запасусь свежей силой.

В пучину политики вверг мое поколение романтический культ и неопределенные слова вроде «призвание», «правда жизни», «добро и зло».

3

По приезде в Бонн Карл поспешил осуществить давнишнее желание — увидеть и послушать одного из вожаков романтической школы. Август Вильгельм Шлегель читал о Гомере. Карл пришел на лекцию незадолго до

начала. Его уязвила пустота необжитого, холодного зала. Разве Шлегель пережил свою славу?

Усевшись близ кафедры, отдавшись тишине, Маркс думал о человеке, которого ждал.

Иена. Крошечный тюрингский городок, как и Бонн,— храм науки с непостижимыми, чванными жрецами в профессорском одеянии. Кто только не появляется на кафедрах Иенского университета на границе двух столетий! Фихте, Шиллер, Тик, Шеллинг, братья Шлегели. Рядом с Иеной — Веймар. В шарабане, запряженном рыжей лошадью, часто приезжает к друзьям советник фон Гете. Болезненный Новалис предпочитает коляске седло. Его, как вельможного поэта, все знают в Иене. Он проносится галопом на вороном коне. Каштановые его локоны развеваются по ветру. Профессорские дочки тайком вздыхают о прелестном аристократе, скорбном женихе, оплакивающем в страстных объятиях живой Жюли фон Шарпантье рано умершую свою невесту Софи фон Грюн.

Тысяча восьмисотый год. Краткая историческая передышка. Наполеон интригой и мечом пробивается к имперской короне. Кровоточит растерзанная Италия, трепещет Испания, прищурившись, выжидает Англия, тревожно дремлют жалкие немецкие княжества.

В укрытом, глубоком дупле — Иене — щебечут романтики. Они все в сборе. Нет только за год до того умершего Вакенродера да Шлейермахера, служащего в Берлине. Дом Шлегелей — штаб-квартира.

Две непохожие и по-разному замечательные женщины управляют литературными делами.

Некрасивая, сутулая Доротея Фейдт, жена младшего Шлегеля, вооружена острым и смелым умом, которым щедро одарила ее природа.

Безукоризненно хороша и умна Каролина Бёмер — жена Вильгельма. Она — как отзвук иного мира, где действуют, борются и гибнут за идеи, где не скрываются от бурь эпохи под пыльными, изношенными тогами античности.

Каролина Бёмер — чужая в мертвой Иене. Каролину загнало сюда поражение якобинцев. Их идеи привели ее на майнцские баррикады, к борьбе с наступающей немецкой реакцией. Она бросила вызов филистерскому миру, зачав ребенка вне брака, провозгласив себя республикан-

кой, отстаивая французское знамя свободы на крепости немецких королей.

Вильгельм Шлегель, переводивший Петрарку, слагавший сонеты под грохот революционных пушек, привез Каролину в Иену из майнцской тюрьмы, куда она была заточена как революционерка. Недавняя амазонка внесла сумятицу в немецкое захолустье. Отучневший умом и телом Фридрих Шлегель, вначале отступивший перед неукротимой волей жены брата, очень скоро стал ее врагом. Каролина осуждала дезертирство романтиков и «раж объективности». Вильгельм попытался отделаться взяткой эпохе и бесстрастию Петрарки противопоставил действенный гений Данте.

Под влиянием жены Вильгельм принялся снова переводить Шекспира. Каролина подсказывала мужу меткое слово, подводила к верной мысли, отбирала в хаотической массе образов, как в груде камней и стекляшек, неподдельное и настоящее.

В начале века Каролина покинула с Шеллингом Иену, надменно отряхнув с подола юбки комья злословия и сплетни...

Следом за слугой, несущим графин с водой, в лекционный зал вошел Вильгельм Шлегель. Немногочисленные слушатели откидывают парты. Карл жадно разглядывает его. Так вот каков знаменитый переводчик Шекспира! Вместо степенного старца на кафедре — щеголь неопределенного возраста. Под яркой кудлатой шевелюрой — густо напудренное бритое лицо с большим носом. На всем облике старика — отпечаток французских влияний и моды.

Последний романтик похож на вельможу минувшего века. Может быть, этот внешний лоск наведен госпожой де Сталь, у которой служил Вильгельм? Может быть, он подражает искусному авантюристу Бернадотту, секретарем которого был в годы странствий?

Надломленным, жидким голоском Шлегель обращается к студентам с приветствием. Карл напряженно вслушивается. Шлегель говорит по-латыни.

В полупустом зале стелется гладкая латинская речь. Старик читает «Одиссею», дав ей восторженную оценку и снабдив историческими пояснениями.

Маркс начал ходить на лекции Шлегеля и, восполь-

зовавшись рекомендацией, нашел случай посетить его однажды вместе с Грюном.

Разбитная горничная ввела молодых людей в профессорский кабинет. Карл растерянно отступил к двери, увидев перед собой лысого, дряблоголового старичка, согбенное тельце которого глубоко ушло в подушки кресла. Худые ноги в спущенных, оставляющих открытыми желтые полоски кожи носках грелись на решетке камина подле старой красноглазой кошки.

За столом, покрытым плюшевой скатертью, перелистывая старые альбомы, сидел профессор д'Альтон, лекции которого по истории искусства студенты посещали с большой охотой. Главной удачей жизни пожилой искусствовед считал дружбу, которой удостоил его Гете. Он не преминул подчеркнуть это, чем напомнил Карлу Виттенбаха. Позабыв о молодых гостях, Шлегель и д'Альтон — многолетние приятели — продолжали разговор, по привычке переходя с одного языка на другой, перемешивая немецкие, греческие и французские фразы.

— Не говорите мне, что «Люцинда» моего брата заслуживает внимания. Это — слабое произведение, бесплотное, хотя и посвященное плоти.

Д'Альтон не спорил, стараясь вспомнить, что говорил о «Люцинде» Гете.

Чувства Карла раздваивались. Он с досадой и состраданием наблюдал напыщенных бюргеров.

Отжившие люди, мертвые темы.

## 4

Студенческое землячество уроженцев Трира было ничуть не менее отважным, нежели другие, тайно существовавшие в Бонне корпорации. Трирцы слыли щеголями, мотами, неукротимыми спорщиками и драчунами. Между ними особым почетом пользовались несколько буянов с искалеченными рапирами физиономиями, причислявшие себя к прямым наследникам тевтономана и силача Яна.

Хотя университетский курс длился три-четыре года, последыши студенческой вольницы проводили в Бонне по семь-восемь лет.

На первом семестре Карл был зачислен ими в разряд «щенков», подобно всем начинающим студентам. Он не мог похвалиться ни одним шрамом, ни одним увечьем.

Несмотря на неустанную слежку педелей, которых при университете было великое множество, трирцы чтили дуэль. Маркс узнал, что меткий удар рапиры ценится не ниже словесного отпора в долгих литературных спорах, не меньше, чем удача в картежной игре и уменье, не морщась, сорить деньгами или лихо пить не пьянея. Ему ли бояться доносчиков, шпиков-педелей, всей этой горе-гвардии старого ханжи, судьи фон Саломона, прозванного «Саламандрой»! Отсидка в карцере — почет для студента, признание его удальства, орден за бесстрашие.

Чтобы подучиться и подготовить себя к неизбежным дуэлям, Карл начал посещать поединки. «Щенки» допускались на место схватки лишь в награду за выполнение разных услуг. Они относили рапиры, принадлежащие всему землячеству, к точильщику и с большими предосторожностями доставляли их обратно.

Дуэли были строжайше воспрещены, и педели охотились на нарушителей закона с неистовством загонщиков. Саламандра, юркий, веснушчатый человечек, посылал шпионов в кабачки и ресторации. Но студенты распознавали их, жестоко подтрунивали над ними, спаивали их и прогоняли.

В бильярдной пучеглазого Бернарда поединки совершались беспрепятственно. Карл легко завоевал доверие старших товарищей и был допущен наконец в качестве зрителя на дуэль. В большой комнате было людно, бильярдный стол, отодвинутый к стене, служил скамьей. Поединок не обманул ожиданий. Это было жуткое, но увлекательное зрелище — демонстрация силы, изворотливости и отваги.

Пары сменяли друг друга. Два «щенка» неумело дрались на рапирах. Энергично отступая, один из них под громкий смех умудрился, пятясь задом, сбежать по лестнице на улицу.

Карл спросил о причинах схватки.

— Честь! — сказали ему многозначительно. — Честь и общественное мнение.

Он узнал, что бывают дуэли в защиту интересов и чести всей корпорации. Тогда дуэлянты отбираются старшинами.

— Тебе мы дадим парня небольшого роста,— ободрили его.

К концу турнира подошла очередь двух местных знаменитостей, студентов-филологов, «обучавшихся» в университете в продолжение четырнадцати семестров. У Герберта Шлетцера, русоголового красавца, напоминавшего Карлу Зигфрида из «Песни о Нибелунгах», была позади полная приключений жизнь, в которых карты, пьянство, любовные фарсы и опасные дуэли составляли главное содержание.

Его противник, по прозвищу «Медведь», был с виду атлетом. Неисчерпаемая физическая сила чувствовалась в каждом мускуле большого тела.

Карл не раз удивлялся мощи этого человека. Гуляя по улицам Бонна, Медведь, шалости ради, поднимал встречных и легко нес их, раскинув коромыслом руки. Мчавшуюся навстречу коляску этот колосс останавливал мгновенно, схватившись рукой за спицу заднего колеса. Он был так же глуп, как и силен. Страшная сила при полной невозмутимости и неподвижности тупого лица сообщала ему особое достоинство, ставившее его вне сравнения с остальными смертными.

Поединок между Шлетцером и Медведем должен был состояться не на рапирах, а на кривых саблях, согласно «вызову». Молчание предшествовало появлению дуэлянтов. Было известно, что совсем недавно, будучи «на гастролях» в Гейдельберге, Медведь эспадроном едва не заколол насмерть чемпиона-фехтовальщика Бруно.

Дуэль между лучшими боннскими рубаками произошла из-за соблазнительной вдовы педеля.

— Пусть кто хочет думает, как ему угодно, но госпожа Штокциплер — приличнейшая и благороднейшая дама,— сказал Медведь, кипятя пунш в одном из студенческих подвальных кабачков.

Шлетцер, игравший в домино за соседним столом, небрежно потребовал разъяснения, считает ли Медведь его сестру менее приличной. Согласно студенческим представлениям о чести, Медведь, не имевший желания кого бы то ни было оскорблять, попытался отдать должное достоинствам сестры приятеля, но Шлетцер не унимался.

Бешеное дуэлянтское честолюбие, спрятанное под наружной, выработанной, согласно студенческому кодексу поведения, иронической миной, не раз вооружало Шлетцера саблей.

— Если госпожа Штокциплер — приличнейшая и благороднейшая, то, следовательно, моя сестра — не самая лучшая из числа здешних дам?

Спор, привлекший внимание окружающих, был поспешно оборван Медведем, объявившим войну в установленной для того форме.

Несмотря на ссору, враги вошли в бильярдную вместе и даже держась под руки. Карлу объяснили, что, следовательно, они прибегли к правилу, согласно которому дуэлянтам разрешается до поединка сохранять дружеские отношения.

Маркс весь превратился в зрение.

Обменявшись рукопожатием, дуэлянты заняли указанные позиции в двух противоположных концах комнаты.

Два картинных прыжка — и они скрестили оружие. Медведь напирал, тесня противника к стене. Но сила была ему помехой. Оступая и заманивая врага, легкий Шлетцер, гарцуя, носился по комнате.

Хмурый, гримасничающий, неловкий Медведь заметно ожесточался и зверел. Зрители, сбившись в кучу, ждали исхода, тяжело дыша, подражая движениям сражающихся, участвуя мысленно в схватке.

Как всегда в поединке, конец наступил нежданно, подкрался незамеченным. Сила сгубила Медведя. Сабля была слишком легка и ничтожна для его мускулов. Разозлившись, он взмахнул ею, как плетью. Шлетцер давно подстерегал этот обезоруживающий жест. Он мгновенно рассек противнику вскинутую руку. Выронив оружие, зарычав, Медведь выбежал из бильярдной.

## 5

Дома боннских профессоров, выстроенные из темного шифера, были все на один фасон: квадратные, гладкие, двухэтажные, крыльцо — под навесом. На дверях, повыше резной ручки, висели именные таблички.

Профессор энциклопедии права Пугге предпочел для себя железный колокольчик.

— Хоть какое-нибудь отличие, — говорил он.

Во всем остальном дом Пугге был с виду обычным профессорским жильем, несколько запущенным. В палисаднике, на клумбах, меж цветов пробивалась трава, забор

давно не обновлялся, и калитка, сорвавшись с петли, скрипела.

Профессорская экономка, которую считали также его любовницей, говорила соседкам, что хозяин беден, неряшлив, к тому же пьяница.

Это была женщина робкая и несчастная, носившая бессменный рваный черный чепец и стоптанные штиблеты с обвислыми ушками по бокам. Раз в неделю приезжала в старой карете мать Пугге — толстая, важная старуха, о скупости которой ходило много толков.

Госпожа Пугге приезжала, чтобы читать сыну проповеди, сватать невест, пересчитывать столовое серебро и грозить лишением наследства.

В дни ее визитов Пугге с утра становился мрачным и вечером напивался.

Профессорская квартира была убрана рыжим плюшем, фамильными портретами и искалеченной мебелью. Плюш покрывал столы, кресла, полы. Он был пропитан пылью, ядовитой, как плесень. Иногда профессор, возвращаясь под утро пьяный и растерзанный, будил экономку, требуя от нее свежего воздуха.

— Я задыхаюсь,— кричал он, срывая воротничок, разматывая шейный платок и сжимая виски,— откройте окна, двери. Пусть в каждую щель ворвется воздух. Я задыхаюсь от пыли. Она всюду: на ваших волосах, на моих книгах, на портретах, на всем Бонне. Мой мозг, мое сердце разъела пыль. Я хочу жить, понимаете вы, старая рухлядь, называемая женщиной!

— Проигрались и перепились,— говорила экономка кротко и уныло.

— Если б я был богат, если б я не был профессором энциклопедии права... С детства я хотел дышать чистым воздухом, и отец сек меня за это и запирал дома. Я хотел быть моряком, путешественником, кем угодно, но мог выбирать только между рясой священника или халатом профессора.

— И слава богу, другой не может получить даже фартука дворника,— отвечала экономка, помогая Пугге подняться на второй этаж в спальню.

— Куда девать свои силы в этой стране пыли, в этом городе плюшевых чучел, старых напыщенных дураков и молодых кутил, которые будут впоследствии чванными дураками?

— Бывают и старые кутилы,— шепнула экономка.— Ложитесь, господин профессор, успокойтесь. Дайте, я надену вам колпак на голову.

— Ночью — колпак, утром — лекции! Я жить хочу, двигаться, думать! Может быть, я любить хочу!

Экономка поспешно закрывала форточку и стягивала на шнуре плотные гардины.

Духота и темень не отрезвляли Пугге.

— Тот, кто хочет жить,— грустно говорила ему пожилая женщина, раскладывая в ногах кровати шлафрок,— живет себе без рассуждений. Но вы точно одержимый, отгоняющий духов: жить, жить! Я вот хоть и натерпелась горя, но ем, слава богу, с аппетитом, крепко сплю, молюсь усердно и не ропщу. Даже порой бываю всем довольна. А вам, господин профессор, чего не хватает на свете? Ценить не умеете.

Пугге давно не слушал увещеваний.

— Для жаждущих, для добрых мир — камера пыток. Бесцельная борьба. Наш век отмечен клеймом пошлости. Из тысячи противоречий и враждебных устремлений создан человек. Так было, так будет. Безумец — тот, кто думает торговым договором, премудрой газетой, постройкой железной дороги осчастливить человечество. Человек каменного века был так же жалок, как я теперь. Все в мире нестройно. Мы обречены желать недостижимого, идти во тьме, как кроты. Я хочу жить, но пыль убивает меня. Проклятие над нами! Смерть!

Конвульсивно рыдая, профессор зарывался в подушку.

## 6

К декабрю здоровье Карла сдало. Усталость от чрезмерной умственной работы нагнала бессонницу, головные боли, вялость.

Отец и мать в частых письмах посылали сыну всю углубленную разлукой нежность. Карл отвечал им редко, кратко.

Почтовые дилижансы привозили из Трира упреки и жалобы. Карл забывал письма на столе, на подоконнике, меж страниц штудируемой книги. Белые тонкие листки укоризненно шелестели, требуя выполнения сыновнего долга.

Мать беспокоилась, пьет ли Карл кофе. Когда Карл перечитывал записочки Генриетты Маркс, ему казалось, что она тут, рядом, в неизбежном фартуке и чепце. Он как будто слышал ее голос:

«Ты не должен считать слабостью нашего пола, что я интересуюсь тем, как организовано твое маленькое хозяйство...»

«Экономия, милый Карл, необходима в больших и маленьких делах. Какой беспорядок вокруг тебя! Книги, книги и книги. От них пыльно. Следи, чтобы комнаты твои чаще убирались, назначь для этого определенное время...»

«Моешься ли ты губкой и мылом? Надеюсь, забота матери не обижает любезную музу милого сына...»

Генриетте вторил юстиции советник:

«Прошло уже более трех недель, как нет известий. Какая безграничная небрежность... Боюсь, что эгоизм преобладает в твоем сердце. Ты знаешь, что я не настаиваю педантически на своем авторитете и сознаюсь даже детям своим, если не прав. Я просил тебя написать, когда осмотришься вокруг, но, так как прошло столько времени, ты мог бы понять мои слова менее буквально. Добрая мать озабочена и встревожена...»

Спустя два месяца после приезда в Бонн Карл, уступив уговорам родителей, отправился отдохнуть к голландским родственникам, в Нимвеген. Добравшись до Кёльна на лошадях и переночевав в почтовом подворье, он занял место на пароходе, спускавшемся вниз по Рейну.

До Дюссельдорфа небольшой белый пароход «Франкфурт» шел около пяти часов. Зима запоздала, и ничто не препятствовало навигации.

Подняв ворот пальто, семнадцатилетний студент бродил по палубе. Моросил холодный дождь. Войлочный туман стлался по холмам. Карл примостился на сырой скамье. Над кормой набухал брезент. Обычно приветливый рейнский ландшафт казался теперь угрюмым и скучным.

Сутулый человек в характерной для набожных евреев ермолке и черной хламиде сидел подле Карла.

В соломенном кресле дремала дама, укрытая несколькими полосатыми пледами. Ее большеногий спутник в клетчатом рединготе и толстом шарфе вокруг шеи неутомимо шагал из конца в конец палубы, дымя трубкой. Немногочисленное общество молчало. Карл откинул голову.

Ровный серый цвет неба, берегов и воды успокаивал его. Карл дремал под слитный шум колес и дождя.

Резкий гортанный голос внезапно ударил по его слуху.

— Как вы думаете, это англичане или нет? — бесцеремонно, ткнув пальцем в сторону полосатого пледа и клетчатого редингота, спросил Карла сосед. — Счастливые люди! Уж два года, как у них евреи уравнены в правах и признаны людьми, а у нас, в Галиции, еврей — быдло.

В час заката показалось солнце. Отчетливо вырисовывались деревушки, помещичьи усадьбы и виноградники на берегу.

Карл молча выслушивал безрадостный монолог старика.

— Да, молодой человек, — говорил случайный сосед Карла по скамейке,— меня пинком ноги загоняют в могилу, а я обязан за это почтительно снимать шляпу. Наши девушки сохнут, стареют, потому что на все львовское гетто разрешено не более четырнадцати браков в год. И когда мои дети больны, я должен выпрашивать разрешение, чтоб после полудня пойти в аптеку. Мы — как прокаженные. Ну, почему еврею нельзя посмотреть, как летит по небу воздушный шар? Это же чудо! Мне говорили: крестись, Борух! Лучше я сдохну. Ведь, крестившись, я буду ненавидим не только христианином, но и евреем. «Господи, дай мне насущный хлеб, чтоб я не позорил твоего имени», — поют в псалмах. Я боюсь, когда правительство бьет меня, но еще более боюсь, когда оно дает мне льготы. За них берется большая цена, их отбирают назавтра после публикации, и тогда начинается самое худшее. Не всякому еврею везет, как господам банкирам. Мы бесправнее даже этих несчастных. — И старик протянул вперед палец.

Карл взглянул по направлению, указываемому желтым кривым ногтем. Низкие, без дымовых труб хаты, где ютились крестьяне, торчали над землей могильными насыпями.

— Как уродливы дома этих первобытных людей! — сказала дама, освобождаясь от пледов.

— Однако, дорогая, деревенские дикари кормят нацию. Около четверти их пшеницы вывозится на мировой рынок. Но без наших паровозов, как без воздуха, им нет жизни,— ответил англичанин (он был представителем английского концессионного общества, начавшего постройку

железных дорог в Германии). — Цивилизация и мощь нации — вот что обуславливает экономический прогресс. Чем цивилизованнее страна, тем выше уровень ее экономического развития. Англия доказала это... Но развитие промышленности и могущество страны начинаются с эпохи провозглашения национальной свободы,— добавил, напыжившись, британец.

Карл старался не пропустить ни одного сказанного рядом слова. Старый еврей хрипло засмеялся.

— Молодой человек, я был сапожником в Львове, я работал, не разгибая спины, дни и ночи, чтоб в срок сдать обувь фабриканту. Моя семья ела картофельный суп и только на пасху — рыбу. Фабрикант говорил мне, обсчитывая меня и бракуя товар: «Борух, равноправие и свобода будут тогда, когда я открою фабрику. Это будет нечто замечательное, и закраивать будут у меня не люди с ножницами в руках, а машины». Есть чему радоваться!..

Недалеко от Дюссельдорфа Рейн образует излучину. Холмы подходят к воде. По склонам вьются деревья. Карлу припомнилась гора у Майнца и посвященная ей баллада о коварной Лорелей. В осенние сумерки Рейн грозен и таинствен. Карл повторял «Песнь о Нибелунгах», воскрешал старые предания, отдавался мечтам и фантазии. Тысячи слов прибоем шумели в голове.

«Может быть, буду поэтом!..» — многолетнее заветное желание. Вспомнил любимые стихи Гейне. Пожелал, чтобы скорее шли годы.

«Буду, быть может, хорошим поэтом».

В темноте «Франкфурт» пристал к дюссельдорфской пристани. Шел дождь. Город на берегу выглядел озябшим, закутанным в старый сырой плащ. С крыш на грязные мостовые уныло стекала вода. Едва светили уличные фонари. Карл, побродив по малолюдным улицам, зашел в трактир. Несколько степенных посетителей пили пиво. Говорили о дороговизне, ругали прекупщиков, вздувающих цены. Жатва прошлого года не была обильной, виноград пострадал от дождей.

— Нынче хлеб выгоднее закупать в Нидерландах,— решил один из них.

Карл подсел ближе.

— Беда наша в том, что Рейнландия не имеет прусского уложения: введи мы телесные наказания, крестьяне не ленились бы, как нынче,— сказал помещик.

— Крестьянин злопамятнее медведя и хитрее лисы,— поучал местный судейский чиновник.

— Замечено, что в нашей провинции на зиму крестьяне перебираются в город и, чтоб избежать налогов и не работать, умышленно воруют, хотят в тюрьме кормиться на казенный счет.

— Кодекс Наполеона устарел для Рейнландии, господа.

Карл вышел из трактира. За собором начались кривые улицы, дома, близко наклонившиеся друг к другу. Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый века притаились здесь, как призраки.

Маркс долго бродил по спящему городу, встречая смешных, нетрезвых чудаков и жалких бродяг. Ему вспомнился Гофман и его герои, странные люди мансард, немецких закоулков, кабаков. Думалось о старых, годных лишь на слом городах, о спящей Германии, о будущем. И, как всегда, Карл мучился неудовлетворенным желанием заглянуть в глубину причин, открыть истину.

Утром на переполненном пассажирском грузовом пароходе нидерландской компании Карл поплыл за границу.

Голландцы, прославленные мореходы, исполненные презрения к тихим рекам, пускают по Рейну неповоротливые, грязные пароходики. Впрочем, Карла вовсе не интересовали условия переезда. Он не оценил преимуществ кёльнского пароходного общества перед нидерландским.

Среди многочисленных пассажиров боннский студент нашел сверстников-филологов, едущих на каникулы в пограничные города. Заговорили о литературе и тотчас же коснулись правительственного указа, запретившего по всей стране сочинения пяти писателей: Генриха Гейне, Карла Гуцкова, Генриха Лаубе, Рудольфа Винбарга и Теодора Мундта — вдохновителей «Молодой Германии».

Втайне надеясь посвятить себя поэзии и литературе, Карл следил за каждой новой книгой, алчно набрасывался на каждый новый сборник стихов, не пропускал ни одного литературного события.

Позорный запрет Союзного сейма он знал наизусть:

«В последнее время под именем «Молодой Германии», или «Молодой литературы», образовалась литературная школа, направляющая свои усилия к тому, чтобы в беллетристической форме, доступной всем классам читателей, нападать самым дерзким образом на христианскую религию, подрывать существующие социальные отношения, разрушать всякий порядок и нравственность».

В полдень пароход миновал крепость Везель и, обогнув крепостной вал, причалил к пограничному Эммериху. Начался таможенный досмотр.

Германия осталась позади. Голландские таможенные чиновники учтивы, недоверчивы, медлительны. Неторопливо пломбируют трюм, открывают сундуки и чемоданы пассажиров и, приложив к форменным фуражкам два пальца, исчезают.

При Вестерооде река делится на два рукава. Огромная плодоносная равнина Бетюве вдается между ними узкою, остроконечной пикой.

Издалека виден Нимвеген. Красивые, светлые дома тянутся вдоль берега. Густую приречную рощу сторожит старинная башня.

Прямо со сходней Карл попадает в объятия поджидающих его теток, дядей и кузин. Иоганн Пресборк, взяв под руку племянника, торжественно ведет его домой. Кузины, шествующие позади, на непонятном, цокающем голландском языке оценивают перемены, происшедшие в приезжем.

— Он вырос, но слишком худ и черен. Глаза — угольки!

— Не похож на тетю Генриетту.

— Да, весь в отца.

— Довольно судачить! — прерывает сердито Иоганн, обернувшись.

Девицы конфузливо умолкают.

На улицах необычайное оживление. Суббота. Город чистят, скребут, моют. Обычно занавешенные, окна домов доверчиво раскрыты. Служанки протирают двери, пороги, рамы. Из ручных пожарных труб опрыскивают постройки сверху донизу. Вода журчит, стекает, омывает тротуары.

Дома неширокие, вышиною в три яруса, почти везде кирпичные, редко оштукатуренные и выбеленные. Улицы

узкие, темные, мощеные. Перед лавками сидят на табуретах купцы в стеганых жилетах, в шапочках,— сосут трубки, читают газеты. Бесцельно прохаживаются рослые миловидные женщины в тяжелых платьях и крахмальных несгибающихся чепцах, окружающих пухлые свежие лица. Детей на улицах не перечесть. С субботы до понедельника закрыты школы. Малыши разъезжают в колясочках, запряженных козлами или собаками. По Ваалу, пересекающему город, ползут барки и лодки. Паруса на них рыжие. Голландцы варят ветхие полотнища в дубильной воде, которая сообщает им крепость и необыкновенный ржавый цвет.

Большой зажиточный дом Пресборков живет размеренной, однообразной, сытой жизнью. Первые дни Карл подолгу спит, мало движется. Силы быстро возвращаются к нему, но вместе с выздоровлением подступает и пресыщение провинциальным бытом. За обедом ведутся неисчерпаемые беседы о ценах и сбыте голландских товаров, о дерзости Бельгии, о пороках прусского монарха и добродетелях голландской королевы. Карл бежит от этих бесед на одинокие прогулки.

На каждом шагу, даже в скромном Нимвегене,— напоминание о былом величии страны победоносных мореплавателей.

В большом зале ратуши, украшенном потертыми драгоценными коврами-трофеями и бюстами императоров, был заключен некогда почетный мир между Людовиком XIV и республикой Соединенных Нидерландов.

Карл залпом прочитывает историю павшей республики. Венеция, Португалия, Голландия,— как сходны их исторические судьбы! Карл настойчиво думает об этом странном сходстве. Но не только история, его увлекают и легенды и песни. Кузины переводят на немецкий язык унылые напевы рыбаков. Карл узнает о призрачном герое Мартине Шенке фон Нейдеке. Тень воина, утопившегося в Ваале, чтобы избежать пленения испанцами, бродит в полнолуния по старой башне. Шенк фон Нейдек ищет, стеная, свое рассеченное врагами тело... — так поется в нимвегенских песнях.

Несколько недель бездействия проносятся мигом. Отдохнув, опять веселый и сильный физически, Карл покидает гостеприимный Нимвеген.

## 7

— Ты все еще чувствуешь себя школьником, а не первокурсником, Маркс,— презрительно сказал Грюн, безусый мальчик, обутый в высоченные сапоги-пушки.

Костюм молодого студента при всей его маскарадности был обычен в Бонне. Не желая уступать французской моде, Грюн предпочел косоворотку манишке и галстуку.

— Студенты призваны спасти Германию, потому что, кроме нас, прочие немцы представляют собой лишь серую сплошную массу филистеров. Однако не книжная премудрость поможет делу.

В подтверждение своих слов Грюн концом отточенной шпаги разит учебник римского права и, кружась и притопывая, в неистовой пляске пускается по комнате.

Листы растерзанной, поверженной в прах книги падают к сапогам студента. Ловким приемом Грюн опустил оружие и брезгливо отбросил «Римское право» в угол.

— Пойми, Маркс,— продолжал он, убрав шпагу в ножны,— мы ведь не медики, чтобы нюхать падаль, и не естественники, чтобы анатомировать цветы и рыб. Мы — сатана в подмогу! — юристы, софисты, изысканные болтуны, неподкупные законники... Слово — наше орудие, но наш объект — жизнь. Приступим к изучению объекта и начнем жить. На то дан судьбою первый год учения. Не будем отступать от вековых традиций, старина! Тот не мудрец, кто не спотыкался в юности. Будем же спотыкаться. Я хочу — сатана в подмогу! — почувствовать себя живым вопреки пятилетним стараниям гимназических учителей превратить нас в заспиртованных лягушек. Я слишком долго скучал и зубрил, слишком долго слушался папеньки и маменьки и был примерным братцем дурам-сестрам! Довольно! Мы более не птенцы, которых кормят из клюва в клюв. Где прошло наше отрочество? В затхлых городишках. В какое время мы родились? В годы реакции. Что мы знаем? Героев прошлого и пошляков настоящего. Но наша песня еще не начата. Мы покажем миру, что можем поспорить с греками! Дрожите, Леонид, Сцевола и Брут! Однако книги и наука и даже подвиги — пусть будут после того, как испита святая влага жизни! Что знаем мы о вине, о женщинах, о свободе, мы, рожденные в захолустьях, выросшие среди шлафроков, колпаков и чепцов дряхлеющих лицемеров и

тупиц? Маркс, наука начнется завтра, сегодня началась жизнь.

Карл слушал товарища, думая о своем. Да, Трир позади навсегда. Добрый отец, хлопотливая мать, дом на Брюккенгассе — отныне только редкий причал.

Карл свободен и располагает собой. Подспудные силы юности огромны. В старом Бонне он один управляет собой, своей жизнью. Милое детство потеряло свое закрепощающее обаяние — оно впервые кажется смешным, как потертая игрушка.

Пусть каркают вороны, пусть квакают боннские осатаневшие лягушки в чиновничьих мундирах, в купеческих фартуках — студенты гуляют, поют, неприличествуют, справляя поминки авторитету церкви и семьи.

Поздней ночью, чаще уже на рассвете, из подвального кабачка, шатаясь, спотыкаясь о каменные ступени, выходят, горланя песни, юноши. Взявшись под руки, идут, загораживая улицу. У темных столбов потухших фонарей останавливаются и, образуя круг, водят хороводы, неистово крича «Gaudeamus». На первокурсников нет управы. Они, как вино, должны отбродить. Так водится издавна. Их удаль не знает применения. По пустякам возникают споры и дуэли. «Честь» предписывает поединок и щедрость.

Карл Маркс не отступает от правил. Он поит товарищей вином, спорит до рассвета, бьет по ночам окна в знак протеста против филистеров, богатырски бьется на шпагах по малейшему поводу за себя и трирцев и успешно ухаживает за молоденькими дочками ремесленников.

Карл Грюн не нахвалится товарищем. Уже на втором семестре Маркс — один из пяти членов президиума трирского землячества.

Когда за ночной дебош Марксу присужден неумолимым Саламандрой карцер, Грюн во главе процессии студентов провожает отважного дуэлянта отбывать заслуженное с честью наказание.

## 8

На окраине Бонна, в заброшенном саду с одичавшими яблонями и кривой сиренью, находился небольшой трехоконный домик, пустующий зимой. Косоглазый сторож, ветеран наполеоновских войн, за несколько талеров отдал

входной ключ до лета двум студентам, постучавшимся к нему поздней ночью. Их черные плащи, надвинутые шляпы и заговорщицкий шепот произвели на отставного вояку большое впечатление. Получив деньги, сторож разболтался настолько, что не постеснялся обозвать Фридриха-Вильгельма Прусского солдатской колодою. Подобную смелость тотчас же оценили пришедшие, и старику было предложено за сходную плату нести охранную службу.

Дважды в неделю, в полночь, оживал старый, холодный дом на боковой проселочной дороге. С большими предосторожностями, проверив ставни, сторож зажигал в нем огни. Вдоль изгороди выстраивались патрули, а условный сигнал должен был предупреждать собирающихся о приближении опасности. Разными путями, всегда в одиночку, приходили к дому люди. Их пароль бывал — «Свобода», «Смерть тирании!», «Позор палачам!», «Единая вольная Германия».

В узких сенях полагалось оставлять плащи и одинаковые широкополые шляпы. В тайниках лежало оружие: сабли, пистолеты, штыки, рапиры. В большом зале, обменявшись строгими приветствиями, пришедшие занимали места на деревянных скамейках вдоль стен. Став на одно колено, принимаемые в общество новые члены приносили присягу в том, что беспрекословно подчиняются воле большинства и готовы платить за предательство жизнью.

— В наших руках судьба родины,— говорили заговорщики. — Пусть трепещут тираны,— им нет пощады! Но, готовые к борьбе, мы все еще не решили, кем возглавим государство.

— Гогенцоллернами, свергнув все мелкие династии. Принц Фридрих-Вильгельм — демократ и революционер.

— Долой деспотов! Студенты хотят республики.

Часами длились прения. В саду перекликались часовые, вскрикивал филин. Заслышав петушиный крик, студенты осторожно пробирались в полуразрушенный сарай. При свете тускнеющих фонарей стреляли в цель, дрались на кривых саблях, проверяя готовность к грядущему бою.

Однажды, в весеннюю ночь 1836 года, в таинственный дом пришел делегат от дармштадтского «Общества прав человека».

Он привез печальные вести.

— Братья, славнейшие, лучшие из нас — в кандалах. Скоро год, как в тюрьме томится измученный, избиваемый

палачами пастор Вейдиг. Его типография выдана полиции. В тюрьме красный Беккер, за решеткой храбрый Иоганн Сток. Георг Бюхнер, преследуемый по пятам шпионами, бежал в Швейцарию. Мы обезглавлены. Чем можете вы помочь?

— Кто Иуда?

— Конрад Куль.

— Не будем медлить, братья, двинемся в Дармштадт! Возьмем приступом тюрьму, освободим друзей свободы!

— Остановитесь! — воскликнул приезжий. — История фатальна. Отдельная личность — только пена на поверхности волн. Мы не вольны подчинить себе закон истории. Вейдиг печатал прокламации, я, подобно другим членам нашего общества, под курткой носил их в деревню и оставлял на пороге крестьянских хат. Но крестьяне, увы, неграмотны. Они несут загадочные листовки в полицию и тем выдают нас. Мы — провозвестники весны, обреченные погибнуть. Мы — удобрение истории.

— Чем помогли вы заключенным? — сурово прервали нетерпеливые молодые голоса.

— Мы пытались подкупить стражу, но ее сменили; мы рыли подкоп, но нас настигли; мы подготовили бегство с помощью взлома и переслали заключенным инструменты в пироге, но смотритель присвоил его и раскусил в полном смысле слова наш план. Время не терпит. Вейдиг и Сток подвергаются чудовищным истязаниям. Их морят голодом, сажают в карцеры, где от сырости мрут даже крысы. Их заковывают в цепи, их бьют ремнями. Одиночки, где томятся наши братья, кишат мышами. Мириады блох усугубляют пытку. Даже смотритель не решается переступить порог этого ада. Стены измазаны испражнениями и кровью. Окно заслонено щитом, и только сквозь отверстие, пальца в три шириною, пробивается свет. Под видом врача, за взятку, глянул я в камеры ужаса, где умирают герои. Лучше не видеть их страданий, лучше не знать, что Германия — страна каннибалов!

## 9

В Бонне, как и в Трире, весною воздух пропитан ароматом цветущих рощ и цветников. Сирень вступает в состязание с акациями, фиалки — с нарциссами. На каждом окне, на каждой клумбе соревнуются краски и запахи.

В 1836 году студенты не изменили обычаю, салютуя весне переполненными кубками пунша. Участились дуэли, драки и поцелуи.

Карл был по-прежнему горяч в спорах, ловок в фехтовании, неутомим в шалостях и выпивках. Кант и рапира, грог и философия права отлично уживались вместе.

Юстиции советник регулярно отправлял в Бонн осуждающие письма и необходимые талеры. Но денег Карлу постоянно не хватало.

«Первый курс имеет свои традиции, молодость требует безумств. Чем скорее мальчик отдаст ей дань, тем спокойнее будет его зрелость»,— думал Генрих Маркс, посылая сыну осторожные эпистолярные поучения.

«Твое письмо опять укрепило во мне веру в искренность, откровенность и честность твоего характера, что мне важнее денег, и поэтому не будем о них говорить. Ты получишь сейчас сто талеров; если ты потребуешь, то получишь еще. Впрочем, ты сделаешься, конечно, несколько умнее и будешь интересоваться также будничным, потому что богу известно, что, несмотря на всю философию, многие седеют от этого будничного.

Разве дуэлирование так переплетено с наукою? Это просто страх перед общественным мнением. И каким? Не всегда лучших. Так мало в человеке последовательности... Не позволяй этой склонности,— а если это не склонность, то увлечение,— пустить корни. А то ты можешь в конечном счете похитить у себя самого и у своих родителей лучшие надежды. Я верю, что разумный человек легко и с достоинством способен перешагнуть через это».

В ту же пору Фриц Шлейг записывал в своем дневнике:

«Все мы делим время между гульбой, философией и поэзией. Так как поэзия не приносит большой выгоды, потому что лавры не питательны, я предпочитаю заниматься науками, как того требует отец. Мои однокурсники бесятся от лунного света, но выгоднее, вместо того чтоб терзаться из-за глагола «амо», проспрягать, хотя бы ради грамматики, сначала другой глагол. Вчера в кабачке «Неукротимый лев» я осудил трирских поэтов, а вместе с ними и Петрарку, который в своем недуге отразил, в сущности, болезнь века. Дело едва не дошло у нас до

дуэли. Однако примирились и выпили за Данте, Тассо, Жан-Поля, Гердера и Якоби.

Жан-Поль, как репейник, пристал к студенческим сердцам, предпочитающим нежное эпикурейство стоическим принципам. Пора бы нам, однако, укрыться за окопы благоразумия от тупых стрел романтиков. Несмотря на ночные бдения, по утрам я ревностно посещаю философские лекции, углубляюсь в смутную историю философии, тружусь над некоторыми этическими вопросами и составляю даже целые системы.

Ни с кем не дружу. Это дешевле и спокойнее. Но что такое сущность, основа и где пределы дружбы?!

Еще одно сомнение живет в трущобе моей души. Бог! В беседе со зрелыми товарищами я без борьбы похоронил наивную веру детства и нашел взамен более просвещенные воззрения, соответствующие эпохе.

Таинства, чудеса и легенды служили мне, как выражается Лессинг, лесами для постройки, которые я с бодрым духом разобрал, когда здание было совсем готово.

Сократ утверждает, что в жизни каждого человека действует провидение. Если так, то напрасно на крыльях мечты я уношусь порой в мир действия, в мир торговли. Старая карга — судьба — уже предрешила мое будущее. Мужайся, Фриц! Бряцай на струнах реального принципа жизни и не позволяй виснуть носу. Живи в доме пасторши, целуй дочку магистратского сторожа, глотай, не боясь отрыжки, вместе с рейнским вином университетскую премудрость.

Лейтесь слезы благородных людей над горькой участью неудачного коммивояжера и строителя, отданного в когти юриспруденции и философии. Испросите ему у судьбы надбавку».

## 10

Во втором, как и в первом, полугодии Карл занимался главным образом классической литературой и юриспруденцией. Он без пропусков посещал лекции Шлегеля и д'Альтона. Мифологией, преподаваемой Велькером, Карл пресытился на первом семестре настолько, что не стал продолжать ее изучение после пасхальных каникул. Предмет был ему слишком знаком.

Старый Велькер считался человеком незаурядным.

В поисках неуловимого эллинского «духа», преследуемый мечтой Пигмалиона, жаждущего оживить Галатею, аккуратный ученый перерыл античную литературу, изучил мифы и занялся даже археологией. То, что Велькер откопал в древних манускриптах или извлек из земли, все-таки не отвечало исполинскому образу Древней Греции, о которой он мечтал.

Горе и тщетные старания усугубили его пессимизм и болезнь печени. Злобный и упрямый, он не сдавался, объявляя современный мир унылым пепелищем, руиной погибшей цивилизации.

Зачислив немцев в разряд первобытных дикарей, потомок эллинов не сумел остаться равнодушным к их судьбам. Его то и дело с Олимпа и Парнаса стаскивала за фалды сюртука современность в образе университетского начальства, заподозрившего в Велькере классического республиканца. Даже в безобидном «Эпическом цикле поэтов гомеровской поры», написанном профессором мифологии, обнаружено было вольнодумство.

Маркс, внимательно приглядывавшийся к людям, без труда рассмотрел в Велькере добродушного земляного червя истории. То, что казалось невежественной немецкой полиции призывом к мятежу, было на самом деле только цитатой из диалогов богов и героев.

Больше, нежели болтливый Велькер, нравился Карлу профессор Фердинанд Вальтер, которого особенно рекомендовал ему отец.

Карл, тяготившийся беспочвенными путаными идеями и страстями других профессоров, уважал в Вальтере его своеобразный, слегка циничный реализм.

В 1836 году юрист Вальтер был уже не молод. Он был стойкий и упорный католик и считался лучшим оратором среди профессоров Бонна. Во время его лекций аудитория бывала переполненной. Студенты, слушавшие плавную, чуть игривую речь, подпадали под абсолютное влияние статного, красивого импровизатора. Вальтер никогда не перепевал самого себя. Наиболее сухой предмет становился в его устах нарядной поэмой. Говоря о Риме, он достигал такой изобразительной силы, что переносил слушателей на скамьи сената, заставляя их принимать или отклонять законопроекты Катона и спорить с императорами. Мысль Вальтера не была глубокой, зато

фраза его была отточена и облечена в эффектнейшую форму.

Противоположностью Вальтеру являлся Эдуард Бёкинг, читавший в Боннском университете курс института римского права. Карл слушал его курс без увлечения, но отдавал дань его огромной эрудиции.

Тридцатичетырехлетний ученый был так же поглощен раскопками юридических древностей, как дряхлый Велькер — воскрешением мертвых мифов. Но в то время как эллинист стремился к обобщениям, Бёкинг объявлял себя их лютым врагом.

Резкий, неудержимо говорливый, Бёкинг превращал свои лекции в словесную атаку на студентов. Перенятые знания, как огромная опухоль, обескровили его мозг. Надменность служила ему окопом, защитой от вторжения чужого мнения. Ворчливый, все осуждающий, он приобрел репутацию либерала среди несмелых и набожных коллег. Презирая католиков, он принялся издавать сочинения предтечи немецкого гуманизма Гуттена. Этот яростный враг папы, сторонник Лютера, был любимым героем Бёкинга. Подобно несчастливому рыцарю, Эдуард Бёкинг чувствовал себя в Бонне отверженным и затравленным. Единственным его другом был Шлегель.

Особняком держался также и преподаватель энциклопедии права Пугге.

Карл долго не мог распознать этого крайне мнительного, всегда чем-то обиженного человека с неподвижным, пепельным лицом.

Профессор, согласно городской молве, был стеснен в деньгах и слаб здоровьем.

Карты составляли основной интерес в жизни Пугге. Но в игре ему не везло. Таясь от всех, пробирался он в игорные притоны Бонна, проводя ночи в обществе отборнейших пропойц и отребья студенческого мирка.

Однажды Карл застал его за карточным столом. Пугге проиграл почти все.

Карл, которого не привлекала карточная игра, с удивлением, подобным испытанному в бильярдной, когда он впервые изучал приемы дуэлянтов,— наблюдал борьбу обезумевшего Пугге с облезлой колодой карт.

Как дрожали его руки, как выпятилась нижняя губа!.. Последний талер вернул профессору проигрыш. Потрясение было настолько велико, что у Пугге началась рвота.

Студенты поспешили выйти из игорной залы в ресторацию, чтоб не смущать удачливого несчастливца.

Жалость, вызываемая Пугге, создала ему своеобразную популярность. Студенты любили его за пороки, безволие, неудачи.

11

Дни летели с предельной быстротой. Карл готов был жаловаться на то, что в сутках всего двадцать четыре часа, а в часе — только шестьдесят жалких в своей поспешной суетливости минут.

«Веночек», поэтический кружок, к которому принадлежали, кроме Маркса, озорной путаник Карл Грюн и сентиментальный плодовитый стихоплет Эммануэль Гейбель, с начала года состязался с поэтами Геттингена. Однако первенство все еще не было присуждено никому. В ответ на поэтические громыхания и нежные трели боннцев Мориц Каррьер и Теодор Крейценах присылали длиннейшие сонеты и стихи — возвышенный пафос в корзинке из-под сосисок.

Весной любовники, дуэлянты, пьяницы и спорщики выползают из погребов и подворотен на лужайки и лесные опушки. Их тянет странствовать и бродяжничать.

До Годесберга недалеко — несколько часов ходьбы по прямой, тенистой дороге. Студенческая ноша — мешок за плечами — не тяжела. В Годесберге, под чинным дубом, превосходнейший трактир «Белый конь», в котором на протяжении столетий пьют и шалят боннские студенты.

Лучше всего в воскресное утро выйти из города на рассвете, на восходе солнца, когда пыль на загородных дорогах прибита росой. Трирцы покидают заставу именно в этот час, чтобы перехитрить назойливых педелей, преследующих их по пятам.

Но тридцать человек, да еще навеселе, да еще орущих песни, мгновенно будят город. Открываются ставни, и вдогонку студентам несется ругань. Саламандра, в парике набекрень, в женином халате, выбегает на крыльцо и торопливо посылает слугу за дежурными университетскими смотрителями.

Злющий от бессонницы, Саламандра измышляет сотни способов ловли студентов. Хитроумный университетский судья заставляет педелей переодеваться и под видом

случайных прохожих сопровождать студентов в их прогулках. Саламандра прилагает все усилия к тому, чтобы застичь на месте преступления хоть двух дуэлянтов, хоть одно сборище запрещенной корпорации, но вот уже два года терпит поражения. Почуяв приближение педеля, заметив засаду, самые отъявленные враги умело разыгрывают сцену примирения, дружески обнимаясь на глазах одураченных шпиков.

Два года Саламандра должен был довольствоваться лишь тем, что обнаруживал в петлицах студенческого мундира цветные ленты — знак принадлежности к неуловимой корпорации. Единственным утешением судьи служит то, что университетский карцер все же не пустует. Но студенты попадают в заточение за нарушение уличного порядка, битье фонарей, пьянство, дерзкие споры, и только! Для обширного донесения в Берлин, в котором перечислялись бы застигнутые дуэли, крамола, антиправительственные заговоры, антимонархические выпады, нет материала. Саламандра темнеет лицом, худеет и окончательно теряет сон и аппетит.

Трирец не менее влюбчив, чем всякий другой студент. Фриц Шлейг посещает аккуратно трактир «Белый конь» не без корысти. Дочка трактирщика, беленькая пушистая Амелия, по прозвищу «Вербочка», высоко расценена студентами второго семестра юридического факультета. Вот уже месяц, как хитрая проказница заставляет Фрица бесплодно волочиться за ней.

— Один поцелуй, Вербочка! Ты не совершишь преступления, отдав мне сердечко. То воля природы, то веление бога. Бог велит твоим губам знать мои поцелуи, он предписывает нам любить друг друга.— Длинное монашье лицо лукавого соблазнителя касается пухлой щеки Амелии.

Но прелестница неумолима и отвечает рассудительно и спокойно, расправляя фартук:

— Бог велит освятить поцелуй брачным венцом.

Фриц и девушка сидят позади трактира, под рыжей отцветающей ивой, над заплесневелым прудом.

— Ты полна предрассудков,— сердится Фриц.— Я дам тебе книг, которые очистят твой мозг от старого хлама.

— Сначала свадьба, потом книги,— говорит упрямо Амелия и потягивается.

Она приятно округла, но Фриц предвидит, какой дебелой толстухой станет Вербочка через несколько лет. Меж губ Амелии — одуванчик. Цветок легко разлетается, когда Фриц, повалив девушку, целует ее, уже не спрашивая позволения.

— Клянусь, я женюсь на тебе тотчас же после сдачи диссертации. Каких-нибудь три-четыре года.

Шлейг готов сам верить обещанию: так хочется ему сломить сопротивление Вербочки.

На противоположном конце пруда сестра Амелии Гертруда гладит нежные прямые волосы трирца Кевенига, голова которого примостилась на ее колени.

— Люблю тебя, мой ангел,— шепчет юноша.

Ножом он надрезает свою руку и, обмакнув в кровь веточку, пишет на девичьем платке:

Клянусь навеки остаться тебе верным,
Клянусь никого не целовать,
Клянусь, подобно ласточке,
Знать только твою крышу.

На лужайке перед «Белым конем», под широким, ветвистым дубом, расставлены столики и стулья. Те, кому не хватило места, пируют на лестнице, на каменных ступенях крыльца. Пьют из кубков, из кружек, из бутылей разноцветные вина, пенистый пунш, горький грог и жирное пиво. Хмелеют от алкоголя, от парного воздуха, от долетающих с огородов запахов укропа и цветущего картофеля.

Расстегнуты длиннополые, сборчатые в талии сюртуки, тугие жилеты, вороты рубах. Брошены в траву гладкие и шишковатые трости, холщовые мешки и головные уборы.

Шляпы с наибольшей точностью отражают вкусы студентов. Фуражки с козырьками, недавно введенные в моду Францией, покрывают головы притязательных щеголей всех факультетов. Цилиндрам отдают предпочтение богословы, англоманы и будущие биржевики. Филологи носят широкополые шляпы с высокой тульей, весьма гармонирующие с черными романтическими плащами. Жокейские каскетки, береты, полуфригийские колпаки и шлемы остаются в удел бунтарям и философам. По мнению Саламандры, студенты в беретах, колпаках и шлемах наименее благонадежны и почтительны в отношении начальства.

Почти все студенты курят. Сигара, витой кальян или тупоносая трубка — такая же принадлежность учащегося,

как сабля и рапира. Маркс, впитавший с колыбели запах посеревших от курева отцовских усов, курит со школьной скамьи. На прогулках, на лекциях пахитоска или трубка — постоянные его спутники.

В тихое утро после пирушки, когда мысль неповоротлива и уныла, чашка черного, наспех сваренного кофе да теплый искрящийся табак — друзья, приходящие на помощь в беде.

В трактире «Белый конь», дымя пахитосками и осушая кубки, студенты щедро растрачивают время на споры о боге, о смысле жизни.

— Признавая предвиденье божье, мы тем самым ограничиваем человеческую свободу,— говорит Шмальгаузен.

— Именно так: человек не в состоянии ни уничтожить свои, природой данные, способности, ни изменить их, он может только облагородить себя. Мы не в силах преступить положенную свыше грань, но можем усовершенствовать и расширить отпущенное нам.

— Бюффон считал, что все абсолютно неизмеримое оказывается также абсолютно непонятным.

— Друзья! — возглашает Карл Грюн. — Вечер спускается на землю, звезды, как маяки в тихом море, зовут наши заблудшие в пучинах знания души. Продолжим споры, достойные Сократа и Платона, лишь после того, как осушим кубки. До дна!

Маркс вскакивает на шаткий стол и быстро декламирует:

Тут, обращаясь к ним, царь Алкиной произнес: «Приглашаю
Выслушать слово мое вас, людей феакийских, дабы я
Высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце».

С сумерками ватага студентов покинула Годесберг и направилась в город.

По пути зашли передохнуть в «подземелье» Дубница, прозванного «Хромым палачом».

Кабачок был всего-навсего низким погребком, где с трудом помещались два стола, окруженные пнями вместо табуретов, да несколько винных бочек. На полу не просыхали винные лужи.

Студенты называли погребок камерой пыток, пни — плахами, садовый нож, висящий на стене,— секирой. Хромой скаред Дубниц был глух и стар. Ходили слухи, что в молодости он будто был пиратом, поджег дом врага.

На самом деле винодел прожил жизнь, не покидая боннской округи и зажигая только трубку да дрова в очаге. На частых исповедях Дубниц каялся лишь в том, что подмешивал в вино чистейшую рейнскую воду. Но, не желая лишать себя клиентов, он притворялся злодеем, то есть молчал и отвечал невпопад. Глухота помогала ему в этом.

Усевшись на бочках, столах и «плахах», студенты потребовали вина.

Карл предпочел сырой духоте подвала ночную свежесть и вместе с Кевенигом, Шмальгаузеном и Шлейгом поднялся наверх.

— Я все-таки не вполне уяснил себе, в чем разногласия кружка Виндишмана с гермесианцами. Не заняться ли стариком Гермесом? — заметил Карл.

— Чепуха! — сказал Грюн. — Георг Гермес и Виндишман — оба ведут в католическую церковь. Та же бурда, только в иной посуде.

— Однако наши правоверные католики не устают предавать их анафеме. Не значит ли это, что небесный спор касается в действительности земных вещей? Иногда задать вопрос — значит начать нащупывать ответ... — отозвался Маркс.

## 12

Лето в Бонне проходило для Карла шумно, деятельно, порой бестолково. Он писал стихи, настойчиво учился, реабилитировал в спорах якобинцев и пугал филистеров.

Покончив с Гомером, он изучал под руководством Шлегеля Проперция, деля по-прежнему учебное время между юриспруденцией и филологией. Элегии великого римского лирика увлекали юношу не меньше, чем эпос Гомера. Они отвечали неосознанной, упорной потребности в любви.

Незадолго до разъезда студентов на каникулы покончил жизнь самоубийством Пугге.

В безмятежном Бонне смерть его произвела сенсацию. Даже громогласно осудившие его поступок, как противоречащий христианскому долгу, профессора-католики не могли сдержать любопытства и пришли посмотреть на покойника. Старые и молодые девицы неистово оплакивали Пугге, которого отныне прозвали Вертером. Ис-

кали таинственную Шарлотту и завидовали ей. Поэты слагали стихи. У домика профессора галдели зеваки.

Самоубийца стал главной городской достопримечательностью. Хозяева постоялых дворов вместе с адресом собора, лучшей ресторации и театра объясняли дорогу к дому Пугге.

Студенты спорили о причине его смерти. Они отвергали любовную драму и объявляли, что профессор погиб из-за неотмщенной чести, долгов, проигрыша, перепоя. По вечерам за круглыми чайными столами, на балах, во время вальса и котильона, на базаре, в городском саду, в бане, на Рейне, во время лодочных гонок, в студенческих квартирах между кипячением пунша в полночь и варкой отрезвляющего кофе на рассвете — без устали гадали о том, почему умер Пугге.

Профессор энциклопедического права поступил жестоко, не учтя любопытства сограждан и не оставив обязательного предсмертного письма.

Может быть, его задушила монотонность жизни, предначертанной от начала до конца, жизни без целей, без новых мыслей, состоящей из ежегодно повторяемых от слова до слова лекций. Пыльному шлафроку Пугге предпочел саван. Картам, вину, сплетням — смерть.

Профессорский быт, профессорский мундир были покойному не по плечу. Он оказался в достаточной мере эгоистом, чтоб пожалеть себя настолько, насколько нужно, чтоб влезть в петлю.

Смерть его казалась Карлу свидетельством внутренней пустоты, убожества ума. Человеческий век слишком короток, чтоб тяготиться им. Тяготиться можно лишь сознанием недостаточности сроков, положенных на то, чтоб заглянуть в каждый угол природы и бытия. Марксу была чужда беспричинная тоска трусости, отступающей перед вопросами, поставленными жизнью, историей, эпохой.

Вскоре после похорон злополучного профессора, в середине августа, наступило время университетских вакаций. Маркс сдал зачеты и, отдав прощальные визиты, собрался в Трир.

В экипаже, запряженном цугом, вместе с неизменными Шмальгаузеном и Кевенигом Карл подкатил к остановке дилижансов, отходивших в полдень в Кёльн. В па-

радных четырехместных экипажах подъехали провожающие поэты «Веночка», во главе с Карлом Грюном. Под песни и прощальные приветствия друзей трирцы отправились домой.

13

Карл по-иному смотрел теперь на город своего детства. Уныло-провинциальным, затерянным между лесистыми холмами, опутанным паутиной суеверных предрассудков показался ему Трир. В большой католический собор — к местной чудотворной мадонне, с порочным лицом и полуопущенными грешными глазами — из горных деревень приходят богомольцы выпрашивать защиты от помещиков. Просят у бога снижения налога, лучшего урожая винограда.

Как много, однако, в Трире монахов и монахинь! Одни похожи на черных летучих мышей, другие — на жаб.

Зажиточные горожане, чиновники, купцы набожны, чванливы, лицемерны. Прошел почти год, о многом иначе думает Карл, но неизменен Трир.

Все те же темы занимают неустанных посетителей «Казино» — Шлейгов, Хамахеров, Виттенбахов... Те же поглощают их заботы. Дамы в меру тратятся на благотворительные дела, в меру стареют. По-прежнему широко распространено словесное людоедство. Ни одно сборище не обходится без неутомимого обгладывания ближних.

Карл недоумевал, брезгливо отходя в сторону. С первых же дней по возвращении домой он ощутил городскую духоту. Только отец и Людвиг Вестфален остались для него прежними.

Юстиции советник значительно постарел; реже смеялись его черные глаза, мягче, утомленнее стали руки.

Кашель отца стал более глухим и надрывным. Между бровями выдавилась страдальческая морщинка, а на висках, под неживой прозрачной кожей, вздулись, указывая на распад, склеротические зеленые жилки.

Дела Генриха Маркса во время отсутствия Карла были нехороши, как и его здоровье. Кашель мешал выступать в суде. Ослабело горло. Клиенты начали считать адвоката старомодным. Подросло новое поколение. Ген-

рих, утаивая горечь, перечислял сыну имена молодых конкурентов.

— Надо посторониться. Тесно. Они толкаются и опережают нас, стариков. Я сам был когда-то таким. У молодых просторнее глотка, крепче кулаки, свежее задор. Нужно вовремя убраться с дороги, чтобы не мешать своим детям. Пройдет еще несколько лет, и ты, Карл, будешь справедливо добиваться работы, как они. Разве могу я помешать тебе в этом? Мне пора на покой. Но кто поможет детям? Эдуард, увы, так слаб. Дочерям нелегко в настоящее время без приданого найти мужей. Только бы продержаться до того, как вы станете на ноги. Я уверен, ты принесешь мне счастье, Карл, — говорил Генрих, оставшись с сыном в небольшом саду за домом.

Была ночь. Пахли корицей завитые левкои. Блуждая по траве, Карл натыкался на кусты толстых георгинов. Пышные цветы напоминали трирских женщин, откормленных, больших, жеманных.

Софи сказала:

— Женщины похожи на цветы и птиц, мужчины — на зверей.

— А Женни? — спросил Карл.

— Цветущая акация.

— Чайная роза, — сказал Карл, которому акация показалась недостаточно красивой и душистой.

К удовольствию Софи, юстиции советник сравнил ее с пунцовой гвоздикой. Генриетте Маркс пришлось довольствоваться маком.

Долго спорили, подбирая сравнение госпоже Шлейг. Софи называла подругу матери красивой. Генрих Маркс не соглашался:

— Она пестра, переимчива, нахальна и криклива. Эта кривоносая женщина в лучшем случае — попугай.

Среди трирских горожан отыскалось множество сорок, цапель, павлинов, сов, ослов и свиней.

Карла нелегко было сравнить с кем-либо.

— Черный львенок, — сказал юстиции советник. Карл, закуривая, зажег спичку. Неяркий свет скользнул по узким, смуглым щекам, по черной гриве волос, отразился в карих глазах и пересек квадратный гигантский лоб — самое удивительное в лице юноши.

Вместо нерасторопного, угловатого подростка в Трир вернулся уверенный в своих силах молодой мужчина.

Софи любила наблюдать, сидя у окна, жизнь узкой Брюккенгассе.

Улица просыпалась рано. На рассвете въезжали в город крестьянские телеги. Рыбаки доставляли на рынок последний улов. Мозельская рыба жирная, крупная.

Молочницы привозили молоко на повозках, запряженных коричневыми осликами.

На подводах — корзины репы, моркови, салата, спаржи.

Лысая перламутровая спаржа Рейнландии ценилась иноземцами не меньше, чем рейнские вина.

Чиновники в выутюженных сюртуках и мундирах до колен, с папками дел под мышкой, проходили на службу.

Софи смотрела на улицу сквозь занавеску. Нелегко застегивать на спине корсаж кисейной нижней юбки и одновременно обозревать со второго этажа пешеходов. Она угадывала знакомых по походке и по тулье головных уборов, скрывающих лица.

Помещики прибывали редко ранее полудня в каретах, бричках и верхом.

В жаркие часы улица пустовала, но в сумерки на Брюккенгассе было многолюдно. Парад телег, повозок, пешеходов, овощных корзин, ведер, бидонов, устало бредет служилый люд.

Генриетта Маркс раскладывает пасьянс на круглом столе в своей комнате. Довольство собой, прожитой жизнью и семьей подрумянило ей щеки, округлило тело, придало глазам сытую вялость. Вся жизнь жены юстиции советника умещается в этой двухоконной комнате. Здесь она зачала, родила и выкормила своих детей. Здесь в один и тот же час на протяжении почти двух десятков лет подытоживала Генриетта все возрастающие расходы.

В угловую комнату второго этажа дома на Брюккенгассе стекалась городская молва. Сидя за рукодельем, за книгой или пасьянсом, задумывалась Генриетта над будущим своих детей. Дочерям следовало подыскать богатых и надежных мужей. Об участи сыновей мать беспокоилась меньше. Герман внушал матери больше жалости, чем гордости. «Как-нибудь проживет, однако», — надеялась она. Вот Карл... У него строптивый, ненасытный, бездонный ум, предотвращающий уныние, бичующий пас-

сивность и вялость. Он будет тем, кем захочет: ученым, великим писателем или влиятельным юристом. Генриетта уверена в необыкновенном жребии сына. Ей бы очень хотелось видеть Карла на университетской кафедре. Трир, конечно, мал для него, как колыбель для выросшего гиганта. Но Кёльн или даже Берлин кажутся матери под стать сыну. Там у него будут собственный дом, деньги в банке, слуги, экипажи. Жену возьмет он из хорошей семьи и с хорошим приданым.

— Любовь проходит, а деньги остаются, — говорит часто Генриетта.

Господина профессора или юстиции советника, а может быть, господина королевского министра Карла Маркса будут посещать могущественные банкиры, сиятельные вельможи. Ротшильд и Генц почтут за удовольствие провести вечер в обществе сына Генриетты Маркс, урожденной Пресборк.

Почему бы и нет. В доме богатого, важного буржуа Маркса его юные сестры легко отыщут суженых.

Таковы блаженные надежды Генриетты Маркс. Ей жаль оборвать их. Как будут завидовать счастливой матери трирские горожане!

— Я не уеду отсюда, — говорит Генриетта вслух, — пусть Карл будет счастлив. Он может баловать меня подарками издалека, иногда только навещая свою старую мать. Под руку с ним я выйду на Симеонсштрассе.

«Как здоровье уважаемого господина Маркса и его почтенной матери?» — будет раздаваться со всех сторон. У Карла в банке добрых сто тысяч талеров. Генриетта прикупила еще два виноградника и припеваючи доживает свою жизнь.

Какая мать в Трире не мечтает подобным же образом о будущем своего сына?

Легко отличимые шаги Карла возвращают госпожу Маркс к действительности. Походка его тороплива, как его речь.

Карл ищет Софи. Он находит ее в комнате у матери. Опершись на подоконник, Софи смотрит в окно. Карл, по просьбе матери, садится на диван.

Мать торопится поцеловать сына. Руками, пахнущими знакомыми с детства запахами — печенья, изюма, корицы и лимонов, — она гладит его щеки и волосы.

Воспользовавшись первым подвернувшимся предлогом, Карл уходит вместе с Софи.

— Мать дряхлеет. Прежнюю строгость заменило кокетство старости. Она прибавляет себе годы, плачет и целует без повода, — говорит иронически Карл.

Прежде чем спуститься по лестнице, они навещают Эдуарда. Больной мальчик лежит у открытого окна. Красные настурции у его постели подчеркивают серый цвет лица ребенка. Щеки его точно посыпаны пеплом.

Карл пробует развлечь брата веселой импровизацией-сказкой. Эдуард улыбается, обнажая бескровные десны. Карл мастерит из бумаги стрелы и парусные лодочки. Он готов на любой вымысел, чтобы утешить малыша, но Софи хитро переключает его мысли и выманивает его из комнаты. К болезни Эдуарда в доме давно привыкли.

— Женни, — шепчет Софи, — придет сегодня, если...

— Не сможешь ли ты устранить «если»? — говорит Карл просительно.

Софи обещает. Ее черные, без блеска глаза лукаво сощурены. Ей нравится роль пособника между Карлом и Женни. Чужое чувство волнует ее воображение, как десятки романов, которые она прочитывает без разбора. Бессознательно, движимая не то любопытством, не то неудовлетворенным инстинктом, она расшифровывает подруге и брату истинный смысл их отношений. В Трире нет девушки красивее и лучше Женни. В Трире нет юноши умней и даровитее Карла. Так думает Софи, предназначая их друг другу.

## 15

Дружба Карла и Женни перешла в любовь. В памятный вечер в актовом зале холодной гимназии Фридриха-Вильгельма перед Женни впервые появился Карл-юноша.

В саду вестфаленского дома под трескотню сверчков они заключили дружеский союз. Но такой союз между свободными от иных привязанностей девушкой и юношей был только попыткой избежать любви. Теперь, после жизни в Бонне, робость, которую внушали женщины Карлу, исчезла. Первое рукопожатие подсказало это Женни. Перед Женни был юный мужчина, не суетливый

и не отступающий. Обаяние сильного, созревающего ума подчиняло Карлу людей. Со школьной скамьи он не вызывал в хорошо знавших его людях средних чувств: он внушал либо преклонение, либо завистливую враждебность.

Женни словно сидела на берегу реки. Жизнь проплывала мимо. Дни исчезали листками скучного календаря.

Карл привез из Бонна новые мысли, уверенность в себе, ожидание завтрашнего дня. Он шел вперед, отягощенный разве только избытком поставленных целей. Его бодрость, энергия, трезвость и вместе взлет мыслей поразили чуткую, рвущуюся к содержательной жизни девушку. Женни безошибочно отличала подделку от настоящего. Она решительно отклоняла многочисленные брачные предложения. Но робость овладела ею, когда перед ней оказался Карл.

Женни чувствовала себя слабее его. Она приняла его любовь. Как это было? Женни не хочет говорить. Можно ли объяснить, почему именно он? Почему она?

Произошло, как это бывает всегда. Слова и поцелуи.

Пусть слова любви стары, — они были новыми для Женни и Карла.

Софи назойлива в расспросах. Конечно, Карл умен, силен, настойчив. Но не только в этом разгадка.

Для Карла любовь священна. Слово — «люблю» имеет для него особый смысл: оно значит также и «навсегда». С детства он видел, как бережно любил Генриетту Пресборк отец. Генрих Маркс — однолюб. Он учил сыновей уважать женщину. Карл помнит мать беременной, истомленной родами. Он видел, как малейшей заботой и радостью делился с ней отец. Жена, соратник, друг — разве эти три слова не синонимы? Они должны быть синонимами.

Любовь казалась Карлу неисчерпаемой, как знание, движущейся, трудно достижимой, как истина. Разве не меняется любовь, как жизнь, как люди?

Предстоящие годы разлуки не пугали Карла. Главное, что они с Женни нашли друг друга.

Будет ли он уверен?

— Поверь, — говорит Софи подруге, стараясь успокоить ее насчет разницы лет. — Карл на деле старше, разумнее наших отцов. Он будет верен, как библейский Иаков. В нем все гармонично, все цельно. Он неутомим

в науке, его мысль, как зонд, проникает в глубину вещей. Он умеет радоваться, смеяться, работать. Будь спокойна, — он сумеет любить так крепко и верно, как никто.

16

В «Казино» — бал: сутолока, духота, топот танцующих ног, военный оркестр.

Завсегдатаи оттеснены толпой пришельцев.

Господин Шлейг и господин Генрих Маркс тщетно искали свои обычные места. От стены к стене рядами поставлены кресла. Комната превращена в зрительный зал.

Плюшевый занавес падает с потолка, расстилаясь по подмосткам. Программа в виде сердца с золотым краем называет предстоящий концерт лучшим в сезоне. Среди исполнителей — три девицы Шлейг, студент Шмальгаузен, учитель Хамахер.

Бильярдная превращена в закусочную. Потная Эммхен разливает лимонад, откупоривает вино, раскладывает в вазах фрукты и пирожные.

В поисках укромного места Генрих Маркс забирается в мансарду. Но там среди клубного хлама, сломанных стульев, рам и посуды примостились шахматисты.

Юстиции советник находит наконец Людвига Вестфалена.

— Не освежиться ли вином? — весело спрашивает тот Маркса.

Они спускаются по лестнице. В углу площадки, под лампой, Хамахер глядится в стенное зеркальце, расправляет шейный платок и, воровато достав баночку из кармана фатоватых брючек, помадит волосы.

Маркс не может удержать смеха.

— Ба! — говорит он. — Поздравляю Францию с новой победой. Искусительница заставила-таки Хамахера снять тевтонскую хламиду. Того и гляди, он рассечет германский чуб пробором.

Старики, потешаясь над смущением учителя, проходят в буфетную.

Вестфален отличается богатырским аппетитом. Салаты, рыба, холодные ломти мяса, картофель мгновенно исчезают, смятые его крепкими зубами. Большой салфеткой он вытирает жир с губ и, причмокивая, запивает еду большими глотками пива. Генрих с завистью следит за

каждым движением скул и челюстей друга. Сам он долгое время принужден отказывать себе в лакомых блюдах из-за болезни.

— Прошло более года, — говорит в это время Вестфален,— с тех пор, как Женни достигла совершеннолетия. Я выделил приходящуюся на ее долю часть капитала. По моему совету, она вложила его в аренду виноградников. Мне казалось правильным добиться прибыли таким образом.

— В последнее десятилетие виноград — не доходная статья. Однако мертвый капитал еще хуже.

— Я надеюсь, в течение ближайших лет Женни найдет себе достойного супруга, и он вместо меня будет заботиться о ее делах. Мы с вами, дорогой Генрих, — неважные коммерсанты.

— И что печально, — ответил Генрих Маркс, — наши дети также непрактичны. Карл, к примеру: счастливо одаренный природой, он, увы, совершенно не умеет обращаться с презренным металлом.

После экосеза оркестр снова играл вальс. Женни танцевала с Карлом.

Десятая барышня Шлейг, оставшаяся без кавалера и потому обиженная, отыскала в толпе Паулину Пенс. Эта ученая девица, завистливый и ханжеский язык которой имел в Трире мрачную известность, развлекалась на балах только злословием.

— Похоже, — сказала барышня Шлейг, состроив наивную гримасу, — что Женни затеяла роман.

— Неужели с Марксом? — усомнилась Паулина, но прыщи ее покраснели и глаза ехидно округлились. — Кто такой Карл? Сын провинциального адвоката, студентик, каких много. К тому же моложе ее на целых четыре года. Я бы держала его подальше. Без чинов, без денег, пока что без имени, — какой в нем толк?

— Но Женни со странностями. Стольких отвергла! Будь мы с тобой баронессами, не торчали бы в Трире.

— Да, у Женни фон Вестфален есть характер, — многозначительно заявила Паулина, крайне обрадованная новой сплетней.

Генрих Маркс быстро уставал. От света, суеты, музыки у него кружилась голова. Першило в горле. Задолго до полуночи он почувствовал себя совсем больным и попросил жену и дочь уйти из «Казино».

Карл остался до конца танцев и проводил семью Вестфаленов...

С Римской улицы он возвращался умышленно медленно, совсем один. Город спал. Ничто не мешало думам и воспоминаниям. Запах волос Женни, которых он касался в вальсе, еще ласкал обоняние. Карл любовно перебирал каждое сказанное ею слово.

— Обожаемая, единственная...

Дома Карл услыхал раздирающий слух кашель отца и медленное шарканье его домашних туфель.

Отец ждал сына у дверей кабинета.

Карл обрадовался. Разговор, который он никак до сих пор не мог решиться начать, завязался сам собой.

— Ты слишком много времени проводишь в обществе своего прелестного друга, Карл. Как бы это не повредило ее репутации. Город полон злобных кумушек и дур. Вряд ли кто-нибудь поймет сущность ваших отношений. Я надеюсь, вас связывают узы подлинной, святой дружбы.

— Более того, отец, — нас связывает любовь.

Юстиции советник, давно ожидавший этого признания, однако же, вспылил.

— Нет слов, барышня фон Вестфален — замечательное создание природы. Но она на четыре года старше тебя: тебе всего восемнадцать лет. Обязательство брака нерушимо, но кто поручится за сердце юноши восемнадцати лет! Ты разобьешь жизнь лучшей из лучших девушек. В твоем возрасте любовь — охапка соломы, горящая ярко, но сгорающая быстро. Кто знает, небесная или фаустовская страсть снизошла на тебя. Увы, ты сам можешь заблуждаться. Увлечение одурманивает наш рассудок.

— Но, отец...

— Не прерывай меня. Опыт твоей жизни в Бонне — тяжелый приговор. Способен ли ты к житейскому счастью? Можешь ли сделать счастливой свою жену и детей, которые будут у вас? О Карл, я полон страха за твое будущее. Подожди взваливать на свои неокрепшие плечи сладкую, но тяжелую ношу брака. Вестфалены знатны и бедны. То и другое может стать причиной страданий для вас обоих. Ты — всего лишь сын адвоката. Ты тоже беден. Не нужно, Карл, закрывать глаза на наше положение. Я стар, главное — болен. Какие-нибудь двадцать тысяч талеров на всю семью — все, что я оставлю вам.

Думал ли ты о сестрах?.. А братья? Эдуард одной ногой в могиле... Мать достойна того, чтобы дожить свой век без забот о насущном хлебе. Ты — главная надежда моей жизни, моя гордость и радость — в восемнадцать лет связываешь свое сердце, предопределяешь свое будущее.

— Я горжусь тем, что Женни меня любит, — с пылкой решительностью ответил Карл, отбрасывая доводы отца.

Юстиции советник знал сына. В словах Карла прозвучала такая непреклонность, что переубеждать его было бесполезно.

— Хорошо, — сказал Генрих Маркс, сдаваясь, — Женни, более чем кто-либо другой, рождена для счастья. Если ты сумеешь дать ей это счастье, твой отец умрет спокойно. Докажи! Я так верю в тебя и столько от тебя жду, мое дитя...

Карл несколько раз поцеловал его.

Он рассказал отцу все без утайки. Решено было тайного обручения с Женни не разглашать, осторожно подготовить Вестфаленов к этому известию. Юстиции советник обещал помочь сыну охранять девушку, когда Карл уедет в Берлин продолжать учение.

Старику, однако, было нелегко примириться с мыслью, что о происшедшем не знали родители невесты.

Карл лег в постель лишь с восходом солнца и, прежде чем уснуть, отыскал в томике Шелли любимые стихи:

И я решил быть твердым навсегда...
И стал я накоплять с того мгновенья
Познанья из запретных рудников.
К тиранам полон был пренебреженья,
Не принимал мой ум пустых их слов.
И для души в тех горницах сокрытых
Себе сковал я светлую броню
Из чаяний, из мыслей, вместе слитых,
Которым никогда не изменю;
  Я рос, но вдруг почувствовал однажды,
  Что я один, что дух мой полон жажды...
В груди был лед, покуда я, любя,
Не ожил под лучом, узнав тебя.
О друг мой, как над лугом омертвелым,
Ты в сердце у меня весну зажгла,
Вся — красота, одним движеньем смелым
Ты, вольная, оковы порвала.
Условности презрела ты и ясно,
Как вольный луч, прошла меж облаков.

# КНИГА ВТОРАЯ

## *Глава первая*

## ИОГАНН СТОК

### 1

Сток нащупал в полутьме кровать и лег. Нелегко было поднять стиснутые кандалами, ставшие чужими и грузными ноги. Болело избитое тело, жгли незаживающие ссадины. В мозгу назойливо покачивалось колючее: «Светло, светло...»

Почему именно это слово дрожало в ушах?.. Сток не знал, да и не спрашивал себя. Он ни о чем не думал.

Переступая порог тюрьмы, Сток жадно старался захватить с собой и дымчатый вечерний цвет неба, и унылый скрип пароходного колеса, и заплаканное лицо Женевьевы... Но, очутившись за крепостной стеной, он сразу позабыл все. Мимо облупившейся яично-желтой караулки, мимо полосатых будок часовых его провели в канцелярию тюрьмы.

В низкой комнате было душно и накурено. На узком рябом столе спал дежурный офицер. Стража почтительно ждала его пробуждения, и Сток мог осмотреться вокруг.

Прямо против дверей висели на стене шашки, громоздкий пистолет и тонкие коричневые змеевидные ремни. Гладкие крепкие палки стояли прислоненные к подоконнику.

Сток поежился, вспомнив рассказы о страшных избиениях в тюрьмах, но ремни и палки притягивали его

взгляд. В углу под ремнями лежали рядами кандалы, наручники, цепи.

Офицер проснулся, сполз со стола. Запахивая полы мундира, чертыхаясь, он подошел к Стоку и, зевая, спросил:

— Дворянин?

Сток зло выпрямился.

— Плебей.

Выслушав ответ, офицер раскурил папироску и, казалось, перестал обращать внимание на портного. Курил он долго и непрерывно шагал по комнате, выпятив грудь, поворачиваясь на каблуках, как на параде. Монотонная маршировка офицера казалась издевкой.

С последним выдохом дыма заспанное и тупое выражение исчезло с офицерского лица.

— Эй ты, кривоногий, руки по швам! — скомандовал он Стоку и приказал позвать смотрителя башни.

Тот вскоре явился.

Сток тщательно пытался разобраться в этих новых людях, которым отныне принадлежал. Он стал рабом тюрьмы, дежурного офицера, смотрителя Штерринга. Глаза Стока замечали только мундиры, сапоги, очертания голов, методичность движений, выправку тюремной администрации. Узник воспринимал людей как страшные части единого механизма, называемого немецкой монархией.

Их лица ему ничего не говорили, — они были бездушны, как кандалы, цепи, палки, как рукоятки ремней, более или менее нарядные.

У смотрителя Штерринга были, однако, отличные зубы, были глаза, чтобы целиться без промаха, была годная для поклонов голова. Были ли под прилизанными волосами, причесанными на пробор, мысли и чувства, Сток себе не представлял.

Петер Штерринг внимательно разглядывал арестанта и, казалось, медленно соображал что-то.

— Раздевайся!

Сток расстегнул рубаху и стащил сапоги.

— Все снимай. Дурень!

Холодная рука ощупала бедро портного.

— Нагнись!

Сток стоял неподвижно.

— Обыскать... тело... — сказал офицер, наклоняясь.

— Нагнись! — Надзиратель неожиданным ударом по животу согнул арестанта.

С трудом выпрямившись, Сток безучастно стоял, оголенный, посреди комнаты. Кожа пожелтела от холода.

Ему бросили грязную арестантскую куртку, туфли из конской, плохо выделанной кожи и черные шаровары.

— Живей одевайся! — приказал Штерринг и отвесил портному гулкую пощечину, чтоб был попроворней.

Но Сток внезапно рассвирепел. Он бросился на Штерринга. Дежурный офицер и два конвоира без труда повалили арестанта на пол. Тогда Штерринг ударил Стока сапогом в живот и в голову. Каблуком смотритель выбил ему три передних зуба. Кровь хлынула из десен. Офицер бил Иоганна палкой.

Когда избиение кончилось, надзиратель проверил замки на кандалах бунтовщика.

Избитый, едва волоча ноги, подталкиваемый стражей, Сток плелся по темным переходам тюрьмы, по узким, пахнущим крысиным пометом лестницам, мимо отводящих глаза часовых, в башню, где содержались особо важные преступники Гессенского княжества.

Его тошнило от побоев, от непривычного, насыщенного аммиаком и вонью отхожих ведер воздуха.

Сток вовсе не был избалован. Воздух, которым привык дышать портной, не был напоен ароматами. Вонь стояла в предместье Круа-Русс. Дегтем, навозом и свинарником пропахли дворы на окраине Дармштадта.

Но то были запахи жизни. Воздух казематов был мертв. В течение нескольких столетий здесь все разлагалось. Смерть стояла рядом, как в морге.

Надзиратель открыл камеру № 23 и втолкнул в нее арестанта. Сток опустился на деревянную койку — оцепенелый, полумертвый. На смену возмущению, злобе, проклятиям пришло бездумье. В пустоте качается: «Светло, светло...» В камере полумрак.

Так проходят для Стока часы. Снова проскрипел засов, и открылась дверь. Хожалый поставил еду на табурет рядом с койкой. Легкий шум, производимый движениями человека, вернул Стоку ощущение действительности. Заключенный попросил у ключника воды, и тот, не произнося, согласно правилам, ни слова, подвинул ему кувшин и кружку. Сток с удивлением разобрал на глине

выцарапанные ножом косые слова на французском языке: «Свобода, равенство, братство».

Кто вывел их на кружке? Сток не умел фантазировать и строить догадки. Воображение у него было бедное. Но слова растревожили его.

«Свобода, равенство, братство...»

В тюрьме смысл этих слов казался зловещим.

Отставив кружку, Сток привстал и осмотрел место своего заключения.

Вытянув руки в стороны, он касался стен каземата, а подняв руку, доставал до потолка.

Каменный ящик был недавно выкрашен, но надписи и рисунки все же вновь проступили на стенах. Сток разобрал десятка два имен и несколько библейских изречений.

«Все суета сует и томление духа», — писали его неведомые предшественники.

В углу у двери стояло ведро, густо вымазанное внутри дегтем и наполненное водой. Доска закрывала его лишь наполовину.

Окошечко выходило на тюремный двор и упиралось в противоположный тюремный корпус. Там висел фонарь. Его свет попадал в камеру портного. Преодолев боль, Сток взобрался на табурет и, ухватившись за решетку, прикрывавшую форточку, заглянул вниз. Он увидел лишь грязный пятнистый фонарь и сточную трубу.

Размеры камеры не позволяли Стоку ходьбой размять затекшие ноги. Он снова лег, но вскоре со стоном привстал.

Щели деревянного настила были полны клопов. Остатки прелой провонявшей соломы вылезали из старого чехла, на каждом стебле жили насекомые. Борьба с паразитами продолжалась до рассвета. Сток давил их руками. Он затыкал щели хлебным мякишем. Тщетно стучал он в дверь и кричал, требуя смотрителя.

Утром снова вошел ключник. Сток получил кипяток, хлеб и швабру, которой смог вымести сырую камеру, ползая на четвереньках.

Так началась для него пытка одиночеством.

На третий день заключения Стока смотритель верхней башни Петер Штерринг был с рассвета на ногах. Несмотря на возбуждение, его гладкое пухлое лицо скопца оставалось по-обычному нежно-румяным и голубенькие

кроткие глаза смотрели прямо и спокойно. День обещал ему многое. Ночью ощенилась его стареющая сука Ниобея. Петер Штерринг выпил всего одну чашку кофе и не доел бутерброда — он торопился в кухню. Служанка еще спала, и надзиратель сам наполнил доверху водой деревянную лохань. Он заботливо снял китель, надел фартук и принес из чулана пять маленьких, тщательно приглаженных ласковым материнским языком щенят. Они доверчиво тыкались незрячими мордочками в его ладони и просительно повизгивали. Штерринг положил их на холстяной коврик и пошел запереть на крючок чулан. В последний раз познавшая материнство старая Ниобея неистово царапалась в дверь и протяжно выла.

Не торопясь, поудобнее усевшись на стул подле лохани, тюремный надзиратель принялся за дело.

Слепые и неумелые щенята робко боролись за жизнь и, быстро захлебываясь, судорожно, но покорно умирали на дне. Штерринг не мигая смотрел на их короткую агонию. Глаза его были неподвижны и мягкие щеки розовели. Пятого, последнего щенка — хилую сучку — он долго гладил, трепал и разглядывал. Он даже налил на блюдце немного молока и, обмакнув в него пальцы, сунул их щенку. Другой рукой он извлек из воды четыре трупика и, таким образом освободив место, бросил в лохань последыша. Сучка яростно хотела жить. Она долго барахталась, по-рыбьи раскрывая пухлую пасть, обнажая беззубые молочные десны.

Штерринг не долго интересовался упорством, с которым щенок боролся за жизнь, и щелкнул его по темени. Когда расправа в кухне была окончена, Штерринг выпустил из чулана осиротевшую мать и позволил ей оплакивать детей.

Не обращая внимания на вой, надзиратель достал штоф с вином и выпил добрых два стакана. Без этого Штерринг не начинал делового дня. Как всегда, напившись, он принялся размышлять о тщете земного существования и о том, что если не топить собак, то они вытеснят людей.

Штерринг жил неподалеку от тюрьмы. Просыпаясь, он искал в окне ее суровые контуры. Тюрьма олицетворяла для него силу, мощь, гордость государства. Надзиратель гордился тем, что имеет беспрепятственный доступ

туда, куда вхожи лишь очень знатные персоны (бургомистр, например).

Тюрьма была главной достопримечательностью города. Она возвышалась над всеми строениями, и первые лучи солнца начинали свой спуск в долину, в город, с ее бурых башен, шпилей и стен.

Легенды, как паутина, оплели феодальный замок, превратившийся с веками в крепостную тюрьму княжества. Но Штерринг с досадой замечал, что жители города недостаточно чтят олицетворенную мощь монархии и забывают о каменной громаде, увенчавшей холм. Так кладбищенский сторож свыкается с могилами и смертью, которую охраняет.

Не почитая в должной мере тюрьмы, жители города недостаточно заискивали и перед Штеррингом. Мясник грозил ему судом за возросшие долги, поставщик вина драл три шкуры. И надзиратель Штерринг горевал о падении нравов, проклинал бунтарские влияния и мечтал высечь и посадить под тюремный замок весь город. В том, что каждый человек заслуживает порки и отсидки, он не сомневался. Люди в его сознании делились на пойманных и непойманных преступников.

«В качестве предохранительной меры полезно было бы каждого юношу и девицу простого звания сечь хоть раз в год. Это избавило бы их от многих ошибок и создало бы нацию крепкую и преданную королям», — рассуждал Штерринг, проходя по узким веселым улочкам, мимо свежевыстиранного, сохнущего на ветру белья.

В уличных пролетах перед надзирателем открывался вид на тюрьму. Она была видна отовсюду — большая, неровная, высившаяся, как скала.

Под нею находилось еврейское гетто. После пронесшейся над ним летом холеры гетто казалось обезлюдевшим. Надзиратель с удовольствием подсчитывал мертвые, пустые лачуги, обмазанные известью. Навстречу ему попался горбатый еврейский мальчик.

— У, христопродавцы! — выругался Штерринг и щелкнул ребенка по горбу. — Холера вас не взяла! Сами не мрете, а христиан заражаете.

Мальчик заплакал и бросился бежать.

Штерринга знали в гетто.

Неподалеку от тюремного рва расположился балаган бродячих актеров, дававших по вечерам представления.

Несмотря на холод, актеры толпились подле уличного фонтана, черпая воду и умываясь тут же.

Штеррингу все они показались подозрительными.

«Слишком много людей развелось на земле — актеров, евреев... Немцу некуда ступить», — подумал надзиратель.

У ворот тюрьмы ему повстречался узконосый, юркий, как вороненок, пастор.

— Я думаю, господин Эрдельс, — заговорил Штерринг, — что если бы господь послал мор, этакую чуму, что ли, на демагогов, бунтовщиков и евреев, то Германия стала бы великой страной, и весь мир признал бы это.

— Ваши мысли недостаточно человеколюбивы, но что касается евреев, то разве господь не отвратил давно от них своих очей? По правде говоря, еврейский бог тот же сатана.

— Господь терпелив, господин пастор. Он, по-моему, чересчур терпелив.

К разговаривающим, гордо выпятив живот, подошел тюремный врач. Надзиратель смолк.

— Скольких сегодня? — спросил пастор многозначительно.

— Девятерых, — отрапортовал Штерринг.

— Отлично! — обрадовался врач. — Госпожа бургомистерша освободится лишь в девять часов. Она — святая женщина, и ничто на свете не может помешать ее утренней молитве в божьем храме.

— Было бы печально, если б эта богомольная дама пропустила столь высоконравственное зрелище, — прибавил пастор и, возведя очи горе, медленно, вместе с доктором, пошел к главному тюремному входу.

Штерринг, взяв под козырек, откланялся и опередил их. Ему надлежало проверить приготовления и отобрать намеченных арестантов.

В просторной, выложенной добротными каменными плитками полуподвальной камере все было уже готово. Вдоль стен стояли деревянные узкие стулья и овальные, обитые зеленым репсом, кресла для приглашенных дам. Низкая, в человеческий рост длиной, похожая не то на плаху, не то на стол хирурга, скамья была безупречно чиста. Длинные ремни блестели, как сапоги надзирателя, Штерринг предпочел желтовато-белые тонкие палки. При-

чмокнув губами, он взял палку в руки, согнул чуть-чуть и выпустил конец. Удар послушно лег посредине скамьи.

— Неплохо! — похвалил себя надзиратель и пошел в верхнюю башню.

Сток, уставший от бесплодных мыслей о побеге, наблюдал на рассвете возню зеленовато-серых, похожих на комья мха, полевых мышей.

Маленькие ручные создания весело бегали по столу, подбирали оставленные для них крошки хлеба, прыгали на кровать и, взбираясь на подушку, в уровень с лицом Стока, ласково заглядывали ему в глаза. Давно привыкшие делить досуг и пищу арестантов, они охотно подставляли жестким рукам портного свои мохнатые спинки. Сток, закинув голову, следил за ленивыми движениями выползавшей из стены сороконожки. Рядом с ней прял паутину седой паук. Сток словно впервые видел мелочи мира.

«Мало нужно человеку, когда он лишен всего, — думал портной. — Я — как тот заживо погребенный, что, очнувшись в гробу, обрадовался могильному червю. Однако всякое создание природы — чудесно. Даже эти клопы, даже гробовой червь...»

Надзиратель Штерринг прервал думы портного. Оттеснив ключника Ганса, он появился на пороге камеры № 23 и, сняв кандалы Стока, приказал ему идти. Допрос?.. Одуряющая радость охватила узника. Освобождение... свидание...

«Изверги, вампиры! Вы не задушите живой мысли, не погасите протеста в наших душах — в душах обездоленных и нищих, в душах тех, кто работает на вас, кого вы сделали рабами. Мы более люди, чем вы, и нас миллионы», — хотел сказать на допросе Сток.

Он представлял себя великим разоблачителем деспотизма. Но если его ведут не на допрос, то, может быть, на свиданье. С кем? С Женевьевой, с Войцеком? На свободе ли они?

Сток шел, несмотря на то что ослабевшие и дрожавшие ноги отказывались служить. Даже приметив какое-то необычное выражение тоски в глазах ключника Ганса, Иоганн ни на миг не насторожился, не задумался над тем, что его ожидало.

«Попало, видно, бедняге!» — решил портной.

За несколько дней заключения Сток убедился, что

ключник хоть и непомерно трусливый, но жалостливый человек. Он, единственный, иногда — полушепотом, односложно — отвечал на вопросы арестанта.

От него Иоганн впервые услыхал имя Георги, которое потом душило его, как неотвязный кошмарный призрак.

— Что Штерринг! — шептал Стоку ключник. — Вот следователь Георги... тому упаси господь попасться. Говорят, он тихий и богобоязненный, когда не пьян, но за пять лет службы я не видывал его трезвым. Господин Георги не уступает черту в умении поджаривать души грешников. А насчет побоев — первый у нас мастер.

Стока вели по длинным холодным коридорам, по крутым узким лестницам, то прямо, то вниз, то вдруг заставляли подниматься снова наверх. До сих пор узнику казалось, что каменный мешок, в который он брошен, это и есть вся тюрьма. Не соприкасаясь с внешним миром, он невольно забывал, что его темница была всего лишь одной из бесчисленных щелей огромного, как скала, тюремного замка.

Идя между Штеррингом и безыменным, безликим конвоиром по коридорам, пересекая этажи, Иоганн впервые понял, что арестантов сотни в одной только башне. Камеры шли одна за другой, гнездились одна над другой. Тюрьма невнятно гудела, как осиный рой в дупле дерева.

За стенами, за каждой дверью, переплетенной ржавыми болтами, с квадратной деревянной форточкой, прикрывающей слюдяной глазок, Сток угадывал человеческое дыхание, скрип кандалов, видел неясный силуэт с понуро склоненной головой. В руках арестантов были мотки шерсти, брошенные им надзирателем с грубым повелением прясть ткань на арестантские куртки.

Иоганн всего лишь накануне получил такой приказ, но от наручников пальцы дрожали, не слушались, — он не мог прясть.

На лестнице Сток внезапно остановился и растерянно обвел глазами стены и перила. Откуда-то до него донесся игривый женский смех. Смех — в тюрьме! Значит, стены не так уж толсты и непроницаемы. Значит, где-то тут же рядом живут на свободе люди. Узник посмотрел на самодовольную плотную спину Штерринга и на безжизненного, неразличимого, как выступ стены, конвоира. Таковы свободные люди тюрем. Они, пожалуй, способны смеяться в тюрьме.

Петер Штерринг привел Стока в тюремную баню и приказал ему вымыться в большом чане.

Надзиратель самолично выдал ему мыло и серую сухую тряпку вместо полотенца. Потом безучастный, аккуратненький доктор осмотрел Стока, выслушал его сердце и постучал по ребрам.

— Выдержит,— сказал он и ушел.

Сток не понял.

Все происходящее он воспринимал как добрые предзнаменования.

Ожидание необычного, почти чуда, не покидало арестанта. Чем меньше было впечатлений, тем напряженнее становилась внутренняя жизнь портного. Он гнал от себя всякое печальное предчувствие и отдавался радостным надеждам.

Штерринг и после мытья не стал заковывать арестанта и даже заговорил с ним:

— Искусан весь. Совестно показывать людям.

— Куда меня ведут? — спросил Сток, безотчетно вздрагивая.

— Вильком![1] Добро пожаловать!

Штерринг поклонился и открыл дверь, ведущую в зал пыток. Сток схватился за перила лестницы. Он все понял. Его ожидала публичная порка. Сток вспомнил рассказы Бюхнера об этом страшном правиле, узаконенном в немецких тюрьмах. Вспомнил сумасшедшую нищую Гертруду на улицах Дармштадта; она лишилась рассудка после тюремной порки. Он вспомнил борцов за свободу, которые получали двадцать ударов «вилькома» и десять «абшида».

Таков кошмарный обычай. Такова участь всякого, за кем захлопнулись ворота тюрьмы, независимо от вины и ожидающего его наказания.

Вильком — «добро пожаловать».

Абшид — «прощай».

Без четверти восемь к главному тюремному входу подъехала первая коляска гостей. Из квадратного эки-

---

[1] Вильком и абшид — обычай, существовавший в прусских тюрьмах, согласно которому каждый арестованный, попадая в тюрьму, независимо от суда и следствия, подвергался публичному телесному наказанию при заключении в тюрьму и перед выходом из нее.

пажа выпрыгнула нарядная дама и за нею девочка-подросток в розовом салопчике.

— Мы так спешили, так боялись опоздать! — скороговоркой рапортовала дамочка дородному начальнику тюрьмы, который по случаю торжественного дня был с утра при всех орденах.

Орденов у него было более дюжины, не умещаясь на груди, они висели под двойным подбородком и на сановном животе. Бледное плоское лицо начальника тюрьмы ничего не выражало.

— Мы так торопились! Я сочла полезным показать дочери столь назидательное для молодежи зрелище, — продолжала дама, разглядывая в стекло канцелярской двери свои нарумяненные и неряшливо напудренные щеки.

Начальник тюрьмы проводил гостей в подвальный зал и усадил в кресла. Он учтиво извинился за сырой воздух подвального помещения. Дама и девочка вынули из корзиночек вязание и принялись рукодельничать. Вскоре комната наполнилась людьми. Прибывшие все были коротко знакомы между собой. Многие из них всего несколько часов назад танцевали вместе на превосходном балу в ратуше. Разговор то и дело возвращался к вчерашнему котильону и приключению с госпожой Фрид, у которой оторвалась оборка. От огорчения и стыда бедняжка упала в обморок.

Тюремные часы пробили восемь.

В назначенный для экзекуции час появились пастор и доктор. Церемонно раскланявшись, они заняли особые места. Доктор поставил на стул чемоданчик с инструментами и лекарствами, по залу разнесся запах нашатырного спирта и арники.

— В наших тюрьмах продолжают придерживаться дедовской медицины, предпочитая всем способам лечения — кровопускание, — заметил адъютант местного князя.

Острота пришлась всем по вкусу. Дольше всех смеялся начальник тюрьмы. Даже надзиратель Штерринг осмелился почтительно улыбнуться. Он стоял, готовый действовать, выпятив грудь и выжидательно сложив оголенные до локтей руки. Дамы награждали его восхищенными взглядами: «Какой превосходный экземпляр муж-

ской силы и красоты! Какая грудь и какие мощные руки!»

Церемония «вилькома» долго не начиналась.

Сопротивление намеченных к порке людей вызвало заминку. Покуда их «укрощали», дамы старались побороть волнение болтовней.

— Как хорошо, что сегодня будут наказывать только мужчин! Вчера в женском корпусе пороли женщин. Ах, негодницы! Дойти до такого срама! Одна была бела, как Гретхен, но и порочна не менее, чем она. Влюбилась в княжеского кучера и повела себя как последняя потаскушка. Стыдно рассказывать подробности — они так отвратительны. Таких женщин стоит пороть до смерти... У меня у самой чесались руки. Я бы ей показала!

— При мне наказывали старуху, ту, которая украла кусок мяса. После нее пороли еще какую-то тварь. Мерзавки визжали и пробовали кусаться. Я не люблю смотреть, когда секут женщин. Эти самки обычно так уродливы! Они орут, и мне всегда хочется кричать и бить их. Поверите ли, я так волнуюсь!

— Однако, дорогая, вы никогда не пропускаете возможности поволноваться.

— Еще бы! Право, мне не приходилось видеть что-либо более поучительное. Мы присутствуем здесь при справедливом возмездии злу. Так страшно думать о карах, которые ждут грешников не только на земле, но и в аду.

— Но добродетели нечего бояться, — язвительно заметила жена начальника тюрьмы.

— Я привезла свою дочь, чтобы она увидела сама, к чему приводят заблуждения духа и плоти. Это принесет ей пользу не меньшую, чем проповедь лучших церковнослужителей.

— Вы правы. Вы безусловно правы!

Лица дам, несмотря на религиозные побуждения, которые привели их на тюремный «вильком», отражали все более нараставшее возбуждение. Руки, занятые рукоделием, все чаще путали стежки, опущенные глаза блестели.

Стока должны были сечь первым.

— Ре-во-лю-ционеры — упрямейшие и отважные негодяи! — сокрушенно поведал обществу начальник тюрьмы.

Стока втащили четыре конвоира и привязали к поперечным перекладинам. Он был ослаблен борьбой на лестнице и с трудом мог шевельнуть головой. Его разглядывали, как тушу, и он почувствовал это. Не боль, а ненависть вызвала его первый стон. Но он собрал все силы, чтобы молчать. О чем просить врагов, которых нужно уничтожать?! Взывать к их жалости еще более унизительно, чем быть выпоротым на их глазах. Так думал Сток.

Начальник тюрьмы, боявшийся революционных проповедей превыше ада, приказал надзирателю не медлить. Петер Штерринг неоднократно выверенным, ловким движением обнажил спину наказуемого и спустил ему шаровары ровно настолько, чтобы не конфузить дам. Сток лежал ничком, почти прикасаясь лицом к полу. Он дрожал от ярости, от унижения. Он не мог сдержать слез, острых, режущих, усугубляющих мучение. Впрочем, никто не видел, что он плачет. Никто не замечал искаженного лица истязуемого. Зрители видели только обнаженный кусок тела. И Сток чувствовал уколы этих чужих, страшных глаз.

— Какое нежное тело! — прошептала одна из дам с восхищением и прижалась плечом к своему дородному кавалеру.

— Он нехорош собой — настоящий портняжка. Кривоногий и такой волосатый. Спина обезьяны, — оспаривала другая.

Потом стало тихо. Сток зажмурил глаза. Страшнее, чем самый удар, ожидание. Страх, испуг каждой клеточки тела был больнее, чем прикосновение палки. Стоку казалось, что кровь его твердеет, что он сейчас перестанет дышать. Только бы скорее, только бы перестать чувствовать, думать... смерть не страшила.

Петер Штерринг легко вскинул палку и изо всей силы полоснул спину Стока. Кровавый след, точно глубокий надрез, остался на съежившемся теле. Тихий сладострастный вздох пробежал по залу. Заплакала косоглазая девочка в оборчатых, спускающихся до туфель панталончиках. Мать остервенело дергала ее за ухо.

Бургомистерша блаженно улыбнулась. Пот проступил на нежном гладком лбу Штерринга.

...Восьмой... девятый... десятый удар.

Спина Стока превратилась в кусок свежего фиолетового мяса.

— Недожаренный бифштекс, — пошутил адъютант местного князя. Он был, однако, бледен и говорил сквозь зубы.

Сток больше ничего не чувствовал. Глаза его закатились. К счастью для него, он потерял сознание. Доктор приподнял его голову, пощупал пульс и велел прекратить экзекуцию на пятнадцатом ударе.

На смену Стоку бросили на скамью сутулого старика, подозреваемого в воровстве. Он тихонько выл.

— Поберегите силы, ведь еще восемь, — посоветовал доктор Петеру Штеррингу.

— Не беспокойтесь! Мои мускулы никогда не слабеют, — бахвалился палач.

К Стоку возвратилось сознание, лишь когда он снова очутился в камере.

Он не знал, как и когда приволокли и бросили его на койку. Он долго силился вспомнить все, что произошло с ним. Почему нестерпимо горит спина, почему прилипла к телу холщовая арестантская рубаха?

Вдруг он снова увидел перед собой похотливые лица женщин и вскинутую над ним руку надзирателя.

— Зачем же жить?! — закричал Сток. Он не мог больше молчать.

Он говорил, обращаясь к себе самому по имени, в напыщенной декламации находя исход своему отчаянию, ощущению полного своего бессилия. Так декламирует больной перед наступлением кризиса, когда боль не достигла еще крайнего предела.

— Жечь их, уничтожать, взрывать!.. Палачи! Вампиры!.. Но что может сделать Сток... Не лучше ли было мирно обшивать дармштадтских извозчиков, накопить деньгу, построить домик?.. Нет, нет! Миллион раз нет! Разве одного Стока избивают в тюрьмах Германии?..

Негодование, сомнения и жалобы странно перемежались. Иоганн хотел плакать. Не было слез. Хотел кричать. Пересохшее горло охрипло. Он грыз подушку, истерически вздрагивая. К ночи, когда Ганс-ключник принес арестанту кипяток и хлеб, он нашел Стока в бреду, в лихорадке.

Портной снова взбирался на гору в дармштадтском лесу. Он торопился в пещеру на собрание тайного

общества. Но опавшие иглы сосен скользили под ногами и растягивались, крепли и, превращаясь в исполинские ремни, обвивали тело. Сток пробовал вырваться, бежать. Тщетно. Деревья сбрасывали кору. Их стволы оголены и желты, как палки Штерринга. Не было конца подъему, не было конца борьбе с ржавыми иглами, с деревьями-палками. Избитый, преследуемый Сток падал, полз на четвереньках, на животе — вверх и вверх. Потом вдруг срывался и принимался ползти вновь. Он торопился предупредить Бюхнера о том, что Конрад Куль — предатель. Никто не знал об этом. Никто, кроме него, Стока. Потом лес исчез, и Сток видел себя в доме старой Катерины. Он прял, прял и пел:

Все люди равны на земле,
И богатые и бедные.
Для всех земля и воздух,
Для всех хлад могилы.

Иоганн Сток не умер от побоев и нервной горячки. Он поседел, но не знал об этом. Глаза его ушли глубже и смотрели еще более угрюмо. Он стал раздражителен, и, когда Штерринг однажды вошел в камеру № 23, Сток бросился на него, размахивая наручниками и отчаянно ругаясь. За это его отправили на трое суток в тюремное подземелье — карцер. Особенность этого помещения состояла в том, что пол его был одним из орудий пытки. Каменные плиты образовывали углы, и заключенные в совершенной темноте то и дело натыкались на острые каменные ребра.

Но Сток безучастно отнесся к этому новому испытанию.

Сток привык к тюрьме. Тело его обессилело.

Вернулся портной из карцера еще более сутулым и безразличным ко всему. Он приобрел старческие привычки и мог подолгу сидеть, понуро сгорбившись, вытянув ненужные, мешающие ноги. За время его отсидки в карцере щели в полу были заделаны, и мыши больше не могли делить с ним его одиночество. Штерринг, узнав об этой единственной привязанности арестанта, велел очистить от мышей камеру № 23. Впрочем, приближалась весна, и мыши все равно собирались перекочевывать до осени на ближайшие поля.

Сток отчаянно боролся с наступающей апатией. Чтобы не погружаться в бездумье, он без конца перебирал прошлое. Воскрешал детство, лица умерших родителей, обрывки позабытых разговоров, снова бродяжил по Швейцарии, пробирался на Рону, в Лион. Снова ночевал на гумнах постоялых дворов, штопал и чинил за прокорм лохмотья деревенских жителей, бегал в кусты целоваться с беспричинно хохочущими податливыми девушками. Еще раз пережил он Лионское восстание, сражался на баррикадах Круа-Русс, обнимал Женевьеву на берегу реки.

Он без конца думал о прошлом. То, что в жизни случилось хоть раз и мимолетно, в тюрьме было пережито многократно, и так как новых впечатлений не было, старое возникало вновь и вновь, заполняя собой все помыслы узника.

Ожесточенная борьба с насекомыми изводила Стока. Ему удавалось в течение суток проспать три-четыре часа спокойно. Никогда дни и ночи не пробегали для портного с такой быстротой, как в тюрьме.

Просыпаясь поутру, он не мог определить, что случится с ним, что будет его мучить в этот день и о чем он будет думать. Сток не считал дней. «Я молод, наверстаю потерянное время»,— говорил он себе, отгоняя страх.

С маниакальной неотступностью думал Сток о побеге. Тщетные надежды! Вот уже более ста лет, как не насчитывалось ни одного удачно кончившегося побега из этой крепости. Но Сток не переставал надеяться. Он был уверен, что со временем найдет способ вырваться на волю. Эта уверенность давала силы ждать. Ведь будут когда-нибудь свидания с родными, может быть, прогулки. Он не знал еще немецких тюрем. Сток ждал.

Однажды, вынося отхожее ведро, Иоганн столкнулся в коридоре с другим заключенным.

— Брат,— задыхаясь, шепнул портной,— кто ты?

— Я...

Сток не уловил ответа. Хожалый появился из-за угла. Арестанты отпрянули друг от друга. Однако Иоганн вернулся в камеру, полный неопределенных надежд и радости.

В камеру следом за ним вошел новый хожалый и принялся продувать стекло от лампы и протирать его старательно ершиком.

— Послушай,— сказал ему Сток,— ты такой же бедняк, как и я. Мы — братья по нищете и бесправию.

Хожалый не стал слушать и торопливо выскочил из камеры.

«Задело,— подумал Иоганн. — Задело, да трусит. Есть у него, верно, жена, дети, мечтает о выслуге, о чине надзирателя. Будет пороть таких, как я, будет напиваться, чтоб не мучила совесть».

Вместе с появлением нового хожалого участились визиты смотрителя Штерринга. Его ясные глаза то и дело появлялись в форточке двери. Он неожиданно отпирал камеру и, угрожающе размахивая кулаком, появлялся перед заключенным.

— Хорошо живешь,— говорил он зловеще, если камера оказывалась сравнительно чистой и смрад в ней не душил.

Тогда хожалый, выглядывающий из-за плеча Штерринга, разражался проклятиями и буйствовал до тех пор, пока сам надзиратель не укрощал его. Но, несмотря на неутомимую старательность хожалого, Сток считал его гнев неопасным. «Выслуживается, а человек не злой. Один из гансов». Вспоминая его предшественника, Сток про себя всех трусливых, но совестливых людей называл этим именем.

В тюрьме портной оценил целебную силу снов. Сновидения значительно сокращали и облегчали ему одиночное заключение. Нередко, перед тем как заснуть, он так напряженно думал о побеге, что во сне мечта становилась явью. Пробуждаясь, он подолгу не мог осознать, где находится, и думал, что он на свободе. Сны спасали от отчаяния и точащей грусти. Он путал их с действительностью. Во сне он видел Женевьеву, обнимал ее. После такого свидания он просыпался с глазами, полными восторженных слез.

Однажды, когда на Стока снова напала тоска, которая точит мозг и уничтожает волю к жизни, вошел хожалый. Он принес с собой фонарь, воду, кусок хлеба на глиняном кувшине. Уходя, он невзначай замешкался в дверях и, неожиданно повернувшись к заключенному, шепнул:

— Сожги тотчас немедленно.

В руках Стока была записка.

Чудо! Ожидаемое чудо совершилось. Хожалый как бы по забывчивости оставил в камере и фонарь.

«Неграмотен. Воззвание подброшено. Отрицаю. Терпение»,— прочел портной и, позабыв всякую осторожность, принялся перечитывать дорогие слова, написанные печатными буквами незнакомой рукой.

Сток все еще разглядывал исписанный клочок бумаги, когда раздался скрип отодвигаемой форточки, закрывающей слюдяной глазок. Штерринг!

Не растерявшись, Сток сунул записку в рот и проглотил ее, когда надзиратель, заподозривший неладное, отпер дверь.

Стоку доставляло болезненное удовольствие наблюдать за собой и замечать, как покидают его силы. Более года он не дышал свежим воздухом. Столько же времени он не видел неба. Иногда случайно заблудившийся луч солнца прорывался в камеру и прыгал, румяня стену. Иногда в окно залетал комар и своим звоном разрывал мертвую тишину каменной башни. Сток не мешал комару кусать его. Комары напоминали ему долину реки Роны в летние вечера. И когда маленький кровопийца, насытившись, улетал к окну, Сток приподымался, стараясь догнать и вернуть его.

Сток сознавал всю искусственность и преувеличенность своих радостей и огорчений в тюрьме, но с ними ему было легче. Напряженность и сосредоточенность жизни арестанта имеют свой предел, за которым следуют равнодушие и страшная опустошенность. Иоганн боялся этого рубежа и с ужасом замечал, как деревенеет его тело, как даже физическая боль начинает казаться отдаленной, едва касающейся.

В страшном принудительном молчании он начал находить убежище, в котором лениво ютились не вызываемые к жизни мысли. Тем более потрясла его переданная хожалым записка. Но вместе с радостью он испытал ощущение почти физического страдания. Его возвращали силой к жизни.

Сток, волнуясь, ждал с рассвета прихода хожалого, но тот, однако, не допустил никаких разговоров и по-прежнему свирепо ругал арестанта. По коридору в это время прохаживался Штерринг.

В сумерки портного впервые взяли на допрос.

Когда после долгих месяцев неподвижности Стока вели по коридору, его оглушили голоса людей и сутолока.

Он разучился ходить и при виде лестницы испуганно попятился. Закружилась голова.

К кандалам он привык настолько, что их тяжесть казалась ему тяжестью собственного тела.

Допрос был недолог.

— Ваше имя?

— Иоганн Вольфганг Сток.

— Ваш возраст?

— Двадцать четыре года.

— Ваша профессия?

Сток ответил словами Бланки:

— Пролетарий.

— Это не занятие.

— Это почетнейшая из профессий. Ею занимаются миллионы людей, живущих своим трудом и лишенных всяких прав.

— Ого! Где вы начитались такой премудрости?

— Я неграмотен.

— Откуда же почерпнули вы свои бунтарские идеи?

— Деспотизм лишил нас всего. Но право мыслить осталось нашим. Я нашел истину своим умом.

— Это видно, потому что голова ваша забита дрянью. Но подобные мысли мы уже слыхали и читали. Знакомы ли вам некто Георг Бюхнер и пастор Вейдиг?

— Они жили недолго на одном дворе со мной, и мне пришлось не раз чинить платье этим почтенным господам.

— Мы знаем, что ты лжешь и отягощаешь свою участь упорством. Ты состоял членом «Общества прав человека». Ты бывал на конспиративных собраниях. Да почему и не бывать? Разве немцам воспрещено собираться? Ты ведь не обязан знать о преступных целях организации,— может быть, тебя обманом ввели туда. Итак, ты бывал в пещере на Господней горе в первую пятницу каждого месяца?

— Никогда.

— Ты знал о тайной типографии близ подворья Гюркнера? Отпирательство не приведет к добру. Ты молод, доверчив и легко мог стать жертвой преступников, не правда ли?

Сток молчал.

— Мы всё знаем. Вот показания твоих товарищей. Они не пощадили тебя. Читай!

— Я неграмотен.

— Ты сам навеки погребешь себя в тюрьме своей несговорчивостью.

Когда Стока после допроса увели, прокурор, прибывший из города, сказал начальнику тюрьмы, своему родственнику:

— Я сам человек радикальных воззрений, но какой жалкий вид они приобретают, когда становятся достоянием невежественных простолюдинов, крестьян! «Пролетарий», ха-ха! Тоже чин! И как плебейски звучит самое слово! Но какой прогресс, однако! Вместо того чтобы выпороть этого портного, я вежливо выслушиваю его демагогическую болтовню.

— Порем мы, — успокоило прокурора тюремное начальство.

Сток вернулся в камеру № 23 в крайнем возбуждении.

Допрос заставил его надеяться на то, что, может быть, будет суд.

— Неужели в Германии нет даже тени правосудия? — спрашивал он стены своей камеры.

На суде Сток мечтал произнести речь, которая кличем пронесется над миром обездоленных. Но портной не был красноречив. На ум приходили лишь слова, которые он слышал от других. И он повторял про себя выученные когда-то отрывки из речи Бланки на процессе «пятнадцати»:

«Меня обвиняют в том, что я поведал миллионам таких же, как я, пролетариев...»

— И крестьянам, — добавил Иоганн вслух, — об их праве на жизнь...

«Богатые считают, что бедные поступают нечестно, оказывая им сопротивление. Они думают про народ: вот животное, которое настолько свирепо, что, когда на него нападают, оно защищается».

Шли недели, допрос не возобновлялся. Хожалый был неумолимо молчалив. По соседству с камерой Стока появился человек. Он стучал по ночам. Портной тщетно силился понять, что бы это могло значить.

Стук был глухой, далекий, точно дятел завелся в башне.

Лето подходило к концу. Сток оброс жесткой бородой. Он кашлял и отхаркивал кровью.

О повторном допросе Иоганн не мог вспомнить без страшной муки. Его допрашивал сам Георги. Вспоминая

это пьяное чудовище, Сток невольно стискивал кулаки. Слезы бешенства падали на его густую бороду.

Георги сказал портному, что Женевьева выдала его. Если бы руки и ноги Стока были свободны... Следователь обозвал Женевьеву потаскушкой.

— За крейцер эту дуру может купить любой дармштадтский извозчик. Вот с кем ты жил, парень! — говорил Георги.

— Я вижу ваши дохлые головы на фонаре! — крикнул Сток палачу.

— Прежде чем это случится, я выпущу дух из твоей мерзкой шкуры,— смеялся Георги.

За дерзость Стока беспощадно избили.

Он проболел после допроса более месяца и, когда несколько оправился, с ужасом убедился, что он хромой.

Сток перестал ждать чуда. Дни, ночи — жизнь проходила мимо.

«Я молод, я успею!» — говорил он себе по-прежнему, но смысл этих слов был утрачен.

Как-то утром Сток нашел на своей койке монету. Она оказалась полой и была начинена запиской. Та же рука, которая предупредила его о поведении на допросе, писала:

«Жди перевода в другую тюрьму. На первой почтовой станции во время смены лошадей — беги. В стене подкоп. Воз с сеном».

Спустя какое-то количество времени, — Сток давно не считал часов, ночей и дней, — пришел в камеру Штерринг и снял кандалы с арестанта. Остались только наручники. Портной застонал от боли и едва смог двинуть освобожденными ногами. Чтоб у заключенного не появилось неосновательных надежд, надзиратель на прощание награждал его ударами всю дорогу до самой тюремной кареты, куда Стока бросили, как связку цепей.

Осенний воздух, тряска и дребезжание кареты изнуряли. Сток внезапно затосковал по камере № 23. В течение почти двух лет он мечтал о бегстве, о воле. Сейчас, когда освобождение приблизилось, он почувствовал себя обессиленным.

— Все равно! — шептал он.

В маленькое окошко Сток видел небо. Небо он любил больше всего. Он всегда шил у окна. Отводя усталые от шитья глаза, он искал небо.

Сток в тюрьме стал суеверен и болезненно подозрителен. Небо, казалось ему, пророчило неудачу. Он решил, что хожалый был подослан к нему Георги, что записку подбросил ему как испытание.

— Что ж, все равно! — шептал он, переходя от возбуждения к безразличию.

Тюремная карета, громыхая, спускалась в город. Прохожие сторонились и торопливо освобождали мостовую. Сток ловил испуганные, сострадательные и удовлетворенно-злые взгляды.

Наконец город, люди остались позади, исчезли. Навстречу попадались лишь по-зимнему хмурые дилижансы и покрытые холстом телеги с прикорнувшими на козлах возницами. Арестант не знал, куда и зачем его везут.

К ночи, под дождем, приехали на почтовый полустанок. В темноте конвоиры провели Стока в деревянный дом и заперли в дальней клети. У стены лежала охапка соломы. Сток лег; выждав некоторое время, принялся шарить руками. Все его помыслы сосредоточились на том, чтобы не зашумели цепи. Начались страшные поиски. Есть подкоп или нет? Провокация жандармов или верная помощь неведомых друзей? От волнения Сток застонал. Обман казался ему страшнее пыток Штерринга и Георги. Мысли нагоняли, прерывали одна другую.

Лучше умереть... Сколько раз он думал так, звал смерть — и оставался жить.

Слабость, Сток! Ты еще нужен, ты еще поборешься! О, только не тюрьма опять.

Рука арестанта проникла в пустоту. Солома закрывала дыру. Но Сток все еще не решался поверить. А вдруг ловушка?! Что ж, терять нечего. Побои... Он их больше не боится. Когда жизнь обесценена, дорога́ смерть.

Придерживая зубами цепь, он спустился в подполье. Он полз, глотая землю, пробиваясь головой, и наконец увидел звезду. Ночь прояснилась, но луны не было. В темноте он разглядел небольшой дворик и спину часового за углом дома. В двух шагах от Стока высился запряженный воз с сеном. Сток притаился. Заскрипел болт на воротах. Кто-то запел за оградой. Песню подхватили несколько голосов. Сток припал к мерзлой земле. Он целовал снег. Часовой скрылся за домом. Песня заглушила звон наручников. Арестант подполз к возу, приподнялся, разгреб руками колючее сено и нырнул в него.

Вскоре из сарая вышел молодой возница; нахлобучив фуражку, поклонился почтительно часовому, влез на козлы и погнал лошадей со двора.

Воз беспрепятственно выбрался из сонной деревни и, покачиваясь и вздрагивая, покатил по проселочной дороге.

2

Пауль говорил торопливо, увлеченно — умышленно не замечая насмешливого, деланного смеха своего спутника.

— Истинное величие духа, подлинный героизм, чистые нравы я встречал только в рабочем сословии. Туда не проникла зараза цивилизации. Там нет вонючей пошлости традиций и поддельного блеска нашего быта. Я убежден, что только бедняки спасут мир. С рабочих окраин, от этих дикарей с нетронутой, цельной душой придет новая цивилизация. Других источников нет. Наша планета вся исследована и занесена на карту. Открыты все материки. Нет более гуннов, чтоб обновить кровь современных римлян. Спасение — в наших рабах. Вот почему мы должны нести и распространять, как миссионеры, наше учение в классы, еще не исковерканные наукой и трусливою моралью. Интересы трудовых сословий потребуют изменения государственного строя в духе равенства. Разве не таковы же и наши цели?

Фриц, перестав смеяться, принялся насвистывать арию Фигаро из россиниевского «Цирюльника». Пауль пожал недоуменно плечами и продолжал развивать свою мысль, обращаясь более всего к самому себе:

— Да, мы не хотим довольствоваться ролью театрального героя, который за счет народа ковал свое счастье, изменяя так или иначе пункты конституции. Цель наша — радикально-социальная и политическая эмансипация трудящихся классов...

— Ты ослеплен, Пауль, — прервал внезапно Фриц. — Твои обновляющие мир рабы кривоноги и хилы, твои римляне так же мало походят на Брутов и Цезарей, как, впрочем, и какой-нибудь итальянский лаццарони. Они пьют запоем и дохнут под заборами подобно бездомным псам. Твой идеал уродлив, порожден мелким барским раскаянием, пресыщением и дамской филантропией.

— Нет, Фриц, дело не в плоти, а в духе. Тело рабочего окрепнет. Несмотря на все ухищрения эксплуататоров, рабство не разъело души, и в этом залог силы. Красота, мой друг, условна, и понятия о ней порождены временем и модой. Женщины, танцевавшие карманьолу на месте разрушенной Бастилии, девушки в белых туниках, проходившие по улицам Парижа в революционных шествиях девяносто третьего года, были плебейки, но по изяществу и красоте значительно превосходили утонченных, чахлых принцесс королевской крови. Клер Лакобм и Теруань были прекрасны.

— Э, знаем мы этих красавиц с революционного плаката! Я хотел бы пощупать и раздеть их сам. Твое преклонение перед всем, помеченным ярлычком революции, таково, что даже рябого урода Дантона ты, пожалуй, считаешь величественным, подобно Юпитеру. Фанатизм, и только. Я не ослеплен пламенем партийного пристрастия и никогда не отдал бы предпочтения революционным самкам перед непревзойденной Марией-Антуанеттой. Вот хотя бы Наполеон. Он знал толк в женщинах и украсил двор австрийской принцессой. Порода создается веками. Жозефине Богарне нельзя отказать в соблазнительности, но ножка подлинной аристократки затмила мгновенно все ее грубоватые прелести.

Пауль вознегодовал:

— Аристократия — не более чем анахронизм! Это ископаемое, к которому история повернулась задом. Это труп, который забыли похоронить. Он отравляет воздух.

— Ты, однако, крайний демагог, Пауль, — с состраданием заметил Фриц. — Аристократия нужна, чтобы облагородить нас, чтоб разбавить нашу кровь.

— Чью кровь? Купчиков и преуспевающих чинуш?

— Хотя бы. Мы должны взять себе, как трофей завоевателя, женщин аристократии, и наши дети будут властвовать над миром. Дети герцогинь и буржуа.

— Дети дегенератов? Нет, я не согласен на скотоложство.

— Что ж, женись на худосочной пролетарке или жирной, тупой крестьянке. Не забудь, кстати, позвать меня на свадьбу, да и на крестины.

Оба замолчали и, глубоко погружая палки в рыхлый снег, начали спуск в долину. Зимнее небо над ними было режуще-ярким и утомительно-чистым.

— Вершины гор совершенно свободны от облаков, — сказал Пауль, глубоко вдыхая.

Фриц с любопытством повернулся лицом к Альпам.

— Какое количество неиспользованных богатств! — сказал он деловито. — Здесь залежи золота для предприимчивых людей.

— Я не слыхал, чтоб здесь было золото, — удивился Пауль.

— Золото не всегда золото. Ты не умеешь мыслить отвлеченно, как надобно дельцу. Я говорю о железных дорогах, которые избороздят эти глухие места и соединят Германию с Швейцарией. Владельцы их найдут в горах немалые капиталы.

— А-а... — промямлил Пауль равнодушно.

Лучи солнца продолжали пляску на горных пиках. Снег под солнцем переливался, как серебряные поля нарциссов и эдельвейсов. Воздух, острый и холодный, казался пропитанным запахом этих цветов. Но пестры и переменчивы горы. Солнце закатилось, исчезли и растворились очертания вершин, пропал цветочный аромат.

Пауль нетерпеливо дернул бечевку — вожжи плоских саночек, на которых лежала поклажа.

Фриц тотчас же вернулся к прерванному разговору.

— Осудив аристократов, — сказал он, стараясь придать голосу прежние иронические интонации,— вознеся париев, ты умолчал о нас — промежуточном классе.

— Мы,— не задумываясь, ответил Пауль, — подобны плодам, которые надкушены на ветке и дозревают с коричневой метой гниения на свежей кожуре. Сами по себе мы ничего не значим и ничего не определяем в этом мире.

Пауль снял меховую рукавицу и принялся отогревать дыханием застывшие пальцы. Фриц озябшими ногами месил податливый снег.

— Ты мрачнее самой Кассандры, — говорил он при этом быстро. — Что касается таких людей, как я, то, право, судьбы человечества интересуют нас в самую последнюю очередь. Приятно за стаканом пунша обнимать вселенную. Но во всякую иную минуту есть дела поважнее... как бы это выразиться?.. поконкретнее и повыгоднее. На наш век хватит забот и радостей в жизни. Редкий человек успевает себя устроить комфортабельно на земле, а ты хочешь устроить получше миллиард тунеяд-

цев. Фантазия! Мое честолюбие невелико, — продолжал Фриц, ускоряя шаг и стремясь догнать опередившего и не слушавшего его друга. — Жить удобно, весело, азартно каких-нибудь шестьдесят — семьдесят лет. Хорошо бы и побольше, но надежд на это мало. В роду моего отца прочно установилась традиция — умирать в среднем возрасте от болезни печени. Как видишь, есть о чем призадуматься, помимо судеб пролетариата вселенной.

Пауль не ответил. Пошли молча.

Более недели бродили студенты в горах, ночуя в пастушеских хижинах, переваливая через горные вершины. С Боденского озера, без особых целей, пользуясь каникулами, шли они в Винтертур и Цюрих.

Декабрь был на исходе. Внизу, под горами, праздновали рождество.

— Из Цюриха я поеду в Берлин не для того, впрочем, чтоб терять время на студенческой скамье, — сказал Фриц Шлейг Паулю. — Университет в нашу эпоху — убежище для неудачников и честолюбивая забава для богатых. Я не принадлежу ни к одной из этих категорий.

— И я тоже, — улыбнулся Пауль.

— Ты — некая разновидность. Неисправимый мечтатель.

— Мечты послужили путеводной нитью для великих открытий. Мечтателями были Колумб, Спиноза, Гегель, Наполеон, Робеспьер...

Сумерки принесли стужу. Облака заграждали путь, путали дорогу, как мираж. Исчезли границы между Альпами и небом. Пауль и Фриц побежали вниз, к двум-трем светящимся точкам. Им казалось, что небо было под ногами и они падали к звездам. Снег мчался им навстречу, вырывался из-под ног, налетал сбоку и устремлялся вверх.

Деревня, недостижимо далекая, появилась внезапно рядом. Улицы были темны и скользки. Несмотря на то что пробило только восемь часов, дома уже спали.

На краю деревни студенты набрели на маленький трактир. После долгих пререканий хозяйка согласилась изготовить уставшим путешественникам кофе.

— Люцифер! — восклицал проголодавшийся и озябший Фриц, поминутно потирая отмороженное ухо. — Эта страна еще более несносна, чем Германия. Люди живут здесь, как куры в усовершенствованном курятнике. И у них есть конституция!

Пауль безучастно перебирал костяшки старого желтого домино, строил из них стену, чтоб тотчас же разрушить.

Подле очага, рядом с большими — от пола до дощатого потолка — часами примостился на резном табурете сутулый человек и грел над огнем большие худые руки.

— Пьян, видно, — сказал Фриц, которому показалось подозрительным полное равнодушие незнакомца к прибывшим посетителям.

— Ты всегда подползаешь к людям с черного хода, — рассердился Пауль.

— Если черный ход не так старательно закрыт, как парадное крыльцо. Я не ношу розовых очков и вижу все, как оно есть. Э, да этот парень стоит внимания! Посмотри на его руки. Люцифер! На них следы недавно снятых наручников, или я отморозил себе глаза. Нет сомнения, мы открыли преступника, бежавшего из тюрьмы. Деревня близка к границе. Он бежал из Германии. Что, если это убийца, взломщик, казнокрад?

Фриц позабыл об отмороженном ухе. Он был крайне заинтересован и решил тотчас же проверить свои предположения. Вытащив кисет, он протянул его незнакомцу:

— Не угодно ли?

— Угодно, чтоб вы оставили меня в покое, — последовал ответ.

— Вы, видно, недавно из Германии, если не успели соскучиться по обществу немцев, — не унимался Фриц.

Иоганн Сток оглядел его с ног до головы, точно снял глазами мерку.

— Немец немцу рознь. Ваше общество мне нигде не потребуется.

— Отличный ответ! — сказал вдруг Пауль. — Немец немцу рознь.

— Для вчерашнего каторжника вы непомерно нахальны! — огрызнулся Фриц и в ту же минуту пожалел о сказанном.

Сток молча поднялся с табурета, подошел к оробевшему студенту и поднес кулак к самому его носу.

— Дурак ты и петух! — сказал портной почти беззлобно. — Такие, как ты, в тюрьме не сидят. Не доросли.

— Мы тюрьмы строим, — успокоившись, пробурчал Шлейг и постарался убраться подальше от Стока.

— Не великое достижение! — снова и на этот раз сердито вставил Пауль. — Всю Германию в тюрьму не засадишь. И с чего тебе вздумалось разыгрывать красноречивого прусского юнкера? Реплики, достойные казармы.

Хозяйка принесла кофе и яичницу. Пауль поймал голодный взгляд Иоганна и пригласил его присоединиться к ужину. Поразмыслив, Иоганн согласился и молча принялся есть.

Чего хотят от него эти назойливые студенты? Враги они или друзья? Отдавая себе отчет в том, каков Шлейг, портной не знал, что́ следует ему думать о Пауле? Молодой студент располагал к доверию.

«Этот — надежней, — решил Сток. — Да и другой хоть и болтун, но не шпион».

В полночь Фриц объявил, что устал, и потребовал, чтоб хозяйка трактира провела их на чердак; там, на теплом сене, решили студенты переночевать.

— Раскуси его, — шепнул Шлейг на ухо Паулю и ушел с подсвечником в руке.

Портной и студент остались одни.

— Полтора года я был в тюрьме, — испытующе глядя на Пауля, начал Сток. Он и сам был удивлен внезапной своей откровенностью, но не мог более удерживаться. — Все это время я страдал от сознания, что теряю время попусту, загнан в клетку и беспомощен, бессилен помогать товарищам в их борьбе.

Пауль облегченно вздохнул. Перед ним был его герой, испытавший на себе гнет деспотизма. Разве не мечтал сам Пауль быть закованным в кандалы во имя идей Руссо и Робеспьера?..

— Вот я и на свободе, — шепотом продолжал между тем Сток. — Не так встретила она меня, как мечталось за решеткой. Проклят час моего освобождения. Я не нужен — и не нужен был все это время. Наше Общество распалось. Те, кто не в тюрьме, отступили и полезли в щели. Мыши, не люди... Трусы! Рядом со мной в тюремной башне сидел Вейдиг. Он там и поныне.

Сток не задумывался над тем, знает или нет Пауль имя пастора. Со времени одиночного заключения портной привык говорить вслух с самим собой.

— Меня били в тюрьме, и, верно, бьют Вейдига. Нам не довелось свидеться там, но он был все-таки рядом. А на воле я оказался совсем один. Товарищи, устроив-

шие мне побег из княжеской тюрьмы, одни пьют от страха и отчаяния, другие отрекаются от всего. Они думают, что облагодетельствовали меня освобождением, что выполнили долг перед Обществом и могут убраться прочь. Но никто из них не поднял знамени нашего дела, когда оно выпало из наших рук. Никто! Хорошие гибнут либо гниют в тюрьмах...

— Ты слишком мрачно смотришь на свет и людей, — прервал Пауль добродушно. — Спора нет, что, когда стены тюрем падают под топорами восставшего народа, когда оковы сбивает революция и освобожденных встречает «Марсельеза»,— свобода прекрасна. Но история скупится на такие праздники. Тебе не довелось быть узником Бастилии накануне ее падения. Тебя выпустила на волю не революция. Чему же удивляться? Реши, что ты попал из тюрьмы в тюрьму. Европа для бедняка — та же тюрьма. Мы вместе отыщем людей, несущих твое знамя. Их намного больше, чем ты можешь себе представить.

Сток привстал и с открытым любопытством, благодарностью, готовой перейти в восхищение, смотрел на собеседника. Лицо его разгладилось, помолодело. Он искал в Пауле сходство с Бюхнером. Напрасно! Студент был во всем отчетливо противоположен Георгу. Только привычка сжимать кулаки во время разговора была у них общая. Сток подметил это. Да и голос звучал одинаково звонко. Оба были молоды.

Иоганна легко было подбодрить. В ответ на слова Пауля он коротко рассказал новому другу историю последних своих скитаний.

— На швейцарской границе, — продолжал он, описав свой побег, — меня выгребли из сена предупрежденные заранее друзья. Один из них был Красный Август, другой — старый болтун Гюркнер, владелец «Гессенского подворья». Он успел бежать накануне ареста и теперь уже волей-неволей будет корчить из себя революционера. Бедняга разорен вконец и пуще гессенской полиции боится оставшейся в Дармштадте Маргариты. Это сущая пила. Чтоб не подвернуться ей под руку, он ушел теперь в Париж, где думает наняться дворником. Немцы-дворники у французов нарасхват. Беккер пошел к Бюхнеру. Пойду и я куда-нибудь. Не знаю только, где найду жену, куда ушла Женевьева.

При упоминании о ней такое отчаяние и такая рас-

терянность снова отразились на лице Стока, что Пауль не решился продолжать расспросы.

Страдания Стока усиливала неотвязная мысль: каким истязаниям подвергли Женевьеву?

Никто не говорил ему об этом, но сам Иоганн отныне слишком хорошо знал полицейские порядки своей родины. Женевьева, оголенная и распростертая на плахе, избиваемая палачами, исполосованная ремнями, кровоточащая, в слезах унижения и боли, — Женевьева была рядом с ним, в нем. То, чего не видел, не знал, он угадывал. Тем сильнее Сток хотел мести, тем неистовей рвался к борьбе.

Поутру Фриц Шлейг был немало удивлен, узнав, что его товарищ вместе с неведомо откуда взявшимся, к тому же подозрительным, ремесленником собирается в Цюрих к какому-то Георгу Бюхнеру.

— Будь ты моим сыном, я бы лишил тебя наследства как неизлечимо больного, — сказал покровительственно Фриц. — Но в качестве друга ты можешь рассчитывать, конечно, на мою помощь с той минуты, как я разбогатею. Одержимые социальными проблемами так или иначе двигают прогресс, а значит, и промышленность. Наши интересы, следовательно, совпадают. Vale!

В сумерки того же дня Пауль и Иоганн пришли на почту. Кареты еще не подали, и им пришлось ждать ее в большой, освещенной двумя свечами комнате. Пассажиры собирались медленно. Сток положил дорожный мешок на круглый стол, заваленный поклажей. Пауль пошел взвешивать багаж, который хотел погрузить на крышу персонен-дилижанса. Предотъездный шум и суета непрестанно усиливались на почтовой станции. Снующие с бесчисленными корзинами и мешочками дамы задевали краями мантилий и шалей понуро стоящего у стола портного. Их возня, возгласы, беспокойство волновали его. Он искал в чужих лицах черты Женевьевы. Мысль о ней изнуряла его. Женевьева исчезла после того, как немецкие жандармы высекли ее и вывезли на французскую границу, запретив показываться на немецкой территории. Последняя надежда на то, что она отправилась в Лион, рухнула. Старый Буври отбывал наказание в тюрьме, и в ткацкой столице не было больше пристанища для жены дармштадтского портного. Свояк Дандье не отвечал на письмо Стока.

Но вот к подъезду подали длинный ящик на колесах, с кабриолетом позади. Затрубили рожки. Пауль потащил Стока к двери. Почтовый чиновник уже выкликал номера пассажиров. Мало-помалу дилижанс наполнился. Захлопнулись дверцы, закрылись окна, защелкал бич, и лошади побежали рысцой по мощеной дороге. Еще не выбрался дилижанс из городка, а уж затрещали кремни, вспыхнули искры, и дым из трубок застлал людей. Сток отвык в тюрьме от курения, и табачный дым душил его теперь. Он, кашляя и задыхаясь, попытался открыть маленькое окошечко. Но снег ударил его по лицу и заставил откинуться назад.

Рядом с ним Пауль безмятежно читал, удобно расположившись на скамье.

Сток пригнулся и снизу заглянул на обложку книги. Студент читал «Жизнь Иисуса» Давида Штрауса. Портной никогда не слыхал ни о таком авторе, ни о таком произведении.

— Это что же — новая Библия, что ли? — спросил он пренебрежительно.

Пауль с трудом оторвался от чтения.

— А что же? На Библии определяются отношения с богом. Ты разве безбожник?

— У меня отношения с богом, — сказал Иоганн, засмеявшись, — наилучшие. Но в особенности признательны мы, портные, змею-искусителю. Не просвети он Еву, люди продолжали бы ходить голыми. Цех портных сдох бы тогда с голоду или попросту не существовал. Беда!

3

В первый день рождества резко менялся образ жизни семьи Цендер. Дети целовали родительские руки с пожеланием доброй ночи и уходили спать не в восемь, а в десять. Гости, случалось, решались засиживаться даже за полночь.

В этот торжественный день с мебели снимали посеревшие от частой добросовестной стирки чехлы, и госпожа Цендер появлялась вечером без обычного глухого фартука, в тафтяном зеленом платье. Сам доктор надевал праздничные часы с большой цепью и множеством брелоков, подаренные ему к свадьбе. Вместо красного фулярового носового платка он — чаще обыкновенного —

вытирал лоб безукоризненно белым, с нарядной мережкой по краям и с монограммой.

Ужин состоял из очень жирного, начиненного орехами и кашей гуся, сложнейших пирожных и сливочного мороженого. Из года в год все шло в этом доме по раз навсегда заведенному ритуалу. Из столовой полагалось молча, не спеша идти в гостиную. При виде высокой, украшенной игрушками, свечами и сладостями елки следовало восхищенно вскрикнуть и аплодировать. Елочные украшения вынимались накануне рождества. Они хранились в сундуке, что в правом углу прихожей.

Дети давно знали каждую вещицу и бурно радовались редкой встрече.

— Вот ватный медведь, он — бабушкин и висел еще на елке тогда, когда папа был маленький. А вот стеклянное яблочко тети Клары, — рассказывали они, прыгая вокруг разукрашенного дерева.

Ангелочки, саночки, зайчики, морковь и корзиночки для конфет были частью приданого госпожи Цендер. Ежегодно обновлялись на елке только цветные бумажные цепи, орехи и свечи.

В течение восемнадцати лет в один и тот же час и по одному и тому же распорядку происходила раздача подарков. Сперва одаривали детей, потом муж и жена друг друга. После друзей одаривали слуг.

Это был наиболее торжественный момент в жизни семьи. Ведь подарки заготовлялись в течение целого года. О них полагалось говорить шепотом. Других тайн у Цендеров не водилось.

Сам доктор, как всегда, получил в этом году от жены пару бархатных туфель (взамен сношенных прошлогодних) с вышитыми вензелями, поддерживаемыми парой голубков, очередной бисерный кисет (их было у него уже больше дюжины), теплый жилет, несколько пар связанных носков и книжечку с расшитым переплетом для записей пациентов. Среди подарков были обязательно вещи полезные, которые и помимо праздника следовало бы приобрести. Таково было правило госпожи Цендер. Поэтому на столе, отведенном под дары, находились кастрюли, украшенные бумажными цветами, перевязанные лентами куски мыла, мотки ниток, пеналы, фартуки, детская одежда и книги с многообещающими названиями,

вроде: «Советы молодой девице», «Скромность — лучшее украшение молодого человека».

Старшая дочь Цендеров, недавно помолвленная, получила в этот раз от матери учебник кулинарии. Докторша прочно верила, что хорошая кухня определяет хорошие отношения супругов и путь к домашнему миру и счастью лежит через желудок.

В доме Цендеров было уютно. В мягких, бархатом обитых креслах утопало тело, дремал мозг. Зачем думать, в чем сомневаться?

Страшный, засасывающий, мертвый уют.

Когда дошла очередь до одаривания друзей, доктор Цендер бросился искать Георга, но Бюхнер исчез тотчас же после ужина. Никто, впрочем, не удивился этому исчезновению, так как к странностям молодого угрюмого приват-доцента начали уже привыкать.

Шейный платок и табакерочку с плохо намалеванным Дантоном, которую доктор Цендер самолично заказал своему другу-постояльцу, положили Бюхнеру на ночной столик. В это время Георг, закутавшись в черную шинель, ходил по улицам Цюриха.

Улицы поодаль от центра пустовали. Ему вдруг почудились шаги. Он обернулся. Никого. Побежал. Опять почудились шаги и чей-то силуэт в подворотне.

«Меня преследуют шпики...»

Он бросился за угол. Остановился.

«Болен, болен!..»

Георг схватился за голову, внезапно почувствовав глухой толчок. Он мгновенно озяб. Кровь, казалось ему, прилила к голове. Мысль захлебывалась в ней, тонула. Глаза Георга на мгновение перестали видеть. Он, пошатнувшись, прислонился к стене. Мускулы ослабели. Он медленно опустился на тротуар. Так подступает смерть.

Прошло несколько медленных секунд, прежде чем он пришел в себя. Едва хватило сил встать на ноги. Спотыкаясь, добрался он до дому. Остро болела голова. Георг знал, что́ это означало. Около трех лет назад такие же симптомы предшествовали воспалению мозга, от которого он чуть не погиб.

Лучше всего было покориться и лечь в постель.

Похолодевший, обессилевший, лежал Георг. Больше всего он боялся теперь, что незаметно для самого себя

потеряет рассудок. Пусть придет смерть, но не сумасшествие. Георгу казалось, что он один из гневных якобинцев, что он — Дантон, которого ведут к Гревской площади на гильотину. Внезапно, ненадолго, Георг снова становился самим собой.

— Увы, революция, как Сатурн, пожирает своих детей! — кричал Бюхнер-Дантон, ведомый на казнь.

И в ответ несся издевательский смех толпы, которая состояла из гессенских крестьян, полуголых, с впалыми щеками.

— Мы — лишь куклы, управляемые неведомыми силами, а сами по себе — ничто. Мы — мечи, которыми сражаются духи, только рук их не видно, как в сказке, — говорил Дантон, перегибаясь через перила тележки смертников.

— Ты прав, — говорил ему Бюхнер, снова обретший в бреду самого себя. — Я тоже раздавлен гнетом отвратительного фатализма истории. Человеческой природе свойственна ужасающая одинаковость, в человеческих отношениях есть неотвратимая сила, данная всем и никому. Величие — только случай, господство гения — кукольная игра, смешное сопротивление закону, который, самое большее, удается только познать, но господствовать над ним невозможно. Я не хочу более склоняться перед сановными ослами и уличными зеваками истории. Даже перед тобой, Дантон. Ты тоже жалкая пылинка, как мы все.

Утром Бюхнер проснулся обессиленный, больной, но мысль была прозрачна.

Георг, однако, не поверил улучшению и написал письмо Минне Иэгле в Страсбург с просьбой приехать немедленно.

Доктор Цендер, к которому он обратился, только посмеялся.

— В двадцать три года умереть,— сказал он, прижимая руки к выпуклому животу,— это по меньшей мере неблагоразумно. Молодость должна все перебороть. У вас завидная наследственность. Значит, нужно хотеть жить. И будете жить. Французы заразили Европу модой умирать рано. Из-за чего только не мрут люди? Из-за чести, из-за любви, из-за слов, только не из-за настоящего дела. Слава богу, швейцарцы достаточно самостоятельные, чтобы не подражать подобной бессмыслице. Мы живем

долго. Бросьте же хандру! Пейте кофе, ешьте мясо и обливайтесь холодной водой, дорогой друг. И,— доктор нагнулся к уху пациента,— женитесь скорее: это излечит вас от бессонницы. Кровать женатого человека всегда согрета.

Георг решил уговорить Минну не откладывать дальше с оформлением брака. Разве не ясна была отныне его будущность? Кафедра профессора, прочная научная репутация, спокойный быт, философские книги и анатомический кабинет. С революцией и всем тем вихрем идей и планов, которые страшили Минну, покуда покончено. Август Беккер был прав, когда говорил, что он, Георг, после нескольких лет, проведенных во Франции, разучился понимать немецкий народ.

Георг звал Минну Иэгле. Он устал. Он надеялся воскресить силы, обрести волю к жизни в цендеровском быте, в воссоздании цендеровского идеала счастья. Жениться, обзавестись своим домом, мебелью, обитой бархатом, мягкой, как перина. Дети, сочельник, елка. Днем разлагающиеся трупы в анатомическом кабинете; с помощью скальпеля поиски разгадки жизни. Вечером — семейный круг. Покой, никаких поисков. Отдых...

— Я женюсь не позднее марта,— сказал Цендеру юноша. — Надеюсь, Минна полюбит Цюрих и согласится жить здесь со мной. Германия, подобно кукушке, жестокая мать и разбрасывает по свету своих птенцов. Я рад быть изгнанником, как Гейне, Бёрне и все лучшие.

После завтрака Цендер предложил подвезти Георга до почты. Следовало скорее отправить письмо невесте.

— Я сам любил когда-то,— сказал мечтательно доктор, вспомнив свою жену такой, какой она была восемнадцать лет тому назад.

Неожиданно для Бюхнера его посетили Сток и Пауль. Встреча потрясла друзей. Взявшись за руки, стояли они, оглядывая друг друга.

— Ты жив, цел? — возбужденно спрашивал Георг, когда нашлись слова.

Сток выпятил грудь и попытался принять задорную позу. Но получилось неубедительно. Бюхнер скоро заметил, что портной прихрамывает. Он понял причину, растерялся, принялся шагать из угла в угол.

— Я виноват перед тобой, перед всеми вами,— бормотал Георг. — Я, и только я, отвечаю за происшедшее.

Я бросил своих друзей в тюрьмы, хотя обязан был знать, что всему нашему делу заранее грозила неудача. О, иллюзии и из них вытекающие ошибки, если не преступления...

Сток не позволил ему продолжать:

— Молчи! Ты не то говоришь, Бюхнер. Какая там вина?! Разве мы дети? Ну, били, ну, морили в тюрьмах. Знали, на что идем. Эка невидаль! На то и борьба. Беда и вина наша в том, что свернули знамена, что все мы, как сверчки, полезли за печь. Вот если зря носили мы кандалы, тогда действительно предательство было.

Сток посмотрел на Пауля, вспомнив о своем отчаянии в день их встречи. Но отчаяние портного и в минуты горького разочарования не походило на горе Бюхнера.

— Знаешь что? — продолжал Сток, подозрительно озираясь по сторонам. — Надо устраивать не типографии, а пороховые фабрики. Надо взрывать тиранов, чтобы они трепетали не от страха перед словом,— это что! — а от страха перед пулей. Здесь, в Швейцарии, немало немцев. Можно сколотить хорошее тайное общество и, снабжая всем необходимым, отправлять надежных людей через границу. Две-три сорванных с плеч коронованных головы заставят мир призадуматься. Согласен, Бюхнер? Что ты скажешь на это?

— Я,— Георг печально засмеялся,— скажу словами героя своей недавно законченной пьесы: «Я больше не могу». Шелестом своих шагов и дыханием я не могу создать шума среди этой тишины. Рассказывали мне про какую-то болезнь, при которой теряется память. Смерть должна быть похожа на это. Хорошая болезнь.

— Вы, Бюхнер, хотите отречься от лучших дней жизни? — вмешался Пауль. На столе под анатомическим атласом он нашел рукопись «Смерть Дантона» и жадно перелистывал ее. — Вы ли, Бюхнер, написали эти жгучие страницы? Что погасило ваше пламя? Вы устали, но вы не можете предать своих идей. Отступление хуже измены. Отдохните, и тогда снова пойдем все вместе в бой. Человек, написавший такие строки,— борец до могилы. Вспомните, что вам не всегда была свойственна слабость. Так не пишет ни дезертир, ни филистер в ученой тоге. Так пишет борец.

Пауль начал читать:

— «Убивая, мы сострадательны. Наша жизнь — медленное убийство работой. Мы десятки лет висим и болтаемся на веревке. Но мы вырвемся. Смерть тем, у кого нет дыр на сюртуках! Смерть ненавистным, наслаждающимся, как евнухи, мужчинам-аристократам! Смерть! Смерть!»

— Ты бежишь с поля битвы? — хмуро спросил Сток.

— Мы все равно ничего не в силах сделать, только погубим себя и тех, кого увлечем с собой,— уклончиво ответил Георг. Он старчески опустился в кресло и, потирая ладонями виски вновь занывшей головы, продолжал, постепенно разгорячаясь: — Мы бессильны перед законами истории. Мы рано родились. Массы не идут за нами, а человек один бессилен что-либо сделать. Пойми: за это время я убедился, что делать покуда нечего. Каждый, жертвуя собой в данный момент, продает как дурак свою шкуру за бесценок. Либеральная партия ничтожна. В среде немецких революционеров — здесь и во Франции — вавилонская неразбериха, которая никогда не распутается. Верь, Сток, мы бессильны что-либо сделать.

— Рассуждай я так,— сухо сказал Сток и взялся за шапку,— то после Лионского восстания не пошел бы в «Общество прав человека» и сейчас не хромал бы по свету. Рассуждал бы так народ в тысяча семьсот восемьдесят девятом году, и по сей день был бы во Франции Капет. Почем я знаю, когда народ нас поймет! Может, завтра. А вот без нас, может, и никогда.

— Не мы, а голод, холод, нищета просветят людей,— тихо произнес Бюхнер.

Сток не унимался:

— Это так и не так. Я тоже нищий. Однако за кусок хлеба меня никто не купил. У нас не только пузо, у нас и мозги есть,— тебе ли не знать? К чему тогда твое воззвание к крестьянам?

— Хочешь знать правду? — Бюхнер встал и вплотную подошел к Стоку. Лицо его было безжизненно-бледно. — Воззвание послужило барометром революции. Им я хотел определить настроение крестьян. Ведь подлинный народ — они. Они многочисленнее всех иных сословий, более всех голодны и унижены. И вот теперь, когда я знаю, что крестьяне относили прокламации в полицию, а патриоты высказывались против нас, я говорю, что похоронил надежду на скорую перемену к лучшему.

## 4

Минна Иэгле приехала в сумерки. Она привезла с собой уверенное спокойствие и заботы.

Не дожидаясь Георга, который читал в это время лекцию в университете, Минна в сопровождении госпожи Цендер прошла в его комнату.

— Вы позволите? — вежливо спросила пасторская дочка и, получив согласие хозяйки, принялась переставлять мебель.

Она вытащила из алькова кровать, объяснив, что жениху вредно дышать спертым воздухом, и переставила стол, заодно разложив аккуратными стопками ворох бумаг.

Уверенной хозяйкой двигалась она по комнате, перекладывала белье в шкафу, пришивала пуговицы к небрежно брошенным жилетам и плащам, разбирала книги на подоконнике. Госпожа Цендер сразу почувствовала в ней родственную, здоровую физически, цельную натуру образцовой матери и немецкой жены. Но Минна оказалась знающей, даже опытной не только в хозяйстве, кулинарии, рукоделии. Одним вопросом она неприятно поразила госпожу Цендер и чуть не испортила с ней отношений.

— Не знаете ли вы, как работают в Цюрихе революционные общества немецких изгнанников? — поинтересовалась пасторская дочка, выспросив прежде рыночные цены на мясо и овощи.

— Что вы! Как могу я знать такие вещи? У меня взрослые дети,— с достоинством ответила жена доктора и мгновенно исчезла за гардиной.

Не дождавшись жениха, Минна вернулась в пансион, где сняла комнату. Утром они встретились. Он неуклюже протянул ей букетик эдельвейсов. Вид Георга поразил девушку, но не в ее привычках было обнаруживать свои впечатления.

— Ты вполне здоров, дорогой,— сказала она, зная, что этим ободрит Георга.

Они сели возле камина, нежно заглядывали друг другу в глаза. Хозяйка пансиона, как страж морали и приличия, наблюдала за молодыми людьми из дальнего угла общей гостиной.

— Милая, теперь уж мы будем неразлучны. Сколько лет я ждал этих мгновений! Теперь мы навсегда вместе.

— Да, если ты думаешь, что я уж не буду тебе помехой. Тебе захотелось отдыха. Но разве ты не должен продолжать борьбу? — Минна нежно пожала холодную руку Бюхнера.

— Я больше ничего не должен. — Губы Георга задрожали, глаза помутнели, он терял власть над собой. — Довольно! Я — не нож гильотины. «Должен» — проклятое слово, которое тяготеет над человечеством. Я больше ничего не должен!

Он говорил так крикливо, что Минна вздрогнула и обернулась. Хозяйка пансиона вежливо отвернулась к окну.

— Успокойся, мой любимый! Ты ничего не обязан делать против своего желания.

Георг стих.

— Если бы я мог, милая, успокоить это остывшее, усталое сердце на твоей груди! Мы будем счастливы, правда?

— Да, конечно,— ответила Минна, думая о том, что к Георгу следует поскорее вызвать врача.

По пути к дому доктора Цендера, где в честь приезда невесты Бюхнера устраивался семейный обед, Георг не переставая говорил. Он снова был крайне возбужден.

— Недавно я писал Гуцкову, что класс бедняков может быть приведен в движение только двумя рычагами: материальной нищетой или религиозным фанатизмом. Победит та партия, которая сумеет действовать этими рычагами. Наше время требует железа и хлеба. Ну, а потом понадобится, может быть, крест, полумесяц или еще что-нибудь... Не спорь, ты не права! — закричал Георг в крайней запальчивости, заметив, что Минна хочет возразить ему.

Она замолчала и грустно отвернулась.

Георг болен. Таким раздражительным, лихорадочным он никогда не был. Какая неровная, танцующая походка, и эта непрерывная пляска пальцев! Глаза смотрят неспокойно, растерянно... Она едва сдерживала слезы. Бюхнер не умолкал:

— Нужно стремиться к созданию новой умственной жизни в народе, а отжившее современное общество по-

слать к черту. Не я один так думаю. Этот вывод напрашивается сам собой. Современное общество — урод, вся жизнь которого сводится к попыткам разогнать ужасающую скуку. Оно должно вымереть. Это — то единственно новое, что ему суждено еще пережить.

Минна заслушалась. «Нет, он здоров. Больной мозг не может создавать такие мысли. Он только устал»,— успокаивала она себя.

Но Георг, однако, был на пороге тяжкой болезни. Непомерная возрастающая раздражительность все чаще сменялась изнеможением. Как-то после бурного спора он схватился за голову и рухнул на пол, потеряв сознание. Начался озноб, бред. Врачи определили нервную горячку. Ночи и дни сидела Минна у постели никого не узнававшего обреченного больного. Рядом стояла фаянсовая полоскательница с ледяной водой. В воде намокала полотняная салфетка. Покрасневшими, натруженными руками Минна выжимала ее и распрямляла на лбу Георга. Салфетка тотчас же нагревалась и быстро подсыхала. Минна проводила охлажденными водой пальцами по пылающим, обросшим редкими волосками, опавшим щекам Георга.

— Ты не умрешь. Ты должен выздороветь. Борись с болезнью. Ты сильный. Не сдавайся! — шептала она властно и упрямо, веря в то, что может внушить ему волю к жизни.

Веки Георга были опущены. Он ничего не слышал.

— В двадцать три года безрассудно умирать. Молодость должна побороть все недуги,— говорил доктор Цендер, но с каждым днем все меньше было уверенности в его голосе.

Иногда, обессилев, Минна соглашалась уступать свое место у изголовья больного сострадательной докторше Цендер и выйти на воздух.

В прихожей она заставала Пауля, Стока и кое-кого из университетских коллег Бюхнера.

Пауль и Сток нетерпеливо ждали выздоровления Георга, чтоб доказать ему свою правоту, «встряхнуть его» и уговорить ехать во Францию.

Минне Иэгле приходилось выслушивать слова, предназначавшиеся для ее жениха.

— Я понял,— горячился Пауль,— в чем гибельная ошибка Георга, и прямо скажу ему об этом. Придя

в Германию, он должен был обратиться не к крестьянам, — они темны, — а к городским рабочим.

— Святая правда! Как я не понял этого раньше! — соглашался Сток.

Но Минна возражала:

— Вы забываете, что Георга вдохновило гессенское восстание. Он думал, что в случае необходимости крестьяне не остановятся перед насильственным свержением монархии. К тому же крестьяне — пасынки человечества. Они несчастнее всех на земле.

— Бабёф понимал больше Бюхнера! — злился Сток.

Начинался шумный спор, который Минна внезапно обрывала:

— Может быть, к Георгу вернулось сознание...

Сбросив на сундук мантилью и капор, девушка бежала в затемненную гардинами комнату Георга и бросалась перед ним на колени.

— Открой глаза! Скажи что-нибудь! Возьми мои силы!..

Минне было мучительно тяжело, почти стыдно чувствовать себя такой здоровой рядом с мечущимся в лихорадке исхудалым Георгом.

— Доктор Цендер! — молила она, когда положение Бюхнера было признано безнадежным. — Возьмите мою кровь, отдайте ее ему. Он умирает от слабости, он сожжен болезнью.

Цендер испуганно касался лба девушки.

— Вы бредите, дорогая! Никогда медицина не сумеет передавать кровь из одного тела в другое. Врачи — не чародеи. Кровь — жизненное начало, принадлежащее каждому отдельному индивидууму. Смешение было бы гибелью. Оно невозможно.

Девятнадцатого февраля Стока впервые впустили в комнату агонизирующего Бюхнера. У окна плакала докторша Цендер. Минна Иэгле сидела на обычном месте, глядя на умирающего. Ее руки непроизвольно тянулись к тазику, стоящему рядом. Но ледяная вода больше была не нужна.

Доктор Цендер отвел Пауля в сторону.

— Мальчику только двадцать три года. Преступление умирать так рано и причинять такое горе родителям. Если б бедняга был швейцарцем, он, поверьте, жил бы еще лет пятьдесят. Наши дети давно не играют в рево-

люцию, и слава богу! Мне сообщили, что нервное возбуждение настигло Георга в Дармштадте. Началось оно с мании преследования. Он боялся арестов и шпиков. Вот горький пример легкомыслия и самонадеянности. Учитесь, молодой человек, до чего доводит игра с опасными игрушками вроде равенства, равноправия и...

— Умер! — прошептала Минна, закрывая лицо руками.

Пауль бросился к постели Георга.

— Эх, поэт! — сказал кому-то Сток и смахнул слезу рукавом. — Не выдержал, скрутило...

## *Глава вторая*

## НА РУБЕЖЕ

### 1

Карета выбралась на Старо-Лейпцигскую улицу и остановилась у крайнего дома. Были сумерки, и Берлин казался особенно неприглядным и серым.

В трирском доме юстиции советника несколько дней сряду выбирали пансион, где мог бы жить в Берлине юный студент. Генрих Маркс долго колебался, прежде чем остановился на одном из рекомендованных адресов. Дело нешуточное. Впервые сын покидал пределы Рейнландии и уезжал так далеко от родного крова. Предпочтение было отдано Старо-Лейпцигской улице. Еще бы, сам Лессинг некогда имел обыкновение, посещая прусскую столицу, останавливаться именно в этом пансионе. Старый ученый был большим авторитетом в семье Маркса: он знал толк в людях и был весьма разборчив в пище, хотя и беден. Правда, прошло уже более полустолетия с тех пор, как Лессинг бывал в городе Фридриха Великого, но дом принадлежал потомкам лессинговских квартирохозяев. Итак, Карл направил возницу к дому номер один на Старо-Лейпцигской улице.

Высокая немка в рыжем чепце встретила нового постояльца чопорным поклоном и тотчас же забеспокоилась, знает ли он правила ее пансиона.

— Надеюсь, что поведение молодого человека не заставит меня...— начала она брюзгливо.

Карл поспешно обещал ей не стучать в коридоре, вытирать ноги о коврик у входной двери, приходить не позднее десяти вечера, платить дополнительно за каждый кувшин теплой воды, лишний бидончик масла для лампы и за подачу кофе в комнату. Тогда наконец его оставили в покое.

Засунув саквояж в платяной шкаф и раскидав по креслам и столам книги, выгруженные из холщового дорожного мешка, усталый с дороги Карл развалился на кровати, нарушив тем самым одно из главных условий рослой немки в рогатом чепце. Второй раз в жизни у молодого студента была своя комната вне родительского дома.

Он отмечал это про себя как приятное доказательство самостоятельности и свободы.

Берлин встретил Карла дождем. Мелким, пронырливым октябрьским дождем, размывающим пески, на которых воздвигнута прусская столица. Король был в Потсдаме, и дворцы, мимо которых наемная карета везла студента и его небольшой багаж, казались еще более безлюдными. На Унтер-ден-Линден копошились в непролазной грязи каменщики. Кое-где на пустырях строились квадратные дома.

Возле ратуши возница попридержал вымокшую лошадь и кнутом показал седоку главную достопримечательность города — асфальтовый тротуар. Карл выглянул и не нашел ничего интересного в черной гладкой блестящей массе. С непривычки люди ходили по ней осторожно, глядя себе под ноги, как бы боясь поскользнуться. На мгновение Маркс вспомнил трирскую гимназию и урок географии, на котором Грах чертил мелом контуры острова Тринидада, богатого природным асфальтом.

Возницу задело равнодушие, которое его пассажир проявил к столичной новинке, и он в сердцах стегнул ни в чем не повинного коня. Карета понеслась по неровному булыжнику дальше.

После наполеоновского урагана, превратившего нарядный город Фридриха в запущенную провинциальную чиновничью резиденцию, Берлин снова пытался вернуть себе былое внешнее величие. Это давалось нелегко.

По сравнению с беспечным Триром, с замечтавшимся на холмах Бонном прусский город показался Карлу ка-

менным истуканом, обряженным в мундир. Чиновники и военные — все на один покрой, на одно лицо — проходили чинно по тротуарам. Выражение старательности, напряженного самодовольства лежало на них.

Мундиры. Карл никогда не думал, не предполагал, что их можно выдумать в таком большом количестве и разнообразии. Лацканы, эполеты, пуговицы — золотые, синие, красные, узкие шпаги разной величины.

Интенданты, офицеры, даже студенты — все исчезали под сукном и позолотой мундиров. Жители Трира были всего лишь скромными неисправимыми провинциалами по сравнению с франтоватым столичным чиновничеством.

Карл с унынием наблюдал этот парад костюмов. Берлинские улицы и дома различимы лишь по количеству этажей и вывескам бесчисленных управлений и интендантств.

Университет, прославленный на всю Германию философом Гегелем и теологом Шлейермахером, оказался с виду таким же серым и безличным, как дворцы, кирхи и казармы. Скука, чинная, благонамеренная, облепила старые стены, как копоть.

Пролежав не более десяти минут и смяв до неузнаваемости постельное белье и груду подушек, Карл вскочил и в два прыжка добрался до окна. Ему не хватало света. Нетерпеливо раздвинул линялые, стеганные на вате гардины и выглянул, приоткрыв раму. Внизу была улица, мощеная, довольно просторная и, по-видимому, всегда тихая. На уровне окна были крыши. Десятки крыш, утыканных разнообразными трубами, почерневшими, как старые сучья, как обгорелые пни. Карла поразили слишком прямые улицы. Вместо деревьев вдоль тротуаров стояли зеленые столбы, увенчанные фонарями. Позади, за крышами, торчал кирпичный шпиль убогой кирхи. Часы на ее верхушке почернели. Бой их был подобен старческому кашлю.

В другую пору безобразие и уныние открывавшегося из окна вида опечалило бы Карла. Но не теперь. Теперь он хотел, чтобы ничто в мире не отвлекало его от одной мысли, от одного желания, от любимого имени — Женни.

«Очертания этих сумрачных домов не более резки, чем ощущения моей души, этот огромный город не более кипит, чем моя кровь, ничто все равно не может мне сейчас казаться столь прекрасным, как моя Женни. Я готов очутиться один на необитаемой скале, один на один с поглотившей меня страстью»,— не без приподнятости думал он.

В Берлине он был счастлив и хотел быть один. Чужие люди, каменная пещера, выдолбленная в квадрате скалы дома, не мешали ему эгоистически отдаваться своим мечтам о будущем, своим планам борьбы за него.

Карл не знал половинчатых чувств. И в любви он был верен себе. Эта необычайная сконцентрированность чувства освобождала его от любовных поисков, от опустошающих «примериваний», от суррогатов влечения. Если он приглядывался к женщинам, то лишь для того, чтобы еще раз отдать предпочтение своей невесте. В Берлине, как и во всей вселенной, не было для него девушки привлекательнее и желаннее. В Женни он точным инстинктом отгадал женщину единственную, совершеннейшую. Перед нею меркли самые красивые, самые умные женщины мира. Перед нею отступали во тьму героини излюбленных книг. Все они, не заслуживая сравнения, лишь оттеняли ее превосходство. Она была его любимой. Она избрала его, Карла. Перед такой страстью годы и разлука бессильны. Они предназначены лишь углублять чувство.

Карл полюбил со всей силой, отчетливостью и цельностью зрелости. Это была его удача. Любовь — броня, вылившаяся из преклонения, гордости, сознания умственного равенства,— огромная любовь к Женни фон Вестфален отгородила Карла от всяких соблазнов, от всяких иных сердечных желаний. Он был верен ей не потому только, что верность отвечала его понятиям любовной морали, не потому, что к этому призвал его, прощаясь перед разлукой, отец, не потому, что его связывали клятвы, но потому, что иным он быть не мог. Потому, что любил.

Но труднее, чем с безрадостными линиями столичных домов и улиц, было свыкнуться с климатом, с серым камнем, одевшим город. Избалованный солнцем, молодой трирец невольно искал среди каменных домов зеленые пятна. Деревьев, цветов почти не было в Берлине.

Карл любил смену времен года. Весну олицетворяли для него зацветающий платан и темный плющ.

Плющ вился по гимназической часовне, плющ окутывал террасу вестфаленского дома, платан рос на углу Римской улицы. До угла, до платана Женни разрешала Карлу провожать ее. Они подолгу стояли, разговаривая, на перекрестке улиц. Любуясь невестой, Карл дотягивался рукой до тяжелой ветки, обрывал большие мягкие листья с косыми прожилками. Платановые листья устилали улицу, приминали пыль.

Карл любил траву. В жаркие неподвижные дни лета он купался в Мозеле. Берег был зеленый, густо поросший мятой и ромашками. Птицы, казалось, дремали в воздухе. Звенели стрекозы. Карл плавал, нырял, резвился в воде или неподвижно лежал, обсыхая под солнцем. Мать, отпуская сына на реку, наказывала лежать в тени, прятаться от лучей. Но Карл предпочитал ракитнику траву, а тени — солнце.

Прижавшись к траве, он слышал отчетливо биение легко возбудимого сердца, которое казалось ему тогда пульсом земли. Жизнь была вся впереди, вдали, за преграждающим горизонт холмом Св. Марка. Карл мечтал. Знание мира было книжным. Мятежники, сражающиеся за справедливость, звали его в свои ряды. Иногда он брал с собой на берег Мозеля «Дон-Кихота» и, перелистывая, страдал с ним вместе и смеялся.

С цветами и травой долетали к Марксу лоскутки образов и обрывки слов. Чудесные ассоциации минувшего.

Карл иногда приносил цветы Женни. Из букета она всегда выбирала самый яркий, чтоб приколоть к корсажу. Цветы и трава украшали их любовь...

Осень таилась в радужных листьях вестфаленских виноградников, застревала в кустах смородины. Виноградники. Фруктовые сады. На их желтой согретой земле прошло детство Карла. В теплые вечера вся семья юстиции советника приезжала провести среди дозревающих фруктов несколько веселых часов отдыха. У негустого плетня расстилали большие клетчатые платки. Мать доставала из корзины леденцы, пряники и бутылки с подслащенной малиновым сиропом водой.

— Милая Хандзи,— говорил тихо юстиции советник жене. — Счастлива ли ты? Дети мои, жизнь прекрасна,

как наш Трир, как свобода, как верность, как годы, прожитые в любви вашими родителями...

Зацветающие и отцветающие деревья, зреющие фрукты доныне были всюду на жизненной дороге уроженца Рейнландии.

В окно его комнаты на Брюккенгассе смотрели отлогая гора Св. Марка и дальние виноградные поля.

Комната в Бонне упиралась окнами в старый сад, сырой от чрезмерно густых, застилающих солнце ветвей. Перед домом протекала река. Над ней, понуро спустив ветви, стояли ивы. Карлу нравились прогулки вдоль Рейна. Близ Бонна был выступ над рекой. Там в начале века нередко сидел молчаливый и недоверчивый Бетховен. Как-то в годовщину его смерти Маркс услыхал в концерте бессмертную Девятую симфонию. Он был ошеломлен. Он понял, почему старый Бонн так гордился своим великим музыкантом.

Но мутная Шпрее в Берлине, но грязная набережная Берлина, но скрип меланхолических барок так мало напоминали рейнские ландшафты...

Первым гостем Карла спустя несколько дней после его приезда был Фриц Шлейг.

— Твой отец поручил мне в последнем послании вытащить тебя из норы на свет,— начал он с порога комнаты. — Не думаешь же ты сделать карьеру, зарывшись, как крот, в свои учебники?

Он раскидал книги, обшарил пыльные углы и изобразил на лице полнейшее разочарование.

— Этак, замуровав себя в четырех стенах, ты высохнешь, как мумия. Я не вижу здесь ни одной бутыли вина, ни одного разбитого стакана. Ты позоришь звание сына Рейна, ты оскопляешь душу... А, пишешь стишки? Так-с. Юриспруденция... Хорошо! Но музы поэзии и науки вряд ли могут предотвратить скуку. С твоими знаниями, с твоим умом ты мог бы найти лучшее времяпрепровождение.

Карл посмеивался в ответ. Но Шлейг не унимался:

— С твоими качествами ты мог бы попасть даже в салон Варнхагена фон Энзе. Господин Енигент может составить тебе протекцию.

— На какого дьявола мне тратить время на салонную болтовню и сплетни тех же трирских ослов и сорок, перенесенных на берлинскую почву? Жизнь ставит

столько проблем при очень небольших сроках, отпускаемых на их разрешение. Благодарю!

Фриц даже подскочил.

— И ты думаешь пробиться в жизни и занять в ней должное положение, въезжая верхом на проблемах, а не на людях?!

— Это, во всяком случае, интереснее.

— Интереснее салона фон Энзе? Еретик! Мятежник! Да я уже два месяца добиваюсь того, чтобы племянница Варнхагена, надменнейшая Людмила Ассинг, дама с манерами подлинной герцогини, допустила меня на свои приемы от пяти до восьми. Да, там бывают сливки общества! Там пропасть интереснейших людей. Гумбольдт, граф Йорк, Пюклер-Мускау, Бентейм, граф Линар,— говоря об аристократических салонах, Фриц невольно становился напыщенным.

— Но мне какое до них дело! Вот если бы была жива Рахиль Варнхаген, пожалуй, стоило бы познакомиться. У нее, кажется, бывал Гейне.

— Ну что такое поэт, да еще опальный! Сейчас там бывают министры, придворные дамы, иностранные дипломаты. Тебе и этого мало? Можешь встретить на Мауэрштрассе, наконец, и представителей литературы, ученых, Риттера, например.

— Уж не предложишь ли ты мне заодно пролезть в салон принцесс Курляндских? Говорят, там с масленицы до конца светского сезона бывают также принцы,— удивил Карл Шлейга неожиданным знанием берлинского высшего света.

— Ну, это уже не наши сферы. Надо знать свое место. Мы покуда еще не в чинах, не при деньгах. Мы папенькины сыновья...

— Не я.

— Ого! Но не будем спорить. Завтра хоронят господина Шварца. Скажу тебе по секрету: на племяннице этого скряги я рассчитываю жениться. Итак, не огорчай своих родителей, уступи. Этот почтенный дом — клад для нас. Там соберется немало влиятельных людей, весьма полезных для студентов без имени и пока что без капитала. Будет и господин Эссер, друг наших отцов.

— Да, но зачем нам быть на похоронах? В качестве добровольных плакальщиц? Погребенья не входят в компетенцию юристов.

— В Берлине они бывают веселее балов. Бюргеры любят родиться, жениться, даже умирать, был бы повод блеснуть.

— Нет, я занят. Филистерские развлечения мне надоели в Трире.

— Карл, ты пойдешь, клянусь трирской мертвецкой! Я сам принесу тебе креп для шляпы. Не надевай по рассеянности светлого жилета и припаси темные перчатки. Иначе — неприлично. Сделай это ради господина Генриха Маркса.

На следующее утро Шлейг разбудил земляка и, несмотря на его сопротивление, стащил с лестницы и усадил в наемный экипаж. Черный флер, наспех прикрепленный к полям шляпы, топорщился и шелестел. Маркс тоскливо зевал. Он утешал себя, однако, тем, что юстиции советник будет удовлетворен вниманием сына к покойному господину Шварцу и его семье.

— Я избавляюсь тем самым от необходимости разносить приветствия по десятку адресов, навязанных мне родителями,— сказал он меланхолически.

Фриц был другого мнения.

— Такое поведение не принесет жизненной выгоды,— возразил он, разглядывая себя в стекле большого извозчичьего фонаря. — Нужные люди существуют наподобие земных ангелов. Они и есть тот счастливый случай, который так необходим нам, молодым, стремящимся занять место в жизни. Вот я, например. Приехал в Берлин без гроша. Всем моим достоянием был конверт, письмо к нужному человеку. «Сын Фриц,— писал мой отец под мою диктовку,— по недостатку средств вынужден будет, чтоб продолжать обучение, также и служить. Господь даровал нам двенадцать дочерей,— товар, который не легко пристроить в жизни без приплаты. Обращаюсь к тебе, мой дорогой друг юношеских лет, счастливых заблуждений, надежд...», и так далее и так далее. И что бы ты думал, Маркс? Шалопай, как называют меня в Трире бюргеры, высидит все-таки золотое яичко!

Фриц напыжился.

— Уже сейчас я старший секретарь фирмы «Клотц и К°» и скоро намерен сбросить студенческий мундир. Фрейлейн Труда Шварц по кончики волос влюблена в меня. Дородная девица. Она принесет мне двадцать тысяч крейцеров, не считая недвижимости, как выра-

жаются в нотариальных конторах. За это я готов в качестве придачи взять и ее двадцать золотых зубов. Не беда в конце концов и то, что оспа несколько обезобразила ее кожу. Деньги, друг Карл, украшают и урода. К тому же я люблю жирных женщин... Я женюсь не ранее, чем умрет ее мать, то есть, по мнению профессора Крауса, через три-четыре года. Ну, это время мы проведем с пользой. Молодость не возвращается.

Фриц деловито откашлялся и расправил галстук. Бриллиантовая подковка, подарок фрейлейн Труды, тускло поблескивала на черном муаре. Шлейг разгладил усики. Карл с откровенным любопытством смотрел на своего школьного товарища. Его цинизм смешил Карла. Маркс знал этот сорт людей.

«Каков экземпляр!» —думал он, отвернувшись и прищурив глаза, точно вглядываясь в нечто новое и очень мелкое. Фриц казался ему остроносым злым комаром, столь же маленьким, сколь пронырливым.

— Каков экземпляр! — уже вслух проговорил Карл.

Шлейг был занят своими ботинками. Их блеск не удовлетворял его, и он исподтишка большим платком, тем местом, где была черная кайма, проводил по тусклым носкам. Карета подъехала к двухэтажному дому.

— Ты думаешь обо мне, Карл: «Шустрый негодяй этот Шлейг,— червячок, роющий землю». Я не хочу отрицать, что поклоняюсь одному лишь золотому тельцу...

— Ты пролезаешь даже в чужую мысль! — воскликнул Карл, громко смеясь.

Перед домом Шварца на Карлсштрассе стоял уже катафалк, имеющий форму гигантского гроба. Четыре лошади вяло поводили мордами, скованные тяжелыми попонами с черной бахромой, метущей улицу. Водитель шествия важно прохаживался тут же в черном цилиндре и сюртуке до колен, сурово наставляя двенадцать почтенного вида бородатых носильщиков с фонарями в руках. Гуськом стояли нанятые кареты. Фриц объяснил Марксу, что ни один сколько-нибудь уважающий себя бюргер не может довольствоваться на похоронах меньше чем сорока — пятьюдесятью каретами, хотя бы они оставались за ненадобностью пустыми.

— Иначе засмеют.

Никогда дом Шварца не видал большего наплыва публики. Поблескивали металлические венки, роняли

шишки еловые ветки, и осыпались цветы, перевитые траурными лентами. У ограды дома толпились зеваки и досужий, праздный, прохожий люд, восторженно гудевший, как стая ворон, почуявших приторную вонь трупа.

Карл и Фриц поднялись по ступеням и прошли в настежь раскрытую дверь. В прихожей лакеи взяли их шляпы.

— Кстати,— спросил шепотом Карл, которого зрелище бюргерского погребения начало забавлять,— кто такой этот тщеславный покойник? Отец говорил мне что-то о его богатстве.

— Господин Шварц был человек своего времени. Он создал посудную фабрику и прославился кастрюлями, сковородами и тазами для варенья.

Студенты вошли в комнату, где среди венков на постаменте, обитом серебряной тафтой, покоился гроб, и в нем господин Шварц.

Вокруг сидели дамы в креповых шляпах и парадно расфранченные господа. Карлу они показались старыми знакомыми по Триру. Столичные буржуа отличались от провинциальных разве только большей спесью и свежестью нарядов.

Лакеи с черной перевязью на рукавах разносили подносы, уставленные бокалами с вином, кружками пива, бутербродами с колбасой, тарелки, полные конфет, орехов, сладостей. Еда была на славу. Большие свечи хорошо освещали комнату со спущенными темными шторами.

— Господин Шварц,— шептал Фриц,— был скаред, каких мало. Он гордился тем, что только дважды в жизни решился на непроизводительные расходы. Первый раз купил жене и себе обручальные кольца, второй раз купил полное собрание сочинений Гете. Он ежедневно проверял свои прибыли и ни разу не был в театре. Гости приглашались к нему в дом от шести до восьми вечера,— в эти часы можно было обойтись без ужина. Но в своем завещании он повелел хоронить себя, не щадя затрат. В течение многих лет он аккуратно вносил необходимую сумму в похоронную кассу, чтоб путешествие его на тот свет было обставлено на зависть всем бюргерам округи. Пятьдесят карет поплетется за катафалком, большим катафалком, о котором мечтают одинаково мясник и имперский министр. А вот, кстати, и фрейлейн Труда.

Большая багровощекая женщина в углу энергично сморкалась в траурный платок. Рядом с ней стояла маленькая старушка — вдова господина Шварца. Она испуганно таращила круглые по-мышиному глаза и искала опоры в решительном характере своей племянницы. Обе из приличия плакали, не чувствуя к этому никакой потребности.

— Старушонка скоро последует за своим супругом. Ее убьет внезапно обрушившаяся свобода. Старый Шварц отучил жену сначала возражать, а потом — и думать, — сказал Шлейг.

К гробу подошла пухлая немецкая матрона с одутловатым серым лицом. Это была мать невесты Шлейга, многолетняя сожительница покойного фабриканта. Усердно пожирающая угощение публика начала перешептываться. Жующие рты полураскрылись.

Вдова поспешила к своей более счастливой сестре, и обе они степенно обнялись и чинно заплакали. Тотчас же все вынули носовые платки и поднесли их к глазам. Шлейг, чтобы угодить Труде, закрыл глаза платком.

— Какой необыкновенный человек был господин Шварц! — патетически и достаточно громко сказал он и пошел тоже к гробу.

Брат покойного роздал собравшимся кокарды. Карл внимательно присматривался и прислушивался к тому, что происходило вокруг него. Господа в черных сюртуках почтительным шепотом передавали друг другу, что двор наконец вернулся из Потсдама и король сильно потолстел. Как и Фриц, эти люди увлеченно говорили о людях и среде, в которую не имели доступа и которой постоянно завидовали, несмотря на свои богатства.

— Фон Андерсвальд был принят вчера королевой.

— Принцесса фон Бейвид перестроила и заново обставила свою летнюю резиденцию, и моя жена заполучила ее прежнюю мебель.

— Если б моя дочь могла быть представлена принцессе Гогенлоэ, ее будущее было бы обеспечено. Я не теряю надежды.

«Вот оно — немецкое третье сословие», — подумал Карл.

Распорядитель похорон предложил спеть псалом. После пения закусили снова. Компаньон Шварца произнес напутственное слово, и на гроб нахлобучили крышку.

Вдова взвизгнула не громче, чем это полагалось. Маркс потащил Шлейга прочь.

— Какие перворазрядные пошляки эти «нужные» люди! А что, если решиться прожить жизнь без них? Прощай! Старая шельма Шварц обойдется без меня. Я бегу домой.

Фриц вознегодовал:

— Но ведь церемония только началась! Ты еще никому не представлялся. Безумие упускать такой случай! Вряд ли скоро умрет кто-либо столь же подходящий и так много влиятельных особ соберется в обстановке, когда размышления о вечности делают человека податливым и сговорчивым.

— Нет, уволь! Качество нередко зависит от дозы. Спасибо за наглядное обучение. Даже смерть тут сумели превратить в торговую сделку.

Карл свернул из переулка на Унтер-ден-Линден и пошел по бульвару между голыми низкими липами домой. Он смеялся, вспоминая дутую бюргерскую печаль и пышную церемонию погребения скряги.

«С небес его душа, душа почетного буржуа Шварца — этакая тонкая вуаль — проплывает над миром,— шутил сам с собой Маркс. — «Прохожий,— рассуждает душа господина Шварца,— повстречав на улицах Берлина мои похороны, спросит себя, какую знаменитость, какого великого мужа потеряли Берлин, Германия, Европа? Узнав, что на кладбище везут мои, Шварца, останки — устыдится: как мог я, живя в одном городе со столь почтенной, со столь достойной персоной, как мог я, несчастный, не знать ее?..»

Карл ускоряет шаг. Его быстрая насмешливая фантазия не унимается.

Душа господина посудного фабриканта Шварца странствует над Берлином наподобие облака, чванясь и топорщась. От чрезмерной гордости она набухает, превращается в тучу и, наконец, разливается дождем.

Маркс ловит первые капли осеннего ливня губами. Он возвращается домой в наилучшем расположении духа и решает, наперекор всем уговорам юстиции советника, не делать более визитов ни нужным покойникам, ни влиятельным живым. Дома его ждет письмо.

«Нет, отец,— думает он, читая наставления отца,— мы разные люди».

Впервые письмо юстиции советника и его поучения злят юношу. Карла снова корят за нелюдимость и нерасчетливость.

«Не говоря о том, что общество дает большие преимущества,— читает нехотя Карл в последнем родительском послании из Трира,— с точки зрения развлечения, отдыха и образования...»

«Общество!..— Юноша улыбается, вспоминая гостиную Шварца. — Развлечения!..» — Он готов смеяться, но из любви к отцу преодолевает досаду и читает дальше:

«Благоразумие требует,— а ты не можешь пренебрегать им, так как ты больше не один,— создания себе некоторых опор, само собой разумеется, честным, достойным способом. Люди почтенные или считающие себя такими не легко прощают небрежность, тем более что не всегда они склонны находить для объяснения ее только самые честные мотивы; особенно они этого не прощают в тех случаях, когда они несколько снизошли. Господа Йениген и Эссер, например, не только достойные, но и очень нужные для тебя люди, и было бы весьма неразумно и действительно невежливо пренебрегать ими, так как они тебя очень прилично принимают. В твоем возрасте и в твоем положении ты не можешь требовать взаимности...»

«Нет,— решает Карл, закуривая сигару,— мне это не подходит».

Он думает о том, как отдаляется от него Трир, как все наивнее, беспомощнее кажется ему столь любимый отец, ограниченнее — мать.

Никогда он не будет юстиции советником, адвокатом, как Генрих Маркс. А бывало, он видел себя преемником старика отца, восседающим в кабинете на неизменной Брюккенгассе. Генрих передал сыну своих клиентов, свою вывеску...

— Мы люди иного времени,— с облегчением шепчет Карл. — Мы...

Ему приятно произнести слово «мы». Под его сенью двое: он и Женни.

«Пусть убираются к сатане эти дряхлые подленькие людишки в орденах, в почете, в так называемой силе! К черту всякого рода Шварцев!»

Карл ловит себя на том, что почти полдня не думал о Женни. Ощущение невольной вины охватывает его. Поджав ноги, он садится на скрипучее новое кресло, обитое мышиного цвета репсом, и отдается мечтам, самым безудержным и страстным. Не в его привычках долго оставаться бездеятельным. Мечты, воспоминания — все это только рычаги, только стимулы. Поэзия. Стихи. Песни. С самых ранних лет Карл хотел быть поэтом. В родительском доме верили в его талант. Никто не умел сочинять таких сказок. Ничья фантазия не была столь блистательной.

— Хандзи,— говорил юстиции советник жене в присутствии сына,— в колыбель нашего Карла добрые феи положили лавровый венок стихотворца.

В дни семейных празднеств Карл умело подбирал рифмы и получал в награду рукоплескания.

Поэзия. Карл знал наизусть сотни поэм, баллад и стихов. Он повторял напыщенные строфы романтиков, он подражал им, увлеченный звучностью пустых слов, неистовством холодной лиры.

Мир, люди. Он знал о них еще так немного. Всякие Шлейги, Шварцы внушали ему отвращение. Он пытался бежать, укрыться от них в царство эльфов, сирен, демонов. Сказка была милее действительности, которую студент лишь начал познавать в свои семнадцать — восемнадцать лет. Женни любила баллады и народные сказания. Она тоже знала их очень много. В них воспевались небывалые существа, таинственные средневековые чародеи, волшебницы и колдуны. Для барышни Вестфален собирал Карл, выискивая в старых книгах, старинные народные песни. Их суровый и неистовый склад, их то мрачный, то пенящийся, как пиво, грубоватый сюжет влиял так же на молодого поэта, как стихи Брентано и загадочная проза Гофмана.

— Женнихен! — шепчет Карл. «Женнихен, дорогая невеста,— думает он,— обещанная жизнью, как дар за победу... Победу над чем? Над учебниками. Какая чепуха! Над собой. Но тут нет борьбы...»

Женни не верит в его постоянство, в его умение любить. Образ отделенной расстоянием девушки в неспокойном, обожженном страстью и тоской мозгу молодого студента становится небывало прекрасным.

«Что я могу дать тебе пока, моя любимая, чем могу я убедить тебя в своей беспредельной любви? Покуда время скажет за меня, остаются слова».

Карл лихорадочно ищет перо. Нелегкое дело. В комнате беспорядок, при виде которого расхворалась бы аккуратная старуха Маркс. Перо лежит под кроватью. Лист исписанной ранее бумаги оказывается под спиртовкой, на которой все еще стынет недопитый, сваренный наспех кофе. Окурки, коричневые огрызки сигары валяются на подушке, на стульях. Пепел серой паутиной оплел книги. Он на пальцах, на волосах Карла.

В тишине чужого города, в одиночестве Карлу хорошо. Вдохновение требует покоя и безлюдья. Он отдается творчеству весь, страстно, позабывая все остальное.

Плохой и хороший поэт одинаково полно отдают себя поискам слова и рифмы. В этот миг рождения стиха Карл не судья своего творения. Оно дорого ему затраченной энергией, пережитой радостью, отраженным светом мысли. К тому же лирические строки приближают к нему Женни и дают выход большим противоречивым чувствам. На секунду мелькает улыбка, иронически прищуриваются глаза. Но только на мгновение.

Стихи дописаны и окрещены «Поэзией». Они — его сегодняшнее *я*, его настоящее:

Пламя творчества пылало,
Из твоей струясь груди.
Вихри вдаль и ввысь взметало,
Я питал его в груди.

Образ твой звучал, как песнь Эола,
Крыльями любви касаясь дола,
С грозным шумом, с ярким блеском
Улетал он к небесам,
Опускался к перелескам,
Подымался к облакам.

И когда борьба в груди стихала,
Боль и радость в песне расцветала,
Формы нежной красотою
Дух навеки покорен,
Светлых образов толпою
Я внезапно окружен,
И, от пут земных освобожденный,
Я вступаю в творческое лоно.

Карл перечитывает написанное, перечеркивает, правит.

Чувство неопределенного недовольства вдруг приходит на смену глубокому удовлетворению.

— Кому я подражаю? — спрашивает он себя.

Старый, беззубый Шлегель иронически посматривает на своего ученика. Виттенбах неодобрительно покачивает головой.

— Простоты, простоты нет. Все это вычурно,— заявляет он. — Учитесь у Гете, молодой человек!

Проходят дни. Возвращаясь из университета, Карл снова пишет. Ночь. Коптит лампа. На потолке кольцами укладывается дым. Скупая хозяйка не топит печи. Поверх мундира Маркс набрасывает шинель, подбирает короткие крепкие ноги. Но чем холоднее рукам, тем безудержнее ткет мысль свой пылающий узор.

«Это будет необычная баллада,— надеется он, теряя свойственные ему трезвость и юмор. — Мрачная, как «Лесной царь» Гете».

На рассвете, вконец изнеможенный, он, шатаясь, добирается до кровати и засыпает так спокойно и крепко, как и надлежит в восемнадцать лет. Утром, набрасываясь на кофе и булочки с маслом, перебирая лекционные записи, юноша долго не вспоминает о ночных творческих муках. Иные мысли заняли его. Но по пути в университет он в кармане шинели находит скомканный лист и осторожно, нежно распрямляет его.

Перед ним мрачная баллада — «Ночная любовь».

Он пошлет ее Женни и отцу. Они оценят. Может быть, эти стихи и хороши. Карл не уверен. Его острый, чуткий слух улавливает снова чужой ритм. Но как проверить? Не легко открыть себя как поэта! Чем больше он перечитывает «Ночную любовь», тем больше находит в ней совершенств. Так идет он по Фридрихштрассе, неучтиво толкая прохожих и декламируя про себя свои стихи.

Вечером Карл отправляется на улицу Доротеи, в ресторанчик «Дядюшка», где предстоит встреча с только что приехавшим из Трира Эдгаром Вестфаленом.

Марксу не терпится поскорее получить вести о Женни, послушать новости родного города. Но Эдгар опаздывает. Чтоб скоротать время, юноша курит и пьет черное баварское пиво, заедая его пирожками, до которых большой охотник.

В комнате душно, толпа кружится в вальсе.

Карлу жарко и неудобно в штатском платье, но так как посещение «Дядюшки» строжайше запрещено студентам, Карлу пришлось переодеться. Иначе какой-нибудь педель, опознав его, занесет его имя на черную доску. Придется вести длинный спор с университетским начальством о благопристойности ресторана, куда после сумерек сходится мелкий служилый люд, подрабатывающие на проституции служанки и продавщицы модных лавок.

Коричневый сюртук слишком широк в плечах, длинные брюки ниспадают складками на щиколотки, и Карл кажется самому себе крайне неуклюжим. Он решает не смотреть в зеркала, развешанные по стенам, но не может удержаться. Он видит опять, что бант его повязан криво, небрежно свисают концы вдоль бортов сюртука. Привыкший к воротнику студенческого мундира, Карл все больше тяготится своим необычным костюмом и решает впредь не одеваться подобным образом.

Перед его столом — оркестр. Музыканты изо всех сил наигрывают вальсы и полонезы, непрерывно ускоряя темп. Слишком пестро и вычурно одетые женщины кружатся без отдыха со своими шумными, бесцеремонными кавалерами.

Приметив Карла, одна из особенно развязных танцовщиц оставляет своего кавалера. Это перчаточница из маленькой лавки подле университета. Она обращается к Марксу по-латыни со стихами Горация и просит утолить ее жажду пивом.

Карл угрюмо помалкивает, готовый броситься наутек, но на помощь ему приходит Эдгар. Присутствие женщины стесняет обоих. Они нерешительно обнимаются. Эдгар неуверенно садится.

Перчаточница, прозванная в ресторане за длинное лицо и тощий стан «Извозчичьей Лошадью», видя растерянность студентов, сама наливает себе пива и съедает оставшиеся на тарелке пирожки. Потом, изрекши несколько латинских цитат, на этот раз из Ливия, и презрительно взяв под козырек, уходит на поиски более сговорчивых партнеров.

— Какое омерзительное создание! — говорит Карл, бледнея от злости. — Она упорно вынуждала меня сказать ей дерзость, что я бы и сделал, не приди ты. Да и чего ждать в этом месте? Ни одна уважающая себя девушка не осмелится переступить порог такого ресторана.

— Напротив, эта девица очень недурна, и притом у нее прекрасное произношение в латыни,— возражает Эдгар. — Я заметил, что физическую красоту можно чаще встретить в низших сословиях, чем в высших сферах, и особенно среди бюргеров. Нежная женственность чаще скрывается в груди бедной гризетки, чем под пышным вечерним платьем. Учти, что идеальная Маргарита не была ни герцогиней, ни купеческой дочкой.

Эдгар говорит с обычным ребячливым апломбом и все еще надувает щеки, уже обросшие светлыми волосами.

— Маргарита олицетворяет великую женственность вселенной, она лишена сословных признаков. Не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме твоей сестры, был ближе к прекрасному творению Гете,— убеждает друга Карл.

— Влюблен по уши, как и раньше? — смеется Эдгар.

Маркс не смущается.

В это время Извозчичья Лошадь, шурша юбками, проходит мимо молодых людей и оборкой нарочно задевает колено Эдгара.

— Она, право, хороша собой,— говорит Вестфален, краснея.

— Кстати! — обращается к студентам Извозчичья Лошадь. Впервые она говорит по-немецки.— Если вы медики, то вспомните обо мне накануне экзамена по анатомии. В человеческом мешке, то бишь теле, я разбираюсь, как в своей рукодельной корзинке. До свидания, парни! — Она подмигивает и, покачиваясь на каблуках, уходит.

И в то время как Эдгар отмечает румянец и блеск глаз навязчивой перчаточницы, Карл видит бородавку на ее щеке, грубый нос в веснушках и отталкивающую чувственную походку.

Разговор понемногу налаживается, возвращаясь к Триру. Эдгар принялся рассказывать про общих знакомых и школьных друзей. Вспомнили и Граха.

— Он избежал сени alma mater и вооружился не рапирой первокурсника, а подлинным солдатским ружьем. Мечта его как будто сбылась. Едет на Восток.

— Не в Африку ли, войной на Абд-эль-Кадира? Бедняга все еще жаждет лавров великого полководца? — спросил Карл иронически.

— Ты не прав. Эммерих не столько солдат, сколько поэт, и смелый. Война — азартная игра. Риск. Пуля и знак отличия добываются одинаковыми средствами.

— Наполеон вскружил головы не одному поколению,— сухо отозвался Маркс и раскупорил новую бутылку.

Друзья детства пили, как истые рейнландцы, не пьянея.

— Грах не Байрон, чтоб погибнуть за свободу греков, не старый Пэйн, бежавший в Америку, чтоб сражаться против своих за независимость Штатов. Он хочет приключений ради приключений. Кого же намерен он уничтожать, брать в плен, чей флаг водружать на покоренных землях?

— Он хотел пробраться в Китай.

— В Китай? — Карл изумлен.—Чтоб стать заодно и миссионером?

— Он собирается в Кантон или Сингапур в роли телохранителя какого-то торговца ситцем. О Карл, ты не способен увлекаться, ты не авантюрист.

— Да, Эммериху не попутчик. Поздравляю, однако, непоколебимую Срединную империю! Авось наш друг приобщит ее к европейской цивилизации с помощью пуль.

— Он увидит маленьких женщин, чайные домики, бонз, мандаринов. Вокруг будут миллионы косых таинственных глаз. Воину легче открыть в мире сказку, чем нам с тобой.

— Воину и торговцу.

Долго говорили, много выпили, прежде чем Карл решился заговорить о своих стихах с Эдгаром, поэтический вкус которого он издавна ценил. Но в авторстве признаться так и не решился.

— Видишь ли... один мой друг написал стихи. Но я не могу решиться дать им окончательную оценку.

Карл читает в жаркой шумной комнате ресторана одно за другим свои произведения, немного побледнев и нетерпеливо перебирая пальцами подвернувшуюся под руки газету. Песни гномов, сирен, бледной девы, звонаря сменяются балладами о рыцаре, которому изменила дева...

Эдгар слушает, хмуря брови, иногда просит повторить. Но вот Маркс кончил.

— В общем,— говорит Эдгар раздумчиво,— стихи эти не лишены искренности. Но после Платена, после «Книги песен» Гейне — быть поэтом стало трудно. Стихи эти уступают в мастерстве даже Давиду Штраусу.

Вестфален строг и придирчив. Карл кусает губы. Он самолюбив, и чувство обиды наполняет его.

Карл не хочет начинать спор. Ему вдруг становится как-то безразлично, хороши, плохи ли стихи.

Беседа возвращается к Триру. Далеко за полночь юноши основательно навеселе покидают «Дядюшку» и, крепко расцеловавшись, расстаются на углу Старо-Лейпцигской улицы. В ушах Карла долго звучат мотив полонеза и топот ног.

Под утро Карл почувствовал озноб.

Он пролежал более недели. Лежал один. Изредка в комнату приходила прислуга хозяйки — сердобольная пожилая женщина, сын которой, ровесник Карла, был в солдатах. Она приносила наваристый куриный бульон, газету и заправленную лампу.

Карл, чтоб доставить ей удовольствие, расспрашивал о сыне-солдате.

— Мой сыночек,— говорила она с неизъяснимой гордостью,— с детства был послушен до того, что его считали полоумным. И что бы вы думали? В полку — он лучший. Где же ценится так послушание, как не там? Скажу вам по совести, мальчик до того почтителен и добронравен, что пусть ему прикажут завтра поджечь (избави боже, конечно!) церковь — он сделает даже это. Такой чудный у него характер!

— Вот что значит найти свое призвание,— отвечает Маркс и, несмотря на режущую головную боль, корчится от смеха. Он притворно кашляет, чтоб объяснить этим гримасу и не обидеть добрую женщину, которая безропотно собирает окурки и пепел с ковра и никогда еще не жаловалась на него весьма придирчивой хозяйке.

Иногда к Карлу заходит и владелец дома. Развалясь в кресле, он долго облизывает, жует, как сосиску, толстую гаванскую сигару. Потом, затянувшись несколько раз, начинает бахвалиться своими охотничьими подвигами и рассказывать невероятные приключения. Карл поддакивает и тоже курит.

Когда охотничья сумка рассказов опустошена, домохозяин, подстрекаемый квартирантом, заговаривает о Лессинге. Лессинг жил в этом доме.

— Мой дед частенько удивлялся, почему люди так почитают его постояльца, который был не очень-то аккуратен в уплате долгов, да и беден до того, что бабка сама

латала его кафтан. Не знаете ли вы, что написал этот самый господин Лессинг, которого уважают, как какого-нибудь князя?

Карл доставал лессинговский трактат «Лаокоон» и с удовольствием наблюдал, как старый пруссак, тотчас же утомившись непривычным предметом, поспешно закрывал книгу и, сдунув пыль с переплета, клал ее на стол.

Головная боль, ломота и горячечные кошмары не прекращались, и Карл решил позвать врача.

Герр Шарух пришел под вечер.

Едва он снял плащ и раскрыл черный чемоданчик со множеством бутылочек и баночек, Карл узнал в нем доктора Санградо, одного из бессмертных героев лесажевской «Истории Жиль-Блаза».

Герр Шарух долго изучал язык больного, потом безжалостно мял ему живот. Он был неутомимо говорлив, самоуверен, предприимчив; такими, по мнению Маркса, были на земле все эскулапы. Как больной и предполагал, почтенный доктор пришел к выводу, что для выздоровления требуется немедленный клистир.

— Я надеюсь, это — не холера,— глубокомысленно поставил он диагноз, крайне изумив больного.— С наступлением зимы эпидемия холеры прекратилась в Берлине. Это и не ангина,— продолжал врач,— необходим клистир.

— Но, доктор, у меня болят ноги, болит голова...

— Все именно так, как и должно быть, — отвечал обрадованно герр Шарух,— нет сомнений. Вся ваша болезнь — результат слишком тяжелой пищи.

— Так ли? Откуда же тогда озноб и ломота?

Но доктор был лишен чувства юмора. Он не улыбнулся и объявил себя сторонником той теории, что все болезни суть следствие перебоев в работе желудка. Он не отрицал также пагубного влияния сквозняков. После долгих споров герр Шарух наконец оставил больного в покое. Карл долго слышал отдельные грозные наставления, даваемые в коридоре:

— Свиной жир — великое средство... Натереть до красноты... Неплохо бы затем фланелевый шлафрок... Шалфей — отлично; конечно, только в дополнение к моим пилюлям: чудодейственный рецепт. Сам доктор Сивенброх одобрил их когда-то.

Посещение врача развеселило Карла. К ночи без помощи пилюль и шалфея у больного спал жар и перестала

болеть голова. Приятное чувство выздоровления охватило Маркса. Он закурил. Захотелось писать. Придвинув стол и подкрутив лампу, он принялся за покинутые стихи, решив вместо письма утром отправить их в Трир. В этот раз он был далек от лирических томлений и захотел отомстить герру Шаруху, который так превосходно сочетал в себе особенности своих коллег по профессии.

В этот раз шутливые стихи дались поэту легко, и он остался ими вполне доволен.

Душа есть измышление ума;
Ее, конечно, нет нигде в желудке,
А то бы парочкой пилюль чрез сутки
Наружу мы могли б ее извлечь,
И стали бы, пожалуй, то и дело
Струями души выходить из тела.

2

Первый месяц пребывания в Берлине Карл жил очень уединенно. Изредка забегал Фриц, приносил с собой суету, сплетни города, оставлял сигары, вино и убегал, охлажденный равнодушием и тонкой, едва уловимой насмешкой земляка.

Берлинский университет был во многом отличен от Боннского.

«Может быть,— рассуждал Карл, подмечая разницу,— дело было во мне». То был первый семестр, а нравы первокурсников повсюду те же. Проба жизни — наподобие пробы вина в погребке. Но Бонн, год буйства и наивных дерзаний, остался позади. Карл вспоминал о нем как о шалости, чуточку чрезмерной, но поучительной. В свои восемнадцать лет он с надменностью взрослого относился к минувшим семнадцати. То был хмель. Любовь к Женни явилась отрезвлением. Перед отъездом отец наставлял его в постоянстве.

— Нет ничего более разъедающего сердце, чем непродуманные увлечения. После них, мой сын, тошнит, как после прокисшего вина. Постоянная любовь истинно многообразна.

Карл улыбается.

— Ты прав, но какое это имеет ко мне отношение?

Отец, однако, упрямо называл его ветреником.

— Стоит только вспомнить Бонн,— говорил он сурово сыну.

— Бонн? — И Карл смущенно смолкал.

Нравы и быт студентов средних и старших курсов Берлинского университета были строги. Неприветливый, одноцветный Берлин как нельзя более подходил для кропотливого рытья в учебниках и лекционных конспектах. Впервые наука предстала перед Карлом во всей необозримой шири. Он был свободен в выборе источников, он мог додумывать то, чего не давали ему профессора и составленные ими книги.

Ничто уже не мешало молодому студенту. Наука не отмеривалась, не подносилась, как в гимназии Фридриха-Вильгельма, в виде жвачки тупомозглых педагогов, способных примять до своего маленького уровня любую мудрость. Карл пожелал сам заглянуть в колыбель науки. Зная греческий язык, он начал переводить Аристотеля.

Ничто не мешало ему погрузиться в изучение того, как развивается знание. Человеческая мысль лежала перед ним, как зрелый плод.

Наслышавшись много похвального об Эдуарде Гансе, видном берлинском юристе, Маркс поспешил записаться на курс его лекций. Ганс с первого взгляда понравился второкурснику. Ганс был молод — редкое и приятное свойство для профессора. Он был насквозь современен. Ни унылая тога, ни пыльная средневековая традиция, которой обвит был Берлинский университет, не были в силах лишить индивидуальности этого крепкого, приветливого с виду человека. Сосед по парте восторженно шепнул Карлу, едва Ганс взошел на кафедру:

— Он был учеником и другом самого Гегеля.

Маркс отнесся к этому равнодушно. Гегеля он читал лишь в отрывках, знал лишь отчасти его учение, а уважать более понаслышке, чем по собственному убеждению, было и вовсе чуждо его характеру. Он подумал о том, что следует не откладывая включить в план занятий по философии труды Гегеля и основательно проштудировать их.

Как-то раз после лекции по уголовному праву, лекции, мастерски составленной и преподнесенной, Карл догнал Ганса в коридоре. Ему хотелось высказать профессору свое восхищение прослушанным. Смело, неотра-

зимо гегельянец Ганс только что нанес удар застывшей, забронировавшейся науке о праве в лице прославленного Савиньи.

— Мир движется, меняется круг идей, но от нас требуют незыблемых древних истин. Сановные мудрецы нас запугивают словами «история», «историческая школа». Я убежден, что мы должны наконец восстать против ограниченности и закоснелости этой самой школы. Пусть не смутит наши умы важничанье, прикрывающее, как рубище когда-то богатой одежды, уродство и убожество. Юриспруденция должна быть освобождена от рабских цепей омертвелых истин, сегодня звучащих как ложь, должна быть возвращена в братский круг исторических и философских дисциплин. Право всех народов развивается во взаимной связи. Пора это понять раз и навсегда. Логическое развитие общих правовых начал принимает у каждого народа специфические черты,— говорил Ганс.

Карлу это казалось бесспорным.

— Юриспруденция не мертва, как латынь или греческий, это наука для людей,— сказал он убежденно и заслужил одобрительный кивок Ганса.

Они остановились у большого окна. Ганс милостиво расспрашивал студента и давал ему советы. Легкая улыбка уверенного в себе человека, не знающего больших житейских трудностей, улыбка, одинаково чарующая женщин и мужчин, пробегала по его живым глазам и терялась в больших мужественных губах.

— Я рад,— сказал Маркс,— случаю, давшему мне возможность узнать последователя Гегеля.

— Спасибо. Но будьте осторожны с последователями. Незадолго до смерти гениального учителя я восстал против него, да простится мне это. И я был прав. Мир движется, меняется круг идей,— не правда ли?

Ганс имел в виду свое выступление против Гегеля, когда тот пренебрежительно и враждебно отозвался об Июльской революции и английском билле о реформе. Карл еще не знал об этом.

— Вы не из Рейнландии? — спросил он Карла и прочел четверостишие Гейне, посвященное Рейну.

И то, что Ганс вспомнил стихи и, видимо, хорошо знал любимого его поэта, очень понравилось Карлу.

— Рейнландия — порог Франции,— заметил Ганс далее.— Мы увидим с вами еще много интересного. Наша эпоха требует больших голов и смелых сердец, я бы сказал — французских.

— Как определили бы вы нашу эпоху? — спросил, заинтересовавшись, Карл.

— Эпохой революций.

— Эпохой революций?! — фамильярно дернув Ганса за полу тоги, позабыв дистанцию между студентом и профессором, почти закричал Маркс.— Вы правы. Вспоминая свое детство и отрочество, я вижу мир всегда только в состоянии напряженного ожидания. Чего? Схватки. Кого с кем?

— Кого? — улыбнулся Ганс. — Бедняка с богатым, плебея и аристократа-плутократа. До свидания, молодой человек! Мы еще поговорим при случае.

Карл вернулся в аудиторию в глубоком раздумье. Слова Ганса отвечали каким-то, уже мелькнувшим у него самого мыслям.

Эпоха революций... Карлу было три года, когда умер Наполеон. Имя этого человека вошло в сознание мальчика одним из первых.

— Не шали,— говорила проказливому ребенку нянька.— Придет Бонапарт и утащит тебя.

Позже Эммерих Грах признавался одноклассникам, что хотел быть великим, как Наполеон.

Юстиции советник Генрих Маркс имел обыкновение, вспоминая прошлое, ссылаться на то или иное историческое происшествие, свидетелем которого был. Дети всегда знали, как начнет он повествование о минувшем:

— Это было через неделю после того, как в Трир пришли французы...

— Прошло только полгода со времени термидора, когда мой дядя предложил отправить меня во Франкфурт... Это случилось в день Ватерлоо...

Софи, Герман и Карл играли в наполеоновские войны. Герман хотел быть маршалом Даву. Софи предпочитала Мюрата. В 1830 году летом юстиции советник рассказал за обедом о революции во Франции. Снова у всех на устах была «республика». Карл в латинском словаре искал разгадку этого слова. «Республика — дело — народ,— перевел он.— Господство народа».

Софи долго не понимала.

Генриетта Маркс боялась войны.

— Всегда этим кончается,— говорила она ворчливо.

Потом разговоры о войне и республике поутихли. Карл увидел в иллюстрированном журнале портрет короля Луи-Филиппа. Он читал в это время в истории Рима главу о падении республики.

Однажды, готовя уроки, дети Марксов услыхали в открытую дверь, как на лестнице отец, волнуясь, говорил своему брату:

— Нет ничего удивительного в том, что рабочие восстали. Чаша терпения бедных людей переполнилась. Они изнемогли от гнета. Все-таки это же люди, а не бревна и животные. Я знаю, как живут труженики в Лионе.

— Чернь! Очень нужна миру вся эта суматоха! А впрочем, еврею от этого ни тепло, ни холодно, еврею всегда плохо,— отшутился брат юстиции советника.

И как для жителя приморья гул прибоя привычен настолько, что заметить его отсутствие он может лишь вдали от моря, так Карл рос, неуловимо впитывая в себя отливы и приливы истории. И профессор Ганс небрежно, случайно брошенной фразой обострил его слух.

«Новая история — история революций»,— повторил он мысленно положение Ганса.

Карл оторвался от волнующих мыслей.

Группы студентов обсуждали только что выслушанную лекцию. Старый служка в полинявшем отутюженном мундире вытирал кафедру желтой, как его важные усы, тряпкой. Университет жил своей, однажды и навсегда заведенной жизнью.

«Это — мой сегодняшний удел»,— подумал Карл и посмотрел расписание лекций.

«Бруно Бауэр об Исайи, аудитория пятая»,— значилось в его записной книжке. Он с удовольствием поднялся по лестнице в зал, где должен был читать молодой доцент. Но вместо Бауэра он увидел на кафедре Хендрика Стеффенса. Желая угодить отцу, Карл записался также на лекции по химии и физике, хоть и не имел никакой охоты зубрить эти предметы.

Господин Хендрик Стеффенс, натурфилософ и минералог, менее всего мог пробудить в ком бы то ни было интерес к занятиям, которым сам посвятил всю жизнь.

Норвежец по происхождению, он показался Карлу куском темного гранита, оторвавшимся от скалистого бе-

рега его родины. Его ум был, как глыба, неповоротлив. Он был прочно предан идеям Спинозы и Шеллинга, которые излагал применительно к антропологии с таким скучным многословием, что Карл на его лекциях постоянно принимался исподтишка читать книги на более занимающие его темы.

Вначале Карл с увлечением записывался на лекции по самым различным научным дисциплинам. Его специальностью должна была стать юриспруденция. Одновременно он хотел работать по философии и истории. Заинтересованный длинным рядом других малознакомых предметов, он брался за них независимо от того, в какой связи они находились между собой. Все, обещавшее дать ему что-либо интересное и новое, он брал, подобно тому как брался за книги по самым различным вопросам. Его одинаково увлекали и шекспировская комедия, и географическая лекция Риттера, и пандекты напыщенного маститого профессора Савиньи. Но, аккуратно посещая некоторое время церковное право, логику, судопроизводство, теологию и филологию, Карл быстро пришел к выводу, что за исключением Ганса да еще двух-трех профессоров преподавание в Берлинском, как и в Боннском, университете поручено скучным, трусливо думающим людям, раз навсегда вызубрившим и из года в год все более засушивающим свой предмет.

Он не мог довольствоваться этой плоской передачей мыслей, найденных умами более сильными и оригинальными, чем их случайные толкователи. Посещение лекций теряло для него свой первоначальный смысл. Он перестал писать конспекты. Старые профессора очень скоро были разгаданы им: большинство тянуло лямку науки, как хомут. Одни были бы гораздо более на месте на церковной паперти, другие — в канцелярии интендантства. Худшие отличались цепкой наглостью, пронырливым невежеством и беспредельным ханжеством.

О том, каким мог и должен был бы стать университет, говорили молодые смелые ученые вроде профессора Ганса и доцента Бруно Бауэра. К последнему Карл приглядывался с особенным вниманием.

Оба считались гегельянцами, оба многое переняли у своего великого учителя. Карл твердо решил также заняться Гегелем. Начал он подумывать и об университетской карьере.

«Если я не стану поэтом и писателем, то, может быть, надену профессорскую тогу,— думал Карл, слушая смелое толкование Исайи Бауэром. — Мы совершили бы переворот в немецкой науке». Он думал о себе, Бруно Бауэре, Гансе и им подобных. Образ замученного университетской пылью Пугге, уродливые посредственности в профессорских тогах, насквозь пропахшие нюхательным табаком, более не казались Марксу персонажами настоящего. Они принадлежали прошлому науки. Их следовало сдать в архив, на корм мышам. Будущее принадлежало новым людям, его, Карла, поколению. Чем больше он думал, тем больше склонялся к приятному выводу, что университетская карьера не помешает литературной. Этим устранялись все препятствия.

Нередко, придя домой из университета, Карл доставал неряшливые, рваные тетрадочки своих стихов. На первом листке необычно разборчивым почерком он вывел посвящение: «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален».

Перелистав тетрадки, он нетерпеливо вскакивал из-за стола. Долго сидеть на одном месте он вообще не умел, не мог. Принимался без конца шагать по комнате, не замечая этого. Мысль его распрямлялась, как тело. Он переделывал на ходу отдельные строки своих творений. Стихов было уже немало. Он по-прежнему колебался в их оценке. Кроме стихов, Карл писал и прозу. Восемнадцать главок уже кончены...

Забывая о только что прочитанном пункте уголовного судопроизводства и изучаемых принципах прусского гражданского права, он возвращается к столу, чтоб продолжать начатую повесть. В предстоящей главе по замыслу нужно описать «ее» глаза — глаза героини. Будут ли это глаза Женни? Он волнуется, как будто пишет письмо с адресом Вестфаленов, которое он не имеет права, согласно уговору с невестой, писать.

«Милая, она может думать, что, не имея возможности ей писать, ее видеть, я охладею, я забуду! Как мало она знает меня!»

Его одолевает неистовство страсти и тоски. Это похоже на вдохновение. Нет, героиня его книги будет не Женни, она будет ее противоположностью. Так будет тоньше, разумнее...

«Глава девятнадцатая...» — выводит он неуверенными, беспокойными буквами и продолжает:

«И были у нее большие голубые глаза, а голубые глаза обыкновенно — как вода Шпрее.

Глупая алчущая невинность заявляет о себе в них, невинность, жалеющая самое себя, водянистая невинность; при приближении огня она испаряется серой дымкой; и далее нет уже ничего за этими глазами, весь их мир голубой, их душа — синильщик. Карие же глаза — идеальное царство; бесконечный одухотворенный мир ночи дремлет в них; вспыхивают в них молнии души, и взоры их звучат, как песни Миньон, как далекая, полная неги, знойная страна, где живет божество, обладающее изобилием, что упивается своей собственной глубиною и, погрузившись во всеобъемлемость своего бытия, излучает бесконечность и терпит бесконечность. Мы чувствуем себя как бы скованными чарами, хотели бы прижать к груди мелодичное, глубокое, полное чувств существо и пить душу из его глаз и слагать песни из его взоров».

Глаза Женни светло-карие, переменчивые, глубокие. О них пишет Карл.

Женни фон Вестфален — красавица. Он любит ее с неистовством неугомонного Роланда. Нет, проза тривиальна, как вода реки Шпрее. Он отбрасывает начатую главу ради новых стихов к невесте.

Лишь одно скажу тебе я, Женни:
Радостен привет прощальный мой,
Ибо волн серебряных движенье
Дышит лишь твоею красотой.

Пусть же смело дней моих теченье
Мчит сквозь бурь и водопадов вой,
Чтоб найти святое завершенье,
Чтоб вернуться вновь к тебе одной.

В яркие одежды облаченный,
С гордым сердцем, с пламенным умом,
От презренных пут освобожденный,

Твердо я вступаю в царство прозы,—
Скорбь отбросив пред твоим лицом,—
И цветут, как древо жизни, грезы.

Всю ночь горело и цвело воображение. На рассвете Карл наконец улегся спать и лишь в полдень проснулся.

Открыв глаза, он долго и громко зевал. Вскинув руки и ухватившись за перекладинки деревянной кровати, вытянулся и, отбросив коленом одеяло, проделал несколько неопределенных гимнастических движений. Ощущение силы, здоровья наполнило его.

Разом сев на постели, он осмотрелся вокруг. На подоконнике рядом с чашкой недопитого кофе валялись книги. Их растрепанные страницы, безжалостно исчерченные карандашом, исцарапанные нетерпеливым ногтем, говорили о многом. Карл не признавал бесцельных вещей. Книга была его помощником, более того — его рабом.

Отведя глаза от окна, за которым лил нескончаемый дождь, Карл увидал под кроватью, рядом с распростертым, изрядно измазанным шлафроком, «Риторику» Аристотеля. Как она туда попала?

Карл, широко зевая, сидел на постели, бледный, худой, веселый. Иссиня-черные волосы взъерошились и падали на шишковатый лоб, касаясь бровей.

Бедная Генриетта Маркс, лучшая хозяйка Трира! Все ее наставления сыну пропали, они так явно посрамлены и забыты. Хаос не смутил Карла. Он вскочил, погрузил в таз голову, набирая в рот воды, шумно отплевываясь и дурачась, как в детстве. Внезапно, без предварительного стука, распахнулась дверь, и появился Фриц. Он нес пакет сосисок, хлеб и масло. Отличный завтрак.

— А, Растиньяк с мозельских берегов! — приветствовал его Карл, отняв от лица полотенце.

Покуда Маркс тщательно чистил ботинки, растягивал изрядно смявшийся накануне мундир, долго отыскивал в груде белья рубашку, Фриц без смущения рылся в его бумагах. Он нашел две заветные, переписанные начисто в течение ночи, готовые к отправке в Трир тетрадки с посвящением Женни.

— Ого! — сказал он многозначительно, не решаясь подтрунивать.— «Книга песен», часть первая. «Книга любви», часть вторая. Да ты всерьез занялся поэзией.

Карл подскочил и сердито вырвал написанное. Но ловкий Фриц уже успел прочесть посвящение «дорогой, вечно любимой Женни».

— Женни Вестфален? Красивейшая барышня нашего города? Недотрога, аристократка — твоя невеста? — В голосе Фрица прозвучала зависть.— Значит, городские толки на этот раз верны. Сестра мне говорила как-то...

Что ж, поздравляю. Не один князь позавидует тебе. Добыл сокровище...

Карл не мог скрыть удовольствия от этих слов Шлейга. «Первая красавица Трира»,— самодовольная улыбка осветила его лицо. Он гордился Женни, как всякий влюбленный, он был в своем чувстве тщеславен. Ему хотелось выслушать от земляка еще несколько похвал своей любимой, но боязнь показаться смешным остановила вопросы.

— Я не знаю девушки более гармоничной и совершенной на свете,— сказал только Карл, порозовев.

— Ах, друг,— продолжал Фриц,— я нередко думаю о том, что ты человек необыкновенный, хоть, по правде говоря, толком не могу дать себе отчета, чем именно. Есть в тебе этакая странная сила, этакая уверенность, и смотришь ты в жизнь прямо, и как-то выше нас, и видишь что-то, чего я не вижу.

Карл, прищурившись, посмотрел на Фрица. Шлейг настороженно встретил его взгляд. Хотел понять его душу, но не понял. Никогда не понимал.

— Вот все в тебе как будто просто, и учился ты в школе не лучше меня, а все не то.

И снова глубоко спрятанная зависть прозвучала в голосе Фрица.

— Я хотел бы идти своей дорогой, не обращая внимания на мнение других,— перефразировал Карл мысль Данте.

— Э, да тут и сам почтенный Гегель,— приветствовал Фриц большую книгу, уже основательно исчерченную нетерпеливой рукой Карла.

— Да, он грозит стать моим постоянным спутником,— при этом Маркс посмотрел снисходительным, ласково-прощальным взглядом на тетрадки стихов.— Для поэзии останется немного времени...

Дождь прекратился, начинался снег. Крыши побелели, осветив холодным светом комнату. Карл надел шинель и в сопровождении Фрица пошел на ближайшую почту. Три тетради стихов, тщательно завернутые и связанные в один толстый пакет, в почтовой карете отбыли в Трир.

Карл принялся за изучение Гегеля. В университете он бывал все реже. Посещал по-прежнему прилежно только лекции Ганса и Бауэра. Он решил лично познакомиться с Бауэром, но покуда еще медлил. Хотел встретить

молодого гегельянца, когда будет во всеоружии, ибо поставил своей задачей овладеть основами учения его учителя. И всю зиму он держался вдали от берлинцев, вел жизнь по-прежнему уединенную. Книги, впрочем, заменяли ему людей. Он умел выбирать и понимать их, как никто.

Фриц собирался в Швейцарию на рождественские каникулы. Прощаясь с Карлом, он с обычной своей склонностью к монологам развил перед товарищем теорию кратчайшей прямой от бедности к богатству. Маркс слушал, сощурив глаза, с тем обычным выражением, которое часто появлялось у него при виде Шлейга. Он словно наблюдал с интересом ученого, как в стеклянной банке копошится извивающийся багровый червяк.

Фриц говорил азартно, поспешно, захлебываясь словами:

— Ты думаешь, я готов на большие преступления ради наживы? Увы, нет! На большое Шлейги не способны. Мы — пигмеи даже и в подлости. Вот ты, Маркс, ты человек больших дел, а я — маленьких. Я жаден. Но пока довольствуюсь малым, тоже из расчета. Сотню крейцеров, свою карету, свое дело — вот что мне нужно. Что дам взамен? За дело — дело. Буду строить железные дороги. Разве людям не нужны железные дороги? Ты не хочешь идти моим путем. Ты будешь переделывать мир, а мне мир не нужен.

— Человек свободен только среди свободных.

Фриц пропустил замечание Карла.

— Ради этого я лгу,— продолжал он,— прислуживаю пошлякам, женюсь на золотом мешке, притворяюсь. Меня не любили в школе товарищи, не любили учителя. Я не в убытке. Будь я, как ты, талантлив, умей я, как ты, работать, учиться... Мои предки были богатыми праздными виноградарями. Они зачинали детей пьяными, и мы родились слабыми, жадными и хитрыми. Что прикажешь делать без папенькиного наследства, без охоты учиться? Мне осталось выкручиваться и пробиваться. Не быть же мне всю жизнь пресмыкающимся приказчиком, чиновником, недоучкой. Сейчас время, когда можно делать дела. Была бы удача, и никто не вспомнит мелких взяток и проступков на пути к возвышению. Кто перечислит теперь все жульничества богачей? Кому какое дело, сколько раз обсчитывал клиентов Ротшильд? Крезы — вне подозрений. Фриц Шлейг — промышленник, банкир, фабрикант.

А ну, кто скажет о нем вслух «подлец»? Время за меня, за мне подобных.

— Отчасти да,— вяло согласился Карл. Он мысленно обозревал галерею типов Бальзака. Фриц становился ему скучен, как дурная копия совершенного в своей законченности портрета.

— Когда я разбогатею,— сказал Шлейг, тщетно ожидая одобрения Карла,— рассчитывай на меня. Великие люди, богатые мыслью, подобные тебе, преимущественно становятся обладателями пустых кошельков. Трир будет еще гордиться нами, господином Шлейгом и профессором Марксом.

Отсалютовав беретом, Фриц вышел из комнаты.

Карл остался наконец один, с толстым угрюмым томом Гегеля и тремя еще не распечатанными письмами из Трира. Судя по адресу, ни одно из них опять не было от Женни.

«Я не видел все еще ее почерка, хотя знаю уже ее губы и догадываюсь об ее мыслях»,— досадовал Карл. Женни не хочет ему писать. Не верит все еще, испытывает. Милая! Сомневаться в своем счастье надо ему, Карлу, а не ей. Нельзя не любить Женни. А можно ли любить его?.. Сомнения одолевают Маркса, но ненадолго. Уверенность во взаимной любви отгоняет беспокойство.

Медленно Карл перебирает письма родных. Почерк отца, ровный, неколеблющийся, разборчивый. Мать пишет нетерпеливо. Брюзгливо-неспокойные буквы расплываются, торопятся. Мысль ее одновременно стремится к больному Эдгару, к неизменным пряничкам, к заботам о приданом дочерей. Зато Софи — рукодельница, точно вышивает на бумаге пером.

Маркс погружается в эту добычу. Он снова в Трире. Снова отец делится с ним своими честолюбивыми надеждами:

«Я надеюсь, мой сын, дожить до дня, когда твое имя прогремит и слава увенчает тебя».

Карлу хочется подтрунить над стариком, вышутить его отцовский эгоизм, но отец так преждевременно одряхлел, так устал. Что ж, пусть доживает век в надежде увидеть имя своего Карла возвеличенным. Юстиции советник подмечает улыбку в глазах сына и старается оправдаться:

«Я знаю, честолюбие мое — признак слабости, эгоизма, пустого тщеславия. Но я верю в тебя и в твое будущее. С такой ясной головой ты не заблудишься в мире и,— старик мечтает,— добьешься карьеры легче, чем твой отец».

В этот раз письма из Трира посвящены Женни. Генрих Маркс перенес на нее любовь, которую он питает к сыну. Карл трепетно, подолгу перечитывает каждую строчку, относящуюся к невесте. Как отнеслась Женни к его стихам? Она заплакала... Так пишет Софи. Отчего? От волнения, радости, утвердившегося доверия?

«Я заслужил безграничное доверие твоей Женни. Но добрая, милая девушка непрерывно мучается, боится повредить тебе, боится довести тебя до переутомления, — пишет в одном из писем юстиции советник.— Она сама себе не может объяснить, каким образом она, считавшая себя вполне человеком рассудка, могла так увлечься...»

«Женни любит тебя,— успокаивает его Софи.— Если разница лет причиняет ей горе, то это только из-за ее родителей. Она будет теперь постоянно подготавливать их; затем напиши им сам; они ведь тебя очень ценят. Женни часто нас навещает. Еще вчера она была и, получив твои стихи, плакала слезами счастья и боли. Наши родители и братья любят ее сверх всякой меры; раньше десяти часов ей не позволяют уходить от нас,— как это тебе нравится? До свидания, милый, добрый Карл, прими мои самые сердечные пожелания исполнения твоих самых сердечных желаний...»

Карл не торопится вскрыть последний конверт. Нежность, проявляемая сестрой и стариком к Женни, невольно сближает и его с ними. Нараставшее в последнее время отчуждение сглаживается. Пусть отец — человек минувших дней, но какое, однако, чуткое сердце, какое стремление понимать сына проявляется в каждом его поступке, в каждой его строчке, каждом слове!

«Как он любит меня... нас!» — еще раз говорит себе Карл и решает отныне писать в Трир чаще. Письма, университетские да литературные удачи — единственное, чем он может вознаградить отца за Женни, за его всегдашнюю готовность, стремление быть другом, советчиком своему сыну.

«Забота о Женни главным образом заставляет меня так желать,— пишет Генрих Маркс,— чтобы ты уже скоро успешно выступил на жизненном поприще, потому что это дало бы ей покой; так, по крайней мере, я думаю. Я заверяю тебя, милый Карл, что без этого соображения я пытался бы в настоящее время скорее удержать тебя от всякого выступления, чем пришпоривать. Но ты видишь, что волшебница несколько сбила с толку и мою старую голову, а я прежде всего желаю видеть ее спокойной и счастливой. Это можешь сделать только ты, и цель заслуживает всего твоего внимания, и может быть, хорошо и полезно, чтобы немедленно по вступлении на жизненное поприще ты был вынужден обнаружить внимание, даже рассудительность, осторожность и зрелый рассудок, несмотря на всех демонов. Я благодарю за это небо, так как всегда буду любить в тебе человека, а ты знаешь, что я — практический человек — в то же время далеко не так очерствел, чтобы притупить в себе восприятие всего высокого и доброго. Тем не менее я нелегко отрываюсь от земли, на которой нахожу опору, нелегко уношусь в воздушные сферы, где у меня нет почвы под ногами.

Все это заставляет меня, конечно, в большей мере, чем я бы это сделал в иных условиях, подумать о средствах, имеющихся в твоем распоряжении. Ты обратился к драме, и, во всяком случае, она заключает много истинного. Но с ее значительностью, с ее большою наглядностью соединяется, естественно, также опасность неудачи. И не всегда, особенно в больших городах, решающей оказывается внутренняя ценность. Интрига, коварство, ревность,— может быть, тех, которые к этому всего ближе,— часто перевешивают ценное, особенно когда последнее не поддерживается известным именем.

Что было бы, таким образом, всего разумнее? Попытаться по возможности предпослать этой большой пробе меньшую, которая не была бы связана с такой опасностью и была бы настолько значительна, чтобы дать в случае успеха известное имя. Если это должно быть достигнуто при помощи небольшого сюжета, то тема ее, сюжет, обстоятельства должны заключать в себе что-либо исключительное. Я долго искал такой сюжет, и следующая идея кажется мне подходящей.

Сюжет должен дать эпоху, вырванную из прусской истории,— не такую последовательную, как этого требует

эпопея, но сжатый момент, который, однако, решает судьбы.

Он должен быть почетен для Пруссии. Нужно выделить, подчеркнуть известную роль гения монархии, — во всяком случае, в лице весьма благородной королевы Луизы.

Такой момент представляет собой великая битва при Бель-Альянс-Ватерлоо. Опасность громадна — не только для Пруссии и ее монархии, но и для всей Германии и т. д. и т. д.

Пруссия в действительности сыграла здесь решающую роль, следовательно, это может быть ода большого стиля или что-нибудь иное, в чем ты понимаешь больше меня.

Трудность была бы сама по себе не слишком велика. Самое большое затруднение заключалось бы, во всяком случае, в том, что нужно вместить большую картину в маленькую рамку и удачно и ловко схватить великий момент. Но обработанная патриотически, с чувством и в немецком духе, такая ода была бы достаточна, чтобы создать славу и укрепить имя...»

Наступила весна. На Старо-Лейпцигской улице, где жил Карл, стало непроходимо грязно. С крыш на дурно выложенную плитами мостовую стекала по трубам серая жижа, пахнущая птичьими гнездами, сырой соломой, котятами. Домохозяйки неистовствовали во дворах, выколачивая ковры и матрацы. Пыль плотной массой врывалась в открытые окна.

Так бывало в Трире в предпасхальные дни. Карл вдыхал раздувающимися ноздрями знакомые запахи, последние воспоминания уходящей зимы.

Прислуга, мать солдата, посоветовала Карлу с утра выйти на прогулку. В канун пасхи наступали страшные дни расправы с плюшевыми гардинами, жесткими лестничными дорожками, перинами, креслами и обитыми сукном столами. Приближались великие часы генеральной уборки квартир, к которой готовились месяцами берлинские хозяйки.

В полдень нашествие уборщиц, вооруженных палками, метлами, ведрами, в фартуках от подбородка до полу, в рогатых непроницаемых чепцах, действительно обратило Маркса в бегство. Он стремглав сбежал с мокрой лестницы, рискуя сломать себе позвоночник о банки с

мастикой для полов и задохнуться от вони заготовленного табачного раствора. В поисках свежего воздуха и весны он пошел в Тиргартен, по узким каменным улочкам, мимо зловонных водостоков, по которым, визжа от восторга, шлепали босоногие дети.

Весна тревожила, беспокоила. Город был возбужден. Какая-то Ксантиппа в глухом тупичке, перегнувшись через подоконник, выливала помои вслед бегущему супругу. Изо всех окон вырывалось на улицу пение канареек, чижей, которым приветливо отвечали вольные воробьи, клюющие сухой навоз.

В Трире на Брюккенгассе уже готовились к празднику... Карл ощутил тягостный приступ тоски, порожденной одиночеством. Весной особенно грустно быть одному.

Бывало, накануне пасхи Карл отправлялся в трирское гетто. Еврейский праздник предшествовал лютеранскому. В доме дяди Якова пекли мацу и фаршировали рыбу к сейдеру[1]. Гетто принаряжалось. На Брюккенгассе красили яйца и жарили поросенка. Карл приносил домой мацу и заедал ею узкие ломтики пасхальной свинины.

— Бог у всех один и тот же,— снисходительно говорили тетки.

— Святотатство! — негодовала Генриетта в трепетном ожидании божьей кары.

В Тиргартене, куда, вспоминая родной дом, забрел Карл, несмело распускались рахитичные, уже пыльные почки на низких деревцах. Липы стояли еще оголенные. Ветер гнал по аллеям песок, ловко целясь и запуская его в глаза прохожим. Молодой студент разочарованно оглядел этот жалкий оазис и свернул на Унтер-ден-Линден, намереваясь зайти в ресторацию выпить кофе с хрустящим прославленным безе и просмотреть газеты.

Он миновал, замедлив шаги, кондитерскую Кранцлера, излюбленное пристанище офицеров королевской гвардии. Как всегда, за столиком у больших окон расфранченные гвардейцы с неповторимо бравыми усами и напомаженными бакенбардами вознаграждали себя после маршировки фисташковым мороженым, кофе с ликером и пирожными. Они охотно показывали себя прохожим, лихо оправляли мундиры, небрежно-медленно отстегивали шпаги и клали их подле себя.

---

[1] Вечерняя обрядовая трапеза в дни пасхи.

Маркс, глянув в большие стекла кондитерской, тотчас же представил себе, что именно обсуждают столь оживленно, о чем говорят эти годные украсить любую витрину разодетые куклы. Лошади, собаки, балетные дивы, фасон сапог и отделка ружья — вечная тема их бесед, их ссор, признаний, дуэлей.

Гвардейские мундиры затмевают штатский фрак, и несколько щеголей, ежевечерне посещающих кондитерскую Кранцлера, едва различимы в глубине зала. Их тоже насквозь пронизывает, разгадывает точный глаз Карла, и они его тешат. Стремясь прослыть денди, молодые дворянские отпрыски, атташе посольств, проживающие без оглядки свои доходы, всем своим разочарованным видом — потухающей сигарой в тонкой руке, с одним перстнем на мизинце, замедленной жестикуляцией, безукоризненным жилетом и не слишком блестящей булавкой в галстуке, — всем своим поведением они демонстрируют прохожим пресыщение и губительную скуку. Им в отместку ухарски развязные толстощекие гвардейцы щеголяют позами героев.

Между Кранцлером и рестораном Кобланка, где всегда собрана на страже вся берлинская пресса, находится кондитерская Фукса, куда стремится каждый провинциал, чтобы самому увидеть и самому описать родным это прославленное, бесспорно аристократическое заведение.

Однажды Фриц привел к Фуксу Карла. Роскошь, так поразившая Шлейга, произвела, однако, на Карла самое отталкивающее впечатление. Стены одной из комнат были сплошь зеркальные. Фриц, падкий до всего кричащего, блестящего, предложил занять в ней столик.

— Не правда ли — королевский зал! — сказал он и принялся вслух мечтать о том времени, когда в собственном своем особняке сможет выложить зеркалами одну из гостиных.

В зеркальном зале кондитерской Фукса было многолюдно. Десятки багровых рож, десятки животов, вдавленных и выпуклых, украшенных золотыми цепочками и брелоками, десятки ртов, жадно пожирающих сладкое тесто.

— Да здесь ни одного человека! — вдруг засмеялся Карл. — Смотреть же на этот набор жевательных машинок, да еще видеть их в удесятеренном и более того ко-

личестве, не иметь возможности отдохнуть от них, вперив глаза в безликую стену,— нет, благодарю покорно!

Он потащил Фрица прочь. Они попали в следующий зал, убранный в стиле швейцарского домика. Тщетно дожидаясь кофе, Карл рыскал глазами по столам в поисках газет.

У Фукса можно было найти лишь давнишний номер какого-нибудь иллюстрированного журнала, и ничего больше. Для глаз и души здесь заготовлена иная пища — то, что Фриц именует неопределенным, импонирующим ему словом «роскошь».

— Аристократы любят скучать в тишине,— пояснил Шлейг.

...Миновав Фукса, Карл дошел до кондитерской Спаргнапани и вошел внутрь. У стены он нашел столик с мраморной доской и, усевшись, потребовал кофе и газеты. Он быстро перелистал благонамеренно-унылую «Прусскую государственную газету», реакционного, всем довольного «Гамбургского корреспондента» и отложил, не читая, «Военный листок».

Описания парадов, королевских выездов, биржевые отчеты перемежались там с краткими иностранными корреспонденциями, которые более всего интересовали молодого студента. Но об английских событиях, о прениях в палате, о возмущении бирмингемских рабочих почти ничего не сообщалось в тщательно цензурованной прессе, и Карл, разочарованно отложив кипу газет, затребовал парижский «Шаривари», чтобы отдохнуть на злых карикатурах и остроумных недомолвках.

Кондитерская Спаргнапани была тесна, мрачна и душна и собирала посетителей скорее как общая читальня. Она не имела отчетливого политического лица, и на столах можно было найти газеты самых разных направлений. У Спаргнапани пили кофе, заедая его пирожными со взбитыми сливками, купцы, осведомляясь после каждого глотка и следующей за ним затяжки сигарой или трубкой о новом курсе железнодорожных акций.

Мальчики в красных кафтанчиках с золотыми эполетами приносили для них последние бюллетени биржи. Торговцы и спекулянты назначали тут друг другу свидания, чтоб обсудить условия купли, продажи и какой-нибудь новой сложной спекуляции. Впрочем, их меньше было среди посетителей Спаргнапани, чем у швейцарца

Куртина, где прочно утвердился бог коммерции. Иногда к Спаргнапани забредал несведущий гвардейский лейтенант, звеня шпорами и саблей, и со скучающей миной в ожидании парада перелистывал иллюстрированный еженедельник.

Студенты и профессора ожидали тут часа семинарских занятий, чиновники — минуты открытия канцелярий. Портреты живых и покойных королей — в полной форме и во весь рост — подчеркивали почтение к прусской военной иерархии и подслащивали кофе старому вояке 1813 года. Сам хозяин неизменно находился в зале, но ухаживал самолично только за публикой не моложе пятидесяти лет.

Невзирая на подагру, артрит, ревматизм, они ежедневно приходили пить свой кофе, брюзжать и осуждать современное поколение. Появление студента вызывало их беспокойство, как сквозняк. Они приподнимали головы, морщились и требовали тишины, которую сами нарушали кашлем, злобными замечаниями и хлопаньем дверей.

Бывали тут старики и иной породы. Поклонники Гете и Новалиса, изысканные кавалеры, зараженные скептицизмом Вольтера, баловни, проедающие поместья и капиталы. Их было немного, как немного уже было представителей старого пруссачества, живущего заветами Фридриха Великого и тоской по косичке. Это были старые скептики. Они никогда не смотрели на жизнь сквозь лепестки изменчивой романтической розы и с упрямством пушек защищали принцип полновластного монархического управления против шумного режима конституционных стран.

Господин Спаргнапани в особенности стремился завоевать их расположение, но, понимая, что тишина и старческая скука наносят вред также и коммерции, рад был и молодежи и отпускал студентам при случае кофе в кредит. Он любил похвастать тем, что Гейне однажды съел подряд шесть штук его знаменитых безе с шоколадной прослойкой... Но Гейне был нечастым гостем у Спаргнапани.

Пресытившись молчанием и тщетным выискиванием в толпе знакомых лиц, Карл заплатил за кофе и, стараясь не шуметь, пробрался к выходу. Старики проводили его осуждающими взглядами, шепотом выбранив вольнодумство Берлинского университета. На улице Маркс долго

стоял в раздумье. Куда пойти? Темнело. Зажигали фонари.

— К Стехели,— ответил за него профессор Ганс.

Счастливое совпадение столкнуло их вместе на углу Унтер-ден-Линден. Молодой профессор, как всегда, блистал изяществом, довольством, улыбкой. Карл присоединился к нему, и они пошли на Жандармский рынок в ресторан, являвшийся полной противоположностью благонамеренному Спаргнапани.

— Там будут наши,— сказал Ганс.

Маркс догадался, что профессор имел в виду также и Бруно Бауэра.

— Отличный случай узнать Бауэра поближе.

— Рекомендую. Это один из интереснейших людей, выдвигаемых нашим временем. Он идет походом на бога. С увлечением и мужеством он борется с теологами и наносит им все новые удары, раскрывает один за другим все их секреты, уничтожает предрассудки.

— Противопоставляя богу бога?

— Богом станет человек.

— Лестно для нас. Раньше бога пытались очеловечить, теперь обожествляют человека.

— Ого! У вас недоверчивый, острый, неспокойный ум, мой юный друг. Со временем вы можете стать очень сильным в диалектике,— говорит Ганс раздумчиво. — У Бауэра много оригинальности, но, по правде говоря, я юрист, и небесные дела занимают меня сейчас в последнюю очередь. Читаете ли вы Гегеля?

— Да. Читал «Феноменологию духа», но говорить об этом еще рано. Признаюсь, меня отпугивает это нагромождение мыслей величественных, но не всегда удобоваримых.

Ресторан Стехели состоял из четырех небольших комнат и напомнил Карлу трирское «Казино» каким-то неуловимым семейным уютом, обжитостью. Даже запахи в нем были какие-то домашние, знакомые Марксу с детства. Подобно завсегдатаям «Казино», здесь все посетители знали друг друга и, отдыхая, спорили, шумели, как дома.

Едва Ганс появился на пороге, опередив Карла,— несколько человек в бархатных блузах с огромными бантами á la Латинский квартал подняли в его честь кубки.

— Это актеры из соседнего театра,— пояснил Ганс и ответил им античным приветствием и низким поклоном.

Карл прошел в «красную комнату», обитую багровым репсом. Несколько неутомимых журналистов трудились над статьями, не замечая сутолоки и с удовольствием вдыхая густой табачный дым. Неизменный приверженец Стехели, Эдуард Мейен углубился в чтение «Ежегодников научной мысли», настойчиво жуя вместе с устаревшей мудростью большой, песочного теста, пряник.

Ганс — истый берлинец, издавна знавший посетителей «красной комнаты», помогал Карлу ориентироваться среди новой обстановки и людей:

— Это Мейен, Эдуард Мейен, которому Берлин кажется центром мира и бытия. Я знаю его давно и насквозь. Ему присущ налет особой берлинской пресыщенности. Нельзя отказать ему в некотором багаже эстетических знаний. С недавних пор он воображает, что живет в гуще социального и политического движения. Боюсь, что это больше ему кажется. Он тоже вышел из гегелевской школы и прошел все фазы, начиная от той поры, когда нас возносили, до того момента, когда к нам, молодым, начинают относиться с некоторым подозрением. Как большинство, он сильнее в критике, чем в творчестве... Сейчас он мечтает о журналистике. Не далее как вчера он объяснял мне, что только в ней начало нового мира... Все же это не худший из молодых. Он меньше иных витает в абстрактном мышлении, и ему близки живые порывы.

Карл внимательно слушал.

— Добрый вечер, профессор!— окликнул кто-то Ганса.

— А, Шмидт!— обрадовался тот.

Маркс не знал Шмидта, писавшего под псевдонимом Макса Штирнера, и, не желая мешать беседе двух приятелей, отошел к окну и сел у стола, продолжая с интересом обозревать комнату.

Вскоре Ганс вернулся, и Карл мог снова удовлетворить свое любопытство и многое узнать о людях, сидевших вокруг, которых знал лишь понаслышке и видел впервые.

Ганс терпеливо отвечал на его вопросы.

— Это Людвиг Буль. В его слабом тельце живет неукротимый, сильный дух.

— Насколько я знаю, Буль — человек больших знаний. Образование доставит ему одно из первых мест на

столбцах северогерманской прессы. Я читал его статьи. Нужно, однако, учесть, что прусская публицистика не вышла еще из детского возраста: спеленатая, она совершенно беспомощна и растет калекой. Как прав был Бёрне, когда, высмеивая мероприятия Союзного сейма, терроризирующие нашу печать, говорил: «Где нет ничего, там и король теряет свои права!» — заметил Карл.

— Вы судите смело и верно,— согласился Ганс, снова удивленный знаниями и верными, отважными суждениями юноши.

Оба закурили сигары, молча осматривая входящих и выходящих.

С шумом ворвалась в комнату компания иностранцев. Долго выбирая место, они наконец сбились в углу, подле газетного столика, и принялись бесцеремонно перетаскивать и сдвигать воедино маленькие квадратные столики. После долгой суеты наконец расселись. Короткий толстый мужчина с гладкой бородкой, остриженной колом, «под Генриха IV», в сборчатом «под Гегеля» берете-колпаке, потребовал ужин и рейнского вина. Он был хорошо знаком кельнерам и, судя по их угодливости и старательности, щедро оплачивал услуги. Пир обещал быть на славу. Беседа становилась возбужденнее. Все отчетливее звучала французская, перебиваемая немецкими выражениями, речь. Имена Сен-Симона, Ламенне, Жорж Санд перемешивались с Гегелем, Штраусом, Гейне.

— Русские,— процедил, выразительно поджав губы, Ганс. — Только они умеют в течение часа навести такой беспорядок, произнести такое количество слов и с чисто варварской самоуверенностью смешать все понятия, все категории.

— Этот толстяк, вытирающий нос платком — трехцветным французским флагом свободы, — верно, какой-нибудь лендлорд? — заинтересовался Карл.

— За границей он ярый монтаньяр. В своих поместьях изверг и деспот. Впрочем, это не только русская черта. Наши помещики, не говоря о французских, только более прилизанные филистеры.

Появившийся из-за портьеры Шмидт-Штирнер таинственными знаками вызвал Ганса.

— До свидания! Друзья ждут меня рядом,— сказал профессор дружелюбно.

Карл остался один. Русские продолжали привлекать его внимание. Он пересел поближе к газетной стойке. Один из студентов, окружавших быстро пьянеющего северного барина, узнал Маркса — вместе посещали семинары,— потащил его к столу.

— Просим! Здесь все единомышленники, все братья.

Карла толкнули в оживленную толпу и заставили поднять тост за низвержение тирании.

— Я бабувист, я отчаянный безбожник!— вопил русский барин.

Его не слушали. Желчный молодой русский студент патетически читал стихи на своем родном языке. Для Карла впервые прозвучало имя Рылеева. Ему рассказали бессвязно о декабрьских событиях, случившихся двенадцать лет тому назад.

— Это могло стать революцией,— вздохнул желчный студент.

Маркс попытался завести разговор о польском восстании. Он хорошо знал подробности.

— О, Сованский — герой!— согласился русский помещик, которого одни звали «граф», а другие — «Яшка».

Карлу шепнули, что у «Яшки» несколько сотен рабов и большие связи при дворе.

— Что сделали вы, господа революционеры, для спасения польской республики, для помощи делу Сованского?— вдруг в упор спросил Маркс русских. Лицо его стало злым, глаза сузились.

Желчный русский студент удовлетворенно усмехнулся.

— Мы,— ответил он,— мы собирались в своих особняках, читали Шеллинга и Оуэна, прорицали, как Якоб Бёме, и пили, находя разрядку в алкоголе для не находящего иного применения и мучившего нас энтузиазма.

— Лучшего времяпрепровождения не мог бы придумать для вас сам русский царь. Вы потопили в болтовне и вине свободу,— сказал Маркс презрительно.

Он сам тут же удивился тому, что не совладал с собой и начал говорить в открытую с этими болтунами, для которых великие идеи — забава, маскарадное домино.

Между тем русский граф с нескрываемым восхищением посматривал на разгоряченное лицо молодого трирца.

— Клянусь! Из этого парня выйдет толк. В нем искра божья. Как его подмыло, будто и не немец!— Последнюю фразу он произнес по-русски. — Mon cher, вот моя визит-

ная карточка, буду рад вас видеть. Мы поговорим подробнее, и, может быть, вы поймете меня.

— Отпусти мужиков на волю,—упрямо потребовал кто-то.

— Не только отпущу, но устрою сен-симонистскую общину, на удивление всей империи.

— Врет! Он всегда щедр, когда получает последний оброк,— пояснил Марксу желчный русский, изучавший юриспруденцию в Геттингене.

Карл встал и, стараясь остаться незамеченным, выбрался в маленький соседний зал. По дороге он бросил в корзину для сора визитную карточку помещика.

В «красной комнате» русские горланили песенки Беранже. Кельнеры, изгибаясь и как бы кланяясь во все стороны, тащили на пир подносы с жареным мясом и винами. В маленьком зале, где очутился Карл, было очень тихо и до одури накурено. Два шахматиста с мрачными лицами убийц готовились нанести друг другу смертельные удары. Выжидали, как два хищника. Карл любил игру в шахматы и остановился над доской. Наконец смертельное напряжение разрядилось. Мат был объявлен. Партия кончилась.

Кто-то кашлянул. Карл обернулся. Поодаль, за зеленым столом, он увидел Ганса. Профессор сидел напротив Бруно Бауэра, рядом с большелобым Шмидтом и молодым человеком незапоминающейся наружности. Глубокое молчание господствовало и тут. Глаза сидящих были прикованы к столу. Карл не сразу разобрал, что поглотило внимание молодых ученых.

Так сидеть могут разве что военачальники, изучающие карту расположения сил противника, так сидеть могут врачи, прежде чем вынести диагноз-приговор больному, так сидят за карточным столом игроки. По сосредоточенному спокойствию и медленности темпа Карл догадался, что играли в изнуряющий крейц. Бруно Бауэр казался более других углубленным в размышления. Он нервно перебирал карты, подсчитывая козыри.

Суровая морщина, знакомая Карлу по лекциям об Исайи, когда молодой доцент призывал бога опровергнуть разоблачения неба, раскалывала надвое лоб ученого. Острый подбородок выпирал вперед. От трубок игроков поднимались густые, остро пахнущие клубы дыма. Карл со все возрастающим изумлением наблюдал молчаливую сцену

карточного сражения. Он не любил картежной игры, ощущая нестерпимую скуку при виде людей, столь поглощенных никчемным, тупым занятием. Но, заметив, что готов осудить Ганса и Бауэра, всегда чутко наблюдающий за собой юноша тотчас же прервал себя суровой мыслью:

«Почему я готов, как гнусный филистер, судить их? Пусть развлекаются как хотят. Почему пить, протыкать на дуэли противника благороднее, чем играть в карты? Кто судьи? Ханжи. Я не хочу быть с ними. Человечеству нет вреда от того, что Бауэр отдыхает за картами. Следи за собой, Карл, бойся глупого дидактизма».

Ганс тасовал старательно карты. Бруно Бауэр вытащил нитяной кошелек и, развязав его, достал деньги. Он проиграл. Карл тихонько вышел из зала. В главном помещении играла музыка. Несколько женщин, редких посетительниц, вызывающе курили и слишком громко смеялись. Карлу все они показались грубыми, порочными, отталкивающими. Ожидая у вешалки плащ, трость и шляпу, Маркс в фатоватом молодом человеке, одевающемся рядом, узнал Шлейга, которого давно потерял из виду.

После возвращения из Швейцарии Фриц избегал земляка. Уйдя из университета, он вообще изменил образ жизни.

«Растиньяк с берегов Мозеля» выглядел еще более самоуверенным, разжиревшим, довольным собой. Бакенбарды его были завиты по последней моде мелкими кудряшками, и прическа свидетельствовала о том, что на нее не жалели жасминной помады. Поверх модного, вышитого звездочками жилета болталась тонкая изящная цепочка от часов. Все кричало о преуспеянии — и чистейшие лайковые перчатки, и блестящие узкие штиблеты, и запах розовой воды, пропитавший фрак, собственный, сшитый на заказ фрак. А не так давно Фриц брал фрак на прокат... Было очевидно, что Шлейг навсегда расстался со студенческим мундиром и бежал от университетских строгих стен.

— Я занимаюсь наконец делом, соответствующим моему призванию,— сказал Шлейг многозначительно, выпустив Карла из объятий. — Я человек активный и веселый. Наука не терпит ни того, ни другого. Берлинский университет убил бы меня, как чахотка. Нет тебе ни доброй попойки, ни настоящих дуэлей, ни лихих ночных де-

бошей. Поголовное трудолюбие, заглядывание под облака — нет, это не мое дело! Спасибо, старина, я пресытился.

— «Ах, весна, ах, весна, пенится кровь и болит голова!..» — Распевая песню, Карл и Фриц вышли из ресторации и пошли по пустому Жандармскому рынку.

— В этом унылом городе некуда идти, если хочется света звезд, а не газовых рожков,— вздыхал Карл.

Взявшись под руки, вспоминая Трир, товарищи детских игр шли к Тиргартену. Была полночь. Перекликались башенные колокола, стучали глухо ночные сторожа. Город давно спал. После десятого удара часов, прозванного бюргерским, редкий прохожий появлялся на улицах.

Наполняя воздух свежим горьковатым запахом, лопались почки на Унтер-ден-Линден. Карлу хотелось подробнее выспросить о Швейцарии, но Фриц долго уклонялся от рассказов. Швейцария не произвела на него никакого впечатления.

— Тоже страна! — говорил он вяло. — Снег да коровы. Сонное царство, этакое живописное болотце. Рай для старых дев и рантье. Торгуют разве что воздухом и видами. Нет, больше я туда не ходок! Были мы там с Паулем. Этот парень богат, как Мефистофель, чудаковат, как Фауст, и неутомим в поисках Маргариты, то бишь революции.

— Встречал ты наших изгнанников? — допрашивал Карл нетерпеливо.

— Нет, это не по моей части. Впрочем, я поймал там одного парня, весьма сомнительного по части гражданского добронравия и, вероятно, первостепенного бунтаря. Говорят, это правая рука самого Бюхнера,— знаешь, этого неудачливого докторского сынка.

— Поменьше комментариев. Что ты знаешь о Бюхнере?— оборвал Карл, насторожившись.

В Тиргартене было сыро, уныло. Фриц вытер платком скамью и сел, стараясь не замочить фалды своего фрака. Карл продолжал стоять, опершись на ствол широкого низкого молодого дуба.

Шлейг рассказывал о зимней ночи, о деревушке, затерянной у подножия гор в Ронской долине, о загадочном парне со следами наручников на руках.

— Я вытащил кисет и предложил ему: «Не угодно ли?» Что бы ты думал! Этому бродяге оказалось угодно, чтобы я оставил его в покое. Нечего и говорить, чернь становится культурной. Рабочие смелеют и становятся

нахальны. Но меня не проведешь! Если б я не был человеком деловой жилки, то был бы великим сыщиком. «Вы недавно из Германии, раз не успели соскучиться по обществу немцев»,— сказал я ему, распознав, что это за гусь. И — что бы ты думал — этот нищий ответил мне: «Немец немцу рознь».

— Парень не дурак,— усмехнулся Карл. — Но кем же он все-таки оказался?

— Увы, не принцем, а простым подмастерьем. Членом тайного общества и еще чего-то такого же темного. Якобинец, ре-во-лю-цио-нер... Борец за свободу, равенство и братство. Друг Бюхнера и какого-то пастора, к тому же бежавший из тюрьмы. По правде говоря, следовало вернуть его правосудию.

— Современный Спартак, — задумчиво произнес Карл. — Ты узнал его имя?

— Не думаешь ли ты записаться в его секту?

— Кто он по профессии?

— Всего лишь портной, подмастерье.

— Как же его зовут?

— Иоганн Сток.

— Хорошее простое имя.

— Ты, кажется, всерьез заинтересован моим бродягой?

— А ты думаешь, что революцию делают только юные скучающие дворянчики?

— Они, во всяком случае, делают ее приемлемее для меня. Избави нас сатана от плебейских восстаний!— ответил Фриц испуганно.

— В эпоху революций подмастерья Иоганны Стоки могут оказаться могущественной силой, способной поставить мир на голову. Я не только заинтересован — я надеюсь встретить его когда-нибудь. Это четвертое сословие даст миру великих борцов,— деловито продолжал Карл.

### 3

«Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении состоит его природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он утрачивает свое вечное стремление к самопознанию. Но это только кажется; на самом деле в нем совершается глубокая внутренняя работа, незаметная до

тех пор, пока не обнаружатся достигнутые результаты, пока не разлетится в прах кора устарелых взглядов и сам он, помолодев, не двинется вперед семимильными шагами. Гамлет восклицает, обращаясь к духу своего отца: «Надземный крот, ты роешь славно!» То же можно сказать о всемирном духе: он «роет славно».

Карл несколько раз перечитал пленивший его глубиной мысли абзац. Так поэта волнует откровение чужих стихов.

Карл решительно подчеркнул текст и, не удовольствовавшись этим показателем внимания, восхищения гегелевским гением, тщательно списал абзац в тетрадку, предназначавшуюся для лекционных конспектов и оставшуюся девственно чистой. Буквы падали с пера Маркса на бумагу в невообразимом беспорядке. Никто, кроме него самого, не мог бы разобраться в этом сложном переплетении черточек и чернильных пятен.

— «Все движется, все меняется — мир, вещи, люди», — Карл твердил эту ясную истину, довольный, как Коперник, открывший вращение земли. — Великая, простая правда.

Маркс перелистал измазанную, вынесшую не одну битву с противоречивым юношеским духом книгу и задержался на гравированном портрете автора. Прозрачные глаза старого Гегеля смотрели вперед упрямо, проникновенно с большого, точно высеченного из гранита лица. Растрепанные волосы выбивались из-под бюргерского колпака.

— И такой мозг погиб, разъеденный холерными бациллами! — пожалел Маркс.

— Он умер вовремя, если даже не слишком поздно, — сказал как-то Ганс, осуждая политические воззрения последних лет жизни учителя.

«Его идея развития раздвинула рамки мира, — думал Карл. — Это лампа чудесного Аладдина, озаряющая подземелья мысли и все закоулки земного бытия. Гегель похитил ее у неба и был испуган сам яркостью света. Он хотел прикрутить фитиль, но тщетно».

Он снова подумал о Гансе.

«Нет, не он, не Ганс будет новым Прометеем, который схватит и понесет вечный огонь».

Отложив книгу, юноша принялся шагать из угла в угол, как всегда, когда мысль его работала особенно

напряженно и быстро. Он шагал все быстрее, как бы в ритм несущимся думам, все по одной и той же линии, наискось, от умывальника к столу и обратно.

В открытое окно деревенского дома врывались фиолетовые цветущие ветки сирени. Пели вдалеке птицы. Им вторила шумящая убаюкивающе-ровно водяная мельница.

Карл решил не перечить отцу и, следуя его воле, не ездить на каникулы в Трир. Больше месяца жил он в Штралове. Больше месяца, пользуясь болезнью как поводом редко выходить из дому, продумывал страницу за страницей Гегеля. Он встретил новое учение как враг, готовый к бою, но почувствовал себя плененным. Готовый защищать предшественников Гегеля от его разрушительной теории, он сдался. Возможность отыскать смысл бытия в самой действительности была слишком притягательна для ума деятельного, необычного, воинственного. Карл разрушил без сострадания свой Олимп, низверг богов, требуя, чтоб они сочувствовали его исканиям здесь на земле. Кант, Шеллинг, Фихте, еще недавно чтимые, лежали поверженными в прах. Гегель открывал Карлу мир, помогая познать историю человечества, структуру отношений.

И сейчас сановный нелюдим Гегель стал Марксу понятен. Прежнее раздражение перед его учением исчезло. Карл научился блуждать, не теряя дороги, среди гранитных валунов, острых скал его мыслей. «Феноменология духа» казалась молодому студенту книгой бури. Сколько воздуха, открывающихся для мысли просторов было в ней! Идея диалектического развития, как ураган, опрокидывала несокрушимые столбы, на которых доныне бюргеры строили свой мир.

Маркс продолжал читать. Вошел Рутенберг.

— Какая странная, неистовая мелодия в этих книгах! — сказал Карл в изнеможении. — Сколько бесценных и сколько фальшивых жемчужин в этой сокровищнице!

— Фальшивых? — переспросил его Адольф. — О, неверующий Фома! Поклоняясь, ты тут же разоблачаешь. Твой мозг, что буравчик, точит и во всем сомневается.

— В первую очередь — в том, чему готов поклоняться. Объясни, если на то пошло, такое отчетливое противоречие: если знание есть исторически развивающийся процесс, ведущей силой которого является все та же борьба знания и природы, то почему старый великан ставит сам

себе предел, объявляя, что предметом знания является абсолютное знание?

Рутенберг беспомощно пыхтит и лезет за трубкой в оттопыренный карман широкой неподпоясанной блузы.

— В такой день, когда за окном солнце, когда хорошенькие девушки нежно смеются вдали, неохота лезть в эти сырые дебри. Спроси Бруно.

Но Карла не уймешь.

— Я пытался обойти эти путаные нагромождения, в первый момент обманывающие диалектической простотой. Но проклятый мой дух не знает покоя. Роет, гонит от книги к книге, от мысли к мысли. Так пришел я к философии и приду, видимо, еще ко многому. Неуловимыми нитями связаны все виды знания. Юриспруденция немыслима без философии и истории. Абстракция есть только путь к конкретному. Но и познание конкретного беспредельно. Млечный Путь, кажущийся нам дымкой,— сотни осязаемых звезд. И вот я разрушаю то, что создал накануне, чтоб из развалин возводить новое здание. Надолго ли? Но иначе нельзя. Я отрицал Гегеля — и принялся изучать его, чтоб осмеять, низвергнуть, растоптать. На моем щите были имена Канта и Фихте — и вот я побежден и примкнул к теперешней мировой философии. Так выглядит идея развития, учит меня — на мне самом. После стольких отрицаний я вооружаюсь Гегелем, как Зигфрид мечом героя, и хочу сражаться дальше. Как знать, не пронзит ли меч со временем и старого прусского гения!

— Не удивлюсь. Ты — головастик, Карл. А разум — наиболее смертоносное оружие. Я на десять лет старше тебя, но вот никогда не додумывался и до сотой части того, что тревожит тебя между прочими вопросами, этак по пути, как камешек, прилипший к башмаку. В твои же годы, как ты, безусый, я обкрадывал книги, щеголяя словами и мыслями их авторов без всякого стыда. Сам я думал мало, почитал два-три авторитета, признанных и непризнанных, лихо пел, танцевал и верил, что Библия писана бессмертными. А я был не из худших. Я жил, как щенок, увидевший мир. Ты совсем из другой глины. Не дилетант, как большинство худших, и не педант, завязший на всю жизнь в двух-трех проблемах. Ты — мятежник. Но я боюсь, не засушишь ли ты свое сердце.

С недавних пор тридцатилетний учитель кадетского корпуса и юный студент из Трира, с едва пробивающи-

мися черными волосками над короткой пухлой верхней губой, стали закадычными друзьями. Рутенберг познакомил Карла и с другим учителем — Карлом Фридрихом Кёппеном. В сумерки они часто ездили на лодке. Нигде на суше не говорилось так свободно и дружно. Устраивали причал на песчаном берегу, разжигали костры, пили, пели, спорили.

Карл ценил своих новых приятелей. Рутенберга он больше любил, Кёппена — уважал.

Позже других узнал Маркс самого Бруно Бауэра. Знакомство произошло на лодке, в сумерки. После жаркого летнего дня на воде было свежо и тихо. Карл и Адольф взялись за весла. Оба любили греблю. После нескольких недель в Штралове Маркс опять выглядел силачом. Он снял мундир, расстегнул рубашку. Широкая оголенная грудь равномерно вздымалась при каждом взмахе весел.

— Ну и силен же ты! — удивлялся Кёппен, почтительно глядя на вздувающиеся юношеские бицепсы.

Карл засучил рукава. Адольф, меланхолически поглядывая на корзину, полную бутылей и пакетов, пел песню рейнской рыбачки. Никто не подхватывал монотонного припева, и песня, выдохшись, смолкла.

Бруно Бауэр курил, глядя на берег. Карл разглядывал его лицо, повернутое в профиль: три острых линии, образующие лоб, нос и подбородок. Было что-то отталкивающее в рисунке узкого носа, что-то фанатически упрямое в треугольном подбородке. Карлу припомнился старый портрет флорентинского монаха Лабриолы.

«Способен ли он на широкие обобщения?» — пронеслось в мозгу, но сейчас же исчезло.

Маркс был высокого мнения о революционном штурме неба, которое предпринимал молодой доцент. Бауэра хвалил Ганс...

Плыли в молчании, разнеженные вечерней истомою, плеском воды и доносящимися издалека рыбачьими песнями.

— Кстати, Маркс, я рад сообщить, что вы приняты в члены нашего клуба, — сказал Бруно. — В филистерском ядовитом мирке, который наступает на нас со всех сторон, этот клуб единственное противоядие. Не рассчитывайте увидеть там каких-нибудь сиятельных господ. Кроме здесь присутствующих, вы найдете также Тодора Альтгауза, изучающего теологию и потому отъявленного

атеиста, моего брата Эдгара да еще нескольких, способных мыслить и потому неспокойных.

Рутенберг снова затянул песню о рыбачке, ожидающей в непогоду запоздавшего рыбака.

— «Рыбачка с Рейна видит, как тонет ее жених, как хищные сирены тащат на дно его тело»,— скорее рассказывал, чем пел, Рутенберг и закончил неожиданной репликой: — Ох, и напьюсь я в честь рейнских рыбачек и рейнских поэтов! Маркс, ты выпьешь бутылку рейнвейна в память Арнима?

— Я предпочитаю кружку мозельвейна во здравие Гейне,— ответил Карл.

Лодка причалила к песчаному берегу. Бруно и Фридрих Кёппен быстро насобирали сухих веток и разожгли костер. Карл тщетно призывал Адольфа к благоразумию. Рутенберг, не дожидаясь начала трапезы, ловко выбил пробку ударом по донышку и наполнил кружки. Быстро хмелея, он становился назойливо нежным, грустным и болтливым.

— Какая ночь, мои друзья! В такую ночь хорошо бы читать сонеты Петрарки молодой девушке, а вы, я знаю, сейчас начнете спорить о потустороннем мире, и покойник Гегель будет устами Бруно поучать вас мудрости.

— В такую же июльскую ночь,— говорил Кёппен, растянувшись на песке и глядя в небо,— погибла французская революция. Шел дождь. В ратуше, изнемогая от жары, заседали последние революционеры Конвента — Робеспьер, Кутон, Леба. Ночи — свидетели предательства и убийств. В темноте даже трусы становятся отважными.

— Варфоломеевская ночь, Вальпургиева ночь, Тысяча и одна ночь,— запивая колбасу вином, насмешливо говорил Рутенберг.

Но Бруно не был расположен на этот раз к шуткам и каламбурам. Он подсел к Марксу, о котором уже был наслышан, и осторожно вовлекал его в разговор. Поглощенный одной темой, он быстро сводил беседу к Евангелию и богу.

Карл отвечал вяло. Ночь волновала и его. Вокруг ничто не напоминало Трира, но запах скошенных трав, но шорохи птиц в кустах, но пряная духота...

Из дому приходили невеселые вести. Отец лечился в Эмсе. Он был болен, тяжело болен. При смерти был маленький Эдуард. А Женни... Она страдала от разлуки,

от вынужденной лжи родителям. Вестфалены все еще ничего не знали об их тайном обручении...

— Я работаю над Евангелием все последние годы и могу сказать без колебаний, что в первых трех томах — уверен. Что касается четвертого, то доказательства еще не все собраны, поэтому будем говорить о первых трех. В Евангелии нет ни атома исторической правды. Этот напыщенный петух Штраус возвел здание на песке и напустил дыма, застилающего глаза даже зрячим. Нет ничего хуже современного апостола...

— ...которого усмиряет современный министр народного просвещения,— подхватил Карл.

— Господин Альтенштейн вовсе не похож на нынешних филистеров в орденах и с раскормленными задами,— высокомерно заметил Бауэр.

— Вспоминаю, как я стал атеистом,— сказал Кёппэн, приподнимая голову. — Собственно, до того я был язычником...

— Обычно,— прервал его Бауэр,— мы перестаем верить внезапно, без долгих колебаний, теряем религию, как невинность в раннем возрасте. Нередко мы мстим неверием богу за то, что провалились на экзамене, хотя перед тем усердно молились и давали обеты. Это самый ненадежный способ перестать верить. Атеистом можно стать так же, как ученым, лишь многое продумав и, если хотите, даже перестрадав. Настоящие безбожники пришли к истине через веру, через борьбу с ней.

Карл, отогнав мысли о семье, о Трире, внимательно слушал Бауэра. Обращаясь к прожитым девятнадцати годам, он не находил там того, о чем говорили Кёппен и Бауэр. Он не мог вспомнить, был ли когда-нибудь, как его отец, последователем деиста Руссо, произнес ли хоть раз слово «всевышний», придавая ему то значение, которое оно имело для юстиции советника. Он вырос между несколькими богами: суровым иудейским, которого чтил дядя-раввин Самуил, благодушным лютеранским, которому усердно молилась в кирхе Софи и с некоторых пор Генриетта Маркс, и античными богами, которых прославлял Виттенбах, рассказывая о неповторимом расцвете Трира. В этот мир богов Карл поселил и героев из «Песни о Нибелунгах», и рейнских сирен из баллад и сказаний. Сказка добивала религию. Он не штурмовал неба, которое никогда не казалось ему обитаемым.

— Увы, — воскликнул Карл с комическим пафосом, — я еретик с детства!.. Вы говорите, — добавил он, становясь серьезным, — что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему греко-римскому миру, а вышло из его недр? Это верно. Но чему, кому оно служило и служит? Вольтер говорил, что если бога нет, его следует выдумать. Почему? Не небо, а земля интересует меня.

Бруно поморщился.

— Ах, Маркс, вы стаскиваете идею с высоты принципов, абстракции.

Рутенберг, отчаянно зевая, полез в лодку, угрожая, что заснет немедленно, Кёппен, так и не досказавший, как он стал атеистом, ругался, вытряхивая песок, который, попав в ботинки, царапал ему ноги.

Приближался рассвет. Решили перенести вопрос о боге в докторский клуб. Кёппен разулся, растолкал Адольфа и взялся за руль. Поплыли в Штралов.

Время в рыбачьей деревне проходило быстро — в чтении, спорах, мыслях о будущем.

Когда в огородах Штралова отцвели тыквы и созрела, превратившись в зеленые могучие бутоны, капуста, Рутенберг объявил, что пора возвращаться в столицу. Он самолично собрал и уложил вещи Карла, зная его рассеянность.

— Небо! — воскликнул он, складывая в баул книги. — В то время как я пил, волочился за девушками и мечтал о совершенном человечестве, ты, кроме неудобоваримого Гегеля, проштудировал эту груду премудрости! «Владение» Савиньи — раз. Дался тебе этот павлин, утверждающий мертвечину! Фейербах и Грольман — уголовное право — два. Но этот том весит добрую тонну. Бедный Карл!.. Бэкон — три. Аристотель — четыре. Но зачем тебе «Художественные инстинкты животных»? Чтобы посрамлять ими двуногих ослов?

Бруно Бауэр и Фридрих Кёппен тоже торопили с возвращением в Берлин. Начинался театральный сезон. Следуя советам докторского клуба, Карл намеревался изменить уединенный образ жизни, который он вел на Старо-Лейпцигской улице.

«Ученый нашей эпохи должен быть всесторонне образован, знать толк в искусстве, направлять ход политической стрелки. Знание стоглазо и тысячеруко...» —

думалось Карлу, и, не жалея себя, он взваливал на свои неокрепшие, юношеские плечи тяжелую ношу.

Ему же первому пришел на ум план издания журнала театральной критики, встреченный восторженно всем бауэровским кружком. Это должно было быть чем-то совершенно невиданным в германской прессе. Маркс сызнова перечитывал Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега. Спор об «Овечьем источнике» затягивался обычно до самого утра. Стада, идущие на водопой, возвращали будущих театральных критиков к действительности, и они расходились с песнями, веселые и охмелевшие от бессонницы и шума.

— Если театр — зеркало эпохи, то наш предполагаемый журнал сможет отразить не одно уродство прусского режима! — кричал Карл в окно вслед уходящим братьям Бауэрам.

На другой день он уехал с Адольфом в Берлин. Почтовая карета неслась по проселкам, вздымая вихрь желтой пыли. Карл норовил в открытое окно схватить и сорвать ветки желтеющей липы вдоль дороги.

— Желтый цвет наиболее живой после зеленого, как верно подметил Гете, изучая краски,— говорил он, радостно вдыхая теплый полевой воздух.

Загорелый, сильный, он был беспричинно счастлив и резвился, как в детстве.

Девятнадцать лет. Жизнь, что зацветающий сад, полна обещаний, неожиданностей, радостей. Не было еще утрат, изнуряющих разочарований. Будущее казалось просторным, доступным, ясным, как эта дорога с клубящейся солнечной пылью. Рутенберг внимательно наблюдал за своим юным другом. Почтовую карету качало на рытвинах и ухабах. Вспотевшие бюргеры, лавочник, отставной чиновник и старуха с двумя клетками на коленях, с подвязанной щекой,— бранили правительство за то, что не мостит дорог и облагает налогами домашнюю птицу.

Рутенберг отмахивался от унылой болтовни соседей, как от жужжания ос.

— Счастье выбрало тебя своим любимцем, Карл,— высказал он внезапно свои думы. — Твой рычаг, тот, которым Архимед хотел повернуть мир, — твой разум. Разум, помноженный на волю. Ты все подчиняешь целесообразности — вспышки обиды, самолюбие, и делаешь это без особой борьбы,— в этом твое превосходство. Мы

живем как в полутьме: плывем без компаса, хватаемся за случай, неудачи объясняем фатальной обреченностью. И когда уже поздно, когда жизнь прожита, мы иногда, в хмелю или под страхом смерти, вдруг на мгновение озарены молнией сознания и понимаем, что проиграли жизнь, что чего-то не поняли и не стремились, главное, понять. Недавно, гуляя по берегу с бутылкой рислинга в одном кармане и нравоучениями Бёрне — в другом, я долго думал о тебе и, кажется, нашел разгадку. То, что делает тебя сильнее меня и мне подобных, есть отвага задавать вопросы миру и искать неутомимо ответов. Ты готов поплыть против течения, утонуть, если случится, но не хочешь отдаться слепой стихии. Ты — борец во всяком деле, за которое примешься. Но у тебя, получившего в дар от природы голову гиганта, есть ли у тебя также сердце?

— Этого ни рислинг, ни Бёрне тебе не подсказали? — Карл разразился звонким, простодушно-раскатистым смехом, в котором не отзвучали еще детские пискливые нотки. — Мое сердце? В нем мрак и буря, как в преисподней. Сердце? Что подразумеваешь ты под этим словом? Умею ли я любить? Да. Добр ли я к ближнему? Но что такое доброта? Богомольная ханжа, дающая медяк нищему, добра или нет? Мой отец, нежнейший человек, считает, что первая из всех человеческих добродетелей — это воля к самопожертвованию, к устранению своего *я*. Но во имя чего и кого? Во имя родителей, жены, детей. Любящий благодарный сын, супруг, отец — вот человеческий идеал. Невелик масштаб — маленькое сердце. Добрый христианин, добрый подданный короля — сколько в этом фальши! Большое сердце было у Робеспьера, у братьев Гракхов, у Спартака.

— Робеспьер был великий эгоист, принесший жизнь в жертву славе,— возразил Рутенберг.

— Какое нам дело до его мыслей перед сном в постели! Он погиб за великие дела человечества — это главное. Большое сердце было у Аристотеля, у Шекспира, у Данте, у Гегеля, у Спинозы,— о, имя им легион. Мыслители и борцы за истину, справедливость, оставившие людям щедрое наследство мыслей, целей, идей, достижений. Я хотел бы быть одним из таких в нашей эпохе. Право на жизнь оплачивается полезностью, которую мы приносим людям, и только этим. Прогресс движется работой одного для всех. Человек не животное,

чтобы жить, как немецкий филистер, греющийся в лучах золота, как свинья на солнце.

— Какой бескрайний альтруизм!

— Наоборот, эгоизм. Мне будет хорошо на идеально хорошей земле, среди счастливых, хороших людей.

— Вот и опять, верный себе, ты рассуждаешь иначе, чем я. Какая скороспелая голова и какая мощь противоречивого духа! Мое бедное сердце ты с беспощадностью людоеда водрузил, как бурую сосиску, на острую вилку своего скепсиса.

Вернувшись в Берлин, Маркс решил не прятаться в берлоге, как прозвал его комнату Бауэр, и присмотреться к столичной жизни. Мысль об издании журнала не была еще отброшена. В погребке Гиппеля на Фридрихсштрассе члены докторского клуба были не только завсегдатаями, но и заправилами. Отсюда после стакана вина молодые доценты, учителя и немногочисленные студенты отправлялись в театр либо в Певческую академию.

Карл, впервые познавший волнения и радости театра, стал неистовым приверженцем и судьей кулис. После любительских спектаклей в трирском «Казино», где завывал нестерпимо патетически Хамахер и путали реплики сестры Шлейг, после Бонна, куда изредка забредала на гастроли какая-нибудь посредственная, неумелая актерская труппа, берлинские театры производили особенно сильное впечатление на юного провинциала. Шекспир не был в чести на берлинской сцене, и Карл с досадой отмечал это, но Кальдерон и Лопе де Вега, но Мольер и Шиллер не сходили с репертуара вместе со Скрибом и Кернером.

Впрочем, главным поставщиком берлинской сцены являлся неутомимо плодовитый Эрнст Раупах. Его семьдесят пять пьес, одна другой сентиментальнее, ненатуральнее, мелодраматичнее, обрушивались на театры, как оспенное поветрие.

Но Карл терпеливо смотрел даже пьесы старого водолея Раупаха и принужден был после спектакля в погребке Гиппеля отстаивать Софокла перед этим любимцем публики. Сверстник Маркса — Альтгауз, тоже член бауэровского кружка, возражал.

— Даже постановка этого вопроса незакономерна, — говорил он сурово, с важностью вскинув длинную пупырчатую шею с выпуклым перекатывающимся адамовым

яблоком.— Софокл и Раупах, и более того Шекспир, одинаково хорошо выражают вечную правду справедливости, морали и нравственности и различны лишь в той мере, в какой различно время, в которое они жили и творили. Видели вы новую пьесу Раупаха из русской жизни? Чудные северные девушки, эти страшные мужики, эти богатыри-бояре. Не пьеса, а эпоха.

Маркс ощущал прилив ярости. Он знал по опыту, что Альтгауз упрям и самонадеян, как индюк, на которого похож.

— Я побью его,— шептал он Бауэру.

Вместе с Рутенбергом и Кёппеном Карл не пропускал ни одного спектакля «Фауста», он знал наизусть весь текст. Не только величие гетевской мысли, но и игра непревзойденной Шарлотты фон Хаген и ее дочерей привлекала в Королевский театр университетскую молодежь так же, как и придворных.

Образ Маргариты неотделим был для Карла от образа хрупкой Шарлотты. Одержимый неизменной любовью к Женни, Карл отыскивал и находил сходство между своей невестой и этой избалованной поклонением и удачами актрисой.

«Те же удивленные глаза, тот же лоб олимпийской богини»,— убеждал он себя и награждал Шарлотту бешеными аплодисментами, от которых у Рутенберга трещали барабанные перепонки.

— Ты ни в чем не знаешь меры. Не хотел бы я испытать твою ненависть,— говорил Адольф, отнимая руки от ушей, когда занавес — пыльная багряная бархатная штора — окончательно задергивался и зрители спешили в буфет, к пиву и бутербродам.

Перед сценой безумия Маргариты большая часть дам партера и лож, знавших толк в светских правилах, подчеркивая свое целомудрие и скромность, покидали театр.

— О господин Шварц, твои заветы господствуют в Пруссии! — воскликнул Карл, когда Адольф объяснил ему, чем вызвано это бегство перед «неприличной» картиной расплаты Маргариты за падение.

Симпатией молодых членов докторского клуба пользовалась также и Генриетта Зонтаг. Чтоб попасть на ее концерт, ни один из них не отказывался заложить в ломбарде часы или скучнейшие тома учебника Неандера по истории церкви, ни один не останавливался перед тем, чтоб в

дождь и в холод простоять в очереди с рассвета до полудня у кассы, ни один не жалел рук и глотки, чтоб выразить свой восторг и благодарность. Горе тем, кто отдаст предпочтение толстой, рыхлой и бледной, как макароны, итальянке Каталани перед обаятельной любимицей, уроженкой Берлина! Такой спор мог решиться поединком.

Вне спора — скрипка Паганини. Карл нередко переходил в состояние экстаза, очарованный магическим смычком.

Уже давно окончен концерт. Уже заперты тяжелые дубовые двери Певческой академии. Бруно Бауэр молчаливо играет в углу гиппелевского погребка в неизменный крейц, Рутенберг допивает вторую бутылку вина, Кёппен зубрит, окружив себя дымной завесой, индусские наречия, Альтгауз превозносит современных драматургов, а Карл все еще отдается звукам и видит перед собой длинноволосого изможденного Паганини. Его скрипка пробуждает поэта. Рифмы снова зовут к себе юношу...

Осень на исходе. Первый год пребывания в Берлине прошел. Есть особая скрытая сила в датах. Год. Карл думает о минувших сроках. Более двенадцати месяцев не видел он Женни, не гладил руки отца, не слышал незлобивого ворчания матери и не играл в прятки с младшими сестрами, не мастерил игрушек больному брату. Что сделано за это время? Не растранжирил ли он времени, не потерял ли его?

Днем некогда писать в Трир, некогда подводить итоги. Ночи в Берлине такие тихие... С вершины завтрашнего дня смотрит Карл на отошедшее вчера. Как полководец после боя, обходит он поле битвы. Да, год был для него непрерывной борьбой. Кому адресовать разговор с самим собой? Кому исповедаться? Кто поймет? Беспорядочные думы требуют формы. Мысль хочет стать словом...

Отец. С детства Карл был с ним откровенным. Может быть, потому юстиции советник первый понял незаурядную даровитость сына, может, потому многого ждал от него. Отец был всегда его другом, его поверенным. Прилив нежности и благодарности помогает Карлу начать письмо, которое, однако, более всего он обращает к самому себе. Он говорит сам с собой, механически торопливо записывая этот длинный монолог, выношенный, созданный целым годом одинокой жизни, размышлений, тоски по Женни.

«...Бывают в жизни моменты, которые являются как бы вехами, завершающими истекший период времени, но одновременно с определенностью указывают на новое направление жизни.

В подобные переходные моменты мы чувствуем себя вынужденными обозреть орлиным взором мысли прошедшее и настоящее, чтобы таким образом осознать свое действительное положение. Да и сама всемирная история любит устремлять свой взор в прошлое, она оглядывается на себя, а это часто придает ей видимость попятного движения и застоя; между тем она, словно откинувшись в кресле, призадумалась только, желая понять себя, духовно проникнуть в свое собственное деяние — деяние духа.

Отдельная личность настраивается в такие моменты лирически, ибо каждая метаморфоза есть отчасти лебединая песнь, отчасти увертюра к новой большой поэме, которая стремится придать сверкающему богатству еще расплывающихся красок прочные формы. И тем не менее, мы хотели бы воздвигнуть памятник тому, что уже однажды пережито, дабы оно вновь завоевало в нашем чувстве место, утраченное им для действия. Но есть ли для пережитого более священное хранилище, чем сердце родителей, этот самый милосердный судья, самый участливый друг, это солнце любви, пламя которого согревает сокровеннейшее средоточие наших стремлений! Да и как могло бы что-то дурное, достойное порицания, быть столь успешно выправлено и заслужить прощение, если бы оно не обнаружилось как проявление существенного, необходимого состояния? И как, по крайней мере, могла бы злополучная подчас игра случая и блужданий духа быть свободной от упрека в порочности сердца?

Следовательно, когда я теперь, в конце прожитого здесь года, оглядываюсь назад, на весь ход событий, чтобы ответить тебе, мой дорогой отец, на твое бесконечно дорогое для меня письмо из Эмса, — то да будет мне позволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю жизнь вообще, а именно как выражение духовного деяния, проявляющего себя всесторонне — в науке, искусстве, частной жизни...»

Карл говорит о любви к Женни, о любви страстной, всепоглощающей. Стихи, которые он послал ей почти год назад, более не кажутся ему достойными похвал, до-

стойными той, кому предназначались. Он так вырос. С жестокостью юности, не боящейся сроков и препятствий, он отбрасывает прочь, осмеивает самого себя, вчерашнего.

Все меняется. Изменился и он. Прозорливый и требовательный, он умеет бесстрашно отречься от пройденного, может вынести приговор своим мыслям и чувствам, уже похороненным вместе с утекшими днями.

«Мое искусство было неосязаемо, как эфир, и, как заоблачный мир, нереально и бесцельно»,— решает он и сжигает на критическом костре все три тома своих стихов к Женни.

«...Все действительное расплылось, а все расплывающееся лишено каких-либо границ. Нападки на современность, неопределенные, бесформенные чувства, отсутствие естественности, сплошное сочинительство из головы, полная противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть, риторические размышления вместо поэтических мыслей, но, может быть, также некоторая теплота чувства и жажда смелого полета — вот чем отмечены все стихи в первых моих трех тетрадях, посланных Женни. Вся ширь стремления, не знающего никаких границ, прорывается здесь в разных формах, и стихи теряют сжатость и устремляются вширь...»

Карл отрывается от письма. Разбрасывая по столу, сыплет на долго не просыхающие буквы янтарный песок из песочницы. Вспоминает Эдгара Вестфалена и удивляется тому, что испытывал чувство досады и обиды, когда тот осторожно критиковал его творчество.

«Нужно дойти самому, нужно понять, вскрыть себя своим собственным хирургическим ножом».

Часы на кирхе отбивают два часа пополуночи. Бой их — как шлепанье туфель в коридоре. А Карл только начал обход минувшего года, только прикоснулся к тому, что сам определяет ныне как прах времени и мыслей. И снова начинается беспощадная критика самого себя. Он пишет, как мятежник, идущий приступом на тайну, обороняющуюся с помощью догм и схоластического знания. Карл обращается к отцу как к знатоку-юристу и старается привлечь его на сторону принципов, которые отстаивает молодой Ганс против мертвой схемы Савиньи.

Он пишет о прочитанных книгах, о продуманных идеях, о Гегеле, о своей борьбе с ним и о своем поражении.

Четыре часа ночи. Свеча совсем догорела. Глаза Карла помутнели. И без того неразборчивый почерк становится жуткой карикатурой на самого себя. Кляксы, закорючки, палочки лежат вдоль и поперек слов, как вырванные бурей деревья.

«Привет моей любимой, чудесной Женни!»

В те же дни, когда Карл передумывал, писал, отправлял свое письмо отцу, в Трире на Брюккенгассе велись долгие беседы об отсутствующем.

Больной, исхудалый Генрих Маркс не вставал с дивана, и Генриетта по целым часам сидела с корзиночкой для рукоделья возле мужа. Рядом, в соседней комнате, отданный попечениям Софи, медленно умирал маленький Эдуард. Смерть приползла в дом, обжилась и выжидала. Мальчик, не отвечая на вопросы, подолгу смотрел перед собой, и глубокая тоска была в его недетском, усталом взгляде.

— Я боюсь умереть. Как это умирают? — вздрагивая всем отощавшим маленьким тельцем, спрашивал он мать, которая в ответ хватала его несогревающиеся ручонки и покрывала их поцелуями и слезами, отвечая бессвязно, что смерть не пустят, что скоро пройдет зима, а с нею уходят болезни.

— Все болеют, прежде чем вырасти, да и взрослые болеют. Вот отец, например. После болезни человек выносливее,— говорит Софи, отворачиваясь, чтоб скрыть слезы.

Дом на Брюккенгассе погружен в печаль. Вечером, когда лихорадящий, потный Эдуард засыпает, юстиции советник и его жена возвращаются к излюбленному разговору, к единственной радости — к милому Карлу.

— Какую карьеру сделает мальчик? — тревожится мать.

— В сущности, это не так уж важно, дорогая Хандзи. Лишь бы он выбрал то, что наиболее соответствует его духовным свойствам. Он так одарен и так рано созрел, что выбьется в люди на любом поприще, будь то ученая карьера, юриспруденция или философия.

— Его неспокойный, неудовлетворенный дух пугает меня с самого его детства.

— Я надеюсь, что он остепенится и победит самого себя, когда сделается отцом семейства. Какого из счастливейших людей не настигают на земле горе и сомнения? Карл противопоставит буре мужество, самообладание, бодрость.

— Я хотела бы видеть нашего счастливчика профессором, если, конечно, при этом можно жить прилично и безбедно. Для нас было бы большим облегчением, если бы Карл скорее достиг цели. Мне нередко страшно за него. Он так мало похож на своих сверстников, к несчастью. Боюсь, он дичает среди книг так, как иные дичают за стаканом пива. Из всех наших детей он самый беспорядочный. Я так и не научила его содержать в приличном виде комнату, а ты так и не заставил его уважать деньги, которые, увы, порядочным людям достаются не так уж легко. Подумать только, не будучи кутилой и мотом, он тратит семьсот талеров в год! Еще бы, если каждую неделю он изобретает новые системы и уничтожает старые, созданные немалыми усилиями! — сердится Генриетта.

— Увы, да! — соглашается с ней муж. — Он убежден, что счет и порядок — мелочные пустяки, достойные вульгарных бюргеров и педантов. Всякий может обсчитать его. И вот, вместо того чтобы завязывать знакомства или даже веселиться,— почему не посвящать молодость также и удовольствиям? — вместо этого наш работящий Карл бодрствует целые ночи, утомляет свой дух и тело серьезными занятиями, отказывается от всяких развлечений, чтобы предаваться абстрактным углубленным занятиям. Но то, что он создает сегодня, он разрушает завтра, и в конечном счете оказывается, что он уничтожил свое собственное и не усвоил чужого. В конце концов тело становится хилым, дух спутан, в то время как пошлые людишки беспрепятственно ползут вперед и подчас вернее и, по крайней мере, удобнее достигают цели, чем те, которые пренебрегают радостями молодости и разрушают свое здоровье для приобретения той тени учености, которую они скорее могли бы приобрести за час общения с компетентными людьми, получив, кроме того, удовольствие от самого общения!

— Грустно и то, что Женни не кажется мне в этом смысле лучше своего жениха,— присовокупляет Генриетта. — Она так экзальтированна и поглощена возвышенными мыслями! Ее ученость чрезмерна для женщины,

а сердце слишком нежно. И потом — эта взаимная влюбленность. Они оба любят как-то иначе, чем это нужно для людей, которых ждет алтарь, как какие-нибудь... ах, я забыла, Генрих, но ты, верно, помнишь печальную историю этих двух детей на острове. Она еще тонет в последней главе. Такой трогательный роман...

Недовольство юстиции советника давно уже прошло. Он снова полон нежности к своему Карлу.

— «Поль и Виргиния». Ты права, дорогая Хандзи. Но разве шалун амур не проделывал когда-то и с нами злых шуток?

— Это было так давно! — отвечает Генриетта; глаза ее благодарно искрятся.

— Но я люблю тебя так же нежно. — Генрих целует руку жены.

Проходят дни. Карл не пишет. В один из длинных ноябрьских вечеров юстиции советник диктует жене письмо к сыну.

— Я хочу быть строгим,— говорит он, поминутно покашливая,— хочу заставить Карла наконец ответить по существу моих вопросов, чего он никогда не делает. Мы во всем идем ему навстречу, да и судьба продолжает баловать его безмерно. Учение дается ему легко. Вестфалены — кто мог на это рассчитывать? — отнеслись благожелательно к любви наших детей. Наконец, Женни написала ему, как он того требовал. Казалось бы, можно было серьезно поразмыслить о будущем, но мальчик продолжает погружаться в пучины науки, менять то и дело свои мнения, бороться с несуществующими призраками, избирает наиболее трудные пути. Избегает нужных людей, не хочет воспользоваться протекциями, не думает о будущем, пренебрегает спокойствием стариков родителей и невесты — и какой еще невесты!

Генриетта уже протерла перо мягкой тряпочкой, надела очки и принимается писать.

— «Пункт первый. В чем долг молодого человека, которому природа безусловно дала исключительный талант...» — диктует ей муж глухим, больным голосом, то и дело останавливаясь, чтобы откашляться и отдышаться:

«а) если он, как он говорит сам, чему я, впрочем, охотно верю, уважает своего отца и идеализирует свою мать;

б) если он, не считаясь со своим возрастом и своим положением, связал со своей судьбой благороднейшую девушку и

в) этим поставил весьма почтенную семью в такое положение, когда ей пришлось признать отношения, которые, по всей видимости и согласно обычной точке зрения, полны для этого милого ребенка опасности и мрачных перспектив.

Имели ли твои родители некоторое право требовать, чтобы твое поведение, твой образ жизни доставляли им радость и, по крайней мере, мгновения ее и избавляли их от печальных минут? Каковы были до сих пор плоды твоих великолепных природных дарований для твоих родителей?

а) Да, молодой человек должен поставить себе такую цель, если он хочет доставить своим родителям... действительную радость; особенно тогда, когда он знает, что родители эти возлагают на него свои лучшие надежды.

б) Да, он должен подумать над тем, что он взял на себя, может быть, не соответствующую его годам, но тем более священную обязанность принести себя в жертву для блага девушки, которая принесла, принимая во внимание ее исключительные достоинства, ее общественное положение, большую жертву, променяв свое блестящее положение и свои перспективы на сомнительное и более серое будущее, связав свою судьбу с более молодым человеком. Простая и практическая задача сводится к созданию для нее будущего, которое было бы достойно ее в действительной жизни, а не в накуренной комнате, при коптящей масляной лампочке, рядом с одичалым ученым.

в) Да, ему приходится искупать большую вину, а благородная семья требует большого возмездия за свои, пожертвованные ею прекрасные и весьма обоснованные, ввиду личных достоинств ее дочери, надежды, потому что действительно тысячи родителей отказали бы в своем согласии. И в мрачные моменты твой собственный отец почти желает, чтобы они это сделали, так как слишком близко моему сердцу благо этой ангельской девушки, которую я люблю, как дочь, и за счастье которой я именно так опасаюсь.

Все эти обязанности образовали в своей совокупности такое прочное сплетение, которое должно было быть до-

статочным для изгнания всех злых духов, для уничтожения всех заблуждений, для уравновешения всех недостатков и для создания новых и лучших стремлений; для образования из одичалого бурша добропорядочного человека, из отрицающего гения — солидного мыслителя, из беспорядочного вожака беспорядочных буршей — общественного человека, сохраняющего, правда, достаточно гордости, чтобы не извиваться, как угорь, но имеющего достаточно практического смысла и такта, чтобы чувствовать, что только в общении с благовоспитанными людьми можно изучить искусство показывать себя свету с самой приятной и выгодной стороны, заслужить возможно скорее уважение и любовь и найти практическое применение своим талантам, расточительно данным матушкой-природой...»

Долго еще скрипит перо. Письмо почти окончено. Генрих Маркс, вконец утомленный, откидывается на подушку.

Хлопает входная дверь. Это Софи возвращается с почты. Сбросив отсыревшие под теплым осенним дождем пелерину и капор, она врывается в комнату, держа перед собой толстый конверт, долгожданный серый конверт с берлинским штемпелем, с адресом, выведенным знакомым мелким кривым почерком.

— Письмо от Карла, и какое письмо — целый том! — улыбаясь, шепчет она, тихонько прикрывая за собой дверь, чтоб не потревожить шумом Эдуарда. Вот уже полгода в доме Марксов не смеются и не говорят громко.

Мать нетерпеливо протягивает руку. Письмо отдано юстиции советнику. Он тотчас же погружается в чтение. Генриетта и Софи уходят из кабинета.

Софи посылает сестренку на Римскую улицу за Женни.

Женни приходит раньше, чем успели накрыть стол к ужину. Матовые щеки ее розовеют. Она волнуется и, не дожидаясь разъяснений Софи, торопливо проходит в комнату Генриха Маркса. Старик, как всегда, встречает ее отечески ласково, берет за руку, усаживает на большой, обтянутый ковром диван.

— Он получил ваше письмо, мой ангел, и перечитал его двенадцать раз, открывая все новые и новые прелести. Я его понимаю.

Женни, склонившись над свечой, начинает чтение доверенного ей письма с приписки.

— Он просит разрешения приехать в Трир,— говорит она нерешительно.

Но Генрих Маркс угрюм.

— Вот,— говорит он в тревожном раздумье,— вот письмо, отражающее все недостатки моего сына. Бессвязное, бурное творчество, бессмысленное перебегание от одной науки к другой, бесконечные размышления при коптящей лампе, созидание и разрушение. Растрата дарования, бессонные ночи, родящие чудовищ. Мы лишены невинной радости, доставляемой разумной корреспонденцией. Если мы получаем сегодня извещение о завязавшемся новом знакомстве, то затем оно снова навеки исчезает. Едва мелькнет рапсодическая фраза о том, что, собственно, делает, думает, творит наш милый сын, как регистр этот снова закрывается, будто заколдованный. В Берлине, по слухам, холера. Мать и я в непрестанной тревоге, а Карл в это время, умалчивая о самом главном, доказывает мне, что вред идеализма в противоположении действительного и должного. То, чтó он пишет, как всегда умно и более того, но ведь это — опасный тупик. Он идет по стопам новых демонов. Он плутает, он отрывается от жизни, не заботится о будущем, о своей карьере.

Приступ кашля мешает старику говорить. Женни подает ему чашку с водой, отсчитывает капли микстуры.

— О, Женнихен, на вас мы возлагаем столько надежд! Вы лучше отца и матери сумеете заставить Карла стать достойным мужем и отцом семейства,— продолжает Генрих едва слышно, когда кашель прекратился. — Я не могу больше состязаться с Карлом в искусстве абстрактных рассуждений, он тут силен, как молодой бог, но в науке простой жизни мальчик беспомощен, и его будущее — значит, и ваше — теперь не кажется мне безоблачным...

Но Женни больше не слушала жалоб старика. Жадно, увлеченно впитывала она в себя строку за строкой, страничку за страничкой письмо молодого студента. Лицо ее постепенно успокаивалось, бледнело, и в опущенных глазах мелькали удовлетворение, восхищение и радость.

— Это исповедь большого ума и большого человеческого сердца. Я горжусь Карлом,— сказала она твердо.

*Глава третья*

# ОСТАНОВИ, КТО СМЕЕТ, ОСТАНОВИ, КТО МОЖЕТ!

## 1

Запутавшись в густой жесткой старческой брови, юркая блоха пребольно укусила Джона. Он высунул голову из-под серой суконной куртки, почесал пятерней лоб и сплюнул. Вокруг него — на кроватях, тюфяках, разбросанных по полу, сопя и храпя, спали мужчины, женщины, дети.

Джон повернул голову в сторону окна. На Зеленой улице, как и в комнате, было совершенно черно. Старик прислушался. Издали донесся бой башенных часов. Четыре удара.

— О, черт! — пробурчал Джон уныло. — Я всегда просыпаюсь первым, а бывало, меня не добудишься.

Только когда удавалось на ночь согреться стоутом или элем, старик спал до рассвета. Он не любил бодрствовать среди спящих, как не любил быть трезвым среди пьяных. Бессонница начала одолевать его с тех пор, как перевалило за пятьдесят.

Прислушиваясь к монотонному дыханию и посапыванию спящих, Джон с неудовольствием чувствовал свое одиночество и старческие недуги.

— Уткни нос в небо, не хандри, старина,— уговаривал он себя и, чтобы скоротать время, начал мурлыкать псалмы царя Давида, выученные им в детстве.

Но и псалмы не предотвратили возрастающей и унылой, как бирмингемский дождь, тоски.

Старый Джон приподнялся и протянул руку к матрацу Вилли Бринтера. В темноте растворялся озорной блеск его обесцвеченных временем глаз. Он дернул за ногу своего юного друга. Но Вилли, безразлично промычав: «Что?.. А?.. Убирайся в ад!» — подобрал ноги и снова заснул.

До переклички гудков ни один из пятнадцати человек, снимающих углы и пространства величиной с кровать, очевидно, не намеревался просыпаться. Старый Джон попытался занять себя отгадыванием того, кто же в сарае проснется первым. Он хотел, чтобы это была восьмимесячная Энн. Ее голодный, требующий материнского молока

крик быстро подымет на ноги всех обитателей, и тогда начнется наконец день.

Старик не любил тишины. Она ехидно оттаскивала мысль прочь от настоящего. Воспоминаний боялся Джон. От них ему становилось как-то неловко, грустно. И Джон все тише, невнятнее тянул псалмы.

Как, однако, поздно наступает в этом проклятом месте рассвет! Бирмингем опротивел, видно, даже богу. А людям каково жить в этой луже, в этой сточной трубе для небесной воды!

Что будет сегодня — дождь или туман? Не все ли равно, поливать ли город и людей сверху или окунать прямо в воду?

В кармане куртки Джон отыскал кусок хлеба, заплесневевший от сырости.

Но хуже бирмингемского неба, хуже голода — старость.

«Господь тоже стар, и Ной был стар, и короли стареют. — Джон улыбнулся. — Черт уравнял всех». Старик не сомневался, что старость — измышление сатаны. Ну, а молодость... О ней старик редко думал.

С недавних пор Джон заметил, что минувшее как бы обновилось, ожило в его памяти. Вместе с возрастающей дальнозоркостью усиливалось и внутреннее его зрение. Он увидел вновь отчетливо, будто рядом, очертания далеко отстоящих по времени событий, вспомнил, услышал слова давно свернувших в сторону с его дороги людей. Зато легко забывалось, стиралось настоящее. Джон не замечал частых повторений в своих рассказах, забывал лица недавних знакомых, путал имена и числа, терял слова. Старик дивился себе, не догадываясь, что это симптомы неизбежной и неизлечимой болезни — старости.

Джону было около шестидесяти лет.

— Не так много, черт! Но шестьдесят моих лет, когда в году сыт день, а впроголодь живешь больше трехсот шестидесяти суток, продырявят и не такую поганенькую шкуру, как моя,— говаривал он.

То, что на ум лезли прошлые события, старик объяснял приближением смерти. Он вспоминал, что мать его незадолго до кончины переселилась мыслями в мир смерти.

— Так вот и я,— огорчался старый Джон. — А почему — не знаю. Все равно что срезанные ногти подби-

рать и беречь, что старое помнить. Было — и нет, а раз нет, то и не было.

Были, однако, позади, в ушедшем времени, счастливые денечки. Сам Джордж Меллор был другом Джона. Немало железных позвонков хрустнуло под беспощадными их кулаками. На совести старого Джона много изуродованных лоснящихся скелетов железных демонов. Но переменились времена. Переменились понятия о рабочей доблести и чести. Старый Джон заметил это лишь в последнее десятилетие. Рабочие не только примирились с машинами, но и полюбили их. Вилли Бринтер любовно рассказывал о движимой паром сушильной машине для пряжи, которую обслуживал.

Мать Вилли была деревенской портнихой. Он мечтал сам сконструировать железный швейный аппарат. Он часто чертил на стене желанную машину. Его план заключался в устройстве челнока наподобие прядильных станков. Нередко юноша делился надеждой с Джоном.

— Такая машина,— говорил он мечтательно,— сможет сделать пятьдесят стежков в минуту, а может быть, будет шить беспрерывно.

Другие времена.

Джон не осмеливался более признаваться в том, что он был когда-то приверженцем неукротимого Джорджа Меллора.

Протяжно, настойчиво загудел первый фабричный гудок. Ему мгновенно ответил другой. Гудки разбудили людей. Ежась от сырого холода, пролезающего в щели стен и окон, рабочие лениво прислушивались к знакомым голосам фабричных труб. И каждый невольно думал о том, как глухо, пусто, мрачно утро без этого обещающего зова, как страшно было бы пробуждение, если бы гудки не возвестили, что сегодня есть работа.

Старый Джон угадал — маленькая Энн проснулась раньше других и пронзительно заорала. Так начался день в большом сарае с двумя окнами возле Буль-Ринга. Обитатели углов вылезали из-под тряпья, курток, рваных одеял. Грудная Энн неистовствовала, требуя молока. Молока не было. Мать сунула ребенку кусок хлеба, обмакнув его в пиво. Энн выплюнула жвачку. Лицо ее, как синяк, стало из желтого багровым и наконец фиолетовым. Ребенок корчился и давился криком.

— Дай покормлю девчонку,— раздался из-за кисейной занавески грубый голос, и голые пухлые руки взяли маленькую Энн.

Мощная Клара стирала поденно в домах купцов. Она считалась самой богатой среди съемщиков углов.

Непревзойденная пьяница, Клара славилась своей щедростью. Она не скупилась на угощение друзей.

— Пиво не пьянит, если пить его в одиночку,— говаривала прачка.

Маленькая Энн, заполучив бурый, собранный в складочки сосок, мгновенно стихла. Клара, ловко передернув плечом, сбросила кофту и открыла вторую грудь. Потом взяла с пола своего полуторагодовалого сынишку. Обеими большими, шершавыми руками она приподняла огромную грудь и силком всунула сочащийся молоком сосок в детский ротик. Так начался утренний завтрак. Мальчик часто отрывался от материнской груди и, чтобы было сытнее, заедал молоко лепешкой. Старый Джон, пряча в бороде и усах умиленную улыбку, смотрел, как толстая прачка, сидя на краю кровати, не то мечтательно, не то насмешливо поглядывая вниз, поила двоих детей.

— А, какова моя молочная ферма! — гордо сказала ему Клара, выпятив шары груди. Она высвободила и нажала сосок. Струя молока разлетелась брызгами над головой Джона.

В это время в одном из углов началась потасовка. Жена ткача Неда, дряхлая Мери, дала пощечину своему мужу. Он схватил ее за волосы.

— Вилли,— сказала меланхолично прачка Клара,— я занята, разними их.

— Он опять вместо денег приволок кусок сукна! — отрывисто выкрикивала Мери. — На дьявола мне тряпье! Где деньги, мерзавец? На, корми сам свой приплод! — Она брыкалась и ногами гнала к отцу немытых зеленовато-бледных детей.

— Объясни ей, Вилли,— умолял ткач, отпуская сбившиеся жидкие женины волосенки,— объясни старой ведьме, что вместо денег фабрикант распорядился заплатить нам натурой. Разве с ним управишься? Или баба хочет, чтобы меня выгнали с фабрики?

— Ты должен был получить тридцать пять шиллингов. У меня долгов на сорок. За эту дрянь,— она мяла

сукно,— никто не даст больше десяти... — рыдала все тише и тише Мери.

Джон понуро сидел на тюфяке. Утро как утро. И слова и переживания изо дня в день одни и те же. Он не знал иной жизни, иных чувств, радостей и горестей.

Мать Энн предложила одинокому старику кружку с бурдой, важно называемой кофе, а юный друг его Вилли Бринтер разделил с ним свой хлеб. Покуда женщина возилась с жестяным кофейником на очаге, Джон качал насытившуюся, ставшую вялой Энн и тихо, нараспев читал ей вместо колыбельной стихи о фабричных детях. Их певал когда-то молодой ткач в Глазго:

В пять часов встают с рассветом
В непогоду и туман,
Не обуты, не одеты,
Пуст желудок и карман.

Джон долго кашлял, однако больше из хитрого притворства. Он забыл стихи, но не хотел сознаться. Наконец Вилли Бринтер пришел ему на помощь:

Лишь в восемь часов с работы
Идут, усталые, домой,
Полны недетскою заботой,
Измучил день их трудовой.

Последнее четверостишие Джон и Вилли продекламировали вместе:

Назавтра ж, в пять часов, с рассветом,
Опять встают, и слышен стон:
«Ужель мученьям нет просвета,
Пусть даст защиту нам закон!»

— Спи, внучка, не плачь. Вырастешь — поплачешь, пободрствуешь...

Старик положил на тюфяк дремлющую Энн, торопливо выпил горячей жижи и вслед за другими обитателями углов пошел на работу. На прощание Вилли шепнул ему многозначительно:

— Сегодня великий день, старина, увидимся на Буль-Ринге.

— Где? Какой такой день? — переспросил старик, не поняв; но Вилли торопился и не захотел ответить.

Комната опустела. Оставшиеся старухи и дети снова

улеглись спать. На улице с Джоном поравнялся молодой токарь по металлу Тернер и, дернув его за рукав, спросил:

— Будешь на Буль-Ринге?

— И ты о том же? Дался вам этот Буль-Ринг! Буду. А для чего?

— Пошлем требование в парламент — хартию. Не понимаешь? Скажи, старый человек, можно еще так жить, как мы живем?

— Я тащу жизнь шестьдесят лет на себе. А кто терпеть не захотел, того повесили. Вот Джордж Меллор, например... сам видел...

— Тебе терпеть недолго, того и гляди — помрешь. А мне всего тридцать.

— То ли еще будет! Говорят, изобрели железного человека... Мы давно все поняли, да не вышло ничего. Ружье тоже машина, и оно — у них, а у нас только и есть что мускулы.

— Мы боремся за хартию словом, подписями — и добьемся, чего требуем.

— Мы, луддиты, дрались, мы разрушали...

Джон с ненавистью погрозил кулаком заводской трубе, высившейся над расположенным в низине городом.

— Чудишь! — засмеялся Тернер. — Зачем ломать то, что можно взять? Почему бы машинам не служить и нам? Мы не хуже богачей. Станки — наших рук дело.

Джон тупо смотрел на говорящего. Мысль точила неподатливые старые мозги: «Прав, прав не Меллор, не Джон, а этот парень!»

— Что ж, я, пожалуй, приду. Приду, послушаю, пожалуй.

«Ишь как его подмыло! Когда старый петух кричит, молодой учится»,— усмехнулся Тернер.

А у Джона внезапное сердцебиение вызвало испуг: «Не умру ли я?»

Старик добрался до своей мастерской перед восходом солнца, которое не торопится показываться в Бирмингеме даже ранней весной.

Усевшись на низком табурете перед точильным станком, Джон долго не мог нажать педали: хотелось поговорить с товарищами. Но вошел хозяин. Заскрипились точильные камни. От блеска металла и вспышек искр у Джона болели глаза. Он провел по ресницам густо на-

слюнявленным пальцем и потер веки. Сонный, позевывающий мистер Браун, хозяин мастерской, примостившись на подоконнике, потягивал из большой пестрой чашки коричневый чай. Рабочие с завистью посматривали на дымящийся чайник. Напиток этот, недавно ввезенный в Англию, был им не по средствам. О вкусе и целебных свойствах чая рассказывались чудеса.

Джон уверял, что чай подобен нюхательному табаку. Причмокивая и кряхтя, пил хозяин. Рабочие изредка переглядывались и обменивались шутками.

Когда на дне чашки остались два хрупких, выпаренных до прозрачности лепестка, «Павлин», как прозвали рабочие хозяина мастерской, отставил чайник, встал, достал из кармана газету и, бережно разгладив смятый лист, важно сказал:

— Мистер Тейлор, такой же искренний радикал, как я, в своей бесспорно почтенной газете,— я не верю, что ее субсидируют иностранцы,— призывает порядочных людей в одиннадцать часов на митинг. Вы все свободны с этого часа. Я уверен, что увижу вас на Буль-Ринге, где хочу побывать и сам.

Бурный одобрительный свист раздался в мастерской. Хозяин, размахивая демократической «Бирмингемской газетой», прошел меж станков в соседнюю комнату, где за конторкой проверял обычно качество выработанного мастерской товара.

Джон оцепенел от удивления. Отныне он решительно ничего не понимал.

— Как, и хозяин гнет туда же?!

Без четверти одиннадцать Джон вышел на улицу. У мастерских поджидали рабочих жены, матери, сестры. Стараясь побороть беспокойную дрожь, Джон направился вниз, к Буль-Рингу. С грохотом запирались лавки. Торопливо проносились мимо кареты. Размахивая ведрами и корзинками, расходились с рынка уличные торговки. Из подворотен выбегали дети и, возбужденно крича, бежали за город. Над Бирмингемом плыли звуки духовой музыки. Где-то пели. На площади у собора старый Джон наткнулся на строящиеся колонны демонстрантов.

Он встал в один из рядов.

— Ты кто? — спросили старика из толпы.

— Ножовщик.

— А мы экипажники,— пояснили ему и указали, куда становиться: демонстранты выстраивались по цехам.

Экипажники идут на Буль-Ринг!.. Это утро было соткано из сюрпризов для Джона. Экипажники славились чванством. Они избегали общения с другими ремесленниками и рабочими. Им хорошо платили, их ласкали богачи заказчики. Джон решил ничему не удивляться. Он готов был поверить в чудеса. Впереди демонстрации шли сам Павлин, сам чайный торговец Мур, само его преподобие Эдвардс. На них были черные цилиндры и торжественные сюртуки до колен.

Джон озирался по сторонам и прислушивался. Из подхваченных обрывков разговоров он понял, что демонстрацию готовили давно. Ему стало обидно. Разве не был он старым, заслуженным луддитом, другом славного Меллора?..

«Без меня собирались, значит, где-нибудь за городом, во рву, как мы когда-то»,— подумал он, и горечь сменила праздничную радость.

И, как всегда в последние годы, он упрекал себя в старости.

Не нужны старики даже в этом деле... Да и где, кому нужны?.. Он слыхал, что в далеких странах, на других материках кочующие племена обрекают старцев на смерть. Старики — обуза, жалкий хлам, олицетворение немощи...

Рабочие разбились на колонны и шли по шести в ряд. Джон никогда не видел такого количества людей вокруг себя. Сколько блестящих глаз, сколько бьющихся в унисон сердец!..

Кто-то взял Джона за руку и вывел в первый ряд.

— Ты расскажешь нам о своей жизни,— сказал ему доктор Дуглас. — Ты — живая летопись рабочего класса, Джон Смит.

— Держись, старина, соберись с силами.

— Не сдамся, тут еще есть огниво! — ответил Джон, ударив себя по лбу. Но слез удержать не мог.

Люди вышли из домов. Впереди шествия несли флаги. Тугие знамена реяли над толпой. С деревьев и крыш, с окон маленьких домиков свешивалась, размахивая пестрыми лоскутками, детвора. По всему пути к Буль-Рингу выстроились духовые оркестры. Равнодушие покинуло город.

Злоба пряталась в щелях — особняках буржуа и пригородных поместьях аристократов. Радость заполнила улицы. Разные чувства волновали Бирмингем. Но равнодушия не было нигде.

Неожиданно, точно устыдившись самого себя, прекратился дождь, и солнце — редкий гость этих мест — разорвало тучи, осветило бурый город.

— Нас больше ста тысяч,— говорили демонстранты, и Джон с гордостью повторял эту грозную цифру.

На расстоянии тридцати ярдов друг от друга стояли неподвижно знаменосцы. На ярких полотнищах извивались золотые буквы лозунгов.

— Читай! — требовали женщины и рабочие от молодого грамотея.

— Читай! — просил и Джон. Он никогда не горевал сильнее от того, что не знает языка букв.

— «Свобода! Когда снова соберутся ее сыны — задрожат тюрьмы,— читал нараспев рабочий надписи на знаменах. — Свобода! Они считают ее пустой угрозой и смеются, но мы заставим их плакать кровавыми слезами. Надежда! Мне слышится, будто птичка поет».

— А на том знамени что — прочти,— просили женщины.

— «Народ одолеет врага».

— Еще бы не одолеть! — убежденно ответил знамени Джон.

Медленно двигалось шествие. Музыка заглушала голоса.

— Тут о чем говорится, что вышито? — Джон дергал за руку соседа.

Вокруг громко пели. Но Джон не слышал песен. Слова, вышитые на тканях, звучали для него как новые псалмы новых безымянных пророков.

Грамотей неохотно читал снова:

— «Свобода, как ее даровал господь всем живущим под небесами».

— «Революция! Я видел нации, нагруженные подобно ослам, но они сбросили с себя бремя,— иначе говоря, высшие классы».

На узком, рвущемся вверх флаге было начертано изречение Бернса:

«Сословие — штамп для золотой монеты, а человек — металл для ее чеканки».

— Здорово! — засмеялся Джон и протянул руку вверх. Ему хотелось прикоснуться к флагу. — Ведь как ловко сказано, сразу не поймешь!

Первые колонны вошли на Буль-Ринг. Городской, некогда обширный луг был уже запружен толпой, подошедшей из других частей города. И здесь, как и на улицах, колыхались знамена, боролась песня с духовой музыкой и восторженными бессвязными выкриками. Джон, омоложенный этим утром, бойко протискивался к деревянной трибуне. Нелегкая затея! Он скользил по сырой земле, кого-то толкал и спотыкался, но чьи-то заботливые руки помогали ему встать; люди, добродушно ворча, сторонились, давая ему пройти.

— Дорогу старому петуху! — шутили рабочие.

Впервые не были Джону помехой седые волосы, более того — они прокладывали ему дорогу. У трибуны он увидел Вилли Бринтера. Юный слесарь был веселый и красный, точно от вина.

— Поцелуемся, старина! — сказал он Джону. — Стоит жить шестьдесят лет, как ты жил, ради одного такого дня.

Они поцеловались друг с другом и полезли с объятиями к окружающим.

Демонстранты избрали председателя.

Сто тысяч рук поднялись, голосуя. Какие это были руки? Шершавые большие руки борцов. Упрямые руки победителей. Сухие, крепкие и натруженные. Сто тысяч взведенных курков. Сто тысяч нацелившихся штыков не олицетворяли угрозы большей, не вселяли во вражьи сердца большего трепета, чем эти инстинктивно собранные в кулаки либо бесстрашно выпрямленные, как знамя, руки. Среди все возобновляющихся криков восторга председатель объявил митинг открытым. И случилось то, чему никто не смог бы поверить за миг до того. Сто тысяч ртов сомкнулись, смолкли оркестры, мгновенно, точно по команде.

Тишина туманом окутала поле. И сразу все вспомнили о хрупкой, чахоточной весне. Приторно пахли липкие почки сирени. Громко, удивленно перекликались птицы на старых вязах. Джон сомкнул веки. Он вспомнил сырой ров, голос Меллора, площадь и виселицы.

«Я заснул тогда и проснулся сегодня. Я скажу об этом здесь».

Внезапно Вилли Бринтер тревожно толкнул старика и указал ему движением головы на противоположный конец поля. Там блестело золотое шитье мундиров. Ржали лошади.

Королевские драгуны... Оцепили поле!

— Вон, вон отсюда! — раздались крики. — Идите сторожить дома богатых! Вон! — Снова руки, снова кулаки над головами. — Убирайтесь прочь!

Вилли Бринтер перескочил через шаткую дощатую трибуну и схватил под уздцы лошадь солдата, пробиравшегося к ораторам:

— Поворачивай назад, негодяй! Продажная душонка! Довольно мы натерпелись от вас!

Председатель жестом остановил рассвирепевшего рабочего:

— Спокойствие, братья! Подобно вам всем, я глубоко возмущен дерзким и достойным негодования поступком властей и доведу об этом до сведения палаты общин. Не будем отвечать насилием на насилие. Покажем свое презрение тем, что перестанем замечать этих жалких наймитов. Легко быть воинственным перед лицом безоружных. Начнем наш митинг. Аристократическое отродье пусть знает, что, если войска осмелятся мешать народу собираться, они встретят такие же мужественные сердца под черными сюртуками, как и под красными.

Слова председателя вызвали оглушительные крики безоружной, но готовой бороться толпы. Драгун осторожно выбрался из толпы и присоединился к воинской цепи, которая заняла все боковые улицы, выходящие к полю. Волнение демонстрантов несколько улеглось. Но прежняя беспечность исчезла. Напряженно оглядываясь, чтобы не быть застигнутыми врасплох, рабочие слушали каретника Айера. Джон оттопырил ладонью ухо, чтобы не проронить ни одного слова с трибуны.

— Я горд тем, что тысячи моих братьев собрались сюда, чтобы преклониться перед алтарем свободы. Над нами висит меч угнетателя, но, если понадобится, мы обнажим меч справедливости и не вложим его в ножны до тех пор, пока справедливость не восторжествует для угнетенного и измученного английского народа. Я тщательно искал сегодня вокруг себя, среди вас хоть одного аристократа, чтобы сказать ему в лицо все, что думаю, но не мог найти ни на улице, ни в толпе ни лорда, ни

герцога. Нет, они не смеют прийти на митинг, чтобы встретить справедливое негодование бирмингемского народа.

Джон устал слушать. Он, широко открыв рот, ловил воздух. Пахло людьми, молодой травой, подсыхающей землей. Айер приподнял над головой свернутую трубочкой бумагу.

— Вот в моих руках резолюция. Она гласит, что мы будем пользоваться всеми средствами для достижения всеобщего избирательного права. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть о монархии. До сих пор она царствовала для себя, но я объявляю от имени нашего огромного собрания, что если монархия не будет царствовать для блага миллионов, то не будет царствовать вообще!

Одобрительные крики: «Слушайте... Правда... Слушайте...» — прервали оратора.

Казалось, люди на лугу позабыли о драгунах, о том, что были в кольце врагов. Рабочий продолжал:

— Голодный, беззащитный, вдовы, сироты, старики, все будущие поколения ждут, чтобы мы добились свободы. Не будем обрекать потомство на кошмар, в который обратилась наша жизнь! Интересы рабочего класса везде одни и те же, и притеснители увидят, что рабочие поняли это и скоро соединятся. Знание дает власть, союз дает силу. Я предсказываю вам, что соединенные знание и сила в недалеком будущем уничтожат во всем свете аристократию. Будем же все настороже. Посмотрите, что делается в Лондоне! Позор творится в столице! Богачи пригласили представителей русского деспота Николая и трусливого французского тирана Луи-Филиппа и всех представителей родственных им тиранов на коронацию государыни нашей Виктории, молоденькой девчонки, которой полезнее и приличнее было бы заниматься рукоделием... Вот такие дела творятся у аристократов! Им мало дела до нас, и было бы еще меньше дела, если бы мы не хотели есть и быть людьми. Если бы мы сражались за них и удовлетворяли бы их ненасытный аппетит своим рабским трудом...

— Позор! — закричали в толпе. — Позор аристократам!

— Проклянем их, пошлем к чертям! Будем заботиться о себе и своих семьях. Мы помним оскорбления. Мы мстим. Мы видим не только королевский блеск, но и проклятый Тауэр!

«Он умен, как Нед Луддхем»,— сказал самому себе Джон про экипажника Айера.

Проводив оратора одобрительным свистом и хлопками, демонстранты затянули песню Эллиота. Джон не знал слов и подхватил лишь несложный напев. Молчать он не мог. Звуки сами рвались из глотки. Он был слишком счастлив, чтобы не кричать об этом миру.

О богачи, за вас закон —
Голодных вам не слышен стон.
Ваш взор суров, ваш дух жесток,
Вы нищих прячете в острог...
Но неизбежен мести час,
Рабочий проклинает вас,
И то проклятье не умрет,
А перейдет из рода в род.

— О'Коннор! Фергюс О'Коннор здесь! — крикнул председатель, только что дирижировавший с трибуны стотысячным хором.

Эти слова магическим током пробежали по толпе. Оборвалась песня, тысячи голов повернулись туда, откуда шел вождь чартистов. Матери подняли детей.

— Смотрите, запомните навсегда нашего друга, нашего защитника. Он придумал хартию, он и другие хорошие люди! — говорили, восторженно улыбаясь, женщины своим сыновьям и дочерям.

Люди поднимались на носки, чтобы увидеть человека, приближающегося к трибуне.

Фергюс О'Коннор. Кто не знал этого имени!

— Браво, О'Коннор, наш лидер!

— Молчите! Внимание, слушайте! Фергюс хочет говорить.

О'Коннор появился наконец перед собранием. Как всегда, он долго кланялся, поглядывая зорко при этом на притихшую толпу и позволяя ей смотреть на себя. Он любил эти короткие мгновения знакомства. Он любил легкое волнение, вызываемое в нем неуловимым прикосновением к его лицу десятков тысяч глаз. Фергюс был внешне весьма представителен. Сила его ораторского воздействия была не только в слове, но и в высоком росте, и в мощном жесте. Голос его был резок, криклив.

Высокого роста, атлетического сложения, он казался гигантом и одним своим видом производил огромное впечатление. Единственным физическим недостатком

О'Коннора была коротенькая, толстая боксерская шея. Вскинутая голова и высокие воротнички, повязанные шарфом, должны были скрыть этот дефект, который, однако, вовсе не вредил внешности чартистского трибуна.

Вот и сейчас он, слегка раскачиваясь, приподнимаясь на каблуках черных, безупречно вычищенных штиблет, чтоб быть еще выше, напряженно откинул большую крепкую голову. Впрочем, это получалось у него вполне непроизвольно.

О'Коннор не был англичанином. Нервная живость движений, заостренные энергичные черты лица и неспокойные, хищно округленные глаза — все обличало в нем ирландца.

О'Коннор тяготился своим происхождением и во всем старался быть истым англосаксом. Он гордился чистым, слишком чистым английским произношением. Построение его речи было столь подчинено всем грамматическим законам, что подлинные англичане начинали сомневаться в ее правильности...

Энергия сквозила в жесте Фергюса, в его слове, взгляде. Это была энергия изобилия жизненных сил. Ни один из участников движения не сумел достигнуть большей популярности, чем он, но ни одна популярность не была более хрупкой.

Каждый оратор, если он действительно одарен искусством речи, имеет свои, ему одному присущие приемы, свои проверенные нюансы, свой особый стиль.

Фергюс начинал обещанием повести народ «либо к славе, либо к смерти». Он долго и подробно знакомил аудиторию с собой и рассказывал о том, что он является бесплатным защитником народного дела. Сознательное бахвальство и эгоизм О'Коннора подкупали, однако, рабочих. О'Коннор говорил им о страданиях рабства, о подлости богачей, о многообразии эксплуатации, точно сам прошел сквозь ад пролетарского существования.

— Верите ли вы мне? — спрашивал Фергюс.

Вой фабричных гудков не звучал бы громче, чем единое «Верим!», вырвавшееся из сотни тысяч глоток. Лошади насторожившихся драгун снова панически задрожали и поднялись на дыбы. Их тотчас же укротили.

— Сегодня я буду говорить о лорде Бруме и законе о бедных,— сказал Фергюс, приняв как должное выражение преданности и доверия рабочих.

— Говори! — ответила толпа.

— Гарри Брум,— начал тогда О'Коннор и погрозил кулаком,— утверждает, что вам не нужно закона о бедных, потому что каждый молодой человек должен сам делать сбережения на старость. Но когда Гарри Брум говорит это одной стороной своего рта, он кривит другую, чтобы выпросить себе прибавки пенсии с четырех до пяти тысяч фунтов в год. Если б у народа были права, он не стал бы платить ему этого жалованья. Что сделал бы Гарри? Он поплелся бы в казначейство, постучался, но цербер не открыл бы ему двери, а спросил, кто там. И тогда несчастный Брум ответил бы: «Это я, бывший канцлер. — О'Коннор перекосил подбородок и старчески зашамкал: — Я пришел получить тысячу двести пятьдесят фунтов моего жалованья за четверть года». Но цербер ответил бы: «Тут уже побывало сегодня до дюжины тебе подобных, и для тебя ничего не осталось». И тогда бы Гарри заплакал: «О, что будет со мной? Куда мне деваться?» И цербер ответил бы: «Отправляйся-ка ты в тюрьму, которую приготовил народу». А когда лорд Гарри и леди Брум пришли бы в тюрьму, то смотритель сказал бы им: «Это вам — комната направо, а это вам, миледи, налево. Мы здесь — мальтузианцы и боимся, как бы вы не расплодились. Поэтому будем держать вас врозь». Если бы я присутствовал при этой сцене, то, может быть, и пожалел бы леди Брум, но уж не стал бы жалеть лорда Гарри...

Речь О'Коннора ежеминутно прерывалась взрывами смеха. Джон хохотал до боли в сердце. Дружно смеялся весь Буль-Ринг, от края до края покрытый людьми. Только драгуны не смели улыбнуться. Смех тонул в одобрительных возгласах и рукоплесканиях. Фергюс перегнулся через перила и потряс перед собой белым листом.

— Я прочту вам все шесть пунктов хартии.

При слове «хартия» полетели вверх шапки.

— Пошлем приветствие Всеобщей лондонской ассоциации рабочих и доблестному нашему соратнику Уильяму Ловетту, составившему ее. Теперь — молчание: я читаю хартию.

«Первое: всеобщее избирательное право для всех совершеннолетних мужчин, находящихся в здравом уме и не совершивших никакого преступления», — медленно читал О'Коннор, и все, стар и млад, женщины, мужчины, дети, повторяли каждое слово вслед за ним.

Торжественное, почти молитвенное настроение воцарилось на Буль-Ринге.

— «Второе...»

— Второе! — эхом ответила толпа.

— «...ежегодно избираемый парламент».

— Парламент.

— Ежегодно избираемый,— повторял Джон, не успевавший за всеми.

— «Третье: жалованье членам парламента, чтобы и бедные люди могли быть депутатами.

Четвертое: тайные выборы для устранения подкупов и запугивания со стороны буржуазии.

Пятое: разделение страны на равные избирательные округи. Это обеспечит равное количество мандатов.

Шестое: отмена и без того чисто формального земельного ценза в триста фунтов стерлингов для депутатов, чтобы каждый избиратель мог быть также и выбранным». Такова наша хартия, за которую каждый из нас, здесь находящихся, готов отдать жизнь,— не правда ли, друзья?

— Все, как один человек! — отвечал Буль-Ринг.

— Но мы попробуем обойтись, пока можно, без кровопролития. Мы соберем миллионы подписей, и пусть посмеют перед лицом миллионов людей отказать нам в справедливости королева и верхняя палата.

Ответом О'Коннору был марш чартистов:

Звучит над землею свободы труба,
Весь мир содрогается вдруг.
Развернуто знамя — то знамя борьбы,
Толпятся народы вокруг.
И нами владеет чудесная страсть,
Рвутся души из тяжких оков.
Найдется ль достаточно сильная власть,
Чтоб вновь превратить нас в рабов?
Смерть, смерть тиранам, смерть!
Свободы наступили дни.

Стемнело. О'Коннора десятки заботливых, ласковых рук сняли с трибуны. Демонстранты зажгли факелы, готовясь в обратный путь.

Последний оратор, вязальщик, говорил с освещенной плошками трибуны, обращаясь не столько к полупустому полю, сколько к драгунам, недвижно выстроившимся на страже Буль-Ринга.

— Эй вы, войска, которых кормит и одевает народ, вы имеете дерзость стоять здесь с оружием наготове! Нам плевать! Мы не боимся! Все мы можем, когда нужно, вооружиться и обратить в бегство всех дураков, обитающих в казармах.

Рассекая темноту зажженными факелами, рабочие, выстроившиеся в колонны, медленно оставляли луг.

Это было странное шествие. Факельный свет пунцовыми, кровавыми полосами ложился на лезвия штыков, играл золотом драгунских нашивок. Зловещая торжественность господствовала над городом. Всем было и радостно и беспокойно. Старый Джон шел на этот раз в последних рядах. Он напевал, перебирая мотивы новых для него гимнов, и смеялся, сам не зная чему. Хотелось унести с собой, как реликвию, немножко влажной земли Буль-Ринга, хотелось обнять каждого из этих усталых, истерзанных нищенской жизнью людей.

Счастье вскармливает доброту. Джон изнемогал от наплыва нежности. Ее накопилось так много за пять с лишним десятков лет. Никто не посягал на нее. Никому не была нужна ласка нищего, одинокого рабочего. Сам он тоже не любил. Женщин он искал, как водку. Они стоили недорого, помогали забыться, давали исход минутной тоске и пьяному одиночеству. Иногда они ласкали его даром. Одна даже подарила ему ленточку, чтоб он помнил дольше ее рыжие волосы. Но он потерял лоскуток в странствиях. Разве стоило помнить кабаки, где случалось напиваться, разве полагалось помнить женщин, с которыми спал в сараях, между тюками в порту, на траве пригородных полей? Всех их он называл Мери, обо всех говорил добродушно — «сучки».

— «Хартия, хартия наша, хартия, Фергюс О'Коннор — наш учитель»,— напевал старик песенку собственного сочинения. Вместе со своей колонной он был уже у городских домов, у начала окраинной улицы. Вдали оркестры доигрывали «Властвуй, Британия», а рабочие пели: «Властвуй, хартия».

Никто не заметил, как один из драгунских офицеров, озорства или мести ради, дернул уздечку, и лошадь его, став на дыбы, пошла на толпу. Джон увидел над собой серый лошадиный круп, толстую подметку сапога и шпоры. Не растерявшись, он уцепился за стремя. Он не удержался на ногах, лошадь поволокла его за собой. Рабочие

кулаками отбивались от неожиданного вторжения. Офицер вместе с уцепившимся за его сапог стариком отъехал в сторону. Кроме Джона, неистово посылающего проклятия тиранам и их наймитам, никто не был задержан.

Счастливый день кончился для старика ночью в полицейском участке.

— Вы обвиняетесь в оскорблении лошади королевского драгуна, — объявили Джону, запирая его в чулан, где уже сидели два человека, которым предстояла на другой день порка.

До рассвета старик рассказывал соседям по чулану о хартии, о митинге на Буль-Ринге и великом Фергюсе. Наутро он с сожалением покинул полицейский чулан, который был не менее удобен, чем угол в сарае на Зеленой улице, и новых приятелей. В общей камере, как в дорожном дилижансе, легко завязывается дружба и легко раскрываются люди. За одну ночь отсидки Джон рассказал все, что помнил о себе, и выслушал две подробные исповеди. Из рассказов арестантов, обвинявшихся в воровстве, Джон узнал, что один уволен более года с щелочной фабрики, а другой, разоренный податями, ушел из деревни на поиски работы. Оба попались на краже съестного.

Джон был избавлен от розог и освобожден досрочно за плату, внесенную по просьбе доктора Тейлора какимто богатым владельцем мастерской, ярым чартистом. На пороге участка его встретили товарищи. Мог ли старик не прослезиться? Он снова почувствовал себя вырвавшимся из самой страшной тюрьмы — из тюрьмы одиночества.

— Пожалуй,— сказал он, пожимая руку Вилли Бринтеру,— и за гробом моим пойдет кое-кто.

— Будь спокоен, мы повезем тебя, как хартию, только вместо подписей двинем живых людей,— отвечали ему.

На Зеленой улице о подвигах старика, избившего драгуна, хоть в протоколе и значилась только офицерская лошадь, прачка Клара рассказывала с героическими подробностями.

Она гордилась, что спит на одном полу с храбрым защитником прав народа. Вечером Клара варила пиво и угощала в честь Джона всех постояльцев сарая. Такого шумного пира не помнили на Зеленой улице, самой бесцветной и печальной улице в Бирмингеме. Глухие постройки с затянутыми слюдой немногочисленными дырами для света, более годные для скота, чем под человеческое

жилье, были здесь особенно ветхи и хмуры. Как бы в издевку над названием, на всей Зеленой улице не росло ни одного деревца, и из-под камней мостовой не пробивалось ни единой отважной травинки. Там, где улица вливалась в пустырь, было городское свалочное место.

Джон решил войти в организацию чартистов. Он объявил об этом своему юниону, хозяину мастерской и постояльцам сарая.

Желая самолично подписать хартию, он начал учить буквы, составлявшие его имя и фамилию. Он не хотел ставить условного значка неграмотных.

Весна прошла для старика как один счастливый день. В мастерской, на перекрестках улиц, где застревают у доски с муниципальными объявлениями прохожие, в пивнушках, у заводских ворот Джон агитировал за всеобщее избирательное право, за каждый из шести пунктов обращения народа в парламент. Старик надеялся, что хартию подпишут десять миллионов человек.

По ночам, в часы обычной бессонницы, буквы, которые он изучал днем под руководством Вилли Бринтера, наступали на него, пробивали потолок, сваливаясь с неба, как метеориты, выравнивались в скучный непроницаемый ряд, как деревья посаженных английских лесов, нагромождались, как песчинки речных плесов. Мириады букв взбирались, как птицы на жердочку, на полоску бумаги. Так создавались колонны имен, фамилий.

Джонов Смитов было неисчислимо много.

— Как сделать, чтобы отличить одного Джона Смита от другого? — беспокоился старик. — На каждом заводе, в каждом городе есть свой Джон Смит — Джон Смит первый, второй, двадцатый...

— Нет, это не то.

Старик не знал, как быть.

— Но вряд ли есть Джон Смит старый, как я. — Он с удовольствием отмечал снова, как некую привилегию, свои годы: старость — редкий дар у людей его класса. — Напишу: Джон Смит, пятидесяти девяти лет.

Участие в чартистском движении явилось для Джона школой мыслей и речи. Он научился пользоваться словом, как некогда прялкой и потом точильным станком. Он научился управлять мыслью и собирать ее, как ткач собирает на станке нити рассыпавшейся пряжи. Вооружившись словом, он попытался им наносить удары. Как

люди, долго молчавшие поневоле,— обретя слово, начинали много говорить, так и он стал неудержимо говорлив. По вечерам, прежде чем уснуть, все обитатели углов сырой лачуги на Зеленой улице со своих тюфяков, кроватей, подстилок слушали речи старика.

Вилли Бринтер не смел более состязаться в красноречии с недавним своим учеником. Он бывал неизменно бит. Старый Джон стремился высказать все, что открыл для самого себя в неподвижных доныне залежах памяти, опыта, рассудка. Он торопился, точно это была последняя весна его жизни. Соседи по земляному полу, притаившись, слушали его. Кто мог предположить до митинга в Буль-Ринге, что старый Джон так много знает!

— Зло расползалось понемногу,— вдохновенно говорил старик. — Всеобщее избирательное право наверняка было когда-то правом всех людей, но народ не знал ему цены и позволил обжулить себя, обкрутить во время всяких междоусобий. Так я это все понимаю. Меллор говорил,— а он знал правду,— что было время, когда бедняков в Англии не было. Разве только среди ленивых. Налоги были небольшие. Парламент избирался всем народом и о благе всех заботился. Мы теряли свои права постепенно.

— Слепцы! И в раю нет равенства, как же могло быть оно на земле? — прервал кто-то.

— Аристократия испугалась, что народ слишком богат, и издала хитрые законы, чтобы околпачить нас и тем помочь своей беде, — невозмутимо продолжал Джон. — Придумали законы для того, дескать, чтобы народ не попался на удочку роскоши. Но и при этих первых законах против нас рабочий человек зарабатывал достаточно, чтобы есть, жить под крышей и не ходить в отрепьях. Наши предки могли купить себе хорошего, жирного барана или даже хороший кусок коровьего мяса... Не верится, чтобы такие времена были, но я знаю, что не вру: они были.

Джон замолчал, облизал губы, потянул носом. В лачуге пахло сырым, недосушенным бельем, гнилыми отбросами. Ветер доносил кислую вонь с городской помойной ямы. Но слушатели думали о поджаренном куске мяса и обоняли лишь аромат своей мечты.

— Вот какие были времена! Часто ли мы едим теперь баранину?.. Но аристократы снова спохватились и позаботились, чтобы народ поменьше ел. Однако и этого им по-

казалось мало. Они, поглядев на кафтаны наших предков, порешили, что уж очень рабочие щеголеваты. Поэтому издали они закон, по которому ни один ремесленник или рабочий не смел купить себе сюртука, панталон или жилетки из сукна, которое стоит дороже двадцати четырех шиллингов за ярд... Тогда нужны были законы, а теперь и законов не нужно. Мы голы и оборваны так, что рад бы сукну по шиллингу, да и того не купишь. Так шли дела. Аристократы богатели, а мы беднели и тощали. Мало нашим аристократам было того, что мы потеряли человеческий облик,— захотелось весь мир поджать под себя. Полезли они в американские колонии. Но храбрые американцы задали им встрепку. Они восстали, началась битва, и тамошние патриоты победили. Эх, не то, что мы здесь, не то, что отцы наши и деды. Потом, говорят, началась французская революция. Тут жадные богачи бог знает как перепугались, задрожали, как зайцы. Они объявили французскому народу войну, чтобы помешать ему избрать хорошее правительство. Эта гнусная война тянулась двадцать лет. Сколько людей полегло — не счесть! Теперь у французов — король, и народу плохо, как было до революции. А народ английский обременен военным долгом в восемьсот миллионов фунтов и налогами, которым нет равных в свете. Это я знаю наверно, точно знаю.

Нередко старик ораторствовал перед спящими. Усталость слушателей побеждала его увлекательное красноречие.

Прошла весна. Началось влажное розовое английское лето. Многое переменилось в Бирмингеме. Местные власти все враждебнее относились к собиравшимся на Буль-Ринге. Народ становился опасно активен. Несколько раз воспрещались ночные шествия с факелами. Чайный торговец Мур и хозяин мастерской ножевых товаров охладели к движению рабочих.

Джон пошел к доктору Тейлору, которого считал вторым, после О'Коннора, своим учителем. Тейлор, только что приехавший из Глазго, где редактировал газету, был в момент прихода Джона занят выгрузкой из квадратного баула кипы бумаг, воззваний и листовок. Он встретил незнакомого старика веселым приветствием и подал ему стул. Присев на кончик деревянного сиденья, Джон пытливо и заранее дружелюбно рассматривал молодого чело-

века. В просторном матросском костюме, в который — причуды ради — рядился Тейлор, он был очень красив. Черные густые волосы, разделенные на пробор, женственными локонами вились вдоль крепкой шеи и падали на синий откидной воротник. Черные яркие глаза задорно щурились.

Джону не понравилась прическа Тейлора.

«Леди»,— морщился старый рабочий.

Джон вспомнил Тейлора на трибуне, и гнев его спал. Тейлор был превосходным оратором, и Джон отдавал ему предпочтение перед всеми, часто наезжавшими в Бирмингем чартистскими лидерами.

Тейлор не был многоречив на трибуне. Он никогда не говорил более двадцати минут подряд и устойчиво придерживался греческой поговорки о том, что во время долгой речи слушатели успевают позабыть ее начало, а позабыв начало, не понимают конца. Негромкий голос Тейлора был очень чист. Тейлор знал, что ораторское искусство не менее ревниво и сложно, чем всякое другое, и основательно работал над дикцией и мимикой. По утрам после холодной ванны он подолгу упражнялся в ясном произношении слов. Неправильно составленная фраза раздражала его, как перевранный музыкальный аккорд. Когда Тейлор говорил, слова его лились непрерывной струей, без тягостных пауз, повторений, без унылого барахтания и видимых плутаний. В противоположность О'Коннору он никогда не оглушал сразу эффектной фразой и не хвастался неподкупностью. Он обычно вообще не упоминал о себе, и из его речей едва ли можно было узнать о существовании доктора Тейлора.

По привычке кусая усы, Джон заговорил о предполагаемом в Буль-Ринге собрании.

Потом старик признался в своих дурных предчувствиях.

В город с утра прибывали войска. Фабрики были оцеплены. Фабриканты пытались подействовать на рабочих угрозами и подкупом. Джон боялся кровопролития.

— Неладно, неладно! — приговаривал он.

Тейлор захлопнул наконец баул и отодвинул его ногой к стене.

— Возможно, что ты беспокоишься напрасно. В Англии, как отрыжка старого, все еще тлеет понятие о конституционном праве англичан собираться для обсуждения

своих нужд. Правда, в Бирмингеме немало чартистов-ренегатов, это самые неукротимые наши враги.

— Да, самые лютые подстрекатели к бойне — здешние лавочники Герк, Денке, Леджет. А было время — они несли наши знамена.

— И кричали,— засмеялся Тейлор,— «Дайте рабочим денег, чтобы мы могли поднять цены и грабить их в наших лавках!..» Значит, выходим на улицу и остаемся неумолимыми! Всеобщее голосование — или смерть.

— Или смерть,— повторил Джон. — Пусть капитан Свинг поддержит наши требования.

— Что ж, пусть террор поддержит нас, он вызван не нами.

Во время этого разговора в комнату вошли двое молодых людей.

— Я только что вернулся из Манчестера.

— Тебя послал наш политический союз?

— Да, и попал в цель: я выступал там на двух собраниях. Два попа пытались бороться со мной. Не тут-то было! Рабочие беснуются, они правы. Парламентская реформа дала им шиш, а среднее сословие греется, как сытый кот, дремлющий на печи...

— Постой! — прервал Тейлор и, обратясь к Джону, сказал: — Вот, старина, это — Джордж Джулиан Гарни, наш Марат. Он страшен врагам, но вряд ли есть у рабочего класса более верный и добрый друг. Нельзя давать ему волю, а то натворит бед своей нетерпимостью.

Пока Тейлор шутил, Гарни угрюмо посматривал из-под густых, бахромой спускающихся к векам бровей на старого рабочего. Но Джон не мог поймать его взгляд. Глаза Гарни скользили с предмета на предмет, как будто ничему не доверяя и убегая от отрицательных впечатлений. Джон заметил на его больших руках утолщения от многолетних мозолей.

— А это — Пауль, немец. Странник. В поисках сильных ощущений,— Тейлор испытующе посмотрел на Пауля, который сильно покраснел,— или жажды борьбы за справедливость пристал к нашим берегам. Словом, из породы неспокойных.

— Адвокат мировой революции,— добавил Гарни и дружески хлопнул Пауля по плечу. — Ты здорово говорил вчера на митинге.

— Это было всего лишь приветствие от наших немецких союзов.

— Значит, и у вас рабочим живется плохо? — осведомился Джон.

Пауль готов был разразиться в ответ длинной речью, но Тейлор и Гарни прервали его. Они торопились в редакцию «Бирмингемской газеты», которой заправляли.

Паулю оказалось по пути с Джоном. Пошли рядом. На базаре у рыбных рядов они натолкнулись на немногочисленную толпу вокруг оратора, трибуной которому служил закрытый рундук. По тому, как уверенно, точно цепкая птица, двигался он по узкому пространству, было видно, что говорить с такого рода возвышения вошло у него в привычку.

— Это Стефенс, пылкий парень. Зубастый! — шепнул Джон.

Пауль остановился. Нелегко ему было понимать торопливо произносимые, сливающиеся воедино слова агитатора. Тем напряженнее, внимательнее слушал он.

— Рабочие! Я революционер огня, ножа, крови и смерти. Будьте и вы такими. Оглянитесь кругом. Видите эти, похожие на тюрьмы, дома? Вас хотят загнать в них. Где ваши дети? Проданы. Бедные малыши, с изломанными непосильной работой руками, тащатся они по ночам из ада фабрик в свои безрадостные дома!

Негодование и гнев научили Стефенса красноречию. Странствующий поп-расстрига стал миссионером чартизма. Из рваных карманов его плисовой куртки, к изумлению немца, выглядывали знакомые книги Бентама, Шелли, Годвина.

«Ба, он ученее меня!» — готов был признать студент.

— Вооружайтесь! — продолжал Стефенс. — Закон о бедных обрек вас на рабство, на голод, на полное бесправие. Нарушены конституция и здравый смысл. Мы действуем законно. Законно говорить и думать о наших бедах, законно идти в ратушу и требовать справедливости, законно подписаться под протестом и хартией. Если понадобится, чтобы всякий мужчина взял винтовку, тесак, меч, пистолет, копье, пусть женщина возьмет хоть ножницы, а дитя булавку и иголку! Пусть все эти люди, с факелом в одной руке, с кинжалом в другой, объявят смерть каждому, кто разлучает родителей с детьми, мужа с женой. Если они не изменят своих законов, мы уничтожим

фабрики хлопчатобумажных тиранов, мы разрушим их жилища, воздвигнутые с помощью грабежа и убийства, построенные на крови, на костях, на несчастье миллионов людей, которых бог создал для счастья...

Пауль и Джон пересекли базар. Навстречу им чаще попадались военные дозоры. У заводских ворот прохаживались полицейские.

— Быть буре,— пробормотал Джон.

Пауль восторженно улыбался. Что может быть великолепнее революционной схватки?!

— Я ее увижу! — неосторожно вырвалось у него.

— Уж не за этим ли сэр приехал к нам? — спросил старик зло.

Щеголеватый, напыщенный Пауль стал ему с первого взгляда неприятен, и лишь из уважения к Тейлору Джон старался побороть свое ощущение.

Они продолжали идти вместе, но молчали.

Во дворике одного из домов лежали знамена, заготовленные для вечернего шествия к Буль-Рингу. Надписи на них показались суеверному Джону зловещими.

— Весной мы писали другое,— вспомнил он с сожалением.

Пауль, наоборот, одобрил лозунги и достал маленькую книжечку с обложкой из слоновой кости, чтобы вписать их на память. Как знать, не понадобятся ли они, когда в Германии вспыхнет революция?

«Тираны, верьте и трепещите!»

«За жен и детей мы будем бороться вплоть до ножей». «У кого нет меча, пусть продает свое платье и приобретет меч», — записывал Пауль.

К шестам знамен женщины привязали фригийские колпаки свободы. Пауль салютовал им своей высокой шляпой.

— Самые грандиозные и великолепные празднества будут на земле, когда победит труд, когда рабочие придут к власти. Только им доступен размах, достойный революции и свободы,— сказал студент.

Он патетически опустился на колени и поцеловал ткань рабочего знамени. Старый Джон неодобрительно поморщился.

— Что вы, сэр, в церкви, что ли? — сказал он почти сердито.

Его занимали другие мысли и чувства. Как предотвратить кровопролитие? Силы так неравны. Рабочие безоружны. Он решил пробраться в казарму и выяснить, готовы ли солдаты, в случае приказа, стрелять в безоружную толпу. Слабая надежда еще не оставляла его. Может, не будут стрелять?..

Близились сумерки, и с ними митинг на Буль-Ринге. В городе нарастало возбуждение. Торопливо запирались лавки. Грохот опускаемых на витрины железных штор был гулок, как выстрелы. Пустели улицы центра, те, что ближе к ратуше и банкам. Опасливо озирались прохожие. Невесело смотрели присмиревшие, ничем не украшенные дома.

Джон раздумал идти в казармы — времени не оставалось. К тому же болтливый немец не оставлял его в покое и донимал расспросами и поучениями. Старик давно сбежал бы, но соблазнился приглашением отобедать. Они зашли в трактир, съели по превосходному бифштексу и запили пивом. В таком пиршестве Джон давно не участвовал. Он подобрел, перестал хмуриться.

Настало время идти на митинг. Приближался спокойный влажный вечер. От необычайной сырости болели старческие, ослабленные ревматизмом ноги. Джон едва шел и впервые за последние несколько месяцев снова ощутил свою немощность и дряхлость.

— Нам кушать вредно, мы к этому непривычны. Хозяева вымуштровали нас, отучили от мяса, — объяснял, грустно улыбаясь, свою слабость Джон, едва поспевавший за Паулем.

Буль-Ринг начинался за большим сталелитейным заводом. Как майские жуки, мигали факелы собравшихся. Их было много.

Пауль отстал от Джона. Ему хотелось в этой неспокойной, готовой ко всему толпе быть одному, чтоб все подметить и лучше запомнить. Юный студент с малолетства был ненасытным туристом, и здесь, на Буль-Ринге, он не мог побороть в себе того же чувства гордости в миг достижения цели, которое случалось ему пережить на альпийской вершине, у шлагбаума долгожданного города, на берегу дикого озера.

Оглядывая луг, Пауль вспомнил его историю. Воины Кромвеля слушали здесь речи — наполовину проповеди, наполовину воинственный клич — своих вождей. Люди

в белых балахонах жгли здесь трупы умерших от чумы. В праздники пировали здесь мастеровые и подмастерья. Вместо чартистских знамен колыхались над ними знаки и гербы цеха.

Далекие времена феодального разгула и мощи! Пауль все дальше углублялся в глухие тупики веков. Он гордился своими познаниями.

Но Буль-Ринг жил настоящим и потребовал от него того же.

На трибуне рабочий с окладистой рыжей бородой развернул оппозиционную газету, собираясь прочесть вслух какую-то поразившую его статью. Но ему не пришлось начать чтение. Отряд полиции с ружьями и дубинками, только что прибывший тайно из столицы, внезапно ворвался на луг. Полицейские врезались в толпу, и началось избиение. Все смешалось на Буль-Ринге.

Джон содрогнулся, услышав незабываемый вопль поверженных на землю, избиваемых, затаптываемых сапогами людей. Отчаянно кричали дети. Им вторили матери. Проклятья, угрозы, рев... Рабочих били прикладами, хлестали ремнями, топтали. Они поднимались, окровавленные, раненные, и бросались снова в рукопашный бой. Они были безоружны.

Не отдавая себе отчета в происходящем, пронзенный необъяснимым током паники, пронесшимся по лугу, Джон ринулся сначала прочь от наступающих жандармов. Вокруг, шипя, гасли факелы. В темноте старик спотыкался обо что-то живое, корчащееся, стонущее, наступал на сметенных толпой, распростертых людей. Но внезапно, как началось стихийное бегство, так же мгновенно оно остановилось. Джон увидел себя в рядах дезертиров и схватился за голову. Что его гнало? Сколько времени он бежал, как трус, как изменник? Но кто думает о времени, падая в бездну?!

— Позор отступникам, позор трусам! Ни шагу назад! Да погибнут тираны! — крикнул старик хрипло и бросился вперед.

— Да погибнут предатели! — крикнули ему.

И люди вновь соединились и загородили собой путь наступающим врагам. Полиция дрогнула, отступила. Но к Буль-Рингу в это время со всех улиц стекались конные и пешие воинские части. Полиция, обнаружив укрепленный тыл, оцепила луг и заняла все проходы

в город. Передышка дала возможность рабочим подобрать раненых и убитых. Без слов, без рыданий отыскивали и подбирали при свете вновь зажженных факелов матери трупики своих растоптанных, растерзанных детей, несли их бережно и укладывали на ступеньки трибуны как кровавую жертву свободе, как символ грядущей мести. Над трибуной горели погребальные огни и развевались порванные в недавнем бою знамена. Доктор Тейлор, узнавший о побоище, бросился на Буль-Ринг, но по пути был арестован. Узнав об этом, рабочие сделали вылазку и попытались пробиться. Снова полилась кровь... Только угроза муниципальной власти немедленно наказать виновных спасла захваченных в плен полицейских от народного самосуда.

Драгуны, занявшие улицы окраины, обязались беспрепятственно пропустить рабочих с Буль-Ринга.

Без песен, без громких речей, но в полном порядке пошли рабочие в город. Кое-как смастерив носилки, понесли они своих раненых и убитых. Факелы освещали угрюмое, траурное шествие, бледные, застывшие лица, лихорадочные глаза. Кровь была на их руках, на платье, запеклась на взлохмаченных волосах. Бирмингем не видел более суровой, более печальной процессии.

— Убийцы! — шептали сухие губы, когда глаза встречали в полутьме улиц, в подворотнях, на фоне темных, испуганных домов неподвижные силуэты полицейских.

«Машины!» — думал Джон, яростно поглядывая на ружья, на пушки.

Луддит пробудился в нем.

Никто из рабочих не пошел домой. Сдав раненых на попечение больницы для бедных, оставив трупы до завтрашнего погребения, толпа двинулась к церкви св. Фомы. Как только исчезли опасения за участь пострадавших, изувеченных товарищей, осторожное, покорное настроение рабочих сменилось готовностью продолжать борьбу. Распевая, шумя, ломая все, что попадалось по дороге, что могло стать оружием в борьбе, бросились они врассыпную по улицам. Падали под их напором ограды, качались деревья, ломались сучья. Рабочие вооружались кольями, железными прутьями, наполняли шапки камнями.

— Мы отомстим! Мы не безгласные бараны, чтоб послушно подставлять шеи ножу!

Джон поспешил в харчевню «Золотого льва» на экст-

ренное собрание местного чартистского конвента. Все были в сборе, за исключением арестованного Тейлора. В углу на деревянной скамье сидел Пауль. Лицо его было в кровоподтеках.

Чтобы избежать опасного внимания рыскавших по городу шпиков, немец безуспешно пытался скрыть следы побоев. Но слой ярко-белой пудры лежал неровно и осыпался на темно-зеленый откидной воротник сюртука. Из-под рисовой муки, как из-под осыпавшейся штукатурки пунцовые кирпичи, проступали пестрые синяки и кровоподтеки. Обычно нарядный костюм молодого человека был изорван и грязен. Пауль кутался в широкий плащ, пелерина которого болталась, как оторванное крыло. Несмотря на такой необычный вид, опухшие глаза и губы выражали горделивость и самодовольство. Он наконец перешел от слов к делу. Пережитые им ощущения были совсем иными и гораздо более сильными, чем он мог ожидать.

В миг смятения, предшествовавшего схватке, он позабыл о своей позиции наблюдателя. И он бежал по полю, размахивая палкой, бессвязно вопил, бил кого-то по лицу, срывал шершавые нашивки и галуны, падал и поднимался вновь, был смят и избит. И он пережил страх, опьянение борьбы, ощущение надвигающейся смерти и восторг просветления. Его товарищи, плебеи, оказались, как он и думал, на поле битвы героями. Их отвага превзошла его ожидания. Пауль сравнивал их с доблестным Спартаком.

Сумрачный фабричный Бирмингем под волшебной палочкой его воображения превратился в древнюю столицу тиранических цезарей.

Одновременно студент с удовольствием представлял себе оторопь и неудачливые скептические улыбочки всяких Фрицев Шлейгов, к обществу которых принадлежал. Его тешило также предполагаемое негодование отца, деньги которого он тратил необычным образом.

— Если бы ты играл в карты, — говорил ему отец на почтовой берлинской станции всего каких-нибудь три недели тому назад, — если бы ты проматывал мои деньги на искусную любовницу, я мог бы, не краснея, смотреть в глаза честным людям. Кто не знает в наше время, что подобные пороки, свойственные лучшей, золотой молодежи, придают юноше необходимый блеск? Я — чело-

век прогрессивных взглядов, и я готов не хулить такой моды. Но чтобы мой сын, наследник, транжирил деньги на всяких смутьянов, чтобы он субсидировал всякие поганые заборные листки и газетки, чтобы он увлекся кровожадной революцией! Чтобы мой сын... Этого не потерплю! Этого... Мне все известно о твоих проказах в Швейцарии. Какие-то ремесленники и отщепенцы обирали тебя и дурачили. Я сгораю от стыда! Я умираю от горя! Отцеубийца, ты убиваешь меня, ты подкладываешь порох под наши заводы!

В поисках опоры старый коммерсант схватился пухлыми проворными пальцами за золотую цепь часов, лежавшую на его огромном тугом животе. Пауль нетерпеливо ожидал конца. Мелодраматический монолог отца был ему скучен и противен.

— Кто не либерал в наше время! — продолжал отец. — Но ты, ты — подлый якобинец, ты — вампир; кровожадный, как Робеспьер, опасный, как Дантон! — Обливаясь слезами, он высморкался. — Я отправляю тебя в Англию. Это последняя ставка. В этой стране почтения к старшим, веры в бога и деловой сноровки дважды в день проклинают революцию. Молодые люди твоих лет заняты делом. Они делают деньги, они — патриоты. Ты едешь в Манчестер, в мою контору. Это богобоязненный, тихий город, а наши компаньоны добродетельны, я сказал бы — даже слишком. В деле не всякий грех — грех. Это ты сам поймешь, если выправишься.

Напутствованный такими речами, Пауль очутился на острове.

В первую же неделю по приезде он связался с чартистами и очертя голову бросился в революционную пучину. Деньги, данные молодым сынком фабриканта на пропаганду хартии, и его неутомимая преданность идее быстро прекратили недовольство кое-кого из чартистов по поводу решительного вторжения к ним чужеземного буржуа.

Харчевня «Золотого льва» была старой деревянной калекой на подпорках, помнившей, однако, походы Кромвеля и коронование Карла II. Бревенчатый потолок опирался на кривые костыли. Подслеповатые окна перекосились от дряхлости. Зимой в ней было дымно и сыро, летом — усыпляюще-душно. Но англичане чтят исторические руины. Каждая вещь в трактире была реликвией.

На стенах висели двухсотлетние тарелки с побитыми краями, очаг украшали древние кубки с гербом Стюартов. Ничей авторитет не был достаточно велик, чтобы разубедить трактирщика в том, что неугомонный гуляка Карл I пил из этих кубков незадолго до казни, что Кромвель ел с потемневшей тарелки, что королева Генриетта ночевала однажды на чердаке трактира. Легенда была единственной компенсацией за все неудобства, дряхлость и уродство «Золотого льва».

Джон, впервые попавший на заседание бирмингемского чартистского конвента, сначала оробел и застеснялся. Харчевня едва вмещала всех прибывших. Люди покорно обливались пóтом, боролись за воздух, как выброшенные на скалу рыбы. Джон подсел поближе к Паулю, на скамью под низким, тщательно занавешенным от посторонних взглядов окном и, чтобы побороть смущение, принялся громко и неестественно кашлять и сморкаться. Внезапно сгустив голос, он заговорил невпопад о погоде. Ловетт, потный и румяный, сбросивший сюртук и жилет, приподнялся, обвел стол строгим взглядом и бесцеремонно оборвал болтовню Джона:

— Помолчи покуда, старик. Захочешь говорить, подними руку. Я тебя замечу и дам слово, когда придет твое время.

Джон растерялся и замолчал на весь вечер. Он впервые был на собрании не под открытым небом, а под крышей, где сидят, а не стоят, где говорят тихо, заранее испросив разрешение. Впрочем, не до порядка, не до регламента было всем в этот вечер в трактире «Золотого льва». Как только Коллинс сообщил об издевательствах, которым подвергался в арестном доме Тейлор, сам Ловетт вскочил со стула и, потеряв самообладание, послал мэра и его наймитов к черту. Тотчас же затараторили, зашумели вслед за председателем и все собравшиеся.

— Негодяи обрили Тейлору голову! Аресты продолжаются!

— Мы не можем больше молчать!

— Наших товарищей раздели донага!

— Надо тотчас же послать делегацию в Лондон!

— Их бросили в погреб!

— Нужно призвать к действию палату общин!

— Им не дали чернил и бумаги!

— Сообщить о случившемся всем конвентам!

— Их лишили свиданий и держат впроголодь. За нами следят! Жизнь Тейлора в опасности!

— Петицию королеве!

— Далила в образе английской полиции остригла нашего Самсона. Да сила не в кудрях, — попробовал пошутить кто-то.

Ловетт овладел собой и сел. Все последовали его примеру.

— Необходимо немедленно напечатать и распространить призыв к бирмингемскому населению.

— Кто едет в столицу? Время не терпит.

К полночи резолюция конвента была уже опубликована. Как всегда, Коллинс перехитрил полицию. Ночью Джон в числе наиболее доверенных рабочих получил от Ловетта кипу листов, ведро с клеем и кисть. Нелегко было пробраться сквозь полицейские кордоны на заводские улицы, наклеивать там недозволенные воззвания. Но старик мастерски справился с поручением. При виде жандармов он притворялся маляром, усаживался на пачке бумаг и принимался громко сетовать на безработицу, на дороговизну пива и хлеба.

Лишь под утро усталый Джон, прикрепив последний лист к дому самого мэра, побрел на Зеленую улицу. Старик был доволен собой. Он превосходно справился с делом. Когда иссяк клей, он прикреплял воззвания жеваным хлебом, нанизывал на ветви, привязывал шнуром. По дороге, которую он прошел в эту ночь, на заборах, стенах, стволах деревьев, как флажки на военной карте, остались узкие бумажные листы. Поутру рабочие и ремесленники, вышедшие на работу, женщины, торопившиеся на рынок, спешившие к мессе, обступали воззвание, как уличного оратора, требующего внимания к своим словам.

«1. Конвент находит, — говорили листовки чартистов, — что бирмингемскому народу нанесено беспричинное, жестокое и несправедливое оскорбление со стороны кровожадной и антиконституционной лондонской полиции, действовавшей с согласия лиц, которые по своей служебной деятельности санкционировали народные митинги и принимали в них участие, а теперь, примкнув, в свою очередь, к общественному грабежу, хотят держать народ как в социальном, так и в политическом унижении.

2. Бирмингемский народ — лучший судья своего права собираться на Буль-Ринге или в другом месте. Его собственное сознание укажет ему, как он должен ответить на полученное оскорбление, и он лучше всего может судить о своей собственной силе и о средствах для достижения справедливости.

3. Произвольный деспотический арест доктора Тейлора, нашего уважаемого товарища, служит новым убедительным доказательством отсутствия всякой законности в Англии и лучше всего показывает, что не может быть безопасности для жизни, свободы или собственности, покуда народ не приобретет контроля над законами, которым он должен повиноваться».

На углу Зеленой улицы Джона поджидала прачка Клара.

— Ступай отсюда скорее, старина! Вечером приходила полиция. Я видела приказ о твоем аресте. В нем говорится, что ты буянил вчера на лугу. Иди прочь, чтоб не кормить блох в тюрьме.

Джон повернул назад. Уходя, он позабыл поблагодарить Клару. Отныне он не имел угла под крышей. Не беда! Не впервой! Англия — не Гренландия. Земля не линяет, не плешивеет. Во все времена года растет на острове трава. Старик направился в городской сад, но оттуда его прогнал сторож. Нестерпимо клонило Джона ко сну. Вышел за город и улегся на досках. Не дали спать гудки. Джон поплелся к мастерской. Его вызвал к себе хозяин. Было что-то злое и коварное в холодных глазах, серых, как ножи, которые хозяин перебирал на столе. В камине конторы, как всегда в этот час, дымился на подставке неизменный чайник. Джон сосредоточенно думал о том, где бы достать чего-нибудь съестного. А хозяин говорил, заглушая бульканье закипающей в чайнике воды:

— Ты стар, Джон Смит, пора подумать о загробной жизни, о роковом часе смерти. Я взял тебя из уважения к седине, из сострадания к тому, что тебя ожидало. Кто еще во всем Бирмингеме нанял бы на работу такую развалину, как ты? Это надо было помнить. Я платил тебе, как всякому другому рабочему в цвете лет, несмотря на твою дряхлость и слепоту. Вот, думал я, почтенный

человек, познавший жизнь и ее тяготы. Он сумеет обуздать безрассудных юношей, и он будет служить мне старательно и верно. Вместо этого ты стал смутьяном, на старости лет спятил с ума, бунтуешь — и где? — в моей мастерской!

— Но ведь вы, сэр, сами... — недоумевая, начал Джон.

— Еще бы! Если бы ты и твои товарищи положились на нас, помогли бы нам провести реформу, мы пошли бы навстречу вашим нуждам, но ты и тебе подобные вздумали нарушать общественный порядок ради себя и попали впросак. Впрочем, здесь не Буль-Ринг, чтобы трепать языками. Вот расчет, и убирайся подобру-поздорову.

Джон пошел к двери.

— Будь доволен, что я не передал тебя полиции. Есть за что! — кричал ему вслед хозяин.

И снова Джон очутился на улице. Без работы. Он пошел к ратуше, почти не думая о случившемся, поглощенный тупым нытьем голодного желудка. Решил зайти в гостиницу к Паулю. Но швейцар вытолкал старика на тротуар.

— Убирайся, нищий, бродяга! Какой порядочный человек в такой час шляется без дела?!

Снова улица... Мимо Джона бегут два босых мальчугана, размахивая кипой только что вышедших, еще влажных газет.

— Коллинс арестован! Коллинс и Ловетт арестованы! Они отказываются назвать сообщников! — зазывающе кричат мальчишки.

Джон забывает о еде и, спотыкаясь, нагоняет продавцов газет.

В тот же день Бирмингем был объявлен на военном положении. В ответ на воззвание конвента мэр вывесил приказ войскам стрелять в рабочих, если рабочие осмелятся снова собраться на Буль-Ринге. На заводах и окраинах шныряла полиция. Арестовывали без разбору всех подозреваемых в чартизме. Патрули разъезжали по городу и разгоняли сборища. Но ничто не помогало. После разгона в одном месте рабочие собирались в другом. На улице Св. Мартина начался многолюдный стихийный митинг. Джон был тут. Он призывал толпу вооружаться. Его поддержали.

Вилли Бринтер сказал:

— Местные власти изменили конституции, пытаясь рассеять нас, мирно собравшихся обсудить причины наших тяжких страданий. Будем уповать на бога и, опираясь на наши права, ответим на насилие насилием.

Полиция помешала оратору. Лошади опять врезались в толпу. Торопливо запирались ворота и подъезды домов, лишая избиваемых возможности искать там спасения. Рабочие снова были в ловушке.

Внезапно перед толпой появился Стефенс. Он вскочил на шаткий мусорный ящик и, раскачиваясь и размахивая руками, как крыльями птица, закричал пронзительно:

— Мщение! Жгите, топчите своих поработителей! Мщение! Пусть огонь сожрет добро тиранов! Мстите! Во что превращена наша страна, кем стали мы? Месть! Огонь! В ад фабрикантов!

— Вперед! — отвечали рабочие.

— За мной! Бейте фонари! Зажигайте факелы!

— Господи, помоги!

— Тушите газовые светильники, берите огонь!

— Вперед!

— Месть!

— За хартию!

— За Тейлора!

— За наших братьев!

Борцы за хартию оттеснили полицию и бросились к ратуше. Факелами они поджигали дома ненавистных лавочников. Пламя свирепо пожирало город.

Отчаяние рабочих, казалось, не знало предела. Они врывались, ломая витрины и двери, в магазины, хватали тюки товаров, мебели и тащили их на Буль-Ринг — жечь.

Со времен расправы с ведьмами и колдуньями, со времен чумы Бирмингем не видел более хищных и могучих костров на общинном лугу. Бурое зарево развевалось в небе беспощадным флагом революции. Тщетно пытались звонкие пожарные команды пробраться к пламени. Их гнали прочь. Огонь свирепел, ширился, как буря. Джон принес на костер и свое приношение — тушу барана. Сколько раз он мечтал о куске мяса! Но сейчас не физический голод, а голод гнева, заслуженной мести охватил его.

— На, жри! — беззвучно бормотал он, бросая огню мясо.

Туша зашипела, охваченная пламенем, и запах свежего поджариваемого мяса разнесся вместе с дымом. Безотчетные слезы выступили на глазах старика. Сколько раз он мечтал об этом запахе! Как давно он ничего не ел, как устал!

Его оттеснили.

Ковры, нераспечатанные ящики колониальных товаров, столы, детские колыбельки, обшитые атласом, даже один барский удобный дубовый гроб были преданы сожжению.

— Смерть тиранам!

Шустрое пламя расползалось по траве. Не прошло и часа, а земля Буль-Ринга казалась вытоптанной, точно стада прошли по ней. Костер становился все величественнее, все багровее. Столбы дыма рвались выше и плыли тучами по небу. Еще громче звучал марш:

Звучит над землею свободы труба,
Весь мир содрогается вдруг.
Развернуто знамя — то знамя борьбы,
Толпятся народы вокруг.

Мэр, фабриканты, торговцы бежали из города так поспешно, точно средневековый мор гнался за ними по пятам. Только военное командование и войска оставались и выжидали своего часа. Когда погас последний костер Буль-Ринга, смолкли набаты, догорели подожженные дома и зарево на небе растворилось в лучах зари, Пауль взял за руку обессилевшего Джона и увел его с общинного луга. Закутал покорного старика в свой плащ и, нахлобучив ему цилиндр, посадил в свою коляску рядом с собой и вывез из города.

— Куда ты меня? — спросил вяло Джон, когда Бирмингем остался далеко позади.

— Не пройдет и часа, — ответил студент, — как начнутся аресты. Ты будешь осужден как поджигатель, бунтовщик, грабитель. Поэтому сиди смирно и надейся на меня, старый воин. В Манчестере я пристрою тебя куда-нибудь. Авось улизнешь от английской юстиции. Эта слепая дама становится весьма зрячей, когда имеет дело с рабочими. Она блудлива и сговорчива. Если надо, охотно засвидетельствует и то, чего не было.

Снова после долгих лет отсутствия Джон попал в Манчестер. Все было здесь таким же, как в дни, когда кры-

тый фургон более полустолетия тому назад привез партию маленьких невольников. По-прежнему исхудалыми, дурно одетыми, бесконечно обездоленными выглядели встречавшиеся на улице рабочие. По-прежнему у контор найма тянулись длинной серой лентой дети и взрослые и у церквей клянчили милостыню старухи, не нужные фабрикам.

Старик приуныл. Пятьдесят лет прошли стороной. Выросли дома, замостились улицы, усовершенствовались вещи за стеклами витрин, расплодились многообразные машины, а люди — его братья и сестры — остались такими же бесправными и несчастными. Жизнь их — все та же каторга.

— Как сэру будет угодно, — обратился, упрямо выпятив губу, старик к Паулю, — а только я до конца жизни буду бороться за всеобщее избирательное право.

— К сожалению, ключ счастья не в этом замке, старина. Прошу не величать меня сэром, милорд, — добавил студент и досадливо и шутливо.

— Стар менять привычки. Сэр не из нашего сословия.

Наутро бывший ткач и ножовщик пошел по адресу, старательно выведенному на конверте рекомендательного письма рукой Пауля.

Контора бумагопрядильного дела «Эрмен и Энгельс».

«Эрмен и Энгельс», улица Королевы, направо от моста», — повторял про себя Джон.

Он прижимал упругий добротный конвертик к старенькому сюртучку, чтоб не промок. Моросил едва приметный дождь, липкий, как слюна. Ланкаширское небо бурой черепичной крышей покрывало город. Туман жег горло Джона, прокрадывался под сбившуюся ткань его одежды, шнырял, мокрый, щекочущий, по старческому телу, вызывая зуд и озноб. На мосту старик остановился, отхаркнулся, плюнул в воду, унылую, грязную, как небо, как мостовые и непросыхающие дома.

Внезапно Джон усомнился, удобно ли служить ему, прирожденному англичанину, иностранцам? Он вспомнил всех господ, на которых работал. Страйс грозил, что на места белых рабочих выпишет негров из Африки:

— Они неприхотливы, как мыши.

Один за другим перед стариком проходили фабриканты, управляющие конторами, надсмотрщики. Никогда они не спрашивали о национальности рабочего.

— Черта взяли бы на службу... Машина — дело рук сатаны.

Джон с сердцем сплюнул и долго, пытливо следил за белым кружевным комком слюны, который уносила вода.

«Вода засосет. А меня куда потянет? Засиделся ты на свете, старый, облезлый петух. Твое место было на виселице вместе с Меллором».

Решительно старик был не в духе.

В конторе «Эрмен и Энгельс» было тепло, чисто, тихо. Бородатый и рябой сторож проводил Джона к молодому невзрачному клерку.

Джон подумал, что сторож похож на него самого, а клерк, веснушчатый и красноглазый, — на Вилли Бринтера. Эти наблюдения придали рабочему храбрости. Он подмигнул рябому старику, а клерку заявил, что письмо отдаст только лично господину Энгельсу. Тот не стал спорить, почесал пером за оттопыренным ухом и, пососав палец, погрузил глаза-веснушки в толстую, мрачную, как реестр смертей, книгу.

— Если вы насчет работы, то без того, чтоб не поговорить, господин Энгельс не наймет и не откажет, — авторитетно пояснил сторож и повернулся к двери.

Спустя час непроницаемый клерк оторвался от книги, снова почесал пером голову, встал, оправил углы фрака, зигзагообразно пересек комнату, точно взбираясь на гору. У дверей в хозяйский кабинет он поклонился, отставив ногу, глотнув воздуха, и — весь угодливость и послушание — вошел. Джон следил за ним и даже попятился перед изогнутым, круглым его задом.

Очень скоро клерк вернулся и с надменным равнодушием приказал старику войти.

Господин Энгельс-отец поразил Джона всем — моложавостью, строгим, но не чопорным взглядом, внимательностью, но не добродушием, простотой, но не доступностью.

У него были необыкновенно маленькие руки. Один ничем не украшенный золотой обручик желтел на мизинце. Джон недоверчиво поглядывал на барские, холеные руки. «Этими — только Библию держать да вот деньги», — заключил он.

Покуда господин Энгельс читал письмо Пауля и просматривал густо исписанную рабочую книжку Джона, рабочий мог исподволь наблюдать за ним. Не только руки, но и лицо богатого коммерсанта были необычны.

Темная, откинутая на затылок шевелюра превращалась на висках в густые вьющиеся бакенбарды, образующие, в свою очередь, узкую бороду под подбородком. Немускулистое, продолговатое лицо с усталой, чуть дряблой кожей казалось окутанным шелковистой волосяной шалью.

— Итак, — сказал Энгельс, — сын моего друга рекомендует тебя как трудолюбивого и дельного рабочего. Надеюсь, ты веруешь, как надлежит доброму христианину. Труд всегда наилучшее прославление нашего господа и угодное ему дело.

Джон опешил. Уж не пастором ли был господин Энгельс? Он никогда, впрочем, не слыхал, чтобы фабриканты были также и пасторами. Может быть, у немцев. Но разговор о боге не понравился Джону. О боге любили говорить Страйс и владелец мастерской в Бирмингеме.

— Пьешь?

Этот вопрос был еще более неожиданным.

— Бывает. — Старик не решился соврать.

— Пустое препровождение времени. Жизнь не так долга, чтоб ее пропивать. От алкоголя душа наша становится неряшливой и алчной свиньей. Да и бесчестно распоряжаться так с тем, что дано нам богом. Душа принадлежит богу.

— Как сэру будет угодно, — вяло согласился старик.

— Кем был твой отец?

— Крестьянином.

— Отлично! Мои предки были тоже крестьянами. И бедствовали.

— Да, видно, земля ныне кормит и греет только мертвых, — осмелился вставить фразу Джон.

Он понемногу переставал удивляться, и ему начинал даже нравиться необычный разговор господина Энгельса.

— Мой прадед таскал на спине корзину и не стыдился торговать на улицах. И что бы ты думал! Начав жизнь коробейником, он умер одним из богатейших фабрикантов кружев и лент Бармена. На огромной собственной белильне белилась своя пряжа. Каждый может разбогатеть. Это в воле человека. И ты, например...

Джон развел руками:

— Зачем мне богатство?

Мысль о том, что он мог бы есть каждый день суп, иметь постоянный кров, показалась ему смешной. Он засмеялся.

Энгельс чуть нахмурился.

— Человек ткет свою судьбу. Милость божья безгранична, но неподкупна. Нужно уметь ее заслужить.

Господин Энгельс сказал еще несколько слов о неведомом Джону Кальвине, посоветовал познакомиться с его учением, осудил чартистов и отпустил старика, приняв его, однако, вторым сторожем своей конторы.

## *Глава четвертая*

## ИСКАНИЯ

### 1

По-разному встречаешь родные места. Чаще — с веселой надеждой и нетерпением, смешанным с беспокойством неизвестности, и всегда с учащенно бьющимся сердцем.

Карл приближался к Триру подавленный, печальный. Не с этим тягостным чувством предполагал он навестить город, оставленный более полутора лет тому назад, город, где жили и ждали его Женни и отец, два наиболее любимых им на земле существа.

Какая тревога в каждой строке короткой, зачитанной до пятен записки матери! Всегда многословная, Генриетта Маркс на этот раз изменила своим правилам. Отец уже более двух месяцев не покидает постели. Кашель уменьшился, но какой-то иной недуг сводит его в могилу. Он худ и раздражителен. Он очень плох и медленно гибнет.

И перед Карлом встает во всей неотвратимости и жуткой своей сущности смерть.

На почтовой станции не встретит сына, суетясь от радости и волнения, Генрих Маркс, в первую ночь после долгой разлуки не услышит Карл шороха бархатных домашних туфель отца, в шлафроке и сбившемся на затылок колпаке пробирающегося в его комнату, чтоб говорить до пробуждения петухов «по душам» обо всем самом важном для обоих.

Эти задушевные ночные беседы — лучшие в отроческой жизни Карла.

На пороге дома сына встретила мать в траурном чепце и платье. Почему на ней эти знаки потери? Разве

отец уже мертв?.. Карл содрогнулся. Нет, то траур по маленькому Эдуарду, умершему зимой, в его отсутствие. Смерть прочно обосновалась в семье юстиции советника.

— О дитя мое, — всхлипывает Генриетта,— какие испытания ждут нас, если богу угодно будет лишить нас твоего отца!

Несмотря на охватившее его при виде постаревшей матери чувство горя и жалости, Карл вспыхнул. «Как неуместно грубы ее слова!» — думает он, сжимаясь.

С уст едва не срывается злая насмешка, но, сдержав себя, он холодно целует утомленно обвисшую щеку Генриетты и молча проходит к отцу.

Генрих Маркс не встает более. Он устрашающе изнурен. Желтизна его щек — желтизна разложения и смерти. Глаза его потускнели, и пересохшие губы лежат на лице вялым пепельным листом.

Женни сидит в уголке дивана. Радость при виде входящего юноши, смешанная с беспокойством и состраданием, вызывает слезы на ее огромных прекрасных глазах.

Карл бросается к невесте, прижимается губами, лбом, щекой к ее рукам, но голос отца, еле слышимый и прозвучавший как бы издалека, прерывает ласку.

В комнате полутемно и душно. Карлу в этом сумраке, пропахшем лекарствами, испарениями тела, непроветриваемыми перинами, становится не по себе. Он опускается на колени у подушек отца и, с трудом удерживая крик испуга при виде его лица, начинает что-то поспешно рассказывать о дорожных впечатлениях и Берлине.

Отец слушает равнодушно, и это так не похоже на него. Когда Карл смолкает, больной начинает говорить о своей болезни и осуждает врачей:

— Меня не лечат. Эти жалкие эскулапы не в состоянии вернуть мне силы.

Но едва Генриетта сообщает о прибытии доктора, одного из давнишних друзей юстиции советника, Генрих оживляется и нетерпеливо требует, чтобы того впустили. Больной надеется, он хочет жить. Однако все жизненные ресурсы исчерпаны, и тело, как истлевший ствол, разъедено болезнью.

На лесенке, подле Женни и Софи, Карл дожидается конца врачебной консультации, хотя приговор давно вынесен и ждать, кроме смерти, нечего.

— Ужасна,— говорит Женни,— обреченность тогда, когда мы о ней знаем. Каждый из нас может умереть на протяжении ближайших же минут и часов. Все мы — слепые перед грядущим. Но бедный отец уже более двух месяцев как приговорен. И для нас его участь тяжела, как участь смертника, которому нельзя устроить побега, которого нельзя отвоевать у палачей или хоть вымолить ему отсрочку. Более всего на свете я не хотела бы умереть от неизлечимой болезни, от рака, например. Мучительно ожидать, покорно глядя в лицо судьбе, своего смертного часа! Пусть он застигнет нас врасплох.

Врач, выходя, осторожно прикрывает за собой дверь. Спрашивать его не о чем. Выражение его лица полно той особой торжественности, которая, как цилиндр, неизбежна на похоронах.

— Наука бессильна. Мой бедный друг не проживет более недели. Все в руках божьих,— шепчет он обступившей его семье больного.

Ни слова не говоря, Карл поднимается во второй этаж, открывает дверь в комнату маленького Эдуарда. Кровать унесена. Рядом, в спальне матери, горит ночник. Карл тяжело опускается на диван и закрывает руками лицо. Первые слезы наиболее мучительны. Он не плакал уже много лет.

Женни, тихонько прокравшаяся за ним, садится рядом и осторожно гладит его непокорные, тугие волосы.

Карл старается скрыть слезы. Он стесняется проявления слабости, так ему несвойственной. Не сочтет ли Женни его бесхарактерным, не умеющим мужественно встретить испытания?

— Отец,— говорит он, отводя глаза,— всегда считал меня бессердечным и недостаточно нежным. Бедняга не знал, как я его любил! — Карл не замечает того, что говорит об отце так, точно тот уже не существует. — Смерть родителей, как и всякую смерть, мы воспринимаем эгоистически. Рушатся барьеры, заслоны, оголяется поле жизни. На очереди уже нет старшего поколения. Мы как бы становимся старшими и первыми на дороге к небытию. К тому же наше горе — особое горе. Мы не верим в загробный мир, в грядущее свидание и слияние душ. Мы знаем, что «там» нет ничего, а с этим трудно примириться.

Женни не возражает. Они долго сидят рядом, взявшись за руки, в полутемной комнате, странно, наперекор всему, счастливые, переполненные любовью и ожиданием чуда, которым обернется их будущее. Смерть... о ней не думают. Так проходят минуты, часы.

Внезапное появление Софи прерывает эту поглощенность чувством.

— Отец... в агонии... — говорит она хрипло.

В доме начинается та особенная, ни с чем не сравнимая суета, которая встречает смерть. Распахиваются двери, толпятся люди, свои и чужие.

Комната умирающего более никем не охраняется. Стоны и рыданья становятся громче...

Тихо, ничего не сознавая, умирает Генрих Маркс.

Утром по Триру разносится весть о смерти юстиции советника. Немалое событие для маленького городка, для завсегдатаев «Казино».

На рассвете в саду на Брюккенгассе зацвел куст белой махровой сирени. Май выдался особенно пышный и теплый в этом году.

Софи и Женни, обе с усталыми лицами, срезают первые цветущие ветки и несут к изголовью усопшего.

Двери дома на Брюккенгассе раскрыты настежь. Жизнь врывается с улицы, стараясь разогнать призраки смерти.

Лепестки сирени быстро сморщиваются и мертвеют подле нового гроба.

Женни говорит, глядя на уже дряблые ветки:

— Как меняется, однако, с годами связь представлений! Отныне белая сирень будет напоминать мне не сад, располагающий к грезам и нежности, а эту комнату.

Софи вздрагивает и громко рыдает.

Вечером в «Казино» не слышно музыки. Шахматисты и игроки на бильярде в знак траура отказались от сражений. Эммхен реже обыкновенного хлопает дверьми, и поднос ее потерял обычный вызывающий вид. Она несет его на уровне чепца, рядом с подбородком. Рюмки дрожат.

Господин Шлейг приходит один. Усы его печально обвисли.

— Здравствуйте, господин доктор Шлейг, здравствуйте, господин юстиции советник... — начинает обычное

приветствие Эммхен, и от ее обмолвки, такой понятной, всем становится еще более грустно.

Подробно и тщательно друзья покойного обсуждают будущее его вдовы, незначительность оставленного наследства, трудную участь бесприданниц-дочерей, из которых ни одна не нашла мужа.

— В наше время,— говорит Шлейг, протяжно вздыхая и думая о двенадцати своих дочерях,— девушке нелегко пристроиться. Сначала прицениваются к папенькиному кошельку, а потом уже осматривают невесту. Порочной горбунье с приданым легче подцепить мужа, чем добродетельной красавице, если она не может дать ничего, кроме себя самой.

— Бедный Генрих! Судьба дочерей так удручала его в последние годы. Нелегко в наше время быть отцом семейства,— соглашается старик Шмальгаузен.

— Не меньше печали, чем судьба дочерей, причиняли ему сыновья. Герман худосочен и вряд ли долговечен. Эдуард умер, ну, а Карл... Нет ничего более тревожного в нашу эпоху, чем иметь одаренных детей. Я всегда с опаской смотрел на этого мальчугана. Он плохо кончит; слишком уж много с детства понимал и всегда всему перечил. Из таких получаются революционеры,— вмешался в беседу разжиревший Хамахер. Недавно женившись, он сбрил тевтонский чуб, выставил свою кандидатуру в церковные старосты и всячески подчеркивал согражданам твердое намерение остепениться и покончить с юношескими заблуждениями.

— Нет,— сурово пробасил из угла Монтиньи,— нет, Хамахер, вы правы лишь в том, что из юношей, подобных Карлу Марксу, редко получается среднее. Он или далеко пойдет по стезе знания, либо кончит кичливой болтовней и отрицанием всего святого. Я не желал бы ему ни того, ни другого. Пусть будет борцом за правду и справедливость. Профессоров и всезнаек,— выразительный взгляд в сторону спесивого учителя,— без него тьма, и не меньше развелось в Германии разочарованных,— жест в сторону господина Шлейга.

— Вы несносны, Монтиньи, и до старости сохраняете свежесть и пыл восемнадцатилетнего энтузиаста, что говорит о застое ума и духа,— жуя вставную челюсть, изрек Виттенбах. — Я говорю вам, что Генрих Маркс, сентиментальнейшее сердце, умер вовремя. Его сынок не отвечает

отцовскому идеалу, а это был бы наибольший удар для нашего друга. Я рад, что избежал сетей Гименея и того, что называется радостями отцовства... В Карле притаился демон критики и мятежей,— продолжал он. — Я заметил это давно, когда учил его истории родины и любви к великому поэту. Достаточно посмотреть на его почерк — тысяча чертей, превращенных в каракули,— достаточно вникнуть в его суждения, чтобы не оставалось сомнения в тех опасностях, навстречу которым он бросается. Едва оперившись, он смел критиковать жирондистов и задавать мне каверзные вопросы. Он решился выдвинуть идею, которая в корне противоречит Иеремии Бентаму. На это способны не многие. И если он не кончит, вопреки предсказанию Монтиньи, как добрый прусский чиновник или ученый, то кончит плохо. Я могу лишь порадоваться, что юстиции советник Маркс не увидит, во что обратилось его божество. Он умер, полный иллюзий... — Старец помолчал. — Увы, вот уже несколько столетий, как некогда славный Трир не дает миру ни одного великого человека. Да и вообще наша эпоха — эпоха пигмеев. Где, спрашиваю я вас, современный Фридрих, где Наполеоны, Гете? Печальна картина упадка, и, по совести говоря, друзья мои, я умру, не сокрушаясь. О бедный Трир! А вот, бывало...

Прошло несколько дней.

Генриха Маркса похоронили на кладбище под горой. Двери дома на Брюккенгассе снова плотно прикрылись.

Генриетта приискивала новую, поменьше, квартиру, вела долгие переговоры с нотариусом, ездила на свои виноградники. Она суетилась более всегдашнего, домашние дела теперь полностью перешли к ней.

Карл, собиравшийся обратно в Берлин, старался не расставаться со своей невестой. Их помолвку больше не держали в секрете, и всевидящие кумушки принуждены были отныне молча смотреть в щели жалюзи на неразлучных влюбленных. Возможные толки завистниц и злюк предотвращала Софи, сопутствовавшая подруге и брату в их прогулках за город.

Май близился к концу. В маленьком палисаднике на Симеонштрассе какой-то заезжий швейцарец открыл семейную кондитерскую, куда трирские дамы, оценив строгие нравы, утвердившиеся там, решались приводить

дочерей. Превосходное безе, слоеные «наполеоны» и просто песочники со взбитыми сливками одинаково привлекали и Женни и Софи. Карл охотно пил здесь с ними свой послеобеденный кофе и курил трубку.

Очень скоро он понял истинное назначение кондитерской и вместе с Женни забавлялся своими наблюдениями. Экономные матери быстро превратили палисадник на Симеонштрассе в местный рынок невест, и плата за пирожное и кофе со сливками была лишь замаскированной оплатой места смотрин и торга. Молодые и старые женихи, зазванные свахами и сватами, могли здесь осмотреть предлагаемых невест и обсудить выгоды брака. Это было смешное, тягостное и уродливое зрелище.

Из глубины садика Карл и Женни смотрели на перешептывающихся, жеманящихся людей. Глаза Карла щурились, как всегда, когда он напряженно думал или удивлялся, и под влиянием тех же чувств широко открывались и без того большие глаза Женни.

— Какой отвратительный мирок: зверинец! — говорила она.

— Трирские купчики торгуют дочерьми не хуже, чем свиньями и виноградом.

— Бедные девушки!

— Они этого не сознают.

— Но отвратительнее всех — свахи. Посмотри на эту толстую ведьму. Впрочем, ведьмы обязательно худы?

— Очевидно, не обязательно: эта жирная.

Оба смеются. Карл нетерпеливо тянет к себе зонтик невесты и, отгородившись им, целует ее, несмотря на возражения. Вечером он возвращается с Римской улицы.

Ведь вот, казалось, обо всем переговорено — нет, всегда возвращается Карл с одним и тем же чувством неудовлетворенности, ощущением того, что чего-то самого важного для обоих даже и не коснулись. Как всегда, Женни оказалась еще более красива, умна, чем он доселе думал. Она была для него неисчерпаема, как сама любовь.

Но то, что Женни сказала ему сегодня, поставило его в тупик. «Прочитав твое письмо в ноябре, я решила засесть за Гегеля. Я хочу знать то, что знаешь ты, жить твоими интересами, понимать пути твоей мысли». Он был крайне удивлен и ничего не ответил. Зачем ей Гегель? Новая, не совсем понятная Женни была перед ним.

Нужно ли девушке, его будущей жене, знать философию? Карл не любил ученых зазнаек в юбках: он изредка встречал таких в Берлине у Бауэра. Но Женни! Ее ум был по-мужски глубок и серьезен, ее облик и поведение так женственны. Чудесное сочетание! Знание для нее — не орудие борьбы с ним. Это показалось Карлу восхитительным. И на все лады он повторял дорогое имя: Женни, Женнихен, Женхен...

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, к себе, Карл услыхал голоса в комнате матери. В приоткрытую дверь он увидел обтянутую шелком тучную, выпуклую спину.

— Что же вы даете за ней?

— Наши дела так плохи, но все-таки я дам ей белье, наконец обстановку двух комнат.

— Маловато, госпожа Маркс. Доктора или юриста этим не соблазнишь. В наше время они хотят денег, и только денег.

Это была сваха.

— Вон отсюда! — закричал юноша в одном из приступов неудержимой вспыльчивости, которая еще в детстве пугала Генриетту.

— Кого ты продаешь? — крикнул он матери, когда сваха в испуге ретировалась. Он едва совладал с собой. Нижняя губа его все еще дрожала.

Растерявшаяся мать ответила ему невнятно:

— Софи или хотя бы другую. О боже, ведь наш дом полон старых дев...

Со времени жестокой размолвки с матерью Карл старался поменьше бывать дома. День отъезда приближался. Надвигалась новая длительная разлука с Женни. Оба страдали от ее приближения.

В доме Вестфаленов Карл находил отныне то, что навсегда со смертью отца потерял на Брюккенгассе.

С той поры как родители Женни согласились на брак дочери, Марксу открылся доступ в комнаты невесты. В несколько прыжков он взбирался на мезонин и, бережно постучав в крашеную дверь, проходил узким коридорчиком в маленький кабинетик девушки. Окна комнаты выходили в сад. Палевая кисея, ниспадавшая вдоль рам, подхваченная атласными лентами по обеим сторонам подоконника, золотила светлые доски пола. На небольшом инкрустированном секретере лежали книги

между старыми саксонскими вазами с амурами и безделушками из камня, дерева, фарфора — подарками, привезенными часто отлучавшимся из дома Людвигом Вестфаленом. На всегда открытом рояле лежали ноты, начатое плетение, осыпались цветы.

С густо завешанных стен смотрели из овальных и круглых рам спесивые красавицы, красавцы, одетые и причесанные по моде, по крайней мере, двух минувших столетий. Это были отважные знатные предки: бабушки, деды, двоюродные тетки и дяди Женни. Всех их она знала по рассказам, передаваемым из рода в род, и всех их представила как-то Карлу.

— Это,— рассказывала девушка,— Арчибальд Аргайль-младший. Он провел мрачное детство в одном из поместий отца в шотландской глуши. Его отец был соратником Кромвеля и мечтал воспитать в сыне дух полководца пуританских армий. Но революция погибла. Да и юноша мало был пригоден для осуществления честолюбивых желаний отца. Посмотри на его рот, на мягкий овал... Художник угадал в нем сластолюбца и безвольного аристократа. Карл Второй подписал старшему Аргайлю смертный приговор и конфисковал его земли. Арчибальд, младший, остался сиротой. Пресыщенный молитвами и шотландской скукой, он отправился в Лондон, где с облегчением сменил пуританское черное платье на вышитый пестрый камзол, в который рядилась челядь восстановленного на троне Стюарта. Он поддался на заигрывания двора и, прельстившись богатством, которое обещал вернуть ему король, присягнул на верность английской короне. Двадцать лет после своего предательства маркиз Аргайль жил в праздности в английской столице. Он славился мотовством, пьянством, дуэлями и многочисленными приключениями в далеких путешествиях.

— Чем же кончил твой предок? — заинтересовавшись, спросил Карл.

— Он кончил грустно, как и следовало ожидать... А казалось, баловню двора была обеспечена спокойная смерть в кругу семьи, на ложе под парчовым балдахином. Однако в тысяча шестьсот восемьдесят первом году Аргайль навлек на себя немилость герцога Йоркского. Его оклеветали, суд приговорил его к смерти.

— Отважный авантюрист!

— Друзья, однако, помогли ему бежать. С той поры

беспечный характер и поведение Арчибальда переменились. Он стал скрытен и религиозен, остриг кудри, облачился в темное, почти монашеское платье, на поясе которого висела все же шпага. Когда Иаков Второй разрешил ему вернуться, Аргайль, миновав Лондон, высадился в Эдинбурге, где скоро возглавил антиправительственный заговор. Шотландские мятежники признали в сыне воскресшего отца, имя которого все еще служило символом восстаний. Во время войны с Англией Аргайль слыл доблестным полководцем, но победить могущественного соседа Шотландия не могла. Арчибальд был взят в плен и казнен в тысяча шестьсот восемьдесят пятом году на Эдинбургской площади.

Женни кончает свой рассказ и оставляет Карла одного. В полуоткрытую дверь он видит ее спаленку, подзеркальник, уставленный флакончиками и рукодельными корзиночками, окутанную кисеей полога узкую девичью кровать, коврик перед ней и на нем сонную злую недотрогу кошку, любимицу семьи. В спаленку Карлу входить нельзя. Женни, застенчиво улыбаясь, прикрывает дверь. Юноша возвращается к миниатюрам и портретам, каждый из которых почти легенда.

Род Вестфаленов стар и ветвист. Какая красавица, однако, Анна Кемпбель-оф-Орчард! Ее муж, восставший против католицизма, погиб как еретик на костре, едва достигнув тридцати лет.

Но первенство в этом соревновании красоты, давно обратившейся в прах, принадлежит матери Людвига Вестфалена — Женни Вишард-оф-Питтароо.

Карлу приятно найти сходство между двумя Женни, внучкой и бабушкой. Та же редкая статность, тот же нежный стан и овал. Только волосы шотландки Питтароо светлее. Они цвета прозрачнейшего янтаря. Тут же подле своей жены и Христиан Генрих Филипп Вестфаль, сын брауншвейгского почтмейстера, дед невесты Карла. Историю его жизни в мельчайших подробностях рассказывала Женни. И, всматриваясь в приятное лицо этого настойчивого и преуспевшего человека, Карл вспоминает услышанное.

Вестфаль был молод, отважен, считал, что жизнь состоит из ряда мишеней, которые следует пробивать без промаха. В лагере своего герцога он увидел шотландскую красавицу Женни и признал в ней главную цель своей

жизни. Он не знал поражений. Молодая аристократка вскоре заметила и полюбила его. Тайно помолвленные, они расстались, обменявшись клятвами. Она обещала ждать, он — смести все препятствия. Сын скромного почтмейстера покуда не был ровней дочери барона!

Исключительные способности Филиппа Вестфаля, мужество и знание военного дела обеспечили ему быстрое возвышение. Герцог Брауншвейгский, руководивший операциями на западной границе Германии в войне с маршалами Людовика XV, назначил его своим тайным секретарем и военным советником.

По мнению одного из современников, стратегические проекты Вестфаля не уступали — по дальновидности и учету действий противника — планам лучших стратегов его времени.

Он добился того, что стал во главе генерального штаба своего герцога и так умело повел военную кампанию против французов, что английский король предполагал назначить его генерал-адъютантом армии. Вестфаль отказался. Он лишь согласился ради любимой девушки на пожалованное ему дворянство.

В 1764 году почтмейстерский сын за неоценимые услуги Брауншвейгскому герцогству получил баронский титул и стал называться Вестфален.

Год спустя он женился на Женни Питтароо.

Женни Питтароо-Вестфален, пережившая мужа, завещала детям фамильные драгоценности и серебро с гербом Аргайлей, подробно выписанное родословное древо и повесть о жизни отважных предков.

Тяжелые шаги и густой голос рассеивают образы прошлого. В комнату дочери приходит Людвиг Вестфален.

С обычной полутоварищеской, полуотцовской фамильярностью старик кладет руку на плечо юноши, приветствуя его Гомеровым стихом.

Советник прусского правительства все еще, несмотря на свои годы, — олицетворенные жизнерадостность, здоровье, благожелательность. Карл вспоминает об отце, и на мгновение грусть пеплом ложится на сердце.

— Вот изволь посоветовать, что делать с заскорузлыми, отглаженными, как королевская манжета, идеями моего старшего сына в отношении образования и равенства. Мы едва не дошли до того, чтоб решить спор шпагой. С тех пор как Фердинанд обосновался в Трире, мы

непрерывно спорим, и, как ни странно, берлинское начальство всегда согласно с ним, а не со мною. Он уже опередил меня по службе, а ведь его точка зрения на все общественные вопросы годится разве что для казармы... Не правда ли, Карл, мы не можем убить безнаказанно дух свободолюбия в Германии? Без этого нация становится калекой. А мы и так отстали от всей Европы и уподобились дикарям во всем, кроме разве только чванства. Эта черта цивилизованных людей в высокой степени присуща немцам.

Людвиг говорил, выгружая из большого пакета пачку английских газет, только что доставленных с почты.

Вслед за отцом в комнату вошел и Фердинанд. Он подчеркнуто-холодно, почти враждебно поздоровался с Марксом и, вынув кисет с вышитым гербом, принялся осторожно набивать эбеновую трубку с золотой резьбой по краям.

— Ты недоучитываешь, милый отец, опасностей, которые надвигаются на Германию, — продолжал он начатый ранее разговор. — Племянник Наполеона стоит во главе нового заговора, и одна неудачная попытка в Страсбурге вовсе не означает того, что он не низвергнет Июльской монархии.

— Тогда Пруссия снова увидит перед собой на границах хищных разбойников, — передразнивая сына, вставил старый Вестфален.

— Безусловно. И в такое время либеральная болтовня послужит на пользу врагам. Значит, она должна быть запрещена, уничтожена, как измена нашему королю и знаменам.

— Вот вам и логика шпицрутена! — вознегодовал Людвиг.

«Этот узколобый служака далеко пойдет, — подумал Карл, разделяя негодование старого Вестфалена. — Состояние финансов и победа над Абд-эль-Кадиром в Африке укрепили Луи-Филиппа, и прусская армия может спокойно маршировать в лагерях», — продолжал он свои мысли, но сказал только:

— Войны как будто все-таки не видно.

Потом, не удостоив больше ни единым словом и взглядом развалившегося в качалке тайного советника Фердинанда, Карл погрузился в увлекательную беседу, раздвинувшую на многие тысячи миль трирские масштабы.

Людвиг Вестфален жадно принялся разбирать ворох английских газет. Он был в курсе великобританских событий не менее, чем немецких и французских, и любил поговорить о них.

— Как всегда, дела на земле полны всяческого интереса. Нужно уметь увидеть их, а не блуждать, натыкаясь на плетень своего заборчика, — говорил старик, шагая с газетами в руках по маленькой комнате и сердито поглядывая на сына.

Крашеный пол скрипел под большими уверенными шагами. Покачивались тонкие этажерки, и шевелилась кисея на окнах.

Карл и Вестфален обозревали Европу. Дебаты французской палаты и английского парламента не были новы. Одилон-Барро, Тьер и Гизо требовали отзыва из Мексики и устья Ла-Платы оккупационных войск, посланных под предлогом защиты интересов французских граждан.

— Это сильные противники правительства, — шутил Вестфален, — тем более неутомимые, что являются не столько поборниками свободы, сколько искателями должностей. — Он снова открыл газету. — В Англии крепнет недовольство рабочих... Плохие урожаи вызывают движение против хлебных пошлин и стремление к свободной торговле... Средоточием мятежей и беспокойства остается Манчестер... — говорил он отрывисто. — Уже год, как воцарилась на престоле Виктория, — вспомнил Людвиг, открывая пухлый «Таймс» с портретом королевы в виде приложения. — Пока она не слишком мешает вигам.

В комнату вошла Женни. Она несла томик Шекспира и в маленькой корзинке, перевитой ленточкой, свежую клубнику.

Фердинанд демонстративно встал и, важно раскланявшись, безукоризненно прямой, вышел, насмешливо произнеся с порога:

— Good-bye, family! Предвижу буколическое представление.

Никто не обернулся.

— Я хотел бы заменить тебе отца. Лучшего сына мне не надо, — сказал Людвиг фон Вестфален, положив обе мягкие, добрые руки на плечи Карла.

Юноша ничего не ответил. Слова были тут лишними.

В саду, в беседке, обвитой виноградными распускающимися листьями, Маркс сказал Женни торопливо, гло-

тая слова и чуть шепелявя, что доказывало, как сильно он взволнован:

— Свои и чужие. Насколько эти понятия неопределенны и ложны! Со смертью отца у меня остались «свои» — ты да господин Вестфален, к которому издавна я отношусь с сыновней любовью. Моя мать... — он оборвал, чтобы не сказать что-нибудь злое и обидное. — Кровные близкие нередко наиболее чужды нам по духу, и случается, именно среди чужих можно обрести своих. Общие цели, симпатии — вот что создает нам семью.

— Но мать и отец все-таки исключение, — попробовала возразить Женни. Слова Карла смущали ее своим еретизмом.

— Брюккенгассе шестьсот шестьдесят четыре для меня почти не существует. Жалко только сестер. На днях мать переедет куда-то на новую квартиру, возле Мясного рынка. Со смертью отца семья наша распалась. Бедняга Герман недолговечнее прочих моих братьев. Сестры найдут себе в конце концов мужей, я надеюсь. А больше им ничего не нужно. И во всем Трире отныне только один дом на Римской улице остается моей святыней, только двоих людей я люблю всем сердцем. Ты догадываешься — кого?

Карл придвинулся к Женни, протянул к ней руки. Она неуверенно, инстинктивно отодвинулась. Но Карл был нетерпеливо упрям. Ей осталось ответить на его настойчивые поцелуи. По-особенному стало тихо в беседке. Корзинка и книга с колен девушки медленно скатились на землю.

— Что ж, моя повелительница, позволь начать чтение, — церемонно сказал Карл, выпуская Женни из своих объятий. Лица обоих пылали. — Пусть за меня поговорит Ромео, моя Джульетта-Женни, но помни: я люблю тебя больше, нежнее, чем любил он. Даже великий Шекспир бессилен найти слова, которые будут вровень с тем, что я чувствую по отношению к моей прекрасной госпоже.

Оба весело смеются. Карл наугад раскрывает книгу.

Ромео

И ты меня оставишь без отрады?

Джульетта

Какая же возможна в эту ночь?

Ромео

Любовью на любовь обмен ненарушимый.

Джульетта

Я отдала свою еще до просьбы,—
И жаль, что нечего мне больше отдавать.

Ромео

Как? Ты бы взять назад ее хотела?

Женни закрывает книгу и декламирует наизусть следующую реплику Джульетты:

Чтоб щедрой быть и вновь тебе отдать.
Но я — чего желаю, тем владею!
Во мне, как море, безгранична щедрость
И глубока любовь: чем больше я
Даю тебе, тем больше я имею...

Май подходил к концу. Отцвели деревья. Пунцовые маки покрыли берега Мозеля. Виттенбах на рассвете отправлялся удить рыбу... Наступало лето.

Карл уехал продолжать ученье в Берлин. Снова принялась ждать будущее обещанное счастье Женни фон Вестфален, верная невеста.

На столе Маркс нашел груду писем. Бруно звал немедля к себе в Шарлоттенбург.

«С нами тебе будет легче пережить постигшее горе», — уговаривал он друга.

Домик Бауэров был двухэтажный, узкий и продолговатый, как улей, с остроконечной черепичной крышей. Он стоял ничем не отгороженный от мощеной улицы. С весны кудрявая жимолость оплетала его зеленой густой сеткой. Когда зацветали белые цветы ее, даже кирпичи пахли назойливо и приторно. Лепестки опадали на крылечко снежинками.

Две ступеньки вели с улицы в лавку. Длинная железная вывеска сообщала, что торгуют тут табаком.

Старуха Бауэр, если не было покупателей, сидела на раскладном стульчике в дверях своего заведения и вязала либо штопала носки мужу и сыновьям. Носки были темной шерсти, в полоску, огромных размеров. Владелица

табачной лавки штопала любовно, бережно разглаживая стежки.

Когда госпожа Бауэр отвешивала табак и отсчитывала пахитоски и сигары, носки ожидали ее, разложенные на стуле.

Работы, впрочем, всегда было вдоволь и в лавке, и по хозяйству. Три сына и старый муж требовали постоянных забот. Без этого жизнь старухи была б, однако, во много раз грустнее и никчемнее.

Но если сердце госпожи Бауэр полностью принадлежало семье, то мыслями она была пригвождена к своей табачной лавке.

Это была прирожденная лавочница. Торговля была ее призванием. В умении уговорить покупателя проявлялся тот природный дар красноречия, который счастливо унаследовал от нее первенец Бруно. Зная особенности каждого сорта табака, госпожа Бауэр умела соблазнить самого рьяного врага куренья. Она становилась вдохновенной, когда говорила о преимуществах колониальной сигары перед скромной европейской пахитоской.

Сама она употребляла, из экономии, лишь самый дешевый нюхательный табак, который, по мнению опытных людей, действовал очищающе и предотвращал болезни. Жители Шарлоттенбурга верили, что табаком можно оградиться от холеры и грудных болей. Старуха Бауэр была в этом твердо убеждена.

Табакерку, лежавшую в кармане ее серого ворсистого платья, сделал и разукрасил рисовальщик по фарфору старик Бауэр. По желанию жены он нарисовал на тонких крышках портреты сыновей, куст цветущего табака и желтую пальму, похожую на пихту.

Фарфоровые и фаянсовые пудели были выставлены для продажи среди сигарных коробок и мешочков с табаком, но жители Шарлоттенбурга редко покупали статуэтки и чашки работы господина Бауэра-старшего.

В доме, кроме лавочки, находилась также типография, которой ведал Эгберт. Печатные станки купил ему сам Бруно на первые деньги, доставшиеся молодому доценту университетской кафедры теологии.

Весь нижний этаж плоского бауэровского дома, разделенный поровну между торговлей и издательским предприятием, существовал прибыльно и деятельно, в то время как наверху, в уютной квартире домохозяев, жизнь текла

по-иному. Если там что-либо и напоминало о лавке и типографии, то, пожалуй, лишь табачный дым неуемных курильщиков да книги, которых было много на столах и этажерках.

Карл любил наезжать в Шарлоттенбург. Обрывая неспокойной рукой жимолость, он вбегал, перескочив через обе ступеньки, прямо в лавку и громко приветствовал продавщицу:

— Как торговля, тетушка Бауэр? Сколько неверных вы приобщили к курению? Угостите-ка меня сигарою. Курильщик должен чтить Колумба не столько за открытие Америки, сколько за ввоз табака.

— Ах, господин Маркс, вы, как и Бруно, знаете все на свете! — отвечала восторженно госпожа Бауэр и торопилась взобраться на скамеечку, чтоб достать с самой верхней полки лучшую сигару с золотым колечком на коричневом брюшке.

Старуха дарила Карла особой симпатией: он был другом Бруно, самого Бруно... Мнение Бруно, слово Бруно, желание Бруно деспотически господствовали в семье. Ему не смели, да и не сумели бы перечить.

— Мой друг — Карл Маркс. Любите и жалуйте его, как меня самого. Он еще более умен, чем юн,— сказал Бруно, впервые представив товарища родителям и братьям.

Отныне Карл мог рассчитывать на лучшую сигару, на радостное «здравствуй, Карльхен», на такую предупредительность и заботы хозяйки, точно был одним из ее сыновей.

В течение всего года Карл постоянно посещал семью Бауэра. Он отдыхал в маленьком саду, помогал в типографии Эгберту и терпеливо выслушивал сетования старухи.

Пятого мая Карл проснулся особенно поздно. Он до рассвета, по обыкновению, читал, потом возился с конспектами и лег в постель, когда по улице, громыхая, прокатила тележка молочницы, запряженная неповоротливым козлом. Проснувшись, Карл не сразу вспомнил, что это день его рождения, хотя еще накануне получил несколько поздравительных писем из Трира.

Двадцать один год. Совершеннолетие. Карл подумал об отце. На столе подле чернильницы стоял в бархатной рамке слегка пожелтелый дагерротипный портрет покойного Генриха Маркса. Точно очерченное лицо, окаймлен-

ное непослушными волосами. Отец был красивее сына. Тонкий нос, правильный овал и небольшой приятный рот. Карл не унаследовал этих черт лица. Но глаза, лоб были те же у обоих.

Портрета Женни в комнате студента не было. Она упорно отказывала Карлу в этом подарке. Ничто не должно было, по ее мнению, преднамеренно возвращать мысль жениха к ней.

— Если можешь позабыть меня, разлюбить,— пусть так и будет. Либо наша любовь выдержит все испытания и сроками и расстоянием, либо лучше расстаться раньше, чем брак спаяет наши судьбы.

— Ты свободен,— говорила она Карлу на прощание.

Совершеннолетие... Но Марксу не хочется подводить итоги. Он живет, как сам того хочет. Он ничего не боится в жизни и ни о чем не сожалеет. Жизнь превосходна, полна увлекательных задач и целей.

Вспомнив данное Бауэрам обещание провести день с ними, он едет в Шарлоттенбург в тряской карете, до отказа набитой людьми.

Деревья еще голы и по-зимнему мертвы. Весна в Берлине в этом году худосочная, запоздалая. О ней только и разговору в дилижансе.

— Климат изменился со времени великой войны,— говорят убежденно местные старожилы. — В дни старого Фрица с апреля наступала теплынь, цвели деревья.

— Нет, не в войне причина, а в паре, дыме и новых изобретениях.

— Дым поднимается в небо и застилает солнце,— говорили скептики помоложе.

— Вовсе не в том дело, господа,— вмешался долго молчавший пастор. — В ближайшие годы господь посылает нам испытание — комету. Эта хвостатая звезда грозит миру разрушением.

Женщины заохали, мужчины, не сведущие ни в теологии, ни в астрономии, взялись за трубки.

Въехали в Шарлоттенбург. Карл жалел, что пастор был немногословен: студент любил эти своеобразные диспуты в дилижансах. Пассажиры готовились выгружать баулы и корзинки. Захрипел кондукторский рожок. Отирая пыль и пот с лица, Карл протолкался к выходу.

У Бауэров его встретили объятиями и поздравлениями. Торжественный обед обещал быть отличным. Эдгар добыл

бочоночек неповторимого баварского пива, и добрый Эгберт согласился снять замусоленную синюю блузу наборщика и обрядиться в белый фартук, чтобы заменить госпожу Бауэр за прилавком. Он бойко торговал табаком, покуда старуха руководила стряпней на кухне и сервировкой стола в чистенькой столовой на втором этаже дома. Предвкушение веселой трапезы и буйного вечера поднимало заранее настроение хозяев и гостей. Решено было после еды танцевать в саду и петь рейнландские и мозельские песни в честь уроженца Трира.

Старый Бауэр и Рутенберг развесили на деревьях цветные фонарики для вечерней иллюминации.

Карл смущен вниманием всего дома. Даже старый пес неопределенной породы встретил его ласково и несколько раз потерся мордой о колено студента. Чуткие знатоки людей — животные и дети тянулись к Марксу и дружили с ним.

Позже всех явились Кёппен и Луиза Астон с двумя подругами. Карл привык к тому, что Бауэров, вопреки обычным правилам берлинского общества, посещали девушки без сопровождающих их теток или матерей. Луиза Астон считалась в кругах молодых гегельянцев девушкой без предрассудков, вполне эмансипированной и передовой. Она бывала иногда отталкивающе криклива и развязна — особенно когда менее всего была уверена в себе. Сначала Маркс отнесся к ней недоброжелательно. От женщины он требовал сдержанности, скромности и хорошего светского воспитания. Но постепенно поведение Луизы начало казаться ему вполне допустимым и правильным. Он неожиданно нашел в ней недурного собеседника и доброго товарища.

Подруги Луизы были посредственные, ничем не замечательные девицы, начитавшиеся Гуцкова и мечтавшие прослыть героинями его книг.

Они потребовали пахитосок, расселись, как заправские курильщицы, но при каждом слове, которое изрекали как откровение, так краснели и смущались, что Бруно и Карл быстро прониклись к ним состраданием.

— В них ни ума, ни женской гордости. Бедняжки ловят женихов, и к тому же самым неудачным способом. Их считают грешницами, а в действительности они непорочны. Любители пресной невинности бегут от них, считая их непристойными, а ищущие пороков слишком опыт-

ны, чтоб не разглядеть в них добрых немецких гусынь, которые сожгут новую мораль на огне церковной свечи, едва их поведут к венцу,— шепнул, цинично подмигнув Карлу, Бруно Бауэр.

— Какой акт любовной мелодрамы ты разыгрываешь со своей Гретхен? — тихонько спросил Карл и шутливо сощурил глаза.

— Увы, мы застряли на первом. Моя партнерша питает слабость к монологам, и пьеса обещает быть нравоучительной. К сожалению, ум и добродетель редко совмещаются в женщине. Если первое — тезис, то второе — антитезис... Не всякому удается найти синтез, каким является, судя по всему, что я знаю, твоя трирская невеста.

На пороге столовой появилась торжествующая матушка Бауэр с дымящейся миской супа. Сели обедать. Соседкой Карла оказалась сама хозяйка дома. Лучшей он и не хотел — они были давнишними друзьями.

Эдгар торжественно втащил бочоночек с пивом и поставил на стол несколько бутылок рейнвейна. Начались тосты, задребезжали рюмки и стаканчики.

— Пусть здравствует наш Карл, пусть живет и разит врагов верный сын Трира!

Маркс едва успевал отвечать и чокаться.

Госпожа Бауэр поцеловала его и назвала «сыночком». Луиза бросила розу на его тарелку, а Бруно поднял бокал за Женни. Казалось, ученые громовые споры не настигнут в этот день друзей и, кроме шуток, смеха и бестолковой шумихи, ничто не осложнит веселого пира. Но к концу обеда внезапно появились неулыбчивый Альтгауз и огромнолобый Шмидт, учитель закрытого пансиона для дворянских девиц. Оба мрачно уселись за стол, налили вина и быстро нагнали приятелей.

— Послушай, Шмидт,— приставали к учителю,— признавайся же в своих победах. Неужели ни одна из твоих воспитанниц не шлет тебе любовных писем?

Шмидт загадочно улыбался и отнекивался, но лицо его не выражало недовольства. Он был польщен.

Альтгауз принялся поддразнивать Бруно, оспаривая и вышучивая его разоблачение Четвертого евангелия.

Не прошло и минуты, как, позабыв о кофе со сливочным тортом, все присутствующие, кроме стариков Бауэров, двух подруг Луизы Астон и тихого Эгберта, встали

из-за стола. Альтгауз с улыбкой торжествующего Мефистофеля доедал пирожное.

От Четвертого евангелия быстро перескочили к различию между христианским и еврейским богом.

Бруно и Карл принялись ходить по комнате, сначала рядом, потом в разные стороны и, наконец, навстречу друг другу. Карл, заложив руки за спину и глядя себе под ноги, двигался медленно и слушал молча.

— Иегова,— горячился между тем Бруно, размахивая руками и вприпрыжку пробегая из угла в угол столовой, — Иегова жестокий, суровый мститель. Еврейский бог самый требовательный из всех созданных людьми. Он — кара, он — судья, он — мрачный вещатель бед. Его боятся, и страх рождает и крепит веру. Что может быть сумрачнее еврейских похорон? Как и магометане, израильтяне гнушаются смерти. Труп, будто падаль, зарывается в землю без гроба, в одном саване, под вой живых. О, Иегова страшен!

— Да, христианский бог куда приятнее. Христос так хорош собой, что я готова была бы быть Магдалиной! — отозвалась Луиза.

Она пересела в качалку, разбросала оборки светлого платья и, откинувшись назад, приняла одну из самых неотразимых своих поз. Но никто не замечал ее пухлых запрокинутых рук и манящего взгляда.

Госпожа Бауэр молчала, испуганно озираясь. Безбожный разговор, так часто затеваемый в доме, всегда был ей не по сердцу. Восхищаясь знаниями и красноречием сына, она боялась за него. Как знать, не отомстит ли небо за святотатство?

— Чем больше изучаю я буддизм, тем увлекательнее кажется мне эта религия,— сказал внезапно Кёппен.

Все обернулись к нему.

— Буддизм учит человека совершенствоваться. В конце концов в нем много материалистического.

— Еще больше эгоистического,— подсказал Маркс.

— Ты прав. Найти свое *я* — вот лучшая цель всякого стремления, быть в дружбе со своим *я* — такова самая истинная и возвышенная дружба. Этого Будда требует от людей. «При помощи своего *я* — побуждай свое *я*, при помощи своего *я* — преследуй свое *я*, и, таким образом, ты, бдительно охраняя свое *я*, будешь жить в блаженстве, монах! Ибо защита нашего *я* — есть само наше

*я*, прибежище нашего *я.* Держи в узде свое *я*, подобно тому как торговец держит в узде благородного коня...» — так учит Будда.

— Но ведь это подрыв власти бога и замена его *я*! — сказал кто-то.

Бруно Бауэр нетерпеливо поводил плечами.

— Кёппен нестерпим со своей азиатчиной! Наступление Будды менее всего угрожает Германии,— сказал он, занятый, как всегда, только собой и тем, что казалось ему, Бруно, интересным. Молодой доцент отличался крайней самопоглощенностью и не признавал права людей заниматься чем-либо, не имеющим к нему отношения, ему безразличным.

— О, прошу вас,— попросила Луиза, скорчив ребячливую мину,— дайте Кёппену поговорить об Индии; он красноречив, как Шехерезада.

— Но Бруно хотел сказать нам нечто очень важное,— несмело вмешалась госпожа Бауэр.

Тем не менее, ободренный Луизой, Кёппен не отступал:

— Будда говорит монаху Саригутте словами Христа: «Будь добр и...»

— Были в жизни Будды романтические приключения? — собравшись с духом, спросила вдруг Лоттхен, подруга Луизы.

Кёппен, которого прервали на полуслове, сердито поморщился, но ответил:

— Подобно Христу, Будду считают человеком. Он родился в роду Сакиев в середине шестого столетия до нашей эры и был назван Сиддхартха.

— Ах, — тяжело вздохнул Рутенберг, о котором все позабыли, чем он и воспользовался, опустошив до дна пивной бочонок, дар Эдгара. — Ах, что нам предстоит теперь, когда Кёппен дал волю своей страсти! Какое дело нам, добрым немцам, до голодных индусов и их богов!

— Впоследствии,— не унимался Кёппен,— мальчик из рода Сакиев, что значит «могучих», был известен более всего под прозвищем аскета Гаутама. Будда — значит пробужденный, познающий.

Кёппен говорил со все возрастающим увлечением. Его всегда спокойные руки задвигались, чертя неопределенные узоры по воздуху. Иногда он живописно складывал их в пучок — жест мыслящего человека.

— Любил ли Гаутама? — кокетливо спросила Лоттхен.

— Его звали также Сакия Муни, то есть мудрец из рода Сакиев. Родина его — предгорья Гималаев и среднее течение Ранти.

— Можно подумать, что ты его односельчанин,— пошутил Маркс.

— Мать Будды звали Майей.

— Как, и тут непорочное зачатие? — удивился Бруно.

— Нет, человечье; отцом Будды был мужественный и любвеобильный Суддходана, он женился после смерти Майи на сестре ее, Маханаджаната.

— Но был ли Будда женат? — уже обиженно настаивала Лоттхен.

— И даже на нескольких женщинах,— язвительно ответил наконец Кёппен. — От одной жены он имел сына Рахула. Но в двадцать девять лет разочаровался он в женщинах, богатстве и пожелал уйти от мирской суеты. Так возник бог. Происхождение богов на разных материках — важнейшее дело века,— кто это будет оспаривать?

— Фи, значит, Будда безнравствен,— заметила Лоттхен.

— Не более иных богов. Безнравственность христианства непревзойдена. Сомневающимся рекомендую перечитать Вольтерову «Девственницу»,— зевая, ответил Карл.

— Будда... — начал снова Фридрих, но его прервали.

— Продолжение лекции господина Кёппена последует завтра на территории докторского клуба. Дамы могут быть допущены,— провозгласил Эдгар Бауэр.

Наконец-то Бруно смог снова заговорить. Давно уже стемнело. Старуха Бауэр убрала посуду со стола и зажгла две лампы.

Альтгауз и Рутенберг играли в домино. Альтгауз, переставляя кости, мрачно и тихо говорил:

— Купил вот Розенкранца и впал в сомнение. Многое у него точь-в-точь про меня, да и про тебя тоже. Есть в человеке узкая совесть — она следствие потребности нравственной гармонии, но есть в нас одновременно и широкая совесть, которая толкает к быстрому, часто неосмотрительному решению, следствием которого могут быть и ненравственные поступки. Как же найти середину?

Рутенберг, воспользовавшись глубокомысленными рассуждениями партнера, выиграл партию.

— А что, если и вообще совести нет? — огорошил он вопросом Альтгауза.

— Ты мало и поверхностно изучал Гегеля. Величие его учения в том, что он убивает слабохарактерного или делает его закаленным и могучим.

— Значит, я должен быть убитым! — с комической горестью воскликнул Рутенберг.

Замолчав, оба начали новую партию.

В углу, у буфета, Кёппен в это время допивал пунш.

В саду уже зажглись цветные фонарики самодельной иллюминации. Лоттхен подняла крышку старенького узкого пианино и начала бравурный вальс. Карл пытался отвечать Бруно, но звуки танца мешали и перебивали мысли. Внезапно, когда молодежь спустилась в сад потанцевать, из табачной лавки вышел Эгберт. Он был расстроен и теребил фартук.

— Парни,— сказал он с не присущей ему грубоватостью, которой хотел замаскировать сильное волнение,— случилась беда. Студент из Берлина привез дьявольски печальное известие. Профессор Ганс внезапно умер сегодня, собираясь на наш пир.

— Ганс?

Музыка внезапно оборвалась. Лоттхен давно безо всякой надежды на взаимность любила очаровательного ученого.

Луиза, позабыв о необходимости быть красивой, тяжело упала на скамью. Бруно растерянно озирался. На лице Карла появилось странное выражение — не то боли, не то судорожной улыбки, которое год назад поразило Женни на похоронах юстиции советника Маркса. Подбородок юноши дрожал, и на щеках вздувались желваки от стиснутых крепко-накрепко челюстей.

— Хорошие умирают рано,— сказал, отрезвев, Рутенберг.

В тягостные минуты жизни он всегда бессознательно пользовался цитатами, чем крайне раздражал Кёппена. И сейчас тот мгновенно повернулся к нему и досадливо дернул за фалду мундира.

— Эх ты, фаршированная колбаса! Не нашел живых слов. Декламация.

Безымянная подруга Луизы, никогда не видавшая Ганса, гримасничая, сказала:

— Какая досада, господин Маркс, что эта смерть омрачила день вашего рождения! Мы могли бы так хорошо провести вечер.

Карл ответил ей таким злым, выразительным взглядом, что девица попятилась.

Оцепенение присутствующих прошло.

— В одно десятилетие мы потеряли две светлые головы!

— О, дьявол, Ганса нет! Какой удар для нас! «Пал божественный Патрокл, жив презрительный Терсит...» Ганс умер, а Савиньи жив! — патетически воскликнул Рутенберг.

— Опять извращенная цитата,— поежился Кёппен. — Да, Ганс умер. Еще вчера он был здоров и, как всегда, бахвалился своей силой, своим аппетитом. Мы провели вечер вместе в кабачке на улице Доротеи. Он рассчитывал прожить, по крайней мере, сто лет и пил в честь Мафусаила.

Сблизься с природою, мать в ней свою ты познаешь.
Некогда в землю затем ты погрузишься спокойно... —

продекламировал снова Адольф.

— Это что еще за стих? — спросил Кёппен. — Я где-то читал его недавно.

— Людвига Фейербаха. Вот человек, который еще прогремит,— уверенно произнес Рутенберг. — А Ганс, бедняга, не дожил до бури...

— Он надеялся участвовать в революции,— тихо добавил Маркс. — На последней лекции он говорил увлекательнее, чем когда-либо, об этом светлом часе. Как пророк, он предвещал великое восстание народа, возмущение всей огромной массы непривилегированных и неимущих. «Когда революция наступит,— заключил он,— мир затрепещет...»

— Осанна! — сказал раздраженно Бруно.

— Аминь! — подхватил Рутенберг.

Старик Бауэр погасил свечи в пестрых бумажных фонариках. Стало тихо, мрачно в большом доме.

Поздней ночью Карл один возвращался домой. Тягостный день был позади. Так беспечно начавшись, он кончился трагедией. Студент свернул в незнакомые переулки и пошел на окраину. Спали домá. Дома непривилегированных и неимущих.

«Молодой человек,— послышался Карлу голос Ганса,— вы спрашиваете, в какое время мы живем? В эпоху революций, которая перекроит, обновит современную гнусную морду мира...»

Мастеровой, незаметно появившийся из-за угла, толкнул задумавшегося Карла. Его блуза пропахла потом и смолой.

«Мы живем в эпоху революций блузников,— подумал Маркс и посторонился, пропуская его вперед. — Такие парни, как этот, ловко опрокинули трон Бурбонов в тридцатом году».

Улица снова обезлюдела. Вяло горел фонарь. Карл вдруг с острой скукой припомнил разглагольствования Бауэров и других друзей по докторскому клубу.

«Обливает желчью и чернилами... облака,— подумал он безразлично. — Земля живет своей жизнью. Земля и люди, населившие богами небо...»

Вместе с ночной прохладой к Карлу подкрались грусть и неопределенное недовольство собой. Он остановился на перепутье.

«По дороге истории идут не Бауэры с их отвлеченной ученостью, а эти новые люди из переулков, люди, у которых мысль не расходится с делом... Завтра хоронят Ганса... Много смертей за последний год... Началось с Эдуарда...»

Мысли путались, становились все более угрюмыми, мрачными, темными, как столичная окраина, по которой он плутал сырой майской ночью.

2

Беттина фон Арним полулежала у окна. Звезды плотным неводом устилали небо. Вдали, под горой, тихо переливались воды Мозеля. Трир затих. Ваза с пионами, белыми и розовыми, стояла на подоконнике. Слегка коптила свеча в высоком подсвечнике. Беттина перечитывала свой дневник. В полутьме ее лицо казалось моложе и привлекательнее. Кошачий носик с красноватыми влажными ноздрями удлиняла световая тень. Он казался тонким и нежным. Полутьма — кудесница. Неряшливо падающие на плечи развившиеся волосы были красивы. Пламя свечи золотило их. Седина растворялась в коричневой мягкой массе.

Беттине хотелось плакать над прошлым, которое возвращал ей дневник. Она давно уже никого не любила, и даже память о Гете и детской влюбленности в него стиралась, блекла. Ей хотелось, однако, снова любить. Разве морщинки под глазами и седые волосы охлаждают сердце? Разве кладут они запрет на ласку и нежность? Слезы мешают Беттине читать. Вдовство ее тянется уже так давно... Но слезы эти вовсе не мучительны. Тщеславие помогает одолевать извечную женскую тоску.

«Как, однако, хорошо я пишу», — думает она, перелистывая страницы запечатленных некогда мыслей и настроений.

Трирский неподвижный воздух способствует мечтаниям, приятной грусти и щекочущей меланхолии.

«Прекрасно пишу!» — восторгается Беттина.

Она сравнивает себя мысленно с госпожой де Сталь и непревзойденной Севинье, свои литературные образы с метафорами надменной парижской выскочки Жорж Санд и... отдает предпочтение Беттине фон Арним.

Сокровенные страницы дневника писательница с профессиональной расчетливостью проверяет, выправляет, как новеллу, годную для печати, обещающую славу. Ей не кажутся напыщенными ни чувства, ни слова былых, устаревших настроений. До утра она любуется собой, перечитывая строки, посвященные ему, любимому и великому Гете.

«Я нашла бессмертный ритм «Песни Песней», я — Суламита»,— радуется Беттина и, вынув рогатую шпильку, распускает волосы по плечам. И хотя никто не увидит ее в этот ночной час, хотя комната пуста, она прикалывает белый пион пониже уха и вполоборота глядится в зеркало.

Накинув шаль, с дневником в руке, Беттина ложится на софу в позе библейской царицы, ожидающей возлюбленного.

Обычно вялого, слегка надменного выражения лица как не бывало. Она собой так довольна. И снова начинается чтение, самолюбование... Какая пошлая привычка спать по ночам, когда можно проводить их в тщеславном предвкушении будущего!

О, магический воздух Трира, способствующий мечтам и самообольщению!

Столичная писательница, друг, жена, сестра поэтов и принцев, наслаждается бессонницей, как наркотическим дурманом.

«Любовь — это взаимное проникновение; я не разлучена с тобой, если я тебя люблю...

Я не пойду спать, пока я не поговорю с тобой, как бы я ни устала! Веки смыкаются и разлучают меня с тобой; меня не разлучат с тобой ни горы, ни реки, ни времена, ни твоя собственная холодность и ни то, что ты не знаешь, как я тебя люблю! И меня может разлучить с тобой сон? Почему же? Я прижимаюсь к твоей груди, пламень любви зажигает твое сердце, и я засыпаю...

Но признай мою любовь и подумай о том, что время бежит, сохраняя одно неизменным: именно то, что в текущем мгновении можно объять вечность.

Любовь — познание; я могу наслаждаться тобой в мыслях, научающих понимать, воспринимать тебя; но когда я тебя совсем пойму, будешь ли ты принадлежать комулибо, кто тебя не понимает? Разве понимание не есть сладостное чувственное проникновение в любимого?.. Понимать — значит любить; то, чего мы не любим, мы не понимаем; чего мы не понимаем — для нас не существует.

В этой внешней жизни ты не мой; другие хвалятся твоей верностью, твоей близостью, твоей преданностью, погружаются с тобой в лабиринт твоей души; это — те, которые уверены в обладании тобой, которые дают тебе радость.

Я — ничто, не имею ничего, чего ты жаждешь; утро не будит тебя, чтобы ты спросил обо мне; вечер не приводит тебя ко мне; у меня ты не дома.

Но в этом внутреннем мире я питаю к тебе доверие и преданность; все чудесные пути моего духа ведут к тебе, они проложены с твоей помощью...

Ночь тиха, я одна, даль широка, безгранична; лишь там родина и нет дали, где живет любящий; если бы ты любил, я бы знала, где кончается даль...

Я расскажу тебе из моего детства, из того времени, когда я еще не видала тебя. Вся моя жизнь была подготовкой к тебе; как давно я уже знаю тебя, как часто я видала тебя, закрыв глаза, и как чудесно было, когда наконец действительный мир примкнул в твоем присутствии к давно лелеянному ожиданию...

Там было высокое дерево с фантастическими ветвями, широкими бархатными листьями, раскинутыми, как беседка: я часто лежала под его прохладным сводом и наблюдала, как сквозь него улыбался свет, и так я лежала иногда в глубоком сне; снились сладкие дары любви, потому что иначе я бы не могла по пробуждении понять дерево. Его спелые плоды, упавшие с ветвей, окропляли мою грудь своим соком; эта темная прекрасная кровь винной ягоды,— я никогда ее не видала, но с доверием погружались в нее мои губы, подобно тому как любящий принимает первый поцелуй. И я знаю, что существуют поцелуи, вкус которых напоминает винные ягоды.

...Твоя рука лежала на моей щеке, а рот покоился на моем лбу, и было так тихо, что твое дыхание веяло, как дыхание духа. Обычно для счастливых время было вечностью, которая не кончается, оно было так кратко, что к нему неприложима мерка...

Дух чувствует, что пребывание в добре подготовляет к глубокой, нераспознанной тайне. Это, Гете, ты открыл мне вчера вечером у распахнутого окна, под звездным небом, когда в комнату врывалось и снова вылетало из нее дуновение ветерка.

Эта гордость, эта святая гордость в красоте! Сегодня кто-то сказал, что немыслимо, чтобы, когда я впервые его увидела и была свежей розой, ему было семьдесят лет. Но есть разница между свежестью молодости и красотой, придаваемой человеческим чертам божественным духом; красота — это бытие, освобожденное от всего обыденного; она не увядает, она лишь отрывается от ствола, несшего ее цветы, но цветы эти не погружаются в пыль, они крылаты и подымаются к небу...»

С лучом солнца Беттина засыпает, роняя свои записки. Она встает лишь в полдень, томная, скучающая, всем недовольная. Принимает капли против нервных колик и думает, куда девать себя в течение долгого праздного дня.

В числе коротких знакомых Беттины фон Арним в Трире Вестфалены. Она посетила их вскоре по приезде и нашла в Женни не только восторженную почитательницу своего таланта, но и преданного ласкового друга. В первую же встречу обеим о многом хотелось поговорить, и, улучив момент, когда Каролина и Людвиг за-

дремали — одна над рукоделием, другой — над газетой, приятельницы поторопились переменить гостиную на столь располагающие к откровенной беседе и признаниям комнаты Женни.

Подобрав ноги в не слишком свежих башмачках, писательница устроилась в большом кресле, а Женни примостилась рядом, на бархатном пуфе.

Самой интересной темой разговора Беттина с давних пор считала тему о себе самой и потому тотчас же начала говорить о своих планах, дружбе с наследником престола, литературных удачах и происках завистливых недругов. Женни все это казалось интересным.

Как-никак Беттина фон Арним была не простой смертной — природа одарила ее необычным талантом. Да и жизнь столицы живо интересовала Женни. В Берлине постоянно жил Карл, вращался нередко в том же обществе.

В комнате, робко забившись в уголок софы, притаилась закадычная подруга Женни, миловидная трирская барышня, жадно разглядывающая приезжую знаменитость. Это была рослая девушка с широкими бедрами, с не сходящей с лица улыбкой, с приподнятой верхней губой и круглыми глазами, необыкновенно ясными и простодушными.

Есть женщины, созданные быть поверенными чужих тайн,— этакие превосходные, добросовестно запирающиеся сейфы для чужих человеческих признаний, переживаний, горестей, сомнений. Они не советчицы, но они умеют слушать и сострадать. Такой прирожденной наперсницей была и любимая подруга Женни...

— Вам не надоели столичные новости? — жеманилась гостья.

— О, напротив, все, все это вовсе не безразлично для меня! К тому же о многом я уже наслышана и как будто знаю людей и события, которыми вы живете в Берлине. Прошу вас, продолжайте!

Когда Беттина насытилась небрежными самовосхвалениями и обсуждением собственных дел, она удостоила любезную слушательницу несколькими вопросами. Ответы Женни ее заинтересовали. Красивая провинциалка оказалась весьма сведущей в литературе, и мысли ее смелы и оригинальны. Беттина умела разбираться в людях.

— Вы успеваете в Трире следить за всеми новинками литературы, и я вижу на вашей этажерке множество философских книг, которые внушают мне только почтительный страх. Гегель был бесспорно великий ум и немало обогатил не только науку, но и мозги правителей, однако читать его немыслимо. Увы, он не был поэтом и относился к слову, как портной к грубому самотканому сукну...

— Признаюсь, нелегко было поначалу, но Кант и Фихте приучили меня к отвлеченным мыслям и новым терминам. Я хочу понимать то, что, возможно, заполнит жизнь моего будущего мужа.

— Так вы имеете в виду к тому же не свои интересы! Но с вашим образованием и изящной манерой письма и речи, — о, не протестуйте, я читала ваши письма! — право, милочка, вы могли бы занять место в литературе, даже более того...

Но Женни запротестовала:

— Я не тщеславна в этом смысле и, право, гораздо более невежественна, чем вы думаете. Я не хочу быть соперницей моего мужа, я хочу быть его помощником, равным другом, спутником. Разве это малая задача? Много женщин достигли подобного блаженства? Почему думаете вы, Беттина, что его успехи и радости не могут радовать меня, как мои собственные? В борьбе женщин за эмансипацию я часто улавливаю азарт мести разочарования. Жорж Санд многократно обижали мужчины, ее семейная жизнь была несчастна. Разве бракоразводный процесс с Дюдеваном не вскрыл перед всеми тягот ее замужества? Но я рассчитываю быть счастливой. Может быть, поэтому мы не торопимся со свадьбой. Когда собираешься прожить с человеком всю жизнь до самой смерти, какие-нибудь пять — семь лет кажутся малым сроком и большой необходимой проверкой.... Я хочу, чтоб Карл был счастлив со мной, как я сама хотела быть счастливой с ним. Но для этого нужно стать не только доброй женой и умелой матерью его детей, нужно стать также и его товарищем, его советчиком, заслужить не только доверие, но и уважение. Ведь в нем вся жизнь моего сердца. Иначе брак — лишь пошлая сделка, ржавая цепь и взаимное истязание.

— Ваше сердечко из того же загадочного душевного материала, что и у бедняжки Шарлотты Штиглиц. Мне

все это чуждо. Я не так альтруистична, да и не могла бы так беззаветно полюбить,— даже Гете, если бы я встретилась с ним не ребенком. Даже Арним не был мне так дорог.

— Не знаю, сумела ли бы и я умереть, чтобы зажечь жертвой угасший талант своего любимого, — тихо, как бы размышляя вслух, сказала Женни. — Я не так романтична. Нет, люди безвольные, как поэт Штиглиц, менее всего беспокоят мое воображение. Они не стоят подвига. Но горе и радость моего Карла будут и мои столько же, сколько и его. Его путь — мой путь, его идеалы — мои идеалы. Отдавая ему себя, я верю в него, в общность наших целей, иначе почему он, а не другой? Нельзя соединить тела, не соединив духа. Мы ведь не животные, мы люди — слабые, но стремящиеся к усовершенствованию. Вот почему брак для меня таинство, нечто великое, насквозь человеческое. Брак — это все та же любовь.

Ноздри Женни вздрагивали от волнения. Не часто говорила она так, как в этот вечер. Беттина фон Арним обняла руками колени и, опустив голову, исподлобья, с нескрываемым удивлением смотрела маленькими, всегда деланно меланхолическими глазами на говорившую.

— Я хотела бы ближе узнать вашего жениха. Мне пришлось слышать о нем противоречивые отзывы. Но ум, оригинальность и дерзость мысли признают за ним все. Последний раз мы встретились на музыкальном утреннике в доме Мендельсонов-Бартольди. Нельзя сказать, чтоб господин Маркс был очень галантен с дамами. Более того — он их не замечает, что, впрочем, понятно. Имея такую прекрасную невесту, он может отречься от дамского мирка,— светски закончила Беттина.

Женни не слушала. Часы на камине показывали четверть девятого, а в десять вестфаленский дом, как и весь добропорядочный Трир, должен был погрузиться в сон.

— Нравится ли вам Трир? — несмело спросила подруга Женни, желая нарушить затянувшееся молчание.

— Ах, здесь так жарко! — ответила, снова становясь жеманной, Беттина и принялась обмахиваться батистовым голубым платочком.

Женни между тем продолжала следить за часовой стрелкой. Карл должен был прийти в семь, но его все

еще не было. Беспокойство Женни возрастало. Она догадывалась о причине опоздания...

С каждым месяцем и годом юноша становился ей все более дорог. Она жадно собирала в памяти часы их редких встреч. Со времени смерти отца Карл мог свободнее располагать собой и чаще наезжал в родной город. Но оставался в Трире недолго.

Женни невольно вздохнула. Беттина, не замечавшая ее тревоги, беспечно говорила о Берлине, о салоне Мендельсонов.

Абрам Мендельсон-Бартольди и его жена были, по мнению госпожи фон Арним, простыми дилетантами в области искусства, но их дети, в особенности Феликс, являлись подлинными служителями муз, не говоря уже о Вильгельме Гензеле, который не только музыкант, но и художник и поэт.

— Все, у кого есть имя в науке и искусстве, все, кто занимает хоть сколько-нибудь видное социальное положение, стремятся туда. Изысканные удовольствия, предлагаемые дилетантами и настоящими мастерами, подымают настроение общества, собирающегося для некоего светского служения духу.

Женни нетерпеливо встала с пуфа и прошлась по комнате.

Беттина осуждала голос Каталани.

«Где же Карл?» — чуть ли не вслух спрашивала себя Женни.

Часовая стрелка приближалась к девяти...

Как она и думала, Маркс опаздывал из-за томительной, нудной размолвки с матерью. Это повторялось так часто в последнее время, что Трир становился для Карла столь же ненавистным из-за ссор в доме возле Мясного рынка, сколько и любимым из-за Римской улицы — улицы его Женни.

Новую квартиру Марксов начали посещать новые люди, соседи по округе, мелкие купцы и чиновники, ханжи и сплетницы, в обществе которых вдова Маркс очень скоро начала чувствовать себя куда более приятно, нежели среди друзей покойного юстиции советника. Понемногу она растеряла прежних знакомых, о чем вовсе не скорбела.

Старческий эгоизм, самый узкий и тягостный для окружающих, овладел ею. Она стремилась сбыть с рук

старящихся дочерей, любой ценой выдать их замуж, и даже долгое умирание хворого с детства Германа не могло вывести ее из тупого равнодушия, нарушаемого лишь одним страхом — остаться без достаточных средств.

Она с досадой ждала свадьбы Карла и Женни, обеспокоенная тем, как бы сын не потребовал своей доли отцовского наследства. Вымещая свое недовольство, старуха презрительно называла барышню Вестфален бесприданницей.

И когда Карл как-то заявил о своем намерении взять для продолжения образования необходимую, завещанную ему сумму, злобе и слезам матери не было предела.

— Как? — вопила она, сорвав чепец, чтобы потрясти сердце сына видом седой косички, прикрепленной к макушке. — Как, брать последние деньги, чтоб подорвать окончательно благосостояние бедной старой матери и никем не защищаемых сестер? И это теперь, когда смерть стучится у нашего порога, чтобы похитить твоего юного брата! Или ты думаешь, отец оставил нам состояние какого-нибудь Ротшильда! Двадцать две тысячи и сто десять талеров, шаткий домишко да два виноградника... Двадцать две тысячи! Я хотела бы умереть, чтоб не быть обузой своим детям, но, однако, бог не берет меня, и кто знает, когда возьмет к себе. Двадцать две тысячи на столько неустроенных людей!

Карл выбежал прочь, заткнув уши. С тех пор разговор о деньгах возобновлялся всякий раз, когда он переступал порог материнской комнаты. Сестры проходили мимо Карла с молчаливым упреком. Брат Герман, неудавшийся купец, гулко кашлял и отхаркивал кровь.

Какие-то тучные торговки, пухлые священники, шустрые мелкие чиновники с супругами толпились в доме Генриетты Маркс в качестве ее друзей и советчиков.

Карл, изнемогая от отвращения и скуки, бежал из этого совиного мрачного дупла, которым казался отныне ему осиротелый отчий дом.

Иногда Генриетте удавалось задержать его слезами и обещаниями перемениться. Мигая покрасневшими веками, она старалась пробудить в нем жалость к своим старческим немощам и одиночеству.

«Сколько в ней фальши и страха за свое скудное добро!» — думал Карл, смиряясь.

Но кротость быстро оставляла его, и мирная беседа неизбежно приводила к ссоре. В особенности если старуха упоминала о Женни и пробовала на свой новый лад отзываться дурно о Вестфаленах. Тогда гневу Карла не было предела.

В этот раз было именно так.

— Ты идешь к своей невесте? — невиннейшим голосом спросила Генриетта сына, увидев, что он снимает с вешалки шляпу. — Я понимаю, что общество милой девушки тебе дороже материнского, хотя за два дня, что ты здесь, я не удостоилась и двух часов беседы, а поговорить всегда есть о чем. Но материнская снисходительность безгранична. Мы, матери, прощаем детям, даже если они причина всех наших страданий.

— Скорее говори, в чем дело,— не столько выговорил, сколько выдавил из себя Карл. Он вымещал свое нарастающее раздражение на широкополой мягкой шляпе.

— Я, конечно, не в претензии, что Вестфалены не выказывают мне с тех пор, как умер твой дорогой отец, никаких знаков утешения, точно они никогда меня не знали. Вообще в городе ходят слухи, что отношения между тобой и Женни будут разорваны. Только чрезмерная материнская любовь вынуждает меня сказать тебе это. Я столько выстрадала, думая о том, как это может на тебе отразиться....

Карл сделал шаг вперед. Его желтоватое лицо побагровело. Сделав вид, что не замечает состояния сына, она продолжала как ни в чем не бывало:

— Право, ты не представляешь себе, сколько твоя семья претерпела от этих людей, которым ты отдал предпочтение! Я знаю, что они тебе дороже и ближе матери, сестер, брата. Что ж, мое терпение давно стало нечеловеческим. Но я должна тебе сказать, Карл: понимая, что можно ослепнуть от любви, я все же не пойму, как ты не видишь, что все Вестфалены обладают одной характерной чертой, весьма опасной. Все они непостоянны и экзальтированны. То витают в небесах, то падают в пропасть.

— Довольно! — шепотом выговорил Карл и пошел к выходной двери.

Карл вырвался на улицу. Он тяжело дышал. Его маленькие широкие и крепкие руки беспокойно сжимались и разжимались. Он подобрал сорванную ветром ветку и

смял ее мгновенно. Это несколько успокоило его, но идти на Римскую улицу он не решился и свернул к Мозелю.

Трир остался позади. Душный маленький город католических, протестантских, еврейских храмов, чиновников, мелких буржуа...

Прокрустово ложе для дерзающих и восставших.

Трир предстал перед ним как законченное воплощение идеи филистерства, как высший предел уродства, пошлости, застоя и мертвечины. Война с этими людьми, война этому миру! Ненависть и проклятие!

Дорога к реке напомнила Карлу детство. Он знал каждый ее изгиб, каждый куст и дерево. Запыленные мадонны в деревянных нишах значительно обтрепались за минувшие годы.

Более часа, покуда не стемнело, бродил Маркс одиноко по дорогам. Он овладел собой, преодолел гнев и отмахнулся от мыслей о матери.

Все это казалось ему теперь досадно мучительным житейским пустяком, ничтожным укусом. Не более того.

Привычные, иные настроения овладели им. Думал о диссертации, за которую следовало уже приниматься. Вскоре студент Карл должен стать доктором Марксом. Поглощенный думами о будущем, Карл очнулся на горном спуске к маленькой примозельской деревне. Уже зажглись кое-где огоньки. В кузнице равномерно падал на наковальню молот. Женщина гнала по дороге хворостиной низкорослую корову. Мычали козы, плакали дети. Марксу неудержимо захотелось подойти ближе, приглядеться к этому незнакомому, давно интересовавшему его миру. Но, взглянув на вечернее небо, он вспомнил данное Женни обещание быть у нее в сумерки и повернул назад. Однако решение, внезапно промелькнувшее в уме, было им принято. Как только невеста его уедет из Трира навестить родных, он пойдет бродяжить вдоль Мозеля и Рейна. До конца каникул еще несколько недель.

Почти бегом Карл добирается до города, до Римской улицы. Он с ужасом замечает, как запылены его ботинки и узкие брюки, и предвидит укоряющий взгляд Каролины фон Вестфален, которая сейчас появится на пороге гостиной.

Старая баронесса не стесняется делать будущему зятю замечания и требует безупречной аккуратности в его туалете. Карл останавливается у ограды дома и лист-

ями платана сметает предательскую пыль. Потом поправляет галстук и старается распрямить изрядно пострадавшую во время материнской проповеди шляпу. Тщетно. Вздохнув безнадежно, молодой студент тянет цепочку колокольчика на дубовой двери вестфаленского дома и покорно ждет выговора.

— Наконец-то,— облегченно вырывается у Женни, когда Карл появляется на пороге ее кабинетика.

Беттина щурит глаза и сладенько улыбается:

— Не правда ли, мы встречались?

Карл кланяется. Известная писательница интересует его. Еще больше, чем ее литературная слава, интригует окружающих дружба этой женщины с Гете и будущим прусским королем. К тому же жена даровитого Арнима, стремившаяся прослыть Эгерией, считается отважной и свободомыслящей.

— Мы виделись у Мендельсонов-Бартольди,— подтверждает Маркс, думая о том, что во время кратких светских встреч ему никогда не удавалось поговорить с Беттиной.

Обернувшись к Женни и поймав ее вопросительный взгляд, Карл отвечает. У них вошло в привычку во всем отчитываться друг перед другом.

— Большую часть дня я провел у Монтиньи. Какой хороший, однако, старик! Старость не коснулась его. За всем выдающимся следит по-прежнему и сохраняет ясность и твердость духа, которым могут позавидовать молодость и зрелость. Я нашел в его лавке ворох последних французских газет и журналов... Париж занят, помимо всякой столичной чепухи, придворных интриг и сплетен, возвышений и крахов банкиров, также и самым интересным событием последних лет — майским восстанием под предводительством Бланки и Барбеса. Десятилетие заканчивается так же кроваво, как началось.

— Вы читаете газеты? — язвительно спросила Беттина.

Женни и Карл удивленно посмотрели на нее.

— Газеты созданы лишь для плебеев, пусть то будут плебеи духа. Гуманные идеи незыблемы, и нет надобности пачкать руки о грязные писания продажных журналистов, чтобы знать и чтобы требовать осуществления великих идеалов. Я политик чувства и сердца. Я живу в мире не таком, какой он есть, а каким я его создала. Мои идеалы — идеалы вечные.

— Но большинство человечества живет в противоположном, то есть реальном, мире... к тому же всякие идеалы имеют способность плешиветь и седеть от времени,— сухо отозвался Карл. Ему вдруг захотелось избавиться от общества столичной знаменитости.

— Как скоро начнется в Париже процесс арестованных? — спросила Женни и, покуда Карл подробно рассказывал обо всех перипетиях последнего восстания, внимательно смотрела на говорящего.

«Как изменился он за эти годы! — думала Женни.— Нет прежней юношеской припухлости щек, преждевременные морщинки уже пометили необыкновенный лоб — лоб мыслителя, уже легли веером вокруг глаз. Сколько отваги в глазах, силы, смеха и презрения! И эти черные, отливающие сталью волосы богатыря, как они красивы и могучи!..»

Мысли Женни уносили ее прочь от Трира.

«Душно, нечем дышать, нечем жить в современной Германии. Мы уедем отсюда, Карл и я. Но жизнь наша вряд ли будет тиха и безмятежна. Карл боец. Торжествующие филистеры, мракобесы, деспоты и лицемеры — его исконные враги». Женни перебирает в памяти долгие беседы с женихом. «Только тот, кто сделает наибольшее количество людей счастливыми, истинно велик»,— говаривал Карл. Узкий, мелкий эгоизм чужд ему. Ненависть к прусско-королевской тирании поведет его в первые ряды борющихся за свободу. Женни в этом уверена. «Неужели в Германии неизбежны кровавая борьба, революция?» — задает она себе вопрос. Вздрагивает и невольно закрывает глаза. И все-таки она чувствует, что только в этом просвет. О возможности революции она думает с тайным трепетом, с непреодолимым интересом. Карл столько раз говорил ей с восхищением о героях девяносто третьего года.

— Революция — это подвиг, но это смерть,— шепчет Женни. «Может быть, Германия пойдет своим, новым путем, может быть, Карл не бросит якобинского вызова всему, всему вокруг нас,— думает она и сейчас же резко осуждает себя: — Какие, однако, трусливые, мелкие чувства! Чего я боюсь? Разве не страшнее всего разъедающее душу прозябание. Карл прав, тысячу раз прав в своей ненависти к произволу, к неравенству, к торжествующей

пошлости. Я пойду за ним всюду, куда бы ни повела нас борьба за освобождение духа».

В десять часов зазвонили маленькие, с фарфоровой обезьянкой на пьедестале, часы на камине. Им ответили из нижней гостиной тремя тактами старинного брауншвейгского военного марша и десятью ударами стенные часы. Фальцетом и басом отсчитывалось время.

На площади Мясного рынка на ратуше десять раз кивнули головами десять глиняных епископов. Трир готовился ко сну. Наступил бюргерский час.

Карл грустно встал и послушно направился желать доброй ночи всем обитателям вестфаленского дома.

Беттина и Женни расцеловались на освещенной угрюмым ночником лестнице.

— До свидания, дорогая Беттина! До завтра, Карл, милый!

Дверь захлопнулась. Трирская летняя ночь — щедрый дар природы. Трудно спать, когда светят звезды, пахнут цветы и деревья, ошалевшие от тепла и безветрия. От ароматов и звезд прячутся трирские обыватели за толстыми гардинами и скрипучими жалюзи.

Наглухо заперты дома. Ночь существует для сна, для брачных перебранок, вялых, точно отмеренных ласк в темноте, за шторами альковов.

— О ночь! — патетически, простирая немолодые руки вверх, шептала Беттина.— О час мучительных дум и божественного созерцания собственной души, о небо!..

Карлу нелегко было удержаться от смеха. Напыщенность, ходульность вызывали в нем столько же веселья, сколько и злобы.

«Чего в ней меньше — простоты или ума?» — подумал он брезгливо.

— Вы говорили, госпожа Арним, о своих социальных идеалах. Если ночь не мешает вашим мыслям, я хотел бы узнать, что подразумевалось под этими словами? — спросил он, решительно обрывая спутницу на полуслове вдохновенной импровизации.

«Какой невежливый молодой человек!» — разочарованно решила Беттина.

С необычайной, почти артистической легкостью она переменила тон и соскочила со словесных высот на казавшуюся ей прозаически скучной землю.

— Я не скрываю своих идеалов,— наоборот, я хотела

бы сделать их достоянием всего человечества и повести людей за собой... Вы, конечно, знаете о моей дружбе с кронпринцем? На него, на этого богом высоко одаренного человека, будущего нашего повелителя, возлагаю я осуществление всего лучшего, о чем может мечтать Германия. Фридрих-Вильгельм Четвертый призван быть вождем народа. Он укрепит и поведет его на мужественный подвиг — таково призвание короля.

— Вы как-то сказали, я слышал, что только гений может быть королем...

— Да, и кронпринц имеет все данные, чтоб оправдать ожидания наши. Это будет гений на троне.

Карл громко засмеялся.

— Наивность! Признаться, и я раньше верил в возможность просвещенной монархии, но ведь это только сказка для детей и утешение для бюргерской беспомощности и лицемерия.

Карл искоса взглянул на профиль своей спутницы и смолк.

Беттина вспылила. По нечистой, серой коже ее лица пошли красные пятна. Жеманства ее как не бывало. Забывшись, она заговорила крикливо, почти исступленно. Ее божеством был кронпринц. Она вдохновенно вещала, как в гипнотическом трансе, предсказывая великое будущее желанному правителю.

— Я знаю, он уничтожит все преграды, воздвигаемые придворными и бюрократами. Он даст конституцию стране, он объявит религиозную свободу, он спасет просвещением бедных и невежественных, голодных, столь легко становящихся на путь преступления. Он отменит смертную казнь. Он вернет нам традиции великого Фридриха.

— Спасибо, теперь я знаю, что имеете вы в виду под словом «мои идеалы»,— сказал вяло Карл, когда Беттина наконец замолчала. Ему стало окончательно скучно с ней, и, под разными предлогами отказавшись от прогулки к скале Рейнграф, он распростился с госпожой Арним на пороге ее дома.

В июне сорокового года на престол вступил Фридрих-Вильгельм Четвертый. Шли недели и месяцы. В Берлине, как и по всей немецкой земле, ждали конституции. Новый повелитель помалкивал и принимал петиции с ничего не говорящей вельможной улыбкой.

Но вот наконец он нарушил гнетущее молчание и в речи к дворянам ответил на все чаяния доверчивых и терпеливых либералов.

— Я твердо помню,— начал молодой король и поправил корону на густо смазанной розовым маслом голове,— что перед всевышним господом ответствен за каждый день и каждый час своего правления. И кто требует от меня гарантий на будущее, тому я адресую эти слова. Господь дал мне корону. Лучшей гарантии ни я и никакой другой человек дать не могут. И эта гарантия прочнее, чем все обещания, закрепленные на пергаменте, ибо она вытекает из самой жизни и коренится в ней. И кто хочет довольствоваться простым, отеческим, древнехристианским правлением, тот пусть с доверием взирает на меня.

Дворяне и буржуа поклялись в верности и, взирая на короля, пятясь задом, покинули тронную залу. Так под лучами монарших слов растаяла их давнишняя мечта — конституция с королевского соизволения.

Карл речь монарха прочел в погребке Гиппеля между двумя кружками черного пива. Никакой иллюзии он не утратил, так как иных королевских слов и не ожидал.

Карусель истории двигалась по заранее обведенному кругу. Короли, впрочем, не казались Марксу решающей силой реакции либо прогресса. Его забавляло и радовало, что крикливые либералы вроде гуманной Беттины получили заслуженный щелчок. Думая о неизбежных разочарованиях, которые принесет Германии царствование еще одного Фридриха-Вильгельма и его клики, Карл курил одну за другой толстые сигары. Но вскоре мысли молодого человека перескочили на другое. Забот было немало в этом году.

С осени Бруно Бауэр находился в Бонне, куда нетерпеливо звал и Карла. Но Маркс оттягивал приезд. Причиной задержки была выпускная университетская диссертация, работа над которой уже близилась к концу.

Впереди перед Карлом все отчетливее вырисовывалась университетская кафедра. Он стоял на ней в пыльном почтенном парике, в темной тоге, которой предстояло выгореть от времени.

Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себя ученой карьере. Он мечтал взорвать реакционные систе-

мы философии и права новой истиной, гораздо более дерзкой, чем поход Бауэра на Евангелие.

Но старый либеральный вельможа Альтенштейн, министр просвещения, умер, и Бруно, а с ним и все юные дерзатели науки потеряли своего покровителя. Письма Бауэра из Бонна становились все раздраженнее. Его травили, и новый министр, убоявшийся еретической хулы Евангелия, отгораживался, ничем не хотел помочь ученому. Боннские богословы только того и ждали, чтобы с позором изгнать антихриста из своей среды. Маркс на примере своего друга смог увидеть истинное положение в стенах университета. Независимости прусского профессора в области научных исследований не существовало.

Бруно злобно жаловался своему юному товарищу. Письма приходили пропитанные желчью. Ученый был беспомощен и тонул в болоте под восторженное кваканье старых университетских жаб.

Но Бауэр не хотел сдаваться. Он знал, каким мужественным бойцом со всякой пошлостью являлся Карл, он знал, какое острое оружие — его разум.

«Приезжай, приезжай скорее, разделайся с несчастным экзаменом»,— умолял Бауэр, знакомя Карла со своей новой жизнью.

Невеселые откровения. Читая письма из Бонна, Маркс невольно вспоминал гибель Пугге, сытую дрему Шлегеля, томление преследуемого властями Велькера, пошлость студенческих дней.

«Назначенные мною лекции — критика Евангелия — уже вызвали у местных профессоров священный ужас; особенно скандальной они считают критику»,— сообщал Бруно.

«Многие студенты высказывались в том смысле, что в качестве будущих духовных лиц они не могут посещать моих лекций, так как я гегельянец... Но я ударю в критический набат так, что от одного страха им придется прибежать.

Тебя еще здесь нет, но я должен написать тебе заранее, чтоб больше потом к этому не возвращаться: по приезде сюда ты не должен говорить ни с кем ни о чем ином, кроме погоды и т. п., до нашей с тобой беседы.

Я придерживаюсь следующего принципа: высказываться вполне только на кафедре! Я проводил его этой зимой и буду придерживаться его впредь, так как это именно то единственное место, где можно в таком положении говорить от всей души. Кроме того, конечно: да здравствует перо! Но только не рассуждать с этими людьми о более серьезных вопросах: они их не понимают! Или же они ограниченны и предубеждены...

Здесь, как и в других местах, нам придется играть некоторое время оппозиционную роль, и скоро это должно еще углубиться в сравнении с тем, как дело обстоит теперь.

О том, в каком отношении философия находится к государству, они не имеют ни малейшего представления; только пиетисты имеют тонкий нюх — некоторый род страха — и бормочут между собой о предстоящем скоро общем отречении злых. Они предчувствуют кризис, как звери предчувствуют природные катастрофы, но к этому нельзя относиться серьезно, так как эта воркотня представляет собой давно пережеванную церковную формулу.

Здесь мне стало также ясно и то, что я в Берлине не хотел еще окончательно признать или в чем признался себе лишь в результате борьбы,— именно сколько всего должно пасть. Катастрофа будет ужасна и должна принять большие размеры. Я готов почти утверждать, что она будет больше и сильнее той, с которой в мир вступило христианство...

Когда ты приедешь в Бонн, это гнездо привлечет, может быть, всеобщее внимание. Приезжай, торопись!»

Покончить с Берлинским университетом, разделаться с последними экзаменами восьмого семестра уговаривал Бруно Маркса.

Настаивать, однако, было нечего. Карл и сам хотел поскорее снять студенческий мундир и получить докторскую степень. Он готовил диссертацию, рассчитывая защитить ее в Йене, а не в прусском университете, на который быстро спускались сумерки реакции, и добиться права читать лекции вначале лишь в качестве приват-доцента.

Но не в правилах юноши было, взявшись за какое-нибудь дело, выполнить его кое-как. С самых ранних лет

он никогда не испытывал радостей легкого удовлетворения,— так велики, неиссякаемы были его потребности в знании, таким зорким глазом наградила его природа.

В свои двадцать два года он не боялся никаких препятствий и никогда не отступал.

Наука, предмет, заинтересовавший Карла, поглощали все его внимание. Он, как великие астрономы, углубившиеся в изучение небесного свода, в погоне за одной звездой открывал тысячи мелких светил.

Но это внезапное обилие открытий убеждало его не в том, что он все постиг, а в том, что он нашел лишь одну из бесконечно малых величин всей истины. Работоспособность Карла возрастала с каждым годом его жизни, и вместе с ней росли его любознательность, желание все охватить и понять. Для своей диссертации он избрал разработку темы о различиях между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. Он предполагал, начав с этого, разработать впоследствии весь цикл философии стоиков, эпикурейцев и скептиков. Античный мир с первых дней работы Карла в Берлинском университете заинтересовал его. Маркс поклонялся Эсхилу и превозносил вольнодумца Эпикура.

В эту же пору напряженной работы над диссертацией Карл принялся изучать итальянский язык.

Кёппен и Рутенберг со времени отъезда Бауэра по-прежнему почти ежевечерне распивали бутылочку рейнвейна в обществе дорогого Карла Генриха из Трира. Кёппен был немало удивлен, найдя на столе приятеля несколько итальянских грамматик.

— Ты ненасытен, как акула. Зная столько древних и новых языков, можно было бы сделать передышку. Право, трудно понять, сколько вмещает одна человеческая голова.

— Ну, за эту голову я отдал бы сотню голов наших общепризнанных умников,— сказал Адольф Рутенберг, который по-прежнему с изумлением взирал на движение Карла вперед.

— Без знания языков трудно знание вообще,— ответил Маркс, поморщившись.

Он не любил похвал, потому что слишком хорошо знал сам подлинную цену своим достижениям. Стремление к самосовершенствованию было так велико в нем, и цели, еще не осознанные до конца, но уже внутренне

намеченные, были так велики по сравнению с уже достигнутым, что он не придавал большого значения добытому сегодня. Карл жил будущим. Настоящее являлось лишь ступенькой, пробегаемой торопливо.

— Без знания языков я не могу уловить подлинный дух культуры, дыхание нации, историю народа. Зная латынь, я решил узнать эволюцию античного языка, умирание его и рождение нового. Язык Данте, Петрарки не менее великолепен, чем язык Цицерона, Брута и братьев Гракхов. И разве Дидро, Руссо, Бальзак не кастрированы в немецком переводе?

— С твоей памятью и терпением ты легко усваиваешь чужую речь,— с обычной чуть уловимой завистью сказал Адольф, которому трудно давались иностранные языки.

— Каждый последующий изучаемый язык дается мне легче предыдущего. Но самое главное — разобраться во внутренней языковой сущности, в его происхождении, развитии и структуре. Я люблю с малолетства филологию. Немецкая грамматика Гримма, право, не менее занимательна, чем книги Кювье о мамонтах и ихтиозаврах. Тут, как и там, по косточке воспроизводится диковенный скелет.

— Но, одолев уже с полдюжины языков, от рейнского диалекта ты так-таки не можешь избавиться и говоришь с нами все еще как добрый мозельский винодел,— добродушно подзуживал Кёппен.

Карл порозовел от смеха. Он сам знал про этот свой, по мнению истых берлинцев, недопустимый порок.

— И более того,— досказал тут же Рутенберг:— Карл в одиночестве читает вслух монологи Гете и с их помощью пытается отучиться от неправильных ударений.

— Не глотать слов и не шепелявить,— весело признался Карл.— Но, право, даже китайские иероглифы дались бы мне легче, чем это. Все же я добьюсь удачи, дайте срок.

— Добьется, как всегда,— уверенно произнес Адольф.

Зимой в Берлине начался долгожданный карнавал, длившийся с Нового года почти до самой пасхи. Карл любил посещать в это время публичные народные балы, где до рассвета продолжались пляски и сутолока. Сам он не танцевал; забравшись на хоры, он курил, пил с друзьями и наблюдал разнообразную толпу.

Но в катанье на санях, затеваемом студентами, он принимал самое деятельное участие.

Обычно зимний сезон открывал сам наследный принц. Весь город высыпал на улицу, не столько чтоб глазеть на жокеев, скачущих впереди разукрашенной королевской процессии, сколько ради русских бородатых кучеров и казачка в курточке, лихо помахивающего вьющимся кнутом.

— Смотрите!— кричат в упоении немки с тротуаров.— Русские! О господи, какие красивые дикари!..

Как бы пародируя великосветский санный поезд, студенты отправляют свой. Чтобы в каждую пару саней посадить по парочке, половина из них наряжена в женские костюмы.

Лишь немногие приглашают с собой своих подружек. С ними несподручно дебоширить и проказить напропалую.

Студенты разодеты в вывороченные шубы, в шлафроки и чепцы; у иных страусовые перья воткнуты под картузы или опрокинутые кухонные горшки. Гиканье, визг, песни оглашают улицы. В костюме знакомой прачки, с подушкой, подложенной на живот, на козлах глубоких саней восседает Кёппен. Рядом с ним Маркс, в плаще наизнанку, в поварском колпаке, со щеткой наперевес и с медной сковородой вместо гонга. Одуревшая и напуганная лошадь поводит ушами и то бежит галопом, то упрямо не двигается с места. Карл ударяет по сковороде ухватом и размахивает щеткой. Флегматичный владелец саней, пересаженный с козел на заднее сиденье, вяло машет бичом. Сани катятся за город. Но на повороте Маркс неловко дергает вожжу. Что-то угрожающе скрипит.

— Держись!— кричит Рутенберг и падает из саней.

Запутавшись в плаще, выронив щетку, за ним вываливается и Карл. Им нелегко выкарабкаться из снега и липкой грязи.

Крича и чертыхаясь, они наконец добираются, вполне довольные случившимся, к поджидающим их в переулке саням. И катанье продолжается далеко за полночь.

Зима в Берлине — веселая пора.

И снова чередуются: занятия итальянским языком, диссертация. И еще вот что: мысль написать книгу о гермесианизме — учении хитроумного доцента Гермеса,

которое ловко переплело мистическую церковную догму с кантовской философией.

Во время пребывания в Бонне Карл внимательно следил за угодливым ученым и рвался в теологической схватке обезоружить его. Соблазн все усиливался. Ко времени окончания Берлинского университета план книги созрел, тема была давно выношена, перо отточено...

Лето этого года случилось душное, Карл предпочитал писать по ночам. Днем, в жару, валялся на постели, читая, а под вечер шел в докторский клуб либо на свидание с Фридрихом и Адольфом куда-нибудь в подвальный кабачок, на террасу ресторации или пивной.

Кёппен, с которым Карл был с некоторых пор особенно дружен, читал ему там вполголоса отрывки дерзкого памфлета, который готовил к годовщине рождения «старого Фрица»— короля Фридриха Прусского.

Книга эта должна была быть посвящена Марксу.

Охлаждая разгоряченное жарой горло мороженым и пивом, Карл внимательно слушал товарища. Развязные девицы с уродливыми прозвищами «Кляча», «Коза», «Телка», которыми кишмя кишели в этот час кабачки и которые променяли прилавок или фартук горничной на соблазнительно яркое тряпье гризеток, шныряли между столиками.

Бывали здесь и временные подруги студентов, щеголявшие своей ученостью. Студенческие речи и зубрежка университетских конспектов вводили их не только в философию любви, но и в философию Шеллинга и Гегеля.

Карл уже не удивлялся, как некогда, если какая-нибудь из них заговаривала с ним по-гречески или принималась разъяснять и оспаривать основы римского права либо философию самопознания.

И когда худосочная девица с сильно выпирающим на шее зобом, которую Рутенберг нежно называл «Дощечка», объявила себя знатоком френологии, Маркс покорно разрешил ей пощупать и свою голову. Девица долго водила худыми пальцами по его черепу; затем, фамильярно дернув Карла за уши, объявила его безусловно гениальным.

— Ты еще удивишь мир,— сказала она хрипло.

Карл встретил это заключение звонким смехом, но попросил, однако, объяснить ему значение выпуклостей на макушке и висках.

За прочтение лекции Доска запросила две порции мороженого, сигару и бутылку рислинга. Карл внимательно слушал ее, но она оказалась столь непомерно говорливой, что Рутенберг с трудом спас от нее своих товарищей.

Кёппен смог наконец продолжать чтение своего памфлета, который, по его замыслу, должен был прозвучать, как набат, призывающий назад, к счастливой просветительной поре минувшего столетия.

В противовес мракобесию червяков на двух ногах, без убеждений, без совести, не умеющих ни любить, ни ненавидеть, Кёппен называл доброго, просвещенного короля, мнимого друга Вольтера и вольнодумствующих атеистов. Не обращая внимания на гудящую толпу, на грохот посуды и музыку, Кёппен читал, все более увлекаясь, и, как обычно, все настороженнее становился Карл. Вопросы его кололи автора.

— О, черт!— воскликнул Карл, не удержавшись снова.— Уверен ли ты в том, что старый развратник из Сан-Суси, унизивший великих французских энциклопедистов до роли своих шутов, уверен ли ты, что он достоин такой апологии? Мне трудно оспаривать тебя,— продолжал он далее,— история покуда не впустила меня в свои катакомбы, но короли всегда кажутся не столько философами, сколько в лучшем случае опытными прохвостами. Иное дело — философия восемнадцатого века: ей, конечно, мы обязаны многими прекрасными мыслями.

Но Кёппен был убежден в своей правоте и потому несговорчив.

— Великий Фридрих — великое исключение. В нем король никогда не отставал от философа.

— Проверим,— сказал Карл. Это суровое обещание означало для него бесконечно много: сотни книг, бессонные ночи, выписки, конспекты, сопоставления, бессчетные мысли, новые открытия.

«Проверим!»

Карл любил беседы с многознающим Кёппеном. Одаренный историк из реального училища в Доротеенштадте с одинаковой страстностью рассказывал о Будде, цитировал священные книги Вед и патетически декламировал наизусть великолепные речи Робеспьера, Мирабо и Демулена.

Он распевал грубовато-шутливые песни французской революции и, подражая неутомимому раскачиванию

баядерок, гнусаво читал нараспев монотонные, ритмичные молитвы браминов.

Нередко он принимался рассказывать северные мифы, приводя Карла в неописуемый восторг прекрасными образами и мудростью народных изречений.

— Вот она, колыбель прекрасного! — говорил Маркс.— Язык родился в пещере, в землянке, в деревне. Эпос не может быть превзойден.

Но Фридрих Кёппен был не столько ученый, сколько артист. Слишком поверхностный, он запоминал лишь факты, не умея делать выводов и обобщений. Карл же стремился узнать историю — науку. Он принялся один изучать прошлое народов и стран.

Как несколько лет тому назад в Нимвегене, перед ним стройным рядом кладбищенских плит встали минувшие годы Соединенного Нидерландского государства, так теперь Европа античная, средневековая, современная, десятки погибших и возрожденных цивилизаций рассказывали последовательно ему о своих мятежных судьбах. Египет, Македония, Византия и вольная Испания одинаково приковывали к себе его неутомимые глаза. И снова — открытие за открытием.

Прошлое планеты, которая с некоторых пор перестала Марксу казаться необъятной, необозримо большой, лежало как труп на столе анатома. Карл скальпелем вскрывал покровы и мускулы. В прошлом он искал разгадку и движущую силу мирового процесса и вехи будущего. Это было увлекательное занятие, обогащающее пытливый мозг. Книги, которые служили ему одновременно инструментами и препаратами, редко подвергались более беспощадному обращению. Он зачитывал их до дыр, он исчертил их высохшие, посеревшие поля, исписал обложки и заглавные листы.

Быстро покончив с издавна знакомой историей древности, он долго странствовал по средневековью.

Римские папы, инквизиция, поход Лютера увлекли его не меньше, чем расцвет французского феодализма, купеческий разгул английских королей и татарское царство на Востоке.

— Кто смеет хулить жизнь? — в упоении спрашивал Карл Рутенберга, когда тот уныло хлестал при нем вино в поисках исхода, спасения от разъедающей скуки.— Кто осмелится объявить, что мир неинтересен? Да, если

человек заблудился в подворотне своего дома, своего жалкого *я* — пусть склонится над булыжником и задумается над тем, что этот камень видел за сотни лет своего существования. У жизни есть лишь один недостаток с нашей точки зрения — она коротка.

Давно миновало то время, когда Карл, самый юный из членов докторского клуба, чувствовал себя менее опытным в вопросах, которыми жили окружающие молодые ученые, юристы, доценты. Ни вожак кружка Бауэр, ни Кёппен, ни даже самонадеянный ревнивый Альтгауз не только не считали Карла младшим, но даже открыто признавали его превосходство. Рутенберг иногда пытался восставать, в особенности когда бывал навеселе, но обычно даже и не начинал спора и торопливо присоединялся к каждой мысли, высказанной «трирским чертенком».

Старый безалаберный бурш искренне привязался к юноше, и они проводили немало часов, измышляя проказы, мистифицируя серьезного Кёппена, распевая «Gaudeamus» и рейнские песни.

В Карле таился проказник, еще сызмальства не раз возмущавший покой Виттенбаха.

Когда из Бонна прикатил наконец в Берлин Бруно, в первый же вечер в Шарлоттенбурге решено было задать пир и повеселиться до утра.

После доброй попойки, плясок и криков, выдаваемых, впрочем, за пение, нехмелеющий и неуемный Карл предложил отправиться на окраину и закончить ночь в какой-нибудь пивнушке, куда на рассвете по пути на базар заезжают крестьяне. Это был, по мнению всей лихой компании, превосходный план. К тому же все члены кружка были налицо. Редкая удача.

Кроме Карла, братьев Бауэров, Рутенберга и неизменного Кёппена, в Шарлоттенбург явились надменный, разгоряченный чахоткой и неудовлетворенным тщеславием Альтгауз, озорной юный Науверк, неисчерпаемый в болтовне Буль, восторженно-напыщенный эстет Карл Кердер и даже сам профессор Петер Феддерсен Стур, датчанин по рождению, пруссак по взглядам, желчный, скучающий оригинал, тяготеющий к молодым гегельянцам на словах и угождающий мракобесу Шеллингу на деле.

Итак, решено было отправиться в пивную.

Идя по пустым улицам, не удержались от того, чтоб не покружиться в хороводе вокруг столбов и не разбить

фонаря. Карл был большой мастер попадать камнем в самый фитиль. Эдгар Бауэр не уступал ему в удальстве, и оба распалились до того, что окатили из забытой в чьем-то палисаднике лейки чрезмерно замечтавшегося Адольфа.

Наконец добрались до пивнушки, подстерегавшей путников у самого городского шлагбаума. Хозяин дремал за стойкой, какой-то подмастерье хмуро размышлял над пустой кружкой пива, положив большую седеющую голову на красные коротколапые руки. Кафтан его был прорван на спине и локтях, и брюки, заплатанные на коленях, говорили об их терпеливом долгом служении и скитаниях в непогоду. Два крестьянина, возы которых стояли на улице, спали, посапывая, широко раскрыв рты, на скамьях. На полу, на столах, на стойке было мокро и грязно.

— Проснитесь, потомки великих германцев! Восстаньте и поднимите чаши во славу народа!— завопил Эдгар, перепугав мирно отдыхающих посетителей.

Трактирщик от неожиданности свалился со стула, исчез под прилавком, крестьяне шумно спустили со скамей ноги и поспешно встали навытяжку, думая, что это полицейский налет.

— Спокойствие, братья! То не враги, то друзья перед вами!— продолжал декламировать Эдгар, весьма нетвердо державшийся на ногах.

— Пива!— распорядился деловито Бруно.

— За свободу, за равенство, за братство!— провозгласил Карл, когда десяток бутылок появился на стойке, и налил всем присутствующим по кружке. Крестьяне испуганно и неумело чокались с веселой ватагой. Даже сумрачный подмастерье, несмотря на упрямое нежелание, был вовлечен в попойку. Ему пришлось не только выпить с каждым из пришедших, но, кстати, и рассказать свою биографию, краткую историю немецкого бродяги поневоле, ищущего труда, тоскующего по дому и семье, которых не было, нет и которые вряд ли смогут у него быть.

— Внемли мне, труженик!— приставал Бауэр к подмастерью, дергая его за вылезший из протершегося рукава острый темный локоть. — Время становится все страшнее и величественнее. Пруссия представляет собой сложнейший клубок противоречий. Протестантизм и католическая церковь...

— Да отцепитесь вы от меня! — Рабочий в сердцах плюнул.— Я не пьян, как вы, господин.

Но Бруно не отпускал обидевшегося на непонятные его речи слушателя.

— Верь, философ возглавит борьбу, в то время как государство упустит руководство...

Карл пришел на помощь обозлившемуся мастеровому и занял его место перед профессором.

— Философия! — сказал он насмешливо, мгновенно отрезвев и снова став вполне уравновешенным. — Пора стащить это парящее в небесах чудовище на землю. Я говорю это не впервые. Довольно воевать только с религией, которая и так обречена стать прахом на кладбище человеческих заблуждений! Философия должна стать оружием практической борьбы.

Бруно был слишком пьян, чтобы спорить, и Маркс разочарованно отошел к Кёппену, который, вскочив на скользкий стол, собирался отплясывать тирольский пастуший танец.

— «Карманьолу»! — закричал Карл и схватил под руку Альтгауза.

Рутенберг затянул песню. Попáдали табуреты. Крестьяне бочком пробирались к двери. Трактирщик готовил хитроумный счет с длинным перечнем разбитой посуды...

В низкую стеклянную дверь заглянул рассвет. Эдгар спал рядом с подмастерьем в углу пивной, за печкой.

На улице ночных сторожей сменяли дворники с метлами. Пир подходил к концу. Взявшись за руки, приятели возвращались в Шарлоттенбург, чтоб до полудня выспаться в гостеприимном доме Бауэров. Так кончилась ночь.

Диссертация, которую спустя день Карл показал Бруно всего лишь в черновике, не получила одобрения. Бауэр ожесточенно раскритиковал даже извечные стихи Эсхила в предисловии. Что-то в работе Маркса мгновенно и глубоко уязвило профессора теологии.

— Прометей, опять Прометей! Самый благородный святой и мученик в философии, сказано у тебя. Зачем этот вызов?

— Но какие это неповторимые строки, — прервал Карл, — какие слова! Они звучат как гром! Голос грома бессменен в веках...

Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.

Разве я не прав, когда говорю вместе с Эпикуром: нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах?

Карл стоял, откинув назад большую гордую голову. Бруно почувствовал невольно его силу, его правоту, но не уступил.

— Нет и нет! Зачем дразнить гусей теперь, когда ты не знаешь, как устроится твое будущее? Ты не должен выходить за пределы чисто философского развития. Следует поступиться кое-чем ради кафедры, ради возможности, наконец, жениться и устроиться профессором.

— Что?

Бауэр не был знаком с разгневанным Марксом, он никогда доселе не видал припадков его неодолимой вспыльчивости. Бруно растерялся.

— Что?! Ты предлагаешь мне угодничество, выслуживание? Да это — человеческий недостаток, внушающий мне наибольшее отвращение. Пресмыкаться, лгать, раболепствовать ни в частной, ни в общественной жизни я не буду. Я не хочу прятать свои взгляды под плотной философской формой, загадочной, впрочем, только для глупцов.

— Ты еще не знаешь всей боли комариных укусов. Когда я предостерегаю, во мне говорит осторожность и снова осторожность. Займи кафедру и затем бросайся в бой.

— Чем вооруженный? Графином и тряпкой от грифельной доски? Нет. И цитировать Библию я не стану в угоду филистерам и трусам. В Эсхиле я полюбил не только величавого поэта, но и борца за человечество. Его Прометей — неповторимый символ.

— Как бы тебе самому не стать Прометеем, пригвожденным к скале.

— Ты мне чрезмерно льстишь.

— Я вижу, Карл, практическая деятельность отвлекает тебя в сторону от больших идей все дальше. Бессмыслица! Ты — прирожденный ученый. Теория к тому же является в настоящее время сильнейшей практикой, и мы еще не можем знать, в какой мере мощь ее будет расти.

— Но со смертью Альтенштейна исчезло самое заманчивое в профессорской деятельности, искупавшее немало теневых ее сторон. Нет более свободы в изложении

философских взглядов. Ты сам подтвердил это своим испугом перед стихом Эсхила. К тому же с назначением Эйххорна министром, — Эйххорна, который силен задом, но не головой,— вряд ли я добьюсь профессорского звания, а добившись, все равно прослыву сатаной и буду предан анафеме.

— Однако ты хочешь добиваться диплома?

— Конечно, я не бегу от борьбы. Я постараюсь напечатать диссертацию именно с этим же еретическим предисловием: пусть негодуют ханжи и невежды,— на то и рассчитано. Затем поселюсь с тобой в Бонне. Мы объявим пришествие Страшного суда... Мы будем издавать газету. Поверь, это лучшая трибуна, какая еще осталась в Пруссии для вольнодумцев, для неустрашимых атеистов. Как видишь, более чем когда-либо, я рвусь в бой...

— Увы, ты так мало любишь чистую науку. — Лицо Бруно приняло брезгливо-злое выражение. — Твоя диссертация наносит вред не только одряхлевшим баранам безнравственной гегелевской школы, но и нам, молодым.

Карл равнодушно пожал плечами. Критика Бруно его не трогала, он был слишком убежден во всем том, что отстаивал, чтоб колебаться.

— Каждый из нас свободен в выборе путей для своих научных выводов. Не так ли? — ответил он только, торопливо закуривая и прячась в сигарном дыму. — Философия должна стать средством преобразования действительности, она должна направить острие своей практической деятельности против прусского государства, и ручаюсь тебе, что в навозе гегелевского учения, в огромном нагромождении противоречий мы можем найти жемчужное зерно истины, меч Нибелунгов, который ищем,— сказал на прощание Карл недовольному Бауэру.

Они расстались менее дружелюбно, чем когда бы то ни было доныне, и впервые после нескольких лет тесной дружбы каждый отгонял от себя мысль о том, что не только равнодушие, но и вражда может разъединить их навсегда.

«Был ли он когда-нибудь полностью с нами? — спрашивал себя самолюбивый Бруно. — Такого не обуздаешь: ретивый и властный ум».

«Он не прав и путает, как всегда. Нет, это не боец», — выносил приговор Бауэру Карл, оставшись один.

Но размолвка их на этот раз была все же непродолжительной. Слишком много оставалось общих целей и планов...

Бруно вернулся в Бонн, Карл заканчивал диссертацию и сдавал последние экзамены. Будущее казалось ему теперь более отчетливым, чем когда-либо до этого. Докторское звание обещало самостоятельный заработок. Наконец-то кончится затянувшееся жениховство, все более гнетущая разлука с любимой. Отсрочка брака с Женни порождала непрерывные недоразумения с окружающими. Не щадила невесты сына озлобленная Генриетта Маркс, трирские кумушки и ханжи наперебой измышляли истории, тревожившие семью Вестфаленов. И любовь молодых людей подвергалась все большим испытаниям, пробе на огне человеческого злословия и клеветы.

«Скорее увезти Женни подальше от гнусного болотца — Трира!» — мечтал Карл. Препятствия лишь горячили его, укрепляли волю. Он влюблялся все неудержимей. Он изнемогал от ожидания, ревновал, сомневался и снова верил и ждал, покорный обстоятельствам, но готовый бороться до конца, до победы.

Мог ли он обречь ее, Женни, на нищету, на студенческие лишения? Нет. Но покупать ценой подлости, уступки сытое профессорское место он не мог даже ради нее. Этого не допустила бы и сама Женни. Она требовала от него силы воли и верности не только ей, но себе самому. Карл метался, но, как всегда, сомнения только подстегивали его работу.

В дни разъедающего душу кризиса он кончает Берлинский университет и отсылает диссертацию декану философского факультета в Йену. Он смело штурмует жизнь и выходит победителем.

Гимназия, студенческая скамья — унылая неизбежность — позади. Карл не хочет быть ни жалким Пугге, ни беспомощно брюзжащим Велькером, ни даже академическим повстанцем Гансом.

На прусской университетской кафедре нет места для неукротимого ума и дерзкой речи доцента Маркса. Но газета — подходящий барьер для поединков с реакцией. Перо не худшее оружие... Карл мечтает поскорее начать сражение. Время приспело. Ничто не удерживает Маркса более в Берлине. Но прежде чем броситься в

первую схватку и тем самым во многом определить свою дальнейшую дорогу, он хочет повидать Женни, получить ее напутствие.

В этот раз он отправляется в Трир не прямым путем, а с остановкой во Франкфурте-на-Майне. Там тетка Бабетта — добрейшее существо, нежно любящее детей покойного брата,— готовит ему родственный прием. Но не встреча с родными привлекает Карла. Он давно по достоинству оценил условное значение родства.

Ему хочется снова увидеть старую столицу аристократов и денежных магнатов, средневековый город, взрастивший гений Гете и сарказм Бёрне, родину нескольких Ротшильдов и десятков тысяч жалких нищих.

Карлу не сидится в зажиточно-уютном домике Бабетты, и под разными предлогами он старается улизнуть от ее неустанного гостеприимства и забот. Он убегает на улицы города и проводит дни и вечера в толпе. Франкфурт — необычайный город. Во всем он разный. Рядом с широкими мощеными площадями лежат в столетнем сне средневековые лачуги, деревянные логовища давно сгнивших несчастливых алхимиков и безрадостных мудрецов. В больших ресторациях, в танцевальных залах по вечерам пляшут кадриль и сводящий с ума всю Европу бесшабашный канкан. Купцы, банкиры с отвислыми животами и подбородками веселятся вовсю. А рядом с богатыми площадями, за высокой коричневой каменной стеной плачут изможденные еврейки в париках с нитяными проборами, плачут и причитают над своей жизнью, как над гробом ребенка. Навстречу Карлу попадается пахнущий просмоленными бочками пристани человек в рваной самодельной обуви и в шапке, от которой остались один околышек да просаленный ободок. За пару грошей на табак и пиво он предлагает перевезти Маркса на первой попавшейся, привязанной к столбу лодке на другой берег Майна, готов поступить к нему слугою, даже спеть ему гессенскую песню или что-нибудь проплясать. Он был пьян вчера и мучится тем, что не может опохмелиться. Но сегодня он трезв. Сатана тому свидетель, он слишком трезв!

Карл отказывается от всех предложений безработного бродяги, но, не желая обижать его милостыней, просит указать, как пройти к великой гордости города, к домику Гете. И Карлу не кажется странным, что его новый зна-

комец, ничуть не удивившись, ведет его в глубь города, бренча полученными деньгами и напевая песню, забавные, злые слова которой заинтересовали Карла. Карл просит повторить их, старается запомнить припев.

Так идут они рядом, распевая, довольные друг другом, по узеньким улочкам, где дома стоят друг против друга на таком расстоянии, что местные Маргариты могут целовать подстерегающих их в напротив расположенных окнах Фаустов.

— Здесь все: и гетто, и круглые площади феодалов, и порт, обслуживаемый нищими, и биржа, и игорные дома,— все это дело рук самого Мефистофеля,— говорит Карл.

Его спутник поет громче о черте, подкупившем сейм.

Наконец они сворачивают в темный переулок и останавливаются у стеклянной замусоленной двери.

— Вот,— говорит бродяга,— я привел вас и могу похвалить за верный нюх. Лучшего кабака, чем кабак господина Гетера, нет во всем Франкфурте, да и на всем Майне не найдется, клянусь в том сапогом великого Лютера!

Едва сообразив, в чем дело, Маркс заливается ему одному присущим, заражающе-звонким, широким ребяческим смехом. Он вполне доволен недоразумением.

«Отличный урок недомыслию! — осуждает себя Карл. — Поганое ученое чванство! Мы говорим о тьме, о цепях невежества, в которых томятся Германия и ее лучшие сыны — народ, но что знаем мы об этом народе? Немецкий грузчик, читающий Гете,— да ведь это было бы осуществлением всех идеалов, итогом великих кровопролитий и революций, которых еще не было! О, чванная наивность!»

— Ну, что же вы размышляете? Тут, право, недорого.

Не желая разочаровывать своего провожатого, Карл, ничего не объясняя, толкнул дверь. Задребезжал колокольчик.

В удушливом табачном дыму едва различимы были люди: извозчики, мастеровые, сторожа, грузчики, бродяги. Сухопарый хозяин разносил пиво и вино и охотно зажигал толстые трубки клиентов. Он болтал без умолку, уверенно и бесстрашно, к удивлению Карла, бранил городские порядки, нового короля, увеличившего налоги и надувающего народ не хуже, чем его полоумный отец.

Все столы были заняты. Карлу удалось присесть на кончик скамьи подле волосатого старика, который немедленно представился новому соседу, горделиво объявив, что по профессии он — щетинщик. В доказательство он показал всем свои насквозь исколотые, обезображенные багровые руки в шишках и неизлечимых волдырях, поясняя, что выдергивать щетину из свиных туш дело трудное и он желает такой работы черту, попам, банкирам и всякой иной сволочи в орденах и при капиталах. Другой сосед Маркса оказался трубочистом. Уроженец Швейцарии, он всего лишь месяц, как перешел немецкую границу. От него Карл услыхал о Вейтлинге, имя которого мельком уже знал по Берлину. Трубочист был занятным собеседником. Это был весельчак, балагур и крепкий пьяница, фатовато одетый в желтую рубаху с красными пуговицами и шнуром. Он с первого слова понравился Марксу. Было только нечто странное в его лице, благообразном и чистом. Не сразу можно было объяснить себе причину. Лицо трубочиста оказалось лишенным какой бы то ни было растительности: отсутствовали не только усы, но и ресницы, даже брови. На голове же вились краснорыжие кудри. Он походил на каноника, и что-то послушнически настороженное было в его глазах. Всматриваясь внимательнее, Карл заметил следы глубоких ожогов на лице рабочего. Он постеснялся расспрашивать, но догадался, что во время странствия по трубам бедняга стал жертвой пламени и хоть спас зрение, но лишился ресниц, отчего глаза и лицо приобрели столь странное выражение и неприятную гладкость и обнаженность.

В пивной пели. Карл с трудом разобрал слова, но, различив, стал повторять их, желая навсегда запомнить. Он никогда раньше не слыхал такой песни.

Когда несчастных кровью
Окрасилась Висла,
Рыдали мы в подушки,
Пухли у нас глаза.
Дрожали пред царем мы,
Но истребить злодея —
Вот это был наш долг!

— «Вот это был наш долг!» — догоняя хор, подтягивал Карл. — Чудесная песня!

Наш долг был действовать,
Не речи говорить.
Ударить, когда сердце кровью обливалось,
И бодрствовать, не зевать.
И требовать решительно, где мы молчали:
Уж лучше было б нам сломиться, но не гнуться,—
Вот это был наш долг!

Трубочист настойчиво проповедовал учение Вейтлинга.

— Ребятки! — говорил он, смачно жуя хлеб и запивая его пивом. — Правду на земле установим мы, оборванцы, нищие... Кто захочет умереть за свободу и наше благо? Те, кто испил горькой водицы, кто наголодался, у кого живот пуст, а голова горяча. Кто сыт, тот терпелив.

— Твоя правда,— согласились вокруг,— фабричный рабочий не пойдет в тюрьму.

— Он и так в тюрьме,— несмело вставил Карл.

— Ну ты, юнец, помалкивай! Не нашей ты жизни.

— Кто тюрьмы не попробовал — смелости не набрался. Вор и есть самый честный человек. У него ничего нет, он за бедняка страдает. Кому терять нечего, тот — герой. Не тот вор, кто хочет хлеба и равенства, а тот, кто скопил миллионы.

— Правда,— согласились все. — Большие слова он говорит.

Разговор продолжался в том же духе и звучал для Маркса как откровение.

Большими ноздрями короткого носа он вдыхал тяжелый, густой воздух, запах пота, нищеты.

Когда там, за Рейном,—

затягивал щетинщик снова,—

Народ сломал оковы,
Во Франкфурте-на-Майне
Раздался эха гром.
Вздернуть на столб фонарный
Союзную казарму —
Вот это был наш долг!

— «Да, это был наш долг!» — подхватили все.

Хозяин и трубочист, видимо, издавна были коротко знакомы. Карл заметил, как они перемигивались и, склонившись друг к другу, как два опытных заговорщика, совещались за спинами посетителей.

До поздней ночи просидел Маркс в необычайной пивной Гетера, приглядываясь и прислушиваясь к окружаю-

щему. Он был рад случаю, уведшему его в этот вечер прочь от дома Гете. Там ожидали его возвышенная религия, поклонение гению,— тут он нашел настоящую жизнь, поразительную ежедневность сотен тысяч неприметных и чужих людей.

На прощание Карл шутками и расспросами сумел так расположить к себе сметливого трактирщика, что получил от него в полутьме у двери тщательно сложенный, зачитанный грязный листок, озаглавленный:

*«ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ*

Мы, немецкие рабочие, хотим вступить в ряды борющихся за прогресс. Мы хотим получить право голоса при общественном обсуждении вопросов о благе человечества, ибо мы — народ, в блузах, куртках и картузах, мы самые полезные и самые сильные люди на всей божьей земле...»

Карл настолько увлекся чтением, что, отыскав уличный фонарь, льющий мертвенно-синий свет, поднял листок и, прижавшись к столбу, продолжал разбирать засаленные, кое-где прорванные строчки.

«Мы хотим поднять свой голос во имя нашего блага и блага всего человечества, и пусть убедятся тогда все, что мы отлично понимаем свои интересы, и хотя не умеем выражаться по-латыни и по-гречески и не знаем мудреных слов, но на чистейшем немецком языке мы сумеем вам прекрасно рассказать, где жмет нам сапог. Мы хотим тоже иметь голос, ибо мы живем в девятнадцатом веке, и до сих пор мы нашего голоса не подавали. Мы хотим иметь свой голос, чтобы прокричать в уши власть имущих справедливые жалобы».

Карл дочитал. «Какая мощь и уверенность в этих словах! Это голос хозяев, подлинных хозяев планеты. Это пафос плебса, пролетариата...»

Он стоял, нахмурив брови, раздувая, как только что в кабаке, ноздри удивительного, властного носа, сильного носа, такого же, какой был на лице Сократа. Мир лежал перед ним, как загадочный объект на столе ученого. Холодно и смело он изучал строение объекта, смутно желая найти подтверждение своим научным догадкам.

Не задерживаясь более во Франкфурте, Карл поехал дальше.

Снова Трир, опостылевший Трир, куда он хотел бы не возвращаться более, если б можно было поскорее увезти с собой Женни прочь из маленького, загнивающего, душного городка.

Только в лавке постаревшего Монтиньи, среди книг и терпко пахнущих листов газет и журналов, отдыхает Карл. Да еще в мезонине у невесты.

Тяжело дыша, непрерывно прикладывая побелевшую руку к ноющему, ослабевшему сердцу, поднимается по крутой, натертой воском лесенке наверх, в комнаты дочери, советник прусского правительства Вестфален. Он болен. Карл с беспокойством вглядывается в осунувшееся лицо своего друга, отца. Людвиг реже смеется; не то испуг, не то удивление в его добрых помутневших глазах. Смерть близка. Еще одна потеря для Карла. Женни нервна, придирчива, то молчалива, то неестественно хохочет. И ей не под силу испытание чувств среди враждебности окружающих.

— Осталось недолго страдать, моя радость, мое солнышко! — молит Карл.

Женни торопливо вытирает слезы.

Но тягостнее всего Карлу возвращаться в чужой дом возле Мясного рынка, где злобная старуха мать старается донять его мелкими придирками, доносами, ханжеской жалобой. Даже сестры, кроме только хворой обреченной Каролины (о, это знакомая чахоточная неугомонная энергия и веселость!), встречают юношу страдальческими упреками.

Отложив молитвенник, Генриетта Маркс начинает причитать над сыном:

— Увы, Карл не оправдал надежд! Счастье, что добрый отец не видит, во что обратился его кумир. Он не профессор, он не хочет даже пойти по родительским стопам и заняться адвокатской практикой здесь, на Мозеле. Несмотря на двадцать три года, он не заработал еще ни крейцера. Пишет какие-то сомнительные статьи, которые порицают благонамеренные люди, и не только не хочет позаботиться о сестрах и бедной матери, но даже готов вырвать у них кусок изо рта. И ради чего? Ради каких-то бунтарских идей и бесприданницы-невесты,— беспридан-

ницы, которая чванлива, как и ее баронесса-матушка... О горе, о позор!

Генриетта Маркс отчаянно рыдает над разрушенной иллюзией.

Она слыхала о юношах из вполне хороших, тоже зажиточных, уважаемых семей, которые попадают в тюрьму за богохульные речи, за вызов, бросаемый даже самому королю. Их бедные матери, их сестры навсегда опозорены. Неужели и ее ожидает такой удел?

— Добрый отец переворачивается в гробу! Он умер бы вторично, если б узнал то, что знаю я! — грозно говорит она Карлу.

Увы, никогда не будет юстиции советника и тем более господина королевского министра Карла Генриха Маркса. Ни Ротшильд, ни даже какой-нибудь министр прусского двора не подъедет в карете с гербами к особняку сына Генриетты, урожденной Пресборк. И ей стыдно будет, если Карл не исправится и не остепенится, выйти с ним на Симеонсштрассе.

В банке у Карла нет и ста грошей, и старуха не прикупила со смерти мужа ни одного виноградника...

Думая обо всем этом, она плачет от досады и разочарования. Седые волосы выбиваются из-под вдовьего чепца. Нет, Карл не оправдал родительских чаяний. Не такого сына хотела мать.

Женни уехала — отдохнуть и поправить здоровье — к подруге. С ней уехал и добрый Вестфален. Болен Монтиньи. Глухие ставни спущены на окнах книготорговли.

Карл решает остающееся до переезда в Бонн к Бауэру время провести в бродяжничестве. Он устал от дрязг и хочет вновь одиночества и свободных наблюдений. С дорожным мешком странствующего студента пускается Карл в путь по тропинкам вдоль Мозеля к Рейну.

Солнце и леса обещают ему много светлых, радостных дней. Насвистывая песенку франкфуртского подмастерья, раскуривая одну за другой горькие сигары, он на рассвете оставляет Трир.

Благословенна Рейнландия! Махровые маки устилают берега рек. Виноградные лозы ползут по холмам, в долинах лежит золотое руно — река. Тих Мозель, но переменчив и резв Рейн. Воды его зелены, дно каменистое, изрытое. Нет другой реки, взрастившей столько легенд, реки

веселой и мрачной одновременно, как река Нибелунгов и Лорелеи.

Среди низких и густых лесов стоят барские усадьбы. Высокими, крутыми заборами обнесены поместья, не желающие дряхлеть замки, феодальные сторожевые башни на горных вершинах. Позади псарен, овинов, хлевов, где-нибудь на склоне примостились деревеньки. Барские коровы с колокольчиками на гладких шеях откормлены и лоснятся, барские лошади проказливы, избалованы, выхолены, свиньи из помещичьего свинарника чванливы и мясисты.

Крестьяне — арендаторы барских земель, мелкие виноделы, платящие трудные оброки, — угрюмы, грязны, худы и голодны.

Неповторимы прирейнские песни, незабываемы пляски в праздник урожая и виноградных сборов. Печальны и тягучи деревенские причитания-напевы в зимние вечера, когда голод и холод настигают лачугу.

Благословенный край Рейнландия! Долговечны тут люди, которым принадлежат необъятные земли, сады и замки, но бог не шлет долгой жизни крестьянам.

Кровь жителя теплой и золотоносной равнины горяча. Помещики рейнские гостеприимны, болтливы и несдержанны в поступках. Охота, рыбная ловля, скачки по лесам и обрывистым холмам — их любимое развлечение.

И горе крестьянину, которого застигнет феодал в запретном лесу за недозволенной порубкой или даже сбором чужого хвороста. Тщетны просьбы. Расправа коротка. Сапогом и острой шпорой бьет господин своего раба. Потом виновного стегают отобранным хворостом, а случается — привязывают к дереву или вешают на суку.

Помещики Рейнландии — вспыльчивые люди, и собственность их охраняют все германские законы испокон века. Виновным пощады нет.

Много в мире печали. Печальны прирейнские деревни. Старчески грустны крестьянские дети, играющие на опушках лесов, возле реки на драгоценном песке. Природа вокруг них так щедра, так мотовски расточительна. Но обойден счастьем тут жалкий арендатор, опутанный долгами мелкий крестьянин, умирающий от голода и холода в стране хлеба, вина и лесов, где помещик стережет даже хворост — топливо бедных.

3

«Тебе будет приятно познакомиться здесь с человеком,— писал из Кёльна другу Ауэрбаху Мозес Гесс, новый знакомый Карла,— который также принадлежит теперь к числу наших друзей. Это — явление, сильно поразившее меня, хотя я и действую в той же самой сфере; коротко говоря, ты должен быть готовым к тому, чтобы познакомиться с величайшим, может быть, единственным живущим в наше время настоящим философом, который привлечет к себе в ближайшее время, когда он публично выступит (печатно, как и с кафедры), внимание Германии. По своим тенденциям, как и по своему философскому образованию, он превосходит не только Штрауса, но и Фейербаха, а последнее значит немало! Если бы я мог быть в Бонне, когда он будет читать логику, я был бы его самым прилежным слушателем. Я всегда желал иметь такого человека своим учителем в философии. Теперь я чувствую, какой я неуч в настоящей философии. Но терпение! Я чему-нибудь научусь!

Доктор Маркс — так зовут мое божество — еще совершенно молодой человек (ему не больше двадцати четырех лет); он нанесет средневековой религии и политике последний удар; с глубокими философскими знаниями он соединяет тончайшее остроумие. Представь себе Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля соединенными в одном лице; я говорю — соединенными, а не перемешанными,— и это доктор Маркс».

Отправив письмо, юноша пошел тотчас же на Сенную площадь, где накануне уговорился встретиться с новыми приятелями. Маркс должен был прийти с Георгом Юнгом и Руге, которого особо вызвали из Дрездена на важное совещание. Вопрос о «Рейнской газете» не терпел долее отлагательства. Надо было обсудить план статей и список сотрудников.

Карл, приехавший из Бонна, с утра гулял по городу вместе с Бауэром. Маркс любил осмотры малознакомых городов, находя в каждом нечто индивидуальное — своеобразную мету истории. Проходя мимо прославленного собора, товарищи не могли удержаться от атеистических, полных умерщвляющего яда, замечаний. Но Карл отдавал дань великолепной готической архитектуре, чем рассердил непримиримого Бруно.

— Я благодарен французам, которые во время оккупации превратили эту каменную банку в сенной амбар. Ни на что другое этот языческий склад и не годен.

— Осуществим твое желание после революции,— шутливо согласился Маркс. — Однако я предложил бы столь просторное помещение использовать под народный танцевальный зал. На хорах можно посадить оркестр. Право, лучше использовать собор для людей, чем для сена. А впрочем, как будет угодно будущему городскому самоуправлению.

Неподалеку от главного моста через Рейн расположилась ярмарка, бурливая, многоцветная, грубая, как средневековье. Карл — большой любитель народных развлечений, уличной сутолоки и пестроты — ни за что не согласился уступить Бауэру и пойти осматривать дом, где родился Рубенс. Звуки дребезжащей, как телеги на кёльнских улицах, шарманки привели молодых ученых к карусели. Маркс тотчас же взобрался на пегую лошаденку из картона и глины и понесся рысцой под визг и гиканье других пассажиров.

Уже на третьем круге Бруно не утерпел и тоже взгромоздился на ярко-рыжего теленка. Но его укачало. Он жалобно требовал остановки.

Накатавшись всласть, слегка пошатываясь от приятного головокружения, Карл потащил приятеля в тир. Там они тщетно десять раз подряд целились в кентавра и черта, не попадая. Отличные бойцы на шпагах, они были скверными стрелками.

Потом пили пиво в балагане; кормили ручного медведя медовым пряником; скакали вперегонки на ослах, дергая их за хвост, чтоб сдвинуть с места; танцевали вальс друг с другом, наступая на ноги молодым местным жительницам; и наконец, после двух сеансов акробатического представления, выбрались из толпы восхищенных и весьма снисходительных зрителей и бросились к Сенному рынку. Они непозволительно опаздывали.

Карл был, однако, так доволен времяпрепровождением, что всю дорогу пританцовывал и напевал, притворяясь пьяным и задевая солидных надутых бюргеров с молитвенниками в руках, возвращающихся из собора. Кёльнские буржуа набожны. Наконец подошли к Сенному рынку и отыскали условленный ресторан.

Первым человеком, который с распростертыми объятиями бросился к входящим, оказался, к беспредельному удивлению Маркса, Фриц Шлейг. Да, это был он. Несмотря на несколько лет, прошедших со времени последней встречи земляков, нельзя было не узнать его. То же розовое лицо, та же предупредительность плутоватых глаз, та же ласковость похотливых губ и нафабренных усов. Он стал толще, увереннее. На пальце был новый перстень. Массивный, с большим бриллиантом. Цепочка поверх фиолетового жилета тоже соответственно увеличилась и блестела ярче.

— Как я рад, что и ты будешь сотрудничать в нашей газете!— И добавил шепотом:— Не сомневаюсь, Карл, со временем редакторское место перейдет к тебе.

Маркс молчал, недоумевая.

— Да, ты ведь не знаешь! Я женат уже более двух лет. У меня — наследник, мальчик, умный, как Спиноза. Ну, и капиталец, конечно. «Контора Фриц Шлейг и сын». Каково?— Он повертел кольцо и продолжал:— Надо уметь жить. Жизнь ведь вроде постройки железной дороги. Требуется расчет, осторожность, надежные компаньоны. Жена моя — та самая Гертруда, помнишь семейство посудного фабриканта Шварца? Племянница покойного главы фирмы. А ведь наследство, скажу тебе по секрету, оказалось во много раз больше. Приданое — тоже...

— Прекрасно. Однако какое ты имеешь отношение к нашей газете?— раздражаясь назойливой болтовней, перебил Карл.

— Самое непосредственное. Господа Кампгаузен и Ганземан, главные акционеры, субсидирующие новый печатный орган — мои шефы! По секрету тебе скажу: не пройдет и года, я буду равноправным пайщиком их предприятия. Это ловкие и смелые промышленники, но и Фриц Шлейг не дурак. У меня в Англии такие завязаны узелки... Тебе это, впрочем, очевидно, вовсе не интересно. Жаль, очень жаль! Пока что я послан сюда от акционерного общества. Господа Юнг и Оппенхейм хорошо знают меня.

Он с присущим ему всегда подобострастием поклонился двум молодым людям, которые ответили ему не без подчеркнутой надменности. Агент промышленной знати не внушал почтения.

Вскоре пришел и Арнольд Руге. Он долго, горячо и значительно пожимал руку Карла.

— Я на шестнадцать лет старше, дорогой Маркс,— сказал редактор «Немецкого ежегодника»,— но, прочитав твои статьи, тотчас же и безоговорочно признал в них необычайные дарования и зрелость мысли. Ты далеко пойдешь по дороге жизни...

Шлейг, напыжившись и перебирая брелоки на слегка округлившемся животе, принялся объяснять собравшимся особенности задуманного дела.

— Мы не хотим,— сказал затем доверенный двух сильнейших рейнских промышленников и делегат акционерного общества,— доводить дело до крупных столкновений с прусскими властями. Отнюдь нет, господа. Таково всеобщее желание. Наша газета должна внушать читателям, влиятельным и невлиятельным, принципы бережливости и управления финансами, необходимость развития железнодорожной сети,— тут Фриц победно оглядел всех присутствующих и особо нежно улыбнулся Мозесу Гессу, которого уважал за купеческое происхождение. — Понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, ну и все прочее, что сами вы знаете лучше нас. Немножко вольности, немножко политической остроты, соблюдая все же осторожность. Я сам,— вот мой школьный товарищ Маркс помнит, верно,— я сам, господа, склонен, как и вы, к бунтарству, к якобинству. Каждый промышленник немного революционер. — Раздался смех, но Фриц был не из смущающихся. — Земля, по-моему, дана человеку, чтоб он рвал с нее лучшие цветы и наслаждался.

— Да он рассуждает почти как наш лобастый Шмидт! — воскликнул Карл. — Фриц, ты мог бы создать последовательное евангелие индивидуалиста-эгоиста.

— Прости, Маркс, у меня есть дела поважнее,— небрежно ответил польщенный, однако, Фриц, достал усыпанные цветными каменьями часы — свадебный подарок, и, пообещав покормить в ближайшие дни новых сотрудников газеты лукулловым обедом, выплыл из комнаты.

— Какая, однако, досада, — сказал Руге, подсаживаясь к Карлу,— что волна жизни относит тебя все дальше от чистой философии. Ты ринешься в костер политической борьбы, и «Рейнская газета» в этом отношении может оказаться поджигающим факелом. Смотри не сожги себя.

— Моя статья о цензурном уставе — дебют, покуда не вполне счастливый, правда,— думая о своем, начал Карл.

— Будь спокоен: рано или поздно я напечатаю ее, хотя бы за границей,— пообещал твердо Руге. — Но скажи, друг, с Боннским университетом и войной за кафедру все покончено?

— Я сражался бы хоть с самим чертом, если бы было за что. Но немецкая кафедра — гроб для воинствующего духа. Об университете я могу лишь сказать, как Терсит: ничего, кроме драки и распутства, и если нельзя обвинить его в военных действиях, то уж в распутстве нет недостатка. Вонь и скука.

К разговаривающим подошли Бауэр, Юнг и Гесс.

— Мы поднимем в газете такой дебош против бога,— сказал Бруно,— что все ангелы сдадутся и бросятся стремглав на землю, моля о пощаде.

— Нелегко будет, пожалуй, отвоевывать свободу,— сказал Карл,— однако предлагаю штурм.

— Да, именно штурм,— подхватил обрадованный Гесс.

— Штурм небес!— вскричал Бруно.

— Штурм земли,— поправил Маркс.

— Пойдем по стопам Якоби.

— У короля, говорят, разлилась желчь от негодования, когда он прочел его «Четыре вопроса».

— Отважный малый, этот житель Восточной Пруссии. Я сразу отгадал, кто прячется под псевдонимом. Он, Якоби. Наш старый воин,— вставил снова Гесс.

— Сомнительно, чтоб гнет цензуры ослабел... Но не будем отступать,— прибавил Карл.

Маркс начал новую главу своей жизни. «Рейнская газета» поглотила его мысли, вызвала никогда доныне не поднимавшиеся вопросы, вызвала и новые сомнения.

Руге продолжал откровенно восторгаться гибким и бездонным умом своего юного приятеля. Статьи, которые Карл печатал с весны, светили небывалым светом, блистали, как скрестившиеся мечи.

— Свобода печати — первый подкоп под громаду реакции.

Обещание снять цензуру нисколько не помешало правительству и королю продолжать свирепое преследование каждого, проповедовавшего право свободы слова.

Маркс поднял меч. Свобода печати — путь к конституции.

— Единственным радикальным излечением цензуры является ее устранение, — объявил он.

Руге и Юнг приветствовали отвагу друга — его статьи в «Рейнской газете». Борьба началась.

Карл жил в эту пору кое-как, переезжая из гулкого Кёльна в тихий Бонн, оставляя Бонн для Трира, где умирал друг — Людвиг Вестфален — и покорно скорбела Женни. Потом снова стремглав бросался в Кёльн — редакционные дела уже не терпели его отсутствия. Так шли месяцы — в деловой суете, радостях и огорчениях, в постоянных сражениях с сонмом чудовищ прусской монархии. Незабываемые, по-своему счастливые дни.

Осень. Нежная, розово-синяя умиротворенная пора на прирейнской земле.

Возы с виноградом, персиками и яблоками по утрам въезжают в город, громыхая и будя Карла. Он поселился неподалеку от заставы.

Разбуженный шумом улицы, сердито шлепая босыми ногами, Карл плотнее закрывает жалюзи, но спать не может. Столько новых дум и забот! Стол его, как всегда, завален книгами и густо исписанными листами бумаги. Гегель давно одиноко похоронен в дальнем ящике. Похоронен, но не забыт. Другие люди заинтересовали Карла. Французы полонили его досуг. Прудон с его размышлениями о собственности, Дезами, Рабе, Леру, Консидеран. Французский язык то и дело врывается в его немецкую торопливую речь. Новые вопросы — свобода торговли, протекционизм — прочно приковали его внимание.

С маленькой мансарды на тихой окраине Кёльна прищуренными черными зоркими, как у орла, глазами обозревает он мир, ищет, строптивый, неугомонный, ответа на все возрастающие земные противоречия.

Юный полководец, еще не нашедший своей армии, еще не определивший цели грядущих походов и боев.

Прежде чем отправиться в редакцию, на которой теперь главным образом сосредоточены все помыслы молодого доктора юридических наук, он идет в ресторанчик, что в переулке близ собора.

Нередко по пути Карлу встречается тщательно вымытый тяжеловесный экипаж Шлейга. Его окликают. Преуспевающий Фриц неизменно останавливает лошадь и за-

ставляет Карла усесться рядом на фиолетовом суконном сиденье. Маркс пытается сопротивляться — напрасно. Он принужден сдаться. Фриц неуемен в уговорах, пустой болтовне и бахвальстве.

— Экипаж приобретен всего лишь год назад по настоянию щедрой Гертруды и хотя старомоден, но весьма еще прочен,— сообщает Фриц, захлебываясь слюной.

Сейчас молодой Шлейг занят покупкой собственного дома. Пора обзавестись недвижимостью! Молодость, того и гляди, останется позади, а зрелость требует прочного устройства, солидного капитальца, комфорта. Шлейг поглаживает бакенбарды.

— Мы стареем,— говорит он, напыжившись.

Маркс равнодушно насвистывает, перевирая мотив, рейнскую песенку о рыбачке. Мысль о старости не существует для него. Он юн. Он весь в движении.

Фриц тщетно ждет его ответа, силясь любым унижением вызвать хоть малейшее проявление интереса к своей персоне со стороны этого все более несговорчивого, насмешливого даже в молчании человека. Презрение Карла мучительно, как озноб. Этот скромно одетый литератор внушает Фрицу издавна тревожное почтение, робость, готовую, однако, в любой миг обернуться ненавистью. Он кажется ему существом какой-то иной, хоть и опасной, но высшей породы. Завидуя, Фриц готов пресмыкаться перед ним, оговаривая исподтишка, при удобном случае. Старается подражать ему во всем, перенять его манеры, запомнить высказанную им вскользь мысль.

— Особенный человек — этот желчный злючка Маркс,— говорит Шлейг часто жене. — Злоязычен, учен, знает жизнь не хуже меня, но не делает карьеры, и знаешь — почему? Потому, что не хочет, сам не хочет. А ведь не чудак и не ротозей.

Фрицу кажется, что Карл видит, понимает его, разгадал, как никто. Это раздражающее ощущение заставляет его заискивать, подкупать лестью бывшего товарища по гимназии.

— Поверь, друг Карл,— говорит Шлейг,— с таким кипучим темпераментом, с умом Спинозы, с дипломатическим тактом Меттерниха и смелостью Бонапарта, в наше время твое место — среди нас, среди промышленников. Ты

создан быть руководителем или хоть визирем-советником при современных калифах.

— Калифах на час,— усмехается Маркс.

— Вся наша жизнь—час по сравнению с вечностью,— довольный своей находчивостью, отвечает Шлейг.

— Мелкая философия.

— Выслушай, однако. Калифы девятнадцатого века— это уже не только Ротшильды,— это также Борзиг, выстроивший в Берлине машиностроительный завод, которому позавидуют и англичане. Разве не так? Заводчики! Вот в чьих руках будущее. К тому же мы творим великое национальное дело. Железная дорога — магическая волшебная палочка, благодаря которой через десять — двадцать лет мир не узнает Германии. Мы — к чему ложная скромность?— смелые люди. Новое поколение... Мы объединим Германию. Построив фабрики, разбогатеем — скажешь ты? Да, но мы осчастливим родину.

— Это уже по Иеремии Бентаму.

— Король пойдет нам на уступки. Другого выхода нет. Пусть-ка осмелится он возражать! Получим конституцию... Чего тебе еще?

— Значительно большего.

— Работы для бедных, просвещения? Жалости к крестьянам? Это тоже будет. Наши фабрики поглотят и накормят нищих.

— Это верно — поглотят, но не накормят и наплодят новых.

— Иди к нам, Карл. Я легко введу тебя в круг дельцов. Ты увидишь, какие это люди. Какая отвага! Бойцы! Тигры! Подумай, кому хочешь ты служить, одаренный таким талантом, обладающий таким пером? Твой мозг — золотое руно. Твои статьи — это же чистое золото, клад. Но ради кого ты тратишь силы, слова? Ради угнетенных мужичков, ради каких-то лесных воров!.. — Фриц задыхался. — Из всех твоих поступков менее всего понятен мне пыл, с которым вступился ты за крестьян и их право собирать хворост. Ну, какое тебе дело, в сущности, до этих жалких полуживотных?

— Преступно оставаться равнодушным перед проявлением каннибальских инстинктов лесовладельцев. Для государства и собственник и крестьянин, из нужды берущий хворост, равные граждане,— нехотя цедит Карл.

— Итак, борешься за справедливость? Донкихотство! Какое тебе дело, например, до ландтага? Понимаю, что удачная статья выгодна для автора. Привлечет внимание сильных мира сего, поможет выдвинуться. Иногда надо припугнуть, чтоб получить дороже. Но ведь ты пишешь всерьез, ты кровь льешь, ты фанатик, ты искренне веришь в то, что защищаешь. Поразительно! У тебя все по-другому. Я сам человек прогрессивных взглядов. Но, поверь, в наше время деньги, крейцер, куда более мощное оружие, чем социалистическая проповедь. Исподволь, тихонько,— Шлейг заговорил шепотом,— мы добьемся всего.

Карета свернула в переулок за собором. Так ничего и не ответив и, по рассеянности, позабыв попрощаться, Карл на ходу соскакивает и бежит к ресторации, где он, по обыкновению, пьет утренний кофе.

— Ты слишком несговорчив, Маркс! Пожалеешь!— успевает ему крикнуть Шлейг, мгновенно осунувшийся от злости.

За кофе и множеством бутербродов Карл не перестает читать. Просмотрев кипу газет, он вскакивает и с чашкой в руках бежит к соседним столам в поисках журналов. По невероятной рассеянности, поглощенный своими мыслями, он засовывает в карман салфетку вместо носового платка и берет с чужой тарелки кусок поджаренного хлеба, к веселому изумлению окружающих. Обычно к столику Маркса подсаживается Рутенберг. Тогда газеты откладываются, и начинается неспокойная беседа.

Прежней беззаботности, любви нет более между недавними друзьями. Оба они не те. Карл с раздражением посматривает искоса на отекшее лицо Адольфа.

«Проживает умственный капитал, живет на проценты былых мыслей и дерзаний, не растет, а, значит, идет вспять,— сурово думает он, прислушиваясь к многократно слышанным брюзгливым замечаниям собеседника. — Как меняется жизнь и как трудно выдерживать проверку временем! Умственно обрюзг, отстал. Радикал и добрый парень, товарищ в проказах, гуляка Рутенберг на первом же испытании в редакторском кресле «Рейнской газеты» обнаружил, что не боец он, не водитель, а растерявшийся учителишка, к тому же и лентяй». Карл беспощаден и не прощает людям разочарований.

— Ты Зигфрид, ты воин, — враждебно говорит Адольф,— твое перо — надо отдать ему должное — как

волшебный меч Нибелунгов, но твой задор и желчные выпады все же вовсе неуместны. Ты то действуешь наскоком, то вдруг уходишь под прикрытие. Я этого не понимаю. То или другое. Вот Бауэр — он последователен. Отрицать — так отрицать. Право, эти берлинские «свободные» — большие, истые революционеры. Как тебе нравится мысль Бруно о том, что семью, собственность, государство попросту следует упразднить как понятия?

— Это еще что за водолейство?! Ну, а что будет в действительности?

— Не важно. Достаточно упразднить в понятии.

— О, неисправимые скоморохи! — возмущается Маркс. — Вредные болтуны, жонглирующие словами, пустыми, как ваши головы. Скоро даже пугливые филистеры распознают в грохоте ваших понятий... звук шутовских бубенцов и барабанов.

Карл смолкает.

«И с такими людьми я думал идти в бой!» — продолжает он думать, отвернувшись от Рутенберга.

— Кто бы мог подумать, что храбрый доктор Маркс окажется столь осторожным, когда придет время действовать! Ты притупишь свое перо, свое могучее оружие, ратуя за мелочи вроде отмены цензуры либо за справедливые законы для каких-то крестьян, даже не всех крестьян мира, а только рейнландцев... Я и наши берлинские единомышленники отказываемся понимать твои поступки. Штурмовать ландтаг, когда следует идти походом на небо, на все понятия, устаревшие и вредные! Ты консервативен,— продолжал Адольф, весьма довольный своим монологом,— ты не постиг сердцем коммунистического мировоззрения, вот в чем твоя беда.

— Ах, вон оно что! — Карл внезапно совершенно успокоился и заулыбался. — Верно, я считаю безнравственным контрабандное подсовывание новых мировоззрений в поверхностной болтовне о театральной постановке и последних дамских модах. Нет ничего опаснее, чем невежество. Социализм и коммунизм! — Карл говорил все более отрывисто. — Да знаешь ли ты, что значат эти слова, какие клады для человечества, какой порох спрятан в этих словах?.. Я отвечу тебе теми же словами, что и старой нахальной кумушке — «Аугсбургской газете»...

— Знаю, знаю их наизусть! Это насчет того, что на практические попытки коммунизма можно ответить пуш-

ками, но идеи, овладевающие нашим умом, покорившие наши убеждения, сковавшие нашу совесть,— вот цепи, которых не сорвешь, не разорвав сердца: это демоны, которых человек побеждает, лишь подчинившись им. Не так ли?

— Браво! Однако нет Кёппена, чтоб назвать тебя начиненной колбасой. На этот раз ты почти не переврал моих мыслей. Но сейчас я имел в виду другое. Коммунизм нельзя ни признать, ни отринуть на основании салонной болтовни. Ни одно мировоззрение не живет более землей, нежели это, а ты знаешь,— я не раз доказывал тебе,— что, даже критикуя религию, мы обязаны критиковать политические условия. Что касается цензуры, то это удушающий спрут, который надо разрубить: с ним погибнет многое. Кстати, послушался ты меня — прочитал Прудона, подумал о Консидеране?

Не отвечая, Рутенберг посмотрел на часы и встал.

— Без новых французских учений об обществе нельзя существовать, не только что двигаться в политике, да и в газете,— сухо добавил Карл.

— Кстати,— сказал Рутенберг покорно,— как тебе известно, со вчерашнего дня я более не редактор «Рейнской газеты». Говорят о тебе... Что ж! Желаю успеха. Salute!

Карл проводил глазами сутулую фигуру Адольфа. Было что-то жалкое, неуверенно-развинченное в его походке. Кончено! С Рутенбергом уходило прошлое.

Еще одна дружба рассыпалась в прах. Умерла.

Карл не печалился. Тот, кто не мог быть его соратником, не был для него и другом.

«Этот слабовольный, суетный и несчастливо честолюбивый человек мог прослыть опасным вольнодумцем, демагогом крайних взглядов во мнении ослов из правительственных сфер!.. Да и я был недальновиден, рекомендуя столь бездарное и поверхностное существо на пост редактора. Хорошего выбрал полководца!»

Карл не умел прощать людям слабости ни в чем. Шарлоттенбург, Бауэры остались для него отныне навсегда позади, в прошлом, стали чужды, как Трир.

Так перерастал он идеи и недавних товарищей.

И — без уныния, сильный, одинокий, ищущий — шел вперед, вперед, навстречу новым людям и мыслям...

Когда за Рутенбергом захлопнулась дверь, Маркс подумал о том, что сам теперь, может быть, возглавит газету.

Отмена цензуры, проповедь свободы—Якоби правильно нащупал слабое место. Правительство, король запутались сами в противоречиях и собственной болтовне. Это удобная первая позиция для борьбы газеты. Как знать, не удастся ли собрать вокруг газеты лучших, отважнейших людей? Из них создать штаб движения. Кого? Кёппен... Гервег... Карл вспоминает красавца поэта, которого встретил мельком. Руге неплохой союзник, Гесс будет послушен. Мало, мало людей. Но выбора нет. Нужно укрепиться. Нужно наладить и уметь сохранить газету.

Рутенберг обвинял его, Карла, в осторожности, странно перемежающейся с необъяснимой удалью и внезапным наскоком. Но разве не таковы законы стратегии? На войне как на войне. Исподволь собирать войско, подготовить тыл и в должную минуту броситься в атаку. Враги везде. Король, помещики, ландтаг, цензурное управление — виселица живых мыслей — и Шлейги, тысячи плодящихся жиреющих Шлейгов.

Карл припомнил воззвание Вейтлинга. Не там ли, не в стане ли портного те люди, которых ему так не хватает? Об этом надо было подумать. Он покуда не хотел дать себя увлечь соблазну крайностей.

Карл с трудом оторвался от обступивших его мыслей. Пора в редакцию.

По крутой лестнице, грязной и узкой, по которой дважды в день ползает, помахивая мокрой тряпкой, уборщица с оголенными икрами вполне рубенсовских масштабов, редактор взбирался на верхний этаж. В его кабинете, низкой и неуклюжей комнате со сводчатым потолком, с утра уже сутолока и шум. Доктор Оппенхейм либо Юнг, а иногда и Шлейг, представитель акционеров, сидят на глубоком подоконнике. Цензор Сен-Поль, элегантнейший молодой человек с превосходными бакенбардами, ежедневно завиваемыми, выправка и отменные манеры которого говорят о долгой военной школе, привычке носить корсет и шпоры, осторожно шагает из угла в угол, стараясь не испачкать щеголеватого костюма. Дурно оштукатуренные стены бессовестно марают длиннополый сюртук. Спина непоседливого Маркса нередко бывает вся исчерчена белыми полосами. Он редко присаживается к письменному столу, но зато часто, набегавшись по комнате, стоит, опершись о квадратную печь, заложив назад неспокойные руки.

— Ваше здоровье, лейтенант,— входя, поздоровался с цензором Маркс. — Надеюсь, Гегель и наши комментарии к его учению еще не отняли у прусской короны ее лучшее украшение. Удалось ли вам подебоширить вчера в кабачке на Новом рынке?

— Ваш ум и характер, господин Маркс, знаете сами, покорили меня. Отдаю должное вашему редакторскому гению... Вынужден сознаться, я не скучаю в Кёльне, тем более что вы не слишком балуете меня досугом. Но предупреждаю как друг, как поклонник наконец,— газета, того и гляди, подведет вас всех своей небывалой дерзостью. Уловки не помогут... Благодарю вас за лестный отзыв, доктор Маркс.

Сен-Поль, фамильярно и многозначительно погрозив пальцем, наконец удалился.

— И у тебя хватает терпения развращать это солдатское бревно гегельянской философией, тратить время на этого гнусного палача и кутилу! — сказал Оппенхейм, позабыв, как давеча заискивал в цензорском благоволении.

— Сен-Поль — продукт наших уродливых нравов, подлинное творение цензурного управления, и к тому же не худшее, поверь. Достаточно сравнить его с послушным дураком фон Герляхом, который обнюхивает газету, как голодный боров кучу навоза. Нелегко иметь дело с этой подлой природой шпионов. С каждым днем осада нашего бастиона усиливается. Цензурные придирки, министерские марания, иски, жалобы, ландтаги, вой акционеров с утра до ночи.

— Ты не на шутку раздражен, Карл.

— Еще бы! Если я остаюсь на своем посту, то только чтоб по мере сил помешать насилию. Наш разгром — победа реакционеров. Трудно все-таки сражаться иголками вместо штыков. Еще менее возможно для меня оказывать ради чего бы то ни было холопские услуги. Надоели лицемерие, глупость, грубость, изворачивание и словесное крохоборство даже ради свободы.

— Ого, Карл опять готовит нечто губительное! Что это будет? Статья о бедственном положении крестьян-виноделов? Предчувствую, он снова готов переменить веру. Более того: не скатывается ли наш редактор к крайним взглядам? Я трепещу за тебя, доктор Маркс!

— Нет, все это не то. Но я напоролся головой на гвоздь. Кто разрешит боевой конфликт эпохи — право и

государство? Прощайте, друзья, гранки ждут меня! Я утопаю! Из Берлина снова бочка воды — три статьи от Мейена. Грохот, пустословие, истерические проклятия, которые, однако, не способны устрашить и ребенка. Что ни слово, то мыльный пузырь! О, нахальство невежества! Оно поистине безгранично!

Кабинет редактора опустел. Мальчонка в клетчатых брючках приволок мешок с корреспонденцией. Карл потрепал сбившиеся тонкие льняные волосы курьера и, покуда тот разгружал свою ношу, из куска бумаги соорудил ему в подарок стрелу и кораблик.

Старик наборщик принес кипу свежих, пахнущих сосной гранок. Но недолго доктор Маркс смог заниматься чтением и правкой номера.

Без стука отворилась дверь, и вошел молодой человек, весьма тщательно одетый, с дорогой тростью и высокой модной шляпой в руке. Глаза его дружелюбно улыбались, морщился в переносье задорный, вздернутый нос.

Без всякого стеснения вошедший направился к столу, положил перчатки и широким добрым жестом протянул Карлу большую руку.

— Я давно ждал этой встречи. Моя фамилия — Энгельс. По пути в Англию заехал к вам.

Маркс, привстав, указал ему на стул. Энгельс... Он знал это имя.

— Я приехал в Берлин после вашего отъезда и наслышался там немало о неукротимом докторе Марксе. Вас чтят в нашем «Кружке свободы». Да и в ресторане Гиппеля память о «черном Карле» прочна и незыблема.

— В мое время еще не было «Кружка свободы»,— сухо поправил Маркс.

Глаза Энгельса посерели и разгладилась переносица. Он насторожился.

— Мейен,— ответил он без прежнего радушия в голосе,— поручил мне выразить недоумение и даже недовольство поведением редакции газеты в отношении берлинских сотрудников.

— Вот как! — вспылил мгновенно Карл. — Узнаю Мейена! — Он насмешливо сощурил глаза. — Вот мой ответ ему и всем вам.

Он пододвинул Энгельсу листок бумаги без конца и начала и углубился в просмотр статей, как будто в ком-

нате никого не было. Фридрих растерянно привстал, взял свои перчатки, но быстро раздумал и снова сел. Прежде чем уйти, он торопливо прочел написанное.

«...Я тотчас же ответил и откровенно высказал свое мнение...

...Я призвал их к тому, чтобы было поменьше расплывчатых рассуждений, громких фраз, самодовольства и самолюбования и побольше определенности, побольше внимания к конкретной действительности, побольше знания дела. Я заявил, что считаю неуместным, даже безнравственным вводить контрабандой коммунистические и социалистические положения, то есть новое мировоззрение, в случайные театральные рецензии и пр.; я потребовал совершенно иного и более основательного обсуждения коммунизма, раз уж речь идет об его обсуждении. Я выдвинул, далее, требование, чтобы религию критиковали больше в связи с критикой политических порядков, чем политические порядки — в связи с религией, ибо это более соответствует основным задачам газеты и уровню читающей публики; ведь религия сама по себе лишена содержания, ее истоки находятся не на небе, а на земле, и с уничтожением той извращенной реальности, *теоретическим выражением* которой она является, она гибнет сама собой. Наконец, я предложил им, если уж хотят говорить о философии, поменьше щеголять *вывеской* «атеизма» (что напоминает детей, уверяющих всякого, кто только желает их слушать, что они не боятся буки) и лучше пропагандировать содержание философии среди народа...»

— Я совершенно не согласен с вашей оценкой членов кружка! — гневно сказал Энгельс и, сложив квадратиком недоконченный черновик письма, взял свою трость и нетерпеливо помахал ею.

— Вы едете в Англию? — вежливо заметил Маркс. — Мы бы очень хотели получать от вас подробные сообщения о происходящем в стране, о рабочих волнениях, о новых измышлениях парламентских кретинов. Преинтересный остров! Не правда ли? Значит, договорились?

Глаза Энгельса слегка подобрели.

— Охотно. Я вам сотрудник. До свидания, доктор Маркс.

— Счастливого пути, господин Энгельс.

«Так вот он какой, неистовый трирец, надменный, злой. Нет, нам с ним не по пути...» — в крайнем, необъяснимом раздражении думал Фридрих, спускаясь по лестнице. Не зная, как поправить разом испортившееся настроение и растворить досаду, он согнул дорогую отцовскую трость с такой силой, что, хрустнув, она сломалась надвое.

## *Глава пятая*

## ВСТРЕЧА

### 1

Женевьева жила в Париже. Старый Буври и Иоганн были все еще в тюрьме. На месте ткацкой мастерской в Круа-Русс высился теперь кирпичный корпус новой фабрики Броше.

Выискивая работу, жена Стока вспомнила, как в дни недавней юности, примостившись на заветном сундуке, из лоскутов делала фиалки и маргаритки. Их охотно покупали магазины близ Лионской ратуши. Женевьева решила вернуться к этому ремеслу.

На улице Вожирар она отыскала мастерскую искусственных цветов. Толстая, большеглазая, большегрудая бретонка, госпожа Столь, нуждалась как раз в опытных работницах. И Женевьева осталась в сыром подвале, стены которого разрисовала вода, протекающая с улицы.

Не всегда цветы растут в тщательно оберегаемых садах, в темных лесах, на солнцем обласканных лугах. Не всегда разноцветные пышные розы распускаются на тучных газонах, фиалки ловят тень кустов. Гнойно-серые болота и липкая топь помойных ям вскармливают нередко прекраснейшие растения.

Мастерская искусственных цветов на улице Вожирар не была ни светлой оранжереей, ни пушистым лугом, ни даже скромною поляной. Тяжелая, гнилостная вонь заставляла вспомнить скорее о болоте или свалке.

Улица Вожирар, нарядная близ центра, возле сената, уходя на окраину, теряла городские очертания. Густые сады богатых особняков и монастырей чередовались с пустырями и с низкими провинциальными домами, бестол-

ково вылезшими на немощеный тротуар. Улица Вожирар была степенная, тихая, сытая.

В маленькое оконце подвала засматривали низкий бурьян да густая крапива, не часто приминаемые блестящими сапогами, узкими, плоскими, без каблучков, туфельками, щеголеватыми штиблетами с вызывающими ушками да стоптанными суконными шлепанцами — этими самыми торопливыми и болтливыми из всех представителей французской обуви. Экипаж или телегу, изредка появлявшиеся на улице Вожирар, летом провожали смерчи пыли, по осени и весне встречала жидкая хлюпающая грязь.

Так как внешних впечатлений у мастериц, с утра до вечера запертых в подземелье, было немного, женщины радовались каждой паре ног, каждому мелькнувшему в окне подолу юбки и не уставали строить догадки о людях, которых не видели.

— Какая кайма, девицы! Видно, богатая дамочка спешит в церковь.

— Вот глупости! Кто же увидит в церкви, чем подбита ее юбка. Нет, она, конечно, торопится на свидание.

— Смотрите скорее! Каков фат! Штаны с оборочкой, а ботиночки с улицы Мира! Как выворачивает он носы! Клянусь, они жмут ему мозоли. Он норовит пролезть в зятья к господину Эверу.

— Ну того не проведешь! Видно гадину по походке...

Каких только ног не видали мастерицы, поднимая глаза от проволоки и кусков ткани навстречу свету.

Толстые и тонкие, прямые и кривые — ноги были такие разные. Одни были грубы, наглы, другие жалки в своей неуверенности и поспешности. Одни льстиво, несмело касались земли, другие приминали ее уверенными хозяевами. Были ноги скаредные, сухие, подобранные, как губы ханжи, пухлые и ленивые, похотливо выгнутые и равнодушно, уверенно красивые.

В грязи, под болтовню, незаметно переходящую в свару, под смех, превращающийся в слезы, рождались между тем чудеснейшие цветы из бархата, шелка, батиста, муслина и коленкора. Вырастали на стеблях из проволоки. Так зацветают кувшинки на водах омутов...

Цветы с улицы Вожирар славились в Париже. Их вычурная, небывалая красота посрамляла королевские

цветники. Оранжереи Версаля и Тюильри не смели состязаться в краске и рисунке с творениями подвальных художниц. Придворный садовод тщетно бился над тем, чтоб окрасить белую живую розу в нежно-голубой тон шелкового цветка, пленившего королеву. Английский посланник в Париже признал себя побежденным: его орхидеи казались только скверным подражанием тончайшим цветам из мастерской госпожи Столь.

С тех пор как законодатели мод, стремившиеся получить нечто превосходящее красками и запахом недолговечные земные цветы, начали опрыскивать духами творения цветочниц из мастерской на улице Вожирар,— к госпоже Столь потянулись экипажи заказчиц. Мода на искусственные цветы поработила парижанок. Госпожа Столь копила деньги, зная, как изменчив женский вкус.

Покупательницы, подобрав пышные платья, спускались в подвал. Так упорные ботаники в поисках редких цветов взбираются на вершины гор, проникают в ядовитые южные леса и переплывают реки.

Женевьева считалась искуснейшей из мастериц госпожи Столь. Ей дозволялось выдумывать цветы, каких нет в природе. И она страстно отдавалась своей фантазии. Это она первая создала черную тафтяную розу с серебряными бутонами и листьями,— траурный, но величественный цветок, сразу же нашедший сбыт на рынке. Он нравился красивым светлоглазым вдовам и дамам, желавшим прослыть роковыми в любви.

После черной шуршащей розы Женевьева сделала букетик из странных пестрых мелких цветов. Его рисунок был сложен, как узор африканских змей. Необычна была гамма его красок: из резко желтого она переходила в пунцово-красный.

Женевьева никогда не была в зоологическом саду. Змей она суеверно боялась и при упоминании о них молитвенно складывала пальцы. Едва ли слыхала она что-нибудь о Сахаре —и, однако, у жаркой пустыни, у опасных хищников брала она краски, подобно тому как берет их кочующее племя для своих ковров и тканей.

Женевьева любила также белые пухлые бутоны. Они были нежны и пушисты, как цветущий хлопок.

Как гаремные затворницы воплощают мечту свою в вышивках и уборах, воплощала она в цветах свою тоску.

Но наибольшее одобрение хозяйки и покупателей заслужил большой пламенный цветок из бархата. Он очень нравился черноволосым смуглым женщинам и продавался в недоступнейших лавках под названием испанского цветка.

В память дармштадтских дней, навсегда ушедших, Женевьева сделала букет из увядающих листьев. Такие листья шуршали под ногами Стока, когда он поднимался на Господнюю гору. Такие листья свешивались с ветвей шалаша, и на них в часы рассвета смотрела тогда Женевьева. Иоганн спал на ее руке, и его волосы были цвета облетающих листьев.

Графиня де Рампри, в день своего пятидесятилетия отставившая любовника, переменившая обивку мебели и будуара, появилась в лиловом платье с букетом листьев Женевьевы на корсаже. И они мгновенно вошли в моду среди дам, «чей возраст напоминает прекрасные тона заката».

Госпожа Столь, женщина неопределенного возраста и незлобивого характера, весьма ценила Женевьеву, но платила ей гроши. Цветы Женевьевы придавали товару госпожи Столь необходимый шик. Одни добросовестные батистовые маргаритки, коленкоровые фиалки и полотняные ландыши не могли привлечь богатых клиентов. Не хватало изысканности. Они годились провинциалкам.

Тем более решение, принятое Женевьевой и объявленное ею хозяйке мастерской, явилось для госпожи Столь тягостным ударом.

— Не может быть! Как это могло случиться?.. Ни одной пары штанов... никогда... — в отчаянии и злобе выкрикивала госпожа Столь, снова и снова оглядывая с ног до головы требующую расчета мастерицу.

Но сомнений не оставалось.

Эти груди, распирающие блузку. Да что груди! Живот. Острый, выдающийся живот, приподнимающий юбку...

— Женевьева! — едва вымолвила госпожа Столь и вышла в большие подвальные сени, где стояла миска с водой и разогревался в печи клей.

Оскорбленным жестом хозяйка отодвинула проволоку, связанную снопами и уложенную вдоль стены.

— Женевьева! — она ткнула ее пониже груди. — Мало того что тебя раздуло, что тебя обрюхатили, ты хочешь уйти в разгар работы, оставить меня...

Вдруг какая-то мысль отвлекла владелицу мастерской. Оживившись, госпожа Столь спросила:

— Кстати, когда и кто?.. Ведь этакая с виду тихоня!

Женевьева густо покраснела. Со дня на день ждала она этого неприятного объяснения.

— Я вам уже говорила о том, что у меня есть муж... в Германии,— сказала мастерица.

Госпожа Столь выразительно захохотала.

— Муж?! В Германии?! — Она уперлась ручищами в огромные бока и продолжала смеяться. Ни одной веселой ноты не слышалось, однако, в этом смехе.

— Но клянусь святой девой, я...

— Не будем говорить об этом! Ясно, что не святой дух наградил тебя ребенком. Это был мужчина, и, видимо, способный.

Она имела в виду свою непоправимую бездетность. Удача Женевьевы вызывала в госпоже Столь тревожную зависть.

— Когда же тебя угораздило? — она принялась считать, загибая пальцы. — Раз, два, три, четыре, пять... Ты у меня пять месяцев. А ему сколько? — она шлепнула Женевьеву по животу, но голос ее смягчился.

— Восемь.

Госпожа Столь оттопырила пальцы и угрожающе замахала рукой.

— Потаскуха! Коза!.. Да как же ты смела поступить ко мне, не признавшись во всем?! Ах, ты... Вот теперь, когда мастерская завалена работой, ты решила разродиться. Ах, неблагодарная девчонка!

Женевьева понуро стояла. Напрасно спорить с госпожой Столь, когда она бранится. Все равно что лить воду в продырявленное корыто.

Неделю упрашивала хозяйка цветочной мастерской Женевьеву остаться, обещала помочь ей скрыть роды и сбыть, когда понадобится, ребенка.

Несмотря на ханжеские правила католической Вожирар, госпожа Столь не была особенно строга в отношении морали. В существование мужа Женевьевы она не верила, да и та не слишком упирала на это. Сообщение о том, что Сток в тюрьме, принесло бы жене его еще большие огорчения и трудности.

В конце концов не столько доводы Женевьевы, сколько ее все возраставшая вялость и слабость в работе убедили

владелицу мастерской в необходимости расстаться с Женевьевой.

— Когда очистишься, — сказала с презрительной гримасой госпожа Столь,— приходи опять. Конечно, после того как сплавишь куда-нибудь младенца. Наша улица добродетельна, она не потерпит позора.

На улице Вожирар не значилось ни одного дома терпимости. Редкая улица...

На прощание, в сенях, госпожа Столь сунула Женевьеве узелок с тряпьем. Обрезки батиста, полотна и коленкора могли пригодиться в будущем.

Женевьева покинула улицу Вожирар. На скопленные деньги она наняла угол на окраине Парижа, близ Венсеннского леса. Начались грустные дни.

Хозяева домишка жалели многочисленных своих постоялиц и не досаждали им расспросами. Мало ли девушек в Париже прячут свои животы! Закутавшись в платок, выходила под вечер жена Стока на улицу и шла, не выбирая дороги, устало глядя перед собой.

Как ждали Иоганн и Женевьева ребенка! Пять лет ждали напрасно. Втихомолку она плакала, обвиняя себя в бесплодии. Годы шли, детей не было. И вот теперь... Зачем? Иоганн так и не узнал о ее беременности... Женщина осторожно прикасалась к животу. Ребенок бился, как рыбка, под ее рукой, под платьем. Она чуть улыбалась той странной, беспокойной и рассеянной улыбкой, которой улыбаются беременные. Это не улыбка в ответ на мелькнувшую мысль. Нет. Это улыбка в ответ на уловленное биение еще одного сердца. Женевьева шла осторожно, инстинктивно сторонясь прохожих, огибая рытвины и камни. И в том, как она оберегала свое тело, была забота матери, страх не за себя. Мысль ее работала вяло. Несмотря на свое полное одиночество, безденежье, неустроенность, Женевьева, казалось, нимало не тревожилась. Беременность притупляла беспокойство. Природа требовала выполнения долга. Животное спокойствие чувств и мыслей необходимо было для того, чтобы творить, создавать нового человека. Великая задача! Женевьева редко думала о будущем и вовсе не боялась родов.

В последние недели до родов иногда по ночам она просыпалась в тревоге. Что-то надвигалось на нее. Ей хотелось бежать, спрятаться от предстоящего, от неми-

нуемой боли. Но она несла в себе источник невыносимых страданий. Иного выхода не было. Надо найти мужество и подчиниться. Роды подойдут неожиданно, и некуда будет уйти, некуда бежать, как от смерти.

В такие минуты злоба поднималась в беременной женщине, злоба против мужчины.

И она отводила душу в болтовне с женщинами, охотно хулящими своих мужчин.

— Им легко. Им — что! Разве они могут понять наши страдания? Для них — удовольствие, для нас — горе: сперва брюхо, потом коровья участь. Носи, корми своей кровью, своим молоком. Что они знают о детях? Своего от чужого не отличат. Дьяволы! Обманщики, кобели!..

Женевьеве становилось стыдно. Она забивалась в угол и сидела, тупо уставившись в живот. По ночам он мешал ей спать. Не могла поворачиваться на бок, задыхалась. Днем он мешал ей ходить, тянул книзу, как мешок камней.

Будь с ней Сток! Как гордо шла бы она с ним под руку по улицам! И это обезображенное тело, в котором дышит, растет их ребенок,— с какой гордостью несла бы она его! Пусть все видят и почтительно сторонятся.

«Распахнула бы платок и шла бы медленно»,— думала Женевьева и тотчас же сжимала и без того узенькие плечи. Так бы это могло быть. Но Стока нет. Сток, может быть, мертв. Торопливо, пряча беременность, старается пройти Женевьева по улицам. И хотя никто не дразнит ее, она боится насмешек и еще более — игривого подозрения в глазах старух и жестоких пригородных мальчуганов. У нее нет мужа. Она вынашивает сироту. Что сказала бы старая Катерина Буври? Женевьева плачет по своей матери. Мать так нужна теперь.

Роды наступили ночью.

Две женщины — торговка и проститутка — вывели роженицу в сарай и устроили ей ложе на соломе. Жена Стока была рада и тому, что могла хоть стонать и корчиться не в общей комнате, где жили и мужчины. В полдень с последней разрывающей тело потугой кончились боли. Торговка с Мясного рынка приняла ребенка, отрезала старым ножом пуповину и перевязала пупок белой тесемкой, которую оторвала от ворота рубашки.

— Сын, толстый и красный, фунтов на девять. Отличный кусочек,— сказала она одобрительно.

Женевьева слегка пошевелилась и попыталась привстать. Не было сил и не было чувств. Торговка поднесла ребенка к материнской груди. Он не сразу научился сосать. Женевьева скорее с любопытством, чем с нежностью, заглянула в мутные, неосмысленные глазки. Вчера еще он был частицей ее тела. Память о болях была еще так свежа. Женевьева вздрагивала.

Как подкралась любовь к ребенку, она не подметила. Пришло это сразу — и беспокойство и боязнь: здоров ли, сыт ли? Пробудилась нежность, большая, гнетущая, как страдание.

— Дорогой! — шептала Женевьева, невольно возвращая этому слову его первоначальный смысл.

Разве не дорого дался он ей? Безработица, унылые, голодные месяцы ожидания и эти страдания, ни с чем не сравнимые, страшные, как агония.

Она все крепче привязывалась к нему животной привязанностью, по мере того как удлинялся список ее жертв и мук. Но вот появились и радости. Прикосновение мягких губ к соскам, ласка слепой ручки, шныряющей по груди, кривенькая попытка улыбнуться. В день, когда Женевьева поняла, что жить уже не на что и ее сыну угрожает голод, в этот день он впервые взглянул на нее, скашивая рот, улыбаясь. Может быть, ей показалось.

Женевьеву выгнали из дома, где она три месяца занимала угол. Хозяйка взяла в залог тряпье и золотой перстенек — один из двух, подаренных Стоком. Второй тотчас же оплатил ночлежку. Цепь сжималась вокруг Женевьевы. Ей подсказал это голодный крик мальчика. Что делать? Она вышла на улицу. Но не смогла протянуть руку. Какая-то женщина дала ей несколько су. Женевьеве казалось, что все это — только кошмар. Но пробуждение не наступало. С ребенком, озябшим и не сытым, бродила она по Парижу. Никому не было до нее дела. Город двигался навстречу, жуткий в своем равнодушии.

Безгранично мучительно одиночество в толпе. Пытливо и алчно заглядывали люди в витрины лавок, оценивали наряды встречных и проходили слепые мимо Женевьевы. Мимо... Человеческий эгоизм истязал ее. Не отдавая себе в этом отчета, она страдала, она боялась, заблудившись в непроходимом человеческом бору, понять неизбежность гибели.

Зажглись газовые светильники вдоль Сены. Зажглись огни на богатых каретах, на подъездах театров и ресторанов. Женевьеву инстинктивно тянуло на окраину. Там она не чувствовала себя такой затерянной. Там она была если не дома, то ближе к нему.

Может быть, укрыться на ночь в ночлежном доме? Нет, только не в этот смрадный ад! Прошлой ночью на наре рядом с Женевьевой умерла тряпичница. Как незабываемо боролись с темнотой, со смертью ее руки! Они, как и губы, хватали воздух. Всю ночь Женевьева смотрела на эти тощие грязные руки, и до утра проплакала она о Стоке, о минувших днях счастья. Во время беременности что-то, чего она не понимала, отвращало ее от печали и отчаяния. То был спасительный инстинкт. Но после рождения маленького Иоганна с еще большей силой вернулось горе. От слез и тоски портилось грудное молоко, и ребенок судорожно плакал и корчился от болей.

Женевьева не могла больше управлять собой. Силы изменяли.

«Только не в ночлежку!» — думала она. Ночь не была холодной. Женевьева провела ее под навесом пригородного рынка, на груде стружек между ящиками и рундуками. Это вовсе не была худшая ночь в ее жизни. Прежде чем она забылась, к ней пришло столько дум и воспоминаний... На рассвете она и ребенок крепко заснули.

Их разбудило сонное мычание коров, которых вели на бойню. Солнце золотило стружки. Ветер отгонял тошнотворный запах неубранных рыбных рядов.

Случалось вам видеть, как просыпается на рассвете окраинный рынок, слышать скрип подъезжающих возов? Их встречают писк фонтана, добродушная брань ночных сторожей. Утренний воздух подвижен. Пляшут над рундуками увядшие листья, перья ощипанных накануне кур и гусей, вялые лепестки деревенских цветов; переваливаются, хромая по пыльной земле, забытая репа, обгрызанная морковь.

Женевьеве показалось, что она проснулась в деревне на гумне. Рядом с ней гоготали гуси и визжали поросята.

Впереди, скрыв убежище бездомных, стоял воз с прекраснейшими овощами. Их пестрота превосходила все, что видала доныне Женевьева.

Среди салатных листьев синела свекла. Репа лежала клубками солнечных лучей. Морковь и редиска пылали,

как июльские маки и пионы. Тут были также лягушечье-зеленые артишоки, пушистый укроп, кружевная петрушка и мертвенно-серая спаржа.

Увядая, овощи одуряюще пахли, точно выдыхая поглощенный на огородах аромат полей, лесов, солнца и рек. Женевьева вглядывалась жадно в неожиданно открывшееся перед ней великолепное умирание овощей.

«Чем цветы красивее овощей?— думала она. — Я сделаю из зеленого муслина листья салата, стебельки петрушки, стручки гороха. Госпожа Столь...» Она вдруг вспомнила, как далека и недосягаема была для нее мастерская на улице Вожирар. Привычно расстегнула кофточку, взяла, присев, сына на колени. Задумалась. Минуты жужжали стаей налетевших мух. Возле воза кто-то сипло ругался. Рынок зашевелился, исчезло обаяние утра.

— О, стерва, чтоб из твоего жира сварили мыло, а на твоих кишках сушили белье!

Рынок начал деловой день.

Внезапно с вышины морковной насыпи высунулось лицо красное, как редис, и две грозные руки. Женевьева съежилась. Ее открыли.

— Господи! — вскричала женщина и скатилась с воза к ногам Женевьевы. — Мое добро! Мои милые стружки смяты, изгажены поганой бабой!

Женщина — богиня овощей — выражала свое отчаяние не только лицом, руками, ногами, но и огромным животом. Он дрожал от негодования, надувался, колыхался, наступал на Женевьеву. Юбка крестьянки топорщилась и шумела. Несчастная посягательница на чужую собственность закрылась рукой, ожидая побоев.

— Мой ящик, мои стружки!..

Вдруг, перепуганный бурей, заплакал на коленях Женевьевы ребенок. И случилось неожиданное. Владелица стружек стихла, разжала кулаки, усмирила живот и опустилась коленями, большими, как кочаны капусты, на стружки.

— Да тут имеется цыпленочек! — сказала она ласково и засмеялась. Трескучий сиплый смех успокоил и мать и ребенка.

Спустя час Женевьева смотрела, как огромная торговка укладывала ее сына на злополучные стружки, уже погруженные на опустошенный воз.

— Будь спокойна! — кричала могучая баба, подбирая вожжи доброго першерона. — У моей коровы побольше молока, чем в твоем вымени. Благодарение богу, в моем курятнике давно не водится цыплят. Мальчишка будет сыт, как принц,— конечно, в том случае, если до субботы ты доставишь мне деньги.

— Медон... Медон, госпожа Гросс... Дом за собором, дом с огородом... Я принесу деньги в четверг,— отвечала Женевьева.

Оставшись одна, жена Стока направилась к статуе мадонны и помолилась, как молилась в детстве подле старой Катерины.

«Иоганн,— думала она, целуя измазанный подол шелковой юбки статуи,— прости! Но, как знать, не гневу ли божьему мы обязаны нашими страданиями? И если не веруешь ты, то, может, хоть я своей молитвой покрою твои грехи и примирю с нами небо. Святая дева, ты сама знаешь, в чем счастье,— пошли мне его хоть немного!»

Из храма она поплелась на улицу Вожирар. Отныне Женевьева была одна. Госпожа Столь может теперь быть довольна узкой талией своей мастерицы.

Но за три с лишним месяца мастерскую искусственных цветов постигли неудачи. Прихотливые модницы Сен-Жерменского предместья, а за ними и расточительные содержанки с Елисейских полей охладели к искусственным цветам. Платья украшались отныне лентами, перьями, кружевами. Госпожа Столь рассчитала одну за другой работниц, заперла подвал и уехала к брату в Бретань, предполагая торговать вместо цветов креветками и устрицами. Женевьеве остался лишь один маршрут — в ближайшую контору по найму прислуги.

Антуанетта Кирару, по прозвищу «Жирафа», содержала свое учреждение более двадцати лет, с тех самых пор как приехала в Париж из Марселя, где прогорел дом терпимости, перешедший к ней по наследству от матери. Впрочем, о сомнительной профессии Антуанетты не знали на улице Бак, и контора по найму женской прислуги легко приобрела солидную репутацию.

Наиболее аристократические и богатые дома прибегали к помощи Жирафы и полагались вполне на ее рекомендацию.

Женевьева не без робости вошла в полутемный холодный зал и неуверенно присела на кончик скамьи. Вокруг нее было множество женщин, молчаливо дожидающихся решения своей участи. Только толстогрудые крестьянки в платочках и сарафанах простодушно хихикали и перешептывались. Это были кормилицы, принесшие, кроме сильных, удобных, как люлька, рук, на рынок рабочей силы также сочные груди. Спрос на них был особенно велик. Женевьева подсела поближе.

Женщины переговаривались о детях, оставленных в деревнях. Некоторые из окруживших Женевьеву уже служили кормилицами и хвастались теперь крепостью своих сосков и именами вскормленных ими знатных детей. Они свысока поглядывали на соседок, чьи груди были пусты, на всяких горничных, судомоек, прачек и даже на поварих, наиболее привилегированных во всем сословии женской прислуги.

— Ты вот поди сумей выкормить дитенка, добудь-ка молока! — говорила одна.

— Тоже заслуга! На каждом углу я могу найти это добро.

— Ну, дудки! На проторенной дорожке трава не растет,— хихикала дюжая баба, пятый раз пришедшая в город продавать свои груди.

— Продажная тварь!

— Сука!

Началась перебранка. Прежней почтительной тишины как не бывало. Разговор грозил окончиться потасовкой, как вдруг все утряслось, все смолкло. В дверях появилась сама Жирафа, в очках на злом лице. Нитка толстенного янтаря болталась, как хомут, на ее бесконечно длинной тощей шее.

Жирафа грозно оглядела женщин и, вдруг подскочив с неожиданной ловкостью к одной из них, отвесила ей тяжелую пощечину. Не успокоившись, она наступала на жавшихся к стенам женщин. Она размахивала руками, как плетями.

— В моем заведении, в моей конторе! О, срамницы, я вас!.. Да я вам!.. — шипела она. Более двадцати лет назад с помощью одного марсельского нотариуса, поделившегося с ней некой старинной болезнью, Жирафа лишилась звонкого голоса.

Порядок восстановился, и прием продолжался. Пришел черед жены Стока.

Антуанетта Кирару была болезненно тщеславна, и слава ее учреждения была для нее дороже франков, которые она копила и носила под набрюшником.

Поэтому она долго и тщательно изучала своих клиенток и действительно безошибочно распознавала их свойства и характер.

Женевьева тотчас же была ею мысленно внесена в разряд слабовольных, несварливых, добросовестных в труде существ.

— Покажи грудь,— сказала Антуанетта, приняв вымысел Женевьевы о смерти мужа и новорожденного ребенка.

— Мне все равно, как и откуда произрастает колос, был бы хлеб.

Молока в груди Женевьевы было много. Никакие лишения и недоедание не могли погубить, иссушить чудесный материнский родник.

— Не пройдет и четырех дней, как ты будешь на месте, в довольстве и почете,— сказала Жирафа и перечислила свои условия.

Но Женевьеве было не до торга. Три четверти жалованья первого месяца... Да хоть все, скорее бы только получить место!

— Но я не могу ждать ни одного дня. У меня нет и двух сантимов, а завтра четверг, я должна...

Женевьева чуть не проговорилась о сыне, о медонской огороднице.

Лицо Антуанетты было непреклонно. Она вытолкнула Женевьеву. Три другие кормилицы заискивающе кланялись в дверях.

— В понедельник приходи за адресом.

В понедельник... Женевьева вышла из конторы, покачиваясь, точно получила отказ.

А вдруг от голода, вдали от ребенка пропадет молоко?

«Хорошо бы пойти в Медон и напоить мальчика,— мечтала мать.— Но деньги? Без них нельзя идти. Сегодня среда. Завтра четверг. Что делать?»

Опять и опять вставал перед ней этот неразрешимый вопрос.

Впервые за последние месяцы она шла по улицам, свободная от своей постоянной ноши. Ей была непривычна

легкость собственного тела, свобода рук. Мужчины поиному смотрели ей вслед. Она перестала быть неразличимой, как камни мостовой, как серые тумбы.

Женевьева опять стала женщиной, к тому же привлекательной, трогательной в беспомощности, которую не могла укрыть. С ней заговаривали. Она негодовала и бежала прочь от недомолвок, от приглашений. Так было с шести до восьми вечера, покуда голод и отчаяние не сыграли наконец свою извечную роль провокаторов. Женевьева устала. Идти было некуда. День уходил. Надвигался четверг. Он висел, как нож гильотины, над ее сознанием. Что, если торговка из Медона, не получив вовремя условной платы, заморит голодом ее ребенка?

Запах еды из встречных ресторанов действовал на Женевьеву, как алкоголь. Она пьянела. Покалывало грудь, переполненную молоком. Какой-то мужчина давно наблюдал за колебаниями женщины. Они сказывались на ее походке, отражались и на лице, которое он видел в профиль и одобрил. Она то сгибала плечи, то со вздохом отчаяния бросалась вперед, шагая широко, как человек, принявший решение.

Хищный инстинкт подсказал прохожему минуту, когда Женевьева внутренне сдалась, отступила сама перед собой. Она не убежала, когда в темноте он заговорил с нею, не огрызнулась и слушала без удивления его зазывания. Ей предлагали ужин, только ужин.

— Мы оба одиноки, моя дорогая,— сказал мужчина, взяв ее за покорный локоть.

Он повел ее в третьеразрядный ресторан с отдельными клетушками, называемыми, впрочем, кабинетами. Возле стола, покрытого несвежей скатертью, с застиранными пятнами, стоял плюшевый диван нестерпимо желтого цвета. Женевьева одеревенело смотрела на зеркало у окна, на портьеру. Может быть, она убежала бы прочь, но рядом с вешалкой, на которую оба повесили свою верхнюю одежду, висел прошлогодний календарь, и по странной случайности на нем был только один листок — четверг. Это решило колебания женщины. Она опустилась на стул подле дивана и принялась ждать. Ее спутник с удовольствием отметил, что имеет дело не с профессионалкой.

Женевьева страдальчески перебирала край старой шали, не зная, что сказать, как следует себя вести. Колени ее дрожали.

Хрупкая надежда еще жила в ней. А что, если этот незнакомый человек попросту накормит ее ужином и даст взаймы денег? Взаймы?.. Эта мысль вернула ее к жизни.

— Послушайте, мосье,— начала она страстно,— умоляю вас, помогите мне!— Она вкратце рассказала, для чего ей нужны деньги, всего пять франков. — Клянусь, я верну их вам через месяц! (Деньги первого жалованья принадлежали Жирафе.)

Женевьева хотела прибавить что-то о молитве, которую будет ежедневно произносить в его здравие, но почувствовала, что бог слишком далек от нее и что святая дева подвергает людей чрезмерным испытаниям.

Уже подали еду, вино, а жена Стока все говорила, и одна мольба сменялась другой.

Незнакомец не прерывал ее. Он деловито раскладывал по тарелкам мясо и овощи и разливал по бокалам вино.

Женевьева внезапно поняла его молчание.

— Нет? — спросила она, дрожа.

— Я этого не сказал, моя курочка. Но зачем тебе брать взаймы то, что ты можешь получить в собственность?

— Но я не могу, мосье...

— Почему же?

— Я не люблю вас, я вас не знаю.

— Я не в претензии... Что же? Любишь мужа? Мужа, который пустил тебя по миру одну?

— Я этого не сказала, мало ли какие обстоятельства случаются в жизни, мосье...

— Значит, боишься согрешить, нарушить клятву верности? А знаешь, кто выдумал верность, кто и для какой цели?

— Не знаю.

Мужчина погладил бакенбарды и подлил Женевьеве вина. Она пила, пьянея, но не отдавая себе в том отчета.

— Мы, мужчины. Верность — это тончайший и надежнейший пояс целомудрия, который мы надеваем на наших женщин на время, когда они уходят из-под нашего надзора.

Женевьева не понимала. Страх и тоска стискивали ее мозг. Она догадалась лишь, что ей отказывают.

— Верность? Какая чепуха! Она противоречит человеческой натуре. Мы, мужчины, поняли это давно, но боим-

ся разъяснить это женщине. Невыгодно. Хлопотно. Обидно... — Он хмелел и подсаживался ближе. — Я дам тебе шесть франков. Ты мягка и нежна, моя уточка.

Чужая мерзкая рука лезла за корсаж, мяла грудь. Кровь прилила к лицу Женевьевы. О, с каким наслаждением она укусила бы эту руку, избила эту пьяную розовую морду — морду приличного зажиточного парижанина!

— Я могу, стоит мне захотеть, выбрать себе любую женщину своего круга, каждую из подруг моей жены. Им будет лестно... они будут говорить мне истасканные нежности.

— Жены? Вашей жены?

— Не смей произносить этого слова! Моя жена — лучшая из женщин. Более того, она святая! — Он замолчал на мгновение, жуя сигару. — Я могу привезти в это гадкое логовище лучшую из парижских недотрог, и, однако, я выбираю тебя...

Он пил. Пила Женевьева, не привыкшая к винным парам. Глаза мужчины тускнели. Речь становилась все более отрывистой.

— Иногда попадается воистину королевское блюдо... Мне надоели слова... то, что неизменно требуют порядочные женщины от мужчины, прежде чем проделать все то, что проделаешь ты, моя безымянная весталка. Смелее!..

Время шло. Мужчина говорил путано, бессвязно.

— Я рад, я рад, что любовь в Париже продается на каждом углу...

— Любовь?! — закричала Женевьева. — Вы не смеете произносить грязным ртом это слово. Любовь?.. Как я ненавижу вас! Вы покупаете наши души, наши тела за гроши! — Она плакала. — Когда же бог прольет на свет хоть каплю справедливости!

— Браво! Да у тебя незаурядный темперамент, а я-то боялся, что приготовил себе на ужин устрицу.

Покачиваясь, Женевьева встала из-за стола. Она была совершенно пьяна. Диван вдруг показался ей кучей щебня на площади Круа-Русс. Она вскочила на него. Проскрипели пружины, как доски гроба.

Женевьева увидела перед собой толпу ткачей. Они приветствовали ее и ждали ее слова.

Где-то вдали стоял Каннабер, комиссионер негоцианта Броше, жирный, гладкощекий, и помахивал цилиндром,

— Возьмите его! Хватайте! На фонарь насильника! Он пьет нашу кровь! Он ждет, чтоб надругаться над нами, подстерегает. Смерть гадам! Народ валяется перед ними, как навоз в поле!..

— Ого, да ты в придачу еще и остроумна. Нет, какова находка! Подлинная фурия. Великолепно, моя волчица!

Сильные липкие руки обхватили Женевьеву. Потянули, повалили. Толстые губы заглушили вопль, как тряпка, втиснутая в глотку...

Женевьева открыла глаза. Лампа чадила. Сквозь портьеру еще не пробивался дневной свет. Кто-то храпел рядом. На разорванной кофточке разводами подсыхало молоко, пролившееся в момент драки. Где-то в Медоне ее звал ребенок. Она чувствовала это.

На руке и щеке горели ссадины. Она поднялась, оправила деловито юбку, натянула спустившиеся чулки. Ее тошнило. Болели виски. Торопливо приподняла графин и выпила из горлышка. Потом вымыла лицо. Ощущение липкой грязи, точно поднялась из лужи, не проходило. Кого винить? Она осквернила себя добровольно. А как могла поступить иначе?

На столе лежал большой мужской кошелек рядом с часами, покрытыми шелковым носовым платком.

Было три часа утра. Вышитая монограмма остро пахнущего пачулями платка состояла из двух букв: *В. Д*. Это все, что Женевьева узнала о нем, об этом удовлетворенно храпящем, отвратительно красивом самце. Прежде чем уйти, Женевьева вынула из кожаного кошелька В. Д. шесть франков. Он сам назвал ей эту цену.

В понедельник Жирафа встретила кормилицу милостиво, ласково.

— Вот и пригодился тебе Лион,— сказала она. — Виконтесса Дюваль из четырех моих кандидаток выбрала тебя, как свою землячку. Она тоже с берегов Роны. Что и говорить, повезло тебе, мое сокровище,— и прибавила строго, сообщнически: — Надеюсь, ты не осрамишь моего заведения и будешь вести себя примерно. Береги молоко и помни, что оно сохнет от любовного жара.

Вскоре за Женевьевой прибыла сама помощница дворецкого, Амели. Это была многопудовая рыхлая женщина,

по лени своей неспособная ни на злые, ни на добрые поступки. Она всегда улыбалась, избегая напряжения, связанного с тем, чтобы собрать воедино короткие расползающиеся губы. Амели слыла любимицей своей госпожи, ее наперсницей, дуэньей, советчицей. И то, что Женевьева пришлась ей по душе, было еще одной удачей в этот день.

В тот же вечер, после долгого врачебного осмотра, тщательно вымытая и наряженная в пестрый крестьянский костюм, кормилица приступила к исполнению своих обязанностей.

Крошечное хищное существо, укутанное в атласные пеленки, мгновенно с алчностью пиявки присосавшееся к груди жены Стока, называлось Анна-Жозефина-Генриетта виконтесса Дюваль.

## 2

Прошло несколько лет. Маленькую Анну-Жозефину-Генриетту давно отлучили от опустошенной, одряблевшей груди кормилицы. Благодаря хлопотам неутомимо тучнеющей Амели жена Стока была переведена из кормилиц в горничные и по-прежнему оставалась в доме генерала Жоржа Дюваля, знатного и богатого придворного короля Луи-Филиппа.

Кормилица, потом горничная давно в совершенстве ознакомилась с бытом, нравами, семейными тайнами своих господ. То, чего она не понимала или не замечала, ей досказывали в людской.

Особняк Дювалей был полон слуг, конюшни ежегодно перестраивались, так как не вмещали новых иноходцев, рысаков и карет, сад расширялся. Оранжереи были полны цветов, погреба — драгоценных вин. Недаром виконтесса Дюваль была дочерью самого Броше. Кто не знал старого тигра Броше? Его слава давно перекинулась через Рону и достигла Парижа. Принц Орлеанский дважды гостил в его поместьях. Король наградил его командорским крестом. Господин Броше расценивался по самым приблизительным подсчетам в добрый миллион. Он стал одним из хозяев крупного банкирского дома и умело играл на бирже. Его дочь могла позволить себе любую вольность в высшем свете. На балах она затмевала принцесс крови если не чопорностью, то бриллиантами, и,

уступая французской королеве в сане, числясь всего лишь придворной дамой, фрейлиной, Генриетта была королевой лионского шелка и бархата.

Коренастая толстощекая провинциалка давно превратилась в щуплую бледнолицую «мадонну» Сен-Жерменского предместья. Так прозвал Генриетту Дюваль некий пронырливый модный поэт, воспевающий лилии — души мертвых дев.

Лестное прозвище «мадонны» стоило Генриетте всего нескольких обедов в честь влиятельных, нужных поэту критиков, бриллиантовой булавки для его галстука и одного любовного свидания.

Поэт оказался не слишком требовательным и за ту же сумму благ посвятил генеральше два сонета. После этого он стал другом дома. Как и все слуги сорокакомнатного дома, он знал отныне обо всех любовных баталиях, в которых участвовала «мадонна» то в качестве победительницы, то — побежденной. И поэт, получивший только одно свидание, с горечью признавался себе, что сравнение с заслуженным и опаленным в битвах гренадером куда более шло к дочери фабриканта.

Женевьева, пользовавшаяся симпатией барыни не менее, чем Амели, была тем самым посвящена во все ее заботы.

В полдень горничная приходила в будуар Генриетты и раздвигала атласные шторы. Свет, падавший на перламутровую овальную кровать-раковину, играл радужными красками. Виконтесса Дюваль спрашивала, громко зевая:

— Что я буду сегодня делать? Опять день. Какая скука!

Женевьева думала устало, будет ли когда-нибудь лишний час и в ее жизни.

Генриетта потягивалась среди наряднейших подушек. Чувственная, но не страстная, пресыщенная, но алчная, она была красива и отвратительна, как яркое паразитическое, вредоносное растение. Горничная презирала ее, и презрение это в любой момент могло стать ненавистью. У постели на перламутровом столике лежали среди конфет, карандашей для губ и бровей, смешных уродцев-талисманов из золота и слоновой кости две-три модные книги. Генриетта Броше читала их в часы редкой бессонницы,— чтоб еще до утра забыть. Давно прошло время, когда ее волновали стихи о любви и луне, бал-

лады Альфреда Мюссе, когда мечты о Париже учащали ее пульс. Столица окончательно выпотрошила сердце дочери Броше. Генриетта была богата, знатна, принята при дворе, к тому же и замужем. Чего еще оставалось желать? Наконец, она постигла искусство украшаться и показывать себя у барьера ложи или в черной лакированной коляске. Ей дивились и подражали. По-прежнему мужчинам, которые ей нравились, Генриетта декламировала ту же, десять лет тому назад выученную, балладу о луне и напевала игривые лионские песенки. В любви она разыгрывала простушку.

По-прежнему в своем салоне в беседе дочь фабриканта Броше притворялась тоскующей и рвущейся прочь от той жизни, которую вела, но все реже ее напыщенные, чрезмерно выглаженные фразы убеждали. От частого повторения одни и те же мысли значительно стерлись, а Генриетта и не пыталась сменить маскарадный костюм. Она глупела год от году, и то, что казалось умильным и трогательным в молоденькой девушке, в тридцатилетней женщине было уже только неприкрытой пошлостью. Этого не замечали, так как она еще не подурнела и к тому же была одной из многих дам высшего света, не более несносной и чванливой, чем сонм графинь и баронесс, ее подруг.

После восьми лет супружества в сердечном архиве Генриетты значилось десять любовников.

В это утро Женевьева узнала, что мосье Луи Флиппер, адъютант генерала, удостоился быть возведенным в сан одиннадцатого друга сердца виконтессы. Все признаки были налицо. Генриетта провела бессонную ночь. Одна из книг лежала на ковре раскрытой.

Маленький розовый конверт с письмом был уже заготовлен вместе с китайским божком и витой браслеткой, оканчивающейся сердоликовой печаткой.

Генриетта вместо обычного: «Что буду я сегодня делать?» — спросила Женевьеву, как нравятся ей волосы генеральского адъютанта. Для горничной, всегда скорбной, молчаливой, даже угрюмой, чем она и заслужила доверие госпожи, все мужчины делились на две категории. Те, кто был чем-нибудь похож на Стока, мгновенно делались ей симпатичными, а те, чьи повадки, бакенбарды, голос отдаленно напоминали господина из отдельного кабинета третьесортного ресторана, госпо-

дина В. Д., — вызывали в Женевьеве чувство такого непреодолимого отвращения и боли, что две печальные морщинки еще резче проступали около губ, в то время как сухие глаза зло загорались.

Господин Флиппер был холеный, довольный собой юноша.

— Не правда ли, цвет его волос как жареные каштаны? Женщины от него без ума, — говорила Генриетта с гордостью.

Жена Стока молча расправляла в ногах постели сбившееся одеяло.

— Отнеси все это, но берегись попадаться на глаза генералу и его слугам. Они все шпионят за мной.

Женевьева насмешливо улыбнулась бы, если бы сохранила эту способность. Но улыбка ее давно походила более на гримасу страдания. Никто не думал шпионить за Генриеттой — ни муж, которого она обманывала, ни его лакеи. Но страх, тайна набрасывали хоть какой-то романтический покров на совершенно беспрепятственные адюльтеры, которыми спасала себя от скуки виконтесса.

Хотя прошло уже более шести лет со времени знаменательного и решающего разговора, установившего внутренние отношения семьи Дювалей, Генриетта все еще пыталась усложнять свои похождения, возводя вымышленные препятствия.

Шесть лет тому назад госпожа Дюваль впервые нарушила супружескую верность. Что толкнуло ее к молодому фату, столь чванному, сколь наглому?

Любопытство, подражание парижским законодательницам моды, непременно имевшим любовников.

Сама Генриетта считала, что стала жертвой романтической обстановки. Она была правдива сама с собой и не прикрывала случившегося обязывающим словом — любовь. Можно ли было, однако, устоять? Все было так, как рассказывали ей приятельницы, как надлежало в свете. Сначала бешеная скачка по Булонскому лесу, потом в сумерках таинственный домик-избушка, и в нем... Чего только не было там! Фрукты, вина, конфеты, мягкие диваны, надушенные подушки, цветы и музыкальный ящик, наигрывающий вальс «Не томи...». Не могла же Генриетта повести себя как неопытная провинциалка.

Спустя лишь год Дюваль подметил перемену в поведении жены. Она стала значительно менее требовательна

и всегда занята вне дома. И то и другое вполне устраивало молодого офицера, галопом несущегося к генеральскому чину. Кроме военной карьеры, весьма нетрудной при наличии связей и денег, в эти мирные годы Жорж Дюваль — спаситель королевства в лионских боях — увлекался биржей и под руководством Броше выгодно скупал и перепродавал акции.

Свободное время молодой полковник по-прежнему отдавал картам и недорогим танцовщицам. Не ревность привела Жоржа к объяснению с женой, но фамильные принципы и любовь к порядку.

— Дорогая,— сказал он ей, появившись в необычный час на пороге одного из будуаров,— я хотел бы серьезно поговорить с тобой. Наша любовь — любовь вечная, нерушимая, и в этом залог счастья. Я понимаю, что мелкие увлечения не могут внести никакого разлада...

— В сердца, бьющиеся в унисон,— поспешила добавить Генриетта. Она приятно волновалась. Так начинались мелодрамы.

— Именно, в унисон. Союз Броше и Дювалей слишком счастливый, он точно предопределен самой судьбой.

Жорж представил себе золотые россыпи старого фабриканта, пришедшиеся так кстати для его полунищего, хоть и безупречно аристократического рода.

— Ты нужна мне, как и я тебе. Но у нас могут быть дети, и, моя девочка, я не хотел бы... Это дело фамильной чести...

Генриетта поняла. Молчаливый договор был скреплен учтивым холодным поцелуем. С той поры счастливый брак Дювалей стал еще более примерным. Ни одна ссора, к огорчению виконтессы, за эти годы не омрачала семейного горизонта. Каждый из супругов жил в полном согласии со своими желаниями, уверенный в том, что другой об этом не подозревает. Фамильная честь свято охранялась. Произведя на свет двух потомков рода Броше-Дюваль, Генриетта считала свой брачный долг выполненным. Дети ей не мешали. Она снова старательно повела счет любовникам и балам.

Тотчас после первых двух придворных балов в начале зимнего сезона генерал и генеральша Дюваль рассылали приглашения на вечер.

За несколько дней до этого большого события в

особняке в конце улицы Бург-Лаббе начались приготовления.

Согласно добрым правилам, ни одно из нескольких десятков блюд к ужину не заказывалось в ресторациях. В подмогу трем поварам нанимались знаменитейшие кулинары, и все изысканные меню приготовлялись в обширных кухнях в подвале. Цветы, в изобилии расставленные по залам и лестницам, доставлялись из собственных оранжерей, вина — из глубоких погребов поместий. Беспокойство и сутолока господствовали, однако, лишь в нижнем этаже дома, где находились гостиные, и в подвале, где были кухни и буфетные. Наверху ничто не смело нарушить положенную тишину. Бесшумно двигалась там челядь — бесчисленные лакеи, камеристки, горничные.

Владыкой дома, еще более могущественным, чем всегда, становился мажордом Пике, маленький седой савояр, хитрый и ловкий, как Талейран, и упорный, как Наполеон. Дюваль переманил его от принца Альберта, оценив его гений интригана, умение убирать на диво столы, приготовлять устрицы и откупоривать шампанское. Пике знал всех именитых и влиятельных парижан, причуды коронованных особ, излюбленные Тьером и Гизо марки вин и гурманские прихоти титулованных дам. Он был незаменим как справочник о людях и организатор трапез. В дни балов даже сам Дюваль не смел ему перечить. Деспотизм Пике становился безграничным. Повара, судомойки, декораторы, горничные работали до полного изнеможения.

Как истый деспот, Пике был падок на лесть и угодливость. Среди слуг он постоянно выбирал фаворитов, чтобы, впрочем, скоро пресытиться их старательностью. Женевьева, никогда не льстившая честолюбивому господскому надсмотрщику, не подслушивавшая в коридорах, очень скоро навлекла на себя его особую немилость. В этой молчаливой, неизменно печальной женщине он изыскивал только пороки и заподозрил ее в худшем из грехов — республиканстве. Набожный роялист, каковым и надлежало быть верному слуге Дюваля, окрестил Женевьеву страшным прозвищем якобинки.

— Я знаю эту бабу, я ее вижу насквозь! Такие, как она, строили баррикады в июльские дни и снимали юбки, чтоб писать на них: «Хотим республику!»

Но никакие происки Пике не лишали горничную расположения виконтессы.

— Друг Пике! — говорила Генриетта Дюваль раздраженно. — Какое мне дело до души и политических симпатий моих служанок, раз они спрятаны под чепчиками? Ты так напуган, точно революция на нашем пороге.

Пике сводил счеты с Женевьевой как мог. Накануне бала он неистово гонял ее с этажа на этаж, браня за неповоротливость и вялость. Он поручал ей разнообразную работу, одинаково утомительную и неблагодарную. Женевьева складывала безупречными треугольниками салфетки, сотни салфеток, крепко накрахмаленных тугих полотняных квадратов, натирала воском полы, ползая на четвереньках, перетирала и считала серебряные ложки, сотни ложек с монограммами и коронами.

Пике пытался обвинять Женевьеву в воровстве и радовался вспышке ее гнева. Подозрения его были поводом заставить ее сызнова пересчитывать рябящее в глазах столовое серебро в доказательство того, что ничего не пропало.

В восемь зажигали свечи, тысячи свечей, хрупких и бледных. На хорах рассаживались музыканты. Пике полководцем, осматривающим бранное поле, обходил дом. Жорж Дюваль, однажды побывавший в Англии, построил себе дом на английский лад. Из холла, обитого дубом, две лестницы, соединяющиеся над дверьми в главный зал, вели в жилые комнаты. Вдоль перил, на особых выступах вдоль балюстрады, поддерживающей стеклянный потолок, стояли цветы, сотни горшков с неяркими камелиями, преждевременно расцветшей, полумертвой сиренью, пышными азалиями.

Пике был умелый декоратор. С люстр свисали синие глицинии и стеклянные грозди винограда. Гирлянды из листьев, выписанных из Ниццы, опутывали лианами дубы-колонны, стлались плющом по деревянным стенам.

В небольших гостиных было полутемно.

Горели светильники, дымились куренья. По желанию виконтессы в доме были турецкие, персидские, алжирские уголки-будуары для укромных бесед, отдыха, признаний. Только в двух бальных залах да в необъятной столовой воздух не был пряным, пропитанным цветами, и освещение было ярким и незатейливым.

К первому в сезоне балу Дювалей приезжал из Лиона Броше. Не желая стеснять себя в развлечениях, он предпочитал останавливаться в «Гранд-отеле», где за ним постоянно числились апартаменты из пяти комнат. После нарочито постной, деловой жизни в Лионе он любил вознаградить себя в столице. Знаменитая певица из Гранд-Опера и несколько молоденьких начинающих кокоток из варьете были всегда к его услугам. Броше любил дешевые развлечения. Напившись, он не прочь был, толкаясь и сопя, поскакать в сатанинском канкане, заглядывая на бегу под развевающиеся юбки неистовых танцорок, высоко вскидывающих ноги.

Были у Броше и иные, менее невинные страстишки, которым служил Париж, голодный Париж безработных.

Лионский миллионер приезжал на бал Генриетты первым. До прибытия следующих гостей он успевал отбыть отцовскую и дедовскую повинность, которая была ему глубоко безразличной.

— Если бы мой внук носил имя Броше, я, пожалуй, с большим удовольствием завещал бы ему мой трудом и благочестием собранный капитал. Все-таки — Броше. Но виконт Дюваль промотает мое состояние, а у меня не будет даже удовлетворения от того, что имя Броше, дельца и фабриканта, живет в поколениях,— сказал он как-то дочери.

Генерал Жорж Дюваль, учтя доводы тестя и испугавшись неожиданностей в его завещании, испросил у короля для своих детей также фамилию Броше. С того времени как двое детей Генриетты стали, согласно королевскому указу, называться Броше-Дюваль, дед проникся к ним большей нежностью.

Ровно в девять Пике растворил двери в холл. Генриетта — вся тюль, кружева, бриллианты — заняла свое место против мужа, около слегка чадящего камина. Заученная, ничего не отражающая улыбка — ласковый прищур глаз и жеманные, приоткрытые губы — покрыла лица хозяев дома.

Одним из первых на бал явился Эмиль де Жирарден, любимец светского Парижа, признанный король меткой фразы, изысканный болтун с неиссякавшей чернильницей, полной яда или меда, в зависимости от минуты, от расчета.

В салонах знатных дам Жирарден был баловнем и всегда желанным гостем. Его не судили здесь за переменчивость суждений и взглядов, за подлые аферы. Жирарден был опасен. Генриетта заискивала перед опытным газетным воином. Ей хотелось, чтоб Жирарден упомянул о ней в статье. Никто не умел лучше описывать светские балы и очарование дам. Женский туалет, как и политическая сплетня, под его пером становился сенсацией.

— Я в отчаянии, мой друг! — обратилась к нему Генриетта, льстиво поглядывая на влиятельного журналиста. — Говорят, вы изменили знамени орлеанистов ради этих рваных полотнищ грязных республиканцев.

— До тех пор пока вы, мадам, в лагере приверженцев короля, мое место там. Рабы сражаются на стороне своих повелительниц.

Генриетта не уловила насмешки в тоне Жирардена. Как всегда, он ответил именно то, что от него хотели услышать. В этом нюхе была его сила, и это был его основной порок. Он всегда угадывал желания своих влиятельных читателей и бессовестно угождал им, чтоб, однако, обмануть и переметнуться тотчас же, как только это подскажут ему выгода и расчет безопасности.

— Если бы все издатели газет были похожи на вас, сколь выиграли бы Франция и корона! — вздохнула виконтесса.

Жирарден поцеловал ее надушенные ручки.

Но вот гости повалили толпами. Выстраивались, гуськом подходили они к генералу и его жене. Раздавались одни и те же восклицания, звучали восторженные, пустые слова в разных комбинациях:

— Ах, я так рада, мой друг!..

— Я счастлива видеть вас, мой виконт!

— Как это мило, что вы пришли, шери!

— Я восхищен, мадам!

— Герцогиня, графиня, баронесса, Полетт!.. Таис!.. Нинон!

— Мой генерал!.. Мой министр!.. Мой дорогой поэт!..

— Чудесно!.. Превосходно!.. Восхитительно!..

Суетились мундиры и фраки, фраки и мундиры.

Улыбались друг другу государственные деятели, банкиры, дельцы, поэты, дамы и девицы, украшенные без меры шелком, бархатом, драгоценностями, титулами. Ка-

кие имена, чины, звания! Пике с хоров перечислял их заслуги, пороки, их капиталы двум лакеям и группе оркестрантов.

— Мой дорогой Дюваль, карета принца у подъезда! — шепчет старая графиня д'Анжу, родословное древо которой насчитывает десять поколений любимцев французских королей, двух фавориток, двух Людовиков и одного влиятельного придворного кардинала. Ее одинаково баловали Орлеаны и Бурбоны. Даже Наполеон более тридцати лет назад не остался равнодушен к качеству столь бесспорно очищенной крови и пригласил графиню ко двору. Она отказалась от этой чести и не проиграла.

Генриетта все еще у дверей. Ждут принца. Толстый Броше топчется возле дочери. Он уже навеселе и занят своеобразным подсчетом.

— Эта, — говорит он, грубо тыча пальцем в жену самого Тьера, — стоит не меньше ста тысяч франков. Начнем с диадемы. Я дам за нее двадцать пять тысяч. Рубины в цене теперь. Подвоз из Индии...

— Но, папа! — шепчет скандализованная Генриетта. — Умоляю вас, не будьте столь неаристократичны!

— Это жизнь, мое сокровище. Это цена человека. Если раздеть эту фрю — стоимость ее пять сантимов. Ты, например. Начнем хотя бы с этого флакона. Я заплатил за него...

Виконтесса в ужасе прижимает пальцами к ладони свисающий с браслетки флакончик, усыпанный черными бриллиантами.

— Его королевское высочество принц Орлеанский! — докладывает соскочивший с хоров Пике. Он весь — преклонение, весь угодливость.

Появление принца сопровождается поклонами, шуршанием тафтяных и шелковых приседающих юбок, колыханием шиньонов и локонов. Оркестр играет гимн.

Вслед за старшим сыном Луи-Филиппа входит дама, издали заметная благодаря кроваво-красному страусовому перу поверх высокой прически. Это Адель — признанная любовница троих отпрысков королевского дома, двух банкиров и главы парижской полиции. Случайные связи ее в счет не идут. Генриетта устремляется навстречу модной Мессалине. Они долго прижимаются густо напудренными щеками и расхваливают друг друга. Каждая ревниво оглядывает платье и головной убор другой.

Победа, как всегда, за королевской фавориткой. Она гибка, как пиявка. Ее жадность беспредельна, ее чувственность ненасытна. Впрочем, это только подняло ей цену во мнении света. С тех пор как королева начала принимать ее во дворце, госпожа Омер де Гелль вхожа во все аристократические салоны Парижа.

Под руки с кавалерами дамы проходят из холла в глубь дома. Бал в разгаре. Генриетта неутомима. Былой лени нет в помине. Все одиннадцать любовников в числе гостей. Она гордится своим выбором. Все — светские люди, хотя и не все богаты. Поэт принес ей новый сонет. Модный критик привел с собой нескольких знаменитостей. Ждут Гизо.

Имя Генриха Гейне незнакомо виконтессе Дюваль. Но всезнающий критик ручается, что этот поэт достаточно признан для того, чтобы быть допущенным в столь избранное общество, и Генриетта Броше томно щурит подведенные глаза, протягивая руку. Поэт ей нравится своей уверенностью, граничащей с развязностью, но, однако, вполне благопристойной. Гейне и критик представляют хозяйке приезжего писателя Лаубе. Этот куда более прост и ничем не похож на знаменитость, даже немецкую. Он сутулится. Фрак его морщит на груди, точно взятый напрокат. И насколько изящен, небрежен костюм Гейне, настолько выутюжен и нескладен наряд Лаубе. Впрочем, этих немцев затмило великолепие французов. Мадам де Гелль в дамской уборной делится впечатлениями. Она отыскала в мужской толпе всех греческих богов.

— Чудесный бал! — говорит она, поправляя парчовые подвязки на безупречных коленях. — Генриетте удалось похитить на сегодня весь парижский Олимп. Принц Альберт — подлинный Аполлон, молодой Лафайет хорош, как Ганимед, генерал... важен, как Геркулес, Дельфина Ге — сама Венера. И все-таки скука! Франция скучает.

Адель повторяет мысли своих бесчисленных любовников.

— Франция скучает, — говорят они. — Тихий год, прибыльный, но скучный. Режим упрочился, титулы розданы, места заняты. Нет больших дел. Все утряслось. Даже акции сползают, а не падают, плетутся вверх, а не порхают. Скучный год!

Гейне уводит друга Лаубе в турецкий будуар. Комната, убранная, как гарем в песне Байрона, нравится

поэту. Журчит маленький фонтан. Кружатся обеспокоенные золотые рыбки. Поэты садятся на тахту спиной к целующейся в полутьме парочке. Они продолжают разговор, начатый за обедом в ресторане, далекий от всех и всего вокруг них.

— Нигде нельзя так наговориться, как на балах. Я нахожу, что танцующая толпа — наиболее одержимая, чувственная и глухая. Дух ее скован и плоть вступает в свои права. Люблю дурман балов. Люблю блеск люстр и глаз. Ах, эта старая культура, сколько в ней обаяния! Как скучен будет мир, когда победят плебеи! — говорит Гейне.

— Вот что, Генрих,— отвечает упрямо Лаубе,— куда бы ты ни завлек меня, хоть в преисподнюю, я буду настойчив в одном стремлении: буду пытаться опять и опять отговорить тебя печатать памфлет против Бёрне. Он не выходит у меня из головы. Оставь мертвых могилам. Зачем откапывать прах былых раздоров? Не станешь же ты отрицать, что Бёрне был борцом острым и талантливым и что за это ему многое простится?

— Целый день ты говоришь об одном и том же. Пользуешься одними и теми же доводами,—вяло прерывает Гейне.

— Значит, око за око, зуб за зуб?

— Почему бы и нет?..

— Ну ладно, — не унимается Лаубе, — если прихоть, месть или я не знаю, какой демон толкает тебя, то печатай книгу, однако добавь хоть что-нибудь возвышающее тебя над Бёрне. Поднимись над ним. А то сцепились два больших человека, два больших таланта, как два козла на мосту.

— Сравнение ароматное. Но каким образом возвыситься?

— Поднимись на этакую гору из принципов, исторической точности. Не выноси на улицу, на радость сплетникам и досужим буржуа, свои чересчур личные чувства. Оденься в тогу объективности.

— Идет! Вот настоящие слова,— говорит Гейне и закрывает рукой глаза, как делает всегда, когда придумывает что-либо, особенно для него существенное или забавное.

Лакей, одетый турком, приносит черный густой кофе. Друзья берут по маленькой чашечке. Из соседней «мав-

ританской» залы доносятся голоса. Это модный поэт декламирует стихи трепещущим, восторженным поклонницам. Лаубе заглядывает туда, откинув портьеру. Поэт, разъедаемый сифилисом, еще красив той особенной, неприятно болезненной красотой, которая вызывает жалость и уныние. Голос у него сиплый и глухой.

— Как он обворожителен! — шепчут женщины, завидуя Жорж Санд и Рашели, которых поэт любил.

— Я устаю от зрелища руин, даже самых прославленных и красивых. Я не люблю тления,— говорит Адель фабриканту Броше, когда в поисках безлюдного уголка они набредают на декламирующего поэта.

— Сколько же вы хотите наличными? Я хочу быть вашим князем Тюфякиным,— в торговом ажиотаже спрашивает старик, не удостаивая Мюссе ни одним взглядом.

Женевьева, которой поручено разносить и раздавать желающим веера и цветочные бутоньерки, а также сопровождать дам в уборные,— с нарядной корзиной, висящей на руке, в белом кисейном платье и чепце, ходит по залам, стараясь не мешать танцующим, играющим в карты и умышленно ищущим уединения.

От тысячи зажженных свечей, от неумолчной музыки, пестрых дамских нарядов, блеска драгоценных камней, запаха духов, пудры, цветов, звона бокалов, гула голосов, топота ног и ножек у нее кружится голова. Женевьева блуждает вдвойне несчастная, забытая, одинокая, нужная окружающим ее людям не более, чем рюмка, канделябр, стул.

Отрывки разговоров доносятся до нее. Иногда она останавливается, чтоб дослушать конец, иногда спешит прочь.

— Но кто этот молодой чахоточный человек? — спрашивает генерал.

— Поэт,— отвечает дама.

— Да, но что он делает?

— Пишет стихи.

— Не шутите, мадам. Я спрашиваю, что он делает?

Черноволосый пузатый генерал восклицает неожиданным фальцетом:

— Я говорю вам: если мы начнем войну, то проиграем,— французы ожирели. Нам нужны время от времени политические потрясения, как моцион и диета.

— Если бы наш дорогой король разогнал биржевую сволочь и привлек нас, промышленных магнатов, Франция была бы навсегда спасена от революций, этой чумы последних десятилетий,— возражает стекольный фабрикант из Нанси, личный друг Тьера.

Изгибаясь, льстиво заглядывая в глаза сиятельным и богатым, прохаживается по залам Жирарден. Тонкими пальцами в сверкающих перстнях он гладит темно-рыжие бакенбарды. Он напряженно ловит слова и взгляды. Все может пригодиться.

— Какая шельма этот куртизан Эмиль! — шепчет за его спиной оппозиционно настроенный профессор. — Я никогда не прощу ему смерти Карреля. Умеренные либералы потеряли теперь своего критика, свою совесть.

— Если таковая у них могла быть. Но ведь Жирарден убил его по всем правилам чести, как дворянин, на дуэли.

— Душа моя, почему не хотите вы сделать меня наконец счастливым?

— Я хочу слов любви, хочу романтики. Поймите — это единственное, чего мы, богатые, знатные женщины, требуем от любовников. Разве это не дешевле? Сколько платите вы своей последней содержанке ежемесячно?

— Я расстался с ней вчера. Но зачем вам ложь и мишура? Какая досада, что я уже не фат и пресытился болтовней! Вам нужны острые углы, трагедии, а я круглый, душевно круглый...

Корзина дрожит в руке Женевьевы. Женевьева подходит ближе, уверенная, что увидит каштановые бакенбарды, нежное лицо владельца инициалов В. Д. Но нет. Это банкир Ложе, бывший красавец, старается уговорить молоденькую, недавно выгодно вышедшую замуж племянницу самого господина Гизо.

— Ручаюсь, что министерский кризис разрешится в ближайшие дни. Все шансы на стороне Гизо,— говорит в толпе мужчин видный парламентский деятель.

Его прерывают.

— Тем хуже. Нам нужен человек рассудительный и отважный, как Тьер.

— Нет, господа, мы, провинциалы, предпочитаем Молле. Трезвость и нюх его проверены в палате,— авторитетно возглашает Броше.

Женевьева пробирается в холл. Пике командует в столовой. Женевьева прячет корзину за колонну и бежит

в подвал, в узкую сырую комнату, отведенную шести горничным. Сверху доносится музыка. Женевьева плачет неудержимо, как плачут в раннем детстве.

3

В прохладный, пахнущий зацветающими вербами, тающим в горах снегом, птичьими гнездами день похоронили Георга Бюхнера. Сток долго смотрел на умершего поэта. Кто сказал, что смерть красива, что она величественна? Ложь! Смерть отвратительна!

Лицо Бюхнера опало, посинело. На мертвых щеках еще продолжали расти волосы — последыши жизни. Несомкнувшийся, тронутый гниением рот был страшен. Из-под неопущенных век блестели фарфоровые чужие белки. Смерть поспешно стерла индивидуальные черты. Закоченевший труп был жалок и безличен.

Иоганн внезапно со всей силой понял: все кончено, Георга нет,— и все-таки не мог оторваться от того, что было некогда телом человека.

«Вот каким буду я, все мы... — думал Сток, невольно вздрагивая. — Нет, черт возьми! Прочь эти мысли! Они не прибавляют сил, а силы нужны, чтоб жить. Жить и бороться».

Сток проводил гроб Бюхнера на уютное цельтвегское кладбище и положил букетик цикламенов на сырую землю.

Рядом с Паулем и Минной Иэгле он долго стоял над новой могилой. Пауль уже пресытился приключениями и думал с облегчением о том, что скоро вернется в Берлин. Минна перестала плакать. Она не любила бесцельных, бездеятельных часов. Она знала, что слезы не помогут. В Страсбурге ее ждали отец-пастор, благотворительные заботы.

«Грустные воспоминания об умершем не должны останавливать течение нашей жизни,— говорила себе девушка. — Он будет жить всегда в моей памяти».

Сток тоже размышлял об отъезде. Куда ехать? Он и сам точно не знал. В Париж, пожалуй. Может быть, там отыщет он следы Женевьевы. Но только прочь из Швейцарии, тихой, сытой, самодовольной Швейцарии! Вон из Цюриха, уютного города с красивым кладбищем!

Нет, не дело Стока сидеть сложа руки, жрать жирную похлебку, запивая пивом, и возиться в навозе ссор и неурядиц вялых немецких изгнанников.

«Нет, не мое это дело! — сказал себе Сток над могилою Бюхнера. — Мы еще молоды, мы не сдадимся».

В том же феврале, поставив ограду вокруг могилы жениха, Минна уехала в Страсбург, Пауль нанял карету и отправился в Берлин, а вслед за ними сел на империал дилижанса и Иоганн. Вскоре Сток прибыл в Париж.

И нигде он не мог найти Женевьеву. Один из свояков Буври сообщил Иоганну в письме из Лиона, что жена его умерла от родов. С некоторых пор Сток привык к дурным вестям. Личная жизнь его складывалась все время столь неудачно. Он поверил в смерть жены и впервые запил.

В течение нескольких месяцев Сток не хотел бороться с нахлынувшей печалью. Он находил даже своеобразное наслаждение в постигших его бедах и заливал боль вином в дешевых грязных винных лавках.

Время проходило. Сток днем шил в мастерской на Рю Оноре, вечером слонялся по городу, отупевший, покорный тому, что он отныне трепетно называл таинственным словом «судьба».

Однажды он встретил на площади земляка, подмастерья, ушедшего из Германии. Изрядно выпив, они просидели всю ночь на берегу Сены возле Лувра, вспоминая Дармштадт, Гюркнера, польского изгнанника Войцека, перебивая и не слушая друг друга.

Поутру Сток пошел опохмелиться. Он был впервые весел и спокоен. С этого дня началось просветление. Портной нанял каморку на улице Бак, купил книг, стал меньше пить. Совсем перестать — не смог. Но алкоголь больше не побеждал его. Сток обрел себя.

Его излюбленное «Мы еще молоды, мы не сдадимся» зазвучало снова бодро, как клятва. Горько оплаканная Женевьева отошла в прошлое и утвердилась там как самое нежное и мучительное, потерявшее реальность воспоминание. Звала жизнь.

Зная хорошо французский язык, Сток вернулся к газетам и книгам. Он упивался ими снова, как недавно вином.

Чтение помогло ему вернуться к действительности, от которой он бежал в траурные дни слез и пьянства.

Он читал «Националь», ежедневную газету, которая казалась весьма смелой французским консерваторам, но вызывала раздражение Стока. Он прозвал ее газетой господчиков и просматривал только для того, чтоб быть в курсе парламентских дебатов.

В каморке на улице Бак Сток чувствовал себя одним из депутатов палаты. Он спорил, брал слово, чтоб разбить доводы министров; чтоб высмеять их; чтоб требовать прав беднякам и отмены тяжких налогов. В статьях изощренные политики отвечали ему. Так спорил с газетами, сам с собой Сток.

С тех пор как редактором «Националя» стал Марраст — в июльские дни отчаянный забияка воинственного республиканского листка «Трибуна», теперь ожиревший, умеренный и осторожный либерал,— газета удачно угождала армии и тщательно заигрывала с теми, кого она называла «пролетарии». Но Сток не верил Маррасту. Читал портной и «Журналь дю пепль», который редактировал изящный болтун, завсегдатай салонов и театров — Дюпота. Осторожный, как Марраст, Дюпота, однако, принужден был чаще «Националя» касаться рабочих вопросов. В числе сотрудников газеты были также и сами пролетарии. Сток внимательно прочитывал статьи парижского сапожника Савари и руанского ремесленника Нуаре.

Эти ребята, как про себя называл их портной, писали и гладко и умно, а уж нужды рабочих знали получше вооруженных гусиными перьями баричей.

Любимой газетой Стока стала «Интеллижанс», которую редактировал Лаппонноре. Сток слышал как-то речь Лаппонноре на небольшом рабочем собрании и проникся к ученику Бабёфа восторженным почтением.

Лаппонноре вышел из тюрьмы почти в одно время с Иоганном. Правда, он сидел во французской тюрьме, суровой, но лишенной, однако, ужасов прусского заточения,— зато провел в ней почти пять лет.

«Выйдя из тюрьмы, Лаппонноре не потерял ни одного дня и бросился с еще большим упорством продолжать борьбу с тиранией, а я,— корил себя Сток,— я болтался без дела, бродяжил, пьянствовал, провел год в чаду, близкий к дезертирству, как Бюхнер...»

Сток зачитывался статьями Лаппонноре.

«Мы хотим,— писал тот в своей газете,— среди общества, пораженного гангреной эгоизма и продажности, под-

нять святое знамя разума и общественного права». Бабувизм, слишком занятый экономическими вопросами, должен был, по его мнению, быть дополнен идеями прогресса и совершенствования.

На немногие свободные сантимы Сток покупал сатирический листок «Корсар» или «Шаривари». Злой, режущий ножом карандаш Домье доставлял ему особенное удовольствие. Рисунки его были убедительнее слов. С тех пор как закон запретил сатиру и карикатуру на короля, остроумие «Шаривари» обрушилось на министров и консервативных членов обеих палат, и Гизо, Тьер, Молле не могли уберечься от его внезапных нападений.

Газеты всколыхнули Стока. Разве не был он на лионских баррикадах, разве пещера на Господней горе и типография подле свинарника не стали для него школой революционной борьбы и умелой конспирации! Пришел час действий, час расплаты. Иоганн стал искать людей борьбы и революционного дела, но «Союз справедливых» — союз немецких изгнанников, куда он легко проник,— не удовлетворял Иоганна.

Подмастерье-кожевник Симон Шмидт, ярый коммунист, знакомый Стока по Швейцарии, привел его туда как-то на собрание. Но портной не заинтересовался собеседованиями и чтением.

— Я довольно трепал языком на своем веку. Слюна — не яд, язык — не кинжал. Пора это понять. От нашей болтовни промышленникам и королям нет убытка. Собака лает — волков пугает. Надо наконец превратить слово в порох,— объявил Сток Симону Шмидту, отклонив его предложение записаться в члены союза.

Он хотел действовать, уничтожать, взрывать ненавистный ему строй. Он мечтал о подземных типографиях, о тайных пороховых заводах, о баррикадных боях. Восстания, террористические покушения виделись ему во сне и наяву.

— Тот, кто подобно мне испытал плеть Штерринга, кто видел размозженный череп старой ткачихи на мосту Сен-Клэр, кого пожирали клопы княжеских тюрем, тот, кто похоронил соратников по уличным боям, кто видел, как сошел с ума Бюхнер, загнанный в тупик полицией и ослабевший в момент поражения, кто знает, как засекли до смерти Вейдига,— тот не успокоится над книгой, тот не может только говорить об освобождении его класса и

ждать, распевая песни. Не тому учил нас Гракх Бабёф, не тому учили нас монтаньяры.

Карл Шаппер, вождь «Союза справедливых», тщетно уговаривал Стока ждать терпеливо и готовиться к неизбежному часу расплаты с буржуазией.

В маленькой столовой, где рабочие получали дешевые обеды, «Историю революции» Кабе, сочинения Робеспьера, Сен-Жюста, Буонарроти,— Шаппер и Сток спорили так громко и сердито, что более осторожные посетители опасливо прикрывали двери, ведущие в чулан, прозванный «клубом». Не следовало привлекать спорами шпионящих повсюду агентов полиции.

— Мы ведем себя как болтливые студентишки!— орал Иоганн, выведенный из себя насмешливой миной Карла Шаппера.— Солдаты учат нас, как действовать. Ефрейтор Брюйан устроил заговор в армии и требовал республики в своих прокламациях, а мы и на это не решаемся.

— Хорош заговор! — невозмутимо, но уже без смешков возражал Шаппер.— Завербовал десяток солдат и думал с ними совершить переворот.

— Иногда десяток отважных солдат стоит сотни тысяч осторожных.

— Если мы выступим, армия нас не поддержит. Армия нас будет расстреливать.

— Чепуха! Под солдатской курткой бьется сердце мастерового или крестьянина.

— Это он осознает не скоро. Куртка пока что тот же панцирь. Под ней не слышно биения сердца. Солдаты будут свирепо уничтожать наших женщин и детей.

— Надо дерзать, надо рисковать, пробовать!

— Надо воспитывать бойцов и беречь их до боя.

— Тебя пугает эшафот, ты не рабочий, ты — лавочник!

— Ну, а за это я, пожалуй, дам тебе по шее.

Вслед за этой неизменной угрозой начиналось примирение. Однажды Шаппер предложил Стоку съездить от «Союза справедливых» в Жанси, к Огюсту Бланки.

— Нужно завязать более тесную связь с его союзом,— кратко пояснил он и выдал портному деньги на проезд.

Иоганн был счастлив. Издавна Бланки восхищал его своей смелостью и красноречием.

— Это — человек!— сказал обрадованный портной, собирая пожитки.

Шаппер наставлял его не слишком очаровываться знаменитым воином революции.

— Он чрезмерно увлекается действием,— сказал Шаппер,— но, конечно, это союзник всякому делу освобождения рабочих. Что до отваги, то он — герой.

Огюст Бланки после восьмимесячного тюремного заключения в Фордевро был по амнистии освобожден, но выслан в Понтуазу под надзор полиции.

Этот недолгий отпуск, данный ему жизнью, воинственный революционер проводил с молодой женой. Он был влюблен, любим, счастлив маленькими радостями семьи, которой почти не знал. Старый дом, занятый супругами Бланки, стоял на берегу неторопливой реки Уазы.

Иоганн Сток подошел к зеленой калитке ранним утром. Никто не помешал ему войти внутрь запущенного сада, с лужайкой перед домом, густо засаженной цветами. Покой дома, вянущие астры, женская шаль, забытая на балконе, неприятно поразили Стока. Думая об изгнанном Бланки, подсчитывая годы, проведенные им в тюрьме, повторяя про себя обжигающие слова его речей, портной по-иному представлял себе его жилище. Он, впрочем, сам не отдавал себе отчета, каким хотел бы найти домик в Жанси,— во всяком случае, менее овеянным благополучием и любовью. Румяная шатенка с длинными локонами вокруг милого, неправильно очерченного лица, выглянувшая сквозь жалюзи, оказалась женой Бланки. Она приняла плисовую шляпу и трость Стока, предложила кофе.

— Я так мало была с Огюстом. Наши дети почти не знали его доныне. По правде говоря, здесь мы пережили лучшие дни нашей совместной жизни,— тараторила молоденькая женщина, отвечая на короткие грубоватые расспросы Стока.

Вскоре появился Бланки. И опять то же чувство — не то чтобы досады, но легкого раздражения — охватило Стока.

Огюст возвращался с купания. К большой войлочной шляпе его был приколот цветок, ветка кипариса вылезала из кармана широких, плохо скроенных брюк.

Предполагал ли Иоганн, зная бесстрашную биографию Бланки, увидеть пистолет и кинжал на его поясе, хотелось ли ему встретить сумрачного, никому не доверяюще-

го карбонария, пахнущего порохом, изувеченного в драках и боях?

Но эти цветы, этот мирный кипарис! Бланки протянул портному руку. Какая сухая, жилистая, несгибающаяся рука! Какое волевое пожатие! Глаза мужчин встретились. Сток растерялся. Глаза Огюста пронизывали. Такими бывают глаза фанатика, одержимого одной идеей и целью, не рассуждающего, не знающего внутренних противоречий, истачивающих сомнений. Глаза-факелы, освещающие дорогу, избранную однажды и навсегда. Освободившись из-под тяжелой власти глаз Бланки, Сток разглядел его худое лицо, узкие губы, выражение которых отлично дополняло незабываемый взгляд, так же, как и линия строгого худого носа. Редко черты одного и того же лица так гармонически выражают отважную, фанатическую волю.

После завтрака, прошедшего в пустой болтовне об ужении рыбы, близких заморозках и парижских новостях, хозяева вышли в сад. Сток нес младшего сына Бланки, крикливого младенца, злобно барахтавшегося в неумелых мужских руках. Худой низкорослый Бланки со старшим мальчиком на плече и его высокая полная жена с книгой и пледом шли впереди. Оставив детей на попечение матери в усыпанном опавшей листвой саду, Иоганн и Огюст вернулись в дом. Им наконец удалось по-серьезному разговориться. Впрочем, говорить предоставлялось более приезжему. Бланки по давно выработанной привычке помалкивал. Зная странную власть своих глаз, он редко настигал ими Стока и односложно поддакивал из глубины темного старого кресла. Но осторожность и молчание Огюста не удерживали портного, не мешали ему говорить. В поведении Бланки не было предвзятого недоверия, не было высокомерия, не было хитрого выспрашивания, которым когда-то в первое свидание так обидели Стока Вейдиг и Бюхнер.

Портной чувствовал, что, если Бланки молчит, значит, так и надо. И он рассказывал о своих сокровенных желаниях, и понемногу ответы Огюста становились многословнее, прямее.

— Восстание необходимо,— говорили они тихо.

Портной жаждал террора. Его мечты были кровожадны. Он хотел бы убить Луи-Филиппа. Это вовсе не трудно. Король — ханжа, аккуратно посещает церковь.

— Бомба, брошенная под колеса королевской кареты, будет сигналом революции, кровь королевской гиены будет нашим знаменем. Почему ждем мы пробуждения пролетарской массы, вместо того чтоб выступить?

Бланки помалкивал. Когда Сток несколько усмирил себя, Огюст заговорил о новом тайном обществе, которое призвано подготовить и провести восстание.

Он говорил шепотом, хотя домик был пуст и окно было прикрыто.

— Как и вы, я — сторонник любого действия. Штык или адская машина одинаково должны нам помочь. Пусть Фурье, Кабе, последователи Сен-Симона спорят о теоретическом обосновании социализма, о повседневном коммунизме, наше дело — создание ударных батальонов против буржуазного правительства. Зачем взрывать одно королевское отродье, когда можно удушить всех? Вместо разрушенного полицией «Общества семей» мы основали «Общество времен года».

Бланки не говорил, кто «мы», и Сток не спрашивал.

Он, Иоганн, рядовой, в то время как Огюст — командир. Когда-то Бюхнер долго внушал портному принципы дисциплины. Долго сопротивлялся Сток, но в тюрьме он признал правоту Бюхнера. Он рад быть дисциплинированным солдатом революции. Он оценил силу коллектива.

Беседу соратников прервала госпожа Бланки. Обед был на столе. Началась скромная трапеза, оживленная болтовней детей и шутками Бланки. Сток изумленно наблюдал за этим новым перевоплощением сурового, властного борца в ласкового, внимательного мужа и отца семейства. Но Сток уже начал понимать его. Брак не отвлекал Огюста от дела, без которого Бланки не мог существовать. Первый зов революционного набата оторвет его от нежной идиллии на берегу Уазы. Бланки не поступится ничем ради спокойствия, условного спокойствия этих дорогих ему существ. Не потому, что любовь к ним мала. Но идея счастья всех людей во столько раз больше идеи счастья одной женщины и двоих ребят!

Сток видел, на чем покоится счастье этой семьи воина. Огюст не отступится от жизненной цели; его подруга готова к разлуке, даже к вдовству. Тем беспечнее и счастливее они теперь, в минуту краткого привала, передышки.

Поглощенный внешне, казалось бы целиком, болтовней своих сыновей, Огюст внутренне был весь напряже-

ние. Его мучило беспокойство, все ли делают его товарищи в Париже, куда он не может проникнуть; ему слышались жалобы народа, ропот армии, от которой он был оторван силой. Радости семьянина иногда пугали его. Не заглушают ли они обязанностей гражданина? И Сток угадывал его беспокойство. Сам Иоганн с той поры, как поверил в смерть Женевьевы, замкнулся от того, что называл «маленькими земными удовольствиями». Глядя на детей, он смутно тосковал о доме, о заботах, которых у него нет.

«Но зачем мне все это? Что дают люди вроде меня или его,— он думал об Огюсте,— женщине и детям? Одно горе, и какое еще горе. Тюрьмы, а то и смерть от пули или гильотины — вот наша жизнь. Смеем ли мы обрекать на свою судьбу других? Нет, лучше быть одному. Разве Женевьева погибла не из-за меня? Но разве я пошел бы ради нее иным путем? Никогда!»

Когда госпожа Бланки спросила, женат ли Сток, он, умолчав о своем вдовстве, ответил грустно, что жизнь революционера сулит его подруге немало горя. Огюст не возражал. Всем стало тяжело.

— Ты ведь не скоро поедешь в Париж?— забеспокоилась госпожа Бланки.

— Это будет зависеть от нашего дела,— ответил ей муж твердо.

«Не от семьи,— подумал Сток.— Я прав. Если б бедняжка Женевьева не умерла, она была бы, может быть, так же несчастна, как эта добрая женщина».

Вечером Иоганн вычертил, чтобы яснее себе представить, всю схему «Общества времен года», которую объяснил ему Бланки. Не год ли жизни в Жанси, не смена ли времен года вдохновила создателя новой подпольной организации? Фазы, отмеченные природой, точно воспроизводились в подразделениях и функциях нового революционного сообщества. Бланки не потерял года даром. В глуши Понтуазы он готовил новую атаку на извечных врагов, он собирал свои батальоны.

«Отряды времен года подразделены на недели в шесть человек, управляемые воскресеньем,— писал Сток.— Недели составляют месяцы, управляемые июлем. Три месяца образуют времена года под началом весны. Четыре сезона являются годом».

Кто главенствует над годом — Сток не знает. Как в «Заговоре равных» и у карбонариев — высшее управление хранится в тайне. Простая и разумная организация нравится портному. Он садится у окна, вдыхая запах осеннего сада. Где тут спать после такого дня! Не спит и Бланки. Приезд Стока растревожил его. Тяжело изгнание. О, как не терпится Огюсту снова возглавить свою рабочую армию и попытаться еще раз взорвать Орлеанскую монархию! Оба бойца вспоминают о лучших днях жизни в прошлом, о победах кратких и незабываемых. Сток опять карабкается на баррикады Лиона, вскинув старый мушкет. Бланки, вооруженный пистолетом и ножом, сражается на парижских улицах в славные дни Июльской революции.

Сток печатает воззвание Бюхнера, разочарованный, но не отчаявшийся. Бланки после восстановления монархии снова готовится к восстанию. Запах пороха и баррикад, треск перестрелки, отвага людей предместий и лачуг волнуют полководца революции. Вдохновляют. Словом и пером, в клубе, в тайном обществе, в редакции, среди товарищей-студентов, среди ремесленников, нищих,— ему все равно, из кого вербовать армию республики,— он борется за свои тактические принципы действия и социальной войны.

Утром Иоганн Сток уезжал из Жанси.

— Скоро увидимся там, в Париже,— сказал многозначительно Бланки.

Дети с плеча отца махали ручонками на прощание. Какая счастливая спокойная картина! Портной думал о будущем мальчиков и необычайно ласково кланялся жене трибуна.

Дети революционера, дети Бланки. Их первое впечатление детства — решетка тюрьмы, к которой подводила их мать. Отец до возвращения в Жанси был в их представлении загадочным героем, обросшим и чужим, в большом арестантском халате...

В дилижансе тесно. После бессонной ночи портной надеется подремать, откинувшись на спинку жесткого сиденья. Но два молодых провинциала, едущих, по-видимому, учиться в столицу, назойливо склоняют слово «скука».

— Какое тоскливое время мы переживаем!— говорит один из них, по имени Теодор.— Я хотел бы быть зрелым

лет двадцать назад. Наполеон разогнал скуку, посетившую теперь нашу планету.

— Да, скучно, неодолимо скучно! — позевывает Оноре.— Сытый мир почивает, как толстая баба. Мы осуждены скучать в благословенное царствование нашего короля. Париж, говорят, не уступает в скуке провинции. Только и разговору, что о банках, о денежных операциях, только и развлечения, что крах одного банкира и феерическое обогащение другого. Хоть бы какое-нибудь возмущение работников — для оживления улиц. Но, кажется, даже неугомонные демагоги присмирели, отравленные ловкой болтовней и декретами Гизо и Тьера.

Сток прислушивается с возрастающим интересом к болтовне сидящих к нему спиной соседей. «Возмущение работников для оживления улиц...— он улыбнулся.— Скучное время...— Это показалось ему чудовищной клеветой.— Время непрекращающихся подземных толчков, время баррикад и кровопролитий, время рождения великих мыслей и начертаний грядущих боев. О, какое время!..» Он задыхается, думая о прошедшем и будущем...

Спустя несколько недель Сток вступил в «Общество времен года». Он знал, что приему в члены предшествует торжественный, необычный церемониал, и задолго до назначенного дня был охвачен почти ребяческим волнением. Со времени разгрома «Общества прав человека» портной не вступал ни в одну подпольную группу, хоть и был близок к «Союзу справедливых» и много наслышался в Швейцарии о Вейтлинге, его вдохновителе. Для бодрости Иоганн даже хлебнул аперитива. Но от него еще пуще разыгралась фантазия, забеспокоилось сердце. Иоганн был один так долго; завтрашний день введет его наконец в новую семью — семью неустрашимых. Сток давно не испытывал страха за себя. Он, впрочем, вообще редко думал о смерти. Не от эгоистической самонадеянности, а оттого, что привык дешево ценить свою жизнь. Столько раз видел он смерть! Умерли лучшие, чем он,— так ему казалось,— а жизнь шла и на смену им бросала новых людей. Эта непрерывность казалась Иоганну главным залогом будущего. На баррикаде Круа-Русс Жан Буври, раненный в грудь, сказал Стоку:

— Утри слезу, парень, я еще жив, а если и умер бы, не хнычь надо мной, а становись на мое место. Все мы смертны, и не в этом дело, а в том, на что ушла жизнь.

Я не отдал бы двадцати пяти своих лет за шестьдесят какой-нибудь сытой свиньи-фабриканта. Да и чем смерть на тюфяке лучше смерти на баррикаде?

Рекомендовать Стока в члены «Общества времен года» должен был каменщик по фамилии Флери, человек молчаливый и тихий. Он был сыном одного из друзей Бабёфа и видел в детстве казнь своего отца. С тех пор он замкнулся в себе. Голова отца, поднятая за клок седых волос окровавленной рукой палача, навсегда осталась памятной сыну, и в минуту слабости Флери призывал ее, как верующий зовет бога. Мобилизованный Наполеоном, он проделал русский поход и вернулся в Париж после обмена пленными. С тех пор Флери мостил улицы, чтоб в Июльскую революцию заступом разрушать дело своих рук и защищать свободу булыжниками. Бланки и Барбес уважали его и считали своим другом. Лучшей рекомендации, чем слово Флери, Стоку нечего было и желать. Они жили в одном коридоре. Дружба каменщика и портного началась на завалинке дома, выходящего на пустой мощеный двор. Но только от Бланки узнал Иоганн, кем был его сосед, и только по возвращении из Жанси они разговорились впервые начистоту.

В сумерки Флери повел Стока на улицу Фобур-Сен-Дени. Они шли молча, торжественные и сосредоточенные. Волнение портного сменилось надеждой, ожиданием. Он верил в то, что идет навстречу победе, революции, осуществлению великих идеалов. У низких ворот каменщик остановился и достал из кармана черный лоскут. В подворотне, темной и грязной, он завязал Стоку глаза и взял его за руку. Иоганн спотыкался о доски, скользил по талой земле. Во дворе, по которому они проходили, пахло навозом. Портной вспомнил о Дармштадте.

— Осторожно,— шепнул Флери.

Они спускались по ступеням без перил. Стоку нравилась таинственность, которая окружала его вступление в общество. Он думал о том, что изменникам, Конрадам Кулям, сюда не проникнуть. На пороге какой-то комнаты Флери снял повязку с глаз Иоганна. Портной увидел себя в просторном, без окон, чистом подвале, всю обстановку которого составляли скамьи вдоль стен и стол посредине.

Пахло печеным хлебом, из чего Сток заключил, что подвал примыкает к пекарне. На скамьях сидели люди, несколько десятков мужчин в по-праздничному чистых

рабочих блузах, подхваченных шнурами. Сток узнал в них таких же, как и он сам, пролетариев: столяров, каменщиков, портных, пекарей, ткачей. Он ловил на себе их испытующие, строгие взгляды. Поглощенный новыми впечатлениями, Иоганн не сразу обратил внимание на председателя этого безмолвного собрания, сидевшего в центре за столом.

— Подойди ближе,— сказал председатель.— Как зовут нового брата, которого ты к нам привел?— обратился он к Флери.

Иоганн увидел перед собой человека необычайно мужественной наружности, с каким-то неодолимым обаянием во всем облике, голосе, улыбке. Это был креол Барбес, прозванный среди пролетариев, с легкой руки Прудона, Баярдом демократии. Сток узнал его, хотя никогда прежде не встречал, по черной вьющейся шевелюре, оливковой коже, по мощной фигуре, по согревающей улыбке глаз.

— Гражданин, сколько тебе лет? Чем ты занимаешься? Где родился? Где живешь? Какие у тебя средства к существованию?— спрашивал неторопливо Барбес.

Люди на скамьях насторожились. Сток говорил сбивчиво, хотя давно подготовился отвечать. Флери ушел в сторону, сел. Легкая улыбка, скользившая по лицу Барбеса, одна ободряла портного.

— Обдумал ли ты шаг, который намерен сейчас сделать? — Голос председателя зазвучал строго. — Подумал ли ты об обязательстве, которое готовишься взять на себя? Знаешь ли ты, что измена карается смертью?

Знает ли это Сток? Он выпрямился и повторил четко, как только мог:

— Измена карается смертью.

— Поклянись же, гражданин, никому не говорить о том, что здесь произойдет.

— Клянусь!— В это одно слово Иоганн хотел бы вложить все волнение своего сердца, всю силу убеждения, все стремление найти себе семью единомышленников, все бескрайнее желание заставить этих безмолвных, еще недоверчивых людей на скамьях дать ему место рядом, поверить.

Но человеческий голос бессилен отразить столь большие чувства. Слово прозвучало неясно, скользнуло, как тень его мыслей. Голос Стока беспомощно дрожал. Наступила тишина.

После минутного напряженного молчания председатель приступил к политическим расспросам. Сток должен был ответить, что́ думает он о королевстве и королях, кто такие аристократы. На вопрос о том, можно ли довольствоваться одним ниспровержением королевства, портной разразился длинной речью, которую никто не прерывал до конца.

— Необходимо,— сказал он увлеченно и медленно, как бы взвешивая каждое слово на этой великой для него исповеди,— уничтожить всякого рода аристократов и привилегированных людей, иначе ничего не будет закреплено. Они — как тысячеглавая гидра. Мы были слепы в июльские и лионские дни, доверяясь их лживым обещаниям. Они — тигры, подделывающиеся под оленей, чтоб лучше заманить и сожрать нас. Социальный строй заражен гангреной, и для его излечения народу понадобятся героические средства, первое из которых — революционная власть.

Эти слова, вызвавшие заметное одобрение в зале, портной почерпнул из учения Бабёфа.

Когда на все четырнадцать обязательных вопросов было отвечено, Барбес вышел из-за стола и подошел к Иоганну, который опустился на колени в порыве благоговейного счастья.

— Теперь встань и произнеси вслед за мной клятву члена «Общества времен года».

— «Именем республики клянусь вечно ненавидеть всех королей, всех аристократов и всех угнетателей человечества.

Клянусь быть безгранично преданным народу, клянусь быть братом всем людям, кроме аристократов.

Клянусь карать изменников.

Обещаю отдать свою жизнь, даже взойти на эшафот, если эта жертва будет необходима ради установления народной власти и равенства...»

Сток задыхался.

Барбес вынул из ножен, воткнутых за пояс, кинжал и вложил его в руку новоявленного брата. Портной тотчас же поднес лезвие к сердцу.

— Пусть накажут меня смертью изменника, пусть пронзит меня кинжал,— он надавил клинок и почувствовал, как, прорвав рубашку, острие касается груди,— если я нарушу свою клятву. Пусть поступят со мною, как с

изменником, если я открою хоть что-нибудь какому-либо человеку, даже ближайшему моему родственнику, не состоящему членом общества.

Пот выступил на лбу Стока, слезы омочили его глаза. Покачиваясь, он опустился на стул. Флери первый подошел к нему и поцеловал. Барбес взял его за руку. Люди шумно поднялись со скамей, устремляясь к нему с объятиями и расспросами.

Так вступил на новую стезю Иоганн Сток. «Неделя», в которой Флери был «воскресеньем», состояла из пролетариев, целый день тяжело работающих за станками. На первых же собраниях Иоганн принялся ратовать за скорейшие выступления. Он предлагал себя в качестве цареубийцы и требовал устройства порохового завода.

Эльзасский рабочий Алоиз Юбер, неудачно попытавшийся взорвать Луи-Филиппа, и восемь заговорщиков-террористов, представших вместе с ним пред судом в 1838 году, по мнению Стока, указывали путь, на который следовало вступить и ему. Вместе с Юбером судилась Лаура Грувель, удивительная женщина, умевшая конструировать адские машины. Сток простоял всю ночь под дождем у здания судилища, чтоб увидеть мучеников за народ. Лаура Грувель поразила его красотой и мужеством. Она принадлежала к аристократической среде и могла бы жить без тревог, в холе и праздности. Вместо этого Лаура избрала участь борца за республику, предпочла богатому жениху террористический заговор, рискнула подставить молодую голову под нож гильотины вместе с несколькими рабочими, посягнувшими на королевский произвол. Лаура Грувель. Сток бредил этим именем.

— Женщина дерзнула, а мы выжидаем, как мыши под полом!— гневно говорил он.

Суд приговорил Лауру к пяти годам тюрьмы.

Сток мечтал напасть на везущую ее в заточение стражу, вырыть подкоп под ее камеру, вырвать героиню из рук французских Штеррингов. После Женевьевы Лаура Грувель стала самым дорогим для него существом на свете. Он преклонялся перед ней.

В то время как Иоганн вступил в члены «Общества времен года», из крепости на волю проникли первые вести о том, что молодая заговорщица сошла с ума, не выдержав тюремных истязаний. Сток призывал своих братьев по обществу к отмщению.

— Мы отомстим сразу за всех, за миллионы,— сказал ему Флери, думая о своем обезглавленном отце.

Лаура Грувель... Сток оплакал ее, как Женевьеву.

— Недостаточно убить тиранов, надо уничтожить тиранию,— сказал Флери в ответ на предложение портного проникнуть во дворец и подложить бомбу под королевскую спальню.— Король вреден, лишь когда опирается на всякую аристократическую и банкирскую сволочь. Без них он — Петрушка из кукольного театра. Он — ничто. Восстание — вот наша прямая цель.

«Общество времен года» деятельно готовилось испробовать свои силы в уличной борьбе. Ждали Бланки для окончательного решения. Барбеса Сток со времени церемонии посвящения не встречал, но познакомился с его ближайшим другом, Мартеном Бернаром.

Мартен Бернар происходил из семьи, где профессия наборщика передавалась из поколения в поколение. В свободную минуту он любил вспоминать свою жизнь, и Сток отдыхал, слушая его рассказы. Еще в эпоху реставрации, почти незнакомую немецкому портняжному подмастерью, Мартен Бернар стремился сразиться с деспотами.

Робеспьер и монтаньяры были его религией. В жажде сразиться за свободу он пытался пробраться в Грецию.

— Весь мир — моя родина,— повторял он часто.

Как и Сток, он увлекался учением Сен-Симона, но оправдание неравенства, проповедовавшееся Сен-Симоном, оттолкнуло Бернара.

— Они осветили мне цель жизни. И за то спасибо,— пояснил Мартен Бернар.

Зарабатывая пропитание за типографским станком, он вернулся к пролетариату и занялся теоретической и практической политикой. Он был неутомимым руководителем стачек. Он побуждал рабочих объединиться для борьбы с «промышленным феодализмом».

— Печальным доказательством того, что республиканское чувство еще недостаточно развито у рабочих,— говаривал Мартен Бернар, с тех пор как, разочаровавшись в сен-симонизме, начал склоняться к коммунизму,— служит то, что они понимают под словом «освобождение» возможность самим обратиться в буржуа: приобрести мастерскую и инструменты. Этот путь — проклятый и опасный, ради него не стоило проливать кровь. Один буржуа заменит другого.

Никто лучше Мартена Бернара не ориентировался в политической неразберихе и интригах, установившихся вокруг трона. Он терпеливо и пространно объяснял Стоку и его товарищам положение дел в стране, происки банкиров, интриги Гизо, комбинации парламентской коалиции. Сток в шутку прозвал его за это «вельможей».

— Как только Молле получит отставку, начнется министерский кризис, который значительно ослабит и поколеблет правительство,— заявил как-то в начале 1839 года на собрании «недели» Мартен Бернар.— Это и будет подходящей, дарованной самой историей, минутой для действия.

— Пусть мужество наше будет поддержано мыслью о наших английских братьях, более двух лет добивающихся хартии. Ни пули, ни тюрьмы не заставили их сдаться,— добавил Флери, однажды побывавший в Англии.

— Протянем же им руку и пойдем сомкнутыми рядами на бой с деспотизмом промышленников и королей.

— Ждать более мы не можем,— заявил решительно Сток; ему не терпелось.— Мы тащим на своих горбах правящие классы. На французском знамени еще явственнее, чем во времена проклятой реставрации, выписаны наглые слова: «Да здравствует французский банк!» Наше терпение истощается. И если ты, Мартен Бернар, и вожди «года» будете далее медлить, мы сами выйдем на улицу, как восемь лет назад в Лионе.

Ко времени возвращения Бланки в Париж «Общество времен года» насчитывало свыше тысячи проверенных, готовых пожертвовать собой борцов-пролетариев.

Патроны были готовы, порох, закупленный постепенно, малыми количествами, свезенный в надежные хранилища, ждал взрыва. В Париже росло недовольство. Изо дня в день возрастали цены на хлеб и зерно. Лавчонки пустовали, а лавочники негодовали и грозили правительству 1789 годом. Заработной платы рабочих едва хватало им на пропитание. Палата была распущена, король тщетно пытался составить кабинет и примирить враждующие буржуазные партии. Бланки мобилизовал свое войско.

На 12 мая руководящий штаб назначил выступление. Сток и Мартен Бернар ночами разрабатывали маршрут, по которому должен был двигаться их отряд.

До позднего вечера Иоганн в портновской мастерской пришивал пуговицы и подшивал подкладку к щегольским жилетам. Скроенные из бархата, шелка, тонкой шерсти, однотонные и узорчатые, с искрой, в полосочку, в клетку, они лежали перед ним на деревянном столе грудой панцирей. Какие сердца будут биться под этими кармашками, предназначенными для часов, для цепей с брелоками, для надушенного дамского локона? Сердце трутней, эгоистов, жуликов, казнокрадов, ожиревшие, вялые сердца все испытавших скряг и торопливые, нервные сердца честолюбцев, без устали пробирающихся к власти, к деньгам, к пресыщению. Иоганн пришивал за пуговицей пуговицу и напевал. Как знать, не прострелит ли он вскоре этот жилет, целясь в грудь врага?

В воскресенье, 12 мая, Иоганн встал на рассвете. Он был совершенно спокоен. Пистолет с вечера вычищен. Сток мечтал о ружье. Оно будет. Лавка оружейника Лепажа на улице Бург-Лаббе намечена к разгрому. Подле нее назначен сбор заговорщиков. «Неделя», к которой принадлежит Сток, пойдет в наступление на пустующую префектуру полиции, на ратушу, на палату и, наконец, на дворец супостата, короля торгашей, Луи-Филиппа. Сток наизусть знал дороги. Он несколько раз предварительно обошел позиции, последний раз — на рассвете намеченного к выступлению дня.

Женевьева обычно встает на заре. В подвале, в комнате служанок, темно. Одеваясь при свете огарка, застегивая на ходу глухой фартук, горничная поднимается по лестнице. Метла, тряпка для пыли и ведро ожидают ее на обычном месте, в углу черной лестницы. Небо еще мутное, неопределенное, как глаза новорожденного. Но оно прояснится сегодня, будет ясным, голубым. Не всегда в мае выпадают такие дни. Женевьева метет лестницу. Два лакея, зевая, бредут мимо. Они говорят негромко о сегодняшних бегах на Марсовом поле, куда обещал прибыть сам король. Они завидуют господам и спорят о том, какая лошадь придет первой. На дворе моют и чистят карету. Конюхи старательно расчесывают гривы рысакам, чистят попоны с гербами и коронами. Генерал и виконтесса Дюваль едут в полдень на бега. Азартная Генриетта будет ставить на всех фаворитов, будет сердито рвать пальцами,

затянутыми в перчатки, кончики кружев на зонтике и вздыхать у финиша отрывисто, страстно, как в любовном экстазе. Жорж Дюваль проводит короля в его ложу и будет прохаживаться в первых рядах, выставив грудь в орденах и аксельбантах, красуясь, как самый породистый и тонконогий жеребец.

Большой день — бега на Марсовом поле. Предвкушая волнения и радости, Генриетта не спала всю ночь в своей раковине из перламутра. Она не приготовила розового конверта, надушенного жасмином, с письмом очередному любовнику, она позабыла встретить день зевотой и укоряющим: «Скучно!» Платье, нежное, как незабудки, его украшающие, с вечера лежит наготове, разложенное на двух атласных креслах, покрытое недлинной испанской мантильей — плетением монахинь; перед ним стоят черные туфельки. На столе, возле зонтика и перчаток, голубая шляпа.

«В таком вооружении я выйду победительницей»,— думает генеральша, поглядывая на кружевные и шелковые свои доспехи. Бега были состязанием не только великолепнейших иноходцев, полукровок и чистокровных коней,— бега были турниром, где незримо боролись десятки чувств, и первым из них было тщеславие.

В полдень дом Дювалей опустел. Опустел центр города. Толпы нарядных праздных буржуа устремились на Марсово поле вслед за колясками, фаэтонами, шарабанами знати.

Женевьева лениво перетирает в большом будуаре, выходящем окнами на улицу, фарфоровые статуэтки на тонких этажерках. Ярко размалеванные маркизы и пастушки улыбаются ей игриво и вызывающе. Ягнята и цветы цепляются за их юбки. Китайские божки корчат миру злобные гримасы или издевательски смеются. Женевьева побаивается их. Эти чужие боги так легко ломаются, несмотря на свою кажущуюся прочность. В воскресенье после полудня горничная Дювалей могла бы отпроситься в Медон, к мальчику, растущему у толстой огородницы, но бега — всему помеха. После возвращения с Марсова поля Дювали дают бал. Ведь лучшие призеры-лошади — их собственность. Все слуги обязаны быть на своих местах. Даже Пике.

Женевьева старается представить себе, что делает в эту минуту ее маленький Иоганн. Собирает ли хворост

в темном медонском лесу или роется в сыром огороде. Как хочется и ей зажить наконец своим домом, заботиться не о бездушных фарфоровых безделушках и скользком паркете, а о родных, своих людях. Штопать, чинить, стряпать, выхаживать детей, холить мужа — унылые заботы матери и жены. Горькие мечты вдовы.

Со священным китайским божком из нефрита Женевьева подходит к окну. Что это? В конце улицы, к большому плоскому магазину оружейных дел мастера, сходятся люди, сотни похожих друг на друга людей. Горничная открывает окно. На улице поют, кричат. Как выстрел, падает под ударами толпы железная штора лавки. Ломаются стекла витрины, но магазин еще цел.

Откуда-то выплывает красное знамя. На нем священное слово: *республика.* Женевьева прижимает руку к сердцу. Ей душно. Китайский божок из нефрита падает на мраморный подоконник. Голова его катится по полу. Но то, что в другой час повергло бы горничную в отчаяние, как потеря месячного жалованья, сейчас ей безразлично. Жажда разрушения овладевает ею. Она прислушивается. Наконец выстрел. Первый выстрел, тот, который всегда остается загадкой. Вслед за ним залп. Значит, это правда, значит — восстание.

В кафе, что напротив оружейной лавки, сумятица. Женевьева высовывается из окна. Кто-то вскакивает на железный зеленый стол и, жестикулируя, говорит, обращаясь к затихшему народу.

— Да здравствует Бланки! Вперед, братья!— отвечают ему.

Толпа размахивает ружьями, ножами, пистолетами, к которым прикреплены красные клочья материи и развевающиеся ленты. Человек соскакивает со своей «трибуны» и бросается на штурм оружейной лавки.

— К оружию!

Рушатся двери и рамы. На улицу выволакивают ящики патронов, связки ружей и груды сабель. Революция! Женевьева соскакивает с подоконника. Горничная бежит из будуара в холл, по лестнице наверх, в один из кабинетов Жоржа Дюваля. Над тахтой, покрытой тяжелым персидским ковром, висит старое оружие; два всегда заряженных пистолета с серебряными рукоятками лежат на курительном столе рядом с кальяном и резной коробкой для сигар. Женевьева вскакивает на диван. Вытянувшись

вдоль стены, она срывает кинжалы, охотничьи и военные ружья. Едва не оглушив ее, падает сверху большой рыцарский щит, и в ту же минуту чьи-то руки тянут Женевьеву с тахты на пол. Она успевает обернуться. Пике, в дорогом малиновом жилете, в коричневом костюме, только что вернувшийся из церкви, стоит позади нее.

— Наконец,— шепчет он осипшим от волнения голосом,— наконец я поймал тебя, якобинская сука, подлая тварь!

Он не может продолжать. Вместо языка говорят его руки. Пике хватает Женевьеву и душит ее, пригибая к полу. Он бьет ее по лицу и груди. Извиваясь и шипя, она впивается зубами в его локоть и, улучив минуту, свободной рукой хватает пистолет с опрокинутого на тахту столика.

Дуло приходится в уровень с жилетным карманом мажордома, тем карманом, под которым бьется злое маленькое сердце. Взвизгнув, Пике выпускает посиневшую шею своей жертвы и пятится в глубь комнаты, прикрывая худой живот рукой. Женевьева преследует его до маленькой глухой уборной Дюваля и загоняет туда. Щелкнул замок. Затянута портьера. Крики Пике не могут пробить толстых стен и тканей. Со странной торжествующей улыбкой Женевьева собирает оружие, которое кажется ей пригодным, и бежит, никого не встречая, по устланной коврами лестнице вниз, к выходной двери. На улице, прижимая холодную ношу к груди, она спешит навстречу повстанцам. Она присоединяется к ним, подхватывает куплет революционной песни, которую они поют. Раздав оружие, она размахивает над головой пистолетом и саблей Дюваля.

— Женщины!— кричит Женевьева встречным.— Идите за своими мужьями и сыновьями! Вооружайтесь! Какую жизнь мы влачим? Мы продаем свое тело за кусок хлеба для наших детей, мы — рабыни богатых! Наше молоко вскармливает поработителей, наши руки украшают их жилища!

Великий гнев революции говорит устами жены Стока. Она хватает знамя. Она ведет за собой отряд на королевский дворец.

Как светит над Парижем солнце! Белые, чуть зацветающие акации задевают нежными ветками багровые

полотнища. Песня — громче. Старая «Карманьола» опять грозит аристократам.

Тень Горы падает на французскую столицу, расстилается знаменем.

Мадам Ветто постановила.
Мадам Ветто постановила
Перерезать весь Париж!..
На фонарь врагов народа!
За нами, пролетарии,
За нами, за Свободу, в бой!

Но Париж безмолвствует. Бланкисты — одиноки. Их подвиг — взрыв, за которым воцаряется молчание.

— Кто эти люди? Откуда они идут, чего хотят?— спрашивают мастеровые, выглядывая с чердаков и из подвалов.

— Мы их не знаем... Да и лучше хозяйская корка хлеба, чем пуля.

Чаша терпения рабочих не до краев еще полна. Бланки переоценил недовольство масс. Раны недавних поражений еще не зажили.

Бланки во главе небольшого отряда бросается на ратушу. Патрули не оказывают ему сопротивления. С пением «Марсельезы» заговорщики врываются внутрь узкого высокого здания. Бегут по лестницам, по коридорам, опрокидывая скамьи, грохоча прикладами, выбивая на бегу стекла на случай обороны.

— Победа, победа, победа!

Солнце заливает большой главный зал, и сукно столов рдеет, как бланкистские знамена.

— Победа, братья!

Бланки бросается в кресло. На мгновение он закрывает глаза. «Неужели действительно закрепимся, удержим власть?.. Должны! За нас справедливость, за нас народ!..»

— За дело!— кричит Бланки, вскакивая и ногой отбрасывая кресло.

Часовые стерегут выходы и входы. Вместо оружия в руках вождей заговора теперь острые перья. Чернильницы становятся пороховницами. Время не ждет.

— Воззвание к населению,— диктует Бланки. Одновременно он намечает командующих республиканскими дивизионами. Сам он будет отныне главнокомандующим.

В это время Сток идет с отрядом на полицейскую префектуру, что близ суда. Рядом с ним — высокий мощный

Шаппер. Он менее спокоен, чем портной, и напряженно вглядывается в пустоту блещущих солнцем и весной улиц. Как всегда, два друга добродушно бранятся.

— Не рассуждай,— смеется Иоганн,— не сомневайся. Даже и сейчас точит тебя неуверенность. Так ли надо поступать? Правильно ли? Поддержат ли массы? Выйдут ли на улицу рабочие? Выйдут! Как могут не выйти? Мы плоть от их плоти, мы их, они наши. Ура, вот и они!

— Это отряд Мартена Бернара,— угрюмо отвечает Шаппер.— С ним наши немцы. А вот окраины не шлют людей. И не думаю, чтоб дали. Нет, Сток. Рабочий хочет точно знать, за что рискует головой. Хочет знать, кто его поведет... Да и время пришло ли?..

— Вперед!— вместо ответа зовет Сток.

Навстречу отряду повстанцев мчатся конные полицейские. Шаппер мгновенно вскидывает ружье. Целится. Полицейский валится наземь. Коротко перекликаются пули.

— Победа!

— Вперед!

Они идут с песней навстречу безлюдному городу. Солнце салютует тысяче героев. Город по-весеннему наряден.

— Ратуша в наших руках, займем префектуру, потом...— Сток от волнения смолкает,— королевский дворец. Монархия объявлена свергнутой. Республика объявлена в воззвании Бланки. Рабочие идут на помощь братьям. Кровь их скрепит победу.

— Георг Бюхнер всегда мечтал о таких днях. Хотел умереть на баррикаде,— говорит вдруг Шаппер.

— Пусть память о нем будет с нами сегодня!— говорит портной торжественно.

Сток впервые слышит это имя из уст наборщика. Он хочет расспросить, где и когда встречал Шаппер вождя «Общества прав человека», но взвизгивает пуля. Шальная. Нет. Предательство! Шаппер поднимает голову. Опытный боец проверяет улицу. Всматривается. Невинно покачивается кисейная занавеска в окне нарядного барского дома. Из-за ветки толстого фикуса, как из лесной чащи, нацелилось дуло.

— А ну-ка, Генрих,— говорит Шаппер тихо и повелительно,— ты лучше стреляешь, чем я.

Генрих Бауэр, коротконогий атлет, не ждет повторного приглашения. Круто повернувшись, он замирает с ружьем на плече. Готово. Занавеска вздрагивает. Фикус упал.

Бланкисты подходят к зловещей, полупустой полицейской префектуре близ суда. Ружья вяло поднимают дула. Застигнутый врасплох командующий постом лейтенант Друино, приподняв руку к козырьку, вглядывается в подошедших. Разобрав, в чем дело, он делает знак полицейским приблизиться и потирает руки.

— Мерзавцы!— кричит он и бросается с обнаженной шпагой вперед, на предводителя рабочих.

Опасность подтягивает ряды повстанцев. Пуля бланкиста укладывает лейтенанта наповал. Озверевшие полицейские бросаются на революционеров. Перестрелка, бессвязные крики, беспорядочное движение, бой.

Женевьева тщетно пытается заставить нарядный пистолет Дюваля выстрелить. Сабля тяжела для нее, но жена Стока не хочет в этом сознаться и ослабевшей рукой тащит ее за собой. Упрямо дергает курок. Осечка. Кто-то отбрасывает Женевьеву к стене дома. Стрельба повсюду. Падают раненые. Редеют отряды полицейских.

В ратуше Бланки и Барбес дописывают прокламации. В это время из близлежащих казарм стягиваются войска. Окраины и предместья в растерянном молчании взирают на трагедию обреченного восстания. Рабочие не знают заговорщиков, не знают, за что они борются.

Шаппер прав, и Сток чувствует это. Париж равнодушен.

На Марсовом поле в разгаре празднество. Лошади отчаянно борются за первенство. Толпа криками встречает победителей. Генриетта Дюваль досадливо обрывает третью оборку на кружевном зонтике. Ее лошадь отстала.

Вокруг ратуши пусто. Не встречая сопротивления, в обход с тыла, переулками подходят правительственные войска. Бланки призывает инсургентов пасть или победить. Но силы так неравны. Бесцелен героизм, бесцельны жертвы. Гвардейцы короля подкрадываются к ратуше.

— Да здравствует революция! — с этим возгласом бросаются в бой заговорщики.

Барбес спасает Огюста из осажденной ратуши.

— Беги и постарайся скрыться понадежнее. Ты еще нужен. Будущее за нами, — говорит он, обнимая Бланки.

Ратуша сдалась.

Смеркается. На улице Сен-Мартен несколько десятков человек еще защищают баррикады от гвардейцев, выслан-

ных на усмирение восставших. Среди них Иоганн Сток. Но и его мужество, как и отвага тысячи других, не может решить исхода восстания. Он хочет, по крайней мере, отстоять знамя.

Бессвязные, разорванные мысли проносятся в мозгу отстреливающегося бойца.

«В Англии, может быть, сейчас рабочие, как мы, умирают на баррикадах... Лучше смерть, чем плен, чем тюрьма. Нет, жизнь! Нет, победа! Не сегодня, так завтра...»

Ничто в этот день не удивляет Женевьеву. Все так, как должно быть. И эта встреча со Стоком — тоже. В такие дни стирается грань между возможным и невозможным. На глазах Женевьевы Сток падает раненный. Они на смежных баррикадах.

— Иоганн! — зовет она, но в схватке, в бою не слышен отдельный человеческий голос.

С помощью Флери она пробивается к мужу, вытаскивает его из-под пуль и уносит в винную лавку надежного республиканца, чтоб промыть и перевязать рану. Стоку кажется, что он бредит.

— Как странно, — говорит он, улыбаясь, — мне все время чудится, что эта женщина — моя умершая жена. О Флери, это, видно, смерть подступает.

Женевьева не может ни говорить, ни плакать. Прежний подъем сменился бессилием. Она гладит руку мужа. Часы проходят. Последняя баррикада в квартале Сен-Мерри пала. Затихли выстрелы. Какая глубокая, могильная тишина — тишина поражения.

— Почему не слышно залпов? Почему так тихо? — возбужденно спрашивает Иоганн.

Тишина страшна, как и канонада. Кровь из раны заливает ему глаза. Он теряет сознание. За стеной дома раздается конский топот. Это гвардейцы возвращаются в казармы победителями. Они поют королевский гимн. Все кончено! Восстание бланкистов разбито.

Ночью в фиакре Женевьева и Флери перевозят больного Стока из винной лавки старого республиканца в надежное место, где его, быть может, не найдет полиция. Может быть. Слабая надежда. Барбес и Мартен Бернар уже арестованы. Бланки скрывается. «Общество времен года» более не существует.

В сухой зимний день Иоганн и Женевьева вышли за парижскую заставу. Прошло несколько недель со времени процесса группы обвиняемых по делу двенадцатого мая. Свыше трехсот человек вместе с Бланки предстали перед судом. В их числе был и портной Сток. Обвиняемые отказывались от показаний. Стоку не в чем обвинить себя. На суде он вел себя стойко. «За отсутствием улик» ему вынесли оправдательный приговор. Но Бланки приговорен к смертной казни, которая заменена ему пожизненной каторгой. Мартен Бернар — выслан, на каторге — Барбес. Местом заключения вождей общества назначена тюрьма св. Михаила. Страшная скала — выступ в море, увенчанный крепостью. Решетки, железные брусья, толстые стены, двери на замках, море и небо — вот все, что будет отныне окружать узников.

«Нет бесцельных жертв во имя революции. Нет поражений. Мы — воины революции, и на войне как на войне. Сегодня побежденные, мы победим завтра», — таковы мысли Стока.

Женевьева пытается развеселить мужа, затеять шутливый разговор, но Иоганн упрямо, тягостно молчит. Немного больше года назад он был у Бланки в сельском домике на берегу Уазы. Как мирно текла жизнь в Жанси, сколько планов и надежд зародилось там! И вот — опять поражение. Опять в прахе лежит мечта о республике и равенстве.

Дорога в Медон поднимается в гору. Спокойно дымят позади трубы города, безразличного к геройской горсточке отважных.

— Помнишь, как лазили мы на Господнюю гору, как строили шалаши и спали на мокрых листьях до рассвета?

Женевьеве хочется ласки, и Сток, угадывая, гладит ее так нежно, как только могут его огрубевшие, жесткие руки.

— Конечно, не забыл, хозяюшка.

Он впервые так называет вновь обретенную подругу. И обоим становится весело и смешно — так мало подходит это слово к Женевьеве. Они все еще живут врозь, и у них нет своего, общего дома.

— Ты — моя хозяюшка, — повторяет Иоганн.

Прихрамывая, он ведет под руку жену. Дорога нелегкая. Изредка путники задерживаются и отдыхают на

камнях. «Как, однако, постарела Женевьева!» — внезапно замечает Иоганн. И, глядя на непоправимо скорбное, щедро помеченное горем лицо жены, он думает о себе. Но грусти, жалости не пробуждается. С прежней верой в свои силы он ждет завтрашнего дня и с ним радостей и победы. Без этого нельзя жить.

— Я уверен, — говорит он внезапно, — что Бланки и в тюрьме думами с нами, в своем Париже. И это лучшее ему утешение. Пожизненная каторга в наши дни — чепуха! Мы вырвем его на волю.

Впервые после встречи Иоганн долго, подробно рассказывает жене о своей жизни в тюрьме. О порке молчит. Никогда никому не говорил он об этом.

Только в сумерки перед пешеходами вырисовывается на холме зеленый красавец Медон. Женевьева оживилась. Проверяет, целы ли в корзинке гостинцы. Забеспокоилась: как встретятся впервые отец и сын.

На большой сельской улице тихо, навевая дремоту, звенят колокольчики проезжающих мимо дилижансов. В трактире горит зазывающе камин. У окна кюре и лавочник играют в домино. На боковой улочке, упирающейся в оголенный, пустой бор, под плетнем играют деревенские дети.

— Вот он, наш Иоганн, — говорит Женевьева с гордостью, указывая на сына в группе мальчуганов.

Сток останавливается и рукой задерживает жену.

— Постой... Странно, — говорит он раздумчиво, — я не мог бы сам узнать, который же из этих детей мой сын. Не значит ли это, что мы значительно преувеличиваем наши чувства? Нет, кровь не говорит. В будущем наши дети будут детьми всех, и все мы будем их родителями. И дети будущего будут несравненно счастливее. Им не нужны наши жертвы.

Ему хочется рассказать жене о многом, вычитанном из книг и продуманном в годы одиночества, но лицо Женевьевы подернуто таким страданием, что он смолкает. Они стоят на краю улицы чужие, не понимающие друг друга.

«Сток ожесточился, он больше никого не любит, ни меня, ни сына», — обиженно думает женщина. Нет больше прежнего Иоганна. Изменилось все, изменились она, он. При первой встрече Женевьева едва узнала в рассудительном, сдержанном исхудалом мужчине прежнего

беспечного ткача и портняжного подмастерья, которого так часто высмеивала старая Катерина, которого она, Женевьева, решалась обзывать «бревном». Новый Сток внушал ей боязнь — она его не могла разгадать.

Слезы пробились на глаза Женевьевы. Ей припомнились страшные недавние годы голода, унижения, мытарств, страшная жертва, принесенная однажды ради сына, который, казалось ей теперь, вовсе не был нужен Иоганну. Захотелось сказать Иоганну, как исстрадалась за эти годы, рассказать о случившемся ночью в гадком ресторане ради шести франков для сына. Крепко-накрепко сжала губы, чтоб не проронить ненужного признания, не выдать того, что считала погребенной в себе тайной.

Портной не замечал выражения лица жены. Вдруг один из мальчуганов обернулся и, узнав мать, побежал ей навстречу. Это был здоровый ребенок, с обветренной исцарапанной рожицей.

— Пока что, хоть и много детей на свете, а каждому все-таки хочется своего, — улыбнулся широко, неуклюже, как когда-то, Иоганн, желая развеселить жену. И ему это мгновенно удалось.

На крыльце сама огородница поджидала гостей. Женевьева горячо обнялась с нею. Несмотря на скаредность, эта ниспосланная ей случаем толстуха оказалась отличной опекуншей маленького Иоганна. Любовь ее к воспитаннику достигла с годами таких размеров, что она нередко сама предлагала отсрочить очередной платеж и баловала мальчика, чем и как могла.

Быстро стемнело. Маленький Иоганн, привыкший засыпать вместе с курами, ушел в дом; огородница растапливала печь. Рука в руку с женой Сток вышел во двор; остановились у плетня. Надвигалась прозрачная холодная тихая ночь. Вдали горели огни столицы. Иоганн смотрел на Париж, далекий и яркий, как звездное небо.

— Сколько мы пережили за эти десять лет! — заговорил он шепотом.

— Сколько пролилось крови!..

— Это и есть жизнь, — думая не о том, отозвался Иоганн.

— С горы Фурвьер Лион такой же далекий и низкий, как отсюда Париж.

Слова Женевьевы мгновенно перенесли обоих на берег Роны.

— В Лионе, — живо заговорил Сток, — мы боролись за тариф. Нас было много, сотни тысяч. Мы оказались побежденными. Двенадцатого мая в Париже нас была горсточка, но каких! Все — люди одной цели. И мы боролись за власть, за республику, за всю рабочую Францию. И снова оказались побежденными.

— Значит, не судьба, — сказала Женевьева.

— Судьба? Эх, бабья дурь! Судьба?!

Сток жестко рассмеялся, и опять его жена болезненно ощутила, как далек он от нее.

— Судьба — утешение дураков. Рабочий сам себе судьба. — Он помолчал. — А вот Шаппер, видно, видел дальше меня, когда сомневался, правильно ли действуем. Что, если бы нас была сотня тысяч в Париже? Что, если б мы боролись в Лионе не только за тариф, но и за нашу власть? Победа! Тогда — победа!

— Но когда она будет? — нетерпеливо и насмешливо спросила Женевьева.

Сток развел руками.

— Не знаю, — признался он смущенно, — но будет, будет — это я знаю.

Он принялся говорить то, что слыхал от Флери, от Шаппера об Англии, где каждый день проливается кровь за хартию, о Германии, тюрьмы которой не вмещают революционеров, о России, страшной стране, где медведям на растерзание бросают восставших рабочих, где до смерти засекают крестьян, но они не сдаются, — и мир показался Женевьеве огромным, залитым кровью полем битвы. Два войска сражались. Одно состояло из Стоков, и она, Женевьева, шла в его обозе с мешком маркитантки, другое возглавляли чудовища с холеными, сытыми лицами Дювалей, Броше, господ В. Д. ...

— Мы их побьем, иначе быть не может!

*Глава шестая*

## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СТАРОГО ДЖОНА

### 1

Фридрих Энгельс приехал в Манчестер в конце сорок второго года.

Он не впервые переплывал переменчивый, волнующийся пролив и почувствовал себя почти прирожденным

англичанином, когда таможенный чиновник, бегло осмотрев саквояжи, пропустил его на набережную.

Энгельс знал английский язык в совершенстве. Взобравшись в фиакр, он обратился к рыжему вознице с приветствием шотландских горцев, и тот, не колеблясь, признал земляка. Приезжий принялся пытливо расспрашивать о житье-бытье кучеров. Шотландец оказался болтливым. Он многословно жаловался на дороговизну, причины которой не понимал.

— Добро бы хоть война, а то и той нет.

В ожидании почтового дилижанса Фридрих просмотрел кипу английских газет. Он заключил, что, по мнению самих англичан, мало изменений произошло у них за те два года, которые для него были так бурны и богаты событиями.

Он был раздосадован. С немецких берегов Англия казалась охваченной социальной лихорадкой и рвущейся навстречу революции. Патетический Гесс в берлинских ресторанах, где собирался «Союз свободных», столько раз вдохновенно пророчествовал и обещал, что социальный переворот начнется на Британском острове и лишь потом перебросится на континент.

— Воды пролива не погасят пламени! Осанна! Приди! — кричал Гесс, простирая руки, волосы его развевались, как на челе библейских пророков.

Не только парламентские дебаты, биржевые отчеты, чартистские протесты и петиции, не только проповеди модных архиепископов и стихи королевских лауреатов, не только колебания акций и настроений палаты лордов, но и жизнь в ее повседневности на первый взгляд неизменна, несмотря на ушедшие сроки.

Удивительная страна! Привычка подменила в ней страсть. Странный мир упорных, невозмутимых и, однако, столь могущественных улиток.

Фридрих заметил, что в моде были все те же неприятно полосатые, сборчатые в талии брюки, просторные рединготы и черные цилиндры. Франты носили тросточки и белили щеки. Головки дам выглядывали из больших, без меры украшенных лентами шляп-корзин, напоминая то какие-то овощи, то причудливые фрукты. И нередко продолговатые, острые, невыгодно окрашенные ноябрьской непогодой лица походили все более на огурцы, морковь и даже пыльный хрен.

И все-таки, приглядываясь к знакомым картинам и тем же с виду людям, Фридрих не хотел верить в неизменность английской жизни.

«Гесс был прав. Чем больше английский буржуа клянется в том, что революция на его родине невозможна, тем меньше значат его слова. Это не более как заклинания против страшных духов и призраков».

Молодой барменский купец был достаточно красив, наряден и статен, чтоб тотчас же не привлечь внимание провинциалок. Годы военной службы выпрямили его спину. Молодого человека легко можно было принять не за скромного бомбардира, каким он был недавно, а, по крайней мере, за гвардейского офицера, слегка неуклюжего в непривычном штатском платье.

Он был хорошо одет, но без щегольства, без многообразных тончайших измышлений местных денди. Шейный платок, на взгляд фата, был слишком уж добросовестно обмотан вокруг шеи, воротник и манжеты были слишком туги, и покрой сюртука чрезмерно широк в спине и талии. К тому же молодой человек недопустимо часто улыбался и был не только не бледен, но даже вызывающе румян. Лицо его было юношески пухлым, нос насмешливо вздернут, и только глаза уже отражали зрелость мысли.

В почтовой карете он легко заводил знакомства, умело пробивая вежливую замкнутость англичан. Девицы посылали ему заманивающие улыбки, на которые он отвечал не без удовольствия.

Пожилые люди незаметно для себя переходили с этим юношей на тон равных и, насколько это допускалось их правилами, оживлялись в беседе. Они говорили, расправляя толстые пледы на коленях и пыхтя сигарами, о том, что положение Англии тяжелое, что кризис — божья кара — как град выбил нивы промышленности.

— Но,— кончали они убежденно,— никогда материальные интересы не порождали революций. Дух, а не материя толкает к безумствам, и — хвала небу! — в этом смысле нация здорова.

В Лондоне Фридрих остановился в знакомом отеле. Его встретили приветливо и безо всякого изумления, точно не более нескольких часов тому назад он вышел на очередную прогулку. Хозяин в тех же выражениях, что и в тысяча восемьсот сороковом году, осведомился

о погоде и самочувствии постояльца, и тот же слуга без двух передних зубов подал ему острый томатный суп и рыбу, пахнущую болотом. Пудинг был черств и пресен, и подливка отдавала перцем.

Поутру у порога отеля та же нетрезвая и ободранная старуха клянчила свой очередной пенни. И она узнала Фридриха и не удивилась ему. На бирже худой швейцар, преисполненный сознания своей великой миссии, взял у Энгельса шинель и шепнул ему с тем же заговорщицким видом о катастрофе с новыми железнодорожными акциями.

— Сэр интересуется ими,— добавил он уверенно.

И Фридрих вспомнил, что два года тому назад он действительно следил за их взлетом и падением.

Вечером в клубе манчестерских фабрикантов он нашел всех и все на обычных местах. Приглашенный скрипач играл ту же слащавую песню «отъезжающего моряка» и сфальшивил именно там, где всегда.

Один из знакомых зазвал молодого купца к себе. Справлялась серебряная свадьба. И снова неизменность быта, как режущий монотонный скрип, как тягостное зрелище паралича, задела Энгельса. Бал в английской почтенной буржуазной семье был копией таких же балов где-нибудь в Бармене, Бремене. Веселье было регламентировано, предназначено и вымерено, как порции куриной печенки и пирожного за ужином.

Коммерческий дух господствовал и здесь. В зале танцев шла отчаянная, азартная купля и продажа.

Девицы показались Фридриху Дианами только потому, что без удержу предавались охоте. Они не были замужем, и для них символом счастья было обручальное кольцо. Их тетки, матери и уже пристроенные замужние или обрученные сестры оценивали, как опытные маклеры, всех присутствующих мужчин. Чиновники, купцы, военные, зазванные на эту биржу брака, котировались, то поднимаясь, то снижаясь в цене, как торговые и промышленные бумаги.

Фридрих, падкий до танцев и напудренных ручек, обвивающихся во время вальса вокруг мужской шеи, внезапно понял, что рискует оказаться в плену. Наивные уловки девиц, их плоская болтовня и утомительная жеманность внезапно вызвали у него мутную, как тошнота, скуку. Он бежал с бала.

Скука обратилась у него в душевную изжогу. Он хорошо знал этот быт, лживый, подленький, мелкий. Как презирал он этих людей, ханжески религиозных и в то же время безжалостных, когда кто-либо посягнет на их благополучие, оторвет их от великого дела всей их жизни — наживы!

Фридриху казалось, что жить их бездумными интересами, молиться их святыням — значит, добровольно дать опутать себя паутиной, как пойманную муху, осудить себя на постепенное, медленное умирание. Он любил своего отца, деда — людей, жизнь которых казалась ему столь ядовитой и засасывающей. Но это была любовь снисхождения, любовь отмирающая, как традиция. Их веру, их идеалы он разрушил и, переболев, осмеял.

Из гостиниц зажиточных буржуа, из грязных зал биржи Фридрих бросился на дешевые лондонские окраины, где ютились в бедности деятельные немецкие изгнанники. Иосиф Молль, Карл Шаппер, Генрих Бауэр встретили его скорее приветливо. Энгельс впервые видел подлинных пролетариев-вождей. Их умственный уровень поразил его своей высотой. Правда, они остались равнодушными к философскому докладу, который молодой человек попробовал им преподнести. Ни ересь Шеллинга, ни откровение Бруно Бауэра не произвели здесь особого впечатления, зато о заработной плате, о быте немецких текстильщиков и ремесленников они хотели знать все. Фридрих расстался с ними не столько дружески, сколько дружелюбно. Коммунизм этих рабочих казался ему несколько ограниченным и слишком уж практическим.

Но как хорошо чувствовал себя Фридрих среди этих новых людей! Насколько низкая конура, где сапожничал весельчак Генрих Бауэр, была приветливее любого купеческого дома! Эти люди, потерявшие родину из-за покуда не осуществленных идей и принципов, казались ему идеально простыми, целеустремленными. Он был рад тому, что им и их потомкам принадлежало будущее.

По приезде в Манчестер Фридрих решил испытать таинственное и волнующее ощущение езды по железной дороге.

Поезда между Манчестером и Ливерпулем ходили дважды в день. Энгельс подъехал к низкому деревянному навесу вокзала задолго до отхода поезда.

Кроме него, новичка, никто не глазел на распятые на земле рельсы, никто уже не вздрагивал от коротких неприятных гудков подъезжающего локомотива.

Локомотив! Фридрих встретил его как давнишнего знакомого, которого знал, однако, не лично, а по рассказам. Эта машина оказалась и похожей и не похожей на тот образ, который юноша представлял себе. Локомотив вовсе не напоминал чайника, которому был обязан возникновением. Фридрих не нашел ему сравнения. Он был чем-то особенным, открывающим собой новые представления и образы.

Как многоопытный знаток, Фридрих под железными боками локомотива видел его металлические ребра, трубы-вены, все его сложные внутренние органы, похожие на небывалые легкие и желудок. Фридрих, увлекавшийся техникой, давно изучил его строение.

На подножке локомотива стоял машинист. Он привлек к себе внимание Энгельса, который умел одновременно впитывать в себя все впечатления, изучая с одинаковым интересом моллюска, конструкции пушки, алфавит забытого языка, встречных людей и их поступки.

Измазанный машинист стоял надменно и неподвижно, точно изваяние прославленного полководца. Глубокая уверенность в себе была в его немного усталых, воспаленных глазах.

Неожиданно проворно соскочив наземь, он обошел локомотив, то поглаживая его, то наигранно-пугливо осматривая и проверяя неровные зубцы колес. Он играл с машиной, как бедуин со своим конем, как укротитель, поработивший хищника.

Он был господином локомотива, и новая, впервые зародившаяся в мире гордость открылась ему.

Человек, обуздавший машину, человек, позади которого подневольный могучий паровой станок, молот, паровоз,— испытывает новые чувства не только властелина, но и творца.

Упрямый трезвон оттащил Фридриха от этих мыслей, от локомотива. Перебросив через руку плед, юноша бросился, как и все откуда-то взявшиеся пассажиры, к вагонам.

Звонки прекратились. Машинист неторопливо вылил из ведра воду в котел и полез на тендер. Поезд прочно пристал к платформе. Какие-то служители в толстых каф-

танах вышли из сарая, называемого буфетом, и громко прокричали, что поезд Манчестер — Ливерпуль отправляется. Но и после этого ничего не произошло. Продавец горячих пирожков с луком подскочил к вагонам, предлагая свой товар.

— Пирожки луковые горячие — пенни! Пирожки говяжьи — пенни!

В его крике потонуло всхлипывание локомотива. Фридрих заволновался. Он не хотел упустить мгновение, когда двинутся, отрываясь от рельсов и словно подминая их, колеса паровоза. И все-таки он этого не уловил, не приметил, подобно тому как тщетно силился в детстве поймать миг наступающего сна. Поезд, тяжело вздыхая, сопя, икая, понесся в Ливерпуль. Дым стлался над вагонами без крыш, оседая на капорах и шляпах пассажиров. Шум колес и локомотива заглушал голоса. Энгельс любил быструю езду. Он предоставил ветру трепать его мягкие светло-каштановые кудри. Привыкнув к лихому наездничеству, он не был поражен бегом поезда. Он задавал себе вопрос о том значении, которое приобретет для человечества изобретение Стефенсона. Страстно любя географию, Фридрих видел перед собой карту земли и прокладывал мысленно одну за другой железные дороги.

Это было увлекательнее самых фантастических мечтаний. Это могло осуществиться уже завтра. Сверкающие рельсы пересекали землю, как молнии бороздят небо. Они, как полоски рек на карте, ложились на пустыни, соединяли Азию с Европой, обвивали цепочкой оба американских материка. Фридрих с проницательностью коммерсанта и точностью ученого угадывал выгоды и перевоплощения стран под влиянием этих черных магических палочек. Локомотивы вырастали перед ним. Вагоны приобретали силу, подвижность, выносливость огромных животных. Железнодорожные составы переползали с горы на гору, как змеи ползут по деревьям, опутанным лианами; по мостам перебегали через реки. Клич гудка локомотива был подобен фанфарам победителя, вступающего на покоренную землю.

Поезд начисто менял понятие о времени и расстоянии.

Недавний артиллерист предвидел, как в случае войны тряские и покуда неуклюжие, подскакивающие железнодорожные вагоны будут грузить солдатами. Локомотив

тащит вагоны с пушками и людьми, вооруженными не зонтиками, как его теперешние соседи, а ружьями и штыками. Энгельс гадал о том, какова была бы судьба Наполеона, если б полководцу служили поезда.

В таких размышлениях быстро пробежали часы. Поезд, устало кряхтя, подъехал к Ливерпулю.

Ливерпуль показался молодому человеку таким же страшным, безжалостным, как Манчестер, как и Лондон. На набережной женщины с просящими глазами, глазами голодных волчиц, преследовали его, предлагая единственное, что им еще принадлежало,— тело. Тело это было тощим, изможденным, преждевременно состарившимся, обернутым в тряпье.

Эти жуткие богини нищеты подвергались частым арестам, телесным наказаниям полицией нравов. Но голодом преодолевался страх перед исправительным домом. Оказываясь на свободе, не находя работы, они искали хлеба в тайной проституции. Маленькая девочка дернула Фридриха за руку и, когда он брезгливо бросился от нее прочь, закричала:

— Дайте же мне хоть пенни на хлеб, если не хотите пойти со мной в доки!

Энгельс остановился и дал ей монету. Но не только женщины попрошайничали в порту. Мужчинам нечего было предлагать, и они молча протягивали руку.

В доках Фридрих спотыкался о пьяные тела. У дверей дымного кабака плакал ребенок.

Фридрих вспомнил детство. Где видел он подобные картины нищеты, где бродил по таким же улицам горя и голода? Он знал их не только по книгам Сю, Жорж Санд или Диккенса. Разве, возвращаясь из школы в большой пасмурный родительский дом, не проходил он по таким же проклятым закоулкам? Их было много и в Бармене. Из грязных домов неслась перебранка вздорных от усталости людей. Там ругались по-немецки, здесь по-английски. И тот же незабываемый запах, и такие же дети с лицами горбунов, с хилыми телами, и те же развязные старухи и пьяные молодые парни, пьяные потому, что в жизни есть только одна радость, подобная смерти,— алкогольное забытье. Масса нечистот, отбросов, густая грязь, стоячие лужи покрывают улицы, заражая отвратительными испарениями воздух, и без того тяжелый от дыма дюжины фабричных труб.

Перед ним возникали цепко хватающиеся за него воспоминания детства. И, как тогда, как всю жизнь, он не бежал от них прочь, не отворачивался, он замедлял шаг, будучи подавлен вопросами, на которые надо было найти ответ. Без этого ответа жизнь становилась для него невозможной. Слишком много кошмаров, слишком много привидений вокруг.

Пробираясь по фабричному району в центр города, Энгельс заглядывал в окна домов, затянутые тряпкой, пропитанной маслом, наклоняясь, проходил в тесные подворотни, и тоска — преддверье возмущения, предшественница действия — одолевала его.

В каждой конуре жило до десяти человек. Он содрогался.

Социалистическая литература, с которой он отчасти познакомился на родине в последние годы, подготовила его ко многому, и, однако, действительность превосходила все, что могло нарисовать самое мрачное воображение.

Он подходил к театральному кварталу города. Из тонкостенных домов доносились истерически нарастающий мотив канкана, топот танцующих ног и визг. На улицах было степенно-тихо. Величаво возвышался на посту могучий полицейский. Из проезжающих кебов и карет выглядывали освещенные вспышкой сигары или отсветом газовых фонарей веселые женские лица. Слышался смех. А в ушах Фридриха звучали ругань, печальные стоны из другого, соседнего мира.

Ему казалось, что он впервые по-настоящему, во всю величину увидел этот иной мир и его обитателей. Их было много, этих людей; и здесь, в Англии, самой прогрессивной стране земли, они были еще более несчастны, чем где-либо.

Что же это означает? Прогресс, несущий счастье и богатство людям, подобным семье Энгельсов, лишней цепью обвивает тело пролетария? Какое же социальное проклятие тяготеет над этим людом, познавшим ад при жизни?

«Эти улицы, эта страна, законам и процветанию которой завидуют, вся пропитана жестоким равнодушием, бесчувственностью»,— говорил он себе.

Из проезжающей кареты на мостовую к ногам проходящего бедно одетого человека упала потухающая на лету сигара. Человек поднял ее и, озираясь, жадно сунул в рот. Фридрих отвернулся.

«Человечество распалось на монады. Везде — и, может быть, в нас, во мне — варварское безразличие, эгоистическая жестокость. Везде социальная война... везде взаимный грабеж под защитой закона»,— думал Фридрих.

Порешив ночевать в Ливерпуле, он нанял комнату в отеле. Ему захотелось быть совсем одному в чужом городе, в чужом доме. Он был слишком окружен мыслями, чтоб не искать одиночества. Так поэт или ученый, обремененный созревшей думой или открытием, упрямо ищет уединения и покоя, чтоб освободить себя от ноши.

Хорошо тогда быть в чужом месте, чтоб ни одна вещь не мешала думать, чтоб ни одно вторжение не разрывало густого напряжения.

Фридрих опустил суконную портьеру. Окна противоположного дома рассеивали его думы.

Бывают в жизни людей тяжелые минуты, когда человек как бы отходит в сторону от своей жизни и всматривается в свое прошлое, наклоняется, как над колыбелью новорожденного, над своим настоящим.

Фридрих будто опять подошел к знакомой зарубке на двери отцовского дома (каждые полгода измеряли рост детей) и увидел, что она касается его плеча. Он заметно вырос.

Вошедший слуга принес ему заказанный ужин, раскрыл постель и переложил поближе к лампе черную Библию. Пожелав доброй ночи, он тихо удалился. Фридрих курил. Лицо его было так же спокойно и приветливо, как всегда. Не переставая перебирать месяц за месяцем свое прошлое, он неторопливо принялся за ужин. Никогда еще аппетит не изменял ему.

Юноша хладнокровно и умеренно восстанавливал в памяти последние два года. Нет, они не пропали зря. Этот вывод обрадовал его. Больше всего он боялся пустых часов. Не замечая времени, поглощаемого книгой, университетской лекцией, работой над статьей, он болезненно, как перебои сердца, ощущал каждое неиспользованное, канувшее в неизвестность мгновение. Но он не мог упрекнуть себя в самообкрадывании, в мотовстве, прожигании времени.

Последний год был использован сверх меры. Из казармы гвардейского пехотного полка, куда он поступил вольноопределяющимся, сразу же после начинавшихся с

рассвета воинских занятий он почти каждый день бежал в университет.

Молодой купец и расторопнейший воин, трепеща, переступал порог сумрачной берлинской цитадели знаний. Фридриху удавалось совмещать маршировку с философией, стрельбу с историей. Сначала он благоговел перед профессорами, как когда-то перед педагогами провинциальной школы. Но и их он вскоре перерос и осмеял. Он вырастал из казенных знаний, как из гимназических мундирчиков. Пресытившись затвердевшей премудростью Мишле, он наконец сверг самого Шеллинга, перед которым склонял когда-то голову. Этот старец, проживающий капитал былых успехов и устаревших мыслей, нагло объявил себя по прибытии в Берлин родоначальником самого Гегеля — Гегеля, которого чтил Энгельс.

И молодой вольнослушатель решился вызвать на полемическую дуэль мракобеса-философа, который пытался прицепить, как орден в петлицу, учение Гегеля.

Сейчас, медленно пережевывая салат, Фридрих с наслаждением вспоминал осрамившую Шеллинга схватку. Не беда, не помеха, что он никогда доселе не занимался систематическим изучением философии. При неистощимой работоспособности — в этом нет опасного препятствия. Разве люди родятся чемпионами? Физическая выносливость и непревзойденно крепкие нервы были ему надежной подмогой. Не теряя ни секунды, он принялся за дело. Главное, думал он, убежденность в своей правоте. Не в правилах юноши было молчать и размышлять в ленивые часы про себя, ожидая, что кто-нибудь подхватит его сомнения и пойдет в бой. Историю философии до Гегеля он знал очень мало. Одной гегелевской философии истории и права, одного исчерпывающего знания всех споров этой школы в кругу друзей и на вражьей арене было недостаточно.

Недаром любимым героем его в эту пору был чудесный Зигфрид — герой «Песни о Нибелунгах». Не было чудовища, дракона во образе профессорском, которого бы устрашился, подобно рыцарю, молодой купец из Бармена.

Вспоминая прошлогодние битвы, Фридрих старательно перебирал прожитое. Он снова рылся в дорогом, мертвом уже, хламе, в старых письмах, пахнущих мышами и завядшими травами, находил драгоценные, совсем нетрону-

тые реликвии, фотографии, мундир в чернильных пятнах и блестящую ненужную шпагу.

На рассвете, утомленный работой мысли, Фридрих лег наконец в постель. Машинально он взял приготовленную заботливым хозяином отеля Библию. Нашел «Песнь Песней» и прочел нараспев, как читал поэмы.

Эта книга знаменовала все его душевные перевоплощения. Он обрадовался ей, как старой школьной тетради. В детстве Фридрих открывал ее робко, с молитвой. Потом ее угрожающий переплет и чопорный язык раздражали мальчика, как постоянные проповеди, которые читали ему в доме все — от отца до старого лакея. Он мстил Библии, выискивая в псалмах нелепости и высмеивая пророков. Неряшливые, юродивые пророки казались ему в лучшем случае чудаками и досадными глупцами. Он долго воевал с Библией, вызывая на поединок самого бога. Это было тяжелое время, противоречивое и болезненное. Но боль причиняли уже заживающие раны. В борьбе с собой, с семьей, с привычкой он наконец сорвал, как срывают вериги, религию и выбросил, как старый школьный ранец, книгу, которую так чтил в детстве. Прошло время. Читая Штрауса, Фейербаха, Бауэра, он снова проделал тот же путь, идя дорогами своих былых мыслей, снова сразился с христианской догмой.

Страх и негодование прошли. Разорвались ассоциации. Библия лежала перед ним старой детской игрушкой. Как поэт, он отдавал должное эпическому таланту безвестных художников, ее сотворивших. Что ж, «Песнь Песней» равнялась «Песне о Нибелунгах»; псалмы были грубоваты и мелодичны, как старые саги.

Перелистывая Священное писание, Фридрих вспомнил им написанную библию — «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или Торжество веры». Эти веселые рифмы казались ему всегда удачными. Но как далеко отошла в прошлое пора младогегельянских дуэлей, дурачеств!

Стихи заволакивали настоящее. Ливерпуль становился Берлином, и из-за портьеры опять доносился матовый тенорок Бруно Бауэра.

Фридрих достал свою поэму из жилетного кармана. Расправил. Тоненькая книжечка без имени автора на обложке.

Как долго, скрытно, упорно он мечтал стать поэтом!

«Может быть, это было неизбежностью для юношей моего поколения, как корь и дуэлянтское бахвальство...»

Еще год назад он верил, что богато одарен поэтической музой, но он не был в этом убежден сегодня. Впервые Фридрих думал о том, что не будет поэтом, без боли и уныния.

Однако шутливые стихи и пародии удавались ему.

Перелистывая свою поэму, он с удовольствием заметил, что не стыдится ее, не досадует. Морщась от смеха, снова признав достойным свое творение, вспомнил он свои вирши:

«Услышь, господь, услышь! Внемли моленью верных,
Не дай погибнуть им в страданиях безмерных!
Терпенью твоему когда конец придет,
Когда ты казнь пошлешь на богохульный род?
Доколе процветать ты дашь в земной юдоли
Безбожным наглецам? Скажи, господь, доколе
Философ будет мнить, что «я» его есть «я»,
А не от твоего зависит бытия?
Все громче и наглей неверующих речи...
Приблизь же день суда над скверной человечьей».
Господь на то в ответ: «Не пробил час для труб,
Еще не так смердит от разложенья труп,
К тому ж и воинство мое — от вас не скрою —
Не подготовлено к решительному бою.
Богоискателями полон град Берлин,
Но гордый ум для них верховный господин;
Меня хотят постичь при помощи понятий,
Чтоб выйти я не мог из их стальных объятий.
И *Бруно Бауэр* сам — в душе мне верный раб —
Все размышляет: плоть послушна, дух же слаб...»

Утром Энгельс вернулся в Манчестер.

По возвращении он решительно изменил образ жизни. Пренебрегая мнением приятелей отца, он отвергал приглашения на обеды, ужины, танцы. Он исчез с брачных ярмарок, и расчетливые ланкаширские буржуазные маменьки вычеркнули его из списков надежных женихов.

В свободные от дел в конторе часы Фридрих уходил в рабочие дома, на собрания чартистов, в харчевни, что у шлагбаума, отмечающего городские границы. По ночам он зачитывался Годвином и декламировал Шелли, которого полюбил страстно. Он добыл синие, малоизвестные, почти не знавшие прикосновений человеческих рук, отчетные брошюры фабричных инспекторов, и за

мертвыми, жесткими и трагическими, как металлические, почерневшие от дождя венки, фразами перед ним открывалась иная жизнь.

Он чувствовал себя Колумбом, ступившим на чужую землю и увидевшим людей с другим цветом кожи, жизнь которых была ему незнакома.

Но с каждой новой цифрой тайна обнажалась.

Острые, как молнии, цифры открывали Фридриху загадку происхождения и путь этого иного народа, настойчиво требовавшего к себе внимания всего мира, народа, заселяющего всю планету, называемого — Пролетариат.

История рабочего класса, которую он воссоздавал, была мрачна, но последовательна. Фридрих видел, как нищали крестьяне, как нужда продавала их труд и как потом рабство ковало из них новых людей.

Молодой исследователь решил писать книгу о рабочих Англии. Разве не опередили они — и в невзгодах, и в борьбе — всех своих собратьев на земном шаре? Книга о них могла стать путеводной нитью. Но об этом ее значении Фридрих пока решил не думать. Думать для него означало рыть, рыть до тех пор, пока не найдет клад — ответ.

2

Фридрих Энгельс-младший к конторе своего отца подъехал на великолепном жеребце. Юноша был безукоризненно сложен, отлично одет, задорно-весел. Старый Джон, несмотря на свою настороженность к людям богатым, залюбовался молодым человеком, когда тот спешился и подошел к дверям дома.

— Сэр, верно, был офицером? — спросил старик, принимая плащ и высокую шляпу Фридриха.

— Как же — солдат! Артиллерист.

Энгельс, шутливо смеясь, выпятил грудь и гусиным шагом промаршировал от стены к стене прихожей.

— Оно и видно, что сэр ходил под барабан.

— Хочешь сказать: «кажетесь болваном»? — засмеялся юноша так звонко, как смеются только очень здоровые люди.

В этот вечер Фридрих Энгельс, против обыкновения, поздно засиделся в конторе. Джон дремал на скамье в прихожей.

Перенимающие всякое техническое новшество, компаньоны «Эрмен и Энгельс» первыми провели в своей конторе газовое освещение.

Под прозрачным полушаром у самого потолка горел ярко-белый газовый рожок. Свет в изобилии падал на комнату. У старого Джона болели глаза. Он сравнивал немигающий яркий фонарь со стальными ножами, которые оттачивал в Бирмингеме.

Свет горящего газа мешал ему заснуть, покуда неутомимый Фридрих читал и писал в соседней комнате.

Когда забившийся в угол Джон смежил наконец веки и задремал, его разбудило осторожное прикосновение. Рядом стоял хозяйский сын. Он казался смущенным.

— Я разбудил тебя? — сказал он, готовый отойти.

Но Джон вскочил, как вскакивал всегда, заслышав обращение хозяина. К этому раз и навсегда приучили его в детстве. Тщетно пытаться менять привычки в шестьдесят два года.

— Зайди ко мне, старина.

— Но дверь, сэр...

— Запри ее.

— Слушаю, сэр.

Джон поплелся за молодым человеком.

В знакомом кабинете, вещи которого давно наскучили сторожу,— одной из обязанностей Джона было вытирать по утрам пыль со столов и шкафов,— Фридрих предложил старику сесть. Джон растерялся. Он до тонкостей знал здесь каждый стул и кресло, знал, где не смыто чернильное пятно, какая ножка шатается, какая кожаная пуговица готова вот-вот отвалиться. Но он никогда не пользовался этой мебелью. Поэтому нелегко было ему сейчас решиться сесть на стул, за которым он приставлен был ухаживать.

Фридрих не понял его колебаний и подвинул ему кресло. Затем нажал одну из кнопок глухого шкафа и открыл нижнюю дверцу. Вместо бумаг, вместо денег, книг,— словом, вместо всего того, что предполагал увидеть в шкафу старик, там оказались рюмки и пыльные, крепко закупоренные бутылки.

Фридрих Энгельс достал одну из них и осторожно наполнил два бокала.

Джон отказался от вина, предпочтя ему неразбавленный, жгучий джин. Беседа завязалась.

Фридрих нравился Джону больше всех встречавшихся доныне иноземцев. Они разговорились, как старые приятели. Розовощекий, веселоглазый хозяйский сын знал все из того, что казалось Джону его личной тайной. Он знал подробности бирмингемских происшествий, тяжелые перипетии борьбы за хартию. Он знал, как умер Меллор, и говорил о луддитах так, точно сам был в их рядах во время разрушения машин.

Джон растерялся перед его осведомленностью.

Узнав, что старик в раннем детстве был продан на фабрику, Энгельс оживился и, казалось, обрадовался, точно работал некогда с ним вместе, точно встретил земляка.

— Сколько же сэру лет? — не вытерпел Джон.

— Двадцать два.

Они допили бутылку.

— Сэр знает все, точно был одним из нас...

— Я знаю лишь то, о чем говорят документы и еще более того — жизнь. Видишь ли, по-разному можно прожить свой век, когда свободен и богат, но у рабочего, у раба нищеты и эксплуатации, выбор невелик.

Давно отошла полночь, давно спал Манчестер.

Осторожно Фридрих подвел Джона к его прошлому. Старику казалось, что, пятясь, он отступает в темноту, натыкается на что-то, плутает, проваливается в овраги и карабкается снова, но все напрасно. Он не хотел оборачиваться лицом к тому, что́ осталось в его жизни далеко позади. И воспоминания его были как блуждания в потемках. Старик хоть и беспокоился, что рассказ его скучен и бессвязен, но не мог остановиться и замолчать, точно в последний раз собирал развеянные ветром времени листы своей жизни. Фридрих слушал, чуть нахмурив красивые брови. Лицо его вовсе не улыбалось.

Для Энгельса не было ничего нового в исповеди старого ткача, ножовщика и сторожа, луддита и чартиста. Это была еще одна проверка того, что́ знал он по синим отчетам фабричных инспекторов, по исповедям других рабочих.

То, что Джон не умел сказать, Фридрих угадывал и досказывал вслух или про себя.

Джон Смит родился в крестьянской лачуге. Деревня, где жила его семья, состояла из дюжины каменных, глухих, как ласточкины гнезда, хижин. Деревня находилась у въезда в помещичью усадьбу. Владелица имения повелела выстроить зубчатую стену и посадить вдоль нее

кустарник и деревья, чтоб крестьянские избы не портили красоты пейзажа. За ограду барской усадьбы деревенских жителей не пускали.

Люлькой Джона было корыто. Одновременно оно служило для кормления двух сивых, всегда несытых свиней. Джон делил его с ними. Горбатая Мери дважды в день вытаскивала стиснутого до синевы вонючим повивальником братца из корыта и наливала туда пойло. Свиньи кормились преимущественно отбросами, за которыми охотились вне дома. Когда они, неудовлетворенно поводя рылами, отходили от корыта, Джон снова возвращался на свое место, и люльку ставили на скамью. Мать боялась, как бы голодные домашние животные, которыми кишмя кишел дом, не съели ребенка. Но когда Джон высвободился из тряпок и научился ползать по земляному полу, свиньи, бараны и гуси стали его лучшими друзьями. Он усвоил их язык, и первыми словами, которые он выговорил, были не «ма-ма» и «дэ-дэ», а «хрю» и «мэ». Значительно позже в сознание мальчика вошли двуногие животные — люди. Он долго боялся их и прятался от них. Отец его был молчалив и жалок, когда трезв, и страшен, когда напивался.

Тщетно попытавшись выжать из неплодородной земли не только арендную плату помещице, но и прокорм семье, Джон Смит-старший горько запил. Спьяна он бил жену; жена, обозленная нищетой, била нелюбимую горбатую дочь, а та вымещала обиды на отданных ей под надзор меньших членах семьи. Вокруг Джона жили люди, родившиеся, как и он, чтобы неустанно один на один сражаться с голодом и умирать, проигрывая это, заранее обреченное на неудачу, сражение.

Мир, где жили иначе, был отделен забором, колючим кустарником, высокими деревьями. Джон его не знал.

— Помер бы ты лучше в детстве, чем висеть на наших шеях камнем,— беззлобно говорили ему близкие.

Смерть была благодетельницей обнищалых деревенских домов. Прихода ее ждали. Горбатая Мери завидовала умиравшим сверстницам. О них жалели, говорили с нежностью. Церемония похорон казалась такой величественной. Горбунья повязывала лоб лентой, влезала на стол и закрывала глаза.

— Я покойница, плачь обо мне,— говорила она Джону мечтательно.

Смерть, по-видимому, прекращала ноющее, как рана, чувство голода, первое чувство, которое испытал Джон. На кладбище было красиво, уютно. Сама владелица имения велела посадить на могилах цветы. Она жертвовала также кресты умершим арендаторам.

Не смерть, а рождение нового человека было, по мнению деревни, несчастьем. Женщины плакали над новорожденными. Мужчины били жен по беременным животам.

Когда Джону минуло девять лет, случился неурожай. Родители продали свиней, баранов, гусей. В лачуге стало тихо и просторно, как будто смерть пронеслась над ней. В тщательно заплатанной рубахе, которую надевал в дни крестин и похорон, отец ушел за ограду, в мир, который, как пожар, был страшен деревенским детям. Он робко пробрался в поместье цепных собак, огромных слуг в ливреях, суконных всадников и леди, выезжающих на охоту под вой рога.

Помещица отказалась помочь Джону Смиту-старшему отсрочкой платежей. Это решило судьбу Джона-младшего.

После свиней пришла очередь быть проданным и ему. Мать ушла в город. Там, в прокуренной сигарами конторе по найму рабочих, она упала на колени перед человеком в красном бархатном жилете, в белом камзоле и коротеньких черных штанишках. Он отказался купить Джона.

— Нам выгоднее,— сказал он строго,— брать сирот и подкидышей из рабочих домов и приютов.

Крестьянка заплакала, застонала. Принялась целовать холодные пряжки туфель и нитяные чулки на ногах, бугристых и кривых, как оплывшая восковая свеча.

— Сжальтесь, сэр! — умоляла она.— Джон, право, силен и вынослив, как баран. Он послушный, кроткий мальчик. Мы будем все молиться за вас... Ребенок заменит двух мужчин. Господь благословит ваш дом, если вы снимете с нас этот груз!

Наконец господин брезгливо отнял свои ноги и согласился.

Вслед за тем мальчик покинул навсегда деревню. Она осталась в его памяти большой грязной ямой, в которой дети и животные дерутся за съедобные отбросы.

Мысль о родительском доме всегда впоследствии вызывала у Джона щемящее, почти болезненное ощущение голода.

Связь с семьей для него оборвалась. Он встретил мать лишь спустя тринадцать лет. От нее Джон узнал, что отец давно исчез, — верно, умер на какой-нибудь из добротных английских дорог; что горбунья Мери дождалась смерти. Во время эпидемии таинственной горловой болезни она умерла вместе с четырьмя младшими детьми. Только два брата остались в живых и работали в лондонском порту грузчиками. Но Джону не довелось встретить их.

Самостоятельная жизнь Джона Смита началась в фургоне, обтянутом серой пятнистой рогожей. Вместе с двадцатью мальчиками и девочками он ехал в Манчестер. Фургон бежал по незнакомым дорогам. Дети радовались разнообразным картинам, открывающимся перед ними, не знали и не думали о том, что ждет их завтра и зачем их везут.

Самому старшему мальчику, Майкелю, не было еще десяти лет. Сбившись в кучу, маленькие рабочие выглядывали из-под рогожи, защищающей фургон от дождя.

Красива Англия. По обе стороны ее дорог всегда разбегаются ярко-зеленые луга, коричневые перелески, серые холмы. Легкая дымка заволакивает горизонт. Луга сливаются с блекло-зеленым небом.

Богата Англия. Сквозь колючие ограды с вплетенными гербами, щитами и коронами виднеются замки, устремляющие к облакам острые шпили башен. Огороженные парки тянутся на многие километры. Оголенные, лишенные тени, они — как бассейны, собирающие лучи солнца.

Статные всадники и всадницы со сворами псов обгоняли фургон, исчезали за холмами. Из замков на дорогу доносился пронзительный бой металлических гонгов, зовущих к завтраку, к обеду, к ужину. Дети вздрагивали, недоумевали.

Фургон безостановочно мчался на восток. Дважды за день возница выдавал пассажирам по куску хлеба и позволял им напиться воды из жестяного бидона.

Чем ближе к Манчестеру, тем ровнее и печальнее открывающаяся глазу местность. В низинах густой туман, как ватная гардина, отгораживает дорогу. В нем исчезают очертания холмов и леса. Смотреть больше

не на что. Глаза беспомощно бьются в паутине из влаги. Кутаясь в лохмотья, прижимаются друг к другу дети. Джон задремал на худеньком плечике своей ровесницы — соседки. Девочка исподлобья поглядывает на него, но старается не шевелиться, чтобы не разбудить. Дети мало говорят. Как маленькие недоверчивые зверьки, они то заигрывают друг с другом, то огрызаются. Девочку, к которой доверчиво прижался Джон, зовут Пэгги. Она — подкидыш. Девять лет, из которых складывается вся ее жизнь, она провела в приюте и на дорогах Уэльса. Пэгги не говорит по-английски. Ее гортанное произношение, незнакомые уэльские слова вызывают непрерывные кривляния и насмешки английской детворы. Тщетно стараясь объясниться с ними и получая в ответ издевки, Пэгги вдруг вспыхивает, принимается рьяно плеваться по сторонам и показывает язык.

Маленькая белесая до седины косичка сердито скачет на ее затылке. Девочка готова пустить в ход ногти, но внезапно замечает, что голова спящего Джона упала с ее плеча на холодную перекладину фургона. Осторожно, с недетской лаской укладывает она мальчика и прикрывает его подолом своей длинной рваной юбчонки.

В Манчестере фургон останавливается у длинного кирпичного дома. Когда дети проходят по двору, несколько женщин бросаются к ним с проклятьями:

— Издохните этой ночью, змееныши! Из-за вас голодают ваши матери и отцы! Рожаем вас на свою погибель, проклятые!..

Джон не понимает, чего от него хотят. Ненависть женщин пронизывает детей, колет, как ядовитый туман текстильного города. Джон бежит к двери дома, всхлипывая. Он тоскует по горбатой Мери.

В конторе прибывших малолетних рабочих пересчитывают, выкликают и ставят в ряд. Три спокойных неулыбающихся джентльмена осматривают рабочих. Так приехавший в деревню мясник отбирает, покупая у крестьян, свиней и телят.

Детей поднимают, ощупывают, дергают за уши, щелкают по зубам и оттягивают им челюсти, заглядывая в рот.

Джон нравится покупателям, и два фабриканта оспаривают его друг у друга. Спор кончается жеребьевкой.

Вместе с сироткой Пэгги и еще пятнадцатью детьми Джон попадает к мистеру Джорджу Б. Страйсу.

Тот же, обтянутый изрядно намокшей рогожей фургон увозит юных рабочих на фабрику их нового хозяина, расположенную между Ливерпулем и Манчестером.

Ночь непроницаемо темна. Воздух влажен. Фургон бросает на проселочной дороге из стороны в сторону, как лодку.

Майкель, выросший на западе Англии, у моря, говорит удивительные слова:

— Мы в океане. Это пираты погрузили нас в шлюпку, и она несется неизвестно куда. Разве это не правда?

Никто не возражает. Всем становится еще страшнее. Джон, никогда не видевший моря и не понимающий слов «пираты» и «шлюпка», благоговейно слушает Майкеля. Тот продолжает завораживать товарищей чудесными, феерическими вымыслами о рыбах, разбойниках, морях.

— Мой дед-рыбак утонул, мой отец-рыбак утонул, мой брат-рыбак утонул. И я буду рыбаком и утону,— говорит он чванливо под конец.

Под рассказы маленького рыбачонка фургон подъезжает к фабрике Джорджа Б. Страйса. Сострадательный туман скрывает понурое уродство деревянных фабричных сараев и гладкой черной, как сковорода, окружающей местности. Потрясенные слышанными от Майкеля чудесами, полусонные дети валятся спать по команде хозяина в темном сарае у ворот. После тряского долгого пути, новых впечатлений подстилка из соломы кажется им ласковой периной. Они засыпают в эту первую ночь рабства счастливые и беспечные. Что знают они о жизни? Младшему из них четыре года.

Джордж Б. Страйс — текстильный фабрикант, ни злой, ни добрый, ни безобразный, ни красивый, почтительный сын своих родителей, исправный налогоплательщик, верный слуга парламента и короля,— считался примерным хозяином и знатоком фабричного дела. Ему предсказывали в Манчестере и Ливерпуле, что он далеко шагнет по пути преуспевания и не торопясь обгонит многих. Начал Страйс с пустяков, с грошей, кончит, пожалуй что, миллионом.

Сам Джордж Б. Страйс относился к жизни, как к делу серьезному. Он считал, что жизнь — ответственное поручение, данное человеку богом. Количество отложен-

ных в банк прибылей было для него мерилом выполнения заданного свыше, и Джордж Б. Страйс не тратил на земле времени даром.

Родители оставили ему наследство. Но фабрика ко времени прибытия Джона была еще невелика, как и даваемая ею прибыль. Самому владельцу приходилось ведать всем, жить всего лишь на фабричном дворе и пользоваться услугами жены и сыновей.

Миссис Страйс сама управляла кухней, на которой варилась пища рабочим. Дети, взятые фабрикантом на десять лет, получали от него заработную плату натурой. С помощью дешевых детских мускулов семейство Страйс рассчитывало разбогатеть, расширив дело. Тогда наконец можно будет перебраться на виллу где-нибудь за Манчестером.

На рассвете звон колоколов будил фабрику. Джордж Б. Страйс, основательно побрившись, надевал сюртук малинового сукна с голубым воротником и обшлагами и большими медными пуговицами, брал поярковую шляпу и выходил к столу. Перед едой вся семья читала молитву. День начинался у фабриканта поучением, обращенным к трем безучастно моргавшим безволосыми веками сыновьям.

— Не следует,— сказал Страйс в это утро,— задавать себе вопросы, когда ответы на все сомнения давно даны Библией. Не следует пускаться в путь, не отыскав заранее найденных другими, испытанных дорог.

Сыновья отупело молчали. Миссис Страйс, которой разглагольствования мужа мешали не больше, чем стук дождя за окном, подсчитывала в уме, на сколько дешевле обойдется ей репа для фабричной похлебки. Скупость этой высокой костлявой дамы могла конкурировать разве только с ханжеством мужа. Главным огорчением миссис Страйс было то, что солома, несмотря на все ухищрения, все-таки оказалась несъедобной.

Покончив с наставлениями сыновьям, мистер Страйс принялся за словесное истязание своей беспомощно озиравшейся в поисках спасения дочери:

— Я хотел бы услышать от вас, Мери, что́ именно нам говорил Иисус, сын Сирахов?

Мери трепетала.

— «Дочь для отца,— с торжественной печалью изрек фабрикант,— тайная, постоянная забота, и попечение о

ней отгоняет сон: в юности ее — как бы не отцвела, а в замужестве — как бы не опротивела».

— Вы говорите неприличные для ушей невинной девушки истины,— вмешалась миссис Страйс, но муж взглянул на нее так, что, если б глаза жгли, она мгновенно обратилась бы в пепел.

— Это говорю не я, а Иисус, сын Сирахов. Итак, мой друг Мери: «Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчею в городе и упреком в народе и не осрамила тебя перед обществом. Ибо, как из одежд выходит моль, от женщин — лукавство женское».

Вторичный призыв колокола освободил Мери из-под словесной пытки.

Прежде чем уйти из дому, Страйс ежедневно перелистывал памятную книгу, которую называл «книгою мудрости» и завещал детям.

На первой странице, после цитаты из Екклезиаста, было написано:

«Рост мистера Страйса —5 футов.

Вес мистера Страйса —14 стон.

Капитал мистера Страйса — см. банковский счет № 1937 и завещание у нотариуса Пирнера (вскрыть после моей смерти).

Великие люди, которых рекомендую моим сыновьям для подражания: Соломон Мудрый, Питт-старший, Генрих VIII, мистер Ситри — пастор нашего прихода, а также Джон Лоу, если бы не обанкротился и не был шотландцем».

Опираясь на палку, фабрикант выходил на фабричный двор. Под навесом, где лежали тюки шерсти, ждали его малолетние рабочие. Их было свыше трех сотен. Страйс многозначительно размахивал тростью и усаживался на приготовленный стул. Начинался урок богословия.

— Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей,— вяло тянули дети; голоса их дрожали и обрывались.

Разрывая туман, моросил дождь.

Старое тряпье, в прорехах и дырах, едва прикрывало худенькие детские тела. Босые ноги почернели от грязи.

Распевая псалмы, дети не переставали почесываться. Почти все болели чесоткой. Красные, слезящиеся глаза их говорили о свирепой трахоме и золотухе.

«Я разорюсь, если они снова начнут дохнуть, как вздумали это делать в прошлом году»,— думал Страйс, поглядывая на подозрительно вспухшее лицо и лихорадочные глаза одного из мальчиков в первом ряду. Он подозвал ребенка к себе и брезгливо прикоснулся мизинцем к его лбу. Не оставалось сомнения в том, что мальчик в жару и болен. Мысль об оспе перепугала фабриканта.

— В сарай! — заорал он неожиданно громким голосом.— В сарай! Никто из вас не смеет подходить к больному.

Урок богословия прекратился. Дети поплелись на работу. Джордж Б. Страйс пошел в контору в крайне раздраженном состоянии духа. Удивительно, до чего трудна жизнь фабриканта! Того и гляди, оступишься. Повсюду препятствия и подвохи. Когда же наконец машины освободят его от рабочих, которые осмеливаются болеть и тем нарушать все планы!

— А! — сказал, немного повеселев, Страйс, увидев в конторе за перегородкой несмело жавшихся у стены мальчиков.— Что скажешь, Боб?

Боб шмыгнул вслед за хозяином. Он быстро, шепелявя, нашептывал все подмеченное и подслушанное на фабрике за истекшие сутки. Это был рыхлый рослый мальчуган с маленькими светлыми, шныряющими глазами. Страйс давно высмотрел Боба — и не ошибся. Из него выработался выдающийся шпион. Трое других исполняющих такую же роль мальчуганов были несравненно менее опытны в этом тонком деле.

Фабрикант выслушал утренние донесения маленьких лазутчиков, узнал все необходимое о замыслах и поступках фабричных ребят и отпустил Боба и его помощников после краткого наставления.

— Хотя я благодетель сирот и спаситель многих семей от голодной смерти,— сказал им фабрикант,— хотя я учу, кормлю вас и вам подобных,— сердца детей еще менее, чем взрослых рабочих, способны испытывать чувство благодарности к своему спасителю. Я знаю, что нелюбим на фабрике. Даст бог, придет время — и прозреют

незрячие, и устыдятся темноты душ своих. Ты, Боб, ты, Джемс, ты, Вильям, и ты, Поль,— единственные, исполненные преданности, мои рабочие. Верьте, Джордж Б. Страйс не забудет этого. В новом году вы получите куртки, штаны. На своей фабрике я — как на войне. Вы, верные разведчики, несете почетную службу и спасаете своих братьев, заранее предупреждая их преступные намерения, искореняя зло. Ступайте, дети мои, и будьте такими же добрыми сынами порядка и справедливости, как доныне.

Мистер Страйс остался весьма доволен своей проповедью и даже пожалел, что господь бог направил его на стезю торговли и промышленности.

«Если бы я отдался склонности к богословию, то был бы уже епископом»,— решил он. Но приятные эти размышления были прерваны младшим сыном фабриканта, исполнявшим обязанности клерка. Он сообщил, что более двадцати детей оказались не в силах сегодня работать.

По первому впечатлению, они все заболели оспой.

— О, проклятье, они вгонят меня в гроб! — завопил Страйс и приказал изолировать больных в деревянном сарае.

Врача из города решено было покуда не вызывать.

— Пусть приедет, когда несколько из них помрет, что неизбежно. Это сократит расходы, так как все равно надо оформить их погребение и предать их земле по-христиански.

Джон легко разобрался не только в несложном ткацком станке, которым отныне управлял, не только в большом, обнесенном кое-как сложенным забором дворе, не только в нестройных, разбросанных домишках, называемых, однако, корпусами, но и в Джордже Б. Страйсе, своем хозяине. Мальчик очень скоро инстинктивно возненавидел фабриканта. В первый же день он почувствовал на себе его мягкую царапающую руку. Страйс надрал Джону уши за ничтожное упущение в работе и пригрозил оставить его без обеда.

От грязи на голове у Джона появился лишай, который постепенно покрывал все большую поверхность кожи, уничтожая на ней волосы и мучая нестерпимым зудом. Мальчик расчесывал пораженные места до крови. Но это было лишь началом испытаний. В первый же месяц работы на текстильной фабрике Джон свалился в оспе

и оказался в переполненном больными сарае, предназначенном для хранения дров.

Зуд лишая был легким щекотанием по сравнению с тем, что принесла с собой оспа. Джон метался в жару, скрежеща зубами, разрывая скрюченными пальцами гнойные волдыри на лице и теле. По мнению миссис Страйс, изредка посещавшей своеобразную больницу, мальчик должен был обязательно умереть. Но наперекор всему Джон выздоровел. Его спасла сиротка Пэгги. В бреду Джон не узнавал хлопотливо ухаживающую за ним и приносящую ему еду девочку. Он звал ее именем сестры Мери.

— Я — Пэгги,— поправляла его маленькая работница, но Джон был слишком болен, чтобы понимать смысл ее слов.

Вопреки строгим наказам фабриканта, Пэгги по ночам и в короткие дневные перерывы пробиралась в дровяной сарай. Она оправляла тюфяк Джона, обмывала больного мальчика и, разжав его пылающие, обметанные лихорадкой губы, поила его бульоном или молоком, украденным на кухне у миссис Страйс.

Примерное поведение, незнание английского языка и потому невольная молчаливость помогли вкрадчивой девочке попасть в судомойки господского дома. Пэгги угождала дочери хозяина, пресмыкалась перед его сыновьями и женой и снискала у них такое доверие, что долго могла воровать все необходимое для маленького больного, которого обожала.

В свои неполные девять лет сиротка была настороженна и утомлена, как старушка. Ничего детского не осталось в выражении ее сморщенного зеленоватого личика, обрамленного прямыми волосами, пепельный цвет которых казался почти седым.

Пэгги имела о жизни, о людях, о земле свое особенное, но вполне законченное представление. Восьми лет она бежала из приюта от побоев, молитв и непосильного труда. В течение полугода удалось ей скрываться от полиции и попрошайничать у дверей кабаков и церквей. Пьяный дворецкий помещика, едущий за провизией в город, подобрал девочку на дороге и растлил ее в лесу близ Кардигана. В городе дворецкий — весьма религиозный человек — поспешно сдал беглянку полиции. Ее вы-

секли, препроводили обратно в приют и вскоре продали на фабрику.

В девять лет эта девочка воспринимала жизнь как большое незаслуженное горе. Люди в лучшем случае не замечали Пэгги. И только Джон отнесся к ней доверчиво и нежно, как некогда к горбатой, вырастившей его сестре. Этого было достаточно, чтобы все помыслы одинокого жалкого ребенка сосредоточились на Джоне. Краденая еда и уход Пэгги спасли мальчика от смерти. Но Пэгги за эту помощь Джону жестоко поплатилась.

На очередном утреннем докладе Боб сообщил Страйсу о проделках судомойки. Пэгги вызвали на допрос. Тщетно она ползала в хозяйских ногах и отчаянно ревела. Суд и расправу взяла на себя сама миссис Страйс. Подсчитав количество унесенного бульона, молока и кусков сахару, жена фабриканта впала сначала в оцепенение, потом в бешенство. Она самолично таскала Пэгги за волосы до тех пор, пока мягкая прядь из узенькой косички не осталась в ее руке. Потом девочку заперли в чулан и обрекли на суточную голодовку. И лишь после того, как мистер Страйс в утреннем наставлении объяснил жене, что они терпят потери, раз пара рук обречена на бездействие, Пэгги была возвращена на работу. Девочка недолго пробыла в промывочном цехе, где жара и холод попеременно тиранили детей.

Пэгги умерла в день, когда Джон оставил дровяной сарай. Со смертью Пэгги из жизни Джона ушло навсегда наиболее полное беззаветное чувство, которое он испытывал к людям.

Смерть маленькой работницы была мучительной, как ее коротенькая жизнь.

Подобно всей фабричной детворе, девочка спала на том же месте, где проводила день: мистер Страйс считал слишком большой роскошью и транжирством постройку барака для рабочих. С них довольно было и того, что разрешалось на ночь стлать солому тут же, подле станков. На день солома сгребалась к стене почерневшего в вековой грязи полутемного строения. На рассвете отсыревший колокол поднимал рабочих на ноги, но никто не проверял, все ли разбужены, все ли встали. Пэгги очень устала. Нелегко вертеть ручку прядильной машины. Прежде чем уснуть, девочка долго плакала от обиды и боли. Жалкая тощая косичка долго вздрагивала на ее за-

тылке. Земляной пол был таким холодным, что девочка, желая согреться, полезла со своей охапкой соломы под чан и зарылась между дровами. Утром рабочий, ведавший топкой, не заглянул в заготовленный костер, разжег пламя. Доски и солома вспыхнули. Неповторимый крик живьем сгорающего ребенка пронесся над цехом.

Пэгги вытащили полуживой. Сгорела косичка, почернело лицо, пластами отваливалась кожа. В полдень, когда колокол сзывал детей на молитву и скудный обед, Пэгги скончалась. Ее поспешно отнесли за фабричную ограду и зарыли на маленьком кладбище, которого боялись, как привидения, дети.

Мистер Страйс, умело выполнив все пасторские обязанности, водрузил над могилой деревянную дощечку с надписью:

ПЭГГИ-ПОДКИДЫШ, ИЗ СОСТРАДАНИЯ ВЗЯТАЯ,
ОПЕКАЕМАЯ С ХРИСТИАНСКИМ МИЛОСЕРДИЕМ
ФАБРИКАНТОМ ДЖОРДЖЕМ Б. СТРАЙСОМ.

*Прими, господи, ее грешную душу.*

Джон ни за что не решился бы бежать, если бы не его закадычный друг Майкель. Джон никогда не задумывался над тем, что мир вмещает не только огороженный фабричный двор, кладбище за оградой и речку, куда сгоняли детей купаться в теплые дни, но и нечто за пределами владений Страйса. Майкель всегда помнил о море, о рыбачьем поселке, о городах, которые пересекал крытый фургон, везший в Манчестер проданных детей.

Где-то в море, напротив Англии, находился, по сведениям мальчика, большой пиратский остров Америка. Туда следовало бы удрать от розог и псалмов фабриканта, от нудно скрипящих машин, от тошнотворных похлебок миссис Страйс.

По воскресным дням фабрика останавливалась. Но чтоб дети не озорничали и не привыкали к безделью, Джордж Б. Страйс заставлял их работать весь день не покладая рук. Праздники предназначались для уборки двора, корпусов и машин, для молитв и подведения итогов минувшей недели. В субботу вечером фабрикант учинял суд над провинившимися. После недолгого разбирательства проступков маленьких невольников начиналась порка изобличенных в нерадении, лени, ничтожном во-

ровстве. Так как мистер Страйс считал, что люди не могут быть безгрешны, то все дети поголовно получали по тумаку.

— Если ты не изобличен, то это вовсе не значит, что не виноват,— приговаривал при этом в назидание хозяин.

Особенно доставалось Майкелю. Ни Боб, ни другие ябедники не могли поймать его с поличным, но Страйс неизменно подозревал мальчугана в бунтарстве и мучил с особенным удовольствием.

Однажды в субботний вечер, когда Джон укладывался спать под прядильной машиной, на которой работал днем, к нему подполз Майкель.

— Надоело! — сказал мальчик, подвернув рубаху и показывая синяки.— Надоела эта жизнь! Надо бежать в Лондон, а если там не устроимся, то поплывем в Америку. Хуже, чем здесь, нигде не будет. Я слыхал, что пираты хорошо едят...

Утром, ползая на четвереньках с тряпкой и метлой, друзья продолжали говорить о побеге. Джон твердо верил в то, что Майкель знает свет, что на него вполне можно положиться. Было условлено — в тот же вечер, после церковной службы, бежать в Манчестер и оттуда в столицу.

— Не пропадем! — убежденно повторял Майкель, разгоняя сомнения товарища.

Мальчики преодолели все препятствия и ушли незамеченные. Под утро добрались до Манчестера. Они удачно выпрашивали милостыню, надеясь набрать необходимую сумму, чтобы купить билет в почтовой карете. Но для этого нужны были месяцы нищенства. Боясь преследования, мальчики под проливным, не останавливающимся дождем, обычным для Манчестера, как солнце для тропиков, как снег для Ледовитого океана, направились в Лондон. Им предстояли многие дни тяжелого пути. Но дорожные стражники избавили беглецов от голода и сырой стужи. Их заметили, арестовали, вынудили сознаться во всем и под конвоем вернули мистеру Страйсу.

На большом фабричном дворе фабрикант судил их и высек на глазах у всех взрослых и малолетних рабочих.

Спустя месяц Майкель вторично, и на этот раз благополучно, сбежал, но Джон, потрясенный, напуганный пережитым, отказался в этот раз сопутствовать ему.

Он остался на фабрике, работал с утра до ночи, голодал, болел, пел псалмы, получал порцию розог по субботам, по праздникам мыл полы и целовал руку миссис Страйс за порцию клейкого безвкусного пудинга на рождество.

Так прошло для него десять лет. Десять лет, как один безрадостный, мертвый день. Когда срок найма истек, мистер Страйс, завидно разбогатевший и набиравший все новые и новые партии малолетних детей для разросшейся фабрики, вызвал Джона, выдал ему несколько шиллингов и отпустил на волю. Миссис Страйс, давно передавшая попечение о питании детей специально нанятой, беспредельно скаредной тучной старухе, милостиво поднесла уволенному рабочему черную Библию. Семейство Страйса больше не жило на фабричном дворе. Мери давно была выдана замуж.

С Библией и впервые полученными на руки деньгами Джон отправился в Манчестер. Он чувствовал себя несказанно одиноким и несчастным. Так выпущенный после десятилетнего заточения узник боится открывшихся просторов и не знает, куда направить свой путь и что делать со свалившейся на него, как бремя, свободой. Впрочем, Джону не из чего было выбирать. Он пошел на дым фабричных труб, на знакомый гул веретен и прялок. Шел, напевая унылую песню ткачей:

Ах, как тяжело работать
Весь долгий, как жизнь, день,
Когда все соседи кругом
Ушли гулять и играть!

— Но еще хуже не работать, не есть и не пить,— импровизировал Джон.

Манчестер был полон безработных. Джон понял это по оживлению на улицах. Когда у рабочего есть работа, фабричные города пусты в будни. У контор толпились ткачи. Они спорили из-за мест в очереди и жадно смотрели на заветную дверь — не появится, не выкликнет ли их наконец наниматель. Но дверь была плотно закрыта.

Джон видел, как крытый фургон, чуть побольше того, который доставил его в текстильную столицу, привез несколько десятков завербованных где-то детей. На мгновение его, как и других безработных, обуяла злоба против маленьких конкурентов, но он вспомнил свое детство,

вспомнил мистера Страйса, порку по субботам, голод и лишения — и жалость к детям, предвидение их будущего победили.

— Бедные зверьки! — сказал он уныло.

После нескольких недель бесплодных поисков труда Джон нанялся лакеем к богатой помещице, леди Варго. Имение ее находилось на полпути между Манчестером и Лондоном. До того как в одном из трактиров Джон был взят на службу дворецким помещицы, он никогда не видел домов знати вблизи. Сквозь густые ограды они казались ему пустыми и важными, как английские церкви. Пределом роскоши, по мнению Джона, было двухэтажное кирпичное здание на фабричном дворе, дом, в котором жили Страйсы. Но в поместье Варго в подобном доме жил разве что дворецкий. Господский замок ошеломил Джона. Понадобилось больше недели, чтобы разобраться в лабиринте коридоров, лестниц и зал. Слуги жили в просторном, хоть и сыром подвале и спали на кроватях. Человеку, выросшему в корыте для пойла свиней и на земляном полу текстильной фабрики, нелегко приучиться спать на кровати, положив голову на подушку. Первые ночи Джон боялся шевельнуться, чтобы не упасть. Ему было неудобно «висеть в воздухе», как определял он свое положение на койке.

Но самой тягостной в новой жизни была необходимость двигаться по многочисленным комнатам таким образом, чтобы не задевать тысячи хрупких вещей, расставленных всюду.

Джон, несмотря на болезни в детстве, был крепким и рослым. Деревня и фабрика отбирали сильных. Слабые неизбежно обрекались на гибель.

За рост и прямую спину Джона взяли лакеем в замок. В тугом красном с золотыми нашивками костюме, в седом парике с беспомощной косичкой прислуживал он за невиданно длинным столом в часы еды. Он помогал также в уборке пятидесяти комнат дворца.

Жизнь леди Варго была строго расписана. Утром леди выезжала кататься в большой, несколько потрепанной карете в сопровождении множества приживалок, родственников и слуг. После однообразного длинного завтрака и следующего за ним дневного сна помещица каталась верхом. Лошади и охота были главной страстью ее жизни. По вечерам иногда бывали степенные танцы и разгульная

картежная игра с приглашенными соседями и столичными гостями.

Но случалось, что пожилую даму внезапно обуревал страх смерти. Тогда дом пустел. Вместо праздной заезжей толпы появлялись пасторы. Джона поражали легкость их походки и постные мины на красных, откормленных лицах. В замке с их появлением начинались непрерывные молитвы, богословские разговоры, чтение Библии и пение псалмов в гостиной.

В эти дни слуг не оскорбляли. Щеки горничных леди, обычно красные от пощечин, временно бледнели. Таков был мир, в который случайно попал ткач Джон.

Леди Варго, несмотря на свои шестьдесят лет, оставалась весьма чувствительной к мужской красоте. Она, как неукротимо страстная королева Елизавета Английская, ее героиня, будучи формально «девственницей», вознаграждала себя за отсутствие одного супруга несколькими десятками фаворитов. Остерегаясь злословия в своем кругу, она выбирала их среди своих слуг. Пересуды черни нисколько не тревожили знатную даму. Так, безумствуя в любви к лошадям, охоте, покаяниям и конюхам, проводила она жизнь.

Джон, однажды попавшийся на глаза могущественной в своем поместье старухе, заслужил полное ее одобрение.

Леди Варго сидела у зеркала и румянила землистые, обвислые щеки. Помада, прилипнув к морщинистой коже, окрашивала ее в неприятный фиолетовый цвет, и румянец походил более на заживающий синяк. Увы, леди Варго была руиной, не поддающейся никаким ухищрениям реставрации. Подросток-горничная расчесывала ярко-рыжий парик, завитой мелкими локонами. На желтом темени леди Варго кое-где, подчеркивая опустошения, торчали седые клоки волос.

Но легче всего привыкнуть к собственному безобразию. Леди Варго считала себя если и не очень красивой, то, во всяком случае, несомненно, породистой.

Ее род был близок Стюартам, ее отец был адмирал, ее предок повесил на деревьях Черного леса несколько сотен взятых в плен воинов Кромвеля и подал ключи от дворца Карлу Второму.

Леди Варго не сомневалась, что кровь в ее артериях бледно-голубая, а в венах — синяя. Нос у нее был большой, горбатый, королевский. Старуха была в игривом на-

строении. Она подмигивала своему изображению в зеркале и долго полоскала беззубый, коричневый, как дупло, рот.

Одновременно она почесывала костяной палочкой себе спину под кружевным пеньюаром. Блох в великолепном доме Варго было не меньше, чем в любом трактире Манчестера. К ним привыкли, как к пыли.

Ни одна из примет, основательно изученных леди Варго, не предвещала ей неприятностей, и тем не менее они явились — в конверте, на листе хрустящей бумаги с короной в углу. Их привез кучер из столицы. Двоюродный брат леди Варго, ее бывший любовник, ее предполагаемый наследник, старый лорд Сальсберри, доставивший английской короне немало земель и душ, а себе в соответствующей пропорции капиталов, удачно воевавший с американцами, не сумел отбить нападения подагры и погиб под ее ударами.

Леди Варго схватилась за парик. Лорд Сальсберри был моложе ее. Очевидно, подходила и ее очередь. У нее была не только подагра.

Дворецкому был отдан приказ очистить дом от праздных греховодников и послать карету за пастором.

Рыжие букли леди исчезли под широким черным чепцом из муслина. В доме был объявлен траур. Портрет лорда Сальсберри обвили черные ленты. Занавесили люстры и зеркала. Даже на ошейники дворцовых собак было приказано прицепить печальные кокарды.

В замке началась суматоха. Леди Варго настиг приступ покаяния. Началось чтение Библии. Помещица истерически плакала, каясь в грехах, и сквозь рыдания пела старческим противным голосом псалмы.

Случилось так, что Джон, так и не научившийся расторопно служить за столом, опрокинул соусник на одного из особенно почитаемых служителей англиканской церкви. В тот же день, не дожидаясь распоряжения заметно разгневанной госпожи, дворецкий выгнал молодого лакея, снабдив его прозвищем болвана и не дав ему ни пенса жалованья. Джон без всякого сожаления снял с себя красный с золотом костюм и надел старую рубаху, рваные штаны, обул плетенные из ремней туфли и нахлобучил на снова растрепавшиеся волосы круглую войлочную шапку.

Лондон, куда он пришел за работой, встретил его очень сурово.

Джон по-обычному отбивался от нищеты, сторожившей его повсюду. Он был грузчиком, каменщиком, слугой, разносчиком. Хотел было стать пекарем, но цех строго отбирал подмастерьев и не взял его.

В одном из ночлежных домов, проходя мимо нар, Джон наткнулся на мать. Она узнала его и окликнула. У старухи давно паралич. Это спасло от голодной смерти. По утрам она выползала на улицу, волоча ногу и протягивая прохожим обнаженную омертвелую тощую руку со скрюченными пальцами, удачно выклянчивая подаяние.

Сытые торговцы доставали расшитые кошельки, богомольные дамы останавливали карету, опасливые зажиточные мастера рылись в больших карманах и торопливо откупались от немощей, возможных кар, от ада, от неприятных совестливых размышлений медными грошами.

— Я жила бы совсем сносно, если бы не другие нищие. Их много, как блох, в Англии,— жаловалась на конкуренцию мать сыну.

Переходя от одной перепадавшей работы к другой, Джон не переставал тосковать по текстильной фабрике, на которой вырос. Он по-иному слушал теперь издалека стук прялок и скрип текстильных сверчков — ткацких станков. Они казались ему мелодическими и убаюкивали по ночам. Так моряка никогда не оставляет напев морского прибоя. Джон рвался к поневоле оставленной профессии.

Собрав несколько грошей на дорогу, Джон вместе с матерью на крестьянской телеге покинули Лондон. Они думали пробраться в Шотландию. По пути, оставшись без средств, принуждены были задержаться в красивом тихом Йорке. Случай доставил Джону работу на чулочно-вязальной фабрике, и он задержался в главном городе Йоркского графства на несколько лет.

Джон вернулся к станку. Он был вначале счастлив и почти не примечал перемен вокруг.

Это было тяжелое время. Хлеб стоил дорого. Рабочие позабыли вкус мяса и молока.

— Проклятые годы! — говорили вокруг Джона.

Мать его, не встававшая с тюфяка в черной каморке на чердаке, торжествующе пророчила конец миру.

Краем уха Джон слыхал о всемогущем Наполеоне, о кровопролитных войнах на море и материках. Хозяева фабрик, ссылаясь на неурядицы, войны, революцию (смысл слова этого был Джону неясен), на французских безбож-

ников, урезали и без того мизерную плату, сокращали рабочих.

Думая над предсказаниями старухи о конце света, Джон замечал, что не испытывает огорчения.

Джон верил, что где-то была война, но в спокойном Йорке дни опадали, как листья по осени.

Джон впервые попал на большую, оборудованную паровыми машинами фабрику. Впервые он услыхал стройный гул больших машин. Люди этих фабрик были еще более несчастны, чем невольники Джорджа Б. Страйса. Что-то странное творилось с ними.

— Прежде,— говорили рабочие,— наши отцы знали, что, однажды ставши к станку, подле него и помрут. Умение ценилось хозяевами, умение и знание дела. Но потом не стало нужно ни силы, ни умения. Желторотые дети заменили опытных, умелых людей. День ото дня становится нам хуже. Скоро и дети не понадобятся. Черти в образе машин будут ткать и прясть вместо нас. Что делать рабочему люду? Помирать? Ради чего? Ради железных чудовищ, ради пара. Но земля дана людям, а не машинам. Бог создал человека, а человек осмелился посягнуть на его творение и пытается заменить живое существо бездушными вещами. Не может бог не проучить людей за безумие их.

Фабриканты торопились рассчитывать ненужных им теперь лучших рабочих. Джон видел, как его товарищей заменили многорукие, неутомимые, одаренные как бы бессмертной силой существа из металла и дерева. Наиболее искусные, трудолюбивые человеческие руки оказывались беспомощными, недопустимо слабыми по сравнению с цепкими щупальцами и ловкими, беспечно вертящимися колесиками машин. Цех, где работал Джон, обезлюдел. Вокруг зловеще, издевательски гудели, верещали, скрипели новые машины. Каждая из них была исчадьем ада, карой, причиной лишений и мук для тех, кого она заменила.

Суеверный, мистический ужас обуревал ткачей. В гуле машин им слышались угрозы скорого увольнения с фабрики, вопли голодных детей, старушечьи предсказания бедствий, которые несет безработица. Джон плакал от бессильной злобы и тоски, вспоминая ручные станки и прялки, казалось, ту счастливую пору, когда в фабричном цехе толпились, шумя, люди. Что делать, как остановить нашествие демонов, ниспосланных сатаной на бедняков?

Как заставить расчетливых фабрикантов предпочесть человека машинам?

— Объединимся и разрушим их, пока машин еще немного, пока они в младенческом образе! Если мы дадим им беспрепятственно размножаться и расти, то они станут людьми, а мы — их рабами...

В полупустом цехе Джону мерещились духи, привидения, адские звуки. Бывало, пели под аккомпанемент ручных станков ткачи, теперь протяжно пел паровой котел и ему вторили вертящиеся волчки-прялки.

— Безмозглые, бездушные твари! — кусая пальцы, шептал Джон.

В первый раз он посягнул, охваченный жаждой мести, на паровой чулочно-прядильный станок. Эта лоснящаяся колючая машина, накануне привезенная на фабрику, лишила Джона пятерых друзей, работавших с ним рядом. Их выгнали с фабрики и тем обрекли на голод и скитания. Один был слишком стар, чтобы снова, переходя из города в город, просить работы. Он утопился в пруду, узнав о том, что потерял последнее место в жизни. За него отомстил Джон. Чувство, испытанное им, когда застонало под ломом железное чудовище, было сильно и пронизывающе, как сладострастие.

— Вот как! — хрипел он, продолжая ломать станок. — Вы, однако, слабее нас, кровопийцы! Мы можем разрушать вас, топтать, оплевывать... Что же ты молчишь, истукан? Ведь в твоей власти наша жизнь...

Джон был не один. Армия разрушителей машин росла. По всей Англии начался поход против нового бича и конкурента рабочих. Восстание против машин штормом поднялось над Англией. Гиканьем и плевками встречали луддиты призывы хозяев и правительства к смирению. Пасторы кончали проповеди увещеваниями. Но они оставались тщетными. Паства более не была послушна.

— Верните нам старую Англию!

На улицах промышленных городов висели воззвания:

«Разрушение машин и то, чего добиваются рабочие, желающие запрещения их во всей Великобритании, будет иметь те последствия, что они найдут себе применение за границей — к великому ущербу британского промышленного труда».

В ответ рабочие срывали плакаты городской и фабричной администрации.

— Долой паровые машины! Верните нам наши места за ручными станками, дайте нам работу! — требовали они.

Джона закружил вихрь разрушения. Молодой рабочий боготворил Джорджа Меллора, который однажды удостоил его разговора в трактире для возчиков и рабочих. Вместе с товарищами по фабрике Джон по ночам пробирался в овраг за городским собором, где Меллор учил луддитов ненависти к богачам, к мучителям. Меллор говорил просто, но так проникновенно, что слушатели тихонько, пряча в темноте глаза, оплакивали горькую судьбу своего класса. Страшны были предсказания Меллора, страшно было то, что, по его мнению, ожидало их детей. Он был грамотен и сведущ во всем. Он учил рабочих надеяться только на самих себя.

— Бог, может быть, учтет наши страдания на Великом суде и воздаст нам должное на том свете. На земле же нам нечего ждать и не на что надеяться, кроме как... — Меллор сжимал кулак и потрясал им.

На еженедельных сборищах во рву луддиты пели:

В круг встанем мы, в круг,
И дадим мужественную клятву,
Что разобьем машины и окна
И огню предадим гудящую фабрику.

Меллор, слышавший где-то сентенцию Бэкона, любил часто повторять ее, хотя рабочие с трудом понимали ее смысл:

— «В юном возрасте государства процветает военная наука, в возмужалом возрасте также и ученость, а на склоне лет государства процветают технические науки, и человек вытесняется своим же изобретением».

Джон соглашался с Меллором в том, что машина не от бога, а от дьявола, и, разрушая ее, люди следуют тем самым велениям совести своей, подсказанным небом.

Луддиты спасают бедняков от смерти. Человеку, а не машине дал господь землю, учил Меллор, и слова его не оставались втуне. Дня не проходило, чтобы не погибали в темноте ночи новые станки. Тщетно полиция рыскала в поисках виновных. Рабочие не выдавали своих. Фабриканты были бессильны оградить себя от покушений.

Приближалось утро. Небо было по-ночному темным. В Манчестере светает тогда, когда над Рейном давно уже взошло солнце.

Старый Джон говорил тихо, ровно, грустно. Энгельс его почти не слушал.

«Зима 1812 года,— думал Фридрих. — В это время правительство вносит билль о смертной казни для неистовствующих по стране разрушителей машин».

Энгельс вспоминает замечательную речь Байрона. Как ненавидел этот гениальный поэт побеждающего буржуа! Какие чувства бунтовали в нем — ненависть аристократа к фабриканту-капиталисту из среднего класса или сострадание к рабочему?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лорд Байрон проводил зиму в Лондоне. В веселой сумятице, в горестях и радостях славы, творческих буйств, в непревзойденном мотовстве ума и сердца растворялось для него время.

Весть о смертной казни для луддитов пробудила дремавшего борца...

Февраль — наиболее темный месяц в Лондоне. Проснувшись довольно поздно, лорд Байрон раздвинул нехотя парчовые занавеси кровати. За окном была ночь. Часы, однако, упрямо доказывали обратное. Поэт нехотя согласился с их монотонными доводами. На звонок слуга принес еще одну зажженную свечу и растопил камин. Лорд Байрон пожертвовал парикмахером и полировкой ногтей. Утренний туалет был короток. Окунувшись в прохладную надушенную ванну и выпив кофе, он, слегка прихрамывая, спустился по затянутой ковром лестнице в холл. У дверей со стальных доспехов безликого рыцаря он совал брошенный второпях плащ и вышел на улицу. У крыльца дожидалась карета. Фонари были зажжены, но пунцовый свет не в силах был пронизать густую черную толщу тумана. Так солнечные лучи разбиваются о воду. Уже в трех шагах от кареты темнота торжествовала победу над колеблющимся за стеклом пламенем свечи. Со всех сторон из непроницаемой мглы неслись приглушенные влагой звонки, удары гонгов, предостерегающие голоса людей. Взволнованно ржали лошади-невидимки. Свет уличных плошек над головой казался тусклым мерцанием бесконечно далеких звезд.

Кучер и лакей повели лошадей под уздцы. Дорога от

дома Байрона до парламента должна была занять, по крайней мере, три часа. До начала заседания было много времени. Откинувшись на атласную спинку сиденья, поэт мог без помехи продумать предстоящую речь.

«Увы, вряд ли мне удастся убедить этих великолепных вельмож! Стрелы моего красноречия тупеют и отлетают, касаясь их каменных лбов и чугунных сердец»,— думал Байрон. Но молчание было преступно. Лорд Байрон хмурил брови. Беспокойство, неуверенность, самонадеянность попеременно охватывали его. Он был подвержен резким переменам настроения. Сейчас с покрытого красным сукном возвышения он произнесет слова, продуманные и правдивые, как исповедь. Если бы воин боялся поражения, то не знал бы и побед.

Байрон — солдат, вскинувший ружье и ожидающий команды. С кем хочет он сразиться? С палачами. Битва ради того, чтоб предотвратить кровопролитие...

Карета медленно пробивается сквозь туман, натыкаясь поминутно на невидимые экипажи, на людей, на тумбы тротуаров. Кучер отчаянно бранит туман.

— Ах ты, чертова сопля, ах ты, безмозглый кисель! Проклятая жижа, ведьмин суп! Ну, кто мог придумать этакую пакость? Еретик, колдун, папа римский!..

Байрон вспоминает путешествие Данте в ад. «Похоже»,— улыбается он.

Туман непроходим, как лесные дебри, и так же душен. Обессилевшие, охрипшие слуги плутают в темноте, сбиваются с пути. Начинается перекличка невидимок.

— Какая улица? А далеко ли до Вестминстера? Где мы, святая троица?.. О, черт! Держи влево, вправо... Да кто тут? Ну, проклятье!.. Коров гонят на бойню. Выбрали погоду. А где?.. Что?.. Так и есть, въехали в телегу. Где колесо, где кучер?..

— О, небо, торопитесь! Иначе они казнят людей! — нетерпеливо крикнул Байрон, высунувшись из кареты.

— Разве сэр приказал везти себя в Олд-Бейли? — недоуменно спросил лакей. — Я не знал, что лорд спешит в тюрьму.

— Не в тюрьму, а в парламент... что, впрочем, почти одно и то же для бедного люда,— усмехнулся Байрон.

Наконец дорога найдена. Карета, грохоча, пересекает мост. До Вестминстерского аббатства, до парламента, не более полумили.

Байрон спокоен. Он быстро, опытным глазом строителя, проверяет свою речь, это тяжелое и блестящее здание из отшлифованных, крепких, как мрамор, словесных глыб. Отдельные фразы он произносит громко, проверяя их звучание, силу их возможного воздействия.

«В течение короткого времени, проведенного мною недавно в Ноттингемшире, не проходило двенадцати часов без какого-нибудь нового акта насилия, а в день моего отъезда мне сообщили, что в предшествующий вечер было разрушено сорок ткацких станков, по обыкновению, беспрепятственно и без раскрытия виновных... Но, хотя приходится признать, что эти эксцессы приняли угрожающие размеры, тем не менее нельзя отрицать, что они вызваны небывалой еще нуждой. Упорство этих несчастных в своем поведении доказывает, что только безграничная нужда могла толкнуть значительное население, некогда честное и трудолюбивое, к бесчинствам, столь опасным для самих бесчинствующих, для их семей и для общества. Во время моего пребывания город и деревня находились под властью многочисленных воинских отрядов; полиция была поставлена на ноги, власти в полном сборе, но все их старания ни к чему не привели. Ни в одном случае не был пойман на месте преступления действительный злоумышленник, против которого можно было бы представить достаточные для осуждения улики... Рабочие, уволенные вследствие введения новых машин, полагали в простоте своей души, что прокормление и благосостояние трудолюбивых людей важнее обогащения немногих индивидуумов. И когда нам говорят, что эти люди объединились между собой, чтобы разрушить не только собственное благосостояние, но и самые средства своего существования, то можем ли мы забыть, что благосостояние рабочих, ваше благосостояние, благосостояние всех людей подорвала злая политика, истребительные войны последних восемнадцати лет. Меч — самый плохой аргумент и должен быть также самым последним. Я должен указать еще на то, с какой готовностью мы привыкли спешить на помощь стесненным военным союзникам, между тем как людей, бедствующих в нашей собственной стране, вы предоставляете заботливости неба или церковного прихода. Гораздо меньшая сумма — одна десятая часть того, что вы подарили Португалии,— была бы достаточна для того, чтобы сделать дома

излишним нежное милосердие штыков и виселицы. Смертная казнь! Если мы даже оставим в стороне явную несправедливость и несомненную бесплодность законопроекта, то разве мало угроз смертною казнью имеется уже в ваших законах! Разве к вашему уголовному кодексу прилипло еще мало крови и надо пролить ее еще больше, пока она не станет взывать к небу и свидетельствовать против вас?.. Разве это лекарство для изголодавшегося и доведенного до отчаяния населения? Представим себе одного из этих людей, какими я видел их: изможденных голодом, равнодушных, вследствие отчаяния не ценящих жизни, — представим себе этого человека, окруженного детьми, которым он не мог добыть хлеба, даже подвергая опасности свое существование; отрываемого от семьи, которую он лишь недавно прокармливал мирным трудом и которую теперь, без всякой вины со своей стороны, не может больше прокормить таким путем,— представим себе этого человека,— а таких существуют десятки тысяч, среди которых вы можете выискивать свои жертвы,— влекомого на суд, чтобы держать здесь ответ за новое преступление согласно новому закону...»

От Меллора Джон узнал, что парламент утвердил смертную казнь для посягающих на машины — имущество фабриканта.

— Все равно, где и как умирать,— сказал Джон равнодушно. — Фабрикантам дешевле обходится паровой котел, чем мы. Он не просит есть, как мы и наши семьи, ему ни тепло, ни холодно на этом свете. Ну, а нас — куда? На тот свет. Выморить, как чумных крыс. Надо бы уже заодно изобрести машину, чтобы ненужных людей, вроде нас, проглатывала. Тогда стало бы богачам просторно, удобно. Только грабить было бы им некого.

— Ты прав,— ответил Джордж Меллор. — Ты говоришь как надо: виселица и штыки помогут им расправиться с нами, но жизнь на земле для бедного не станет оттого легче. Не мы первые, не мы последние мученики.

Джон неожиданно был уволен с работы. Хозяин считал его опасным подстрекателем.

День расчета совпал со днем смерти матери.

Увидев сына, старуха в последний раз попросила есть. Она не хотела более понимать, что подступающая смерть

вовсе не дает ей права на это. Джон умолчал о том, что стал безработным, и о том, что хлеб повысился в цене.

Жена Меллора, добрейшая тихая женщина, прозванная в своей округе ангелом, принесла умирающей выпрошенную где-то кружку молока и кусок сыра.

Наслаждаясь молоком, старуха заплетающимся языком рассказывала о деревне, о далеких днях, которых не помнил ее сын. Она была крестьянкой, и молоко воскрешало перед ней луга, пасущийся скот, перепевы ручьев и леса. Смерть подкралась к сердцу и остановила его. Мать Джона умерла.

Он долго безмолвно смотрел на маленький ссохшийся трупик. Сколько раз это тело вынашивало, создавало людей? Джон даже не знал — не то десять, не то двенадцать раз рожала мать. Чем была ее жизнь? Болезни, смерти, побои, нищенство... Это все, что он знал о ней.

«Как у всех»,— подумал он при этом. Умерла одна из бесчисленных английских старух, принесшая в дань нужде и смерти десяток детей.

«Я должен бы обрабатывать землю, как мой отец, но заступ был в чужих руках, и меня продали Страйсу, как теленка городскому мяснику. Я не стыдился просить милостыню, но не нашлось людей, которые облегчили бы мою нужду. Я готов был дни и ночи работать за станком, но меня прогнали. Моя жизнь стоит, по-вашему, дешевле чулочно-вязального станка, да и по-моему — жизнь моя не стоит и пенса», — думал словами Джорджа Меллора Джон, стоя над мертвой матерью. Он просидел подле нее три дня. Куда идти? Что делать? На похороны у него не было денег.

Когда рабочие в складчину похоронили на кладбище для отверженных старуху, Джон оставил чердак и ушел на улицу.

Он снова вернулся к луддитам. Ненависть Джона, как и его единомышленников, все чаще обращалась теперь не только на машины, но и на их владельцев.

Его не раз избивала за дерзкие речи и поступки полиция. Дважды он сидел в тюрьме за бунтарское поведение, за призыв к нападению на фабрики. Но улик не было, и он вновь оказывался на свободе.

На площадях и рынках Йорка со времени закона о смертной казни огромные, обведенные черной зловещей

чертой афиши призывали население выдавать луддитских коноводов. За головы виновных правительство платило до двух тысяч фунтов стерлингов. Джордж Меллор, за которым по пятам охотились полицейские, был выдан провокатором в числе первых. Джон не видел его казни. Тюрьма избавила его от этого жуткого зрелища. Его друг и учитель умер спокойно, просто, мужественно — так же, как говорил. Краткая речь, с которой он обратился к толпе, вызвала слезы, обмороки и угрозы палачам.

Прошло три дня. Джон после очередного ареста был выпущен с предписанием немедленно покинуть Йорк. Он и сам был рад уйти. Без Меллора он не хотел оставаться в проклятом городе.

На площади возле полицейского управления с утра вешали восьмерых пойманных с поличным разрушителей машин. Оступаясь и дрожа, Джон приблизился к виселице. Он почти жалел, что петля предназначена не его шее. День был ясный, тихий. Плакали люди вокруг виселиц.

Из группы стоящих в очереди к смерти один пристально посмотрел на Джона и вдруг поднял связанные ремнем руки.

— Эй! — крикнул он почти весело. — Ты не Джон Смит с фабрики Страйса, что близ Манчестера?

Джон, пробудившись от оцепенения, поднял глаза. Но палач, возмущенный нарушением порядка и недозволенным шумом, схватил смертника за ворот и потащил к веревке, на ходу накидывая на него капюшон. Смертника повесили вне очереди. Джон бросился к виселице. Поздно! Его отогнали. Потрясение лишило его голоса.

«Майкель, ты ли это? — хотел крикнуть он, хотел, и не мог. Палач опустил люк, и тело под белым глухим чехлом зашевелило ногами в поисках опоры, дернулось и после нескольких судорог неестественно вытянулось, удлинилось и безжизненно повисло в воздухе. В первый и последний раз в жизни Джон потерял сознание. Придя в себя в подворотне дома, куда его втащили сердобольные зрители казни, он, качаясь и всхлипывая, поплелся вон из города. Так и не узнал никогда, был ли заговоривший с ним висельник Майкелем с фабрики Страйса или нет.

Прошло более тридцати лет. Джон одряхлел, согнулся и не то чтобы смирился, а затих. Не было города на острове, где не искал бы он пристанища, куска хлеба и счастья. И не нашел. В фабричные конторы он давно уже не сту-

чался: старики никому не нужны в Англии. Молодых много околачивается без дела. В сторожа мешали ему попасть то и дело прорывавшаяся строптивость и чересчур сутулая спина.

Наконец после долгих скитаний он попал в Бирмингем и вымолил работу в мастерской по выделке ножевого товара.

3

Старый Джон по складам читал газетную хронику. Королева Виктория и муж ее, принц Альберт, посетили парламент. В тот же день они присутствовали на благотворительном базаре. Королеве преподнесли букет итальянских роз. Принц-консорт купил коробочку из раковин и вышитый одной из герцогинь носовой платок. Ее величество собиралась отбыть на продолжительное время в Виндзор. Это означало, что королева готовилась поднести народу еще одного наследника престола.

Джон читал о Виктории, не испытывая ни особого почтения, ни раздражения. Она казалась ему безвредной и по-своему необходимой. Нужно кому-нибудь открывать парламент и благотворительные базары, жаловать титулы и украшать своей персоной обложки новогодних календарей.

В конторе «Эрмен и Энгельс» сонно водили перьями клерки. Их мысли двигались неутомимо, ровно, как часовые стрелки точно выверенного циферблата-мозга, умещающегося в футляре-черепе. Фридрих сидел среди них, прислушиваясь к болтовне о дерби, о возможностях разбогатеть в колониях, о последнем богослужении и танцевальном вечере. Молодой фабрикант проверял банковские счета, договоры сделок, отчеты текстильных компаний. Во дворе призывно ржала его лошадь, но туман мешал обычной дневной прогулке.

Джон приносил в контору большие запечатанные конверты с наименованием фирмы. Он проходил между столов степенно, почтительно отвечая на дружеский взгляд Фридриха. Несколько лет службы сделали Джона доверенным человеком в конторе. Ему прощались принадлежность к местной чартистской организации и подчас ехидные замечания, которые он позволял себе отпускать даже в присутствии главы фирмы.

Энгельс-старший давно отрешился от мысли сделать

старика богобоязненным. Хмурые книги Кальвина так и остались в ящике хозяйского письменного стола, хоть и предназначались в качестве рождественского подарка сторожу конторы.

После службы Джон часто уходил на собрания своего союза.

Случалось, что он встречал там и Фридриха. Молодой человек продолжал внимательно изучать противоречия, из которых состояла жизнь английского рабочего. В холодных общественных залах люди в трепаных сюртучках и густо заштопанных плисовых рубашках, в полинялых, разной формы плисовых шляпах выглядели почти счастливыми. Они говорили так умно, насмешливо, убедительно и храбро, что Фридрих, как некогда Пауль, вспоминал античную древность и уличных ораторов Эллады. Чартизм был воистину отличной школой красноречия для английского пролетария.

На одном из очередных сборов Джон указал Фридриху на Джулиана Гарни. Весь вечер молодой немец наблюдал за ним и решил при первом удобном случае познакомиться. Гарни был всего на три года старше Энгельса, но по внешнему виду разница лет казалась значительной. Чартистские бури пометили его. Он огрубел и замкнулся, как странствующий моряк. Социальная борьба была его стихией. Он окреп, он созрел.

Джон по-прежнему благоговел перед ним и называл его Маратом. Он нетвердо знал, откуда взялось это имя, кому оно принадлежало. Марат был героем, где-то когда-то служившим и умершим за народ. Чужеземная история мало занимала старика. Но Тейлор был в ней силен, и он окрестил Гарни Маратом.

О французской революции старик знал лишь то, что английский парламент вбил гвозди в ее гроб и бросил первую горсть земли в ее могилу.

И хромоногий дьявол Питт был ему куда более известен, чем француз — Друг народа.

После собрания, когда затихал гимн рабочих, Фридрих шел за расходящейся по домам толпой. Несмотря на еще звучавшие воинственные речи, на клятвы солидарности, рабочие, покинув гулкий зал, тихо, покорно уходили в ночь, в черноту нищенских закоулков. Дождь хлестал их по плечам. Фридрих шел тут же, подняв воротник плаща. Если в густой человеческой массе он узнавал старческий

кашель и сгорбленную спину Джона, то окликал его и приглашал согреться в харчевне.

В этот вечер старый Джон был таинствен. Он многозначительно почесывал жидкие усы цвета опаленной пряжи.

— Я собираюсь писать книгу о рабочих Англии,— сказал Энгельс.

— Для кого? — усомнился Джон. — Богатым неинтересно, а мы экономим и на табаке. Книги рабочим не по карману. Да и про себя мы и так знаем.

— Но есть и в других странах люди, рабочие, которым Англия кажется страной обетованной.

Сырой вечер не располагал к беседе.

Возле большого текстильного завода приютился в щели дома трактир «Белый голубь».

— Зайдем,— предложил Фридрих.

Старик нехотя отказался. Он торопился, но так и не сказал куда. Они простились коротким: «До завтра».

Фридрих повернул к своему дому. Хладнокровно и деловито он думал о том недоверии, которое так часто проскальзывало в отношении рабочих к нему.

«Они чувствуют во мне чужака. Между нами легла стеной вывеска торговой фирмы «Эрмен и Энгельс».

Джон прав. Нет оснований покуда доверять ему, сыну фабриканта, еще недавно — вычурному поэту, философу, парящему над землей в густой мгле всяких абстракций.

В старом пролетарии живет здоровый инстинкт настороженности и недоверия к слову.

«Увы, заслуги и шрамы от ран философских боев, мозоли на языке от споров в «Союзе свободных» не имеют цены в глазах джонов смитов. И они правы. Они идут к революции, как к единственной цели жизни. Для них свобода и труд — воздух и хлеб, для многих мне подобных — нередко спасение от сплина, моцион ума и тела, слюнявая филантропия. Зрелище нищеты за окном портит наш аппетит. Мы задергиваем шторы или откупаемся грошами. Отсюда чувствительные сцены бедности у Диккенса и Жорж Санд... Они хотят обедать с сознанием выполненного долга. Совесть мешала их желудку, их аппетиту. Совесть сделала их вина и трюфеля кислыми. Они бросили ей подачку в виде сострадания и призывов к гуманности. Но Джон и его друзья вовсе не калеки. Они солдаты, идущие навстречу победам, воспринимающие как

препятствие лишения похода. Не им, а мне надо будет гордиться, если наши руки сплетутся и мы пойдем рядом. Может быть, я пригожусь, как неплохой командир батальона»,— думал Фридрих, слоняясь по тоскливому пуританскому городу.

Как не похож был Манчестер на его Бармен! Каким отверженным земным закоулком казался бурый Ланкашир по сравнению с голубой Рейнландией!

— Здесь у неба постоянный насморк,— шутил немец, но тоска по прекрасной родине обострялась и томила. Она окрашивала в наиболее желанные тона милый Рейн и его долины.

«Там уже зеленеет трава. Колышутся прозрачные волны. Природа нарядна. Там солнце. Как оно желанно!»

Тоска приводит Фридриха в пивную. Он угощает молодого рабочего и говорит с ним как старый товарищ. Но сегодня, сейчас ему хочется рассказывать только о легендарной реке Нибелунгов.

И рабочий слушает охотно, потому что он ирландец и тоже тоскует о зелени рощ и тенистых реках.

— Выпьем за зеленую несчастную Ирландию! Выпьем за старый веселый Рейн!..

Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник. Его кровь переливается по жилам, как свежее бродящее вино, и глаза его всегда глядят быстро и весело. Он среди немцев счастливчик, которому мир всегда представляется прекраснее и жизнь радостнее, чем остальным. Смеясь и болтая, он сидит в виноградной беседке и за кубком давно забыл все свои заботы. Несомненно, ни один рейнский житель не пропускал представлявшегося ему когда-либо случая получить житейское наслаждение, иначе его приняли бы за величайшего дуралея. Эта легкая кровь сохранит ему еще надолго молодость. Житель Рейна всю свою жизнь забавляется веселыми, резвыми шалостями, юношескими шутками или, как говорят мудрые солидные люди, сумасбродными глупостями и безрассудствами. И даже старый филистер, закисший в труде и заботах, в сухой повседневности, хотя бы он утром высек своих юнцов за их шалости, все же вечером за кружкой пива занятно рассказывает им забавные истории, в которых сам принимал участие в дни своей юности...

С утра началась забастовка. Ее негромко провозгласили часы, десятки часов на заводских корпусах, Стрелка ре-

бенком, играющим в «классы», поскакала дальше,— рабочие беспорядочно высыпали с заводов, из мастерских на безлюдные улицы.

Размышляя и ко всему приглядываясь, Фридрих забрел на окраину. Навстречу ему попался ветхий старец, гнавший перед собой ручную тележку. Желтая куча навоза торчала оттуда. Старец ничего не знал о забастовке. Он был глуховат.

Возчик показал Фридриху свое жилище. Это было брошенное коровье стойло. В четырехугольном немощеном ящике без окон старец спал на подстилке из какого-то хлама, под дождем, который свободно проникал через полусгнившую крышу.

В полдень, когда Фридрих возвратился в контору, город ожил и зашумел так, как шумел только на рассвете или в сумерки.

Во всех церквах, на всех площадях митинговали. И чем тише, мертвенней становились дома и дворы фабрик, тем взволнованнее говорил город, улицы. Фридрих Энгельс увидел торопливые толпы за окном конторы. Ему вспомнились картины отступления. В туманной мгле люди шли согнувшись, разговаривая вполголоса. Они были воинами, покинувшими крепости, чтоб по первой команде невидимого начальника повернуть назад и начать сызнова осаду. Обычно флегматичные, они казались теперь возбужденными и бодрыми. Шли нестройно, и все же напряженный порядок ощущался в их рядах.

Фридрих вышел в прихожую конторы. На вешалках, как висельники, неестественно выпрямившись или скорчившись, застыли серые шинели, плащи, полукафтаны. Их никто не стерег. На деревянной скамье лежала забытая Джоном железная табакерка. Старик забастовал.

В груде шляп и цилиндров Энгельс отыскал картуз и, закутав шею фланелевым шарфом, вышел на улицу. Мимо него продолжали идти рабочие. Он свернул с моста в глубь заводских улиц. Растерянно поскрипывали настежь отпертые ворота. Забастовки не ожидали. Какие-то люди пробирались к конторам по найму. Унюхав добычу, они торопились предложить себя вместо протестующих собратьев. Озираясь, они проникли на пустые, брошенные фабрики еще раньше, чем их принялись искать.

Фридрих ощутил острое желание избить их. Редко чувство опережало в нем рассудок.

«Рабские душонки, подлые и жалкие! Рабочие сами скоро расправятся с предателями».

Минуту спустя он уже думал о другом:

«Следует поставить рабочие пикеты у фабричных ворот, чтоб останавливать измену на пороге».

Но об этом уже позаботились. Ворота захлопывались, и рабочие присоединялись к страже.

«Революция приближается!» — надеялся Энгельс, но вместе с тем росло в нем беспокойство.

Не было ли снова провокации, которая опутала рабочих летом, во время первой забастовки? Не хотят ли промышленники руками пролетариев добыть уступки от правительства?

Но через все сомнения пробивалось одно полное нарастающее чувство — гордая радость.

Фридрих видел впервые рабочий класс в организованном действии. Забастовка была прекрасна, как революционный бой, как массовое восстание. Какой магический пароль, пробежав через многотысячный город, остановил наперекор всему десятки заводов, сотни машин, тысячи станков? Разве не было беспорядочное шествие рабочих мирным и небывалым доныне парадом их мощи и сознания солидарности?

«Так воспитывается революция, — думал Фридрих, — социальная революция, за которой следует не коронование новой династии, а свержение режима». И он радовался замечательному уроку, который давала ему история.

В великий день всеобщей забастовки старый Джон не сидел дома, не бродяжил по городу, не помогал составлять воззвания в чартистском штабе, не торговался на переговорах с фабрикантами о заработной плате и льготах.

Никому не сказавшись, он ушел на железнодорожную станцию, гонимый страстным революционным честолюбием. Он решил в эту вторую забастовку свершить чудо, которое однажды не удалось. Он захотел остановить два локомотива, курсирующие между Ливерпулем и Манчестером. Машинист одного состава был чартистом и, несмотря на большое жалованье, хорошие условия службы, обещал примкнуть к забастовке. Водитель второго поезда — молодой шотландец, дородный и грубый, сторонившийся союза и выслуживавшийся перед начальством, — не ушел с машины. Джон однажды уже поругался с ним, но теперь старик решил позабыть о прежней ссоре. Ведь

парень был, как и он, рабочий. Он не мог остаться глухим ко всему тому, что собирался сказать ему сторож торговой фирмы «Эрмен и Энгельс».

В это утро все не ладилось у Джона. Второпях он забыл жестяной коробок с табаком. На нижнем веке между коротенькими желтыми ресницами вскочил ячмень. А Джон и без того был подслеповат.

Как всегда, Джона тяготило его большое вялое тело.

Дорога к станции тянулась через весь город. Джон плелся медленно, часто останавливаясь, чтобы потереть искалеченное ревматизмом колено, ноющее сухое плечо, высморкаться и пощупать ячмень, который, казалось ему, рос с неимоверной быстротой, угрожая глазу. Иногда старик останавливался, чтоб осмотреться вокруг. Манчестер быстро строился. Заводы ширились, как молодые леса. Возле одного здания тотчас вырастали другие.

Но новые дома были уродливы и тесны и выглядели уже старыми. Это были те же клети, сараи, те же лачуги, темные и низкие, настроенные одна на другую, увеличенные до небывалых размеров и оттого еще более чудовищные, мрачные, грязные. Дворы, узкие, заставленные хламом, походили на свалку, на кладбище почивших машин и отслуживших вещей. Тонкие прекрасные материи ткались на этом кладбище в пыли и грязи. Джон вспоминал о старом болоте, которое было здесь в дни его детства, в дни побега от Страйса. И старику стало жалко серой равнины и зеленых, гнилостных вод. Фабрика была ему ненавистна. Она была страшна, создана не на благо, а на горе ему подобных. Фабрика была машиной, медленно убивающей рабочего.

«Вот она — паутина, где сосут нашу кровь,— подумал Джон и размечтался: — Наступит время, когда завод будет большой и красивый, ну, как замок леди Варго...» Лучшего здания старик в своей жизни не видывал вблизи.

Возможность эта была столь фантастической, а все необычное казалось ему всегда настолько смешным, что он долго посмеивался, ударяя себя по лбу. Гримасничая и кланяясь, он говорил сам с собой:

«Ваше сиятельство, разрешите перевезти вас в новый дворец, на нашу фабрику, а мы расположимся в вашем поместье. Поверьте, наши ткани будут оттого прочнее и узор их богаче».

«Ах!» — кричит леди Варго и умирает от потрясения...

На станции, в деревянном загоне, стоял локомотив. Машинист заправлял лампы в фонарях. Он встретил Джона коротким: «Проваливай!»

Джон попытался прибегнуть к уговорам:

— Ты рабочий, и я не поручусь, что будешь сыт завтра, если сыт сегодня.

— Проваливай, святоша! С этаким умом, как мой, я мог бы прокормить двадцать тебе подобных дураков. Кому голодно, пусть бунтует, я же сыт, и мне незачем.

— Всегда ты был доволен?

— Когда не был, то ругался.

— Слыхал ты о солидарности?

— Из солидарности я сейчас позову полицейского.

Джон не унимался, но машинист только свирепел. Старик раздражал его, как непрошеные укоры совести.

Больные глаза Джона от нервного напряжения покраснели и слезились. Ячмень торопился нарывать. Сквозь пелену лицо машиниста принимало все более странные очертания, тем более что сажа лежала усиками под его большим носом и повисла на бровях.

«Ах, если б быть молодым!» Джон точно знал, что сделал бы он тогда. Избил бы машиниста, подрался бы с ним. Ничего другого тот не заслуживает. Нужно во что бы то ни стало задержать поезд.

— Еще раз обращаюсь к тебе, как рабочий к рабочему...

— Уйди, развалина! — прервал взбешенный машинист. — Уходи с рельсов, а то я сделаю из тебя котлету для червей!

Машинист кричал, перегнувшись с мостка локомотива. Сквозь сажу проступала краска раздражения.

— Сойди с рельсов, сумасшедший дьявол! — вопил он.

Но Джон не трогался с места.

«Не может быть, чтоб он раздавил меня», — думал он и распростер руки, точно мог остановить ими локомотив.

— Не пущу!

А с вокзала, расположенного неподалеку, сердито звали рожки. Ворота загона были уже раскрыты.

— С дороги! — еще раз прокричал машинист. — С дороги, падаль!

Но Джон не сделал ни шага. Черный тупой передок локомотива внезапно приворожил его. Джон забыл, за-

чем пришел сюда. Тысячи машин прошли перед его глазами.

«Меллор... Измена... Железное чудовище... Чудовище...» — проносилось в мозгу.

— Стоп! — приказал он локомотиву. — Я тебя убью! — и бросился на него.

На мгновение он повис на железной перекладине, продолжая одной рукой неистово колотить по гладкому железу. Тело его слабело. Локомотив шел на всех парах.

Без крика Джон скатился на рельсы, под пыхтящую, гладкую, как утюг, машину...

Фридрих Энгельс узнал о смерти старого Джона через несколько дней после окончания забастовки.

Город, как река, вошедшая после разлива в берега, снова обезлюдел и затих. Монотонно вертелись паровые станки на текстильных фабриках. Закрылись заводские ворота. Ткачи и пряхи согнулись над работой.

Думая о погибшем, Фридрих вспоминал их последнюю встречу и то, что Джон не доверил ему тайны забастовки.

В конторе «Эрмен и Энгельс» в кабинете директора говорили о смятом, растерзанном трупе Джона, о том, что гроб ему понадобится отроческий и похоронят его на кладбище для бедных.

Согласно правилам фирмы, было предложено выдать наследникам покойного небольшое вспомоществование. Но у старого Джона не нашлось родственников.

Фридрих Энгельс окончательно решил писать книгу о рабочих Англии. Он хотел посвятить ее миллионам смитов, всем тем, чья история, чья жизнь, точная, как статистическая цифра, и трагическая, как цифра на безымянном трупе в городском морге, послужит основой этой книги.

Старый Джон был одним из вдохновителей Фридриха, красноречивым, как книги инспекторских обследований, как Манчестер, Ливерпуль и Лондон, как всеобщая забастовка, как газеты и пророчества немецких социалистов, как Иосиф Молль, как смелый и бесплодный чартист Гарни и рассудительный, холодный Оуэн.

Во вступлении к своей книге Фридрих сказал то, чем столько раз хотел рассеять недоверие старого конторского сторожа:

«Рабочие! — в толпе английских ткачей, металлургов,

углекопов он узнавал Джона, сосредоточенно жующего ус.— Вам я посвящаю труд, в котором я попытался нарисовать перед своими немецкими соотечественниками верную картину вашего положения, ваших страданий и борьбы, ваших чаяний и стремлений».

И снова Фридрих отвечал Джону, недоумевающему, спрашивающему, кому нужна книга о рабочих («У нас на табак гроша не остается, зачем нам книги о своей беде?»):

«Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьезным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но все это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно *абстрактное* знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей... Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что получил таким образом возможность плодотворно провести в изучении действительной жизни немало часов, которые иначе были бы потрачены на салонную болтовню и соблюдение докучливого этикета; горжусь потому, что получил благодаря этому возможность воздать должное угнетенному и оклеветанному классу людей, которые, при всех недостатках и всех невыгодах своего положения, все же вызывают к себе уважение в каждом, кроме разве английского торгаша; горжусь еще и потому, что это дало мне возможность оградить английский народ от растущего презрения, которое возникло к нему на континенте как неизбежное следствие грубо-своекорыстной политики и всего поведения вашей правящей буржуазии...

...Я собрал, надеюсь, более чем достаточные доказательства того, что буржуазия — что бы она ни утверждала на словах — в действительности не имеет иной цели, как обогащаться за счет вашего труда, пока может торговать его продуктом, чтобы затем обречь вас на голодную смерть, как только для нее исчезнет возможность извлекать прибыль из этой скрытой торговли человеком...

...Я убедился в том, что вы больше чем просто *английские* люди, члены одной обособленной нации, вы — *люди*, члены одной великой общей семьи, сознающие, что ваши интересы совпадают с интересами всего человечества. И, видя в вас членов этой семьи «единого и неделимого» человечества, людей в самом возвышенном смысле этого слова, я, как и многие другие на континенте, всячески приветствую ваше движение и желаю вам скорейшего успеха».

## *Глава седьмая*

## НАКАНУНЕ

### 1

— Бифштекс должно есть в Англии, макароны — в Италии, пиво пить в Германии, но водевили смотреть во Франции и, уж конечно, только в исполнении французов,— говорит Гервег лениво и подносит к глазам зрительную трубу, пристально разглядывая полуобнаженное бедро прелестной Розы Шери, гнусаво поющей куплет двусмысленной песенки.

Эмма вполоборота смотрит не на сцену знаменитого театра Жимназ, а на профиль мужа. Гервег красив. Не одна Эмма думает так. Чернокудрый поэт, с капризно кроткими, легко загорающимися глазами и мягкими кудрями, нравится женщинам. Эмма ревниво ловит взгляды проходящей между креслами блондинки в платье, отделанном страусовыми перьями.

«Ни одна не пройдет, не улыбнувшись, не позвав,— думает молодая госпожа Гервег. — Порочные существа! Тяжко быть подругой великого человека. Но это сладкая ноша. Другого я не могла бы любить. Не могла бы...»

В антракте к Гервегам подходит знакомый литератор. Полезный человек, завсегдатай театров и кафе. Он полон новостей, как вечерний выпуск газет. Он все и всех знает. Всех, о ком полагается говорить.

— Бальзак вернулся в Париж,— рассказывает он торопливо,— Бальзак отъелся в России в имении Ганской. Он не ест больше вишен, но приправляет все кушания луком... Перестроил свой дом на московский манер. Вместо каминов завел печи. Дверей мало, — меньше, чем окон.

Во дворе он обещает построить сарай, этакое укромное помещение, куда вовсе не проникнет солнечный луч. Это будет его Сибирь. Он мечтает ссылать туда своих врагов: книгопродавцев, не издавших его книги, директоров театров, отринувших его пьесы, критиков, разругавших его романы. В память о России Бальзак отныне будет ездить только в санях, но, к сожалению, запряженных лошадьми, а не оленями, как принято в Петербурге.

— Неужели так-таки ездят на оленях? — смеется Эмма.

— Русские вроде самоедов,— упрямится влиятельный журналист.

Гервег безразличен к Бальзаку.

— Он не пишет стихов,— говорит он полупрезрительно. — Прозой можно исписать мили. Подлинное искусство — только поэзия. Стихи могущественны, как набат и проповедь.

— Англичанин Staунтон выиграл на шахматных состязаниях,— спешит сообщить юркий газетчик.

— Франция унижена!

— Но не то с театрами. Здесь мы непревзойденны. В своем последнем фельетоне я подсчитал пьесы, сыгранные за этот год в Париже. Двести шестьдесят! Плодовитей всех оказался господин Скриб. Пять пьес за один сезон.

— Он, верно, изрядно разбогател? — спрашивает Гервег.

— Да, и, как всегда,— с помощью дам, поскольку пьеса женского рода.

Эмма хмурится. Французы бестактны. Не намек ли это на нее и Гервега? Но их брак — не по расчету. Приданое жены так мало интересует поэта.

— Скриб — ремесленник, а не художник,— отвечает Гервег и отходит, стараясь избавиться от назойливой информации.

Спектакль окончен. Водевиль «Бедный Яков» отлично разыгран и мгновенно позабыт зрителями.

Из театра Эмма предлагает отправиться к Марксам. Гервег не в духе. Он легко перескакивает от одного настроения к другому. Молодой поэт с узким сероватым лицом испанского гранда капризен.

— Французские водевили пошлы, и меня тошнит от Элизы Дош. Роза Шери попросту жирная торговка.

Гервег ежится и зябко кутает шею. Эмма торопливо поднимает широкий круглый воротник его пальто.

— Ради бога, побереги свое горлышко.

Она громко зовет фиакр и усаживает в него всем недовольного поэта.

— На улицу Ванно, дом тридцать восемь. Скорее, а то становится сыро.

Женни и Карл, плечо к плечу, рука в руке, давно стоят у окна. На улице Ванно безлюдно и тихо. Ржавые листья осыпаются. Влажная туманная кисея заволокла город. Невеселые, громоздкие особняки Сен-Жерменского предместья, где живут Марксы, еще необитаемы. Жалюзи и шторы опущены на окна. Но светский сезон близится вместе с парижской зимой, слякотной и угрюмо однообразной. Фургоны мебельных магазинов въезжают за железные ограды с остроконечными гербами. Из неоткрытых домов прорываются звуки. Вбивают гвозди, выколачивают ковры. Поют маляры, плотники. Громко распоряжаются модные декораторы. Суетливо пробегают слуги.

Цвет парижской аристократии находится в Лондоне. Более трехсот герцогов, маркизов, виконтов, баронов с женами и детьми отправились представиться беглому герцогу Бордоскому и уверить его во всегдашней преданности и верности. Поэтому безжизненны салоны Сен-Жерменского предместья. Но легитимистские пилигримы скоро вернутся. К скачкам на Марсовом поле, к открытию оперы.

Перед Карлом и Женни — Париж. Как далеко отступил в их памяти Рейн, отошла родина! Они женаты всего несколько месяцев, но обоим кажется, что прошли для них годы. Так долго ждали друг друга. Семь бесконечных лет!

— Давно, а будто только вчера встретились, еще ни о чем не успели наговориться, — шепчет Женни ласково.

Сознание неразрывности, любви навсегда беспредельно расширяет ее чувство. Она думает о недавнем прошлом, заглядывает в счастливые месяцы, точно в сокровенный ларчик, полный до краев любовных слов, тончайших признаний и мечты.

Крейцнах. Маленький городок как цветочная клумба у подножия горы, сплошь поросшей виноградными кустами. Лучшего места не сыскать для уединения, нежности и сердечного счастья.

Каролина фон Вестфален не мешала дочерней любви. После смерти мужа знатная небогатая дама жила в суровой замкнутости. Позади маленького вдовьего домика в

саду, как и на Римской улице в Трире, стояла беседка, обвитая ярко-зеленой виноградной лозой. В сумерки Каролина вязала, полузакрыв глаза и откинувшись на спинку деревянной скамьи. По-прежнему томик стихов Китса, Шелли или Байрона лежит подле ее пышной юбки.

Овдовев, Каролина заперла рояль и накинула на крышку черный плюшевый саван. В большой траурной раме, обвитой дубовыми сухими ветками, на рояле стоял портрет советника прусского правительства. Людвиг Вестфален, жизнерадостный, удивительно здоровый, задорно смотрел на мир. Слезы появлялись в глазах Женни, когда она думала об отце. Карл едва прятал глубокую печаль. Его второй отец, его добрый друг, ненамного пережил Генриха Маркса. Дом Вестфаленов опустел. Фердинанд неистово пробивался к чинам и почестям при прусском дворе. Неврастеническая тоска гоняла по свету Эдгара. Он так и не мог найти подходящую роль, чтоб играть ее в жизни. Милый бесполезный Эдгар, товарищ детских лет Карла.

Последней уходила от матери Женни. Девушке уже минуло двадцать девять лет. Каролина торопила дочь.

Карл и Женни поклялись не расставаться более. Они с облегчением покинули город их отрочества.

Без сожаления, хоть и с горечью, оставлял Карл родину. Он устал от бесплодной изнуряющей борьбы с цензурными ухищрениями. Он временно отступил.

«Рейнская газета», его детище, более не существовала. Дух прусской казармы душил его.

Париж. Франция. Маркс надеялся за границей установить печатный станок. Оттуда, издалека, вместе с верными помощниками он сумеет пойти войной на самодержавие, на филистеров, на помещиков. Он не откладывал пера. Заглядывая в темную чащу философии, Карл повторял понравившуюся ему мысль Фейербаха, с которым был в переписке:

«Раз наука не разрешает загадки жизни,— что же делать? Обратиться к вере? Но это значило бы броситься из огня да в полымя. Нет. Надо подойти вплотную к жизни, к практике. Сомнение, которое не разрешает теория, разрешит повседневность».

Германия осталась позади.

И вот вместе с любимой женщиной Карл в долгожданном Париже, славном городе революций и мятежей.

Каждый новый город, каждая новая страна — школа. Маркс наблюдателен, как никто. Его пытливый взор находит без труда несравненно бо́льшие противоречия, нежели в сонном немецком государстве, открывает глухую борьбу сытых и голодных. Везде все то же... Жгучая ненависть к торжествующим буржуа нависла над столицей. Разоренные крестьяне наполняют улицы, клянчат милостыню, тихо мрут в подворотнях, на порогах превосходных домов новой знати.

Зверски оскаленная пасть — вот оно буржуазное государство. Маркс отшвыривает с презрением гегелевскую, такую наивную и лживую перед мордой буржуазного Парижа формулу о нравственном организме, величаво возвышающемся над борьбой общественных классов.

«Ошибался или предавал? — спрашивал тень Гегеля Карл. — Старик был слишком гениален, чтоб так ошибиться».

Стоя подле жены, ощущая ласку ее прелестной руки, он размышляет о самых больших вопросах мира. Париж из окна дома на улице Ванно кажется ему необъятным. Страшная борьба изо дня в день, от часа к часу, ежеминутно разыгрывается на безмятежных с виду улицах. Голодные и сытые. Богатые и бедные. Плебеи и патриции. Пролетариат и буржуазия...

Женни занята своими думами. Она далеко от Франции.

С нежной благодарностью вспоминает Женни Рейнландию, тихие летние вечера в Крейцнахе, прогулки вдоль соленых озер, разговоры о будущем. Возле целебного источника вместе с Карлом они снова перелистывают Монтескьё, Макиавелли и Руссо. Книги — их спутники.

— Помнишь,— говорит Женни, оборачиваясь к мужу,— помнишь, дорогой, как приехал к нам сам тайный ревизионный советник Эссер из Берлина? «Господин Маркс,— Женни надувает щеки и округляет глаза,— дружба с вашим покойным отцом принуждает меня подумать о вашем будущем. Я слыхал немало лестного о вашей образованности и трудолюбии. Похвально, молодой человек, похвально и полезно для родины».

Из соседней комнаты в это время доносится возбужденный женский голос. На дурном французском языке госпожа Руге отчитывает прислугу.

— Мы умеем ловко высмеивать филистеров, но как

сами мы еще далеки от совершенства, от наших идеалов! — морщится Женни.

— Мы! — укоризненно возражает Маркс. — Я не хочу тебя сравнивать с домовитыми гусынями (жест в сторону комнаты Руге).

— Почтенные супруги вроде госпожи Руге презирают меня, считая дурной хозяйкой, и надо признаться — вряд ли когда-нибудь я научусь печь пирожные со сливками и штопать носки мелким стежком, — говорит Женни, состроив печальную гримасу.

Голос госпожи Руге дробит камни стен.

— Десять су! — кричит она. — Десять су за эту дрянь?! Вы с ума сошли или воображаете, что мой муж фальшивомонетчик.

— Уф! — шепчет Женни. — Наш фаланстер мало чем отличается от кухни какой-нибудь трирской госпожи Шлейг. Мне придется дочитывать Вакомутову историю Франции на бульваре, но куда тебе скрыться, мой дорогой, от этого словесного ливня? Не всегда юмором предотвратишь раздражение.

— Пусть наконец господин Руге усмирит свою супругу.

Лицо Женни становится серьезным. Ночь уже изгнала сумерки. На улице Ванно зажглись газовые фонари. Прохожий продавец в блузе навыпуск и фуражке набекрень громогласно выхваливает свой товар. Женни отходит в глубь комнаты и принимается убирать книги с маленького стола. Из амбразуры окна Карл следит за ее движениями. Стол наконец накрыт к ужину.

Гервег обыкновенно врывается в комнату Марксов без стука и предупреждения.

Женни прощает ему это.

— Что требовать от поэтов? Они витают в заоблачных высотах, где нет ни дверей, ни затворов, — поясняет в виде извинения из-за спины мужа Эмма и добавляет игриво: — Не обращайте на нас внимания. Мы, право, не видали, входя, как неистово вы целовались.

Все четверо хохочут так громко и неудержимо, что в дверях появляется Руге.

— Ничто не вызывает во мне большей зависти, нежели смех, — говорит он брюзгливо. — Смех — безошибочный признак беспечности, удовлетворения, здоровья, молодости. Я не обладаю ни одним из этих редких даров природы.

Запахнув полы халата, Арнольд садится на диван и молча курит. Вечер проходит быстро в шутках, спорах. Планы, планы без конца. Подсаживаясь к Руге, Карл становится строгим.

— Ты не выполняешь договора, старина. Напоминаю тебе мое письменное требование. «Немецко-французские ежегодники» должны смело атаковать все существующее — без опаски поссориться с властями. Ты храбрее на словах, чем на деле. Статьи, которые мне приходится редактировать, весьма осторожны.

— Относительно уничтожения частной собственности? — спрашивает Гервег.

— Ого, вы настойчивы, братья по мечу! — пытается отшутиться Руге.

— По перу,— поправляет Маркс. — Ты догматик, Арнольд Руге,— говорит он. — Догма же — тупик, из которого нет выхода.

— Нет выхода только из могилы. А наш журнал в утробе.

— Ну вот, сейчас начнется битва,— огорчается Эмма.— Никто не дерется так жестоко, как единомышленники.

— Так называемые,— бросает Карл.

Руге вскакивает.

— Вы по меньшей мере задира, Карл! Если это не от молодости... вы, того и гляди, скатитесь к крайностям, в тину коммунизма, раньше, чем я мог этого ожидать. Это скользкая наклонная плоскость.

Из соседней комнаты в эту минуту доносится раздраженный голос госпожи Руге:

— Арнольд, Арнольд, иди скорей! Решительно некуда сбежать от натиска гостей. Опять кто-то стучится в подъезде.

— Вот видите, мой друг,— говорит Эмма, вытянув большие ноги вдоль дивана,— я была права, отказавшись жить в общей квартире. Это не только привычки индивидуалистки. Оттого, что наши мужья соратники, мы, жены, вовсе не обязаны печь пирожки на одной плите. Скажите, Женни, нашлось что-либо общее у вас с этой вспыльчивой толстенькой саксонкой? Вы настолько превосходите госпожу Руге в умственном отношении...

— И настолько уступаю ей в кулинарном искусстве.

Стук в дверь обрывает беседу. На пороге снова Руге.

Рядом с ним, помахивая большой шляпой, стоит нестарый господин в нарядном, снегом осыпанном пальто. Холодная, чуточку надменная улыбка, изысканный светский поклон.

— Вот вам и сам прославленный буян, еретик и безбожник — Генрих Гейне,— объявляет несколько оживившись, редактор «Немецко-французского ежегодника».

Генрих Гейне зачастил к Марксам. Он полюбил неровную улицу Ванно, маленькую квартирку с окнами, затемненными ветвистым каштаном, приветливую пополневшую Женни, смущенно кутающуюся в клетчатую шаль и неторопливо подшивающую края трогательно маленьких детских распашонок.

В доме Марксов все говорило о нетерпеливом ожидании нового человека. Маленькая ванночка в передней, затянутая кисеей колыбелька, забытый на комоде повивальник, особое, беспокойное внимание Карла к жене. Приехала из Крейцнаха со строгим наказом беречь Женни молоденькая Елена Демут, выросшая в людской дома Вестфаленов. Спокойно и умело взяла она на себя заботы о маленькой семье. И сразу стало как-то уютнее, нарядное вокруг. Появились какие-то чашечки, подносики. Пеклись булочки. Только с упрямой и вздорной госпожой Руге не поладила Ленхен. Зато Генрих Гейне может всегда рассчитывать на ее гостеприимство, на чашку горячего кофе или кружку остуженного пива. Он — желанный гость и баловень всех. Взлохмаченный Карл из-за груды бумаг неизменно радостно приветствует входящего поэта, Женни откладывает для гостя книгу и шитье, Елена торопится с угощением. И нередко проводят они все вместе зимние вечера у неспокойно гудящего камина.

Генрих приносит стихи. Он читает их негромко, но хриплый голос его выразителен. Отрываясь от тетрадей, поэт нервно ищет на лице Карла похвалы, осуждения либо равнодушия: последнее для него было бы нестерпимо. Но Маркс никогда не бывает безразличен к лире издавна любимого поэта. Поэзия Гейне не бесстрастна, не бесцельна. Уже написаны «Просветление», «Тенденция».

Карл наизусть декламирует стихи нового друга:

Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют,—
Будь народу барабаном,
Пушкой будь и будь тараном,
Бей, рази, греми победно!

В тихие вечера о чем только не говорят Женни, Карл и Генрих! О далекой Германии, о Париже, то бурливом, то самодовольном, о новых идеях, книгах и людях.

— Политика — это наука. Я верю в революцию и жду ее. Не сегодня, так завтра. Мы найдем ее день в календаре и должны быть во всеоружии, чтоб нас не застали врасплох. Мы должны быть достойны своей цели. Это будет революция социальная, последняя революция на земле.

Гейне думает то же.

— На окраинах Парижа,— говорит он,— я видел людей в рубищах, с лицами, изувеченными голодом. Они читают памфлеты Марата и мрачные вещания Буонарроти. Они хотят создать Икарию — эту страну, одновременно прекрасную и скучную для мне подобных скептических умов. Они пахнут кровью. И все же коммунисты — единственная партия, которая заслуживает почтительного внимания. Но хотя разум мой приветствует их, я боюсь этой разрушительной силы. Они, как гунны, уничтожат моих кумиров. Грубыми, мозолистыми руками они разобьют в порыве мести предметы тончайшего искусства, босыми ногами растопчут мои воображаемые цветы. Что будет с моей «Книгой песен»? Кому нужны хрупкие мечты поэта? Навсегда развеются образы пажа и королевы. Нет, я боюсь этих мрачных фанатиков и их злобы. И все же они придут, они победят... Из одного отвращения к защитникам немецкого национализма я готов полюбить коммунистов. Им чуждо лицемерие и ханжество. Главным догматом они объявили неограниченный космополитизм, всемерную любовь ко всем народам, братские отношения всех свободных людей на земле. Великие чувства! Я — за них.

Карл, добродушно улыбаясь, слушает Гейне. Он хочет верить, что, рано или поздно, мятущийся поэт сам разберется в охвативших его противоречиях.

«Разве я сам,— думает Маркс,— не ищу? Вихрь мыслей качает и меня. Это рост, это движение, это залог того, что мы найдем себя и свой путь».

Иногда Генрих приходит к Марксам болезненно бледный. Женни тотчас же распознает его настроение по неровной походке, гримасе губ, дрожанию руки.

— Обругали? — спрашивает она сочувственно, если Гейне приходит сумрачный и жалуется на недуги, на человеческую пошлость и дурной парижский климат.

Поэт молча лезет в задний карман щеголеватого фрака и достает измятые листы журнала. Большие губы его вздрагивают, и лоб страдальчески перекошен. Как обиженный, рассерженный ребенок, он борется с двумя чувствами — желанием заплакать и подраться.

— Не принимайте так близко к сердцу завистливый и злобный вой ничтожества. Будьте милостивы к насекомым. Они тоже хотят жить,— говорит Женни и с подчеркнутой брезгливостью откладывает в сторону журнальную статейку.

— О, эти насекомые ядовиты! Это мухи цеце. Вы только послушайте их крики. Они меня хоронят. Это — людоеды, пляшущие вокруг костра, на котором поджаривается человеческое мясо.

— Ваш язык и в поджаренном виде будет для них страшнее пушки,— смеется Женни. — Над этим растревоженным болотцем можно только смеяться.

— Воняет,— хмурится Гейне. Но раздражение его проходит: у госпожи Маркс особое умение врачевать раны и усмирять взбунтовавшееся самолюбие.

«Однако,— думает Женни, подмечая перемену в настроении поэта,— как он незащищен, как легко его ранить! Внешняя самоуверенность и дерзость вызваны лишь самозащитой. Бедное, неудовлетворенное, мятущееся сердце, слишком насмешливое, чтоб довольствоваться обманчивыми звуками лиры, слишком требовательное, чтоб быть счастливым!»

Когда гнев и горечь покидают поэта, он торопится поделиться с молодой четой замыслом новой поэмы либо черновым наброском стиха. У Карла чуткий слух, не пропускающий фальшивой мысли, неудачного, напыщенного слова. Карл всегда беспощаден и неутомим в поисках совершенной формы. Из глубины кресла Женни наблюдает движение двух склоненных над листом бумаги голов.

Под неяркой висячей лампой еще чернее, еще гуще кажется шевелюра Карла, в темно-коричневых пушистых волосах Гейне еще ярче просвечивает седина. Генрих на двадцать лет старше Маркса. Но разница возраста неуловима. Саркастический необъятный ум Карла — камень, на котором оттачивается перо поэта.

Снова и снова перечитывается вслух стихотворение. Наконец отделка закончена. Карл удовлетворенно потирает руки и тянется за сигарой. Елена приносит из кухни

ужин. В полночь Генрих уходит довольный, благодарный, успокоенный. Женни и Карл долго еще говорят о нем. Поэты, по их мнению, чудаки, идущие своими дорогами. Тщетны попытки управлять ими.

Женни. Это птицы, которые поют по вдохновению.

Карл. Но когда они рассекают мечом гранитный валун косности или с вершины скалы поют миру, миллионы людей идут на их клич. Поэт может стать трибуном.

Женни. Жаворонком, соловьем или орлом.

Карл. Что ж, это дивные птицы.

Желая подразнить мужа, Женни из деревянной шкатулки, куда сложены сувениры девичества, достает мятую пачку стихов юного Карла Маркса. Она декламирует их нараспев, щуря глаза. Веселый смех мешает чтению. Карл хохочет, закинув назад большую голову. Женни невольно присоединяется к нему.

— И все-таки,— говорит Карл, внезапно стихая,— автор заслуживает твоего снисхождения. Эти неудачные, безмерно патетические строки — плоды любви и тоски по тебе.

— Мне они кажутся поэтому прекрасными.

— Как далек был мир от меня, как мало знал я жизнь и людей! И не я один. Сколько фальшивых представлений впитывало наше поколение!..

До утра говорят молодые люди. Ночи так предательски коротки. Едва успевают наговориться влюбленные, а уже сквозь жалюзи проглядывает рассвет. Серое, скудное пятно неба.

Едва дописав свою новую статью, Карл торопится отдать ее на суд жене. Никто лучше не понимал его замыслов. Иногда Женни писала под диктовку мужа или терпеливо разбирала черновые записи. Это были счастливые минуты полного единения. Женни, как мать, окружала его заботой; Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли.

Случалось, до рассвета они работали вместе. Елена ворчала за стеной и, потеряв терпение, требовала, чтоб Женни позаботилась если не о себе, то хоть о будущем ребенке. Карл шутливо хватался за голову, гнал жену в постель, гасил лампу, осуждал себя за невнимание, забывчивость. Но в следующую ночь повторялось то же, покуда решительный окрик Елены опять не прекращал разговоров и скрипа ломких перьев.

Окончив к полночи статью, Карл, как всегда, спешит к Женни. Давно спит дом. Лучшее время для размышлений. Женни не хочет ждать до утра. Маркс не заставляет себя уговаривать. Он рад тотчас же показать ей итог последних дней работы. В этой статье, названной «К критике гегелевской философии права», он впервые употребил новое слово «пролетариат». Внимательное ухо Женни тотчас же уловило его.

— До сих пор,— говорит она, прерывая чтение,— ты писал обычно о бедных классах, о страждущем человечестве, которое мыслит, и о мыслящем человечестве, которое угнетено. Не так ли? Пролетариат — о нем так прямо сказано впервые.

— Я не только упоминаю о нем — я жду от пролетариата выполнения его великой исторической миссии, коренного общественного переворота,— и добавляет: — Главная проблема настоящего — отношение промышленности и всего мира богатства к политическому миру.

— Читай,— требует снова Женни.

— «Оружие критики,— продолжает Карл,— не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами».

— Прекрасные слова, они будут жить долго. Это программа. Читай, читай еще раз сначала,— снова прерывает Женни. Она сидит, опершись на подушку. Глаза искрятся гордостью, восхищением, как когда-то в Трире, когда покойный Генрих Маркс дал ей прочесть «мятежное» письмо сына.

— «Дело в том, что революция нуждается в *пассивном* элементе, в *материальной* основе. Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она является осуществлением его потребностей... Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли».

— Как всякая мудрость — это так просто!

Карл читает все быстрее, слегка шепелявя, комкая слова, и Женни не раз призывает его к плавности и спокойствию. Неповторимо четко рисует Маркс величавое призвание пролетариата:

— «Подобно тому как философия находит в пролетариате свое *материальное* оружие, так и пролетариат находит в философии свое *духовное* оружие, и как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, свершится эмансипация *немца* в *человека»*.

— Браво, Карл! Это лучшая из истин, которую ты нашел. Продолжай.

Но в чепце, сползшем на ухо, в глухом шлафроке, угрожающе жестикулируя, на пороге комнаты появляется пухлая Ленхен.

— Полуночники! — гремит она. — Сейчас же спать! Я пожалуюсь госпоже Вестфален... А вы, господин Маркс, — вы демон. И если Женни родит крикуна, он вам отомстит за мать: будет орать день и ночь. А у такого беспокойного отца обязательно родится буян!

Женни не дает Ленхен говорить и тушит лампу.

Спустилась на землю тьма,
Пора возвращаться в дома.
Ночь наступает,
Пробил уж час,
Все засыпает,—
Огонь погас,—

поет, безжалостно коверкая мотив, Карл песню сторожа из модной оперы «Гугеноты». В ответ раздается злобный стук в стену. Разбужены Руге — не миновать скандала. Карл панически срывает с себя воротничок.

Елена торжествует. Женни в отчаянии. Разговаривая шепотом и ступая на цыпочках, все расходятся спать. И все-таки их нагоняет рассвет.

Первый номер долгожданного «Немецко-французского ежегодника» вышел в феврале сорок четвертого года. Кого только не было в числе сотрудников! Сияющий разоблачитель Гейне, певучий Гервег, всенизвергающий Бакунин, отважный Якоби, нравоучительный Гесс, красноречивый Фейербах, могучий Энгельс и, наконец, сам рейнский Прометей — Карл Маркс.

Маркс поместил в «Немецко-французском ежегоднике» две свои статьи: «К критике гегелевской философии права. Введение» и «К еврейскому вопросу».

Во второй статье Маркс, исследуя проблему человеческой и политической эмансипации, затронутую в работе

Бруно Бауэра по еврейскому вопросу, отбрасывает теологические мудрствования Бауэра и дает точные ответы на самые запутанные социальные вопросы.

Показывая основу взаимоотношений между обществом и государством, Маркс писал:

«...*Практическая потребность, эгоизм* — вот принцип *гражданского общества*, и он выступил в чистом виде, как только гражданское общество окончательно породило из своих собственных недр политическое государство. *Бог практической потребности и своекорыстия* — это *деньги*.

Деньги — это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, *стоимость* всех вещей. Они поэтому лишили весь мир — как человеческий мир, так и природу — их собственной стоимости. Деньги — это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей.

Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом...

...То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде — презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку, как самоцели,— это является *действительной, сознательной* точкой зрения денежного человека, его добродетелью. Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимоотношения мужчины и женщины и т. д. становятся предметом торговли! Женщина здесь — предмет купли-продажи.

*Химерическая* национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека.

Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную мораль и право вообще, на *формальные* лишь ритуалы, которыми окружает себя мир своекорыстия».

Маркс считает, что евреи и христиане обрели в некоторых государствах полную политическую эмансипацию, но это не значит, что они обрели и человеческую эмансипацию:

«*Всякая* эмансипация состоит в том, что она *возвращает* человеческий мир, человеческие отношения к *самому человеку*.

Политическая эмансипация есть сведéние человека, с одной стороны, к члену гражданского общества, к *эгои-*

*стическому, независимому* индивиду, с другой — к *гражданину государства*, к юридическому лицу.

Лишь тогда, когда действительный индивидуальный человек воспримет в себя абстрактного гражданина государства и, в качестве индивидуального человека, в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных отношениях станет *родовым существом*; лишь тогда, когда человек познает и организует свои «собственные силы» как *общественные* силы и потому не станет больше отделять от себя общественную силу в виде *политической* силы,— лишь тогда свершится человеческая эмансипация».

Маркс рисовал картину истинной человеческой эмансипации, которая совершенно изменит соотношение общественных сил, при которой человек явится хозяином своего труда, своих источников жизни. Это были первоначальные наброски будущего социалистического общества.

По случаю выхода «Немецко-французского ежегодника» в ресторане на Больших Бульварах Руге устроил банкет. Редакторы надеялись, что журнал осуществит союз между революционерами Франции и Германии. С бокалом шампанского в руке Арнольд поклялся привлечь к сотрудничеству в дальнейшем самого Леру, Прудона и даже Луи Блана.

— Да здравствует интернациональный радикализм! — провозгласил Руге.

— Социализм, — поправил Маркс.

— За это я не пью. — Арнольд мгновенно протрезвел.

Карл отставил полный бокал.

Но Руге не хотел ссоры. Желая опять сомкнуть ряды и рассеять наступившую тягостную тишину, Гейне предложил прочесть стихи. Но его едва слушали. У Женни как-то сразу заболела голова. Не досидев до конца пирушки, Марксы отправились домой. Герверг воспользовался неурядицей и сбежал на свидание. Эмма плакала от ревности на плече жирной госпожи Руге.

Невеселый получился вечер.

Поутру, оттолкнув сторожившую Елену Демут, в комнату к Марксу вошли супруги Руге. Лицо Арнольда было по-обычному брюзгливо-недовольное, безразличное, но лицо его жены отражало множество демонических страстей. Толстая, пунцовощекая, негодующая, она, казалось,

хотела выразить свое возмущение не только словами, но движениями бровей, сжиманием и разжиманием маленьких пухлых рук.

— Невероятно, неслыханно, поразительно! — твердила она, едва переводя дух.

— Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но люди не могут оставаться равнодушными! — перебил жену Арнольд.

— Спокойствие, друзья! В чем дело? Что произошло? Не переворот ли в Тюильри? — попытался успокоить супругов Карл.

Но Елена Демут резко вмешалась в сумбурную беседу и навела порядок:

— Переворот-то переворот, да не у нас, а в семье Гервегов. И вам, госпожа Руге, нечего волноваться. Не ваш ведь муж с другой спутался.

Взволнованная чета Руге не унялась.

— Что ты думаешь по этому поводу, Карл?

— Вы спокойны, вы не возмущены, госпожа Маркс? Вы — мать семейства, супруга?! Да знаете ли вы,— голос сведен до шепота, — что он на глазах у жены утешает поцелуями графиню д'Агу, эту кривляку, заслуженно надоевшую композитору Листу.

— Не будете же вы спорить с тем, что брак накладывает обязательства? Гервег компрометирует своих единомышленников, позорит свою жену, бедную Эмму, все ему отдавшую... Это гаденький люмпен, женившийся на банкирской дочке и проедающий ее деньги, это юбочник, соблазняющий аристократических авантюристок, это...

— Довольно! Постыдитесь, Арнольд! Такой речи позавидует каждый филистер. Не брак, а любовь накладывает обязательства. Какое право имеем мы вмешиваться в сердечные дела Гервегов. Он не изменил своей идее и не продал своей лиры. Отчего же подняли вы такой шум?.. Гервег — большой поэт. Перед ним славное будущее. Я протестую против того, чтобы его обзывали люмпеном. Он не лицемерный ханжа, как иные, объявляющие себя на всех перекрестках крайними социалистами. Он смелый боец. Мы еще увидим его на баррикадах. Не знаю, кто будет с ним рядом. Избавьте же меня и Женни от подобной клеветы на друга. Мы не изменим своего отношения к Гервегам. Мы им не судьи.

Широкая складка легла на неровном лбу Карла. Под-

бородок его дрожал. Женни знала этот симптом накапливающегося гнева. Онемев от негодования, госпожа Руге выплыла из комнаты.

— Я понимаю, кого ты имеешь в виду,— сказал Арнольд. — Я считал тебя надежным, уравновешенным демократом, и в этом таилась моя ошибка. Ты — отщепенец, перебежчик. Бруно знал тебя лучше. Как я и говорил, ты катишься в бездну коммунизма, твои статьи и мысли начинены порохом, который взорвется, и я не поручусь, что, разорвавшись, он не уничтожит тебя раньше, чем ты направишь его против врагов. Одумайся, Карл!

— Ого, проповедь! Нужно ли все это? — сказала Женни, заметив, как мрачнеет Карл.

— Не мешайте мне говорить, госпожа Маркс, вы ослеплены любовью к нему, вы, конечно, не видите опасности. Остановись, Карл! Одумайся! Ты оставил кафедру профессора, чтобы стать влиятельным журналистом, теперь ты хочешь стать вождем. Приветствую. Но кого хочешь ты повести за собою? Кого? Ремесленников и пролетариев. Темную массу, которая страшна, когда просыпается. Променять прозрачные идеи великой демократии на муть коммунистического учения?

Руге вдохновенно поднял руку и с видом прорицателя смолк. Покуда он говорил, Карл спокойно надевал пальто, собираясь в библиотеку, где работал по утрам. С порога комнаты он сказал отрывисто и сухо:

— Я рад, что ты поставил точку над i. Подобный разговор был неизбежен. Твое уклончивое отношение к мировоззрению, которое кажется мне достойным глубокого изучения, твои недомолвки ставят перед нами не одну проблему. Жалею, старина, но мы, очевидно, вскоре похороним нашу дружбу. А жаль!

Короткая перепалка с Руге взволновала Карла. Он шел быстрее обыкновенного. Сколько раз приходилось ему терять навсегда друзей! Бауэры, Рутенберг... Кто виноват? Виновных нет. Кто же прав? Об этом скажет время.

«Я боюсь, не иссушишь ли ты свое сердце», — вспоминалась Марксу давно отзвучавшая беседа. Сердце бойца, сердце революционера — оно из стали. Оно умеет жалеть, но не прощать.

«Что такое дружба? — спрашивает себя Карл. — Это борьба на одной баррикаде, это единая колонна, это руки,

выковавшие меч, пишущие прокламации. Это глубокая убежденность и общее сомнение, это общее дело, жизнь и смерть». Обыкновенно, соскучившись, мысль Карла от маленьких частных дел быстро переходила к большим вопросам мира. Сердце... сердце... Сердцем освобожденного человечества явится пролетариат, головою — философия.

Презрительная гримаса сжала губы Маркса. Насмешка, холодная и непримиримая, мелькнула в глазах. Странное чувство легкости, свободы овладело им.

«С этими людьми мне некуда идти».

Сколько раз решал он подобным образом и сворачивал восвояси! Руге остался где-то далеко позади него, где-то в подворотне, смрадной и пустой.

В библиотеке, в зале чинной и покойной, горели свечи и лампы. Было тихо и торжественно. Храм мысли. Шуршали листы каталогов и книг. Точно вздохи. Карл глубоко втянул воздух, чуточку призакрыл веки. Он любил эту тишину, этот запах стареющей бумаги. Вокруг было столько знакомых. С полок они смотрели на него.

Четвертый, только что вышедший том «Истории десяти лет» Луи Блана ждал его со вчерашнего дня. В малахитовом переплете лежало несколько минувших лет. Время, завернутое в бумагу. Карл читал невероятно быстро. В памяти оставались нужные, важные подробности недавнего прошлого. Иногда он выписывал что-то, отмечал страницы в принесенной тетрадке, условным значком обозначал прочитанное.

Ненасытная жажда знаний все еще владела его умом. Великая потребность обобщить все политическое, социальное и культурное многообразие жизни, охота подчинить его одной, всеисчерпывающей точке зрения гнала его от идеи к идее, к синтезу. В эту пору он зачитывался также мемуарами Левассера.

Книги, окружающее, люди были для Маркса лишь послушными помощниками. Зодчий стремился воздвигнуть здание, они поставляли ему необходимые камни. Неисчислимые часы мог проводить Карл в величественном молчании читального зала. Он не знал трудностей в научных изысканиях, не боялся строгой абстракции.

Пока Карл, позабыв обо всех заботах, склонившись над книгой, сидел в Национальной библиотеке, Женни и Елена занимались хозяйством. Роды близились. Женни была спокойна и счастлива. Как и Маркс, она

нежно и терпеливо любила детей. Пока что рыже-серый котенок получал щедрую порцию ее нерастраченной материнской нежности. Кот был избалован и лукав. Он притворялся, что с трудом терпит ласку.

В полдень к Женни пришла Эмма Гервег. Она была очень некрасива сегодня. Покрасневшие от слез глаза, опухшие щеки и губы. Лицо под неровным слоем пудры серое, прыщавое. Едва сбросила мантильку, начала жаловаться и снова плакать. Говорила о том, как любит Гервега, как для него согласна всем пожертвовать. Ведь гении — трудные люди, прихотливые и деспотические.

— Хорошо вам быть подругою Карла. Он очень талантлив, конечно, но не Гервег, — заметила мимоходом Эмма.

Женни слегка улыбнулась и ничего не возразила. Поэтом Маркс не был.

— Моя любовь Гервегу необходима, — шептала между тем Эмма. — Без моего обожания он не может обходиться, как без зеркала. Я — его эхо. Графиня д'Агу так любить не сумеет. Я его избаловала. Кто будет думать об его уюте, кто сумеет подбадривать его, укреплять уверенность в его высоком жребии? Поэты — дети: то дерзкие, то плаксивые. Конечно, ему нужны разнообразие, игра чувств, переживания, но, ох, мне нелегко уступать.

Тяжелое молчание.

— Разве я так уж некрасива?

Эмма вскочила и принялась вертеться перед зеркалом. Тугая амазонка облегала стройное тело. Под опущенной вуалью лицо казалось вовсе не отталкивающим. Черты его женственнее, мягче. Женни с интересом наблюдала за ней.

— Что ж, я пережду — он вернется. Только бы графиня не забрала, не околдовала его совсем. Она своевольна. Но, между нами говоря, ханжа. То мучает его холодностью, то чрезмерной требовательностью. Если Гервег заболеет, ей не простит этого история...

Эмма откинула вуаль с лица.

— Скажите, Женни, как отнеслись бы вы к измене возлюбленного?

(Слово «муж» она избегала употреблять, считая его вульгарным, недостойным ее возвышенно-сложных отношений с Гервегом.)

— Я? — удивлению Женни не было предела. Засмея-

лась Елена Демут. — К измене Карла?.. Измена, — сказала Женни медленно, — всегда либо фарс, либо нечто очень сложное. Измена — это трещина в любви, морщинка на сердце. Я не хочу думать об этом. Могла бы я изменить? Нет. Значит, не может и он. Мы равные в своем чувстве.

Женни встала. Надменная полуулыбка, назад откинутая голова.

Эмма торопливо начала собираться домой.

После ее ухода Женни долго сидела в раздумье, широко раскрыв глаза. Елена тщетно пыталась отвлечь ее от напряженных, строгих мыслей.

Бывают редкие минуты, когда человек как бы заглядывает в свое возможное будущее. Может быть, он находит его контуры среди затаенных желаний. Женни видела себя и Карла зрелыми, почти старыми. У них — дети. Но рука в руке, но плечо к плечу. Главное — быть всегда рядом, друг возле друга. Каково окружение — ей было все равно. Охватило предчувствие лишений, трудностей. Что ж! Удел Карла — ее удел. Было в этом предполагаемом будущем много забот, бедности, борьбы, поражений и побед, но не было боли разочарования, сожаления о потерянных годах.

И когда, опять веселый, торопящийся поделиться с женой мыслями, Маркс пришел домой, Женни бросилась к нему и долго нежно обнимала. Но молчала, не спрашивала ни о чем.

## 2

Женни родила первого мая. Карл в комнатке Ленхен подле кухни ждал исхода родов. Он курил не переставая. Дым пропитал его тело и одежду. Беспокойство гнало в коридор, на лестницу. Он метался. Стоны за стеной становились сильнее, переходили в крик. Ленхен, вся в белом, появлялась с ведрами, тазами и уходила вновь. Она не отвечала на расспросы.

Была чудесная весна. На улице Ванно зацветали каштаны, как в Трире. Бело-розовые тугие цветы засматривали в окна, раздражая Карла. Женни так страдала. Цветы были теперь некстати.

Наконец на свет появилась маленькая девочка. Карл, измучившийся, но счастливый, нашел дочь красавицей и сказал важно:

— Ее имя будет Женни, лучшего человечество не создавало.

Вечером явился Гейне, неловко передал госпоже Маркс смятые под плащом цветы. Вскоре зашли и Гервеги, Эмма, трепеща, целовала ножки и ручки новорожденной. Карл откупорил бутылку рейнвейна и поднял бокал в честь двух Женни.

При виде мастеровых, пришедших с поздравлениями, Руге, на мгновение задержавшийся на площадке перед входной дверью, сказал:

— Поздравляю Карла не только с дочерью, но и с толпой приверженцев. Полтора пролетария с тобой во главе, конечно, уничтожат реакцию и установят коммунизм. Надеюсь, вам это удастся не скоро.

Карл не удостоил недавнего союзника ответом. Изнуряющая вражда установилась в доме тридцать восемь на улице Ванно, скромной улице, примыкающей к многотысячному Сен-Жерменскому предместью.

В послеродовые дни Ленхен с утра выгоняет Карла из дому.

— Встречайтесь с вашими друзьями где-нибудь в кофейной. Здесь и так тесно. Женни нужен покой, — говорит она повелительно.

Возражать бесполезно, и Карл нехотя берется за шляпу. Ему жалко отрываться не только от работы, но и от плетеной колыбельки, где лежит нечто красное, маленькое, имеющее все человеческие признаки, издающее трогательные, мяукающие звуки и уже сосредоточившее на себе огромную любовь двух людей.

Дела много. Нужно ответить на письма. Для этого лучше всего зайти в маленькое кафе возле почты. На мраморном столике легко пишется. Юнг в Кёльне занят распространением ввозимых контрабандой «Немецко-французских ежегодников». Как идет дело? Порывшись в карманах в поисках карандаша, Карл вспоминает о безденежье и материальных трудностях, на которые с первых дней обречена его семья. Скоро ли Юнг пришлет ему деньги? Маркс хмурится. Тяжелы эти поиски средств существования. Бедная Женни, как старается она экономить, не досаждать ему! Он чувствует свою ответственность перед ней и ребенком, страдает от невозможности дать им самое необходимое.

Упрямое, решительное «отобьемся!» срывается с его уст.

К делу, к делу!.. Обер-президиум в Кобленце дал пограничным властям приказ об аресте Маркса. Итак, год в Париже, статьи и выступления в клубах не прошли даром. Прочитав об угрозе немецких властей, Карл ощущает удовлетворение, приток новых сил. Значит, то, что он делает, нужно, важно, существенно. Значит, выпущенные снаряды попали в цель. Пусть на угрюмой громаде прусской монархии его перо образовало лишь одну видимую трещину. Пусть. Разве не из трещин образуется впоследствии пропасть?

«Мы не сдадимся!»

Карл вспоминает о дневном собрании немецких ремесленников на улице Венсен у Барьер-дю-Трон, о своем намерении побывать там.

После бурных споров, еще разгоряченный, он идет оттуда в Национальную библиотеку. Там ждут его книги. Горбатый дряхлый библиотекарь почтительно встречает Маркса. Этот немец — не обычный читатель. И библиотекарь благоговейно приносит ему книги. Он несет их впереди себя, и кажется, что горб его переместился. Адам Смит, Рикардо, Джеймс Милль, Сей, Шульц... Француз кладет книги на стол так осторожно, как только может, и спешит за второй партией. Тут иные имена. Библиотекарь прижимает к сердцу памфлеты Марата, речи Робеспьера, Мирабо, Бриссо, отчеты Конвента, разрозненные номера газеты Демулена, мемуары мадам Ролан и Левассера.

— Какие это люди, какое время! Увидим ли мы таких героев, услышим ли мы подобное непревзойденное красноречие? — шепчет горбун.

Маркс вытирает перья, готовясь писать конспекты.

Не таких еще героев и не такое красноречие узнает мир!

Библиотекарь стар, Карл молод. Перед ним десятилетия жизни.

Каких-нибудь пятьдесят лет, чуть больше, отделяют его от французской революции. Не затихла с тех пор Европа. Неугомонная Европа. Все может быть, и все будет. Кризисы, войны, революции.

Библиотекарь не верит. Настоящее кажется ему незыблемым...

Карл перелистывает книги. Он отмечает ошибки якобинских стратегов, и, однако, не это, по его мнению, определило тот, а не иной путь революции. Что же? И Рикардо и Адам Смит приходят на смену Робеспьеру. Но и экономическая наука не исчерпывает поставленного вопроса. Карл читает, конспектирует, ищет причины. История — как военная карта на столе полководца. Даты — как поля битв.

Тени великой революции окружают Маркса. Шаг за шагом он идет по ее следам. Он спорит с мадам Ролан, он обвиняет ее в слепоте и узости. Жирондисты говорят с трибуны Конвента.

— Чьи интересы вы защищаете? — допрашивает их Карл. — Вы, настойчивые предки нынешних буржуа у власти...

Марат, больной и раздраженный, принимает Маркса в своей каморке. Он в ванне, покрытой простыней. Он громит врагов народа. Революция в опасности, реакция наступает из всех щелей республики. Справа и слева.

— Слева? — переспрашивает Маркс. Жак Ру, Леклерк, Клер Лакомб — люди предместий. Их тоже преследует язвительный вождь мелких буржуа, которого завтра пронзит кинжал монархистки-дворянки...

Карл идет мимо дома Марата на улице Кордельеров. Он торопится в Конвент. Но не пышные слова ораторов интересуют его. В комнате подле зала лежат списки верховного органа революции.

— Покажите мне их, — требует Карл.

Тонконогий писец в голубом кафтане подает ему нарядную тетрадь. Маркс смотрит в графу о профессии. Юристы, торговцы, солдаты. Он уже готов отложить списки.

— Неужели ни одного?

— Кого ищет гражданин?

— Рабочих.

Писец в затруднении.

— Есть, — говорит он, ударив себя по лбу, — есть один член Конвента, рабочий из Реймса. Есть и еще один. А вот это ремесленник...

Карл благодарит и уходит, едва заглянув в списки.

Девятого термидора — в ратуше. Вместе с Филиппом Леба выглядывает он на площадь. Не колебания Робеспьера волнуют его, не болтовня делегатов из секций, не

смерть якобинцев. Безлюдная площадь кажется ему приговором. Равнодушие окраин страшно, как гильотина. Карл опускает голову в большом раздумье. Быстро бежит перо по узким листам. Дата за датой. Тетрадь за тетрадью.

Смеркается, когда Маркс отрывается наконец от книг и конспектов. Улицы вокруг библиотеки темны, узки, невеселы, как в дни, когда тележка бравого палача Сансона провозила по ним на Гревскую площадь дань «народной бритве» — гильотине. На углу старик, помнящий Наполеона, продает газеты. На последней странице, между подробным описанием убийства из ревности и советами хозяйкам, — краткое сообщение о восстании ткачей в Силезии. Незыблемая европейская почва снова колеблется. Карл сорвал шляпу и помахал ею в воздухе. То был немой клич, бодрое приветствие. От Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина, над всей Германией шквалом пронеслись бунты и восстания. Силезцы не одиноки.

На улице Ванно Марксы читают стихи Гейне:

Без слез их взор, печальный и угрюмый,
Сидят у станка и скалят зубы:
«Германия, ткем мы саван твой,
Проклятье трехцветное ведем каймой,—
Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье богу, кому сквозь голод
Молились мы,— сквозь голод и холод;
Напрасно мы ждали за часом час:
Он обманул, одурачил нас,—
Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье королю, злому владыке,
Кого не тронули наши крики,
Кто выжал из нас последний грош
И дал нас, как скот, повести под нож, —
Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье отечеству, родине лживой,
Где лишь позор и низость счастливы,
Где рано растоптан каждый цветок,
Где плесень точит любой росток,—
Мы ткем, мы ткем!..

Станок скрипит, челноку не лень:
Мы ткем неустанно ночь и день,
Германия старая, ткем саван твой,
Тройное проклятье ведем каймой,—
Мы ткем, мы ткем!..»

Под страхом ареста Карлу запрещен въезд в Германию. Маркс становится опасен, одно его имя грозит прочности трона, мешает спокойному пищеварению многоликих буржуа. Бывшие друзья, узнав от Руге, что шалый Маркс сошелся с немецкими подмастерьями-коммунистами в Париже, злобно напали на него. Неистовство политической вражды безгранично. Ненависть дезертиров и перебежчиков ядовита и зловонна.

Женни не всегда остается равнодушна к пасквилям, но Карл веселится от всей души, перечитывая смесь лжи и бессильной злобы.

— На войне как на войне, — говорит он. — Классовая борьба беспощадна. Это борьба не на жизнь, а на смерть.

«Спутанные волосы Маркса черны, как уголь, а цвет лица грязно-желтый, — пишет пасквилянт. — Наполовину закрытый лоб необыкновенно шишковат, причем особенно выдаются узлы над глазами, противовесом которым являются «органы разрушения» за широко расставленными ушами».

В этом месте чтения ярость Женни проходит. Трудно удержаться от смеха. Женни обнимает Карла и, тщетно разыскивая «органы разрушения», целует его виски.

«Всему его лбу, как и чертам лица, недостает элемента благородства и идеальности. В маленьких темных близоруких глазах, прикрытых упомянутыми шишками, играет огонек, представляющий собой смесь ума и злости...»

— Какой силой надо обладать, чтобы вызывать столько злословия... и любви! — замечает Женни с гордостью.

## 3

Иоганн Сток жил в конце улицы Вожирар, возле шлагбаума. Женевьева выбрала эту улицу. Привлекла ее сельская простота, но главное — квартирная плата была на окраине доступна. Длинная Вожирар примыкала к сырому пригородному лугу. В непросыхающих лужах копошились гуси и утки. Маленькому Иоганну казалось, что он все еще в Медоне.

Сток предпочитал жить подальше от немецкой колонии, где тесное общение порождало частые ссоры. Несколько десятков тысяч изгнанников едва перебивались со дня на день, терпели злую нужду, бранились друг

с другом, изнуренные лишениями, безысходностью. Иоганн не доверял людям, чуждался их. Тот, кто не бился с ним бок о бок на баррикадах и чьи мужество и преданность идее он не имел случая самолично проверить в тяжкие минуты, — был ему чужд.

— Не в час победы, а в миг поражения проверяются люди, — говаривал он.

После ареста и процесса бланкистов Стока выгнали из мастерской на улице Мира.

Как некогда в Дармштадте, он повесил на бревенчатом желтом заборе самодельную вывеску и сел у окна латать старье окружных ремесленников. Пахло дегтем и навозом. Скрипел болт на колодце, проезжали, как когда-то по Церковной улице, тяжелые телеги. Сток больше не поет у окна гессенских песен, а если затянет «Марсельезу», Женевьева бледнеет, просит перестать. Дни проходят ровной чередой. Слишком ровной. Иоганн томится. Ждет. Чего? Соратники его в заточении. Бланки, Барбес, Флери навсегда вырваны из жизни. Страшные слова — «пожизненное заключение». Они — как крест на могиле. Но Сток не боится этих слов. Как знать, когда падут оковы? Было же в одно десятилетие столько восстаний. Разве всегда неизбежно поражение! Но пока надо ждать, стиснув кулаки, тренируя нервы и волю.

Нелегко это — всегда быть сильным и спокойным. Сток тоскует по родине, и все чаще, как когда-то в заточении, настигают его слабость и отчаяние. Тогда он клянет покорность немецкого народа. Тогда он запил бы, если б не твердая маленькая рука Женевьевы, ее отрезвляющий голос. Она — его совесть. Приступ безволия кончается с приходом злобы. Там, где ненависть, нет слабости.

— Стадо! — кричит Иоганн. — Овечья покорность, сладкие надежды! Но кто испытал горечь знания людей, тот отравлен. Неужели у немецкого народа нет будущности и он ткет себе саван?!

Женевьева отводит сына к соседке и поручает его ее заботам, потом упрямо требует, чтоб Иоганн пошел с ней в город. Она знает, как помочь ему в трудную минуту. На перекрестке улиц, чванно выпятив грудь, выставив большую, тучную ногу, стоит полицейский. С майских дней тридцать девятого года Сток впадает в ярость при виде несокрушимой стражи монархии.

Под высокой полицейской фуражкой Сток видит одно и то же лицо — лицо Штерринга, Георги, лейтенанта Друино, который стрелял в него подле ратуши.

— Гиены, человеческие отбросы, предатели! — шепчет Иоганн. Полицейский олицетворяет для него подлость утвердившегося строя, продажность и низость человеческого сердца. — Бюджет Парижа равен шестидесяти миллионам, из них свыше двенадцати стоит полиция. О, она преуспевает! — говорит Сток.

Близ площади Согласия портного и его жену оттесняет толпа. Король едет на открытие палаты пэров и депутатов.

— Король! Да здравствует король! — кричит выстроившаяся под бой барабанов Национальная гвардия.

Батареи Дома инвалидов возвещают, что король отбыл из дворца. С ним принц Немурский, принц Жуанвильский, герцог Монпансье. Королевские кареты окружены генералами и адъютантами, едущими верхами. Конница цепью окружает кортеж. Впереди, в глубоком трауре, жена и сын умершего наследника трона.

— Да здравствует династия! — кричат полицейские, спинами оттесняющие опасную толпу.

С открытием палат начнется зимняя жизнь столицы. Откроются двери министерских зал. Оживут гостиные аристократов. Модные художники выставят картины. Модные актрисы переменят богатых любовников. Легитимисты вернутся из Англии. Произойдут сенсационные дуэли. Увеличится смертность обитателей подвалов и чердаков. Усилится дороговизна. Начнется голод среди рабочих.

Сток и Женевьева не успели еще дойти до намеченного места, как шустрые продавцы газет вынесли на улицу едва просохшие листы «Монитера» с описанием открытия палат и речью короля. В президенты выбран хитрый Созе; король говорил о необходимости предохранить народ от постороннего влияния и призывал к единению вокруг трона. Все было так, как всегда.

Париж исстари славится вышиной своих домов, теснотою и неопрятностью улиц. Идет дождь, мостовая покрыта клейкой грязью, по которой нелегко ездить. Вонь и смрад невыносимы. Из подворотен и домов на улицы изливаются и выкидываются всякие нечистоты. Хромой Иоганн шагает с трудом, но Женевьева с неповторимой француз-

ской грацией ловко обходит лужи и умудряется не испачкать туфель.

Несмотря на несносную сырость, улицы запружены народом. На столах торговцы разложили свои товары.

— Пользуйтесь счастливым случаем: только сегодня, завтра не будет! Дамы, кавалеры, просим! Бокалы, ящички, брошки!..

Покупатели сговорчивы. Один тащит кипу книг, другой, нагрузив обе руки пакетами с орехами, то и дело оглядывается, не тянут ли у него платок из заднего кармана.

С порога полуосвещенной лавчонки востроглазая продавщица зазывает прохожих. В самых изысканных выражениях она расхваливает свои парики, фуляровые платки, запонки. Но ничто не может сравниться с огромными витринами магазинов, торгующих погребальными принадлежностями. Какие великолепные гробы, какие пышные венки ждут богатых покойников! Ничто не забыто. Здесь торгуют печалью. И витрины наперебой зазывают вдов, сирот и друзей, предлагая им креп, траурные шляпы, перчатки, чулки, подвязки, веера и темные фланелевые панталоны. На черных вывесках серебряные соответствующие названия: «На пути к бессмертию», «У саркофага», «Вечное блаженство».

Свернув на улицу Сент-Оноре, Сток и Женевьева входят в большой скромный ресторан, который вот уже несколько лет служит фактически клубом для немецких изгнанников. Здесь находят они густое баварское пиво, газеты с родины, здесь встречаются, ищут поддержку, получают советы, обсуждают события дня, слушают речи случайных ораторов, устраивают собрания. Женевьева за одним из столов узнает приятельницу и подсаживается к ней. Они говорят, перебивая друг друга, о своих детях; каждой кажется свой самым лучшим, одаренным, красивым.

Сток прислушивается к разговорам. Два слесаря-берлинца и молодой студент спорят о том, что́ следует понимать под трудными словами «социализм» и «коммунизм».

— Чем спорить,— говорит один из слесарей,— приходи, когда будет здесь Кабе. Я верю в его учение и поеду, как только накопим деньгу, в страны Нового Света. Там мы осуществим коммунистический строй жизни.

Сток бросает презрительно:

— Зачем бежать в несуществующую Икарию, когда Франция достаточно несчастна, чтоб нам позаботиться и о ней? Фантазер твой Кабе, а не учитель.

— Да я готов хоть на луну влезть, чтоб попасть в Икарию. Шутка ли — там торговля, промышленность, даже устройство празднеств будет в руках правительства!..

— А я,— разозлившись, прервал Сток,— буду бороться за нее здесь. — Иоганн залпом выпивает кружку пива и, условившись с Женевьевой встретиться позднее, выходит на улицу.

Неподалеку был зал «Валентино», который сдавался под народные балы и собрания. Сток пошел туда. Луи Блан должен был в этот вечер читать там лекцию. Наличие полицейского патруля у входа убедило портного в том, что собрание состоится. В квадратном зале, освещенном газовыми рожками, было немноголюдно. С большой эстрады говорил маленький, тщедушный человечек, сутулый, почти горбатый, весьма, однако, щеголевато и пестро наряженный.

— Право,— говорил оратор,— отвлеченное понятие. Оно должно значить — сила. Как же сделать сильными тех, кого обрекли на бессилие? Первое, за что надо бороться,— отмена имущественного ценза в избирательном праве. Какой-нибудь кретин, получив наследство, становится избирателем, разбогатевший мошенник — мало того, что обобрал сотни семей,— получает в придачу право голоса.

— Старые прибаутки,— пробормотал Сток. Он перестал слушать речь Луи Блана.

«Где же человек, который, не заговаривая зубы и не предавая наше дело пустой болтовней, разъяснит мне, в чем сущность борьбы, как борьбу вести, как дойти до истины?»

Луи Блан кончил под аплодисменты. На трибуне появился молодой человек.

— Братья по родине, немцы,— вас здесь большинство,— и вы, французы, взгляните! — начал он дрожащим голосом. — Вот плащ, он разорван, он в крови. Его пробили пули английских жандармов, его обагрила кровь ваших братьев на Британском острове. Кровь, всюду кровь обездоленных! Я — сын немецкого фабриканта. Я ушел из

дома, чтобы вместе с вами пойти походом на мир богатства, эксплуатации, несправедливости, на дворцы патрициев...

— Ба! — вскричал Сток. — Да ведь это Пауль!

Он ринулся вперед, но так же внезапно остановился. Разом расхотелось говорить, спрашивать Пауля и отвечать ему. Прошло столько лет. Давно схоронили вместе Бюхнера... Не хотелось тревожить прошлое, вызывать исчезнувшие тени. Далеко вперед ушел Сток. А Пауль... Он повторял все те же фразы, точно заклиная время, удерживая его на месте... Не то! И Сток понуро вернулся в свой ряд. Только бы Пауль не заметил его, не отыскал в толпе. Пусть его развлекается как хочет. Может быть, он и искренен, да что в том толку!

А оратор на трибуне продолжал:

— Немцы-пролетарии, вы — божественные посланцы! Вы осуществите великий лозунг: свобода, равенство, братство. Придите же! Мы, бескорыстные, заинтересованные в вас немецкие интеллигенты, носители социалистических идей, мы вас поведем к победе!

Громкий смех раздался подле портного. Раскатистый, сочный смех, к которому присоединил Иоганн свой, отрывистый, резкий. Смеялись оба, как старые друзья, повернувшись друг к другу. Сток затих и внимательно уставился на соседа. Львиная голова, худое темное лицо, выпуклый могучий лоб и незабываемые глаза: тысяча выражений в них, тысяча мыслей. Иоганн не успел опомниться, как черноволосый коротконогий гигант оказался на трибуне. Вскоре ему дали слово.

— Пролетарии — не боги,— сказал он,— они обыкновенные люди, поставленные, однако, в такие социальные условия, что поневоле должны со временем взяться за эмансипацию человечества. Пролетариату не на кого надеяться, кроме как на самого себя. Освобождение его в том, чтобы уничтожить условия своего существования. Но изменить условия своего существования рабочему невозможно, не уничтожив предварительно всех бесчеловечных условий современного общества...

Маркс говорил долго. Ни единый звук не прервал его.

— Кто это, кто? — спрашивал Сток, тыча пальцем в говорившего.

Ему не сразу ответили.

— Кажется, немецкий ученый или редактор какой-то газеты. Немец, как и ты.

— Маркс. Карл Маркс из Трира.

Иоганн проталкивался к трибуне. Маркс кончил. Иоганн схватил его крепкую, узкую, властную, жесткую руку.

— Я давно вас искал, Карл Маркс, я читал ваши статьи. Вы не пустомеля,— вы человек, которого рабочие ждут. А я, я — портной из Дармштадта, Иоганн Сток... Почему, доктор Маркс, вы так удивлены?

— Хорошее, простое имя,— пробурчал Маркс, но глаза его заискрились. — Вы бежали из Германии, пошли к Бюхнеру?

Пришла очередь изумиться Стоку. Они стояли друг против друга, дружелюбно улыбаясь. Сток перешагнул за тридцать лет, Карлу минуло двадцать шесть. Портной был изнурен и худ, Маркс крепок, широкоплеч.

Оба они были еще молоды. Юность их прошла вместе с юностью их класса, вместе с наивностью его первых представлений, вместе с неуверенностью его первых восстаний. Юность пролетарских революций кончалась. Это была и их юность. Теперь они чувствовали себя зрелыми.

Собрание в зале «Валентино» окончилось. Разочарованно уходили полицейские. Погасли у входа фонари. Карлу не хотелось расставаться с соотечественником. Вместе с Женевьевой, терпеливо дожидавшейся мужа в условленном месте, и Стоком он шел по оживленной Сент-Оноре.

— Зайдем,— попросила несмело Женевьева, когда они поравнялись с большим гулким домом, где происходил народный бал.

На улицу вырывались звуки музыки, хохот, притоптывание сотен ног.

Сток недовольно дернул жену за руку: ему было стыдно за нее перед этим мудрым, столь удивительным человеком, который без труда подчинил его, недоверчивого, настороженного, своей воле, своему ясному слову.

Но, к удивлению Иоганна, Карл присоединился к желанию Женевьевы. Он всегда рад был в свободную минуту потолкаться в толпе, понаблюдать, подурачиться.

— Жаль, что Женни осталась дома, мы бы славно поплясали,— сказал он, входя в жаркий зал, где мелкий торговый люд, ремесленники и студенты безудержно веселились.

В шальной кадрили, доведенной до крайней степени

вольности, носились из конца в конец пары. Время от времени кадриль сменялась стучащим галопом, плавным вальсом и только что вошедшей в моду изящной полькой. Танцоры в маскарадных костюмах из бумаги и дешевой кисеи, потные, радостные, развязные,— неутомимы. Хохот, шутки, свист не умолкают. Лица многих расписаны: кто намалевал себе подбитый глаз, кто выставил номер квартиры на щеках. Но особенно неугомонны студенты. Они окружают Карла, тормошат его и Женевьеву. Хромой Сток прижимается к стене. Вырвавшись из круга молодежи, Маркс пробирается к выходу.

— Во всех странах веселятся одинаково.

Он вспоминает Бонн, Берлин, Кёльн...

Карл доволен встречей со Стоком, рад знакомству.

«Пролетариат,— думает он,— пролетариат является классом, которому принадлежит будущее. Я мало знаю этих людей. Следует узнать. Мало одних теоретических выводов. Человек не схема... Ребенок не осознает себя человеком. Однако он им станет. Не всякий рабочий предвидит великие задачи, поставленные перед ним историей, и, однако, путь его класса ясен... Но люди — люди, их нельзя не учитывать... Сток хороший парень, надежный боец, крепкая воля... Умен, хоть и не без путаницы... Мы идем с ним с разных концов. Но приходим к тому же».

Ему хочется еще раз взять руку портного и пожать ее крепко.

Воспользовавшись приглашением, Сток не преминул посетить Маркса. Карл подверг портного строгому экзамену. Он не любил ничего не значащих людей. Но Сток не был из их числа.

Не желая мешать Женни, возившейся с ребенком, Маркс увел Стока в соседнее кафе. Он заказал две рюмки крепкого аперитива и сытную закуску. Длинные глиняные трубки помогли беседе. Сток любил поговорить о прошлом. Маркс внушал людям, не предубежденным идейно, доверие с первого слова. Портной презирал болтунов в среде образованных людей. Но Маркс... Маркс был совсем другой, не похожий на всех тех, кого видал доныне Иоганн. Он знал так много, он говорил так дельно: понимать его порой было трудно, но, поняв его мысль, нельзя забыть ее, не поддаться огромной силе логики. Карл хмурился, когда Иоганн пробовал сопротивляться, возражать. Не из самонадеянности, а из глубо-

кого убеждения. И Сток удивленно замечал, что рано или поздно приходил к тому, что пробовал оспаривать.

Не меньше удивления и почтительного страха вызывала в Стоке госпожа Маркс. Подобно Лауре Грувель, Женни величественна, красива, утонченна. Лаура Грувель снова проходила мимо него, в кандалах, с помутневшими глазами. Как и он, пыталась она свергнуть власть Луи-Филиппа и банкиров, начиняла порохом бомбы, печатала листовки. Дочь дворянина умерла в тюрьме как бунтовщица, революционерка. Сток стоял перед Женни, не зная, что́ отвечать на приветливые расспросы. Портной понимал, что Женни Вестфален и Карл Маркс — необыкновенные люди.

Исчезая моментами в дыму трубки, Карл не переставал задавать вопросы. Он хотел знать подробности Лионского восстания, провала «Общества прав человека», заговора Бланки.

— Отважный мечтатель, — сказал он о Бланки. — Но как здоровое чутье пролетария не подсказало вам, что так не делается революция?

Сток развел руками и засмеялся.

— Если бы я знал, как она делается!

Маркс заподозрил портного в симпатиях к демократии, в немецкой вялости. Сток привстал.

— Я — ученик Бабёфа, — сказал он горделиво.

Экзамен сошел благополучно, и Карл охотно чокнулся с единомышленником.

— За дружбу.

— За дружбу и борьбу.

Разговор охватывал все новые области. Карл поверил в Стока и как бы раскрылся перед ним. Охваченный энтузиазмом, он говорил о неизбежности революции экономической, которая повлечет за собой политическую.

— В нашу эпоху, — отвечал он Иоганну, — два класса, две баррикады стоят друг против друга. На одной — буржуазия, на другой — пролетариат. Разве не увидел ты этого воочию в предместье Круа-Русс уже свыше десяти лет тому назад?..

Видал ли Сток? Наглая харя Броше высунулась сквозь дым трубок. Но Бувье-Дюмолар?..

Маркс знал и его.

— Бувье-Дюмолар, вольно или невольно, выдал, пре-

дал рабочих. Демократы и радикалы, вольно или невольно, делают это ежедневно...

Увлекаясь все больше и больше грандиозностью прошлого и настоящего, Карл коснулся естествознания и техники. У Стока давно погасла трубка, давно он перестал замечать окружающее и видел только прекрасное человеческое лицо, черную голову мудреца-вождя.

— Его величество пар, который в прошлом столетии перевернул вверх дном Европу, отступит перед значительно более мощным конкурентом — электрической искрой. Это — искра революции. Она пустит в ход тысячи новых двигателей, она станет орудием пролетариата. Надеюсь, мы доживем до невиданной победы, до грандиозных оживляющих потрясений... Всякая революция разрушает старое общество, и в этом смысле она социальна. Всякая революция низвергает старую власть, и в этом ее политический характер.

Сток, глядя на Маркса, думал: «Что привело его в наш лагерь, что сделало его революционером, борцом, как я?»

Сток вспоминал Бюхнера. Жалость, социальное сострадание привели молодого дворянина к мысли о необходимости восстания против несправедливости мира. Не умом, а сердцем тосковал он о правде, о равенстве, о счастливом человечестве.

О себе Иоганн не думал. Карл правильно объяснил ему «судьбу» пролетария. Это судьба целого народа. Она предначертана ходом вещей.

«Но Маркс — как стал он моим соратником?» — снова спросил себя портной недоуменно.

«Рассудок, точный глаз, проникающий в грядущее, привел его в стан пролетариев. Но только ли головой он с нами? Откуда же берется тогда воля его к победе, несокрушимая вера, пылкие слова вождя и ученого? Нет, не только умом, он и сердцем — с нами».

Сток добрался до улицы Вожирар, когда солнце давно уже встало над городом. Он шел и пел, счастливый, как в лучшие дни своей молодости. Снова заблестел для него потухший было завтрашний день. Сток нашел руководителя и друга. Дружба — союз равных, когда щедро даешь и столько же получаешь взамен. И жизнь в своем продолжении оборачивалась для Иоганна началом.

*1931—1935*

## СОДЕРЖАНИЕ



*Галина Иосифовна Серебрякова*
*Собрание сочинений*
*том 1*

Редактор В. Буланова
Художественные редакторы Д. Ермоленко и Ю. Коннов
Технические редакторы Л. Жилина и С. Ефимова
Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова
ИБ № 480

Сдано в набор 27/IV 1976 г. Подписано в печать 13/X 1976 г. Бумага тип. № 1, формат 84×108 1/32. 18 печ. л. 30,24 усл. печ. л. 31,958+1 вкл.=32,013 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ 611 Цена 1 р. 25 к. Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

1 р. 25 к.